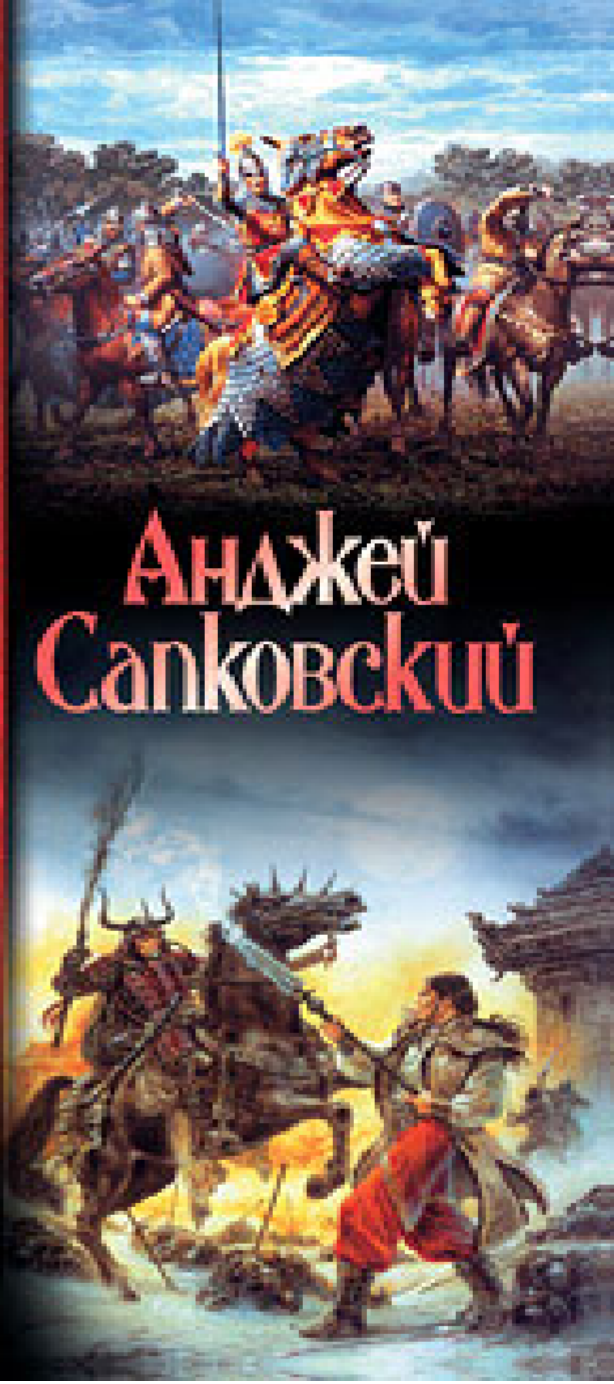
Башня шутов

ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ ФЭНТЕЗИ



Анджей Сапковский

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Анджей Сапковский. Автор, чьи произведения в нашей стране не уступают популярностью «Властелину Колец». Писатель, создавший «Ведьмака». Теперь легендарный цикл закончен. Мы расстались с Геральтом, Цири и Йеннифер… но Мастер дарит нам новую сагу – сагу о Рейневане!

В лето Господне 1420 конец света… не наступил.

Не был освобожден из заточения Сатана.

Не сгорел и не погиб мир.

Ну, во всяком случае – не весь.

Но все равно – было весело.

- Анджей Сапковский
  - В лето Господне 1420 конец света не наступил
  - Глава первая,
  - Глава вторая,
  - Глава третья,
  - Глава четвертая,
  - Глава пятая,
  - Глава шестая,
  - Глава седьмая,
  - Глава восьмая,
  - Глава девятая,
  - Глава десятая,
  - Глава одиннадцатая,
  - Глава двенадцатая,
  - Глава тринадцатая,
  - Глава четырнадцатая,
  - Глава пятнадцатая,
  - Глава шестнадцатая,
  - Глава семнадцатая,
  - Глава восемнадцатая,
  - Глава девятнадцатая,
  - Глава двадцатая,
  - Глава двадцать первая,
  - Глава двадцать вторая,
  - Глава двадцать третья,
  - Глава двадцать четвертая,
  - Глава двадцать пятая,
  - Глава двадцать шестая,
  - Глава двадцать седьмая,
  - Глава двадцать восьмая,

    - Глава двадцать девятая,
    - Выдержки из примечаний автора
    - Некоторые пояснения и замечания переводчика
    - Приложение
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34
    - 35
    - 36
    - 37
    - 38
    - 39

- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83

- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127

- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171

- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215

- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259

- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303

- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347

- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391

- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435

- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479

- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494

Анджей Сапковский
Башня шутов

В лето Господне 1420 конец света не наступил
Хоть многое говорило о том, что наступит

Не оправдались мрачные пророчества хилиастов, предсказывавших дату Конца вполне точно, а именно в первый понедельник февраля месяца 1420 года после святой Схоластики. [1] Ну что же, кончился понедельник, потом вторник, затем среда – и ничего. Не наступили Дни Искупления и Возмездия, предваряющие приход Царствия Божия. Не был – хоть и завершилось тысячелетие – освобожден из заточения своего Сатана и не вышел, дабы обольщать народы в четырех углах Земли. Не сгинули от меча, огня, глада, града, клыков хищников, скорпионьих жал и змеиного яда все грешники мира и супротивники Бога. Тщетно ожидали верные пришествия Мессии на горах Фавор, Беранек, Ореб, Сион и Оливной, впустую ожидали второго пришествия Христа *quinque civitates,* [2] названные в пророчестве Исайи пять избранных городов, которыми сочли Пильзно, Клатовы, Лоуны, Сланы и Жатец. Конец света не наступил. Мир не погиб и не сгорел. Во всяком случае – не весь.

Но все равно было весело.

Нет, похлебка и впрямь что надо, густая, пряная, да и жира не пожалели. Давненько я такой не пробовал. Благодарствуйте, многоуважаемые, за угощение, благодарствую и тебя, корчмарь. Не побрезгаю ли, спрашиваете, пивом? Нет, пожалуй, нет. Если дозволите, то с удовольствием. *Comedamus tandem, et bibamus, eras enim moriemur.* [3]

Не было конца света в 1420 году, не было и год спустя, и два, и три, и даже четыре. Все текло, я бы так сказал, своим естественным порядком: шли войны, множился мор, неистовствовала *mors nigra,* [4] распространялся глад. Ближний убивал и обворовывал ближнего, алкал жены его и вообще был ему волк волком. Евреям то и дело устраивали какой-никакой погромчик, а еретикам – костерок. Из новенького же – скелеты в потешных прыжках отплясывали на кладбищах, смерть с косой шагала по Земле, инкуб ночью вскальзывал меж дрожащих ляжек спящих девиц, одинокому ездоку на урочище стрыга усаживалась на шею. Дьявол явно вмешивался в повседневные дела и кружил промеж людей *tanquam leo rugiqns,* аки лев рыкающий, ищущий, кого бы пожрать.

Много в то время скончалось достойных людей. Нет, конечно, и родилось немало, но как-то уж повелось, что даты рождений посторонности в хрониках не записывают и никто их толком не помнит. Ну, может, только матери, да еще в тех случаях, когда у новорожденного оказывалось две головы или по меньшей мере два кутаса.[5] А вот коли смерть, ну, тут уж дата точная, будто в камне высечена.

Так в 1421 году, в понедельник после Средьпостного воскресенья, умер, прожив отмеренные шестьдесят лет, в Ополе Ян *apellatus*[6] Кропидло, князь пястовских кровей и *episcopus vloclaviensis.*[7] Перед смертью он пожертвовал городу Ополе шестьсот гривен. Говорят, часть этой суммы пошла во исполнение воли преставившегося на известный опольский бордель «У рыжей Кунди». Услугами этого заведения, размещавшегося на задах монастыря Младших Братьев,[8] епископ-гуляка пользовался до самой кончины, правда, под конец жизни только в качестве зрителя.

Летом же – точной даты не упомню – года 1422-го умер в Венсене король английский Генрих V, победитель под Азинкуром. Пережив его всего на два месяца, преставился король Франции Карл VI, к тому времени уже пять лет как вконец свихнувшийся. Корону возжелал получить сын безумца, дофин Карл. Однако ж англичане не признали его прав. Да ведь и сама матушка дофина, королева Изабелла, уж давно объявила его внебрачным сыном, зачатым в некотором удалении от супружеского ложа с вполне нормальным мужчиной. А поскольку незаконнорожденные престол не наследуют, законным монархом Франции стал англичанин, сын Генриха V, малолетний Генричек, всего-то девяти месяцев от роду. Регентом же во Франции стал дядя Генричка, Джон Ланкастер, герцог Бедфорд. Этот на пару с бургундцами держал северную Францию с Парижем, югом же владели дофин Карл и Арманьяки. А промеж их владений среди трупов на побоищах выли псы.

А в году 1423 на Троицын день умер в замке Пенискола близ Валенсии Петр де Луна, авиньонский папа, проклятый схизматик, до самой смерти вопреки решениям двух соборов именовавший себя Бенедиктом XIII.

Из других, что в то время померли и которых я помню, скончался Эрнест Железный Габсбург, властитель Штирии, Каринтии, Краины, Истрии и Триеста. Умер Ян Рацибор, князь пястовской крови, а одновременно и пшемыслинской. Помер молодым Вацлав, *dux Lubiniensis,* умер князь Генрик, на пару с братом Яном правивший в Зембицах. Умер на чужбине Генрик *dictus* Румпольда, князь Глогова и ландвойт Верхних Лужиц.

Умер Миколай Тромба, архиепископ гнёзненский, муж благородный и умный. Умер в Мальборке Михель Кюхмайстер, Великий Магистр Ордена Пресвятой Девы Марии. Умер также Якуб Ленчак по прозвищу Рыба, мельник из-под Бытома. Ну конечно, признать надо, был он менее знаменитым и известным, нежели вышеназванные, зато я знал его лично и даже пивал с ним. А с теми, что перечислены ранее, мне пивать как-то не доводилось.

Немаловажные события также и в культуре в те времена происходили. Проповедовал вдохновенный Бернардин Сиенский, проповедовал Ян Канти и Ян Капистран, поучали Ян Джерсон и Павел Влодковиц, писали поучения Кристина из Пизы и Фома Кемпийский. Писал свою превосходную хронику Вавжинец из Бжезовой, писал иконы Андрей Рублев, писал Томасо Масаччио, художествовал Роберт Кемпин; Ян ван Эйк, придворный живописец короля Яна Баварского, творил для кафедрального собора Святого Бавона в Генте «Алтарь Мистического Агнца», вельми прелестный полиптих, украшающий ныне часовню Йодокуса Выда. Во Флоренции мэтр Пиппо Брунелески окончил строительство пренаичудеснейшей часовни над четырьмя нефами церкви *Santa Maria del Fiore,* да и мы в Силезии не хуже – у нас господин Петр из Франкенштейна окончил в городе Ниса строительство весьма пышной церкви, посвященной святому Иакову. Это совсем от Малича недалеко. Кто не бывал и не видел, может побывать и увидеть. В том же 1422 году, в самую масленицу, в городе Лида с великой помпой отметил свои годы старый литвин, польский король Ягайло – взял в жены Софью Гольшанскую, девушку в расцвете сил, молоденькую, семнадцатилетнюю, больше чем на полста лет моложе себя. Поговаривали, девица та больше красотой, нежели поведением славилась. Ну, так и забот потом с нею была уйма. Но Ягайло, будто напрочь забыв, как следует тешить юную супружницу, уже в начале лета отправился воевать прусских господ, крестоносцев, стало быть. А потом новому – после Кюхмайстера – Великому Магистру Ордена, господину Павлу Руссдорфскому, чуть ли не сразу после вступления в сан довелось ознакомиться – и крепко – с польским оружием. Как там в Сонкином ложе под балдахином у Ягайлы дело шло, сказать трудно, но чтобы набить крестоносцам морды, Ягайле силенок хватило. Ходом вещей и в Чешском королевстве много серьезного в то время творилось. Великое там было возбуждение, большой крови разлив и непрекращающаяся бойня. О чем мне, впрочем, никак говорить нельзя. Соблаговолите, уважаемые, простить деда, но страх – свойствие человеческое, а мне уже не раз доставалось по шеям за лишнее

слово. Ведь на ваших, господа, куртках я вижу польские перевязи и отличия, а на ваших, благородные чехи, петухов панов из Доброй Воды и стрелы рыцарей из Стракониц… А вы, воинственный муж Цеттриц, о зубровой голове в гербе мечтаете. А о ваших, господин рыцарь, косых шашечках и грифах я даже сказать ничего не сумею. Да и не исключено, что ты, брат-францисканец, не доносишь *Sanctum Officium,*[9] а то, что вы, братья-доминиканцы, доносите, то это уж как пить дать. Потому, сами понимаете, мне в таком международно-разбойном обществе никак невозможно о чешских делах распространяться, не зная, кто тут за Альбрехта стоит, а кто за польского короля и королевича. Кто за Менгарта из Градца и Олдржиха из Рожмберка, а кто за Гинка Пташку из Пиркштайна и Яна Колду из Жампаха. Кто тут сторонник Спытка, окружного правителя из Мельштына, а кто – епископа Олесьницкого. А меня вовсе не тянет быть побитым. Я ведь знаю, что получу, потому как уж несколько раз доставалось. Спрашиваете, как так? А вот так: ежели ляпну, что в те времена, о которых я болтаю, бравые чешские гуситы крепко отделали немцев, один за другим в пух и прах раздолбав три папских крестовых похода, то того и гляди получу в лоб от одних. А скажу, что тогда в битвах под Витковым Вышеградом, Жатцем и Немецким Бродом еретики победили крестоносцев с дьявольской помощью, то возьмут меня в переделку другие. Так что лучше уж помалкивать, а если что и сказать, так беспристрастно, как и пристало сообщающему, изложить дело, как говорится, *sine ira et studio,*[10] кратко, хладно, по-деловому, и никаких замечаний от себя не добавлять.

Потому я и скажу кратко: осенью 1420 года польский король Ягайло отказался принять чешскую корону, которую ему предлагали гуситы. В Кракове придумали, что корону ту примет литовский *dux* Витольд, которому всегда королевствовать хотелось. Однако, чтобы ни кесаря римского Сигизмунда, ни папу римского чересчур-то не раздражать, послали в Чехию Витольдова кузена Сигизмунда, сына Корыбуты. Корыбутович во главе пяти тысяч польских рыцарей прибыл в Злату Прагу в 1422 году как раз на святого Станислава.[11] Однако уже на Трех Царей[12] следующего года князьку пришлось возвороти́ться в Литву – так зарились на это чешское наследство Люксембуржец и Одо Колонна – Святой Отец Мартин V. И что скажете? Уже в 1424 году, на Благовещенье, Корыбутович снова явился в Прагу. На сей раз уже наперекор Ягайле и Витольду, наперекор папе, наперекор римскому кесарю. Как призванный и изгнанный. Во главе себе подобных призванных. И уже не тысячи, как прежде, а всего лишь сотни насчитывающих… В Праге же переворот, как Сатурн

пожирал собственных детей, так и здесь лагерь боролся с лагерем. Яна из Желива, обезглавленного в понедельник после поминального воскресенья 1422 года, уже в мае того же года оплакивали во всех церквях как мученика. Твердо так же противилась Злата Прага Табору, но тут нашла коса на камень. То есть на Яна Жижку, великого воина. В лето Господне 1424 года, на второй день после июньских нон,[13] под Маслешовом у речки Богинки Жижка преподал пражанам жуткий урок. Много, ох много было в Праге после той битвы вдов и сирот.

Как знать, может, и верно сиротские слезы стали причиной того, что потом, в среду перед Гавлом, помер в Пшибыславе неподалеку от моравской границы Ян Жижка из Троцкова, а опосля из Калиха. А погребли его в Карловом Граде; там он и лежит. И как до того одни лили слезы из-за него, так теперь другие оплакивали его самого. Что осиротил их. И потому назвали себя Сиротами…

Но ведь это-то помнят все. Потому как совсем недавние это были времена. А кажутся такими… историческими.

Знаете, господа, как узнать, что время идет историческое? Просто всего происходит очень много и быстро.

Конец света, как сказано, не наступил. Хоть многое указывало на то, что наступит. Ведь начинались – точнехонько как говорили пророчества – большие войны, и большие несчастья достались люду христианскому, и множество мужей тогда сгинуло. Казалось, сам Бог хочет, чтобы пришествие нового порядка предварила погибель старого. Казалось, что приближается Апокалипсис. Что десятирогий Зверь выползает из бездны. Что вот-вот прогремят трубы и будут сломаны печати. Что низвергнется огонь с небес. Что упадет Звезда Полынь на треть рек и на источники вод. Что человек, увидя след ноги другого на пепелище, примется след тот со слезами целовать.

Порой было так страшно, что, с вашего позволения, аж жопа съеживалась.

Страшное было это время. Злое. Скверное. И ежели пожелаете, господа, расскажу о нем. Ну, так просто, чтобы скуку забить, прежде чем прекратится непогода, что нас тут держит.

Расскажу я вам, если на то будет ваше желание, о том времени, тех людях, которые жили в те времена, и о тех, которые жили, но людьми вовсе не были. Расскажу о том, как и те, и другие боролись с тем, что им то время принесло. С судьбой и с самими собою.

Начинается эта история мило и приятно, туманно и чувственно, радостно и трогательно. Но пусть это вас, любезные господа, не обманывает…

Пусть не обманывает.

Глава первая,

в которой читатель имеет возможность познакомиться с Рейнмаром из Белявы, именуемым Рейневаном, причем сразу со всех его наилучших сторон, включая беглое знание ars amandi, [14] секреты конной езды, тайны Ветхого Завета, не обязательно именно в такой последовательности. Глава повествует также о Бургундии, как в узком, так и в широком смысле

В раскрытое окно комнаты на фоне темного еще после недавней бури неба виднелись три башни: ратуши, самой близкой, чуть подальше – стройной, горящей на солнце новенькой красной черепицей колокольни Святого Иоанна Богослова, а за ней широкого округлого донжона княжеского замка. Вокруг церковной колокольни вились ласточки, напуганные недавним колокольным звоном. И хотя колокола довольно давно отзвенели, перенасыщенный озоном воздух все еще, казалось, продолжал вибрировать.

Совсем недавно звонили колокола церквей Пресвятой Девы Марии и Тела Господня – однако эти колокольни не были видны из окна комнатки на мансарде деревянного дома, будто ласточкино гнездо прилепившегося к комплексу августинского приюта и монастыря.

Был час сексты.[15] Монахи завели *«Deus in adiutorium».*[16] А Рейнмар из Белявы, которого друзья называли Рейневаном, поцеловал вспотевшую ключичку Адели фон Стерча, высвободился из ее объятий и, тяжело дыша, пристроился рядышком на постели, горячей от любви.

Из-за стены, со стороны Монастырской улицы, доносились крики, громыхание телег, глухой гул пустых бочек, певучий звон оловянной и медной посуды. Была среда, базарный день, как обычно, привлекающий в Олесьницу множество торговцев и покупателей.

Memento, salutis Auctor
quod nostri quondam corporis,
ex illibata virgine
nascendo, formam sumpseris,
Maria mater gratiae,
mater misericordiae,
tu nos ab hoste protege,

et hora mortis suscipe…[17]

«Уже распевают гимн, – подумал Рейневан, расслабленно обнимая родившуюся в далекой Бургундии Адель, жену рыцаря Гельфрада фон Стерчи. – Уже гимн. Прямо не верится, до чего быстро пролетают мгновения счастья. Так хочется, чтобы они длились вечно. Ан нет – проносятся, словно сон…»

– Рейневан… *Mon amour*[18]… Мой божественный мальчик… – Адель хищно и ненасытно прервала его дремотные мысли. Она тоже ощущала преходящесть времени, но явно не хотела транжирить его на философские размышления.

Адель была совершенно, полностью, ну то есть абсолютно голой.

«Что город, то норов, что деревня, то обычай, – думал в это время Рейневан. – Как же интересно познавать мир и людей. Женщины из Силезии и немки, к примеру, стоит дойти до главного, позволяют подтянуть их рубашку не выше пупка. Польки и чешки поднимают сами, к тому же охотно, выше грудей, но ни за что не снимут совсем. А вот бургундки, ну, эти мгновенно сбрасывают все, видать, их горячая кровь во время любовного упоения не терпит на коже ни лоскутка. Ах, какая прелесть – познавать мир! Нет, похоже, Бургундия распрекрасная страна. Роскошным должен быть тамошний ландшафт. Высокие горы… Крутые холмы… Долины…»

– Ах, аааах, *mon amour,* – стонала Адель фон Стерча, прижимаясь к рукам Рейневана всем своим бургундским ландшафтом.

Рейневану, кстати, было двадцать три года, и с миром он ознакомился, вообще-то говоря, не очень широко. Знал с полдюжины чешек, еще меньше силезок и немок, одну польку, одну цыганку – что же до прочих народностей, то лишь один раз… получил отказ от венгерки. Так что его эротические экспериенции[19] никоим образом нельзя было отнести к разряду обширных, более того, откровенно говоря, они были достаточно мизерны как количественно, так и качественно. Тем не менее он ими гордился и даже порой задирал нос. Рейневан, как каждый переполненный тестостероном юноша, считал себя крупным соблазнителем и знатоком любовных дел, от которого у прекрасной половины человечества нет никаких тайн. Однако истина состояла в том, что за одиннадцать встреч с Аделью фон Стерча Рейневан узнал об *ars amandi* больше, нежели за все трехлетнее пребывание в Праге. Однако так и не усек, что именно Адель учит его. Он был убежден, что тут все дело в его

старомодных талантах.

Ad te levavi oculos meos
qui habitas in caelis
Ecce sicut oculi servorum
ad manum dominorum suorum.
Sicut oculi ancillae in manibus dominae suae
ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum,
Donec misereatur nostri
Miserere nostri Domine…

Адель ухватила Рейневана за шею и потянула на себя. Рейневан, схватившись за то, за что следовало, любил ее. Любил крепко и самозабвенно и – словно этого было мало – шептал ей на ушко заверения в любви. Он был счастлив. Очень счастлив.

Переполнявшим его сейчас счастьем Рейневан был обязан – не напрямую, конечно, – святым угодникам. А дело было так.

Чувствуя раскаяние за какие-то грехи, известные только ему и его исповеднику, силезский рыцарь Гельфрад фон Стерча отправился в покаянное паломничество к могиле святого Иакова. Но по дороге изменил планы. Решил, что до могилы явно далековато, а поскольку святой Изя[20] тоже не у сороки из-под хвоста вывалился, то вполне достаточно дойти до Сент-Жилье. Впрочем, добраться до Сент-Жилье Гельфраду также не было дано. Доехал он только до Дижона, где случайно познакомился с шестнадцатилетней бургундкой, очаровательной Аделью де Бовуазен. Адель, совершенно пленившая Гельфрада, была сиротой. Два ее брата – гуляки и вертопрахи – не моргнув глазом выдали сестренку за силезского рыцаря.

Хотя по разумению братьев Силезия лежала где-то между Тигром и Евфратом, тем не менее Стерча показался им идеальным зятем, поскольку не очень-то препирался, выговаривая приданое. Так вот и попала бургундка в Генрихдорф, село под Зембицами, землями, пожалованными Гельфраду короной. А в Зембицах, уже как Адель фон Стерча, она приглянулась Рейневану из Белявы.

Взаимно.

– Аааааах! – выдохнула Адель фон Стерча, сплетая ноги на спине Рейневана. – Аааааа-аааах!

Дело никогда бы не дошло до этого аааханья и все кончилось перемигиванием да незаметными посторонним жестами, если б не третий святой – Георгий. Потому как именно Георгием-то, как и остальные крестоносцы, клялся и присягал Гельфрад,

присоединяясь в сентябре 1422 года к которому-то там по счету антигуситскому крестовому походу, организованному курфюрстом бранденбургским и маркграфами Майсена. Крестоносцы в те времена особыми успехами похвастаться не могли, ибо вошли в Чехию и довольно скоро из нее вышли, вообще не рискнув вступать с гуситами в бой. Но хоть боев и не было, однако без жертв не обошлось, и одной из них оказался как раз Гельфрад Стерча, получивший серьезный перелом ноги при падении с коня и теперь, как следовало из посылаемых родным писем, продолжавший лечиться где-то в Плайссенланде. Адель же, соломенная вдовушка, проживавшая в то время у родственников мужа в Берутове, могла без помех встречаться с Рейневаном в комнатке при олесьницком монастыре августинцев, неподалеку от больницы, при которой Рейневан содержал свой кабинет.

Монахи церкви Тела Господня запели второй из трех псалмов сексты. «Надо поспешить, – подумал Рейневан. – Как только они начнут *capitulum* и далее – *Kyrie,* но ни минутой позже, – Адель должна исчезнуть с территории больницы. Ее здесь никто не должен видеть».

Benedictus Dominus
qui non dedit nos
in captionem dentibus eorum.
Anima nostra sicut passer erepta est
de laqueo venantium…

Рейневан поцеловал Адель в бедро, а потом, воодушевленный пением монахов, вдохнул поглубже и погрузился в нард и шафран, в аир и корицу, в мирру и алой с лучшими ароматами. [21] Напружинившаяся Адель протянула руки и впилась ему пальцами в волосы, мягкими движениями бедер помогая его библейским начинаниям.

– Ох, ооооох… *Mon amour. Mon magicien.* [22] Божественный мальчик… Чародей…

Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion
non commovebitur in aeternum,
qui habitat in Hierusalem…

«Уже третий псалом, – подумал Рейневан. – Как же летят мгновения счастья».

– *Reververe,*[23] – промурлыкал он, опускаясь на колени. – Повернись, повернись, Суламиточка…

Адель повернулась, опустилась на колени и наклонилась, крепко ухватившись за липовые доски изголовья и подставив Рейневану всю обольстительную прелесть своего реверса. Афродита Каллипига – подумал он, приближаясь к ней. Античная аналогия и эротическая картинка сделали свое дело: приближался он не хуже недавно упомянутого святого Георгия, атакующего дракона направленным копьем. Стоя на коленях позади Адели, будто царь Соломон за одром из дерева ливанского, он обеими руками ухватил ее за виноградинки Енгедские.[24]

– С кобылицей в колеснице фараоновой,[25] – прошептал он, наклонившись к ее шее, прекрасной, как столп Давидов.[26] – Я уподоблю тебя, возлюбленная моя.

И уподобил. Адель крикнула сквозь стиснутые зубы. Рейневан медленно провел руками вдоль ее мокрых от пота боков, взобрался на пальму и ухватился за ветви ее, отягощенные плодами. Бургундка откинула голову, как кобыла перед прыжком через препятствие.

> Quia non relinquet Dominus vergam peccatorum.
> Super sortem iustorum
> ut non extendant iusti
> ad iniquiatem manus suas…

Груди Адели прыгали под руками Рейневана, как два козленка-двойни серны. Он подложил вторую руку под ее гранатовый сад.

– *Duo… ubera tua,* – стонал он, – *sicut duo… hinuli capreae gemelli… qui pascuntur… in liliis… Umbilicus tuus crater… tornatilis numquam… indigens poculis… Venter tuus sicut acervus… tritici vallatus lillis…*

– Ах… аааах… аааах, – поддерживала контрапунктом бургундка, не знающая латыни.

> Gloria Patri, et Filio et Spiritui sancto.
> Sicut erat in principio, et nunc, et semper
> et in saecula saeculorum, Amen.
> Alleluia!

Монахи пели. А Рейневан, целующий шею Адели фон Стерча, ошалевший, очумевший, мчащийся через горы, скакавший по

холмам, *saliens in montibus, transiliens colles,* был для любовницы словно юный олень на горах бальзамовых. *Super montes aromatum.*

Дверь распахнулась от удара с таким с грохотом и силой, что, сорвавшись с петель, вылетела в окно. Адель тоненько и пронзительно взвизгнула. А в комнату ворвались братья Стерчи. Сразу было ясно: это отнюдь не дружеский визит. Рейневан скатился с кровати, отгородившись ею от незваных гостей, схватил одежду и торопливо принялся натягивать на себя. Это частично удалось, но только потому, что лобовую атаку братья Стерчи направили на невестку.

– Ах ты проститутка! – зарычал Морольд фон Стерча, выволакивая голую Адель из постели. – Ах ты тварь паскудная!

– Ах ты дрянь развратная! – подхватил Виттих, старший брат. Вольфгер же, второй по возрасту после Гельфрада, даже не раскрыл рта, смертельная ярость лишила его дара речи. Он ударил Адель по лицу. Бургундка вскрикнула. Вольфгер ударил снова, на этот раз наотмашь.

– Не смей ее бить, Стерча! – закричал Рейневан голосом ломким и панически дрожащим от парализующего чувства бессилия, вызванного полунатянутыми штанами. – Не смей, слышишь?

Восклицание подействовало, хоть и не совсем так, как он ожидал. Вольфгер и Виттих, на минуту забыв о неверной невестке, подскочили к Рейневану, и на него посыпались тычки и пинки. Вместо того чтобы защищаться, он сжался под градом ударов и упорно продолжал натягивать штаны, словно это были и не штаны вовсе, а какие-то волшебные, способные оградить и спасти его от ран доспехи, заколдованный панцирь Астольфа или Амадиса Галльского. Уголком глаза он увидел, что Виттих выхватывает нож. Адель взвизгнула.

– Не здесь, – буркнул на брата Вольфгер. – Не здесь!

Рейневан сумел подняться на колени. Виттих, разъяренный, бледный от бешенства, подскочил и хватанул его кулаком, снова свалив на пол. Адель пронзительно закричала, крик оборвался, когда Морольд ударил ее по лицу и рванул за волосы.

– Не смейте… – простонал Рейневан, – ее бить, мерзавцы!

– Ах ты сукин сын! – рявкнул Виттих. – Ну погоди!

Он подскочил, ударил, пнул раз, другой. Но тут его остановил Вольфгер.

– Не здесь, – повторил он спокойно, и было это спокойствие зловещее. – На двор его. Заберем в Берутов. Девку тоже.

– Невиноватая я! – завыла Адель фон Стерча. – Он меня околдовал! Очаровал! Это волшебник! *Le sorcier! Le diab…*[27]

Морольд ударом по лицу не дал ей договорить и буркнул:

– Заткнись, гулящая. Еще успеешь накричаться. Погоди малость.

– Не смейте ее бить! – вскричал Рейневан.

– Ты тоже, – угрожающе спокойно добавил Вольфгер, – еще успеешь накричаться, петушок! А ну на двор их.

Спускаться с мансарды надо было по довольно крутой лестнице. Братья Стерчи просто скинули оттуда Рейневана, он свалился на лестничную площадку, разломав при этом деревянные перильца. Не дав подняться, они снова схватили его и вышвырнули прямо на двор, на песок, украшенный испускающими пар свежими кучками конских яблок.

– Гляньте-ка! Нет, вы только гляньте, – проговорил державший лошадей Никлас Стерча, почти мальчишка. – И кто это тут к нам свалился? Никак Рейнмар Беляу?

– Грамотей мудрила Беляу, – фукнул, останавливаясь над поднимающимся с песка Рейневаном, Иенч Кнобельсдорф по прозвищу Филин, кум и родня Стерчей. – Языкастый мудрила Беляу!

– Поэт сраный, – добавил Дитер Гакст, еще один дружок семьи. – Тоже мне Абеляр!

– А чтоб доказать ему, что и мы не лыком шиты, – сказал спускавшийся с лестницы Вольфгер, – поступим с ним так же, как поступили с Абеляром, пойманным у Элоизы. Тютелька в тютельку так же. Ну как, Белява? Как тебе нравится стать каплуном?

– Отъ…сь, Стерча.

– Что? Что? – Вольфгер Стерча побледнел еще больше, хоть это и казалось невозможным. – Петушок еще решается раскрывать клювик? Осмеливается кукарекать? А ну дай-ка кнут, Иенч!

– Не смей бить его! – совершенно неожиданно заорала с лестницы Адель, уже одетая, но не полностью. – Не смей! Не то всем расскажу, какой ты! Что сам ко мне лез, щупал и подбивал на разврат! За спиной у брата. И поклялся мне отомстить за то, что я тебя прогнала! Вот почему ты теперь такой… Такой…

Ей не хватало немецкого слова, и вся тирада пошла насмарку. Вольфгер только расхохотался.

– Ишь ты, – съехидничал он. – Кто ж станет слушать французицу, распутную курву. Давай кнут, Филин.

Внезапно двор почернел от ряс августинцев.

– Что тут происходит? – крикнул пожилой приор Эразм Штайнкеллер, тощий и заметно пожелтевший старичок. – Что вы вытворяете, христиане!

– Пшли вон! – рявкнул Вольфгер, щелкая кнутом. – Вон,

бритые жерди! Прочь! К требнику, молиться! Не лезьте в рыцарские дела, не то горе вам, монашня!

– Господи! – Приор сложил покрытые коричневыми печеночными пятнами руки – Прости им, ибо не ведают, что творят… *In nomine Patris, et Filli…*[28]

– Морольд, Виттих! – рявкнул Вольфгер. – Тащите сюда паршивку! Иенч, Дитер, вяжите любовничка!

– А может, – поморщился молчавший до того Стефан Роткирх, тоже дружок дома, – малость за лошадью его протащить?

– Можно будет, но сначала я его отстегаю!

Он замахнулся на все еще лежавшего Рейневана кнутом, но не ударил – помешал брат Иннокентий, схвативший его за руку. Рост и фигура у брата Иннокентия были весьма внушительные, чего не скрывала даже смиренная монашеская сутулость. Рука Вольфгера застыла, словно прихваченная железными тисками.

Стерча грязно выругался, вырвал руку и сильно толкнул монаха. Впрочем, с таким же успехом он мог толкать донжон олесьницкого замка. Брат Иннокентий, которого братия называла братом Инсолентием,[29] даже не дрогнул. Зато сам ответил таким толчком, что Вольфгер перелетел полдвора и свалился на кучу навоза.

Несколько мгновений стояла тишина. А потом все набросились на огромного монаха. Филин, подоспевший первым, получил по зубам и покатился по песку. Морольд Стерча, отхвативший по уху, засеменил вбок, вылупив подурневшие глаза. Остальные облепили августинца, словно муравьи. Огромная фигура в черной рясе полностью скрылась в свалке. Однако брат Иннокентий, хоть ему и крепко доставалось со всех сторон, отвечал так же крепко и вовсе не по-христиански, совершенно вопреки августинскому закону смирения.

Видя это, не выдержал и старичок приор. Он покраснел как вишня, зарычал аки лев и кинулся в гущу боя, колошматя направо и налево палисандровым посохом.

– *Pax!* – верещал он, колотя. – *Pax! Vobiscum!* Возлюби ближнего своего! *Proximum tuum! Sicut te ipsum!*[30] Сукины дети!

Дитер Гакст саданул его кулаком. Старик кувыркнулся вверх ногами, его сандалии взлетели в воздух, описывая над хозяином живописные траектории. Августинцы подняли крик, некоторые не выдержали и ринулись в бой. Во дворе забурлило не на шутку.

Вытолкнутый из водоворота Вольфгер Стерча выхватил корд и принялся размахивать им – дело шло к тому, что польется кровь.

Однако Рейневан, уже успевший встать на ноги, долбанул его

по затылку кнутовищем. Стерча схватился за голову и обернулся. Тогда Рейневан с размаху хлестнул его кнутом по лицу. Вольфгер упал. Рейневан кинулся к лошадям.

– Адель! Сюда! Ко мне!

Адель не шелохнулось, лицо ее выражало полное равнодушие. Странно. Рейневан запрыгнул в седло. Конь заржал и заплясал.

– Адееееель!

Морольд, Виттих, Гакст и Филин уже бежали к нему. Рейневан развернул коня, пронзительно свистнул и ринулся галопом прямо в монастырские ворота.

– За ним! – зарычал Вольфгер. – По коням и за ним!

Первой мыслью Рейневана было скакать к Мариацким воротам, а оттуда за город, в Спалицкие леса. Однако ведущая к воротам Коровья улица была полностью забита телегами, зато подгоняемый и напуганный криками чужой конь проявил массу личной инициативы, в результате чего, не успел Рейневан толком понять, что происходит, как уже мчался галопом к рынку, разбрызгивая грязь и разгоняя прохожих. Не было нужды оглядываться, чтобы понять: преследователи сидят у него на шее. Он слышал гул копыт, ржание коней, дикий рев Стерчей и яростные выкрики задетых лошадьми людей.

Он ударил коня пятками в пах, в галопе задел и повалил пекаря, несущего корзину; ковриги, булки и рогалики градом посыпались в грязь, и их тут же втоптали подковы стерчевых лошадей. Рейневан даже не обернулся. Какая разница, что там за спиной? Его интересовало то, что находится впереди, а впереди, прямо перед ним, выросла тележка, высоко нагруженная хворостом. Тележка перегораживала почти всю улочку, а там, где был небольшой просвет, копошились на земле несколько полуодетых ребятишек, выковыривавших из навоза что-то невероятно интересное.

– Теперь ты наш, Беляу! – заревел сзади Вольфгер Стерча, тоже увидевший то, что делалось на дороге.

Конь мчался так, что удержать его не было никакой возможности. Рейневан прижался к гриве и зажмурился. Из-за этого он не видел, как полуголые ребятишки порскнули с дороги, как стая крысят. Он не оглянулся, поэтому не видел, как парень в овчинном тулупе, тянувший тележку с хворостом, обернулся, невольно развернув дышло и тележку. Не видел Рейневан и того, как Иенч Кнобельсдорф вылетел из седла и смел своим телом половину нагруженного на тележку хвороста.

Рейневан промчался галопом по Свентоянской улице, пронесся между ратушей и домом бургомистра, на полном ходу

влетел на огромный олесьницкий рынок. Проблема состояла в том, что рынок, хоть и огромный, был забит людьми. И разверзся истинный ад. Направившись к южному входу и видневшемуся над ним пузатому четырехугольнику башни над Олавскими воротами, Рейневан распихивал попадающихся на пути людей, лошадей, волов, свиней, телеги и ларьки, оставляя за собой побоище. Люди вопили, выли и ругались, крупная скотина рычала и мычала, мелкая живность скулила, визжала, переворачивались ларьки и палатки, оттуда градом летели самые разнообразные предметы – горшки, миски, ведра, мотыги, кочерги, рыболовные снасти, овечьи шкуры, фетровые шапки, липовые ложки, восковые свечи, лыковые лапти и глиняные петушки со свистульками. Дождем сыпались яйца, сыры, выпечка, горох, крупа, морковь, репа, лук, даже живые раки. В тучах перьев летала и орала на разные голоса самая различная птица. Все еще сидевшие на шее у Рейневана Стерчи довершали разрушения.

Напуганный пролетевшим у самого носа гусем конь Рейневана дернулся и наскочил на лоток с рыбой, разбивая крынки и выворачивая бочки. Разъяренный рыбак взмахнул подсечником, метясь в Рейневана, но промахнулся и угодил в круп коня. Конь заржал и рванулся в сторону, перевернув переносной ларек с нитками и ленточками, несколько секунд плясал на месте, утопая в вонючей серебристой массе плотвы, лещей и карасей, перемешанных с феерией разноцветных катушек и шпуль с нитками. То, что Рейневан не свалился, – было просто чудом. Уголком глаза он заметил, как торговка нитками бежит к нему с огромным топором в руках, одному богу известно, для чего понадобившемуся в нитяной торговле. Он выплюнул прилепившиеся к губам гусиные перья, сдержал коня и устремился в улочку Резников, а оттуда – он это знал – до Олавских ворот оставалось всего ничего.

– Я тебе яйца оторву, Белява! – ревел позади Вольфгер Стерча. – Оторву и в горло запихаю!

– Поцелуй меня в зад!

Преследователей уже было только четверо – Роткирха только что стащили с лошади и теперь избивали разбушевавшиеся рыночные перекупщики.

Рейневан не хуже стрелы пронесся между шпалерами подвешенных за ноги туш. Перепуганные до жути рубщики в панике отскакивали, но все равно одного, несущего на плече огромный бычий окорок, он свалил. От толчка тот вместе с окороком рухнул под копыта Виттихова коня, конь с перепугу поднялся на дыбы, на него налетел конь Вольфгера. Виттих сверзился с седла прямо на разделочный стол рубщика, носом в

печень, легкие и почки, сверху на него грохнулся Вольфгер – его ступня застряла в стремени, – не успел высвободиться и развалил огромную кучу требухи, по уши погрузившись в грязь и слизь.

Рейневан в последний момент прильнул к лошадиной шее и проскочил под вывеской с намалеванной поросячьей головизной. Почти догнавший его Дитер Гакст наклониться не успел. Доска с изображением радостно ухмыляющейся свинки саданула его по голове так, что аукнулось эхо. Дитера выбило из седла, он рухнул на кучу отходов, распугав кошек. Рейневан оглянулся. Теперь за ним гнался только Никлас.

Не снижая скорости, он вылетел из тупичка рубщиков на площадку, где работали кожевенники. А когда прямо перед носом у него неожиданно вырос обвешенный мокрыми шкурами стеллаж, он поднял коня и заставил его прыгнуть. Конь прыгнул. Рейневан не свалился. Опять чудом.

Никласу повезло гораздо меньше. Его конь врылся в землю копытами перед стеллажом и протаранил его, скользя в грязи, жире и требухе. Самый младший Стерча перелетел через конскую голову. Очень, ну, очень неудачно. Пахом и животом прямо на оставленный кожевенниками мездровальный нож.

Вначале Никлас просто не понял, что произошло. Он вскочил, подбежал к коню и ухватил вожжи. Конь захрапел и попятился. Юный Стерч вдруг ощутил, что ноги его не держат. По-прежнему не соображая, что происходит, он поехал по грязи за пятящимся и храпящим конем. Наконец опустил вожжи и попытался встать. Поняв, что тут не все в порядке, глянул на свой живот. И заорал, елозя в быстро расползающейся луже крови.

Подъехал Дитер Гакст, остановил коня, спрыгнул с седла. То же спустя минуту сделали Вольфгер и Виттих Стерчи.

Никлас тяжело сел. Снова взглянул на свой живот. Крикнул, потом разревелся. Глаза у него начал заволакивать туман. Хлещущая из живота кровь смешивалась с кровью зарезанных утром быков и хряков.

– Никлаааас!

Никлас Стерча закашлялся, подавился. И умер.

– Ты – мертвец, Рейневан Беляу, – проревел в сторону ворот бледный от ярости Вольфгер Стерча. – Я поймаю тебя, убью, уничтожу, изведу вместе со всем твоим змеиным родом! Со всем твоим змеиным родом, слышишь?!

Рейневан не слышал. Конь, грохоча подковами по доскам моста, нес его в это время из Олесьницы на юг, прямо на вроцлавский тракт.

Глава вторая,

в которой читатель узнает о Рейневане еще больше, причем в основном из разговоров, которые ведут о нем различные люди, как настроенные доброжелательно, так и совсем наоборот. В это время сам Рейневан скитается по подолесьницким лесам. Описывать его блуждания автор не станет, так что читатель nolens volens должен представить их себе сам

– Присаживайтесь, присаживайтесь к столу, господа, – пригласил членов магистрата Бартоломей Захс, бургомистр Олесьницы. – Что прикажете подать? Из вин, откровенно говоря, у меня нет ничего, чем можно было бы похвастаться. Но пиво, ого, сегодня мне прямо из Свидницы привезли. Выдержанное, первого сорта, из глубокого холодного подвала.

– Ну, значит, пива, господин Бартоломей, – потер руки Ян Гофрихтер, один из самых богатых купцов города. – Пиво – наш напиток, а вином пусть благородные и иже с ними кишки себе квасят… С позволения вашего преподобия…

– Ничего, ничего, – улыбнулся Якуб фон Галль, приходской священник у Святого Яна Евангелиста. – Я ж не из дворян, я – плебан. А плебан, как следует из самого названия, завсегда с народом, стало быть, и мне пивом брезговать не пристало. А отведать могу, ибо вечерня уже позади.

Они сидели за столом в большой, низкой, побеленной зале ратуши, обычном месте заседаний магистрата. Бургомистр на своем привычном стуле, спиной к камину, плебан Галль рядом, лицом к окну. Напротив сел Гофрихтер, рядом с ним Лукас Фридман, пользующийся успехом зажиточный золотых дел мастер в модном вамсе и бархатном берете на красиво подстриженной шевелюре, выглядевший совсем как дворянин. Бургомистр откашлялся и, не дожидаясь, пока слуги принесут пиво, начал.

– И что мы имеем? – проговорил он, сплетая пальцы на обширном животе. – Что соизволили устроить нам в нашем городе благородные господа рыцари? Драку у августинцев. Конные, стал-быть, гонки по улицам города. Заварушку на рынке: несколько побитых, в том числе один ребенок серьезно. Приведено в негодность имущество, испоганен товар. Крупные потери, стал-быть, материальные. Почти до самого ужина ко мне лезли *merkatores et institores*[31] с требованиями возместить убытки. Вообще-то я обязан отсылать их с претензиями к господам

Стерчам в Берутов, Ледну и Стежендорф.

– Лучше не надо, – сухо посоветовал Ян Гофрихтер. – Хоть и я тоже полагаю, что господа рыцари последнее время сверх меры разбушевались, однако нельзя забывать ни о причинах, ни о следствиях оного. Следствием же, причем трагическим, стала смерть юного Никласа де Стерча. А причина: распущенность и разврат. Стерчи защищали честь брата, гнались за прелюбодеем, соблазнившим невестку и опозорившим супружеское ложе. Правда, они малость погорячились и переусердствовали..

Купец умолк под многозначительным взглядом плебана Якуба. Ибо, когда плебан Якуб давал взглядом понять, что желает высказаться, умолкал даже сам бургомистр. Якуб Галль был не просто приходским священником здешней церкви, но и секретарем олесьницкого князя Конрада и каноником в капитуле вроцлавского кафедрального собора.

– Мужеложство есть грех, – проговорил плебан, распрямляясь за столом. – Мужеложство есть также преступление. Но за грехи карает Господь, а за преступления – закон. Самосудов же и убийств не оправдывает никто.

– Вот-вот, – поддержал *credo* бургомистр, но тут же умолк и все внимание уделил принесенному в этот момент пиву.

– Никлас Стерча, что нас особо печалит, – добавил Галль, – погиб трагически, но в результате несчастного случая. Однако если б Вольфгер с компанией поймали Рейневана де Беляу, то мы, в соответствии с нашей юрисдикцией, имели бы дело с убийством. Впрочем, неизвестно еще, не будем ли. Напоминаю, что приор Штайнкеллер, жестоко побитый братьями Стерчами благочестивый старец, еле живой лежит у августинцев. Если после такого избиения он умрет, то возникнет проблема. Как раз для Стерчей.

– Что же до преступления чужеложства, – злотник Лукас Фридман вперился в свои унизанные перстнями ухоженные пальцы, – то примите во внимание, уважаемые господа, что это вовсе не наша юрисдикция. Хоть в Олесьнице и имел место разврат, участники оного подчиняются не нам. Гельфрад Стерча, которому изменила супруга, – вассал Зембицкого князя, как и соблазнитель, юный медик Рейнмар де Беляу…

– У нас имел место разврат и у нас имело место преступление, – жестко проговорил Гофрихтер. – К тому же немалое, если верить тому, в чем стерчева супруга призналась у августинцев. Что, мол, медикус ее чарами околдовал и чернокнижеством довел до греха. Принудил против ее желания.

– Все так говорят, – проворчал из глубин кружки бургомистр.

– Тем более, – равнодушно добавил злотник, – когда им

приставляет нож к горлу кто-нибудь вроде Вольфгера де Стерчи. Правильно сказал преподобный отец Якуб: мужеложство есть преступление, *crimen,* и как таковое нуждается в расследовании и суде. Нам здесь не нужна кровная месть или побоища на улицах, мы не допустим, чтобы разбушевавшиеся хозяйчики поднимали тут руку на священников, размахивали ножами и уродовали людей на площадях. В Свиднице попал в башню один из Панневицей за то, что ударил оруженосца и кордом ему грозил. И это справедливо. Нельзя допустить разврата времен рыцарского произвола и своеволия. Дело должен рассмотреть князь.

– Тем более, – поддержал кивком головы бургомистр, – что Рейнмар из Белявы – дворянин, а Адель Стерчева – дворянка. Мы не можем их выпороть, как каких-то простолюдинов, или изгнать из города. Все должен решать князь.

– Спешить с этим не следует, – бросил, глядя в потолок, плебан Якуб Галль. – Князь Конрад выезжает во Вроцлав, перед выездом у него бесчисленное множество дел. Слухи, как и всякие слухи, конечно, наверняка уже давно дошли до него, но сейчас не время придавать этим слухам официальный статус. Достаточно будет, когда князь вернется, изложить ему проблему. А до того времени многое может решиться само собой.

– Я тоже так считаю, – опять кивнул Бартоломей Захс.

– И я, – добавил злотник.

Ян Гофрихтер поправил куний колпак, сдул пену с кружки.

– Князя, – проговорил он, – информировать пока не стоит, подождем, когда вернется, в этом я согласен с вами, уважаемые. Но Святой Официум уведомить надобно. К тому же немедля. О том, что мы у медикуса в кабинете нашли. Не крутите головой, господин Бартоломей, не стройте рожиц, уважаемый господин Лукас. А вы, преподобный, не вздыхайте и не считайте мух на потолке. Мне все это так же нужно, как и вам, и я так же жажду увидеть здесь Инквизицию, как и вы.

Но при вскрытии кабинета присутствовало множество людей. А там, где скапливается много народу, всегда – думаю, я не открою страшную тайну – отыщется по крайней мере хотя бы один, который донесет Инквизиции. А если в Олесьницу нагрянет визитатор, то он нас же первых спросит, почему мы тянули.

– Я же, – Галль оторвал взгляд от потолка, – объясню. Лично я. Ибо это мой приход и на мне лежит обязанность информировать епископа и папского инквизитора. Мне также полагается оценивать, возникли ли обстоятельства, обосновывающие вызов и загрузку работой курии и Суда.

– Колдовство, о котором вопила у августинцев Адель Стерчева, не обстоятельство? Кабинет – не обстоятельство?

Алхимическая реторта и пентаграмма на полу – не обстоятельства? Мандрагора? Черепа, руки скелетов? Хрусталь и зеркала? Бутылки и флаконы дьявол знает с какой дрянью или ядом? Лягушки в банках? Все это – не обстоятельства?

– Нет. Инквизиторы – люди серьезные. Их дело – *inquisito de articulis fidel,*[32] а не какие-то бабские выдумки, предрассудки и лягушки. Такими глупостями я и не подумаю забивать им головы.

– А книги? Те, что вот здесь лежат?

– Книги, – спокойно ответил Якуб Галль, – вначале следует изучить. Внимательно и не спеша. Святой Официум не запрещает читать книги и владеть ими.

– Во Вроцлаве, – угрюмо сказал Гофрихтер, – только что двое отправились на костер. Говорят, как раз за то, что у них были книги.

– Отнюдь не за книги, – сухо возразил плебан, – а за контумацию, за отказ отречься от сведений, содержащихся в этих книгах. Среди которых были письма Виклифа и Гуса, лоллардский *«Floretus»,*[33] пражские статьи и многочисленные другие гуситские либеллы[34] и манифесты. Ничего подобного я не вижу среди книг, реквизированных в кабинете Рейнмара из Белявы, а вижу почти исключительно медицинские произведения. Кстати, в большинстве своем либо даже полностью являющиеся собственностью скриптория монастыря августинцев.

– Повторяю. – Ян Гофрихтер встал, подошел к выложенным на столе книгам. – Повторяю, я вовсе не горю желанием обратиться ни к епископской, ни к папской Инквизиции, я не намерен ни на кого доносить и видеть кого-либо вопящим на костре. Но тут речь идет о наших, прошу прощения, задницах. Чтобы и на нас не пало обвинение за эти книги. А что мы среди них видим? Кроме Галена, Плиния и Страбона? Саладин де Аскуло, *«Compendium aromatorum»,* Скрибоний Ларг, *«Compositiones medicamentorum»,* Бартоломей Англичанин, *«De proprietatibus rerum»,* Альберт Великий, *«De vegetalibus et peantes».* «Великий», надо же, прозвище воистину достойное колдуна. А это, извольте, Сабур бен Саад. Абу Бекр аль-Рази. Нехристи! Сарацины!!

– Этих сарацинов, – спокойно пояснил, рассматривая свои перстни, Лукас Фридман, – преподают в христианских университетах. Как медицинских авторитетов. А ваш «колдун» – Альберт Великий – это епископ Регенсбургский, ученый теолог.

– Да? Хм-м… Посмотрим дальше… Вот! *«Causae et curae»,* написанная Хильдегардой Бингенской. Наверняка колдунья эта Хильдегарда!

– Не совсем, – улыбнулся плебан Галль. – Хильдегарда Бингенская, пророчица, именуемая Рейнской Сивиллой.

Скончалась в ауре святости.

– Хе. Ну, если вы так утверждаете… А это что такое? Джон Герард? *«General… Historie… of Plante».* Интересно, по-какому это? Не иначе – по-жидовскому. Впрочем, скорее всего какой-нибудь очередной святой. А вот здесь *«Herbarius»* Томаса Богемского.

– Как вы сказали? – поднял голову плебан Якуб. – Томас Чех?

– Так здесь написано.

– А ну покажите… Хм-м… Любопытно, любопытно… Все, оказывается, остается в семейном кругу. И вокруг родни крутится-вертится.

– Какой родни?

– Семейной. – Лукас Фридман по-прежнему, казалось, интересовался только своими перстнями. – Лучше не скажешь. Томас Чех, или Богемец, автор этого гербариуса, прадед нашего Рейнмара, любителя до чужих жен, наделавшего нам столько неприятностей и хлопот.

– Томас Богемец, Томас Богемец, – собрал в складки лоб бургомистр, – именуемый также Томасом Медиком. Слышал. Он был другом одного из князей… Не помню…

– Князя Генриха VI Вроцлавского, – спокойно пояснил злотник Фридман. – И верно, этот Томас был его другом. Крупный был в то время ученый, способный врач. Учился в Падуе, в Салерно и Монпелье…

– Говорили также, – вклинился Гофрихтер, уже некоторое время кивками подтверждавший, что тоже припоминает, – он еще был чародеем и еретиком.

– Ну, прицепились вы, господин Ян, – поморщился бургомистр, – к колдовству, что твоя пиявка. Успокойтесь.

– Томас Богемец, – заметил слегка суховатым тоном плебан, – был лицом духовным. Вроцлавским каноником, потом даже суфраганом дицезии[35] и почетным епископом Сарепты.[36] Он был лично знаком с папой Бенедиктом XII.

– Об этом папе тоже всякое говорили, – не думал отступать Гофрихтер. – Да, случались колдуны и среди инфулатов.[37] В свое время инквизитор Швенкефельд…

– Да прекратите вы наконец, – оборвал его плебан Якуб. – Нас сейчас интересует нечто иное.

– И верно, – подтвердил злотник. – Я, например, знаю, что у князя Генрика не было потомка мужеского полу, а были только три дочери. С самой младшей, Маргаритой, наш священник Томас позволил себе завести роман.

– И князь допустил? Неужто настолько сильна была дружба?

– Князь в то время уже упокоился, – снова пояснил злотник. – Княгиня же Анна либо не знала, чем тут пахнет, либо знать не

желала. Томас Чех в те годы еще не епископствовал, но был в прекрасных отношениях с остальной Силезией: с Генрихом Верным в Глогове, Казимиром в Чешине и Фриштатте, свидницко-яворским Больком Младшим, бытомско-козельским Владиславом, Людвигом из Бжега. К тому же представьте себе, господа, что человек не просто бывает в Авиньоне у Святого Отца, но еще и ухитряется извлечь у него мочевой камень так ловко, что после операции пациент не только сохраняет… куську, но она у него еще и встает. Если даже не ежедневно, то все же… Хоть, возможно, и звучит это несколько забавно, тем не менее я нисколько не шучу. Считается, что именно благодаря Томасу у нас в Силезии до сих пор сидят Пясты.[38] Он, кстати, с равным успехом помогал и мужчинам, и женщинам. А также супружеским парам, если вы понимаете, что я имею в виду.

– Боюсь, – сказал бургомистр, – что нет.

– Он ухитрялся помочь чете, у которой ничего не получалось в супружеском ложе. Теперь понимаете?

– Теперь – да, – кивнул Гофрихтер. – Стало быть, вроцлавскую княжну он… э… обработал тоже скорее всего в строгом соответствии с медицинским искусством. Результатом, естественно, оказался ребенок.

– Естественно, – подтвердил плебан Якуб. – Дело прикрыли обычной методой. Маргариту заперли у кларисок,[39] ребенок попал в Олесьницу к князю Конраду. Конрад воспитывал его как сына. Томас Богем становился все более значительной фигурой всюду – в Силезии, в Праге у императора Карла IV, в Авиньоне, поэтому карьера мальчику была обеспечена уже с детства. Конечно, карьера духовная. В зависимости от того, сколь разумен он будет. Был бы глупым – получил бы сельский приход. При средней глуповатости его сделали бы аббатом где-нибудь у цистерцианцев. Был бы умным – ждала б капитула одной из коллегиат.

– А каким он оказался?

– Неглупым. Пристойным, как отец. И храбрым. Не успел еще никто что-либо предпринять, а будущий князь уже бился с великопольчанами плечом к плечу с младшим князем, будущим Конрадом Старым. И бился так храбро, что не было другого выхода, как посвятить его в рыцари с пожалованием земельного надела. Таким-то манером скончался князек Тимо, да здравствует рыцарь Тимо Богем из Белявы, *von Belau.* Рыцарь Тимо, который вскоре недурно продвинулся, взяв в жены младшую дочку Гейденрайха Ностица.

– Ностиц выдал дочь за поповского ублюдка?

– К тому времени поп, родитель «ублюдка», стал вроцлавским

суфраганом и епископом Сарепты, знался со Святым Отцом, вышел в советники Вацлава IV и был запанибрата со всеми князьями Силезии. Старый Гейденрайх наверняка и сам охотно сбагрил бы ему свою доченьку.

– Возможно.

– Из связи ностицевой дочери с Тимо де Беляу родились Генрик и Томас. В Генрике, видать, отозвалась дедова кровь, потому как он стал священником, прошел обучение в Праге и до смерти, совсем недавней, был схоластиком[40] у Святого Креста во Вроцлаве. Томас же взял в жены Богушку, дочь Микши из Прохова, и родил с нею двух детей: Петра, прозванного Петерлином, и Рейнмара, именуемого Рейневаном. Петерлин, или Петрушка, и Рейневан, то есть Пижма. Этакие овощно-травяные когномены[41] – понятия не имею, сами ли они себе их придумали, или это была фантазия отца, который, раз уж мы об этом заговорили, полег под Танненбергом.

– На чьей стороне?

– На нашей, христианской.

Ян Гофрихтер покачал головой, отхлебнул из кружки.

– А этот Рейнмар-Рейневан, привыкший подкатываться под бочок к чужим женам… Он кто у августинцев? Облат?[42] Конверс?[43] Послушник?

– Рейнмар Беляу, – усмехнулся плебан Якуб, – медик, учившийся в пражском Карловом университете. Еще до занятий в университете он обучался в кафедральной школе во Вроцлаве, потом познавал секреты травничества у свидницких аптекарей и у духовенства в Бжегском приюте. Именно духари и дядя Генрик, вроцлавский схоластик, пристроили его к нашим августинцам, специализировавшимся на лечении травами и злаками. Парень честно и искренне, доказав тем свое призвание, изучал медицину в Праге. Кстати, тоже по протекции дяди и на деньги, которые тот имел от канонии. На учебе, видимо, старался, потому что через два года стал бакалавром искусств, *artium baccalaureus*. Из Праги выехал сразу после… Хм-м…

– Сразу после дефенестрации,[44] – не побоялся докончить бургомистр. – И это явно доказывает, что с гуситской, стал-быть, ересью его ничто не связывает.

– Ничто не связывает, – спокойно подтвердил злотник Фридман. – Я хорошо знаю это от сына, который в то время тоже обучался в Праге.

– Прекрасно получилось, – добавил бургомистр Захс, – что Рейневан вернулся в Силезию, и еще лучше, что к нам, в Олесьницу, а не в Зембицкое княжество, где его брат рыцарски служит князю Яну. Это хороший, разумный, хоть и молодой

парень, а в траволечении столь умелый, что таких еще поискать. Жене моей чирьяки, которые у нее, стал-быть, там, ну, на теле появились, вылечил, а дочку от постоянного кашля освободил. Мне для глаз, которые слезились, дал отвар. Прошло, как рукой сняло…

Бургомистр замолк, закашлялся, засунул руки в обшитые мехом рукава делии. Ян Гофрихтер быстро глянул на него и заявил:

– Таким образом, наконец-то у меня посветлело в голове. Я имею в виду Рейневана. Теперь я знаю все. Хоть и незаконнорожденный, но кровь пястовская. Сын епископский. Любимец князей. Родственник Ностицей. Племянник схоластика вроцлавской колегиаты. Сыновьям богатеев – товарищ по учебе. К тому же, будто всего этого мало, успешно практикующий медик, чуть ли не чудотворец, ухитрившийся заработать благорасположение власть имущих. А от чего же это он вылечил вас, преподобный отец Якуб? От какого, любопытствую, недуга?

– Недуги, – холодно ответил плебан, – не тема для обсуждения. Так что скажу без подробностей: вылечил.

– Такого человека, – добавил бургомистр, – нельзя травить. Жаль, если такой погибнет от кровной мести только потому, что однажды забылся, очарованный парой прекрасных, стал-быть, глазок. Так пусть же продолжает служить обществу. Пусть лечит, коли умеет…

– Даже, – фыркнул Гофрихтер, – используя пентаграмму на полу?

– Ежели это лечит, – серьезно сказал Галль, – ежели помогает, ежели успокаивает боль, то даже. Такие способности – дар Божий. Господь одаряет ими по своей воле и по ему одному известному намерению. *Spiritus flat, ubi vult*[45] Пути Господни неисповедимы.

– Аминь, – подсуммировал бургомистр.

– Короче говоря, – не сдавался Гофрихтер, – такой человек, как Рейневан, виновным быть не может? Об этом речь? Э?

– Кто невинен, – ответствовал с каменным лицом Якуб Галль, – пусть первым бросит камень. А Бог всех нас рассудит.

Некоторое время стояла тишина, настолько глубокая, что слышен был шелест крыльев ночных бабочек, бьющихся в окна. Со Свентоянской улицы донесся протяжный и певучий голос городского стражника.

– Итак, подводим итог. – Бургомистр выпрямился за столом так, что уперся в него животом. – Балаган в граде нашем Олесьнице устроили братья Стерчи. В материальном уроне и телесных повреждениях, возникших на рынке, виноваты Стерчи. В потере здоровья и, не приведи Господи, смерти его преподобия

приора Штайнкеллера виноваты братья Стерчи. Они, и только они. Случившееся с Никласом фон Стерча было, стал-быть, прискорбной случайностью. Так я и изображу события князю, когда он вернется. Все согласны?

– Согласны.

– *Consensus omnium.*[46]

– *Concordi voce.*[47]

– А если Рейневан где-нибудь объявится, – добавил после минутного молчания плебан Галль, – то я советую господам тихо изловить его и запереть. Здесь, в карцере нашей ратуши. Ради его же собственной безопасности. Пока все не уляжется.

– Хорошо бы, – добавил Лукас Фридман, рассматривая перстни, – сделать это побыстрее. Прежде чем обо всем узнает Таммо Стерча.

Выходя из ратуши прямо во мрак улицы Светоянской, купец Гофрихтер уголком глаза уловил движение на освещенной луной стене башни – передвигающийся нечеткий силуэт немного пониже окон городского трубача, но повыше окон комнаты, в которой только что окончился совет. Взглянул, заслонив глаза от мешавшего видеть света фонаря, который нес слуга. «Какого черта, – подумал он и тут же перекрестился. – Что это там лазит по стенам? Филин? Сова? Летучая мышь? А может…»

Гофрихтер вздрогнул, перекрестился снова, по самые уши натянул куний колпак, закутался в шубу и прытко двинулся в сторону своего дома.

Поэтому так и не увидел, как большой стенолаз[48] распростер крылья, спустился, спорхнув с парапета, и беззвучно, словно дух, будто ночной призрак, понесся над крышами города.

Апечко Стерча, живший на Ледней, не любил бывать в замке Штерендорф. Причина была одна, к тому же простая: Штерендорф принадлежал Таммо фон Стерче, главе, сеньору и патриарху рода. Либо, как говорили некоторые, тирану, деспоту и мучителю.

В комнате было душно. И мрачно. Таммо фон Стерча не позволял раскрывать окон, опасаясь, как бы его не продуло, ставни тоже открывать не разрешалось, потому что свет резал глаза калеки.

Апечко был голоден. И запылен. Но некогда было ни поесть, ни почиститься. Старый Стерча не любил ждать. И не привык потчевать гостей. Особенно – родственников.

Поэтому Апечке оставалось только глотать слюну, чтобы смочить горло – выпить ему, естественно, тоже не подали, – и

сейчас он излагал Таммо олесьненские события. Делал он это неохотно, но ничего не попишешь – надо. Калека – не калека, паралитик – не паралитик, но Таммо был главой рода. Сеньором, не спускавшим непослушания.

Старик слушал сообщение, устроившись на стуле в присущей ему невероятно перекошенной позе. «Старый покорёженный хрыч, – подумал Апечко. – Холерное изломанное пугало».

Причины состояния, в котором пребывал патриарх рода Стерчей, были известны не до конца и не всем. Согласие царило только в одном – Таммо хватил удар, когда он не в меру рассвирепел. Одни утверждали, якобы старец взбесился, узнав, что его личный враг ненавистный вроцлавский князь Конрад получил церковное епископское посвящение и стал наимогущественнейшей личностью Силезии. Другие уверяли, будто трагическую вспышку вызвала невестка Анна из Погожелья, пережарившая Таммо его любимое блюдо – гречневую кашу со шкварками. Как там случилось «в натуре», неизвестно, однако результат был, как говорится, налицо, и не заметить его было невозможно. После произошедшего Стерча мог шевелить – впрочем, очень неуклюже, – только левой рукой и левой ногой. Правое веко было всегда опущено, из-под левого, которое ему иногда удавалось приподнять, порой пробивались слизистые слезы, а из уголка перекошенного в кошмарной гримасе рта текла слюна. Несчастье привело также к почти полной утрате речи, откуда и пошло прозвище старика – Хрипач.

Однако потеря способности говорить не повлекла за собой – на что рассчитывала вся родня – потери контакта с миром. О нет. Владелец Штерендорфа по-прежнему держал род в узде и был пугалом для всех, а то, что хотел сказать, говорил, так как всегда на подхвате у него был кто-нибудь из тех, кто ухитрялся понять и переложить на человеческий язык его бульканья, храпы, гундосенье и крики. Этим кем-то, как правило, был ребенок – один из многочисленных внучат либо правнучат Хрипача.

Сейчас в толмачах ходила десятилетняя Офка фон Барут, которая, сидя у ног старца, наряжала кукол в цветные лоскутки.

– Так вот. – Апечко Стерча закончил рассказ и откашлялся. После чего перешел к заключению. – Вольфгер через посланца просил уведомить, что с делом управится быстро. Что Рейнмар Беляу будет схвачен на вроцлавском тракте и понесет наказание. Однако сейчас руки у Вольфгера связаны, потому как по тракту движется со всем своим двором олесьницкий князь и всякие важные духовные особы, так что никак не получится… Неизвестно, как погоню вести. Но Вольфгер клянется, что изловит Рейневана и что ему можно доверить честь рода.

Веко Хрипача подскочило, изо рта вытекла струйка слюны.

– Ббббх-бхх-бхх-бхубху-рррххп-пххх-ааа-ррх! – разлилось в комнате. – Ббб… хрррх-урррхх-бхуух! Гуггу-ггу…

– Вольфгер – дурной кретин, – перевела тоненьким мелодичным голоском Офка фон Барут. – Глупец, которому я не доверил бы даже ведра блевотины. А единственное, что он способен поймать, это свой собственный кутас.

– Отец…

– Ббб-брррх! Бххр! Уу-пхр-ррррххх!

– Молчать! – не поднимая головы, перевела занятая куклой Офка. – Слушать, что я скажу. Что прикажу.

Апечко терпеливо переждал хрипы и скрипы, дождался их перевода.

– Для начала, Апеч, велишь установить, – приказывал Таммо Стерча устами девочки, – какой берутовской бабе поручили надзор над бургундкой и которая не разобралась в истинной цели благотворительных походов бургундки в Олесьницу. Похоже, она была в сговоре с паршивкой. Бабе отвесить тридцать пять крепких розг. По голой заднице. Здесь, у меня, на моих глазах. Пусть нам хоть это доставит немного радости.

Апечко Стерча кивнул головой. Хрипач закашлялся, захрипел и весь оплевался. Потом жутко скривился и загугнил.

– А бургундку, – перевела Офка, расчесывая маленьким гребешком паклевые волосы куклы, – о которой мне уже известно, что она спряталась у лиготских цистерцианок, приказываю вытащить оттуда, даже если для этого понадобится брать монастырь штурмом. Потом запереть развратницу у верных нам монахов, например…

Таммо резко перестал икать и гугнить, скрип замер у него в горле. Прошиваемый навылет кровавым глазом Апечко понял, что старик заметил его обеспокоенную мину. Сообразил. Дальше правду скрывать было нельзя.

– Бургундка, – промямлил он, – сумела сбежать из Лиготы. Втихаря… Неизвестно куда. Заняты погоней… Не уберегли… мы…

– Интересно, – перевела Офка после долгой тишины, – интересно, почему это меня вовсе не удивляет. Но коли так, то пусть так и будет. Я не стану забивать себе голову курвой. Пусть эту историю расхлебывает Гельфрад, когда вернется. Пусть все сделает собственноручно. Меня его рога не колышат. Впрочем, в этой семейке подобное не новость. Меня самого когда-то здорово оброгатили. Ибо не может быть, чтобы мои собственные чресла породили таких дурней.

Хрипач несколько минут кашлял, хрипел, храпел и давился.

Но Офка не переводила, стало быть, это была не речь, а обычный кашель. Наконец старец заскрипел, набрал духу, скривился как черт и саданул посохом о пол, после чего забулькал-захрипел-загугнил. Офка прислушалась, засунув в рот конец косы.

– Но Никлас, – перевела она, – был надеждой нашего рода. Истинная моя кровь, кровь Стерчей, не какие-то обмылки после неведомо каких собачьих случек. Поэтому нельзя допустить, чтобы убийца не заплатил за пролитую им кровь. К тому же с лихвой.

Таммо снова долбанул палкой о пол. Палка выпала у него из трясущейся руки. Хозяин Штерендорфа кашлял и чихал, отплевываясь и покрываясь соплями. Стоящая рядом Грозвита фон Барут, дочь Хрипача и мать Офки, отерла ему бороду, подняла и сунула в руку посох.

– Хгрррхх! Хрхх… Ббб… бхрр… бхррллгг…

– Рейнмар Беляу заплатит мне за Никласа, – без всяких эмоций переводила Офка. – Заплатит, Бог мне свидетель и все святые. Я засажу его в яму, в клетку, в такой сундук, в котором глоговцы заперли Генрика Толстого, с одной дыркой для кормежки и другой как раз напротив, так чтобы он даже почесаться не мог. И продержу его там с полгода. И только потом возьмусь за него. А за палачом пошлю аж в Магдебург, у них там отличные палачи, не то что здешние, силезские, у которых деликвент[49] подыхает уже на второй день пыток. О нет, я притащу мастера, который посвятит убийце Никласа неделю. Либо две.

Апечко Стерча сглотнул.

– Но чтобы это сделать, надо сначала прохвоста схватить. А тут нужна голова. Разум. Потому что сукин сын не глуп. Глупец не сделался бы бакалавром в Праге, не закрался бы в доверие к олесьницким монахам. И не сумел бы так ловко подобраться к Гельфрадовой француженке. За таким ловкачом мало гоняться будто дурак дураком по вроцлавскому тракту, выставлять себя на посмешище. Придавать делу широкую огласку, которая служит службу не нам, а соблазнителю.

Апечко кивнул. Офка взглянула на него, потянула курносым носом и продолжала.

– У соблазнителя есть брат, сидящий на земельном наделе где-то подле Генрикова. Вполне вероятно, что там он поищет укрытия. А может, уже нашел. Другой же Беляу был, пока жил, попом при вроцлавской церкви, поэтому не исключено, что подлец захочет спрятаться у подлеца. Я хотел сказать – у его преподобия епископа Конрада. Старого пьянчуги и разбойника.

Грозвита Барут снова вытерла старцу бороду, обсмарканную в

гневе.

– Кроме того, у хахаля есть знакомцы среди духовников в Бжеге. В приюте. Именно туда и мог наш умник отправиться, чтобы сбить с толку Вольфгера. Что, впрочем, не так уж и трудно. И наконец, самое важное, наставь уши, Апеч. Я уверен, что наш соблазняга захочет разыграть из себя трувера, прикинуться каким-нибудь засраным Лоэнгрином или другим Ланселотом… Захочет подползти к французке. И там, в Лиготе, вернее всего, мы его и прихватим, как кобеля при сучке во время течки.

– Как же так, в Лиготе-то? – осмелел Апечко. – Ведь она…

– Сбежала. Знаю. Но он-то не знает.

«Старый хрен, – подумал Апечко, – душа у него еще сильнее перекошена, чем тело. Но хитер лис! И знает, прямо сказать, многое. Все».

– Но для того, что я сказал, – переводила на человеческий язык Офка, – вы, сыновья мои и племянники, похоже, кровь от крови и кость от кости моей, годитесь плохо. Поэтому что есть духу ты сначала отправишься в Немодлин, а потом в Зембицы. Там… Слушай как следует, Апеч, отыщешь Кунца Аулока по прозвищу Кирьелейсон. И других: Вальтера де Барби, Сыбка из Кобылейглавы, Сторка из Горговиц. Этим скажешь, что Таммо Стерча заплатит тысячу рейнских золотых за живого Рейнмара де Беляу. Тысячу, запомни.

Апечко сглатывал слюну при каждом имени. Потому что это были имена самых жутких во всей Силезии разбойников и убийц, мерзавцев без совести и чести. И без веры. Готовых замордовать собственную бабушку за сказочную сумму в тысячу гульденов. «Моих гульденов, – зло подумал Апечко. – Потому что они должны были бы стать моей долей после того, как паскудный скелетина откинет наконец копыта».

– Ты понял, Апечко?

– Да, отец.

– Тогда – пшел! Вываливай отсюда. Давай – в путь. Выполняй что приказано.

«Сначала, – подумал Апечко, – пойду на кухню и выпью за двоих. Скупец дряхлый. А там – посмотрим».

– Апеч.

Апечко Стерча повернулся. И взглянул. Но не на искривленное и налившееся кровью лицо Хрипача, которое не в первый раз показалось ему здесь, в Штерендорфе, чем-то противоестественным, ненужным, каким-то неуместным. Апечко глянул в огромные ореховые глаза маленькой Офки, посмотрел на Грозвиту, стоящую за стулом…

– Да, отец?

– Не подведи нас.

«А может, – пронеслось у Апечки в голове, – это вовсе и не он? Может, его здесь нет, может, на стуле сидят останки, полутруп, у которого паралич уже полностью выжрал мозг? Может, это… они. Эти бабы – молоденькие, юные, средние и старые – командуют в Штерендорфе?»

Он быстренько отогнал от себя нелепую мысль.

– Не подведу, отец.

Апечко Стерча и не подумал спешно выполнять приказы, а вместо этого, бормоча под нос ругательства, быстро направился в кухню замка и велел подать себе все, чем упомянутая кухня богата. В том числе остатки оленьего окорока, жирные свиные ребрышки, большой круг кровяной колбасы, шмат подсушенной пражской ветчины и несколько отваренных в бульоне голубей. Вдобавок – ковригу хлеба размером с сарацинский круглый щит. Ну и разумеется, вина, самого лучшего, венгерского и молдавского, которое Хрипач держал исключительно для собственного употребления. Однако паралитик мог сколь угодно командовать и хозяйничать у себя в комнате наверху, а вне этого пространства исполнительная власть принадлежала другому. За пределами комнаты хозяином был Апечко Стерча.

Апечко таковым себя и чувствовал, а поэтому сразу же, как только вошел в кухню, показал это всем и вся. Собака получила пинка, заскулила и сбежала. Сбежала кошка, ловко увильнув с трассы запущенного в нее деревянного черпака. Слуги аж присели, когда на каменный пол грохнулся чугунный котел. Растерявшаяся больше других служанка отхватила по шее и тут же узнала, что она курвочка и недотепа. Очень много сведений о себе и своих родителях получили слуги, причем некоторые из них познакомились с хозяйским кулаком, твердым и тяжелым, как железная чушка. Тот, которому пришлось дважды повторить приказ принести вина из хозяйского погреба, получил такого пинка, что в путь отправился на четвереньках.

Вскоре после этого расположившийся за столом Апечко – хозяин Апечко! – жрал жадно и огромными кусками, пил попеременно молдавское и венгерское, по-господски кидал на пол кости, плевался, отрыгивал и из-подо лба поглядывал на толстую экономку, ожидая только предлога.

«Старый хрен, паралитик, пердун, отцом велит себя называть, а кто он мне? Всего лишь дядька, отцов брат. Но приходится терпеть. Потому что когда он наконец протянет ноги – я, самый старший Стерча, стану главой рода. Наследством, ясный перец, надо будет поделиться, но главой рода буду я. И все это знают.

Ничто мне не помешает, никто не может мне в этом…»

– Помешать, – вполголоса буркнул Апечко, – мне может драчка с Рейневаном и женой Гельфрада. Помешать мне может кровная месть, означающая стычку с ландфридом.[50] Помешать может наем убийц и разбойников. Шумное преследование, содержание в яме, избиение и пытка парня – родственника Ностицей, близкого по крови Пястам. И ленника Яна Зембицкого. И вроцлавский епископ Конрад, который Хрипача любит так же, как Хрипач его, только и ждет случая ухватить Стерчей за задницу.

Скверно, скверно, скверно.

«А всему виной, – неожиданно решил Апечко, ковыряя в зубах, – Рейневан. Рейнмар из Белявы. И за это он заплатит. Но не так, чтобы расшебуршить всю Силезию. Заплатит обычно, по-тихому, в темноте, ножом под ребро. Когда – как это здорово угадал Хрипач – он тайно явится в лиготский монастырь цистерцианок, под окно своей любовницы, Гельфрадовой Адели. Один удар ножом, всплеск воды в цистерцианском пруду с карпами. И ша. Ни звука.

С другой стороны, от поручения Хрипача полностью отмахиваться нельзя. Хотя бы потому, что Хрипач привык контролировать выполнение своих приказов. Поручать их выполнение не одному человеку, а нескольким.

Так, что же делать, ядрена вошь?»

Апечко со звоном всадил нож в крышку стола, одним духом опорожнил кружку. Поднял голову, встретил взгляд толстой экономки.

– Ну, чего вылупилась?

– Старый хозяин, – спокойно проговорила экономка, – недавно еще привез отличное итальянское. Велеть принести, ваша светлость?

– Само собой. – Апечко невольно улыбнулся, почувствовав, как спокойствие женщины передается и ему. – Конечно, прикажите нацедить, отведаем, что там дозрело в той Италии. Отправьте также кого-нито в сторожевую, пусть мне немедля доставят такого парня, который хорошо управляется с лошадью, да и чтоб голова была на плечах. Такого, который сумеет послание доставить.

– Как прикажете, хозяин.

Подковы зацокали по мосту, выезжающий из Штерендорфа гонец оглянулся, сделал ручкой невесте, машущей ему с вала беленькой косынкой. И неожиданно уловил движение на освещенной луной стене сторожевой башни. Шевелящуюся

туманную тень. «Кой черт, – подумал он, – что там такое лазит? Филин? Сова? Летучая мышь? А может…»

Гонец прошептал заклинание против сглаза, сплюнул в ров и дал коню шпоры. Послание, которое он вез, было срочным. А хозяин, давший его, строгим.

Он не видел, как большой стенолаз раскинул крылья и беззвучно, словно дух, словно ночное видение, полетел над лесами на запад, в сторону долины Видавы.

Замок Сенсенберг, как знали все, построили тамплиеры и неспроста выбрали именно это, а не другое место. Вздымающаяся над рваной кручей вершина горы была в древние времена местом отправления культа языческих богов, здесь стояла кончина,[51] в которой, судя по преданиям, древние обитатели этих земель, требовяне и бобряне, приносили своим идолам человеческие жертвы. Когда от капища остались только круги, выложенные из окатанных, обомшелых, укрывшихся среди сорняков камней, языческий культ не замирал, на вершине по-прежнему горели костры накануне Ивана Купалы. Еще в 1189 году вроцлавский епископ Жиослав жестокими карами угрожал тем, кто отважится отмечать в Сенсенберге *festum dyabolicum et maledicum.*[52] Да еще и без малого сто лет спустя епископ Вавжинец гноил в ямах тех, кто осмеливался праздновать.

Тем временем, как сказано, прибыли тамплиеры. Построили свои силезские замки, грозные и зубчатые миниатюры сирийских Краков,[53] возводившиеся под надзором людей, обмотанных платками и с лицами темными, как дубленая бычья кожа. Не случайно для размещения крепостей всегда выбирали священные места древних, уходящих в небытие культов, такие, как Малая Олесьница, Отмент, Рогов, Хабендорф, Фишбах, Петервиц, Овесно, Липа, Брачишова Гура, Серебряная Гура, Кальтенштайн. И конечно, Сенсенберг.

А потом тамплиерам пришел конец. Справедливо ли, нет ли, спорить поздно, но с ними покончили. Каждому известно, как это было. Их замки заняли иоанниты, поделили между собой быстро богатеющие монастыри и как грибы вырастающие силезские магнаты. Некоторые замки, несмотря на таившееся в их корнях могущество, очень скоро обратились в руины. Руины, которых избегали, обходили стороной. Которых боялись.

Не без причин.

Несмотря на быстро прогрессирующую колонизацию, несмотря на волны жаждущих земли поселенцев из Саксонии и Тюрингии, Надрейна и Франконии, гору и замок Сенсенберг по-прежнему окружала широкая полоса ничейных земель, пустошей,

на которые забирались только браконьеры да беглецы. Именно от них-то, браконьеров и беглых, впервые пошли рассказы о необычных птицах, о кошмарных наездниках, об огнях, мерцающих в окнах замка, о диких и жутких криках и пении, мрачной музыке органов, как бы пробивающейся из-под земли.

Были такие, которые не верили. Были и такие, которых соблазняли сокровища тамплиеров, вроде бы по-прежнему лежащие где-то в подземельях Сенсенберга. Были и просто любопытствующие и беспокойные души.

Эти не возвращались.

Окажись в ту ночь поблизости от Сенсенберга какой-нибудь браконьер, беглец или искатель приключений, гора и замок послужили бы поводом для возникновения очередных легенд. Из-за горизонта налетела буря, небо то и дело освещалось стрелами далеких молний, настолько далеких, что сюда не долетало даже ворчание грома. А черная на фоне разгоравшегося неба глыба замка вдруг расцвечивалась яркими глазницами окон.

И все потому, что внутри этой с виду развалины помещался огромный, с высоким потолком рыцарский зал. Освещавшие его канделябры, подсвечники и горящие в железных держателях факелы вырывали из мрака фрески на строгих голых стенах. На фресках рыцарские и религиозные сцены. На стоящий посреди зала огромный круглый стол глядели опустившийся на колени перед Граалем Персеваль, Моисей, несущий каменные скрижали с горы Синай, Роланд в битве под Альбраккой и святой Бонифаций, принимающий мученическую смерть от мечей фризов, Годфрид Бульонский, въезжающий в захваченный Иерусалим. И Иисус, второй раз падающий под тяжестью креста. Все они смотрели своими чуточку византийскими глазами на стол и сидящих за ним рыцарей в полных доспехах и плащах с капюшонами.

Через открытое окно с порывом ветра влетел большой стенолаз.

Птица совершила круг, отбрасывая призрачную тень на фрески, уселась, взъерошив перья, на спинку одного из стульев. Раскрыла клюв и заскрипела, а прежде, чем скрип умолк, на стуле уже сидела не птица, а рыцарь. В плаще и капюшоне, как близнец похожий на остальных.

– *Adsumus,*[54] – глухо проговорил Стенолаз. – Мы здесь, Господи, собравшиеся во имя Твое. Прииди к нам и пребудь среди нас.

– *Adsumus,* – в один голос повторили собравшиеся за столом рыцари. – *Adsumus! Adsumus!*

Эхо пронеслось по замку, как раскаты грома, как отзвуки

далекой битвы, как грохот тарана о городские ворота. И медленно замерло в темных коридорах.

– Хвала Господу, – проговорил Стенолаз, дождавшись тишины. – Близок день, когда в прах обратятся все враги Его. Горе им! Потому мы здесь!

– *Adsumus!*

– Провидение, – Стенолаз поднял голову, и глаза его загорелись отраженным светом пламени, – ниспосылает нам, братья мои, очередную возможность поразить врагов Господа и еще раз покарать врагов веры. Пришло время нанести очередной удар! Запомните, братья, это имя: Рейнмар из Белявы. Рейнмар из Белявы, именуемый Рейневаном. Послушайте.

Рыцари в капюшонах наклонились, слушая. Сгибающийся под тяжестью креста Иисус смотрел на них с фрески, а в его византийских глазах была беспредельность очень человеческого страдания.

Глава третья,

в которой разговор пойдет о делах, так мало – казалось бы – имеющих между собой общего, как соколиная охота, династия Пястов, капуста с горохом и чешская ересь. А также о диспуте, касающемся проблемы, следует ли, а если следует, то когда держать слово

У речки Олесьнички, извивающейся по черным ольховым заливным лугам среди белых берез и зеленеющих полей, на возвышении, с которого видны были крыши и дымы деревни Боровая, княжеский кортеж сделал долгий привал. Но не для того, чтобы перекусить самим и накормить лошадей, а совсем наоборот – для того, чтобы измучиться. То есть – по-господски – развлечься.

Когда кортеж подъезжал, с лугов сорвались тучи пернатых – уток, чирков, нырков и даже цапель. Видя это, князь Конрад Кантнер, хозяин Олесьницы, Тжебницы, Милюча, Счинавы, Воловья и Смогожева, а совместно с братом Конрадом Белым также и Козьла, немедля приказал свите остановиться и подать ему любимых соколов. Князь прямо-таки маниакально любил соколиную охоту. Олесьница и финансы могли подождать, вроцлавский епископ мог подождать, политика могла подождать, вся Силезия и весь мир могли подождать – и все ради того, чтобы князь мог увидеть, как его любимый Раби вырывает перья из крякв, и убедиться, что Серебряный выйдет победителем из воздушной схватки с цаплей.

Поэтому князь как одержимый носился галопом по прибрежным зарослям и заливным лугам, а вместе с ним столь же энергично, хоть и не совсем по своей воле, мотались его старшая дочь Агнешка, сенешаль Рудигер Хаугвиц и несколько карьеристов-пажей.

Остальная свита ожидала у леса. Не слезая с лошадей, поскольку неведомо было, когда князю наскучит. Заграничный гость князя незаметно зевал. Капеллан бурчал – вероятно, читал молитву, казначей шевелил губами, вероятно, считал деньги, миннезингер бормотал, вероятно, слагал стихи, девушки княжны Агнешки сплетничали, вероятно, относительно других девушек, а юные рыцари убивали скуку, объезжая и исследуя окружающие заросли.

– Эй, Бычок!

Генрик Кромпуш, сильно удивившись, остановил и развернул

коня, а потом прислушался, пытаясь понять, который куст тихо окликнул его фамильным прозвищем.

– Бычок!

– Кто здесь? Покажись.

Кусты зашевелились.

– Святая Ядвига… – Кромпуш от удивления аж рот раскрыл. – Рейневан? Ты?

– Нет, святая Ядвига, – ответил Рейневан голосом не менее кислым, чем крыжовник в мае. – Бычок, мне нужна помощь… Чья это свита? Кантнера?

Прежде чем Кромпуш сообразил что к чему, к нему присоединились еще два олесьницких рыцаря.

– Рейневан, – ахнул Якса из Вишни. – Господи Иисусе! Что за вид!

«Интересно, – подумал Рейневан, – как бы выглядел ты, если б конь у тебя пал сразу за Быстрым. Если б тебе пришлось всю ночь бродить по болотам и урочищам над Свежной, а к утру сменить мокрые и измазюканные тряпки на свистнутую с крестьянского забора сермягу. Интересно, как бы ты после всего этого выглядел, прилизанный фертик?»

Угрюмо поглядывавший на них третий олесьницкий рыцарь, Бонно Эберсбах, похоже, думал так же.

– Вместо того чтобы удивляться, – сухо сказал он, – дайте ему какую-нибудь одежку. Скинь это рванье, Беляу. А ну, господа, вытаскивайте из вьюков что у кого есть.

– Рейневан, – до Кромпуша все еще доходило слабо, – это ты?

Рейневан не ответил. Натянул брошенную ему рубаху и кафтан. Он был настолько зол, что казалось, вот-вот заплачет.

– Мне нужна помощь… – повторил он. – Даже очень.

– Видим и знаем, – кивком подтвердил Эберсбах. – Мы тоже считаем, что очень. Пошли. Надо показать тебя Хаугвицу. И князю.

– Он знает?

– Все знают. О твоем деле повсюду говорят.

Если Конрад Кантнер с его вытянутым лицом, увеличенным лбом, который казался больше из-за залысин, черной бородой и проницательными глазами монаха не очень походил на типичного представителя династии, то относительно его дочери Агнешки сомнений быть не могло. Недалеко упало это яблочко от силезско-мазовецкой яблоньки. У княжны были льняные волосы, светлые глаза и небольшой вздернутый веселый носик Пястовны, который обессмертил знаменитый рельеф наумбургского кафедрального собора. Агнешке Кантнерувне, как быстро

подсчитал Рейневан, было около пятнадцати лет, так что ее наверняка уже кому-то сосватали. Слухов Рейневан не помнил.

– Встань.

Он встал.

– Знай, – проговорил князь, сверля его горящим взглядом, – что я не одобряю твоего поступка. Больше того, считаю его низким, позорным и заслуживающим наказания. И откровенно советую тебе пожалеть о содеянном и покаяться, Рейнмар Беляу. Мой капеллан заверяет меня, что в пекле есть специальный анклав[55] для чужеложцев. Инструменту греха попавших туда грешников крепко достается от бесов. В детали не вхожу, учитывая присутствие девушки.

Сенешаль Рудигер Хаугвиц сердито фыркнул. Рейневан молчал.

– Какую сатисфакцию ты дашь Гельфраду фон Стерча, – продолжал Кантнер, – это уже его и твое дело. Я не стану вмешиваться, тем более что оба вы вассалы не мои, а князя Яна Зембицкого. И в принципе я должен отправить тебя в Зембицы. Умыв руки.

Рейневан сглотнул.

– Но, – продолжал князь после минуты полного драматизма молчания, – я не Пилат. Это раз. Во-вторых, памятуя о твоем отце, сложившем под Танненбергом голову рядом с моим братом, я не допущу, чтобы тебя убили в ходе идиотской кровной мести. В-третьих, уже вообще пора покончить с межродовыми распрями и жить как полагается европейцам. Это все. Дозволю тебе ехать с моей свитой хоть до самого Вроцлава. Но не лезь мне на глаза. Ибо их не радует твой вид.

– Ваша княжеская…

Охота окончилась. Соколам надели клобучки на головы, утки и цапли болтались, притороченные к перекладинам телеги, князь был доволен, его свита тоже, потому что обещавшая затянуться охота оказалась совсем недолгой. Рейневан уловил несколько явно благодарных взглядов – по кортежу уже успело разнестись, что именно благодаря ему князь урезал охоту и двинулся дальше. Рейневан не без оснований опасался, что разнестись успело не только это. Уши у него горели. Как же – предмет всеобщего внимания!

– Все, – буркнул он едущему рядом Бенно Эберсбаху. – Все знают всё…

– Всё, – совсем невесело ответил олесьненский рыцарь. – Но на твое счастье не все.

– Не понял.

– Дураком прикидываешься, Беляу? – спросил Эберсбах, не

повышая голоса. – Кантнер наверняка прогнал бы тебя, а может, и отослал бы в путах к кастеляну, если б знал, что в Олесьнице был труп. Да, да, не таращись на меня. Юный Никлас фон Стерча мертв. Гельфрадовы рога рогами, но убитого брата Стерчи не простят тебе ни за что.

– Пальцем… – сказал, несколько раз глубоко вздохнув, Рейневан. – Никласа я даже пальцем не тронул. Клянусь.

– Вдобавок, – Эберсбах явно не обратил внимания на клятву, – прекрасная Адель обвинила тебя в колдовстве. Ты, мол, зачаровал ее и… использовал. Безвольную.

– Даже если то, что ты говоришь, правда, – ответил после недолгого молчания Рейневан, – то ее заставили так сказать. Под угрозой смерти. Ведь она у них в руках.

– Нет, не в руках, – возразил Эберсбах. – От августинцев, будучи у которых она публично обвинила тебя в дьявольских кознях, прекрасная Адель сбежала в Лиготу. За ворота монастыря цистерцианок.

Рейневан облегченно вздохнул.

– Не верю, – повторил он, – в эти наговоры. Она меня любит. А я люблю ее.

– Прекрасно.

– Если б ты знал, как прекрасно.

– Особенно прекрасно, – взглянул ему в глаза Эберсбах, – стало после того, как обыскали твой кабинет.

– М-да. Этого я боялся.

– И правильно. По моему скромному разумению, инквизиторы еще не сидят у тебя на шее только потому, что не закончили инвентаризовать дьявольства, которые у тебя нашли. От Стерчей Кантнер может тебя защитить, но от Инквизиции, пожалуй, нет. Когда разнесется весть о твоем чернокнижестве, он выдаст тебя сам. С потрохами. Не езди с нами до Вроцлава, Рейневан. Отойди раньше и беги, скройся где-нибудь. Я тебе добром советую. Кстати, при оказии, – бросил как бы мимоходом Эберсбах. – Ты действительно разбираешься в магии? Я, понимаешь, недавно познакомился с одной… девицей… Ну… Как бы сказать… Не помешал бы какой-нибудь эликсир…

Рейневан не ответил. От головы кортежа долетел окрик.

– В чем дело?

– Быкув, – догадался Бычок. – Корчма «Под гусаком».

– Ну и слава Богу, – вполголоса добавил Якса из Вишни, – а то я уж зверски проголодался из-за сраной охоты.

Рейневан на сей раз опять не ответил. Однако исходящее из его внутренностей протяжное бурчание было красноречивым сверх меры.

Корчма «Под гусаком» была большой и наверняка пользовалась известностью, потому что была полна гостей. И местных, и приезжих. Это было видно по лошадям, телегам и шатающимся вокруг них слугам и вооруженным людям. К тому времени, когда кортеж князя Кантнера с большим фасоном и шумом въехал во двор, корчмарь был уже предупрежден. Он вылетел из дверей будто каменный шар из бомбарды, разгоняя птицу и разбрызгивая навоз и помет. Теперь он переступал с ноги на ногу и прямо-таки перегибался в поклонах.

– Добро пожаловать, добро пожаловать. Бог – в дом, – пыхтел он. – Какая честь, какой почет, что ваша светлейшая милость…

– Что-то людновато здесь сегодня. – Кантнер соскочил с удерживаемого слугой гнедого. – Принимаешь кого-то? Это кто же тут горшки опоражнивает? Думаю, хватит и для нас?

– Несомненно, хватит, несомненно, – заверял корчмарь, с трудом ловя воздух. – Да уж и не людно вовсе… Потаскух, голиардов[56] и кметов я выгнал, едва ваших милостей на тракте приметил. Совсем свободна изба ноне. Аркер тожить свободен. Только вот…

– Только что? – насупил брови Рудигер Хаугвиц.

– Гости в избе. Важные и духовные особы… Послы. Я не посмел…

– Ну и хорошо, что не посмел, – прервал Кантнер. – Меня б опозорил на всю Олесьницу, коли б посмел. Гости – это гости! А я – Пяст, а не сарацинский султан. Для меня никакой не урон быть рядом с гостями. Входите, господа.

В несколько задымленной и переполненной ароматами капусты комнате действительно было не очень людно. Да и занят-то был всего один стол, за которым сидели трое мужчин. Все с тонзурами. На двоих были одежды, характерные для духовных лиц в пути, но такие богатые, что их владельцы никак не могли быть простыми плебанами. На третьем была доминиканская ряса.

Видя входящего Кантнера, духовные особы поднялись с лавки. Тот, что был в самой богатой одежде, поклонился, но без всякого подобострастия.

– Ваша милость князь Конрад, – проговорил он, доказав хорошую осведомленность, – воистину большая для нас честь. Я, с вашего разрешения, Мачей Корзбок, официал[57] познанской епархии, направляюсь во Вроцлав, к брату вашей милости епископу Конраду с миссией от его преосвященства епископа Анджея Ласкара. А это мои спутники, как и я, из Гнёзна во Вроцлав направляющиеся: пан Мельхиор Барфусс, викарий его преподобия Христофора Ротенгагена, епископа Любушского. А также преподобный Ян Неедлы из Высоке, *prior Ordo Praedicatorum,*

[58] направляющийся с миссией от краковского провинциала ордена.

Бранденбуржец и доминиканец показали тонзуры, Конрад Кантнер ответил легким наклоном головы.

– Ваша милость, ваши преосвященства, – проговорил он в нос. – Мне приятно будет откушать в столь достойном обществе. И побеседовать. Побеседуем же, если это не наскучит вашим преподобиям, мы и здесь, и в пути, поскольку я также еду во Вроцлав с дочерью… Подойди, Агнешка. Поклонись слугам Христовым.

Княжна сделала реверанс, наклонила головку, намереваясь поцеловать руку, но Мачей Корзбок остановил ее и быстро перекрестил. Чешский доминиканец сложил руки, наклонил голову, пробормотал короткую молитву, добавив что-то о *clarissima puella.* [59]

– А это, – продолжал Кантнер, – господин сенешаль Рудигер Хаугвиц. Это – мои рыцари и мой гость…

Рейневан почувствовал, как его дернули за рукав. Послушавшись жеста и шипения Кромпуша, он вышел с ним во двор, где по-прежнему не прекращалась вызванная прибытием князя суматоха. Во дворе их поджидал Эберсбах…

– Я кое-что разузнал, – сказал он. – Они были здесь вчера. Вольфгер Стерча сам-шесть. Выспрашивал я также тех, из Великопольши. Стерчи задерживали их, но не смели навязываться духовным особам. Однако, судя по всему, они ищут тебя на вроцлавском тракте. Я бы на твоем месте бежал.

– Кантнер, – буркнул Рейневан, – меня защитит…

Эберсбах пожал плечами:

– Воля твоя. И шкура. Вольфгер очень громко и подробно излагал, что сделает с тобой, когда поймает. Я на твоем месте…

– Я люблю Адель и не брошу ее! – вспыхнул Рейневан. – Это во-первых. А во-вторых… Куда бежать-то? В Польшу? Или, может, в Жмудь?

– Недурная мысль. Я имею в виду Жмудь.

– Вон, зараза! – Рейневан пнул крутящуюся у ног квочку. – Ладно. Подумаю. И что-нибудь вымыслю. Но для начала поем. Подыхаю с голоду, а запах здешней капусты меня доконает.

Действительно, самое время было приняться за еду. Еще момент, и юношам пришлось бы ограничиться ароматом. Горшки каши и капусты с горохом, а также миски свиных костей с мясом поставили на главный стол перед князем и княжной. Посуда отправлялась на край стола лишь после того, как ее содержимым насыщались гости, сидевшие ближе других к Кантнеру и трем священнослужителям, которые, как оказалось, в состоянии были

съесть немало. По дороге вдобавок ко всему сидел Рудигер Хаугвиц, обладавший не меньшим, нежели они, аппетитом, и еще заграничный гость князя, здоровенный черноволосый рыцарь с таким смуглым лицом, словно он только что вернулся из Святой Земли. Таким образом, в тарелках и мисках, доставшихся низшим рангам и более молодым едокам, не оставалось почти ничего. К счастью, немного погодя корчмарь поднес князю огромное блюдо с каплунами, которые выглядели и ароматили так восхитительно, что привлекательность капусты и свиного сала сильно приуменьшилась и они попали на концы столов почти нетронутыми.

Агнешка Кантнерувна обгладывала зубками бедрышко каплуна, стараясь уберечь от капающего жира модно разрезанный рукав платья. Мужчины болтали о том о сем. Очередь пришлась как раз на одного из духовных лиц, доминиканца Яна Неедлы из Высоке.

– Я, – ораторствовал он, – был приором у Святого Клементия в Старом Пражском Граде. *Item*[60] преподавателем в Карловом университете. Ныне, как видите, я – изгнанник, довольствующийся чужой милостью и чужим хлебом. Мой монастырь разрушили, а в академии, как легко можно догадаться, мне было не по пути с супостатами и паршивцами типа Яна Пшибрама, Кристиана из Прахатиц и Якуба из Стржибора, покарай их Господь…

– У нас здесь, – вставил Кантнер, ловя глазами Рейневана, – есть один студент из Праги. *Scholarius academiae pragnesis, artium baccalaureus.*[61]

– В таком случае, – глаза доминиканца сверкнули по-над ложкой, – я посоветовал бы внимательно следить за ним. Я далек от мысли кого-либо обвинять в ереси, но ересь – словно сажа, словно смола. Словно навоз, чтобы не сказать больше! Всякий, кто крутится поблизости, может испачкаться.

Рейневан быстро опустил голову, чувствуя, как у него опять горят уши и кровь приливает к щекам.

– Где там, – рассмеялся князь, – нашему схоляру до ереси. Он же из приличной семьи, на священника и медика в пражской учельне обучался. Я верно говорю, Рейнмар?

– С вашего позволения, – сглотнул Рейневан, – я в Праге уже не учусь. По совету брата я бросил Каролинум в девятнадцатом году, вскоре после святых Абдона и Сена… То есть тут же после дефене… Ну, знаете когда. Теперь думаю, может, в Краков подамся учиться… Или в Лейпциг, куда большинство пражских профессоров ушло… В Чехию не вернусь. Пока там не прекратятся волнения.

– Волнения! – Изо рта вспыхнувшего чеха вылетел и прилип к ладанке листок капусты. – Отличное словечко, ничего не скажешь! Вы здесь, в мирной стране, даже представить себе не можете, что выделывают в Чехии еретики, ареной каких несчастий стала она. Подзуженная еретиками, виклифистами, вальденсами и прочими слугами сатаны толпа оборотила свою бездумную злобу против веры и церкви. В Чехии подрывают веру в Бога и жгут его святыни. Убивают слуг Божиих!

– Действительно, – подтвердил, облизывая пальцы, Мельхиор Бурфусс, викарий любушского епископа, – вести доходят страшные. Верить не хочется…

– А верить надо! – еще громче выкрикнул Ян Неедлы. – Ибо ни одна весть не преувеличена!

Из его кружки выплеснулось пиво. Агнешка Кантнерувна непроизвольно отпрянула, заслонилась бедрышком каплуна, как щитом.

– Хотите примеры? Извольте! Избиты монахи в Чешском Броде и Помуке, убиты цистерцианцы в Збрацлаве, Велеграде и Мниховом Градище, умерщвлены доминиканцы в Писке, бенедиктинцы в Кладрубах и Постолоптрах, убиты невинные премонстратки в Хотишове, убиты священники в Чешском Броде и Яромере, ограблены и сожжены монастыри в Колине, Милевске и Златой Коруне, осквернены алтари и изображения святых в Бржевнове и Воднянах… А что вытворял Жижка, этот бешеный пес, этот антихрист и дьявольское отродье? Кровавая резня в Хомутове и Прахатицах, сорок священников живьем сожжены в Беруне, сожжены монастыри в Сазаве и Вилемове. Святотатства, коих не допустили бы и турки, жуткие преступления и жестокости, зверства, при виде которых вздрогнул бы сарацин! О, воистину, Боже, доколе ж ты не будешь судить и наказывать за кровь нашу?

Тишину, в который был слышен только шорох молитвы олесьницкого капеллана, прервал глубокий звучный голос смуглолицего и широкоплечего рыцаря, гостя князя Конрада Кантнера.

– Этого могло бы не быть.

– То есть? – поднял голову доминиканец. – Что вы, господин, хотите этим сказать?

– Всего этого можно было легко избежать. Достаточно было не сжигать на костре Яна Гуса в Констанце.

– Вы, – прищурился чех, – уже там, уже тогда защищали еретика, кричали, протестовали, петиции составляли, я-то знаю. А были и тогда не правы, и сейчас. Ересь распространяется, как плевелы, а Святое Писание велит сорняки выжигать огнем.

Папские буллы наказывают…

– Оставьте буллы, – обрезал смуглолицый, – для соборных дискуссий, они смешно звучат, когда их приводят в корчме. А в Констанце я был прав, можете говорить что хотите. Люксембуржец королевским словом и охранной грамотой гарантировал Гусу безопасность. И слово, и клятву нарушил, тем самым запятнав честь монарха и рыцаря. Я не мог смотреть на это спокойно. Не мог. И не хотел.

– Рыцарская клятва, – заворчал Ян Неедлы, – должна даваться во имя служения Богу, безразлично, кто клянется, оруженосец или король. Вы называете божеской службой сдержать клятву и слово, данное еретику? Вы называете это честью? Я зову это грехом.

– Я если даю слово, то это слово, данное перед лицом Бога. Поэтому не нарушаю его, даже если оно туркам дано.

– Слово, данное туркам, нарушать нельзя. А еретикам – можно.

– Воистину, – очень серьезно сказал Мачей Карзбок, познанский официал. – Мавры и турки погрязли в безбожии из-за темноты и дикости. Их можно обратить. Отщепенец же и схизматик от веры и Церкви отворачивается, насмехается над ними и кощунствует. Потому-то он Богу во сто крат противнее. И любой способ борьбы с ересью хорош. Ведь никто, идя на волка либо на пса бешеного, не станет, будь он в здравом уме, распространяться о чести и рыцарском слове. Против еретика все годится.

– В Кракове, – гость Кантнера повернулся к нему, – каноник Ян Эльгот, когда надобно схватить еретика, ни во что не ставит тайну исповеди. Епископ Анджей Ласкар, которому вы служите, предписывает это священникам познанской епархии. Все годится. Воистину.

– Вы не скрываете, господин, своих симпатий, – кисло проговорил Ян Неедлы из Высоке. – Поэтому и я своих скрывать не стану. И повторю: Гус был еретиком и должен был пойти на костер. Король римский, венгерский и чешский правильно поступил, не сдержав слова, данного чешскому еретику.

– И за это, – парировал смуглолицый, – его чехи так теперь любят. Из-за этого он сбежал из-под Вышеграда с чешской короной под мышкой. И теперь царствует над чехами, да только сидя в Буде. Потому как на Градчаны его впустят не скоро.

– Позволяете себе насмехаться над королем Сигизмундом, – заметил Мельхиор Барфусс. – А ведь ему служите.

– Именно поэтому.

– А может, по какой другой причине? – ядовито спросил

чех. – Ведь вы, рыцарь, под Танненбергом бились против госпитальеров на стороне поляков. На стороне Ягеллы. Короля-неофита, явного симпатика чешской ереси, охотно прислушивающегося к схизматикам и виклифистам. Племянник Ягеллы, вероотступник Корыбутович, вовсю буйствует в Праге, польские рыцари в Чехии убивают католиков и грабят монастыри. И хоть Ягелло и делает вид, будто все это творится против его воли и согласия, однако что-то сам с войском супротив еретиков не идет! А если б пошел, если б с королем Сигизмундом в крестовом походе объединился, то в один миг с гуситами было бы покончено! Так почему ж Ягелло этого не делает?

– И верно, – опять усмехнулся смуглолицый, и усмешка его была очень многозначительной. – Почему? Интересно?

Конрад Кантнер громко кашлянул. Барфусс прикинулся, что его интересует исключительно капуста с горохом. Мачей Корзбок прикусил губу и грустно покачал головой.

– Что правда, то правда, – согласился он. – Римский кесарь не раз показал, что он не друг польской короне. Конечно, в защиту веры каждый великополяк, а за них я могу поручиться, охотно встанет. Но только в том случае, если Люксембуржец гарантирует, что когда мы двинемся на юг, то ни прусские крестоносцы, ни бранденбуржцы на нас не нападут. А как он даст такую гарантию, если он с ними задумал раздел Польши? Я не прав, князь Конрад?

– Да что тут рассуждать, – вполне неискренне улыбнулся Кантнер. – Что-то, сдается, мы уже явно сверх меры рассуждаем о политике. А политика плохо сочетается с едой. Которая, кстати сказать, стынет.

– Ничего подобного. Говорить об этом надо, – запротестовал Ян Неедлы к радости юных рыцарей, до которых уже добрались два горшка, почти совершенно нетронутых разговорившимися вельможами. Радость оказалась преждевременной, вельможи доказали, что вполне могут ораторствовать и есть одновременно.

– Потому что учтите, уважаемые, – продолжал, поглощая капусту, бывший приор монастыря Святого Клементия, – не только чешское дело эта виклифовская зараза. Чехи, уж я-то их знаю, готовы и сюда прийти, как ходили в Моравию и на Ракусы. [62] Могут прийти и к вам, господа. Ко всем, что здесь сидят.

– Ну уж, – надул губы Кантнер, копаясь в тарелке в поисках шкварок. – В это я не поверю.

– Я тем более, – фыркнул пивной пеной Мачей Корзбок. – К нам в Познань им далековато будет.

– До Любуша и Фюрстенвальда, – проговорил с набитым ртом Мельхиор Барфусс, – тоже от Табора изрядный кус дороги. Не-е-е,

я не боюсь.

– Тем более, – добавил с кривой ухмылкой князь, – что скорее сами чехи гостей дождутся, чем на кого-нибудь пойдут. Особливо сейчас, когда Жижки не стало. Я думаю, гости того и гляди нагрянут, так что чехам их со дня на день дожидаться следует.

– Крестовики? Может, вы чего-нито знаете, ваша милость?

– Никак нет, – ответил Кантнер, мина которого выражала совершенно обратное. – Просто так мне подумалось. Хозяин! Пива!

Рейневан незаметно выскользнул во двор, а со двора за хлев и в кусты за огород. Облегчившись как следует, вернулся. Но не в комнату, а вышел через ворота и долго глядел на скрывающийся в синей дымке тракт, на котором, к своему счастью, не заметил приближающихся галопом братьев Стерчей.

«Адель, – вдруг подумал он. – Адель вовсе не в безопасности у лиготских цистерцианок. Я должен… Да, должен, но боюсь. Того, что со мной могут сделать Стерчи. Того, о чем они так красочно рассказывают».

Он вернулся во двор. Удивился, увидев князя Кантнера и Хаугвица, бодро и легко выходящих из-за хлевов. «В принципе, – подумал он, – чему удивляться? В кусты за хлевами ходят даже князья и сенешали. К тому же пешком».

– Послушай, Беляу, – бесцеремонно сказал Кантнер, ополаскивая руки в чане, который ему спешно подставила дворовая девка, – что я скажу. Ты не поедешь со мной во Вроцлав.

– Ваша княжеская…

– Захлопни рот и не отворяй, пока я не прикажу. Я делаю это ради твоего добра, молокосос. Потому что я больше чем уверен, что во Вроцлаве мой брат, епископ, засадит тебя в башню раньше, чем ты успеешь выговорить *«benedictum nomen Iesu»*.[63] Епископ Конрад очень жесток к чужеложцам, вероятно, хе-хе, не терпит конкуренции, хе-хе-хе. Так что возьмешь того коня, который тебя укусил, и поедешь в Малую Олесьницу, в иоаннитскую командорию, скажешь командору Дитмару де Альзей, что, дескать, я прислал тебя на покаяние. Там посидишь тихо, пока я не вызову. Ясно? Должно быть ясно. А на дорогу тебе вот, возьми, кошель. Знаю, что невелик. Дал бы больше, да мой коморник[64] отсоветовал. Здешняя корчма и без того здорово поуменьшила мой фонд «на представительство».

– От всей души благодарю, – буркнул Рейневан, хотя вес кошеля благодарности не заслуживал. – От всей души благодарю вашу милость. Только вот…

– Стерчей не бойся, – прервал князь. – В иоаннитском доме они тебя не найдут, а в пути ты будешь не один. Так уж

получилось, что в том же направлении, то бишь к Мораве, движется мой гость. Вероятно, ты видел его за столом. Он согласился взять тебя с собой. Честно говоря, не сразу. Но я его уговорил. Хочешь знать как?

Рейневан кивнул, показав, что хочет.

– Я сказал ему, что твой отец погиб в отряде моего брата под Танненбергом. А он там тоже был. Только они говорят не «Танненберг», а «Грюнвальд». Он сражался на противной стороне. Ну, короче, будь здрав и – повеселее, парень, повеселее. Обижаться на мою благосклонность ты не можешь. Конь – есть. Гроши – есть. Да и безопасность в пути обеспечена.

– Как обеспечена? – отважился проговорить Рейневан. – Милостивый князь… Вольфгер Стерча ездит сам-шесть… А я… С одним рыцарем? Даже если он и с оруженосцем… Ваша милость… Это же всего только один рыцарь!

Рудигер Хаугвиц фыркнул. Конрад Кантнер покровительственно напыжился.

– Ох и глуп же ты, Беляу. Вроде б ученый бакалавр, а известного человека не распознал. Для этого рыцаря, недотепа, шестеро – раз плюнуть.

И видя, что Рейневан по-прежнему не понимает, пояснил:

– Это же Завиша Черный из Гарбова.[65]

Глава четвертая,

в которой Рейневан и Завиша Черный из Гарбова рассуждают на Бжегском тракте о том о сем. Потом Рейневан лечит Завишу от скопившихся газов, а Завиша взамен обогащает его ценными сведениями из области новейшей истории

Придерживая коня, чтобы немного поотстать, рыцарь Завиша Черный из Гарбова приподнялся в седле и протяжно пустил ветры. Потом глубоко вздохнул, оперся руками о луку и пустил снова.

– Это все капуста, – деловито пояснил он, догоняя Рейневана. – В моем возрасте столько капусты есть нельзя. Клянусь останками святого Станислава, когда я был молодым, я мог съесть ого-го! Кофлик, то бишь больше чем полгарнца[66] капусты съедал в три приема. И ничего. Я мог есть капусту в любом виде, хоть дважды в день, лишь бы тмина в ней было поболе. А теперь, едва малость съем, так у меня аж кипит в животе, а газы, сам видишь, парень, чуть не разрывают. Старость, пся мать, не радость.

Его конь, могучий вороной жеребец, тяжко взбрыкнул, будто рвался в атаку. Весь он до самой морды был покрыт черной попоной, украшенной на крупе «сулимой», гербом рыцаря. Рейневан удивлялся, что сразу не обратил внимания на известный знак, не очень типичный в польской геральдике и по почетному изображению, и по мобилиям.[67]

– Ты что такой молчаливый? – неожиданно спросил Завиша. – Мы столько уже едем, а ты за все это время какой-то десяток слов обронил, не больше. И то когда за язык потянули. Дуешься на меня? Из-за Грюнвальда, что ли? Знаешь, парень, не могу тебя уверить, что я никак не мог бы убить твоего отца. Я, конечно, мог сказать, что мы с ним не могли встретиться в бою, так как краковская хоругвь располагалась в центре линии польско-литовских войск, а хоругвь Конрада Белого – на левом крыле крестоносцев, аж за Стемборком. Но не скажу, потому что это была бы ложь. Тогда, в день Призвания Апостолов, я прикончил множество народу. В общей суматохе и дьявольской круговерти, в которой мало что было видно, ибо это была битва. Вот и все.

– Отец, – откашлялся Рейневан, – носил на щите…

– Я не помню гербов, – резко и грубо прервал сулимец. – В общей схватке они для меня ничего не значат. Важно, в которую сторону обращена морда коня. Если в противоположную морде

моего, то я рублю, пусть там хоть сама Богородица у него на гербе. Впрочем, когда кровь налипает на пыль, а пыль – на кровь, то все равно на щитах ни хрена не видно. Повторяю, Грюнвальд был сражением. А в сражении – как в сражении. И на этом покончим. И не дуйся на меня.

– Да я и не дуюсь.

Завиша снова немного придержал коня, приподнялся в седле и громко выпустил скопившиеся газы. С придорожных верб сорвались перепуганные галки. Едущая позади свита рыцаря из Грабова, состоящая из седовласого оруженосца и четырех вооруженных слуг, предусмотрительно держалась на расстоянии. И оруженосец, и слуги ехали на прекрасных лошадях.

Одеты все были богато и чисто. Как и полагается слугам человека, который был крушвицким и списским старостой и взимал, если верить молве, аренду круглым счетом с тридцати сел. Однако ни оруженосец, ни слуги не напоминали гладеньких господских пажей. Совсем наоборот, они смотрелись крутыми забияками, а оружие, которым были обвешаны, никак нельзя было считать украшением.

– Итак, – начал Завиша, – ты не дуешься. Тогда почему ж ты такой молчаливый?

– Потому что, сдается мне, – осмелился сказать Рейневан, – больше вы дуетесь на меня. И знаю почему.

Завиша Черный повернулся в седле и долго смотрел на него.

– Вот, – проговорил он наконец, – жалобно заныла обиженная невинность. Так знай, сынок, последнее дело трахать чужих жен. И если хочешь знать мое мнение, это подлый поступок. И заслуживает наказания. Честно говоря, ты в моих глазах ничуть не лучше мошенника, который в толпе срезает кошельки или по ночам очищает курятники. Думается, и тот, и другой – мелкие паршивцы и мерзавцы, воспользовавшиеся представившейся оказией.

Рейневан не прокомментировал.

– Был в Польше некогда обычай, – продолжал Завиша Черный, – когда пойманного любителя до чужих жен отводили на помост и к этому помосту железным гвоздем прибивали его мошонку с яйцами. А рядом с прелюбодеем клали нож. Дескать, если хочешь на свободу – отрезай.

Рейневан смолчал и на этот раз.

– Теперь уж не прибивают, – заключил рыцарь. – А жаль. Мою супругу Барбару легкомысленной никак не назовешь, но когда подумаю, что ее минутную слабость, может, там, в Кракове, использует какой-нибудь модник, какой-нибудь, парень, подобный тебе красавчик… А, да что говорить…

Тишину, опустившуюся на несколько минут, снова прервала поглощенная рыцарем капуста.

– Тааак, – облегченно охнул Завиша и глянул на небо. – Впрочем, знай, парень, я тебя не осуждаю, ибо бросать камни может только тот, кто сам безгрешен. И подытожив таким образом, не будем больше к этому возвращаться.

– Любовь – великое дело, и много у нее имен, – проговорил Рейневан слегка недовольным голосом. – Слушающий песни и романсы не осуждает ни Тристана и Изольду, ни Ланселота и Гвиневеру, ни трубадура де Кабестена и мадам Маргариту из Руссельона. А нас с Аделью связывает не меньшая горячая и искренняя любовь. И пожалуйста, все прямо-таки взъелись…

– Если ваша любовь столь велика, – Завиша как бы удивился, – то почему ты не рядом со своей любимой? Почему удрал, будто застигнутый на месте преступления вор? Тристан, чтобы быть рядом с Изольдой, нашел способ, переоделся, если мне память не изменяет, в лохмотья запаршивевшего нищего. Ланселот, чтобы спасти Гвиневеру, в одиночку пошел войной на всех рыцарей Круглого Стола.

– Не так все просто. – Рейневан зарделся не хуже алой розы. – Ей крепко достанется, если меня схватят и убьют. Я уж не говорю о себе самом. Но я найду способ, не бойтесь. Хотя бы переодевшись, как Тристан. Любовь всегда побеждает. *Amor vincit omnia.*

Завиша приподнялся в седле и грохотнул. Трудно было понять, что это – комментарий или всего лишь капуста.

– Единственная от нашего диспута польза, – сказал он, – что мы поболтали, потому как скучно было ехать молчком, опустив нос. Продолжим же, юный силезец. На другую тему.

– А почему, – после недолгого молчания проговорил Рейневан, – едете этой дорогой? Не ближе ли из Кракова на Мораву через Рацибуж? И Опавско?

– Может, и ближе, – согласился Завиша. – Но я, видишь ли, рацибужцев терпеть не могу. Недавно преставившийся князь Ян, светлая ему память, тот еще был сукин сын. Натравил убийц на Пшемыка, сына чешского князя Ношака, а я и Ношака знал, и Пшемык был мне другом. Потому-то я не пользовался рацибужским гостеприимством раньше, да и теперь не стану. Тем более что Янов сынуля Миколаек доблестно, говорят, следует по стопам родителя. Кроме того, я сделал солидный крюк, потому что надо было кое-что обговорить с Кантнером в Олесьнице, ознакомить с тем, что сказал по его адресу Ягелло. К тому же дорога через Нижнюю Силезию обычно гораздо разнообразнее. Хоть и вижу теперь, что таковое мнение сильно преувеличено.

– Ага, – быстро догадался Рейневан, – так вот почему вы в полном вооружении едете! На боевом коне! Драку высматриваете? Я угадал?

– Угадал, – спокойно согласился Завиша Черный. – Говорили, у вас тут кишмя кишат раубриттеры.[68]

– Не здесь. Здесь безопасно. Потому так людно.

Действительно, на недостаток общества обижаться было нельзя. Правда, сами они не обгоняли никого и никто их не опережал, зато в противоположном направлении, из Бжега к Олесьнице, движение было оживленное. Их уже миновали несколько купцов на продавливающих глубокие колеи тяжело нагруженных телегах в сопровождении нескольких вооруженных людей с исключительно бандитскими физиономиями. Миновала пешая колонна навьюченных баклагами дегтярей, опережаемых резким запахом дегтя. Проследовала группка конных крестоносцев, прошагал странствующий с оруженосцем молодой иоаннит с личиком херувима, проплелись перегоняющие волов погонщики и пятерка подозрительного вида пилигримов, которые, хоть они вполне вежливо поинтересовались дорогой на Ченстохову, в глазах Рейневана подозрительными быть не перестали. Проехали на брошенной телеге голиарды, веселыми и не вполне трезвыми голосами распевающие *«In cratero mea»,*[69] песню, сложенную на слова Гуго Орлеанского. Только что проехал рыцарь с женщиной и небольшой свитой. Рыцарь был в роскошных баварских латах, а вздыбившийся двухвостый лев на его щите указывал на принадлежность к обширному роду Унругов. Рыцарь, это было видно, моментально распознал герб Завиши, поклонился, но так гордо, чтобы было ясно, что Унруги ничуть не хуже сулимцев. Одетая в светло-фиолетовое платье спутница рыцаря сидела по-дамски на прекрасной караковой лошади, и ее голова – о диво! – ничем не была покрыта. Ветер свободно играл золотыми волосами. Проезжая мимо, женщина подняла голову, слегка улыбнулась и окинула уставившегося на нее Рейневана таким зеленым и многоговорящим взглядом, что юноша даже вздрогнул.

– Эге! – сказал, выдержав долгую паузу, Завиша. – Своей смертью ты, парень, не умрешь.

И пустил ветры. С силой бомбарды среднего размера.

– Чтобы доказать, – сказал Рейневан, – что я на все ваши насмешки и уколы вовсе не обижаюсь, я вылечу вас от постоянных подскоков и газов.

– Интересно было бы узнать как.

– Увидите. Как только попадется пастух.

Пастух попался довольно скоро, но, увидев сворачивающих к

нему с дороги конных, кинулся в паническое бегство, влетел в чащу и исчез как сон златой. Остались только блеющие овцы.

– Надо было, – рассудил, в очередной раз приподнимаясь на стременах, Завиша, – маневром его брать, из засады. Теперь-то уж его по этим вертепам не догонишь. Судя по скорости, он уже успел отгородиться от нас Одрой.

– А-то и Нисой, – добавил Войцех, оруженосец рыцаря, проявляя живость ума и знание географии.

Однако Рейневан вовсе не обратил внимания на насмешки. Слез с коня, уверенно направился к пастушьему шалашу и через минуту вернулся с большим пучком сухих трав.

– Мне был нужен не пастух, – пояснил он спокойно, – а вот это. И немного кипятка. Горшок не найдется?

– Найдется все, – сухо сказал Войцех.

– Если кипячение, – Завиша взглянул в небо, – тогда остановка. К тому же долгая, потому что близится ночь.

Завиша Черный поудобнее устроился на накрытом кожухом седле, заглянул в только что опустошенную кружку, понюхал.

– И верно. Вкус как у нагретой солнцем воды изо рва, а несет кошатиной. И помогает, клянусь муками Господними, помогает! Уже после первой кружки, когда меня пронесло, я почувствовал себя лучше, а теперь-то уж словно рукой сняло. Моя благодарность, Рейнмар. Вижу, врут людишки, что университеты могут ребят научить только пьянству, разврату и сквернословию. Однако и пользе тоже.

– Малость знаний о травах, ничего больше, – скромно ответил Рейневан. – А по-настоящему вам помогло, господин Завиша, то, что вы сняли доспехи, передохнули в более удобном, чем в седле, положении…

– Ты слишком скромен, – прервал рыцарь. – Я свои возможности знаю, знаю, сколько времени могу выдержать в седле и доспехах. Я, видишь ли, частенько путешествую ночью, с фонарем, без остановки. Во-первых, это сокращает время, во-вторых, а вдруг в потемках кто-нибудь, не разобравшись, зацепит… И развеселит… Но коли ты утверждаешь, что здесь места спокойные, то зачем лошадей мучить, посидим у костра до рассвета, поболтаем… В конце концов, это тоже развлечение, хотя, конечно, выпустить кишки из пары-другой раубриттеров интереснее, но все же…

Огонь весело вспыхнул, осветил ночь. Зашипел и пустил ароматы жир, капающий с колбас и кусков грудинки, которые оруженосец Войцех со слугами поджаривали на прутиках. Войцех и слуги хранили молчание и соблюдали соответствующую

дистанцию, но во взглядах, которые они украдкой бросали на Рейневана, проскальзывала благодарность. Видать, они вовсе не разделяли любовь господина к ночным поездкам с фонарем.

Небо над лесом искрилось звездами. Ночь была холодной.

– Дааа, – Завиша обеими руками помассировал живот, – помогло. Помогло лучше и скорее, чем обычно прописываемые молитвы святому Эразму, патрону требухи. Что же это был за магический отвар, что за волшебная мандрагора? И почему ты ее именно у пастуха искал?

– После святого Яна, – пояснил Рейневан, довольный тем, что может показать свои знания, – пастухи собирают только им ведомые травы. Их собирают в пучки и носят привязанными к иркавице, как пастухи называют пастушью палку. Потом травы сушат в шалаше. И делают из них отвар, которым…

– Поят скотину, – спокойно вставил сулимец. – Значит, ты приравнял меня к раздувшейся корове. Ну, коли помогло…

– Не сердитесь, господин Завиша. Народная мудрость беспредельна. Никто из великих медиков и алхимиков не пренебрегал ею, ни Плиний, ни Гален, ни Страбон, ни ученые арабы, ни Герберт Орильякский, ни Альберт Великий. Медицина многое взяла от народа, а от пастухов – особенно. Они владеют колоссальным и неизмеримым знанием о травах и их лечебной силе. И о… других силах.

– Действительно?

– Да, – подтвердил Рейневан, пододвигаясь ближе к костру. – Вы не поверите, господин Завиша, какие силы таятся в пучке, в той сухой соломе из пастушьего шалаша, за который никто и ломаного шелёнга бы не дал. Взгляните: ромашка, кувшинка, вроде бы – ничего особенного, а если приготовить настой, они творят чудеса. Или вот те, которые я вам дал: кошачья лапка, борщевик, дягиль лекарственный. А вот эти, по-чешски «споричек» и «семикраска». Мало какой медик знает, насколько они полезны. А вываром из тех, что зовутся «якубки», пастухи для защиты от волков обрызгивают овец в мае, на день святых Филиппа и Якуба. Хотите верьте, хотите – нет, но обрызганных овец волк не тронет. Это вот – ягоды святого Венделина, а это – травка святого Лингарта, оба святых, как вы, конечно, знаете, втроем с Мартином покровительствуют пастухам. Когда даешь эти травы животным, надо призывать именно этих святых.

– То, что ты бормотал над котелком, не было о святых.

– Не было, – признался, откашлявшись, Рейневан. – Я же вам говорил: народная мудрость…

– Очень уж эта мудрость костром попахивает, – серьезно сказал сулимец. – На твоем месте я б посмотрел, кого лечу. С кем

болтаю. И в чьем присутствии ссылаюсь на Герберта Орильяка. Остерегался бы, Рейнмар.

– Я остерегаюсь.

– А я, – проговорил оруженосец Войцех, – думаю, ежели чары существуют, то лучше их знать, чем не знать. Я думаю…

Он замолчал, видя грозный взгляд Завиши.

– А я думаю, – резко сказал рыцарь из Гарбова, – что все зло этого мира идет от мышления. Когда думать начинают люди, совершенно не способные к этому.

Войцех еще ниже наклонился к сбруе, которую чинил и смазывал салом. Рейневан, прежде чем что-либо сказать, переждал несколько минут.

– Господин Завиша?

– А?

– В корчме, в споре с тем доминиканцем, вы не таились… Ну… Вроде как бы… Вроде вы за чешских гуситов. Во всяком случае, больше за, чем против.

– А у тебя что – мышление и ересь на одной полке лежат?

– Ну, в общем, – признался, помолчав, Рейневан. – Но еще больше меня удивляет…

– Что тебя удивляет?

– Как все было… Как все было у Немецкого Брода в двадцать втором году? Когда вы в чешский плен попали. Тут всякие легенды кружат…

– И какие же?

– А такие, что вас гуситы схватили, так как бежать вам не позволяла рыцарская честь, а бороться не могли, потому что были послом.

– Что, так прямо и говорят?

– И еще… Что король Сигизмунд бросил вас в тяжкую минуту. А сам позорно бежал.

Завиша долго молчал. Наконец проговорил:

– А ты хотел бы знать правильную версию, так?

– Если, – неуверенно ответил Рейневан, – вам это не в тягость…

– С чего бы? За приятной беседой время летит быстрее. Так почему ж не поболтать?

Вопреки сказанному рыцарь из Гарбова снова долго молчал, поигрывая пустой кружкой. Рейневан подумал было, что Завиша ждет его новых вопросов, но задавать их не спешил. И, как оказалось, правильно сделал.

– Начать, – заговорил Завиша, – надобно, кажется мне, с того, что король Владислав послал меня к римскому императору с достаточно деликатной миссией… Речь шла о марьяже с

королевой Эвфемией, племянницей Сигизмунда, вдовой чешского Вацлава. Как ныне известно, из этого ничего не получилось, Ягелло предпочел Сонку Гольшанскую. Но тогда это еще не было известно. Король Владислав поручил мне обговорить с Люксембуржцем все, что надо, в основном приданое. Ну, я и поехал. Но не в Пожонь[70] и не в Буду, а на Мораву, откуда Зигмунт в то время двинулся на своих непослушных подданных с очередным крестовым походом с твердым намерением взять Прагу и окончательно извести в Чехии гуситскую ересь.

Когда я туда приехал, а было это на святого Мартина, Сигизмундов крестовый поход развивался вполне успешно. Хоть армия у Люксембуржца была немного ослабленной. Разошлось по домам уже большинство возглавляемого ландвойтом Румпольдом войска из Лужиц, ограничившись опустошением земель вокруг Хрудимья. Вернулся восвояси силезский контингент, в котором, кстати говоря, был и наш недавний хозяин и собеседник Конрад Кантнер. Так что в походе на Прагу короля по-настоящему поддерживало только рацлавицкое рыцарство Альбрехта да моравское войско епископа из Оломоуца. Однако одной только венгерской кавалерии у Сигизмунда было больше десяти тысяч.

Завиша на минуту замолчал, вперившись в потрескивающий костер.

– Волей-неволей, – продолжил он, – для того чтобы с Люксембуржцем Ягеллов марьяж обсуждать, пришлось мне поучаствовать в их крестовом походе и много чего увидеть. Очень много. Ну, хотя бы захват Полички и устроенную после захвата бойню.

Слуги и оруженосец сидели неподвижно, как знать, может, и спали. Завиша говорил тихо и довольно монотонно. Как бы убаюкивал. Особенно тех, кто уже наверняка слышал рассказ. Или даже участвовал в событиях.

– После Полички Сигизмунд двинулся на Кутну Гору.[71] Жижка загородил ему дорогу, отразил несколько атак венгерской конницы, но когда пошла весть о захвате города в результате предательства, отступил. Королевские войска вошли в Кутну Гуру, окрыленные победой… Ха! Ну как же, побили самого Жижку, сам Жижка отступил от них. И тогда Люксембуржец совершил непростительную ошибку. Хоть его отговаривали я и Филипп Сколлари…

– То есть Пиппо Спано? Знаменитый флорентийский кондотьер?

– Не прерывай, парень. Вопреки моим и Пиппо советам король Зигмунт, уверенный в том, что чехи панически бежали и не остановятся даже в Праге, позволил венграм разъехаться по

округе, чтобы, как он выразился, поискать места для зимовки, потому как мороз был крепкий. Мадьяры рассеялись и проводили Годы[72] в грабежах, насиловании женщин, поджоге деревень и убиении тех, кого считали еретиками либо симпатизирующими им. То есть каждого, кто попадался.

Ночью небо освещали зарева пожарищ, днем – поднимались дымы, а король в Кутной Гуре пировал и вершил суды. И тут, на Трех Царей, утром разнесся слух: идет Жижка. Жижка не бежал, а лишь отступил, перегруппировал войско, усилил и теперь идет на Кутну Гуру со всей силой Табора и Праги, он уже в Каньке, уже в Небовидах! И что? Что сделали доблестные крестоносцы, узнав об этом? Видя, что уже нет времени на то, чтобы собрать в кулак расползшуюся по округе армию, сбежали, бросив уйму оружия и награбленного добра, поджигая за собой город. Пиппо Спано ненадолго сдержал панику и выставил оборону на дороге между Кутной Гурой и Немецким Бродом.

Мороз ослабел, было пасмурно, серо, мокро. И тогда мы услышали вдали… И увидели… Парень, ничего подобного я еще никогда не слышал и не видел, а ведь довелось слышать и видеть немало.

Они шли на нас, табориты и пражане, шли, неся штандарты и дароносицы, двигались прекрасным, дисциплинированным строем с песней, грохочущей, как гром. Двигались их прославленные повозки, с которых на нас щерились пушки, хуфницы[73] и бомбарды.

И тогда зазнавшиеся немецкие хельды,[74] чванливые ракусские латники Альбрехта, мадьяры, оравское и лужицкое дворянство, наемники Спано – все до единого кинулись бежать. Да, парень, ты не ослышался: еще не успели гуситы подойти на расстояние выстрела из арбалета, как вся Зигмунтова рать помчалась, обезумев от ужаса, панически, сломя шею к Немецкому Броду. Боевитые рыцари бежали, налетали, сталкиваясь и переворачивая друг друга, вопя от страха, бежали от пражских сапожников и канатчиков, от холопов в лаптях, над которыми еще недавно насмехались. Бежали в панике и ужасе, бросая оружие, которое весь крестовый поход поднимали в основном на безоружных. Бежали, парень, на моих изумленных глазах, как трусы, как мелкие воришки, которых садовник застал за кражей слив. Словно испугались… правды. Девиза VERITAS VINCIT,[75] вышитого на гуситских штандартах.

Большинству венгров и «железной рати» удалось сбежать на левый берег замерзшей Сазавы. Потом лед подломился. Советую тебе, парень, от всего сердца, если тебе достанется когда-нибудь воевать зимой, ни в коем случае не убегай в тяжелых латах по

льду. Ни в коем…

Рейневан поклялся себе, что никогда не убежит. Сулимец посопел, кашлянул и продолжал:

– Как я сказал, рыцарство хоть и обесчестило себя, однако спасло собственную шкуру. В основном. Но пеший люд – сотни копейщеков, стрельцов, щитоносцев, мобилизованных воинов из Ракус и Моравы, вооруженных горожан из Оломуньца – этих гуситы достали и били, били страшно, били на протяжении двух миль от деревни Габры до самого Немецкого Брода. И снег на этом пути сделался красным.

– А вы? Как вас…

– Я не бежал с немецким рыцарством, не убежал и тогда, когда бежали Пиппо Спано и Ян фон Хардегг, а они, надо отдать им должное, бежали одними из последних и не без боя. Я тоже, вопреки тому, что болтают, бился крепко. Посол – не посол, надо было драться. И я бился не один, было рядом со мной несколько поляков и довольно много моравских панов. Таких, которые не любили убегать, особенно через ледяную воду. Вот мы и бились, и скажу тебе, не одна чешская мать проливает из-за меня слезы. Но *nec Hercules*…[76]

Оказалось, слуги не спали. Потому что один вдруг подпрыгнул, словно его ужалила змея, второй приглушенно крикнул, третий принялся извлекать из ножен корд. Оруженосец Войцех схватился за арбалет. Всех успокоил резкий голос и властный жест Завиши.

Из мрака вышло нечто.

Сначала они подумали, что это клуб тьмы, более темный, чем даже она сама, выпочковавшийся из непроницаемой тьмы. Выделяющийся антрацитовой чернотой в освещаемом розблесками костра мерцающем мраке ночи. Когда пламя вспыхнуло сильнее, живее и ярче, этот сгусток, не став, однако, ни на йоту менее черным, начал понемногу обретать форму. И фигуру. Фигуру маленькую, крепкую, пузатую, форму не то птицы, встопорщившей перья, не то ощетинившегося животного. Втянутую в плечи голову существа украшали два больших остроконечных уха, торчащих, как у кошки, вертикально и неподвижно.

Войцех медленно, не спуская с существа глаз, отложил самострел. Кто-то из слуг призвал в заступники святую Кингу, но его успокоил жест Завиши, жест не резкий, но властный и значительный.

– Приветствую тебя, пришелец, – проговорил внушающим доверие голосом рыцарь из Гарбова. – Присаживайся без опаски к нашему костру.

Существо покачало головой, Рейневан заметил короткую вспышку в огромных глазах, в которых проблеснул красный огонек.

– Садись без опаски, – повторил Завиша доброжелательно и одновременно твердо. – Тебе не надо нас бояться.

– Я не боюсь, – хрипло проговорило существо. К общему изумлению. Потом протянуло лапу. Рейневан отскочил бы, если б не так сильно трусил, чтобы пошевелиться. И вдруг с удивлением понял, что лапа указывает на герб на щите Завиши. Потом, к еще большему его изумлению, существо указало на котелок с отваром трав и прохрипело: – Сулима и Травник. Справедливость и знание. Чего же мне бояться. Я не боюсь. Меня зовут Ганс Майн Игель.

– Приветствуем тебя, Ганс Майн Игель. Ты не голоден? Хочешь пить?

– Нет. Только посидеть. Послушать. Потому что я слышал, как говорят, и пришел послушать.

– Ты – наш гость.

Существо приблизилось к костру, съежилось, превратившись в шар, замерло.

– Та-ак, – снова проявил спокойствие Завиша. – На чем же я остановился?

– На том… – Рейневан сглотнул, обрел голос. – На том, что *nec Hercules*…

– Именно… – прохрипел Ганс Майн Игель.

– Ну да, – легко сказал сулимец, – так оно и было. Они нас побили. Их была куча, гуситов то есть. И вообще нам крупно повезло, что навалилась на нас калишская конница. Ведь таборитские-то цепники не знают таких слов, как «пощада» или «выкуп». Когда меня в конце концов ссадили с седла, кто-то из тех, кто оказался рядом, Мертвич или Ратовский, успел крикнуть, кто я такой. Что, дескать, был под Грюнвальдом с Жижкой и Яном Соколом из Ламберка.

Рейневан тихо вздохнул, услышав знаменитые имена. Завиша долго молчал. Наконец сказал:

– Остальное вы должны знать. Потому что остальное не может сильно отличаться от легенды.

Рейневан и Ганс Майн Игель молча кивнули. Прошло много времени, прежде чем рыцарь заговорил снова.

– Теперь, сдается, меня под конец жизни могут предать анафеме. Потому что, когда меня из плена выкупили и я вернулся в Краков, я обо всем, что тогда, в день Трех Царей, под Немецким Бродом, а на следующий – в захваченном городе видел, рассказал королю Владиславу. Просто рассказал. Не советовал, не лез со

своим мнением, не судил и не осуждал. Просто рассказывал, а он, хитрый старый литвин, слушал. И понимал. И никогда, парень, уж ты мне поверь, пусть даже сам папа станет лить слезы по поводу угрозы, нависшей над святой верой, а Люксембуржец будет хорохориться и угрожать, старый хитрый литвин не пошлет на чехов польское и литовское рыцарство. И вовсе не из-за обиды на Люксембуржца за вроцлавское решение,[77] и отнюдь не за переговоры в Пожони относительно раздела Польши. А из-за моего рассказа. И сделанного из него единственно правильного вывода: польское и литовское рыцарство нужно держать против немецких крестоносцев, и глупо, совершенно бессмысленно было бы топить его в Сазаве, Влтаве или Лабе. Ягелло, выслушав мой рассказ, ни за что не присоединится к антигуситским походам. Именно, как сказано, из-за меня. Поэтому, прежде чем меня отлучат от церкви, я еду на Дунай, на турок.

– Шутите, – буркнул Рейневан. – Куда вас… Какое отлучение? Такого рыцаря, как вы… Шутковать изволите.

– Верно, – кивнул Завиша. – Верно, изволю. Но такая опасность есть.

Некоторое время помолчали. Ганс Майн Игель тихо сопел. Кони в темноте беспокойно похрапывали.

– Неужто, – рискнул Рейневан, – это конец рыцарям и рыцарству? Пехота, плотная и дисциплинированная, плечом к плечу, не только выстоит против конных латников, но еще и сумеет их разбить? Шотландцы под Баннокбурном, фламандцы под Куртруа, швейцарцы под Семпахом и Моргартеном, англичане под Азенкуром, чехи на Виткове и под Вышеградом, под Судомежем и Немецким Бродом… Может, это конец эпохи? Может, кончается время рыцарства?

– Война без рыцарей и рыцарства, – ответил через минуту Завиша Черный, – сначала превратится в обыкновенную бойню. А потом – в человекоубийство. Ни в чем подобном я не хотел бы участвовать. Но случится это еще не скоро, так что вряд ли я доживу. Да, между нами говоря, и не хотел бы дожить.

Долго стояла тишина. Костер догорал, поленья тлели рубином, время от времени стреляя синеватым пламенем, либо вспыхивали гейзером искр. Кто-то из слуг захрапел. Завиша тер лоб рукой. Ганс Майн Игель, черный, как сгусток тьмы, шевелил ушами. Когда в его глазах в очередной раз отразилось пламя, Рейневан сообразил, что существо смотрит на него.

– У любви, – неожиданно проговорил Ганс Майн Игель, – много имен. А тебе, юный Травник, именно она назначит судьбу. Любовь. Спасет жизнь, когда ты даже знать не будешь, что это сделала именно она. Ибо много имен у Богини. А еще больше –

обличий.

Рейневан молчал ошеломленный. Зато прореагировал Завиша.

– Ну вот, извольте, – сказал он. – Предсказание. Как любое – годится ко всему и одновременно ни к чему. Не обижайся, господин Ганс. А для меня? Есть у тебя что-нибудь для меня?

Ганс Майн Игель пошевелил головой и ушами.

– У большой реки, – сказал он наконец своим невнятным, хрипловатым голосом, – стоит на горе град. На горе, водою омываемой. А зовется он Голубиный Град.[78] Скверное место. Не езди туда, сулима. Скверное место для тебя, Голубиный Град. Не езди туда. Вернись.

Завиша долго молчал, было видно, что задумался. В конце концов Рейневан решил, что рыцарь оставит без ответа странные слова странного ночного существа. Но ошибся.

– Я, – прервал молчание Завиша, – человек железного меча.[79] Я знаю, что меня ждет. Знаю свою судьбу. Знаю без малого сорок лет, с того дня, когда взял в руки меч. Но я не стану оглядываться. Не обернусь на оставленные за конем хундфельды,[80] собачьи могилы и королевские предательства, на подлость, на ничтожество и безбожие духа. Я не сверну с избранного пути, милостивый государь Ганс Майн Игель.

Ганс Майн Игель не произнес ни слова, но его огромные глаза разгорелись.

– Тем не менее, – Завиша Черный потер лоб, – я хотел бы, чтоб ты предсказал мне, как и Рейневану, любовь. Не смерть.

– Я б тоже, – сказал Ганс Майн Игель, – хотел. Ну прощайте.

Удивительное создание вдруг раздулось, ощетинило шерсть. И исчезло. Растворилось во мраке, в том самом мраке, из которого возникло.

Кони фыркали и топтались в темноте. Слуги храпели. Небо светлело, над верхушками деревьев бледнели звезды.

– Странно, – сказал Рейневан. – Это было странно.

Сулимец, вырванный из дремы, поднял голову.

– Что? Что странно?

– Этот… Ганс Майн Игель. Знаете, господин Завиша, что… Ну, я должен признать… Вы меня удивили.

– То есть?

– Когда он появился из тьмы, вы даже не дрогнули. У вас даже голос не задрожал. А когда вы потом с ним беседовали, то… просто диву даешься… А ведь это было… Ночное существо. Нечеловек… Чуждый…

– Завиша Черный из Гарбова долго глядел на него.

– Я знаю множество людей… – ответил он наконец очень серьезно, – множество людей, гораздо более мне чуждых.

Рассвет был мглистый, влажный, капельки росы висели на паутинках. Лес стоял тихий, но опасный, как спящий хищник. Кони косились на наплывающий, стелющийся туман, фыркали, трясли головами. За лесом, на перепутье, стоял каменный крест. Одно из многочисленных в Силезии напоминаний о преступлении. И сильно запоздавшем раскаянии.

– Здесь мы расстанемся, – сказал Рейневан.

Сулимец взглянул на него, однако от комментариев воздержался.

– Здесь мы расстанемся, – повторил юноша. – Я, как и вы, тоже не люблю оглядываться на хундфельды. Мне, как и вам, отвратительна мысль о подлости и ничтожестве духа. Я возвращаюсь к Адели. Ибо… Не важно, что говорил этот Ганс… Мое место рядом с ней. Я не убегу, как трус, как мелкий воришка. Я стану сопротивляться тому, чему вынужден буду противостоять. Как противостояли вы под немецким Бродом. Прощайте, благородный господин Завиша.

– Прощай, Рейнмар из Белявы. Береги себя.

– И вы берегите. Кто знает, может, когда-нибудь еще свидимся.

Завиша Черный из Гарбова долго смотрел на него. Потом сказал:

– Не думаю.

Глава пятая,

в которой Рейневан вначале на собственной шкуре узнает, что чувствует обложенный в чащобе волк, потом встречает Николетту Светловолосую. А затем продолжает вниз по реке свой путь

За лесом на перепутье стоял покаянный каменный крест. Один из многочисленных в Силезии напоминаний о преступлении. И сильно запоздалом раскаянии.

Плечи креста оканчивались в виде клеверинок, а на расширенном внизу основании высечен топор – орудие, при помощи которого каявшийся грешник отправил на тот свет ближнего. Или ближних.

Рейневан внимательно вгляделся в крест. И очень скверно выругался.

Крест был тот самый, около которого не меньше трех часов назад он расстался с Завишей.

Виной всему был туман, с утра словно дым стелющийся по полям и лесам, виной был моросящий дождь, который все время мелкими капельками слепил глаза, а когда прекратился, то туман усилился еще больше. Виной был сам Рейневан, его усталость и недосып, его несобранность, вызванная постоянными мыслями об Адели фон Стерча и планами по ее освобождению. Впрочем, кто знает. Может, по правде-то виноваты были населяющие силезские леса многочисленные мамуны,[81] соблазнительницы, кобольды, хохлики,[82] ирлихты[83] и прочие лиха, занимающиеся тем, то сбивают человека с пути? Может, менее симпатичные и не столь благожелательные родственники и близкие Ганса Мейна Игеля, с которым он познакомился ночью?

Однако искать виноватых не имело смысла, и Рейневан прекрасно это знал. Следовало разумно оценить сложившуюся ситуацию, принять решение и действовать в соответствии с ним. Он слез с коня, прислонился к покаянному кресту и принялся усиленно размышлять.

Вместо того чтобы после трех часов, проведенных в седле, быть уже где-нибудь на полпути к Берутову, он все утро ездил по кругу и в результате оказался там, откуда выехал, то есть поблизости от Бжега, не дальше, чем в миле от города.

«А может, – подумал он, – может, мною руководила судьба? Указывала? Может, однако, воспользоваться тем, что я близко, и ехать в город в дружескую больницу Святого Духа и там

попросить помощи? Или лучше все же не терять времени и действовать по первоначальному плану – ехать прямо в Берутов, в Лиготу, к Адели».

«Города следует остерегаться», – подумал он. Его хорошие, даже дружеские связи с бжеговским духовенством были известны всем, а стало быть, и Стерчам. Кроме того, через Бжег шла дорога к иоаннитской командории в Малой Олесьнице – месту, в которое его хотел упрятать князь Конрад Кантнер. Несмотря на добрые в принципе намерения князя и не говоря уж о том, что у Рейневана не было никакого желания убить несколько лет на покаянии у иоаннитов, кто-нибудь из свиты Кантнера мог проболтаться либо польститься на деньги, и тогда нельзя было исключить, что Стерчи не притаились у бжеговских шлагбаумов.

«Значит, Адель, – подумал он. – Еду к Адели. Выручать Адель. Как Тристан к Изольде, как Ланселот к Гвиневере, как Гарет к Лионессе, как Гуинглен к Эсмеральде, как Пальмерин к Полинарде, как Медоро к Анжелике. Словом, немного глуповато и немного рискованно, больше того, по-идиотски. Прямо льву в пасть. Но, во-первых, этим я могу сбить с толку преследователей, потому что они этого могут не ожидать. Во-вторых, Адель в беде, ждет и наверняка тоскует, а я не могу допустить, чтобы она ждала».

Он просиял от радости, а вместе с ним, словно по мановению волшебной палочки Мерлина, просияло и небо. Правда, по-прежнему было туманно и волгло, но уже чувствовалось солнце, уже что-то там наверху понемногу светлело, во всеприсутствующей серости начали прорезываться светлые прогалины. Птицы поначалу принялись робко подавать голоса, потом расщебетались окончательно. Капли на паутинках горели серебром. А расходящиеся с распутья тонущие в испарениях дороги казались сказочными путями, ведущими в иные миры.

Да и против обманчивых чар тоже есть способ. Злясь на себя за излишнюю самонадеянность и на то, что не подумал об этом раньше, Рейневан разгреб ногой покрывающие основание креста сорняки, потом прошелся по обочине дороги. Быстро и без труда нашел то, что искал. Перистый полевой тмин, усыпанную розовыми цветочками зубчатку, молочай. Очистил стебли от листков, сложил вместе. Немного времени пошло на то, чтобы вспомнить, на которые пальцы навить, как переплести, как сделать *nodus,* узел. И как звучат заклинания.

Jeden, dwie, trzy,
Wolfesmilch, Kümmel, Zahntros
Binde zu samene —

Semitae eorum incurvatae sunt
Zaś ma droga prosta.[84]

Одна из дорог распутья тут же стала светлее, приятнее, приглашающее. Интересно, что без помощи *навенза*[85] Рейневан никогда б не догадался, что именно эта – нужная. Но Рейневан знал, что навензы не лгут.

Он ехал, вероятно, уже не меньше трех пачежей,[86] когда услышал лай собак и громкое, возбужденное гоготанье гусей. Вскоре ноздри приятно защекотал запах дыма. Дыма коптильни, в которой, несомненно, висело что-то весьма соблазнительное. Может, ветчина, может, грудинка. А может, гусиный полоток. Рейневан так яростно принюхивался, что забыл о свете Божьем и даже не заметил, как и когда проехал за изгородь и оказался во дворе придорожного трактира.

Собака его облаяла, но больше как бы по долгу службы, гусак, вытягивающий шею, зашипел на конские бабки. К запаху копченого окорока прибавился запах хлеба, пробивающийся даже сквозь смрад огромной навозной кучи, взятой в осаду гусями и утками.

Рейневан слез с лошади, привязал сивку к коновязи. Парень, присматривающий за конюшней и приводивший неподалеку в порядок коней, был настолько занят, что не обратил на него внимания. Внимание же Рейневана привлекло нечто другое – на одном из столбов навеса, на довольно беспорядочно смотанных разноцветных нитках висел *гекс*[87] – три веточки, связанные треугольником и оплетенные венком из привядших клеверинок и калужниц. Рейневан задумался, но не очень удивился. Магия присутствовала повсюду, люди использовали магические атрибуты, не зная порой их истинной сути и значения. Тем не менее даже скверно сделанный гекс, охраняющий от лукавого, смог обмануть даже его навенз.

«Вот почему я попал сюда, – подумал Рейневан. – Псякрев. Но коли уж я здесь…»

Он вошел, наклонив голову, чтобы не задеть притолоку.

Пленки в маленьких оконцах едва пропускали свет, внутри стоял полумрак, освещаемый только розблесками огня в камине. Над огнем висел котел, время от времени вскипающий пеной, на что огонь отвечал шипением и дымом, дополнительно затрудняющим видимость. Гостей было немного, только за одним столом, в углу, сидели четверо мужчин, вероятно, крестьян. В темноте трудно было разглядеть.

Едва Рейневан присел на лавку, как прислуживающая девка в переднике поставила перед ним тарелку. Правда, вначале он собирался только купить хлеба и ехать дальше, однако возражать не стал – пражуха[88] сытно и пленительно пахла свиным салом. Он положил на стол грош – один из немногих, полученных от Кантнера.

Служанка слегка наклонилась, подала ему липовую ложку. От нее шел слабый аромат трав.

– Ты попал, как кур во щи, – тихо шепнула она. – Сиди спокойно. Они тебя уже видели и нападут, как только ты подымешься из-за стола. Так что сиди и не рыпайся.

Она отошла к камину, помешала в исходящем паром котле. Рейневан сидел чуть живой, уставившись в шкварки на клецках. Его глаза уже привыкли к сумраку настолько, чтобы видеть, что у четверых мужчин, сидящих за столом в углу, слишком много оружия и доспехов для крестьян. И что вся четверка внимательно разглядывает его.

Он проклял свою глупость.

Служанка вернулась.

– Мало уже нас осталось на этом свете, – буркнула она, делая вид, что протирает стол, – чтобы я дала тебе пропасть, сынок.

Она задержала руку, и Рейневан заметил на ее мизинце калужницу вроде тех, что были на гексе, и повязанную таким образом, чтобы желтый цветок служил как бы драгоценным камнем перстня. Рейневан вздохнул, непроизвольно коснулся собственного навенза – сплетенных узлом и всунутых за ворот куртки стеблей молочая, зубчатки и тмина. Глаза женщины вспыхнули в полутьме. Она кивнула головой.

– Я приметила, как только ты вошел, – шепнула она. – И знала, что они охотятся именно за тобой. Но я не дам тебе помереть. Мало нас на земле осталось, и если мы не станем помогать друг другу, то изведемся вконец. Ешь, не подавай вида.

Он ел очень медленно, чувствуя, как мурашки бегают по спине под взглядами людей в углу. Женщина погремела сковородой, крикнула кому-то в другой комнате, подбросила огня, вернулась. С метлой.

– Я велела, – шепнула она, подметая пол, – отвести твоего коня на гумно, за хлев. Когда начнется, убегай через ту вон дверь, сзади, за рогожей. За порогом будь осторожнее. Возьми это.

Все еще как бы подметая, она подняла длинный стебель соломы. Незаметно, но быстро завязала на нем три узелка.

– Обо мне не думай, – шепотом развеяла она его сомнения. – На меня никто не обратит внимания.

– Герда! – крикнул трактирщик. – Хлеб пора вынимать!

Шевелись, няха.

Женщина отошла. Сгорбившаяся, серо-бурая, никакая. Никто не обращал на нее внимания. Никто, кроме Рейневана, которого она, отходя, одарила горящим как головня взглядом.

Четверо за столом в углу пошевелились, встали. Подошли, звеня шпорами, хрустя кожей, скрипя кольчугами, опираясь пятернями на рукояти мечей, кордов и баселярд. Рейневан снова, на сей раз еще крепче, мысленно отругал себя за недоумство.

– Господин Рейнмар Беляу. Вот, парни, сами видите, что значит ловческий опыт. Зверь, как полагается, загнан, логово, как полагается, обложено, еще немного везенья – и не быть нам без добычи. А сегодня нам и впрямь повезло.

Двое встали по бокам, один слева, другой справа. Третий занял позицию за спиной Рейневана. Четвертый, тот, который «держал речь», усатый, в плотно усеянной плитками бригантине, [89] встал напротив. Затем, не дожидаясь приглашения, сел.

– Ты не станешь, – не спросил, а скорее отметил он, – сопротивляться и устраивать тарарам? А, Беляу?

Рейневан не ответил. Он держал ложку между ртом и краем тарелки, словно не зная, что с ней делать.

– Не станешь, – сам себя заверил усатый тип в бригантине. – Потому как знаешь, что это глупо. Мы ничего против тебя не имеем, просто еще одна обычная работа. А мы, чуешь, привыкли работу себе облегчать. Начнешь дергаться и шуметь, так мы тебя сразу же сделаем послушным. Здесь вот, на краешке стола, сломаем тебе руку. Испытанный способ. После такой операции пациента даже связывать не надо. Ты что-то сказал, или мне показалось?

– Ничего, – Рейневан с трудом разлепил занемевшие губы, – не сказал.

– Ну и славно. Кончай хлебать. До Штерендорфа немалый путь, зачем тебе голодным ехать.

– Тем более, – процедил тип справа, в кольчуге и железных наплечниках, – что в Штерендорфе тебя наверняка не сразу накормят.

– А если и накормят, – хохотнул тот, что стоял позади, невидимый, – так наверняка не тем, что пришлось бы тебе по вкусу.

– Если вы меня отпустите, я вам заплачу, – выдавил из себя Рейневан. – Заплачу больше, чем дают Стерчи.

– Обижаешь профессионалов, – проговорил усатый в бригантине. – Я, Кунц Аулок, по прозвищу Кирьелейсон. Меня покупают, но не перекупают. Глотай, глотай клецки. Хлоп-хлоп!

Рейневан ел. Пражухи потеряли вкус. Кунц Аулок-

Кирьелейсон засунул за пояс булавку, которую до того держал в руке, натянул перчатку, сказав при этом:

– Не надо было лезть к чужой бабе.

А потом, не дождавшись ответа, добавил:

– Совсем недавно я слушал попа, по пьянке цитировавшего какое-то письмо, вроде бы гебрайское. Примерно такое: всякое преступление получит справедливое наказание: *iustam mercedis retributionem*. По-человечески это означает, что ежели что-то делаешь, то надо уметь предвидеть последствия своих деяний и быть готовым к ним. Надо уметь принимать их достойно. Вот, к примеру, глянь направо. Это господин Сторк из Горговиц. Будучи таким же любителем сладенького, как и ты, он совсем недавно совместно с друзьями совершил на одной опольской мещаночке действие, за которое, ежели ловят, то клещами рвут и колесуют. И что? Гляди и восхищайся тем, как Сторк достойно принимает свою судьбу, какое светлое у него лицо и взгляд. Бери пример.

– Бери пример, – захрипел Сторк, у которого, кстати, лицо было прыщеватое, а глаза гноящиеся. – И вставай. Пора в путь.

В этот момент поленья в камине вспыхнули, со страшным гулом плюнули в комнату огнем, пылью искр, клубами дыма и сажи. Котел взлетел, словно им выстрелили, саданул о пол, хлестнул кипятком. Кирьелейсон подпрыгнул, а Рейневан сильным толчком повалил на него стол. Пнул и оттолкнул ногой лавку, а полупустой тарелкой пражухов саданул господина Сторка прямо по прыщавой морде. И щукой нырнул к двери на гумно. Один из типусов успел схватить его за ворот, но Рейневан учился в Праге, его за ворот неоднократно хватали почти во всех шинках Старого Города и Малой Страны. Он вывернулся, ударил локтем так, что хрустнуло, вырвался, прыгнул к двери. Он помнил о предостережении и ловко обошел лежащий за самым порогом завязанный узлом пучок соломы.

Преследующий его Кирьелейсон о магической соломе, разумеется, не знал и сразу же за порогом растянулся во весь рост, по инерции проехав по свинячьему дерьму. Вслед за ним упал на узел Сторк из Горговиц, на изрыгающего проклятия Сторка повалился третий из четырех типов. Рейневан уже был в седле, уже пустил поджидавшего его коня в галоп, напрямую, через огороды, через грядки капусты, через живую изгородь из крыжовника. Ветер свистел у него в ушах, вдогонку неслись визг свиней и дикая ругань.

Он уже был среди верб над спущенным рыбным садком, когда услышал позади конский топот и крики преследователей. Поэтому, вместо того чтобы обойти пруд, помчался по узенькой дамбе. Сердце у него несколько раз замирало, когда дамба

осыпалась под копытами. Но ничего, пронесло.

Преследователи тоже влетели на дамбу, однако им в отличие от него счастье не улыбнулось. Первая лошадь не добежала даже до середины, заржала, соскользнула и по брюхо погрузилась в ил. Вторая рванулась, вконец додолбав дамбу подковами, въехала по круп в топкую жижу. Наездники кричали, яростно ругались. Рейневан понял, что самая пора воспользоваться обстоятельствами и предоставленным ему временем. Он ударил сивку пяткой, пошел галопом через вересковье к покрытым лесом холмам, за которыми надеялся увидеть спасительный бор.

Понимая, чем рискует, он все же заставил тяжело храпящего коня мчаться галопом вверх по склону. На вершине тоже не дал сивке передохнуть, а сразу погнал через покрывавшие склон рощицы. И тут, совершенно неожиданно, дорогу ему преградил всадник.

Испуганный конь заржал, поднялся на дыбы. Однако Рейневан удержался в седле.

– Недурно, – сказал всадник. Точнее – всадница, амазонка. Потому что это была девушка.

Довольно высокая, в мужской одежде, в облегающей бархатной курточке, из-под которой под шеей выглядывала снежно-белая брыжейка кофточки. У девушки была толстая светлая коса, сбегающая на плечо из-под беличьей шапочки, украшенной пучком перьев цапли и золотой брошью.

– Кто за тобой гонится? – крикнула она, ловко сдерживая пляшущую лошадь. – Закон? Говори!

– Я не преступник.

– Тогда за что?

– За любовь.

– Ха! Я сразу так и подумала. Видишь вон тот ряд темных деревьев? Там течет Стобрава. Поезжай туда что есть духу и заберись в топи на левом берегу. А я отведу их от тебя. Давай плащ.

– Да вы что. Госпожа… Как же так…

– Давай плащ, говорю! Ты ездишь хорошо, но я – лучше. Ах, какое приключение! Ах, ну будет, о чем рассказать. Эльжбета и Анка свихнутся от зависти!

– Госпожа… – пробормотал Рейневан. – Я не могу… Что будет, если вас схватят?

– Они? Меня? – фыркнула она, щуря голубые, как бирюза, глаза. – Да ты никак шутишь?

Ее кобыла, по стечению обстоятельств тоже сивая, дернула изящно мордой, снова заплясала. Рейневану пришлось признать правоту странной девушки. Ее благородных кровей – сразу видно

– верховая лошадь стоила гораздо больше, чем сапфировая брошь на шапочке.

– Это сумасшествие, – сказал он, кидая ей плащ. – Но благодарю. И в долгу не останусь…

От основания холма донеслись крики погони.

– Не трать впустую времени! – крикнула девушка, покрывая голову капюшоном. – Дальше! Туда, к Стобраве!

– Госпожа… Твое имя… Скажи мне…

– Николетта. Мой Алькасин, преследуемый за любовь. Быыывай!

Она послала кобылу в галоп, который скорее можно было назвать полетом, чем галопом. В туче пыли бурей слетела со склона, показалась преследователям и пошла по вересковью таким головокружительным галопом, что укоры совести тут же перестали мучить Рейневана… Он понял, что светловолосая амазонка не рисковала ничем. Тяжелые лошади Кирьелейсона, Сторка и остальных, идущих под двухсотфунтовыми мужиками, не могли соперничать с сивой кобылой чистых кровей, несущей к тому же всего лишь легкую девушку и легкое седло. И действительно, амазонка не позволила себя догнать и очень быстро скрылась из глаз за холмом. Однако преследователи решительно и неумолимо шли у нее по пятам.

«Они могут просто утомить ее, – со страхом подумал Рейневан. – Ее и ее кобылу. Но, – успокаивал он совесть, – у нее наверняка где-то поблизости свита. На такой лошади, так одетая – это ж ясно, девушка высокородная, а такие в одиночку не ездят», – думал он, мчась галопом в указанном направлении.

«Конечно. И конечно, – подумал он, захлебываясь воздухом от скорости, – ее зовут вовсе не Николеттой. Посмеялась надо мной, бедным Алькасином».

* * *

Скрытый в ольховых топях вдоль Стобравы Рейневан облегченно вздохнул, да что там, даже вроде бы возгордился. Ни дать ни взять – Роланд или Огер, обманувший преследующие его орды мавров. Однако гордость и хорошее самочувствие оставили его, когда с ним случилось то, что, если верить балладам, не случалось ни с Роландом, ни с Огером, ни с Астольфом, ни с Ренальтом из Мантальбана или Раулем из Гамбурга.

Все вышло совершенно просто и прозаично: у него захромал конь.

Рейневан слез сразу же, как только почувствовал неверный,

ломкий ритм шага сивки. Осмотрел ногу и подкову, но ничего не смог установить и тем более предпринять. Мог только идти, ведя прихрамывающее животное за узду. «Прекрасно, – думал он при этом. – От среды до пятницы одного коня загнал, другого охроматил. Куда уж лучше. Недурной результат».

Вдобавок ко всему с высокого берега Стобравы неожиданно донеслись посвисты, ржание, ругань, выкрикиваемая знакомым голосом Кунца Аулока по прозвищу Кирьелейсон. Рейневан затянул коня в самые плотные кусты, схватил за ноздри, чтобы тот не заржал. Крики и ругань затихли в отдалении.

«Догнали девушку, – подумал он, и сердце у него упало в самый низ живота от страха и укоров совести. – Догнали».

«Ничего подобного. Не догнали, – успокаивал рассудок. – Возможно, самое большее – настигли ее свиту и тут поняли свою ошибку. Николетта провела их и высмеяла, оказавшись в безопасности среди своих рыцарей и слуг. Значит, они вернулись, выслеживают. Охотнички!»

Ночь он просидел в чащобе, клацая зубами и отмахиваясь от комаров. Не сомкнул глаз. А может, сомкнул, но совсем ненадолго. Вероятно, все же уснул и видел сны, потому что иначе как бы мог увидеть служанку из трактира, ничем не приметную, ничем не примечательную, ту – с колечком калужницы на пальце? Как иначе, если не сонным видением, она могла к нему прийти?

«Нас уже так мало осталось, – сказала она. – Так мало. Не дай себя схватить, не дай поймать. Что не оставляет следа? Птица в воздухе, рыба в воде».

Птица в воздухе, рыба в воде.

Он хотел ее спросить, кто она, откуда знает магические навензы, чем – ведь не порохом же – вызвала взрыв в печи. Хотел спросить ее о многом.

Не успел. Проснулся.

Еще до рассвета Рейневан тронулся в путь. Направился вниз по течению реки. Шел, возможно, около часа, держась высоких лиственных лесов, когда внизу под ним неожиданно растянулась широкая река. Такая широкая, какая только одна на всю Силезию.

Одра.

По Одре шел под парусом против течения небольшой баркас. Шел грациозно, словно хохлатая поганка, ловко плывущая краешком светлой мелизны. Рейневан жадно вглядывался.

«Какие ж вы ловчие, – подумал он, видя, как ветер вздувает парус баркаса, а перед носом вспенивается вода. – Какие ж из вас

охотники? А? Господин Кирьелейсон *et consortes?*[90] Небось думаете, поймали меня, обложили? Погодите, я вам выкину номер. Вырвусь, выберусь из расставленного капкана так лихо, так ловко, что вы скорее дьявола проглотите, чем снова отыщете мой след. Потому что придется вам тот след искать под Вроцлавом.

Птица в воздухе, рыба в воде…»

Он потянул сивку в сторону ведущей к Одре наезженной дороги. Однако для верности пошел не по ней, а держался лозняка и ив, полагая, что дорога непременно приведет к речной пристани. И не ошибся.

Уже издали услышал возбужденные голоса на пристани, раздраженные неизвестно то ли от ругани, то ли в запале купли-продажи и торговых переговоров. Однако легко можно было узнать: говорили по-польски.

Поэтому, еще не выйдя из лозняка и не увидев с обрыва пристани, Рейневан уже знал, кому принадлежали голоса и пришвартованные к столбам небольшие барки, баркасы и лодки. Это были *wasserpolen* – водные поляки, одрские плотогоны и рыбаки, организованные больше на манер клана, нежели коллективного товарищества. Рыбачья артель, членов которой, кроме профессии, объединял язык и крепкое чувство национальной обособленности. Водные поляки держали в своих руках большую часть силезского рыболовства, им принадлежала значительная доля в сплаве леса и еще большая – в малом речном транспорте, где они вполне удачно соперничали с Ганзой, которая не поднималась по Одре выше Вроцлава, водные же поляки возили товары аж до Рацибужа, а вниз по Одре плавали до самого Франкфурта, Любоша и Костшина. И даже – непонятно как обходя строжайший франкфуртский закон складирования[91] – дальше вниз, за устье Варты.

От пристани несло рыбой, тиной и смолой.

Рейневан с трудом спустил прихрамывающего коня по скользкой глине откоса, приблизился к пристани, лавируя меж сараями, шалашами и сохнущими сетями. По мосту шлепали босые ступни, шла разгрузка и загрузка. С одной барки выгружали, на другую загружали. Часть товара, который в основном составляли дубленые кожи и бочки с неведомым содержимым, с пристани переносили на телеги, за операциями следил бородатый купец. На одну из барок заводили быка. Бугай ревел и топал так, что сотрясался весь помост. Плотогоны ругались по-польски.

Довольно скоро все успокоилось. Телеги со шкурами и бочками отъехали, бугай пытался рогом развалить тесную

загородь, в которой его заперли. Водные поляки, придерживаясь обычая, начали переругиваться. Рейневан знал польский достаточно хорошо, чтобы понять, что ругались больше по привычке, ни из-за чего.

– Направляется ли, позвольте узнать, кто-нибудь из вас вниз по реке? К Вроцлаву?

Водные поляки прервали пустопорожнее препирательство и глянули на Рейневана не очень-то дружелюбно. Один сплюнул в воду.

– А если и так, – буркнул он, – то что? Уважаемый пан шляхтич?

– Конь у меня захромал. А мне надо во Вроцлав.

Поляк крякнул, кашлянул, снова плюнул.

– Ну, – не сдавался Рейневан. – Так как?

– Я немцев не вожу.

– Я не немец. Я силезец.

– Да?

– Да.

– Ну, тогда скажи: перчи – не перчи, не переперчишь.

– Перчи – не перчи, не переперчишь. А теперь ты скажи: стоит кабак не по-кабаковски, сшит колпак не по-колпаковски.

– Стоит как… э, короче, не покал… кабак… Залезай!

Рейневан не заставил повторять себе дважды. Однако хозяин судна резко охладил его пыл.

– Погодь! Куды? Во-первых, я плыву только до Олавы. Во-вторых, это стоит пять скойцев.[92] За коня дополнительных пять.

– Если не имеешь, – добавил с лисьей усмешкой второй вассерполяк, видя, как Рейневан сконфуженно шарит в кошеле, – то у тебя я куплю коня. За пять… Ну, пусть будет – за шесть скойцев. Двенадцать грошей. У тебя будет аккурат на рейс. Ну а за коня, которого у тебя не будет, платить уже не придется. Чистая выгода.

– Этот конь, – заметил Рейневан, – стоит по меньшей мере пять гривен.

– Этот конь, – быстро заметил поляк, – ни хрена не стоит. Потому как ты не доедешь на нем туда, куда так спешишь. Ну так как? Продаешь?

– Если добавите еще три скойца за седло и упряжь.

– Один.

– Два.

– По рукам.

Конь и деньги поменяли хозяев. Рейневан на прощание пошлепал сивку по шее, погладил по загривку, хлюпнул носом, прощаясь, как там ни говори, с другом и спутником по несчастью.

Схватился за веревку и запрыгнул на палубу. Моряк сбросил швартов со столба. Барка дрогнула, медленно вошла в стрежень. Бугай ревел, рыбы воняли. На помосте водные поляки осматривали ногу сивки и ругались ни о чем.

Барка плыла вниз по реке. К Олаве. Свинцовая вода Одры хлюпала и пенилась, ударяясь о борт.

– Э-э… Милсдарь!.

– Что? – Рейневан вскочил, протер глаза. – Что случилось, господин шкипер?

– Олава перед нами.

От устья Стобравы до Олавы по Одре неполных пять миль. Такое расстояние идущая по течению барка может преодолеть не дольше, чем за десять часов. При условии, что плывет без долгих стоянок и никаких других дел, кроме движения, у нее нет.

У вассерполяка, хозяина барки, дел было бесчисленное множество. Да и на недостаток стоянок в пути Рейневан тоже жаловаться не мог. Однако, в общем, у него не было никаких причин для нареканий. И хотя вместо десяти часов он провел на барке полтора дня и две ночи, однако был в относительной безопасности, странствовал с удобствами, воспользовался временем, чтобы выспаться как следует, наелся досыта. Ха, даже побеседовал.

Водный поляк, хоть и не представился Рейневану по имени и не требовал того же от него, был, в общем, человеком вполне симпатичным и приятным в общении. Неразговорчивый, чтобы не сказать ворчливый, брюзгливым и грубым он отнюдь не был. Человек простой, он, впрочем, был вовсе не глуп. Барка лавировала между островками и мелями, подходила к пристаням то по левому, то по правому берегу. Экипаж из четырех человек мотался как чумной, шкипер ругался и подгонял. Руль уверенно держала жена вассерполяка, женщина в самом соку. Рейневан, стараясь как мог блюсти приличие, в меру сил пытался не смотреть на ее крепкие бедра, выглядывавшие из-под подвернутой юбки. Отводил, если мог, взгляд, когда при маневрировании рулевым веслом платье женщины натягивалось на грудях, достойных Венеры.

Рейневан навестил в барке надодрские пристани с такими названиями, как Язица, Загвиздье, Клэмбы и Монт, был свидетелем коллективного лова рыбы и торговых сделок, а также сватовства. Видел загрузку и разгрузку самых различных товаров. Увидел такое, чего раньше ему никогда видеть не доводилось, к примеру, стодвадцатипятифунтового сома длиною в пять локтей. Ел то, чего никогда не едал, например, зажаренное на углях филе

из этого сома. Узнал, как уберечься от топельца, никсы и вирника. В чем разница между неводом и дрыгавицей,[93] в чем – между язом и гатью, какая между старицей и застругой и какая между лещом и гусьтерой. Наслушался немало очень нелестных слов о немецких хозяйчиках, тиранящих водных поляков варварскими пошлинами и поборами.

Следующий день оказался воскресеньем. Водные поляки и местные рыбаки не работали. Молились долго у довольно топорно изготовленных фигурок Божьей Матери и святого Петра, потом пиршествовали, потом организовали что-то вроде сеймика, а потом упились и подрались.

По данному шкипером знаку Рейневан соскочил на хлипкий помост. Барка отерлась о столб, развела носом водоросли, лениво повернула на стрежень.

– Все время по дамбе! – крикнул вассерполяк. – И так, чтобы солнце было за спиной! До моста на Олаве, потом к лесу. Будет ручей, а за ним уже стшелинский тракт. Не заблудитесь!

– Благодарю! Да поможет вам Бог!

Над рекой быстро поднимался туман, постепенно заволакивающий барку. Рейневан забросил на плечо узелок.

– Эй, пан! – долетело с реки.

– Что?

– Стоит кабак не по-кабаковски, сшит колпак не по-колпаковски, надо кабак перекабаковать, а колпак переколпаковать!

Глава шестая,

в которой Рейневан сначала получает трепку, а потом отправляется в путь до Стшелина в обществе четырех человек и одной собаки. Дорожную скуку скрашивает диспут, касающийся ересей, плевелами расползающихся вокруг

По опушке бора, среди зеленых горецов, весело катя обласканную солнцем воду, бежал ручеек, извивающийся между выстроившимися шпалерой вербами. Там, где начиналась просека и дорога втягивалась в лес, берега ручья стягивал мостик из толстых бревен, бревен настолько черных, обомшелых и старых, словно их положили еще во времена Генриха Благочестивого.[94] На мостике стояла телега, запряженная тощей гнедой лошаденкой. Телега сильно кренилась набок. Сразу было видно почему.

– Колесо, – отметил факт Рейневан, подходя. – Неприятность?

– Хуже, чем вы думаете, господин, – ответила, размазывая по потному лбу деготь, рыжая складная молодка. – Оська у нас полетела.

– М-да. Тут без кузнеца не обойтись.

– Ай-ай! – схватился за лисью шапку второй путник, бородатый еврей в скромной, но ухоженной и отнюдь не бедной одежде. – …Господь Исаака! Несчастье! Беда! Что же ж делать?

– Вы ехали, – сообразил Рейневан, видя, куда направлено дышло, – на Стшелин?

– Вы угадали, молодой человек.

– Я помогу вам, а вы взамен подвезете меня. Мне, видите ли, тоже в ту сторону. И у меня тоже неприятности…

– Нетрудно догадаться… – Еврей пошевелил бородой, а глаза у него хитро блеснули. – То, что вы, молодой человек, не из простых, видно сразу. А где ж ваш конь? Хотите на телеге навроде Ланселота ехать? Ну что ж. Глаза у вас добрые. Я – Хирам бен Элиезер, раввин бжеговского каганата. Еду в Стшелин…

– А я, – весело подхватила рыжеволосая женщина, подражая интонациям еврея, – Дорота Фабер. Отправляюсь в широкий мир. А вы, юноша?

– Меня, – после недолгого колебания решился сказать Рейневан, – зовут Рейнмар Беляу. Послушайте. Сделаем так. Как-нибудь стащим телегу с мостика, выпряжем кобылу, я на ней без седла сгоняю с этой осью в пригород Олавы к кузнецу. Если понадобится, привезу его сюда. Ну, за работу.

Все оказалось не так-то просто.

От Дороты Фабер проку было чуть, от пожилого раввина – никакого. Рейневан в одиночку приподнять телегу не мог. Поэтому все трое в конце концов уселись около сломанной оси и, тяжело дыша, принялись рассматривать миног и пескарей, от которых прямо-таки шевелилось песчанистое дно речки.

– Вы говорили, – спросил рыжеволосую Рейневан, – что направляетесь в мир. Куда и зачем?

– За хлебом насущным, – ответила девушка, вытирая нос тыльной стороной ладони. – Пока что, раз уж ребе еврей милостиво взял на телегу, еду с ним до Стшелина, а там, глядишь, и до Вроцлава самого. С моей профессией я работу всегда найду. Но все же хотелось бы получше.

– С вашей… профессией? – начал соображать Рейневан. – Это… это значит, что…

– Вот-вот. Я, как вы это называете… Эта, ну… блудница. Последнее время была в бжегском борделе «Под короной».

– Понимаю, – серьезно кивнул Рейневан. – И ехали вместе? Рабби? Ты взял на телегу… Хм… Куртизанку?

– А почему б не взять? – широко раскрыл глаза рабби Хирам. – Взял. Потому как, понимаете ли, кем бы я после этого был, если б не взял?

В этот момент омшелые бревна задрожали под ногами трех мужчин, вошедших на мост.

– Может, помочь?

– Неплохо бы, – согласился Рейневан, хоть малоприятные лица и бегающие глазки добровольных помощников очень, ну, очень ему не понравились. Оказалось, что не понравились не напрасно. Потому что сразу же, как только несколько пар крепких рук столкнули повозку на лужок за мостиком, самый высокий из трех типов, заросший бородой по глаза, заявил, размахивая дубиной:

– Ну, работа сделана, таперича надыть платить. Выпрыгивай, пархатый, из шубы, выпрягай коня, гони кошель. А ты, чуль, скидывай куртку и вылезай из сапог. А ты, красуля, выползай из всего, что на тебе надето. Тебе по-иншему расплачиваться досталось. Голышом!

Бандюги загоготали, показав гнилые зубы. Рейневан наклонился и поднял жердь, которой поддерживал телегу.

– Глянь-ка, – указал на него дубинкой бородатый, – какой парнишка-то бойкий. Его еще жизня не научила, што кады велят скидавать сапоги, то надыть скидавать. Потому как босым-ать ходить можно, а на поломанных культях – никак. А ну! Дайте-ка ему!

Тройка ловко отпрянула от свистящего круга, которым окружил себя Рейневан, один напал сзади и лихим пинком под колено свалил парня на землю, но тут же взвыл и закружился сам, прикрывая глаза от когтей прыгнувшей ему на загривок Дороты Фабер. Рейневан получил дубинкой по плечу, сжался под пинками и ударами палок, увидел, как один из типов отталкивает пытающегося вмешаться раввина. А потом увидел черта.

Разбойники принялись кричать. Страшно. Тот, что взялся за них, был, конечно, никаким не чертом. А был это огромный смоляно-черный британ[95] в ошейнике, ощетинившемся торчащими во все стороны иглами. Собака металась от бандюги к бандюге словно черная молния, причем нападала не как дворняга, а как волк. Рвала клыками одного и тут же отпускала, чтобы взяться за другого, схватить за лодыжку, вцепиться в бедро. Стиснуть зубы на промежности. А повалив – хватать за руки и лица. Крики «бравой троицы» сделались чудовищно тонкими. Так что волосы вставали дыбом.

Раздался пронзительный, модулированный свист. Черный британ тут же отскочил от разбойников, сел и замер, поставив уши торчком. Ни дать ни взять – статуя из антрацита.

На мост въехал всадник в коротком сером плаще, стянутом серебряной пряжкой, облегающем вамсе и шапероне[96] с длинным, опускающимся на плечо хвостом.

– Как только солнце поднимется над верхушкой той вон ели, – громко проговорил всадник, распрямляя в седле вороного жеребца свою отнюдь не могучую фигуру, – я пущу Вельзевула следом за вами, мразь. Воспользуйтесь предоставленным вам временем, негодяи. Останавливаться не рекомендую.

Повторять дважды не пришлось. Бандиты тут же помчались к лесу, хромая, охая и трусливо оглядываясь. Вельзевул, словно зная, чем сумеет их особенно напугать, глядел не на них, а на солнце и верхушку ели.

Всадник подъехал ближе, с высоты седла присмотрелся к еврею, Дороте Фабер и Рейневану, который в этот момент как раз поднимался, ощупывая ребра и стирая кровь с носа. Особенно внимательно наездник присматривался к Рейневану, что не укрылось от внимания юноши.

– Ну-ну, – сказал ездок наконец, – классическая ситуация. Ну, прямо как в сказке: болотце, мост, поломанное колесо, неприятности. И помощь как по мановению волшебной палочки. Уж не призывали ли кого? Не испугаетесь, если я достану цирографы и велю их подписать?

– Нет, – ответил рабби. – Не та сказка.

Всадник хохотнул.

– Я – Урбан Горн, – продолжая смотреть прямо на Рейневана, сказал он. – Так кому ж мы с моим Вельзевулом помогли?

– Я – рабби Хирам бен Элиезер из Бжега.

– Я – Дорота Фабер.

– Я – Ланселот с Телеги. – Рейневан, несмотря на все, не очень-то доверял нежданному помощнику.

Урбан Горн снова фыркнул, пожал плечами.

– Полагаю, путь держите в сторону Стшелина. Я обогнал на тракте человека, направляющегося туда же. Ежели позволите посоветовать, вам лучше было бы попросить его подвезти вас, чем тут до ночи торчать со сломанной осью. Лучше. И безопасней.

Рабби Хирам бен Элиезер окинул свой экипаж тоскливым взглядом, но, кивнув, согласился с незнакомцем.

– А теперь, – тот взглянул на лес, на верхушку ели, – прощайте. Дела зовут.

– А я думал, – рискнул Рейневан, – что вы их просто пугали…

Всадник глянул ему в глаза, и взгляд у него был холодный. Прямо-таки ледяной.

– Пугал, – признался он. – Но я, Ланселот, никогда не пугаю впустую.

Путником, о котором упомянул Урбан Горн, был священник, едущий на солидной телеге толстячок с глубоко выбритой тонзурой, одетый в плащ, отороченный хорьковым мехом.

Священник остановил лошадь, не слезая с козел выслушал рассказ, оглядел повозку со сломанной осью, внимательно рассмотрел каждого из трех просителей и наконец уразумел, о чем эти просители покорнейше просят.

– Значит, что? – спросил он наконец очень недоверчиво. – В Стшелин? На моей телеге?

Просители приняли позы еще более просящие.

– Я – Филипп Гранчишек из Олавы, приходской священник церкви Утешения Божьей Матери, добрый христианин и католическое духовное лицо, должен взять на телегу жида? Проститутку? И бродягу?

Рейневан, Дорота Фабер и рабби Хирам бен Элиезер переглянулись, а мины у них были, прямо сказать, сконфуженные.

– Садитесь, – наконец сухо сказал священник, – потому как я был бы последним чулем, если б вас не взял.

Не прошло и часа, как перед тянувшим телегу священника буланым мерином возник Вельзевул, искрящийся от росы. А чуть позже на тракте показался Урбан Горн на своем вороном.

– Поеду с вами до Стшелина, – запросто бросил он, –

натурально, если вы не возражаете.

Никто не возражал.

О судьбе бандитов никто не спрашивал. А мудрые глаза Вельзевула не выражали ничего.

Либо все.

Так они и ехали по стшелинскому тракту, по долине реки Олавы, то по густым лесам, то по вересковью и просторным лугам. Впереди словно лауфер[97] бежал британ Вельзевул. Собака патрулировала дорогу, иногда скрываясь меж деревьев, шарила по зарослям и травам. Однако не гоняла и не вспугивала зайцев, не поднимала соек. Это было ниже достоинства черной псины. Не случалось ругать собаку или призывать ее к порядку и Урбану Горну, таинственному незнакомцу с холодными глазами, едущему рядом с телегой на вороном жеребце.

Запряженной буланым мерином телегой управляла Дорота Фабер. Рыжеволосая девица из Бжега, явно грешница, упросила плебана доверить ей вожжи, и было совершенно ясно, что рассматривала это как плату за проезд. А управлялась она прекрасно, с очевидной сноровкой. Таким образом, сидевший рядом с ней на козлах плебан Филипп Гранчишек мог, не опасаясь за экипаж, подремывать либо дискутировать.

На телеге, на мешках с овсом дремал или – в зависимости от обстоятельств – беседовал с Рейневаном рабби Хирам бен Элиезер.

За телегой, привязанная к решетке, топала тщедушная евреева кобыла.

Так они и ехали, подремывали, беседовали, останавливались, беседовали, подремывали. Немного перекусили. Опорожнили кувшинчик горилки, который вытащил из сапета[98] плебан Гранчишек. Потом второй, который извлек из-под шубы рабби Хирам.

Вскоре, сразу за Бжезьмежем, оказалось, что и плебан, и рабби ехали в Стшелин с одной и той же целью – послушать навестившего город и приход каноника вроцлавского капитула. Однако если плебан Гранчишек ехал, как он выразился, «по вызову», чтобы не сказать на «выволочку», то рабби надеялся лишь получить аудиенцию. Плебан считал, что у Хирама шансы были невелики.

– У преподобного каноника, – вещал он, – там будет край непочатой работы. Множество дел, разборов, без счета приемов. Ибо трудные у нас настали времена, ох трудные.

– Словно, – натянула вожжи Дорота Фабер, – когда-нибудь были легкие.

– Я говорю о трудных временах для церкви, – уточнил Гранчишек. – И для истинной веры. Поскольку распространяются, заполняя все вокруг, плевелы ереси. Встречаешь человека, он пожелает тебе добра во имя Господа Бога, а ты и не знаешь, не еретик ли он. Вы что-то сказали, рабби?

– Возлюби ближнего своего, – пробормотал Хирам бен Элиезер, неизвестно, не сквозь сон ли. – Пророк Илия может объявиться в любом лице.

– Как же, – пренебрежительно махнул рукой плебан Филипп. – Жидовская философия. А я говорю: бди и трудись, трудись и бди – и молись. Ибо дрожит и качается Петров оплот. Расползаются кругом плевелы ереси.

– Это, – Урбан Горн придержал коня, чтоб ехать рядом с телегой, – вы уже говорили, патер.

– Ибо сие и есть истина. – Плебан Гранчишек, похоже, совсем проснулся. – Сколь ни повторяй, правда. Ширится еретичество, плодится вероотступничество. Словно после дождя вырастают ложные пророки, готовые своими лживыми учениями истощить Божий Завет. Воистину провидчески писал апостол Павел во втором послании Тимофею: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням».[99] И будут твердить, помилуй Иисусе Христе, что во имя истины творят то, что творят.

– Все на этом свете, – заметил как бы мимоходом Урбан Горн, – творится под лозунгом борьбы за правду. И хоть обычно совсем о разных правдах идет речь, выигрывает на этом только одна – истинная.

– Еретически прозвучало, – собрал лоб в складки плебан, – то, что вы рекли. Мне, дозвольте вам сказать, больше – в смысле правды – по пути с тем, что магистр Иоганн Нидер в своем *Formicarius'* е написал. А сравнил он еретиков с теми в Индии живущими муравьями, кои без передышки выбирают из песка крупицы золота и в муравейник относят, хотя никакой выгоды от этого золота не имеют, ибо и не съедят, и себе не урвут. Точно так же, пишет в «Формикариусе» магистр Нидер, поступают и еретики, кои в Священном Писании копаются и зерна истины в нем ищут, хотя и сами не знают, что с этой истиной делать.

– Очень даже красиво, – вздохнула Дорота Фабер, подгоняя мерина. – Ну, о тех муравьях, значит. Ох, говорю, когда я такого мудреца слушаю, у меня аж ниже пупка сосать начинает.

Плебан не обратил внимания ни на нее, ни на ее пупок.

– Катары, – продолжал он, – иначе – альбигойцы, кои руку, стремившуюся их в лоно Церкви возворотить, яко волки кусали.

Вальденсы и лолларды, осмеливающиеся оскорблять Церковь и Святого Отца, а литургию собачьей брехней называть. Мерзкие отступники богомилы и им подобные павликиане, алексиане и патрипассиане, отваживающиеся отрицать Святую Троицу, «братья» ломбардские, всякое отребье и разбойники, у которых на совести не один священник. Им подобные дульчинисты, сторонники Фра Дольчина. *Item* разные другие отступники: присциллиане, петробрузиане, арнольдисты, сперонисты, пассанисты, мессальяне, апостольские братья, пасторелы, патарены и аморикане. Попликане и турлупиане, отрицающие *divinitatem*[100] Христа и отвергающие святыни, а поклоняющиеся дьяволу. Люциферане, название которых явно говорит, во имя кого они творят свои мерзопакостности. Ну и само собой, гуситы, противники веры, Церкви и папы…

– А что всего смешней, – вставил с улыбкой Урбан Горн, – все вами перечисленные «ане» и «исты» себя-то считают правыми, а других именуют врагами веры. Что касается папы, то все же признайте, уважаемый патер, что порой трудно бывает из многих выбрать истинного. А что до Церкви, то все в один голос вопят о необходимости реформы, *in capite et in membris.*[101] Вас это не заставляет задуматься, преподобный?

– Не очень-то я понимаю слова ваши, – признался Филипп Гранчишек. – Но если вы хотите сказать, что в лоне самой Церкви взрастает ересь, то вы правы. Весьма близки к тому греху, который в вере бродит, в спеси своей с набожностью перебарщивают. *Corruptio optimi pessima.*[102] Взять хотя бы казус всем известных бичовников или флагеллантов. Уже в 1349 папа Климентий VI провозгласил их еретиками, проклял и повелел карать, но разве это помогло?

– Ничуть не помогло, – бросил Горн. – Они по-прежнему бродили по всей Германии, развлекая мужиков, поскольку девок среди них было немерено, а те занимались самобичеванием, обнажившись до пояса и выставив напоказ сиськи. Порой очень даже ладные сиськи, я-то знаю, что говорю, поскольку видел их походы в Бамберге, в Госларе и в Фюрстенвальде. Ох и здорово же подпрыгивали у них эти сисечки, ох подпрыгивали! Последний собор снова их осудил, но это пустое дело. Вспыхнет какая-нибудь зараза или другая беда, и они снова возьмутся за свои бичевальные представления. Им это просто нравится.

– Один ученый магистр в Праге, – включился в диспут немного разморившийся Рейневан, – доказывал, что это болезнь. Что некоторые женщины именно в том обретают благость, что нагими хлещут себя у всех на глазах. Потому-то среди флагеллантов было и есть столько женщин.

– В нынешние времена я б не советовал ссылаться на пражских магистров, – резко заметил плебан Филипп. – Однако надо признать, что-то в этом есть. Братья Проповедники утверждают, что много зла идет от телесного сладострастия, а сие в женщинах неугасимо.

– Женщин, – неожиданно проговорила Дорота Фабер, – лучше оставьте в покое. Ибо и сами вы не без греха.

– В райском саду, – покосился на нее Гранчишек, – змей не на Адама, а на Еву ополчился и наверняка знал, что делает. Доминиканцы тоже наверняка знают, что говорят. Но я имел в виду не то, чтобы женщин осуждать, а только что многие из теперешних ересей странным образом именно на вожделении и блуде замешены, в соответствии с какой-то, похоже, обезьяньей развращенностью. Дескать, ежели Церковь запрещает, так вот же – будем поступать ей наперекор. Церковь наказывает быть скромным? А ну, выставим голый зад! Призывает к сдержанности и благопристойности? Так нет же, будем совокупляться, словно кошки в марте. Пикарды и адамиты в Чехии совсем нагими расхаживают, а трахаются – прости меня, Господи! – погрязши в грехе, все со всеми, словно собаки, не люди. Так же делали апостольские братья, то есть секта сегарелли. Кёльнские *condormientes,* то есть «спящие вместе», телесно общаются, невзирая на пол и родство.

Патернианцы, именуемые так по имени их порочного апостола Патерна из Пафлагонии,[103] святости супружества не признают и предаются коллективному распутству, особливо такому, кое делает невозможным зачатие.

– Любопытно, – задумчиво проговорил Урбан Горн.

Рейневан покраснел, а Дорота фыркнула, показывая тем самым, что дело это ей не совсем чуждо.

Телега подпрыгнула на выбоине так, что рабби Хирам проснулся, а готовящийся к очередной проповеди Гранчишек чуть не откусил язык. Дорота Фабер чмокнула на мерина, хлестнула вожжами. Пресвитер поудобнее устроился на козлах.

– Были и есть также иные, – затянул он снова, – которые тем же грешат, что и бичовники. Преувеличенной, значит, набожностью, от которой только шаг до извращений и ереси. Как хотя бы подобные бичовникам дисциплинаты, баттуты или циркумпелионе, как бианчи, то есть «белые», как гумилаты, как так называемые лионские братья, как иоахимиты. Знаем мы такое и, как говорится, на собственном дворе. Я имею в виду свидницких и ниских бегардов.

Рейневан, у которого в отношении бегардов и бегинок было собственное мнение, кивнул головой. Урбан Горн не кивнул.

– Бегарды – спокойно сказал он, – которых именуют *fratres de voluntaria paupertate,* то есть нищими по собственной воле, могли быть образцом для многих священников и монахов. Были у них и крупные заслуги перед обществом. Достаточно сказать, что именно бегинки в своих больницах и приютах остановили заразу в шестидесятом году, не дали распространиться эпидемии. А это тысячи людей, спасенных от смерти. Ничего не скажешь, бегинкам за это отплатили сполна. Обвинили в еретичестве.

– Конечно, – согласился священник, – было среди них много людей набожных и самоотверженных. Но были и отступники, и грешники. Многие бегинарии, да и хваленые приюты оказались рассадниками греха, святотатства, ереси и полной распущенности. Много также было зла и от странствующих бегардов.

– Думайте как угодно.

– Я?! – ахнул Гранчишек. – Я – простой плебан из Олавы, что мне думать-то? Бегардов осудил Вьеннский собор и папа Клемент без малого за сто лет до моего рождения. Меня и на свете-то не было, когда в тысяча триста тридцать втором году Инквизиция вскрыла среди бегинок и бегардов такие ужасающие дела, как раскапывание могил и осквернение трупов. Меня не было на свете и в семьдесят втором году, когда во исполнение новых папских эдиктов возобновили Инквизицию в Свиднице. Следствие доказало еретичность бегинок и их связи с ренегатским братством и сестринством Свободного Духа, с пикардской и турлупинской мерзостью, в результате чего вдова княжна Агнешка прикрыла свидницкие бегинажи, а бегардов и бегинок…

– Бегардов и бегинок, – докончил Урбан Горн, – преследовали и ловили по всей Силезии. Но и здесь ты тоже, вероятно, умоешь руки, олавский плебан, ибо все случилось до твоего рождения. Но ведь и до моего тоже, однако это не мешает мне знать, как все было в действительности. Что большую часть схваченных бегардов и бегинок замучили в застенках. А тех, которые выжили, сожгли. При этом большая группа, как обычно бывает, спасла свою шкуру, выдав других, отправив на пытки и смерть товарищей, друзей, даже близких родственников. Часть предателей потом натянула доминиканские рясы и проявила себя истинно неофитским усердием в борьбе с еретичеством.

– Вы считаете, – резко взглянул на него плебан, – что это скверно?

– Доносить?

– Я боролся с ересью. Считаете, что это скверно?

Горн резко повернулся в седле, и выражение лица у него изменилось.

– Не пытайтесь, – прошипел он, – проделывать со мной такие фокусы, патер. Не будь, курва, этаким Бернардом Ги. Какая тебе польза, если ты поймаешь меня на каверзном вопросе? Оглянись. Мы не у доминиканцев, а в бжезьмерских лесах. Если я почувствую опасность, то просто дам тебе по тонзуре и выкину в яму от вырванного с корнем дерева. А в Стшелине скажу, что по пути ты умер от неожиданно закипевшей крови, прилива флюидов и скверного настроения.

Священник побледнел.

– К нашему общему счастью, – спокойно докончил Горн, – до этого дело не дойдет, ибо я не бегард, не еретик, не сектант из Братства Свободного Духа. А инквизиторские фортели ты брось, олавский плебан. Договорились? А?

Филипп Гранчишек не ответил, а просто несколько раз кивнул головой.

Когда остановились, чтобы расправить кости, Рейневан не выдержал. Отойдя в сторонку, спросил Урбана Горна о причине столь резкой реакции. Горн сначала разговаривать не хотел, ограничился парочкой ругательств и ворчанием в адрес чертовых доморощенных инквизиторов. Однако, видя, что Рейневану этого мало, присел на поваленный ствол, подозвал собаку.

– Все их ереси, Ланселот, – начал он тихо, – меня интересуют не больше прошлогоднего снега. Только дурак, а я себя таковым не считаю, не заметил бы, что это *signum temporis*[104] и что пора перейти к выводам. Может быть, есть смысл что-то изменить? Реформировать? Я стараюсь понять. И понять могу, что их разбирает злоба, когда они слышат, что Бога нет, что от Декалога можно и нужно отмахнуться, а почитать следует Люцифера. Я их понимаю, когда в ответ на такие *dictum*[105] они начинают вопить об ереси. Но что оказывается? Что их бесит больше всего? Не отступничество и безбожие, не отрицание ритуалов, не ревизия или отвержение догм, не демонолатрия.[106] Самую большую ярость у них вызывают призывы к евангельской бедности. К смирению. К самоотверженности. К служению Богу и людям. Они начинают беситься, когда от них требуют отказаться от власти и денег. Потому с такой яростью они накинулись на *bianchi,* на гумилатов, на братство Герарда Гроота, на бегинок и бегардов, на Гуса. Псякрев, я считаю просто чудом, что они не сожгли Поверелло, Бедняка Франциска! Но боюсь, где-то ежедневно полыхает костер, а на нем умирает какой-нибудь никому не известный и забытый Поверелло.

Рейневан покивал головой.

– Поэтому, – докончил Горн, – это меня так нервирует.

Рейневан кивнул снова. Урбан Горн внимательно смотрел на него.

– Разболтался я не в меру. А такая болтовня может быть опасной. Уж не один сам себе, как говорят, горло собственным слишком длинным языком перерезал… Но я тебе доверяю, Ланселот. Ты даже не знаешь почему.

– Знаю, – вымученно улыбнулся Рейневан. – Если ты заподозришь, что я донесу, то дашь мне по лбу, а в Стшелине скажешь, что я отдал концы из-за неожиданного прилива флюидов и скверного настроения.

Урбан Горн усмехнулся. Очень по-волчьи.

– Горн?

– Слушаю тебя, Ланселот.

– Легко заметить, что ты человек бывалый и опытный. А не знаешь ли случаем, у кого из властьимущих владение расположено поблизости от Бжега?

– Откуда бы, – Урбан Горн прищурился, – такое любопытство? Такая небезопасная в теперешние времена любознательность?

– От того, что и всегда. От желания познавать мир.

– Действительно! Откуда бы еще-то. – Горн приподнял в улыбке уголки губ, но из его глаз отнюдь не исчез блеск подозрительности. – Ну что ж, удовлетворю твою любознательность в меру своих скромных возможностей. В районе Бжега, говоришь? Конрадсвальдау принадлежит Хаугвицам. В Янковицах сидят Бишофсгеймы. Гермсдорф – владение Галлей… В Шёнау же, насколько мне известно, сидит подчаший Бертольд де Апольда…

– У кого из них есть дочь? Молодая, светловолосая…

– Ну, так-то уж далеко, – обрезал Горн, – я не забирался. Да и тебе не советую, Ланселот. Простое любопытство господа рыцари еще могут снести, но они очень не любят, когда кто-то слишком уж интересуется их дочками. И женами…

– Понимаю.

– Это хорошо.

Глава седьмая,

в которой Рейневан и его спутники въезжают в Стшелин в канун Успения Девы Марии и, как оказалось, точно на аутодафе. Потом те, кому должно, выслушивают наставления каноника вроцлавского кафедрального собора. Одни с большим, другие с меньшим желанием

За деревней Хёркрихт, поблизости от Вёнзова, пустынный до того тракт немного оживился. Кроме крестьянских возов и купеческих фур, стали попадаться конные и вооруженные люди, так что Рейневан почел за благо прикрыть голову капюшоном. За Хёкрихтом бежавшая по живописному березняку дорога снова опустела, и Рейневан облегченно вздохнул. Однако малость преждевременно.

Вельзевул в очередной раз показал великий собачий ум. До сих пор он не ворчал даже на проходящих мимо солдат, сейчас же, безошибочно чуя их намерения, он коротким резким лаем предупредил о вооруженных наездниках, неожиданно выехавших из березняка по обеим сторонам дороги. Потом зловеще заворчал, когда, увидев его, один из слуг, сопровождавших рыцарей, стянул со спины арбалет.

– Эй, вы! Стоять! – крикнул рыцарь молодой и веснушчатый, как перепелиное яйцо. – Стоять, говорю! На месте!

Ехавший рядом с рыцарем конный слуга всунул ступню в стремечко арбалета, ловко натянул его и уложил на ложе болт. Урбан Горн не спеша выехал немного вперед.

– Не вздумай стрелять в собаку, Нойдек. Сначала взгляни, рассмотри как следует. И сообрази, что ты когда-то уже ее видел.

– О раны Господни! – Веснушчатый заслонил глаза рукой, чтобы защититься от слепящего мерцания раскачиваемых ветром листьев берез. – Горн? Ты ли это в самом деле?

– Никто иной. Прикажи слуге убрать арбалет.

– Ясно, ясно. Но пса придержи. Кроме того, мы тут не случайно, а кое-кого ищем. Так что я должен спросить тебя, Горн, кто это с тобой? Кто едет?

– Для начала, – холодно сказал Урбан Горн, – уточним вот что: за кем ваши милости охотятся? Потому что если за теми, кто, к примеру, ворует скот, так мы отпадаем. По многим причинам. *Primo,* при нас нет скота. *Secundo*…

– Ладно, ладно, – веснушчатый уже успел рассмотреть священника и раввина, презрительно махнул рукой, – скажи

только: ты их всех знаешь?

– Знаю. Ты удовлетворен?

– Удовлетворен.

– Просим прощения, преподобный, – второй рыцарь, в саладе, [107] при полном вооружении, слегка поклонился плебану Гранчишеку, – но мы беспокоим вас не ради развлечения. Совершено преступление, и мы идем по следам убийцы. По приказу господина Райденбурга, стшелинского старосты. Вот он – господин Кунад фон Нойдек. А я – Евстахий фон Рохов.

– Что за преступление? – спросил плебан. – О Господи! Убили кого?

– Убили. Недалеко отсюда. Благородного Альбрехта Барта, хозяина из Карчина.

Некоторое время стояла тишина, которую нарушил голос Урбана Горна. Голос изменившийся.

– Как? Как это случилось?

– Странно случилось, – медленно ответил Евстахий фон Рохов, перестав подозрительно рассматривать Рейневана. – Во-первых, в саменький полдень. Во-вторых, в бою… Если б это не было невозможно, я бы сказал, что в поединке. Один человек, конный, вооруженный. Убил тычком меча, к тому же очень точным, требующим большой сноровки. В лицо. Между носом и глазом.

– Где?

– В четверти мили за Стшелином. Барт возвращался из гостей у соседа.

– Один, без сопровождения?

– Он так ездил. У него не было врагов.

– Упокой, Господи, – пробормотал Гранчишек, – душу его. И освяти…

– У него не было врагов, – повторил, прервав молитву, Горн. – Но подозреваемые есть?

Кунад Нойдек подъехал ближе к возу, с интересом посмотрел на груди Дороты Фабер. Куртизанка одарила его призывной улыбкой. Евстахий фон Рохов тоже подъехал. И тоже осклабился. Рейневан был очень рад. На него не смотрел никто.

– Подозреваемых, – Нойдек отвел глаза от притягивающего взгляд бюста, – несколько. По району болталась довольно подозрительная компания. То ли за кем-то гонялись, то ли кровная месть. Что-то в этом роде. Здесь даже видели таких типов, как Кунц Аулок, Вальтер де Барби и Сторк из Горговиц. Ходят слухи, что какой-то молокосос вскружил голову жене рыцаря, а тот не на шутку взъелся на соблазнителя. И гоняется за ним.

– Не исключено, – добавил Рохов, – что именно этот преследуемый любовничек, случайно наткнувшись на Барта, запаниковал и прикончил его.

– Если так, – Урбан Горн поковырял в ухе, – то вы легко достанете этого, как вы говорите, любовничка. В нем должно быть не меньше семи футов роста и четыре в плечах. Такому, пожалуй, трудновато спрятаться среди обычных людей.

– Верно, – угрюмо согласился Кунад Нойдек.

– Хлюпиком господин Барт не был, какому-нибудь замухрышке б не поддался… Но, возможно, там не обошлось без чар или колдовства.

– Мать Пресвятая Богородица! – воскликнула Дорота Фабер, а плебан Филипп перекрестился.

– А впрочем, – докончил Нойдек, – там видно будет что к чему. Как только прелюбодея возьмем, так выпытаем его о подробностях, ох выпытаем… А распознать, думаю, будет нетрудно. Мы знаем, что он удалой и на сивом коне едет. Если вы такого встретите…

– Не преминем донести, – спокойно пообещал Урбан Горн. – Удалой парень, сивый конь. Не проглядишь. И ни с кем не перепутаешь. Ну, бывайте, господа.

– А вы, господа, не знаете, случайно, – заинтересовался плебан Гранчишек, – вроцлавский каноник все еще в Стшелине обретается?

– Конечно. Судебными разбирательствами занимается у доминиканцев.

– А не его ли это милость нотариус Лихтенберг?

– Нет, – отрицательно покачал головой фон Рохов. – Его зовут Беесс. Отто Беесс.

– Отто Беесс, препозит[108] при Святом Иоанне Крестителе, – забормотал священник, как только старостовы рыцари отправились дальше, а Дорота Фабер стегнула мерина. – Ох, суровый муж. Вееееесьма суровый. Ох, рабби, зря надеешься. Вряд ли он тебя выслушает.

– А вот и нет, – проговорил Рейневан, уже некоторое время радостно улыбавшийся. – Вас примут, рабби Хирам. Обещаю.

Видя недоуменные взгляды, Рейневан таинственно улыбнулся. Потом, явно в хорошем настроении, соскочил с телеги и пошел рядом. Затем немного поотстал. И тогда к нему подъехал Горн.

– Теперь ты видишь, как все оборачивается, Рейнмар Беляу. Как быстро дурные слухи распространяются. По округе разъезжают наемные убийцы, мерзавцы типа Кирьелейсона и Вальтера де Барби, а ежели они убьют кого, то на тебя же на

первого падет подозрение. Замечаешь иронию судьбы?

– Замечаю, – буркнул Рейневан. – И не только это. Во-первых, вижу, что вы все-таки знаете, кто я такой. Вероятно, с самого начала.

– Вероятно. А еще что?

– Что вы знали убитого Альбрехта Барта из Карчина. И даю голову на отсечение, едете вы как раз в Карчин. Или ехали.

– Ишь ты, – немного помолчав, сказал Горн. – Какой шустрый. И самоуверенный. Я даже знаю, откуда берется твоя самоуверенность. Хорошо, когда есть знакомые на высоких должностях, а? Вроцлавский каноник, например? Человек сразу начинает чувствовать себя лучше. И безопаснее. Однако обманчивое это бывает ощущение, ох обманчивое.

– Знаю, – кивнул Рейневан. – Я все время помню о вывороченном дереве, о настроениях и флюидах.

– И очень хорошо делаешь, что помнишь.

Дорога шла по холму, на котором стояла шубеница[109] с тремя высохшими, как вяленая треска, висельниками. А внизу перед путниками раскинулся Стшелин с его красочным пригородом, городской стеной, замком времен Болеслава Строгого, древней ротондой Святого Готарда и современными колокольнями монастырских церквей.

– Ой! – заметила Дорота Фабер. – Там что-то происходит. Какой-то праздник сегодня, что ли?

Действительно, на свободном пространстве у городской стены собралась довольно большая толпа. Было видно, что со стороны ворот туда направляется народ.

– Кажется, процессия.

– Скорее мистерия, – отметил Гранчишек. – Сегодня же четырнадцатое августа, сочельник Успения Девы Марии. Едем, едем, Дорота. Поглядим вблизи.

Дорота чмокнула, мерин двинулся. Урбан Горн подозвал британа и взял его на поводок, видимо, понимая, что в давке даже такой умный пес, как Вельзевул, может потерять самообладание.

Движущаяся со стороны города процессия уже приблизилась настолько, что в ней можно было различить священников в литургических одеяниях, черно-белых доминиканцев, конных рыцарей в украшенных гербами яках,[110] коричневых францисканцев, горожан в доходящих почти до земли делиях.[111] И еще алебардистов в желтых туниках и матово поблескивающих капалинах.[112]

– Епископское воинство, – тихо пояснил Урбан Горн, уже в который раз доказывая хорошую осведомленность. – А вон тот

крупный рыцарь, тот, что на гнедой лошади с шашечницей на попоне, это Генрик фон Райденбург, стшелинский староста.

Епископские солдаты вели под руки трех человек – двух мужчин и женщину. На женщине было белое гезло,[113] на одном из мужчин остроконечный, ярко раскрашенный колпак.

Дорота Фабер щелкнула вожжами, прикрикнула на мерина и на неохотно расступающуюся перед телегой публику. Однако, спустившись с холма, пассажирам телеги надо было встать, чтобы видеть что-либо. Значит, приходилось остановить телегу. Впрочем, все равно дальше ехать было невозможно, люди здесь стояли плечом к плечу.

Поднявшись во весь рост, Рейневан увидел головы и плечи приведенных к стене мужчин и женщины. И торчащие выше их голов столбы, к которым они были привязаны. Куч хвороста, нагроможденного под столбами, он не видел. Но знал, что они там были.

Он слышал голос, возбужденный и громкий, но нечеткий, приглушенный шмелиным гулом толпы. Он с трудом различал слова.

– Совершено преступление против общественного порядка… *Errores Hussitarum*… *Fides haeretica*… Разврат и святотатство… *Crimen*[114] Следствием установлено…

– Похоже, – сказал поднявшийся на стременах Урбан Горн, – сейчас здесь наглядно подведут итоги нашей дорожной дискуссии.

– На то смахивает, – сглотнул слюну Рейневан. – Эй, люди! Кого казнить будут?

– Харетиков, – пояснил, поворачиваясь, мужчина с внешностью попрошайки. – Схватили харетиков. Говорят, гусов или чегой-то вроде того…

– Не гусов, а гусонов, – поправил с таким же польским акцентом другой оборванец. – Жечь их будут за святотатство. Потому как гусей причащали.

– Эх, темнота! – прокомментировал стоящий по другую сторону телеги странник с нашитыми на плаще завитушками.[115] – Ну, ничего же не знают. Ничего!

– А ты знаешь?

– Знаю. Хвала Иисусу Христу! – Странник заметил тонзуру плебана Гранчишека. – Еретики зовутся гуситами, а берется это от ихного пророка Гуса, а вовсе не от каких ни гусей. Они, гуситы, значицца, говорят, что чистилища вовсе нету, а причастие принимают обоими способами, то есть *sub utraque specie*.[116] Потому и называют их утраквистами.[117]

– Не учи нас, – прервал Урбан Горн, – мы и без того ученые.

Этих троих, спрашиваю, за что палить будут?

– Ну, этого-то я не знаю. Я нездешний.

– Вон тот, – поспешил разъяснить какой-то здешний, судя по испачканному глиной фартуку, каменщик. – Тот в позорном колпаке – чех, гуситский посланец, поп-отступник. Из Табора переодевшись пришлепал, людей на бунт подбивал, церкви жечь. Его признали собственные же родаки, те, что после двенадцатого года из Праги удрали. А второй – Антоний Нэльке, учитель приходской школы. Здешний сообщник чеха-еретика. Укрытие ему давал и с ним еретические писания распространял.

– А женщина?

– Эльжбета Эрлихова. Она совсем из другой, как говорится, бочки. По случаю. За компанию. Мужа свово, с любовником стакнувшись, ядом отравила. Любовник сбежал. Если б не это, тожить бы на костер взошел.

– Вылезло ноне шило из мешка, – вставил тощий тип в фетровой шапке, плотно обтягивающей череп. – Потому как это ее второй муж, Эрлиховой-то. Первого небось тоже отравила, ведьма.

– Может, отравила, может, и не отравила, тут бабка надвое сказала, – присоединилась к диспуту толстая горожанка в расшитом полукожушке. – Говорят, тот, первый, вусмерть запил. Сапожник был.

– Сапожник – не сапожник, отравила она его как пить дать, – припечатал тощий. – Не иначе там и чары какие-никакие в дело пошли, ежели под доминиканский суд попала…

– Коли отравила, то и получила за дело свое.

– Верно, что получила.

– Погодьте, – крикнул, вытягивая шею, плебан Гранчишек. – Приговор княжий читают, а не слышно ничего.

– А зачем слышать-то? – съехидничал Урбан Горн. – И так все известно. Те, что на кострах, это *haeretica pessimi et notirii.*[118] А Церковь, которая кровью брезгает, передает наказание виновных на *brachium saeculare,* светским властям.

– Помолчите, сказал я!

– *Ecclesia non sitit sanguinem,*[119] – долетел со стороны костров прерываемый ветром и прибиваемый гулом толпы голос. – Церковь не желает крови и отвращается от нее… Так пусть же осуждение и наказание перейдет в руки *brachium saeculare,* светской власти. *Requiem aeternam dona eis…*[120]

Толпа взревела. У костров что-то происходило. Палач был уже рядом с женщиной, что-то проделал у нее за спиной, как бы поправлял накинутую на шею петлю. Голова женщины мягко, как подрезанный цветок, упала на грудь.

– Он ее удушил, – тихо вздохнул плебан, совсем так, словно прежде ничего подобного не видел. – Шею ей переломил. Тому учителю тоже. Они, видимо, на следствии раскаялись.

– И кого-нибудь завалили, – добавил Урбан Горн. – Нормальное дело.

Толпа выла и сквернословила, недовольная милостью, оказанной учителю и отравительнице. Крик усилился, когда вязанки хвороста полыхнули синим пламенем, полыхнули бурно, мгновенно охватив костры вместе со столбами и привязанными к ним людьми. Огонь загудел, взвился высоко, толпа, охваченная жаром, попятилась, теснота стала еще больше.

– Портачи! – крикнул каменщик. – Говенная работа! Сухой взяли хворост, сухой! Как солома!

– Воистину портачи, – согласился тощий в фетровой шапке. – Гусит и звука издать не успел! Не умеют они палить. Вот у нас, во Франконии, аббат из Фульды, ого, вон тот умеет! Сам за кострами присматривал. Бревна укладывать велел так, чтобы вначале они только ноги поджаривали до колен, потом выше, до яиц, а потом…

– Вор! – тонко взвыла скрытая в толкучке женщина. – Воооор! Лови вора!

Где-то посреди толпы плакал ребенок, кто-то наигрывал на дудке, кто-то всех обзывал курвами, кто-то смеялся, заливался нервным, кретинским смехом.

Костры гудели, били сильными порывами жара. Ветер повернул в сторону путников, донося отвратительный, удушливый, сладковатый запах горящего трупа. Рейневан прикрыл нос рукавом. Плебан Гранчишек поперхнулся. Дорота зашлась кашлем. Урбан Горн сплюнул, немилосердно скривившись. Однако всех превзошел рабби Хирам. Еврей высунулся с телеги, и его столь же неожиданно, сколь и обильно вырвало – на паломника, на каменщика, на горожанку, на франконца и на всех других, оказавшихся поблизости. Вокруг телеги тут же сделалось просторно.

– Прошу прощения… – сумел пробормотать рабби между очередными пароксизмами. – Это не политическая демонстрация. Это обыкновенная рвота…

Каноник Отто Беесс, препозит у Святого Яна Крестителя, уселся поудобнее, поправил пелеус,[121] взглянул на колышущийся в бокале кларет.

– Убедительно прошу, – сказал он своим обычным скрипучим голосом, – присмотреть, чтобы тщательно очистили и обработали граблями кострище. Все остатки, даже самые малые, прошу

собрать и высыпать в реку. Ибо множатся случаи, когда люди подбирают обуглившиеся косточки. И сохраняют как реликвии. Прошу уважаемых советников позаботиться об этом. А братьев – присмотреть за выполнением.

Присутствующие в комнате замка стшелинские советники молча поклонились, доминиканцы и Меньшие Братья наклонили тонзуры. И те, и другие знали, что каноник привык просить, а не приказывать. Знали также, что разница только в самом слове.

– Братьев Проповедников, – продолжал Отто Беесс, – прошу и дальше в соответствии с указаниями буллы *Inter cunctas*[122] чутко следить за всеми проявлениями еретичества и деятельностью таборитских эмиссаров. И докладывать о малейших, даже, казалось бы, незначительных явлениях, с подобной деятельностью связанных. В этом я также рассчитываю на помощь светских властей. О чем прошу вас, благородный господин Генрик.

Генрик Райденбург наклонил голову, но едва-едва, после чего сразу же выпрямил свою крупную фигуру в украшенном шашечницей вапенроке.[123] Староста Стшелина не скрывал честолюбия и надменности, даже не думал прикидываться смиренным и покорным. Было видно, что посещение церковного иерарха он терпит, поскольку вынужден, но только и ждет, чтобы каноник поскорее убрался с его территории.

Отто Беесс знал об этом.

– Прошу также вас, господин староста Генрик, – добавил он, – приложить больше, чем до сих пор, стараний в расследовании совершенного под Карчином убийства господина Альбрехта фон Барта. Капитул весьма заинтересован в обнаружении виновников этого преступления. Господин фон Барт, несмотря на определенную резкость и противоречивость суждений, был человеком благородным, *vir rarae dexteritatis,*[124] крупным благодетелем Генриковских и бжеговских цистерцианцев. Мы хотели бы, чтобы его убийцы понесли заслуженную кару. Разумеется, речь идет об убийцах истинных. Капитул не удовлетворят обвинения первого попавшегося. Ибо мы не верим, что господин Барт пал от руки сожженных сегодня виклифистов…

– У этих гуситов, – откашлялся Райденбург, – могли быть пособники…

– Мы этого не исключаем, – прервал рыцаря каноник. – Не исключаем ничего. Придайте, рыцарь Генрик, большой размах расследованию. Попросите, если необходимо, помощи у свидницкого старосты, господина Альбрехта фон Колдица. Попросите, в конце концов, кого хотите. Были б результаты.

Генрик Райденбург натянуто поклонился. Каноник ответил

тем же. Довольно небрежно.

– Благодарю вас, благородный рыцарь, – проговорил он голосом, прозвучавшим так, словно открывали заржавевшие кладбищенские ворота. – Я вас больше не задерживаю. Благодарю также господ советников и благочестивых братьев. Полагаю, у вас полно обязанностей. Не стану мешать.

Староста, советники и монахи вышли, шаркая башмаками и сандалиями.

– Господа клирики и дьяконы, – немного погодя добавил каноник вроцлавской кафедры, – также, мне кажется, помнят о своих обязанностях. Посему прошу к ним приступить. Незамедлительно. Останутся брат секретарь и отец исповедник. А также…

Отто Беесс поднял голову и пронзил Рейневана взглядом.

– Ты, юноша, тоже останься. Мне надобно с тобой поговорить. Но вначале приму просителей. Прошу вызвать плебана из Олавы.

Вошедший Гранчишек тут же начал меняться в лице, совершенно непонятным образом то краснея, то бледнея. И незамедлительно бухнулся на колени. Каноник не предложил ему подняться.

– Твоя проблема, отец Филипп, – скрипуче начал он, – в отсутствии уважения и доверия к начальству. Индивидуализм и собственное мнение – качества, разумеется, весьма ценные, порой даже заслуживающие большего признания и похвалы, нежели тупое баранье послушание. Но есть такие вопросы, в отношении которых руководство обладает абсолютной и безошибочной правотой. Как, к примеру, наш папа Мартин V в споре с концилиаристами,[125] разными там Герсонами и полячишками: Владковицами, Вышами и Ласкарами, которые вздумали обсуждать решение Святого Отца. И интерпретировать на свой манер. А это не так! Не так! *Roma locuta, causa finita.*[126] Потому-то, дорогой отец Филипп, если церковное руководство говорит тебе, что ты должен проповедовать, то ты обязан проявить послушание. Ибо здесь совершенно явственно имеется в виду высшая цель. Не твоего уровня, естественно. И не твоего прихода. Ты, вижу, хочешь что-то сказать. Так говори.

– Три четверти моих прихожан, – пробормотал плебан Гранчишек, – люди не очень смышленые, я бы сказал, *pro maiore parte illiterati et idiote.*[127] Но остается еще одна четверть. Те, которым я никак не могу вещать то, что требует курия. Конечно, я говорю, что гуситы – еретики, убийцы и вырожденцы, а Жижка и Коранда – воплощения дьявола, преступники, вероотступники и развратники, что ждет их вечное проклятие и адские муки. Но я не могу говорить, что они поедают младенцев. И что жены у них

общие…

– Ты не понял? – резко прервал его каноник. – Ты не понял моих слов, плебан? *Roma locuta!* А для тебя Рим – это Вроцлав. Ты должен говорить то, что тебе велено, проповедник. Говорить об общих женах, о поедаемых новорожденных, о живьем сваренных монахинях, о содомии, о том, что у католических священников вырывают языки. Если тебе прикажут, ты будешь говорить пастве, что от комунии из гуситской чаши у причащаемых растут волосы во рту и собачьи хвосты из задниц. Я вовсе не шучу, ибо я видел соответствующие письма в епископской канцелярии. Впрочем, – добавил он, с легким сожалением глядя на съежившегося Гранчишека, – откуда тебе знать, что хвосты у них не растут? Ты что, бывал в Праге? В Таборе? В Карловом Градце? Принимал комунию *sub utraque specie?*

– Нет! – чуть не подавился воздухом плебан. – Ни в коем разе!

– Вот и очень даже хорошо. Causa finita.[128] Аудиенция тоже. Во Вроцлаве скажу, что тебе достаточно было указать, и больше с тобой хлопот уже не будет. А теперь, чтобы ты не думал, будто приезжал напрасно, исповедуйся моему исповеднику. И покайся, как он тебе укажет. Отец Фелициан!

– Слушаю, ваше преосвященство?

– Пусть полежит крестом перед главным алтарем у Святого Готарда всю ночь, от комплеты до примы.[129] Остальное на твое усмотрение.

– Да хранит его Господь.

– Аминь. Пребывай в здравии, плебан.

Отто Беесс вздохнул, протянул клирику пустой кубок. Тот тут же налил ему кларета.

– Сегодня больше никаких просителей. Ну-с, Рейнмар?

– Святой отец… Прежде чем… У меня есть просьба.

– Слушаю.

– Сопровождал меня в пути и прибыл со мной раввин из Бжега…

Отто Беесс жестом отдал распоряжение. Через минуту клирик ввел Хирама бен Элиезера. Еврей глубоко поклонился, заметая пол лисьей шапкой. Каноник внимательно глядел на него.

– Так чего, – заскрипел он, – ждет от меня посланник бжегского каганата? С каким делом прибывает?

– Уважаемый господин спрашивает, с каким делом? – поднял кустистые брови рабби Хирам. – Господь Авраама и Иакова! А по какому делу, я вас спрашиваю, может приезжать еврей к уважаемому господину канонику? О чем может, я спрашиваю вас, идти речь? Ну так я скажу – о правде. Евангельской правде.

– Евангельской правде?

– Именно так.

– Говори, рабби Хирам. Не заставляй меня ждать.

– Если уважаемый каноник приказывает, так я сразу же говорю, почему бы мне не говорить? Я говорю так: ходят разные всякие их милости по Бжегу, по Олаве, по Гродкову, да и по селам окружным и призывают бить гнусных убийц Иисуса Христа, грабить их дома и позорить жен и дочерей. При этом эти требователи ссылаются на уважаемых господ прелатов, мол, дескать, такое избиение, грабеж и изнасилование творятся по божеской и епископской воле.

– Продолжай, друг Хирам. Ты же видишь, я терпелив.

– Что ж, с вашего позволения, тут много говорить-то? Я, рабби Хирам бен Элиезер из бжеговского каганата, прошу многоуважаемого господина священника, чтобы он берег евангельские истины. Если уж так надобно бить и грабить убийц Иисуса Христа, то, пожалуйста, бейте! Но, о праотец Моисей, бейте же ж тех, кого надо. Настоящих. Тех, кои распяли. То есть римлян!

Отто Беесс молчал долго, рассматривая раввина из-под полуприкрытых век.

– Дааaа, – проговорил он наконец. – А знаешь ты, друг Хирам, что за такой бред тебя могут посадить? Я, конечно, говорю о светских властях. Церковь милостива, но *brachium saeculare* могут быть строгими, ежели речь заходит о глумлении. Нет, нет, помолчи, друг Хирам. Говорить буду я.

Еврей поклонился. Каноник не пошевелился на стуле, даже не дрогнул.

– Святой отец Мартин, пятый с таким именем, следуя заветам своих просвещенных предшественников, изволил сказать, что евреи, вопреки видимости, также сотворены по подобию Божиему и часть их, хоть и невеликая, дождется избавления. Посему их преследование, унижение, наказание, притеснение и всякое прочее угнетение, в том числе насильное крещение есть несправедливость.

Ты, я думаю, не сомневаешься, друг Хирам, что воля папы – приказ для каждого духовного лица. Или сомневаешься?

– Как я могу сомневаться, спрашиваю я вас? Ведь уже, почитай, десятый к ряду господин папа говорит об этом… Стало быть, это должно быть правдой, вне всякого сомнения…

– Если не сомневаешься, – прервал каноник, сделав вид, что не уловил насмешки, – то должен понимать, что обвинение духовных лиц в подзуживании масс к нападению на израэлитов есть клевета. Добавлю: клевета, достойная наказания.

Еврей молча поклонился.

– Конечно, – Отто Беесс прищурился, – светские лица о папских наказах знают мало либо не знают вообще. Да и со Священным Писанием у них трудности. Ибо они, как мне кто-то совсем недавно сказал, *pro maiori parte illiterati et idiote.*

Рабби Хирам даже не дрогнул.

– Твое же израэлитское племя, рабби, – продолжал каноник, – с удовольствием и упорно дает толпе основания. То вы напускаете эпидемию чумы, то колодцы отравляете, то из детей кровь для мацы выпускаете. Крадете и обесчещиваете облатки. Занимаетесь наглым ростовщичеством, с живого должника, коий варварских процентов не в состоянии выплатить, куски мяса вырезаете. И разными другими позорными делишками занимаетесь. Думается мне.

– Что же надо сделать, спрашиваю я почтенного господина каноника, – спросил после напряженного молчания Хирам бен Элиезер. – Что сделать, дабы такое не случалось? То есть – заражение колодцев, насилование девушек, выпускание крови и обесчещение облаток? Что же, спрашиваю я вас, необходимо сделать?

Отто Беесс долго молчал. Потом проговорил:

– Того и жди – будет введена специальная одноразовая, обязательная для всех подать. На антигуситскии крестовый поход. Каждый еврей должен будет внести один гульден. Кроме того, бжегская гмина сверх назначенной суммы добавит по доброй воле… триста гульденов. Двести пятьдесят гривен.

Раввин согласно тряхнул бородой. Не пробуя торговаться.

– Деньги эти, – заметил без видимого нажима каноник, – послужат общему благу. И общему, я бы сказал, делу. Чешские еретики угрожают нам всем. Разумеется, более всего нам, правоверным католикам, но и у вас, израэлитов, нет причин гуситов любить. Совсем, сказал бы я, наоборот. Достаточно вспомнить март двадцать второго года, кровавый погром в Старом Пражском Граде. Последовавшую за этим резню евреев в Хомутове, Кутной Горе и Писке. Так что у вас, Хирам, появится возможность своей денежной помощью присоединиться к делу мести.

– Возмездие в моих руках, – ответил, немного помолчав, Хирам бен Элиезер. – Так говорит Бог Адонай. Никому, говорит Бог, не воздавайте злом за зло. А господь наш, как утверждает пророк Исайя, щедр на прощение. Кроме того, – тихо добавил раввин, видя, что каноник молчит, приложив руку ко лбу, – гуситы истребляют евреев лишь шесть лет. Что есть шесть лет по сравнению с вечностью, спрашиваю я вас?

Отто Беесс поднял голову. Его глаза были холодны как сталь.

– Плохо ты кончишь, друг Хирам, – проскрипел он. – Опасаюсь я за тебя. Иди с миром.

– А теперь, – сказал он, когда дверь за евреем закрылась, – наконец пришла твоя очередь, Рейнмар. Поговорим. Не обращай внимания на секретаря и клирика. Это люди доверенные. Они присутствуют, но так, словно их нет вообще.

Рейневан кашлянул, однако каноник не дал ему заговорить.

– Князь Конрад Кантнер прибыл во Вроцлав четыре дня тому назад, на святого Вавжинца. Со свитой, состоящей из ужасных сплетников. Самого князя тоже сдержанным не назовешь. Таким образом, не только я, но и почти весь Вроцлав без малого уже разбирается в сложностях внесупружеской аферы Адели, жены Гельфрада де Стерчи.

Рейневан снова кашлянул, опустил голову, не будучи в состоянии вынести сверлящего взгляда. Каноник сложил руки как для молитвы.

– Рейнмар, Рейнмар, – проговорил он с немного искусственным сожалением. – Как ты мог? Как ты мог так грубо нарушить божеский и человеческий закон? Ведь сказано: да почитаемо будет супружество и ложе нерушимо, ибо развратников и чужеложцев осудил Бог. Я же еще добавляю от себя, что слишком часто обманутым мужьям чересчур медлительным кажется возмездие Божье. И слишком часто они осуществляют его сами.

Рейневан кашлянул еще громче и склонил голову еще ниже.

– Ага, – догадался Отто Беесс. – За тобой уже гонятся?

– Гонятся.

– На пятки наступают?

– Наступают.

– Юный глупец! – проговорил после минутного молчания священник. – В Башне шутов тебя надо запереть, вот что! В Башне шутов. В *Narrenturm'e.* Ты отлично бы подошел к тамошней компании.

Рейневан шмыгнул носом и изобразил на лице раскаяние. Как ему думалось. Каноник покачал головой, глубоко вздохнул, сплел пальцы.

– Сдержаться не удалось, да? – спросил он со знанием дела. – По ночам снилась?

– Не удалось, – покраснев, признался Рейневан. – Снилась.

– Знаю, знаю. – Отто Беесс облизнул губы, а глаза у него вдруг загорелись. – Скажу я тебе, что сладок плод запретный, что хочется, ох как хочется обнять грудь неизведанную. Знаю я, что мед источают уста чужой жены, а нёбо рта ее гладко, как масло. Однако, поверь мне, мудро учат *Proverbia*[130] Соломоновы: «Ибо

мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый»,[131] *amara quasi absin tium et acuta quasi gladius biceps.* Стерегись, сын мой, дабы не сгореть рядом с нею, аки мотыль в огне. Дабы не последовать за нею к смерти, не пропасть в Бездне. Послушай слова мудрые Писания: «Держи дальше от нее путь твой, не подходи близко к дверям дома ее»,[132] *longe fac ab ea viam tuam et ne adpropinques foribus domus eius.*

Не подходи к дверям дома ее, – повторил каноник, и из его голоса словно ветром сдуло проповедническую восторженность. – Прислушайся, Рейнмар Беляу. Как следует запомни слова Священного Писания и мои. Как следует вдолби их себе в память. Послушай совета: держись подальше от известной тебе особы. Не делай того, что намереваешься сделать и что я читаю в глазах твоих, сынок. Держись от нее подальше.

– Да, преподобный отец.

– Со временем афера эта забудется. Стерчей припугнут курия и ландфрид, задобрит, как того требует обычай, вознаграждение в двадцать гривен, обычный налог в размере десяти гривен надо будет уплатить магистрату Олесьницы. Все это не намного превышает стоимость хорошего коня благородных кровей, и все это тебе придется собрать с помощью брата, а если понадобится, я добавлю. Твой дядя, схоластик Генрик, был мне добрым другом. И учителем.

– Да будет он возблагодарен…

– Но я ничего не смогу сделать, – резко прервал каноник, – если тебя поймают и укокошат. Ты понимаешь это, дурень набитый? Ты должен раз и навсегда выбить у себя из головы мысли о жене Гельфрада Стерчи, забыть о тайных посещениях, письмах, посланцах, обо всем. Ты должен исчезнуть. Выехать. Я рекомендую – в Венгрию. Сразу же, сейчас, не мешкая. Ты понял?

– Я бы хотел сначала заехать в Бальбинов… К брату…

– Категорически запрещаю, – обрезал Отто Беесс. – Твои преследователи наверняка это предвидят. Как, впрочем, и визит ко мне. Запомни: если уж убегают, то бегут, как волки. Никогда не идут по тропинкам, по которым когда-либо ходили.

– Но брат… Петерлин… Если я и вправду должен уехать…

– Я сам через доверенных посланцев уведомлю Петерлина обо всем. Тебе же туда ездить запрещаю. Ты понял, ненормальный? Тебе нельзя ходить по дорожкам, которые знают твои враги. Нельзя появляться в местах, где они могут тебя ожидать. А это значит, что ни в коем случае в Балбинове. И ни в коем случае в Зембицах.

Рейневан громко вздохнул, а Отто Беесс громко выругался.

– Ты не знал, – процедил он. – Не знал, что она в Зембицах. Это я выдал тебе, старый дурень. Ну что ж, слово не воробей… Но это не имеет значения. Безразлично, где она находится. В Зембицах, в Риме, в Константинополе или Египте. Безразлично. Ты не приблизишься к ней, сын мой.

– Не приближусь.

– Ты и сам знаешь, как сильно я хотел бы тебе верить. Выслушай меня, Рейнмар, и выслушай внимательно. Получишь письмо, я сейчас прикажу секретарю его написать. Не бойся, письмо будет составлено так, что понять его сможет только адресат. Возьмешь письмо и поступишь как преследуемый волк. Стежками, которыми никогда не ходил и на которых тебя искать не станут, поедешь в Стшегом, в монастырь кармелитов. Отдашь мое письмо тамошнему приору. Он познакомит тебя с неким человеком, которому, когда вы останетесь один на один, скажешь: восемнадцатое июля, восемнадцатый год. Тогда он тебя спросит: где? Ответишь: Вроцлав, Нове Място. Запомнил? Повтори…

– Восемнадцатое июля, восемнадцатый год. Вроцлав. Нове Място. А зачем все это? Не понимаю.

– Если станет по-настоящему опасно, – спокойно пояснил каноник, – я тебя спасти не смогу. Разве что постригу в монахи и засажу к цистерцианцам под замок и за глухую стену, а этого, я полагаю, ты предпочел бы избежать. Во всяком случае, в Венгрию я вывести тебя не смогу. Тот, кого я рекомендую, сможет. Он обеспечит тебе безопасность, а когда понадобится, защитит. Это человек достаточно противоречивого характера, в общении зачастую непреклонный, но придется терпеть, потому что в определенных ситуациях он незаменим. Так что запомни: Стшегом, монастырь братьев ордена *Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmeli,* вне городских стен, на дороге к Свидницким воротам. Запомнил?

– Да, преподобный отец…

– Отправляйся немедленно. В Стшелине тебя видели и без того слишком много людей. Сейчас получишь письмо – и марш в дорогу.

Рейневан вздохнул. Ему совершенно искренне хотелось еще немного поболтать с Урбаном Горном где-нибудь за кружкой пива. Он чувствовал к Горну огромную эстиму и адмирацию,[133] на пару со своим псом тот уравнивался в его глазах по меньшей мере с рыцарем Ивейном со Львом. Рейневана так и подмывало сделать Горну некое предложение, достойное именно рыцаря, – совместное освобождение некой оскорбленной девушки. Собирался он также попрощаться с Доротой Фабер.

Однако нельзя было относиться легкомысленно к советам и

приказам таких людей, как каноник Отто Беесс.

– Отец Отто?

– Слушаю?

– Кто тот человек, что сидит у стшегомских кармелитов?

Отто Беесс некоторое время молчал, потом сказал:

– Тот, для которого нет ничего невозможного.

Глава восьмая,

в которой вначале все идет прекрасно, а потом не очень

Рейневан был весел и счастлив. Его переполняла радость и все вокруг приводило в восторг своей красотой. Прекрасна была долина Верхней Олавы, врезающейся излучинами в зеленые холмы. Прелестно топал по бегущей вдоль реки дороге приземистый гнедой жеребец, подарок каноника Отто Беесса. Прелестно пели в ветвях дрозды, еще прелестнее – жаворонки на полях. Поддерживало роскошное настроение гудение пчел, жуков и конских мух. Веющий со взгорий зефир приносил упоительные ароматы – то жасмина, то черемухи. То навоза – кругом виднелись людские подворья.

Рейневан был весел и счастлив. И у него были на то причины.

Правда, несмотря на все усилия, ему не удалось ни встретиться, ни попрощаться с недавними спутниками, и он сожалел об этом, особенно сильно его огорчило таинственное исчезновение Урбана Горна. Однако именно воспоминание о Горне подвигло его к действиям.

Кроме гнедого жеребчика с белой стрелкой на лбу, каноник Отто дополнительно одарил его на дорогу кошельком, к тому же гораздо более внушительным, чем кошель, полученный неделю назад от Конрада Кантнера. Взвешивая кошель в руке и по весу прикидывая, что внутри находится никак не меньше тридцати пражских грошей, Рейневан в очередной раз убеждался в том, что положение духовного лица гораздо выше рыцарского.

Этот кошель изменил его судьбу.

Потому что в одной стшелинской корчме из тех многих, в которых он побывал в поисках Горна, Рейневан столкнулся с фактотумом[134] каноника, отцом Филицианом, жадно выедающим из рынки[135] толстые кружки обжаренной колбасы и запивающим жир тяжелым местным пивом. Рейневан сразу же понял, что следует сделать, причем ему даже не пришлось прилагать к тому особых усилий. Попик, увидев кошель, облизнулся, и Рейневан вручил ему дар каноника без всякого сожаления. Не считая, сколько там лежит денег. Конечно, он тут же получил необходимые сведения. Отец Филициан сказал все, более того, был готов дополнительно выдать несколько секретов, услышанных на исповеди, однако Рейневан вежливо отказался, поскольку имена исповедовавшихся ни о чем ему не говорили, а их грехи и прегрешения не интересовали его вообще.

Он выехал из Стшелина утром. Почти без шелёнга за душой. Но веселый и счастливый.

И ехал он отнюдь не туда, куда велел каноник. Не по главному тракту на запад, через Дубовые горы, вдоль южного подножия Радуни к Свиднице и Стжегому. Совершенно вопреки категорическому запрету, повернувшись к массиву Радуни и Слёнзе спиной, Рейневан ехал на юг, вверх по Олаве, по дороге, ведущей в Генрикову и Зембице.

Он выпрямился в седле, ловя ноздрями очередные милые ароматы, приносимые ветром. Пели птички, пригревало солнышко. Ах, как же прекрасен мир. Рейневана так и подмывало закричать от радости.

Прекрасная Адель, Гельфрадова жена – о чем сказал ему отец Фелициан в обмен за весящий около тридцати грошей кошель, – хоть, казалось бы, и удерживаемая швагером Стерней в лиготском монастыре цистерцианок, ухитрилась сбежать и обмануть погоню. Сбежала в Зембицы, чтобы там затаиться в монастыре кларисок. Правда, рассказывал попик, вылизывая кастрюлю, – правда, зембицкий князь Ян, узнав об этом, строго приказал монашенкам выдать жену своего вассала. И посадил ее под домашний арест до выяснения проблемы предполагаемого мужеложства. Но – тут отец Фелициан крепко и кисло отрыгнул – хоть грех требует наказания, женщина в Зембицах находится в безопасности, со стороны Стерчей ей уже не грозят ни самосуд, ни самоуправство. Князь Ян – тут отец Фелициан высморкался – однозначно предостерег Апеча Стерчу и даже на допросе пальцем ему погрозил. Нет, Стерчи уже не смогут сделать невестке ничего плохого… Не в силах.

Рейневан направил гнедого через желтый от коровяка и фиолетовый от люпина луг. Ему хотелось смеяться и кричать от радости. Адель, его Адель показала Стерчам кукиш, выставила их дураками и растяпами. Они-то думали, что обложили ее в Лиготе, а она – шмыг! И только ее и видели. Ах как, наверное, кипятился Виттих, как ругался и изрыгал бессильные проклятия Морольд, как чуть было не захлебнулся кровью Вольфгер! А Адель галопом, ночью, на сивой кобыле с развевающейся косой…

«Впрочем, – спохватился Рейневан, – у Адели нет косы. Надо взять себя в руки, – подумал он трезво, подгоняя жеребчика. – Ведь Николетта, амазонка со светлой, как солома, косой, не значит для меня ничего. Конечно, она спасла меня от погони, отвела преследователей, за это я при случае отблагодарю ее. Господи, к ногам паду. Но люблю я Адель, и только Адель. Адель – владычица моего сердца и моих мыслей, я думаю только об Адели, мне вообще нет дела ни до той светлой косы, ни до того

голубого взгляда из-под собольей шапочки, ни до тех малиновых уст, ни до тех соблазнительных бедрышек, охватывающих бока сивой кобылы…

Я люблю Адель. Адель, от которой меня отделяют всего-навсего три мили. Если пустить коня галопом, я попаду к зембицким воротам еще до того, как пробьет полдень.

Спокойно, спокойно. Не горячиться. Сначала, поскольку это по пути, надо воспользоваться оказией и навестить брата. Когда освобожу Адель из княжеских застенков в Зембицах, мы вместе убежим в Чехию или Венгрию. И Петерлина я могу уже никогда не увидеть. Необходимо попрощаться с ним, объяснить. Попросить братского благословения».

Каноник Отто запретил. Каноник Отто приказал – чтобы по-волчьи, ни в коем случае не по людным тропинкам. Каноник Отто предупредил, что погоня может поджидать в районе Петерлинова хозяйства.

Но Рейневан и тут знал, как поступать.

В Олаву впадал приток, речка, скорее даже ручей, бегущий в камышах, едва видимый под балдахином ольх. Рейневан двинулся вверх по нему. Он знал дорогу. Дорогу, которая вела не в Бальбинов, где Петерлин жил, а в Повоёвицы, где он работал.

Первый сигнал, что до Повоёвиц уже недалеко, подал через некоторое время именно тот ручеек, по берегу которого Рейневан двигался. От ручейка пошел запах, вначале слабый, потом все более ядреный, наконец просто ужасный. Одновременно изменился цвет воды, причем радикально – она стала красно-коричневой. Рейневан выехал из леса и уже издалека увидел причину этого – огромные деревянные стояки сушильни, с которых свисали покрашенные куски полотна и штуки сукна. Все перебивал красный цвет, о котором уже поведал ручеек, но были также ткани голубые, темно-синие и зеленые.

Рейневан знал эти цвета, которые теперь уже больше говорили о Петре фон Беляу, нежели тинктуры[136] родового герба. Впрочем, в этом была определенная, хоть и небольшая часть его собственного участия – он помогал брату получать красители. Причиной глубокого, живого пурпура окрашенного у Петерлина сукна и полотен была секретная композиция из алькермеса, румянки и марены. Все оттенки синего Петерлин получал, смешивая сок черники с вайдой, причем вайду – как редко встречающуюся в Силезии – он выращивал сам. Вайда, смешанная с шафраном, давала прекрасную яркую зелень.

Ветер подул в сторону Рейневана и принес с собой такой «аромат», от которого начали слезиться глаза и сворачиваться волоски в ноздрях. Красители, отбеливатели, щелочи, кислоты,

сода, глиноземы, пепел и жиры были исключительно пахучи. Не слабо воняла также протухшая сыворотка, в которой – следуя фламандской рецептуре – замачивали полотна на последней стадии процесса отбеливания. Однако все это не перебивало запаха используемого в Повоёвицах основного средства – устоявшейся человеческой мочи. Мочи, которую в огромных кадках выдерживали около двух недель, а потом обильно использовали в валяльнях при сваливании сукна. Эффект был таким, что повоёвицкая сукновальня разом со всей округой воняла мочой так, что хуже не придумаешь, а при благоприятных ветрах вонь могла доходить до цистерцианского монастыря в Генрикове.

Рейневан ехал по берегу красной и воняющей, как выгребная яма, речки. Он уже слышал сукновальню – непрекращающийся гул вращаемых водой приводных колес, стук и скрип шестерен, скрежет рычагов; на все вскоре наложился глубокий, сотрясающий грунт грохот – удары молотов, толкущих сукно в ступах. Сукновальня Петерлина была предприятием современным, кроме нескольких традиционных узлов с пестами, у нее были приводимые в движение водой молоты, валявшие лучше, быстрее и ровнее. И громче.

Внизу над речкой, за дальними сушильнями и множеством ям красильни, виднелись постройки, сараи и навесы валяльни. Там, как обычно, стояли не меньше двадцати телег самого различного размера и конструкции. Рейневан знал, что это были телеги поставщиков, привозящих сукно для валяния, – Петерлин импортировал из Польши большое количество поташа и тканей. Репутация Повоёвиц делала свое дело: сюда приезжали ткачи со всей округи, из Немчи, Зембиц, Стшелина, Гродкова, даже Франкенштейна. Он видел ткацких мастеров, толпящихся вокруг валяльни и наблюдающих за работой, слышал их крики, пробивающиеся даже сквозь гул машин. Как обычно, они лаялись с валяльщиками касательно способа укладки и переворачивания сукна в ступах. Среди них он заметил нескольких монахов в белых рясах с черными ладанками, это тоже не было новостью, Генриковский монастырь цистерцианцев изготовлял значительные количества сукна и ходил у Петерлина в постоянных клиентах.

Но вот кого Рейневан не видел, так это именно Петерлина. Его брата очень часто видывали в Повоёвицах, так как он привык объезжать весь район. На коне, чтобы выделяться. В конце концов, Петер фон Беляу был рыцарем.

Что еще удивительнее, нигде не было видно тощей и высокой фигуры Никодемуса Фербрюггена, фламандца из Гента, большого

мастера по валянию и крашению.

Своевременно вспомнив предупреждение каноника, Рейневан въехал в застройки скрытно, прячась за возами постоянно прибывающих клиентов. Надвинул на нос шапку, сгорбился в седле. Не обращая на себя чьего-либо внимания, подъехал к дому Петерлина.

Обычно шумный и полный народу дом казался совершенно пустым. Никто не ответил на его окрик, не заинтересовался ударом дверей, в длинных сенях не было ни живой души. Он вошел в комнату.

На полу перед камином сидел мэтр Никодемус Фербрюгген, седовласый, подстриженный как мужик, но одетый как господин. В камине гудел огонь. Фламандец не переставая рвал и бросал в огонь листы бумаги. Он уже заканчивал. На коленях оставалось всего несколько листов, а в огне чернела и извивалась целая кипа.

– Господин Фербрюгген!

– *Jezus Christus,* – фламандец поднял голову, бросил в огонь следующий лист, – *Jezus Christus,* господин Рейнмар… Какое несчастье, молодой господин… Ужасное несчастье!

– Что за несчастье, господин мастер? Где мой брат? Что вы тут сжигаете?

– *Minheer*[137] Петер велели. Сказали, что ежели что-нибудь случится, вынуть из сундука, сжечь, да поскорее. Так сказали: «Ежели что, Никодемус, не дай Бог, случится, сожги быстрее. А сукновальня должна работать». Так сказали *minheer* Петер… *En het woord is vlees geworden.*[138]

– Господин Фербрюгген… – Рейневан ощутил, как от страшного предчувствия у него поднимаются волосы на голове. – Господин Фербрюгген, говорите же. Что за документы? И какое слово станет плотью?

Фламандец втянул голову в плечи, кинул в огонь последний лист, Рейневан подскочил, обжигая руку, выхватил его из огня, погасил. Частично.

– Говорите же!

– Убили, – глухо проговорил Никодемус Фербрюгген. Рейневан увидел слезу, бегущую по покрытой седой щетиной щеке. – Умер добрый *minheer* Петер. Убили его. Забили. Молодой господин Рейнмар… такое несчастье, *Jezus Christus,* такое несчастье…

Хлопнула дверь. Фламандец обернулся и понял, что его последние слова уже никто не слышал.

Лицо Петерлина было белым. И пористым. Как сыр. В уголке рта, несмотря на то что его обмывали, остались следы запекшейся

крови.

Старший фон Беляу лежал на поставленном посреди светлицы настиле, окруженный двенадцатью горящими свечами. На глаза ему положили два золотых венгерских дуката, под голову подстелили лапник, запах которого, смешиваясь с ароматом тающего воска, наполнял помещение тошнотворным, неприятным, могильным запахом смерти.

Настил был накрыт красным сукном. «Покрашенным алькермесом в его собственной красильне», – не к месту подумал Рейневан, чувствуя, как слезы набегают на глаза.

– Как… – выдавил он из стиснутого спазмой горла, – как это… могло… случиться?

Гризельда из Деров, жена Петерлина, подняла на него глаза. Лицо у нее было красное и опухшее от плача. К юбке прижались двое всхлипывающих детей, Томашек и Сибилла. Ее взгляд был неприязненным, даже злым. Не очень дружелюбно выглядели тесть и зять Петерлина, старший Вальпот Дер и его неуклюжий сын Кристиан.

Никто, ни Гризельда, ни Деры, не соизволили ответить на вопрос Рейневана. Но он и не думал сдаваться.

– Что случилось? Кто-нибудь мне наконец ответит?

– Убили его какие-то, – проворчал сосед Петерлина Гунтер фон Бишофсгейм.

– Бог, – добавил священник из Вонвольницы. Имени его Рейневан не помнил. – Бог их за это покарает.

– Мечом ткнули, – хрипло сказал Матиас Вирт, ближний арендатор. – Лошадь без седока прибежала. В самый полдень…

– В самый полдень, – повторил, складывая руки, вонвольницкий плебан. – *Ab incursu et daemone libera nos, domine*. [139]

– Лошадь прибежала, – повторил Вирт, сбитый немного с толку молитвенным отступлением, – с окровавленным седлом и чепраком. Тогда я начал искать и нашел. В лесу, сразу за Бальбиновом… У самой дороги. Видать, из Повоёвиц господин Петер ехал. Земля там сильно изрыта была копытами, похоже, скопом напали…

– Кто?

– Не ведомо, – пожал плечами Матиас Вирт. – Не иначе, разбойники…

– Разбойники? Разбойники не забрали лошадь? Быть того не может.

– Да кто там знает, что может, а что нет, – пожал плечами фон Бишофсгейм. – Наши с господином Дером кнехты гоняют по лесам. Может, кого и уловят. Да и старосте мы знать дали.

Прибудут старостовы люди, проведут следствие, поспрашивают *cui bono,*[140] у кого, значит, были причины для убийства. И кто выгадал на этом.

– Может, какой-нибудь процентщик, – злобно сказал Вальпот фон Дер, – обозлившийся за неуплату процентов? Может, какой «дружок» красильщик решил отделаться от конкурента? Может, какой-нибудь клиент, обсчитанный на ломаный грош? Так оно и бывает, этим и кончается, когда о происхождении забывают и с хамами породняются. В купечика играют. Кто с кем связывается, тот таким и становится. Тьфу! Отдал тебя за рыцаря, дочка, а теперь-то ты вдова…

Он вдруг замолчал, и Рейневан понял, что виной тому был его взгляд. В нем боролись отчаяние и бешенство, то одно брало верх, то другое. Он сдерживался из последних сил, но руки у него дрожали. Голос тоже.

– А не видели ли часом поблизости, – выдавил он, – четырех конных? Вооруженных? Один высокий, усатый, в разукрашенной куртке. Один небольшой, с коростами на морде…

– Были такие, – неожиданно проговорил плебан. – Вчера, в Вонвольнице, подле церкви. Как раз на Ангела Господня звонили… о, свирепыми выглядели они рубаками. Четверо. Воистину наездники Апокалипсиса…

– Я знала! – крикнула осипшим, сорванным от плача голосом Гризельда, уставившись на Рейневана взглядом, которого не постыдился бы и василиск. – Знала, едва тебя увидела, негодяй! Это из-за тебя. Из-за твоих грешков и делишек!

– Второй фон Беляу. – Вальпот Дер с ехидством подчеркнул титул «фон». – Тоже благородный. Только для разнообразия – знаток пиявок и клистиров…

– Негодяй! Негодяй! – все громче кричала Гризельда. – Кто бы ни были убийцы отца этих детей, они по твоему следу прибыли. Одно только несчастье из-за тебя. Завсегда брату от тебя один только стыд да позор. И заботы. Ты чего сюда заявился? Наследством запахло, ворон? Убирайся! Убирайся вон из моего дома!

Рейневан с величайшим трудом усмирил дрожащие руки. Но не произнес ни слова. Он аж кипел внутренне от бешенства и негодования и еле сдерживался, чтобы не бросить всей этой Деровой кодле в лицо все, что думает об их семейке, которая могла разыгрывать из себя господ только благодаря деньгам Петерлина, которые им приносила валяльня. Но сдержался. Петерлин был мертв. Лежал убитый, с венгерскими дукатами на глазах, в светлице собственного дома в поселке, в окружении коптящих свечей, на настиле, покрытом красным сукном.

Петерлин был мертв. Совершенно неуместны, отвратительны были ругательства и обвинения здесь, рядом с его телом, отвратительна была сама мысль об этом. Кроме того, Рейневан боялся, что стоит только ему открыть рот и он разрыдается.

Он вышел, не проронив ни слова.

Траур и подавленность висели над всем бальбиновским поселком. Было пусто и тихо. Слуги куда-то скрылись, понимая, что скорбящим родственникам не следует попадаться на глаза. Не лаяли даже собаки. Их вообще не было видно. Кроме…

Он протер все еще залитые слезами глаза. Сидящий между конюшней и баней черный британ не был привидением. И исчезать не собирался.

Рейневан быстро пересек двор, вошел в сарай со стороны тележной. Прошел вдоль корыта для коров – постройка была одновременно и конюшней, и хлевом, – дошел до перегородок для лошадей. В углу выгородки, которую сейчас занимала лошадь Петерлина, сидел на корточках среди развороченной соломы и ковырял ножом глинобитный пол Урбан Горн.

– Того, что ты ищешь, здесь нет, – сказал Рейневан, удивляясь собственному спокойствию. Походило на то, что своими словами он не захватил Горна врасплох. Тот, поднимаясь, смотрел Рейневану в глаза.

– Правда?

– Правда. – Рейневан вытащил из кармана недогоревший кусочек листа, небрежно бросил его на глинобитный пол.

Горн по-прежнему не вставал.

– Кто убил Петерлина? – шагнул к нему Рейневан. – Кунц Аулок и его банда по приказу Стерчей? Господина Барта из Карчина тоже прикончили они? Что тебя с ними связывает, Горн? Зачем ты явился сюда, в Бальбиново, спустя едва полдня после смерти моего брата? Откуда знаешь о его тайнике? Зачем ищешь в нем документы, сгоревшие в Повоёвицах? И что это были за документы?

– Беги отсюда, Рейнмар, – сказал Урбан Горн, растягивая слова. – Беги отсюда, если тебе жизнь дорога. Не жди даже, пока похоронят брата.

– Сначала ты ответишь мне на вопрос. Начни с самого главного: что связывает тебя с этим убийством? Что связывает с Кунцем Аулоком? Не вздумай лгать!

– И не подумаю, – ответил Горн, не опуская глаз, – ни лгать, ни отвечать. Для твоего же блага, кстати. Возможно, тебя это удивит, но такова истина.

– Я заставлю тебя отвечать, – сказал Рейневан, делая шаг вперед и извлекая кинжал. – Я заставлю тебя, Горн. Если

понадобится – силой.

О том, что Горн свистнул, свидетельствовало только то, что он сложил губы. Звук слышен не был. Но только Рейневану. Потому что в следующий момент что-то с чудовищной силой ударило его в грудь.

Он рухнул на пол. Придавленный тяжестью, открыл глаза только для того, чтобы увидеть у самого носа оскал черного британа Вельзевула. Слюна собаки капала ему на лицо, запах вызывал тошноту. Зловещее горловое урчание парализовало страхом. В поле зрения появился Урбан Горн, прячущий за пазуху обгоревшую бумагу.

– Ни к чему ты меня не можешь принудить, парень. – Горн поправил на голове шаперон. – Ты просто выслушаешь то, что я скажу по доброй воле. Более того – по доброте. Вельзевул, не шевелиться.

Вельзевул не пошевелился, хотя видно было, что желание шевелиться у него было велико.

– По доброте, – повторил Горн, – я тебе советую, Рейневан: беги. Исчезни! Послушай совета каноника Беесса, а я голову дам на отсечение, что он тебе кое-что посоветовал, порекомендовал, как выпутаться из положения, в которое ты вляпался. Не отмахивайся, парень, от указаний и советов таких людей, как каноник Беесс. Вельзевул, не двигаться. А что касается твоего брата, – продолжал Урбан Горн, – мне ужасно неприятно. Ты даже понятия не имеешь как. Ну, бывай. И береги себя.

Когда Рейневан открыл глаза, зажмуренные перед почти касающейся лица мордой Вельзевула, в конюшне уже не было ни собаки, ни Горна.

Притулившийся у могилы брата Рейневан корчился и трясся от страха, сыпал вокруг себя соль, смешанную с пеплом орешника, и дрожащим голосом твердил заклинание. Все меньше веря в его силу.

> Wirfe saltce, wirfe saltce
> Non timebis a timore nocturno
> Ni mori, ni gościa z ciemności
> Ani demona.
> Wirfe saltce.[141]

Чудовища клубились и буйствовали во мраке.

Хоть и понимал, что рискует и теряет время, тем не менее он дождался похорон брата. Не дал, несмотря на потуги невестки и ее родни, отговорить себя провести ночь рядом с упокоившимся,

принял участие в заупокойной службе, выслушал мессу. Стоял рядом со всеми, когда в присутствии рыдающей Гризельды, плебана и немногочисленной похоронной процессии Петерлина опустили в могилу на кладбище за стародавним вонвольницким храмом. И только тогда уехал. То есть сделал вид, будто уехал.

Когда опустилась ночь, Рейневан поспешил на кладбище. Уложил на свежей могиле волшебные предметы, набранные – о диво – без особых сложностей. Самая старая часть вонвольницкого акрополя прилегала к вымытому речкой яру. Земля там немного осыпалась, поэтому доступ к древним захоронениям трудностей не составил. В магический арсенал Рейневана вошли даже гвоздь из гроба и фаланга трупа.

Однако не могла ни фаланга трупа, ни сорванные у кладбищенской ограды борец, шалфей и нивяник, ни заклинания, которые он шептал над идеограммой, выцарапанной на могиле кривым гвоздем из гроба, ничем помочь. Дух Петерлина, вопреки заверениям магических книг, не вознесся в эфирном виде над могилой. Не заговорил. Не подал знака.

«Если б здесь были мои книги, – подумал Рейневан, расстроенный и обескураженный многочисленными неудачными попытками. – Если б у меня были *«Lemegeton»* или *«Necronomicon»*… Венецианский хрусталь… Немного мандрагоры… Если б у меня была реторта и удалось дистиллировать немного эликсира… Если бы…»

Увы, гримуары, хрусталь, мандрагора и реторта были далеко, в Олесьнице. Либо, что более вероятно, в руках Инквизиции.

Из – за горизонта быстро надвигалась гроза. Раскаты грома, сопровождаемые розблесками неба, были все ближе. Ветер утих, воздух сделался мертвым и тяжким как саван. Близилась полночь.

И тогда началось.

Очередная молния осветила церковь. Рейневан с изумлением увидел, что колокольня кишит ползающими вверх и вниз паукообразными существами. У него на глазах несколько кладбищенских крестов зашевелились и наклонились, одна из дальних могил сильно взбухла. Из тьмы над яром долетел треск разламываемых гробовых досок, потом послышалось громкое чавканье… А затем вой.

Когда он снова принялся сыпать вокруг себя соль, руки тряслись у него словно в лихорадке, а губы с трудом удавалось заставить пробормотать заклинание.

Наиболее сильное движение пришлось над яром, в самой старой заросшей ольховником части кладбища. Того, что там происходило, Рейневан, к счастью, не видел, даже молнии не выхватывали из мрака ничего, кроме размытых форм и силуэтов.

Однако очень сильные ощущения поставлял слух – разбушевавшаяся среди старых могил компания топала, рычала, выла, свистела, ругалась и вдобавок клацала и скрежетала зубами.

– *Wirfe saltze…*

Какая-то женщина тонко и спазматически хохотала, какой-то баритон под аккомпанемент дикого хохота остальных язвительно пародировал литургию мессы. Кто-то дубасил по барабану.

Из мрака появился скелет. Немного покружил, потом присел на могилу, да так и сидел, обхватив опущенный на грудь череп костяными руками. Вскоре рядом с ним уселось существо с огромными ступнями и тут же принялось их бешено чесать, при этом охая и постанывая. Задумчивый скелет не обращал на него внимания.

Мимо проплелся мухомор на паучьих ногах, за ним вскоре приковыляло что-то похожее на пеликана, но вместо перьев покрытое чешуей, причем клюв «пеликана» был полон обломков зубов.

На соседнюю могилу запрыгнула огромная лягушка.

И было там еще что-то. Что-то, что – Рейневан мог поклясться – неотрывно наблюдало за ним. Оно было совершенно скрыто во мраке, невидимо даже при вспышке молний. Но внимательный взгляд выхватывал из тьмы глазища, светящиеся, как гнилушки. И длинные зубы…

– *Wirfe saltze.* – Он сыпанул перед собой остатки соли. – *Wirfe saltze…*

Неожиданно его внимание привлекло медленно двигающееся светлое пятно. Рейневан следил за ним, ожидая очередной молнии. Когда та сверкнула, он к своему изумлению увидел девушку в белой просторной женской рубахе, срывающую и складывающую в корзину огромную кладбищенскую крапиву. Девушка его тоже заметила. Подошла, правда, не сразу, поставила корзину, не обратив никакого внимания ни на скорбящий скелет, ни на кошмарное творение, чешущее между пальцами огромных ступней.

– Ради удовольствия? – спросила она. – Или по чувству долга?

– Э… По чувству долга… – Он переборол страх и понял, о чем его спрашивают. – Брат… Брата у меня убили. Он здесь лежит…

– Ага. – Она откинула со лба волосы. – А я здесь, видишь, крапиву собираю…

– Чтобы сшить рубахи, – вздохнул он, немного помолчав. – Для братьев, заколдованных в лебедей?

Она долго молчала, потом сказала:

– Странный ты. Крапива пойдет на полотно, а как же. На рубашку. Только не для братьев. У меня братьев нет. А если б были, я б никогда не позволила им надеть такие рубашки.

Она гортанно засмеялась, видя его мину.

– Чего ради ты с ним вообще болтаешь, Элиза? – проговорило то зубастое, невидимое в темноте. – Какой смысл? Утром пройдет дождь, размоет соль. Тогда ему голову отгрызут.

– Это непорядок, – проговорил, не поднимая черепа, скорбный скелет. – Непорядок.

– Конечно же, непорядок, – подтвердила названная Элизой девушка – Он же Толедо. Один из нас. А нас уже мало осталось.

– Он хотел поговорить с мертвяком, – пояснил появившийся словно ниоткуда карлик с торчащими из-под верхней губы зубами. Он был пузат, как арбуз, голый живот торчал из-под слишком короткой истрепанной камзельки. – С мертвяком хотел поболтать, – повторил карлик. – С братом, который туточки лежит похороненный. Хотел получить ответ на вопросы. Но не получил.

– Значит, надо помочь, – сказала Элиза.

– Конечно, – сказал скелет.

– Само собой, брекекек, – сказала лягушка.

Сверкнула молния, прогрохотал гром. Сорвался ветер, зашумел в траве, поднял и закружил сухие листья. Элиза спокойно переступила через насыпанную соль, сильно толкнула Рейневана в грудь. Он упал на могилу, ударился затылком о крест. В глазах сверкнуло, потом потемнело, потом разгорелось опять, но на сей раз это была молния. Земля под спиной покачнулась. И закружилась. Заплясали, затанцевали тени, два круга, попеременно вращающиеся в противоположные стороны около могилы Петерлина.

– Барбела! Геката! Хильда!

– *Magna Mater.*[142]

– Эйя! Эйя!

Земля под ним закачалась и наклонилась так круто, что Рейневану пришлось поскорее раскинуть руки, чтобы не скатиться и не упасть. Ноги тщетно искали опоры. Однако он не падал. В уши ввинчивались звуки, пение. В глаза врывались видения.

Veni, veni, venitas,
Ne me mori, ne me mori facias!
Hyrca! Hyrsa! Nazaza!
Trillirivos! Trillirivos! Trillirivos!

Adsumus, говорит Персеваль, опускаясь на колени перед

Граалем. *Adsumus,* повторяет Моисей, сгорбившись под тяжестью скрижалей, которые он несет с горы Синай. *Adsumus,* говорит Иисус, сгибаясь под грузом креста. *Adsumus,* в один голос повторяют рыцари, собравшиеся за столом. *Adsumus! Adsumus!* Мы здесь, Господи, собрались во имя Твое.

Эхо разносится по замку, как гулкий гром, как отзвук далекой грозы, как грохот тарана о городские ворота. И медленно замирает в темных коридорах.

– Приидет странник, – говорит молодая девушка с лисьим лицом и кругами вокруг глаз, в венке из вербы и клевера. – Кто-то уходит, кто-то приходит. *Apage! Flumen immundissimum draco maleficus*… Не спрашивай странника об имени, оно – тайна. Из ядущего вышло ядомое, и из сильного – сладкое. А виновен кто? Тот, кто скажет правду.

Останутся собравшиеся, заключенные в узилище; они будут заперты в тюрьмах, а через многие годы – наказаны. Берегись Стенолаза, берегись нетопырей, стерегись демона, уничтожающего в полдень, стерегись и того, коий идет во мраке. Любовь, говорит Ганс Майн Игель, любовь сохранит тебе жизнь. Ты скорбишь? – спрашивает пахнущая аиром и мятой девушка. – Скорбишь?

Девушка раздета, она нага нагостью невинной. *Nuditas virtualis.* Она едва видна во мраке. Но так близка, что он чувствует ее тепло.

Солнце, змея и рыба. Змея, рыба и солнце, вписанные в треугольник. Колышется *Narrenturm,* разваливается, превращается в руины, *turns fulgurata,* башня, пораженная молнией, с нее падает несчастный шут, летит вниз к погибели. «Я – тот шут, – проносится в голове Рейневана, – шут и сумасшедший, это падаю я, лечу в бездну, в ад».

Человек, весь в языках пламени, с криком бегущий по тонкому снегу. Церковь в огне.

Рейневан тряхнул головой, чтобы отогнать видения. И тут в розблесках очередной молнии увидел Петерлина.

Привидение, неподвижное, как статуя, вдруг разгорелось неестественным светом. Рейневан увидел, что свет этот, словно солнечный огонь сквозь дырявые стены шалаша, струится из многочисленных ран – в груди, шее и внизу живота.

– Боже, Петерлин, – простонал он. – Как же тебя… Они заплатят мне за это, клянусь! Я отомщу… Отомщу, братишка… Клянусь…

Привидение сделало резкое движение. Явно отрицающее, запрещающее. Да, это был Петерлин. Никто больше, кроме отца, не жестикулировал так, когда против чего-то возражал либо что-

то запрещал, когда бранил маленького Рейневана за проказы или шалости.

– Петерлин… Братишка…

Снова тот же жест, только еще более резкий, настойчивый, бурный. Не оставляющий сомнений. Рука, указывающая на юг.

– Беги, – проговорило привидение голосом Элизы, собиравшей крапиву. – Беги, малыш. Далеко. Как можно дальше. За леса. Прежде чем тебя поглотят застенки *Narrenturm'a,* Башни шутов. Убегай. Мчись через горы, прыгай по холмам, *saliens in montibus, transilles colles.*

Земля бешено закружилась. И все оборвалось. Погрузилось во тьму.

На рассвете его разбудил дождь. Он лежал навзничь на могиле брата, неподвижный и отупевший, а капли били его по лицу.

* * *

– Позволь, юноша, – сказал Отто Беесс, каноник Святого Яна Крестителя, препозит вроцлавского капитула. – Позволь я перескажу то, что ты мне рассказал и что заставило меня не доверять собственным ушам. Итак, Конрад, епископ Вроцлава, имея возможность схватить за задницы Стерчей, которые его искренне ненавидят и которых ненавидит он, не делает ничего. Располагая почти неопровержимыми доказательствами причастности Стерчей к кровной мести и убийству, епископ Конрад отмалчивается. Так?

– Именно так, – ответил Гвиберт Банч, секретарь вроцлавского епископа, юный клирик с симпатичной физиономией, чистой кожей и мягкими бархатистыми глазами. – Таково решение. Никаких шагов против рода Стерчей. Даже упоминаний. Даже допросов. Епископ принял это решение в присутствии его преосвященства суфрагана Тильмана и того рыцаря, которому поручено следствие. Того, который сегодня утром приехал во Вроцлав.

– Рыцарь, – повторил каноник, не отрывая взгляда от картины, изображающей мученичество святого Варфоломея, единственного, кроме полки с подсвечниками и распятия, украшения голых стен комнаты. – Рыцарь, который утром приехал во Вроцлав.

Гвиберт Банч сглотнул. Положение, что уж тут говорить, было у него сейчас не из лучших. Да и не было никогда. И не было

никаких признаков того, что это со временем изменится.

– Конечно. – Отто Беесс забарабанил пальцами по столу, сосредоточенный, казалось, исключительно на обозрении истязаемого армянами святого. – Конечно. Что за рыцарь, сын мой? Имя? Род? Герб?

– Кхм, – кашлянул клирик, – не было названо ни имени, ни рода. Да и герба у него не было, весь он был в черное облачен. Но я его уже у епископа видывал.

– Так как же он выглядел? Не заставляй меня тянуть тебя за язык.

– Нестарый. Высокий, худощавый. Черные волосы до плеч. Нос длинный, словно клюв… *Tandem,* взгляд какой-то такой… птичий… Пронзительный… *In summa,*[143] холеным его назвать трудно. Но мужественный…

Гвиберт Банч вдруг замолк. Каноник не повернул головы, даже не перестал барабанить пальцами. Он знал тайные эротические наклонности клирика, и то, что он их знал, позволило ему сделать из юноши своего информатора…

– Продолжай.

– Так вот, этот рыцарь, не проявивший, кстати, в присутствии епископа ни покорности, ни даже смущения, сообщил о результатах расследования дела об убийстве господина Барта из Карчина и Петра фон Беляу. А сообщение было такое, что его преосвященство суфраган не выдержал и неожиданно рассмеялся…

Отто Беесс ничего не сказал, лишь поднял брови.

– Этот рыцарь сказал, что всему виною евреи, поскольку поблизости от мест обоих преступлений удалось вынюхать *foetor judaicus,* свойственное евреям зловоние… Чтобы от этой вони отделаться, евреи, как известно, пьют кровь христианскую. Убийство, продолжал пришелец, несмотря на то что его преосвященство Тильман хохотал до упаду, носит все признаки ритуального, и виновных следовало бы искать в ближайших кагалах, особенно в Бжеге, поскольку раввина из Бжега как раз видели в районе Стшелина, к тому же в обществе молодого Рейнмара де Беляу… Того, которого знает ваше преосвященство…

– Знаю. Продолжай.

– В ответ на такие *dictum* его преосвященство суфраган Тильман заметил, что это сказка, а оба убитых пали от ударов мечами. Что господин Альбрехт фон Барт был силач и прирожденный фехтовальщик. Что никакой раввин из Бжега ли, или еще откуда, не управился бы с господином Бартом, даже бейся они талмудами. И снова принялся хохотать до слез.

– А рыцарь?

– А рыцарь сказал, что если не евреи убили благородных господ Барта и Петра Беляу, то это сделал дьявол. Что в итоге одно на одно выходит.

– И что на это епископ Конрад?

– Его милость, – откашлялся клирик, – взглядом испепелил преподобного Тильмана, будучи, видать, недовольным его весельем. И сразу же заговорил. Очень сурово, серьезно и официально, а мне приказал записать, что…

– Расследование он прекращает, – опередил каноник, очень медленно выговаривая слова. – Попросту прекращает расследование.

– Вы прямо ну словно при этом присутствовали. А его преподобие суфраган Тильман сидел и слова не произнес, но выражение лица у него было странное. Епископ Конрад обдумал это и сказал, да гневно так, что истина на его стороне, история это подтвердит и что это *ad majorem Dei gloriam.*[144]

– Так прямо и сказал?

– Именно этими словами. Поэтому не ходите, преподобный отец, с этим делом к епископу. Ручаюсь, ничего вы не добьетесь. Кроме того…

– Что «кроме того»?

– Этот рыцарь сказал епископу, что если в дело об этих двух убийствах будет кто-нибудь вмешиваться, подавать петиции или домогаться расследования, то он желает, чтобы его об этом уведомили.

– Он желает, – повторил Отто Беесс. – А что на это ответил епископ?

– Головой кивал.

– Головой кивал, – повторил каноник, тоже кивнув. – Ну, ну, Конрад, Пяст Олесьницкий. Головой, значит, кивал.

– Кивал, преподобный отец.

Отто Беесс снова взглянул на картину, на истязаемого Варфоломея, с которого армяне сдирали длинные полосы кожи при помощи огромных клещей. «Если верить „Золотой легенде“,[145] – подумал он, – то над местом мучительства вздымался чудеснейший аромат роз. Как же! Мучения воняют. Над местами пыток вздымается смрад, вонь, зловоние. Над всеми местами казней и мучительств. И над Голгофой тоже. Там тоже, дам голову на отсечение, роз не было. Был, как же точно сказано, *foetor judaicus».*

– Прошу тебя, юноша. Возьми.

Клирик, как обычно, сначала потянулся за кошельком, потом резко отдернул руку, словно каноник подавал ему скорпиона.

– Преподобный отец… – пробормотал он. – Я же не ради… Не

ради презренных монет… А только потому, что…

– Возьми, сын мой, возьми, – прервал, покровительственно улыбнувшись, каноник. – Я же говорил тебе, что информатор должен получать оплату. Презирают прежде всего тех, кто доносит безвозмездно. Идеи ради. От страха. От злости и зависти. Я тебе уже говорил: больше, чем за измену, Иуда заслужил презрения за то, что предал дешево.

Полдень был теплым и погожим – приятное разнообразие после нескольких слякотных дней. В лучах солнца блестела колокольня церкви Марии Магдалины, сверкали крыши каменных домов. Гвиберт Банч потянулся. У каноника он замерзал. Комната была затемнена, от стен несло холодом.

Кроме помещения в доме капитула на Тумском Острове, препозит Отто Беесс держал во Вроцлаве дом на Сапожницкой, неподалеку от рынка, там он привык принимать тех, о визитах которых не следовало говорить вслух, в том числе, конечно, и Гвиберта Банча. Поэтому Гвиберт Банч решил воспользоваться случаем. На Остров ему возвращаться не хотелось, вряд ли епископ потребует его перед вечерней. А от Сапожницкой рукой подать до хорошо знакомого клирику подвальчика за Куриным рынком. И в том подвальчике можно было оставить часть полученных от каноника денег. Гвиберт Банч свято верил, что, расставаясь с этими деньгами, он расстается и с грехом. Покусывая приобретенный в какой-то лавчонке крендель, он для сокращения пути свернул в узкий переулок. Здесь было тихо и безлюдно, настолько безлюдно, что у клирика из-под ног прыснули напуганные появлением человека крысы.

Тут, услышав шелест перьев и хлопанье крыльев, он оглянулся и увидел большого стенолаза, неуклюже пристраивающегося на фризе заложенного кирпичом окна. Банч упустил крендель, быстро попятился, отскочил.

На его глазах птица сползла по стене, скрипя когтями. Расплылась. Выросла. И изменила внешность. Банч хотел крикнуть, но не смог: горло перехватил спазм.

Там, где только что был стенолаз, теперь стоял знакомый клирику рыцарь. Высокий, худощавый, черноволосый, весь в черном, с проницательным птичьим взглядом.

Банч снова раскрыл рот и снова не смог выдавить из себя ничего, кроме тихого хрипа. Рыцарь Стенолаз плавным шагом приблизился. Оказавшись совсем рядом, улыбнулся, подмигнул и сложил губы, посылая клирику весьма чувственный поцелуй. Прежде чем клирик понял, в чем дело, он успел уловить взглядом блеск клинка и получил в живот. На бедра хлынула кровь. Потом

получил еще один удар, в бок, нож заскрипел на ребрах. Банч уперся рукой в стену. Третий удар чуть не пригвоздил его к ней.

Теперь он уже мог кричать и крикнул бы, но не успел. Стенолаз подскочил и широким размахом перерезал ему горло.

Скорченный, валяющийся в луже черной крови труп нашли нищие. Прежде чем явилась городская стража, прибежали торговки и перекупщики с Куриного рынка.

Над местом преступления навис ужас. Ужас жуткий, давящий, сворачивающий внутренности. Ужас страшный.

Настолько страшный, что до момента появления стражи никто не отважился украсть кошель с деньгами, торчащий у убитого из рассеченного ножом рта.

– *Gloria in excelsis Deo,*[146] – пропел каноник Отто Беесс, опуская сложенные ладонями руки и склоняя голову перед алтарем. – *Et in terra pax hominibus bonae voluntatis…*[147]

Дьяконы, стоявшие по обе его стороны, приглушенными голосами присоединились к пению. Служивший мессу Отто Беесс, препозит вроцлавского капитула, продолжал механически, рутинно. Мыслями он был далеко.

– *Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi…*[148]

«Убили клирика Гвиберта Банча. Средь бела дня. В центре Вроцлава. А епископ Конрад, прекративший следствие, касающееся убийства Петерлина фон Беляу, следствие по делу своего секретаря наверняка также прекратит. Не знаю, что тут происходит. Но надо позаботиться о собственной безопасности. Никогда, ни под каким видом не дать предлога или оказии. И не позволить застать себя врасплох».

Пение вздымалось к высоким сводам вроцлавского кафедрального собора.

– *Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.*[149]

Отто Беесс опустился на колени перед алтарем.

«Надеюсь, – подумал он, осеняя себя крестом, – надеюсь, Рейневан успел… Надеюсь, он уже в безопасности… Очень надеюсь…»

– *Miserere nobis…*

Месса продолжалась.

Четыре всадника галопом промчались через перепутье рядом с каменным крестом, одним из многочисленных в Силезии

памятников преступления и раскаяния. Ветер сек кожу, резал глаза дождь. Грязь летела из-под копыт. Кунц Аулок по прозвищу Кирьелейсон выругался, смахнул мокрой перчаткой воду с лица. Сторк из Горговиц поддержал из-под отекающего водой капюшона еще более грязным ругательством. Вальтеру де Барби и Сыбку из Кобылейглавы уже не хотелось даже ругаться. Скорее, думали оно, скорее, как можно скорее под какую угодно крышу, в какой угодно кабак, к теплу, сухости и подогретому пиву.

Грязь взметнулась из-под копыт, заляпывая и без того уже испачканную фигуру, съежившуюся под крестом и накрытую плащом. Ни один из всадников не обратил на нее внимания.

Рейневан тоже не поднял головы.

Глава девятая,

в которой появляется Шарлей

Приор стшегомского монастыря кармелитов был худ как жердь; телосложение, пергаментная кожа, небрежно обритая щетина и длинный нос делали его похожим на ощипанную цаплю. Глядя на Рейневана, он все время щурился, возвращаясь к письму Оттона Беесса, подносил лист к носу на расстояние двух дюймов. Костлявые и синие руки дрожали, губы то и дело кривила боль. Однако приор отнюдь не был стариком. Это была болезнь, с которой Рейневан встречался не раз, болезнь, подтачивающая словно проказа, с той разницей, что делала она это невидимо, изнутри. Болезнь, с которой не справлялись ни лекарства, ни травы, а могла состязаться только самая сильная магия. Впрочем, что толку, что могла. Ведь даже если кто-то и знал, как лечить, не лечил все равно, ибо времена были такие, что вылеченный мог запросто донести на лечащего.

Приор кашлянул, вырвав Рейневана из задумчивости.

– Значит, только ради одного этого, – поднял он письмо вроцлавского каноника, – ты ждал моего возвращения, юноша? Целых четыре дня? Зная, что отец гвардиан[150] во время моего отсутствия обладает всеми полномочиями?

Рейневан ограничился кивком. Ссылаться на то, что письмо по указанию каноника следовало передать в собственные руки приора, не было нужды. Это было ясно и без того. Что же касается четырех проведенных в подстшегомской деревне дней, то о них тоже не следовало вспоминать – они пролетели совершенно незаметно. После трагедии в Бальбинове Рейневан жил как во сне. Отупевший, разбитый и в полубессознательном состоянии.

– Ты ждал, – отметил факт приор, – чтобы передать письмо в нужные руки. И знаешь что, юноша? Очень хорошо сделал.

Рейневан смолчал и на этот раз. Приор вернулся к письму, чуть ли не водя по нему носом.

– Таааак, – наконец протянул он, поднимая глаза и щурясь. – Я знал, что придет день, когда почтенный каноник напомнит мне о долге. И о расплате. С ростовщическим процентом, который, кстати сказать, Церковь брать и давать запрещает. Ведь Евангелие от Луки говорит: одалживайте, ничего за это не ожидая.[151] А веришь ли ты, юноша, не усомнившись, в то, во что велит Церковь, мать наша?

– Да, преподобный отец.

– Похвальное качество. Особенно в нынешние времена. И уж конечно, в таком месте, как это. Знаешь ли ты, где находишься? Знаешь ли, что это за место, кроме того одного, что оно монастырь?

– Не знаешь, – угадал приор по молчанию Рейневана. – Либо ловко прикидываешься, будто не знаешь. Так вот знай: это дом демеритов.[152] А что такое «дом демеритов», ты скорее всего тоже не знаешь либо не менее ловко прикидываешься, что не знаешь. Так я тебе скажу: это тюрьма.

Приор замолчал, сплел пальцы и изучающе глядел на собеседника. Рейневан, конечно, давно уже понял, в чем дело, но не выдал себя. Не хотел портить кармелиту удовольствия, которое тот получал от такой беседы.

– Знаешь ли ты, – немного помолчав, продолжал монах, – о чем его преподобие каноник позволяет себе просить меня в этом письме?

– Нет, преподобный отец.

– Незнание в определенной степени оправдывает тебя. А поскольку я-то знаю, постольку меня оправдать не может ничто. Следовательно, если я откажусь выполнить просьбу, мой поступок будет оправдан. Что скажешь? Разве моя логика не сродни Аристотелевой?

Рейневан не ответил. Приор молчал. Очень долго. Потом поджег письмо каноника от свечи, повертел им так, чтобы огонь охватил весь листок, бросил на пол. Рейневан глядел, как бумага сворачивается, чернеет и крошится. «Так обращаются в пепел мои надежды, – подумал он. – Преждевременные, впрочем, бессмысленные и тщетные. А может, оно и к лучшему. Что случилось так, как случилось».

Приор встал. Потом кратко и сухо бросил:

– Иди к шафажу.[153] Пусть тебя накормит и напоит. Затем отправляйся в нашу церковь. Там встретишься с тем, с кем должен. Приказы будут отданы, вы сможете покинуть монастырь без помех. Каноник Беесс в своем письме подчеркнул, что вы отправляетесь в дальний путь. От себя добавлю: очень хорошо, что в дальний. Было бы, добавлю еще, большой ошибкой отъезжать слишком близко. И возвращаться слишком скоро.

– Благодарю, ваше преподобие…

– Не благодари. Если же кому-либо из вас вдруг взбредет в голову мысль просить у меня перед уходом благословения на дорогу, то отбросьте ее.

Пища у стшегомских кармелитов действительно оказалась истинно тюремной. Однако Рейневан все еще был слишком удручен, чтобы привередничать. Кроме того, что скрывать, был

слишком голоден, чтобы морщиться, видя соленую селедку, кашу без жира и пиво, отличающееся от воды разве что цветом, да и то незначительно. Впрочем, возможно, был аккурат пост? Он не помнил.

Ел он быстро и жадно, чем явно доставил удовольствие старичку шафажу, несомненно, свыкшемуся с гораздо меньшим азартом потчуемых. Едва Рейневан управился с голландской селедкой, как улыбающийся монах угостил его второй, извлеченной прямо из бочки. Рейневан решил воспользоваться дружеским актом.

– Ваш монастырь – настоящая крепость, – проговорил он с полным ртом. – И неудивительно, я ведь знаю его предназначение. Но, насколько могу судить, вооруженной охраны у вас нет. А из тех, которые здесь отбывают покаяние, никто не сбежал?

– Ох, сын мой, сын мой. – Шафаж покачал головой, соболезнуя наивной тупости. – Бежать? А зачем? Не забывай, кто здесь кается. Каждый из них покончит с покаянием, ибо когда-нибудь оно кончится. И хоть никто из здешних не кается *pro nihilo,* [154] конец покаяния снимает вину. *Nullum crimen,* все возвращается к норме. А беглец? Он был бы отверженным до конца своих дней.

– Понимаю.

– Это хорошо, потому что мне об этом говорить нельзя. Еще каши?

– Охотно. А кающиеся, за что они, интересно, несут покаяние? За какие провинности?

– Мне об этом говорить нельзя.

– Но я же не о конкретных случаях спрашиваю. А просто так, в общем.

Шафаж кашлянул и пугливо оглянулся, зная, конечно, что в доме демеритов даже у обвешанных сковородами и чесноком стен кухни могут быть уши.

– Ох, – сказал он тихо, вытирая о рясу жирные от сельди руки, – за всякие разности здесь томятся. В основном распутные и порочные священнослужители. И монахи. Те, которым тяжко было выдерживать обет. Сам понимаешь: обет послушания, покорности, бедности… А также воздержания от вина и умеренности… Как это говорят: *plus bibere, quam orare.* [155] Ну и обет целомудрия, к сожалению.

– *Femina,* – догадался Рейневан, – *instrumentum diaboli.* [156]

– Если б только фемина… – вздохнул шафаж, возводя глаза горе. – Ах, ах… Безмерность грехов, безмерность… Невозможно отрицать. Но есть у нас дела и посерьезнее. Ох, посерьезнее. Но

об этом мне категорически говорить нельзя. Ты кончил вкушать, сын мой?

– Кончил. Благодарствую. Это было вкусно.

– Заходи, когда захочешь.

В церкви было очень темно, огонь свечей и свет из узеньких окон развидняли только сам алтарь, ковчег для святых даров, крест и триптих, изображающий Оплакивание. Остальная часть пресвитерии, весь неф, деревянные эмпоры[157] и сталлы[158] тонули в туманной полутьме. «Возможно, это сделано умышленно, – не мог отогнать напросившуюся мысль Рейневан, – для того, чтобы во время молебнов демериты не видели друг друга, не пытались угадать по лицам чужих грехов и преступлений. И сравнивать их со своими».

– Я здесь.

Звучный и глубокий голос, дошедший со стороны скрытой между сталлами ниши, отличался – трудно было воспротивиться такому ощущению – серьезностью и благородством. Но скорее всего причиной было просто эхо, отраженное от свода, бившееся меж каменными стенами. Рейневан подошел ближе.

Над источающей слабый аромат ладана и масла исповедальней возвышалось изображение святой Анны с Марией на одном и маленьким Иисусом на другом колене. Рейневан картину видел, она была освещена светильником, который одновременно погружал в эту темнейшую темень все вокруг, а также мужчину, сидевшего в исповедальне. Рейневан видел лишь его силуэт.

– Значит, – сказал мужчина, пробуждая новое эхо, – мне тебя надо будет благодарить за возможность обрести свободу передвижения, э? Ну, стало быть, благодарю. Хотя сдается мне, гораздо больше я должен быть благодарен некоему вроцлавскому канонику, не так ли? И событию, кое имело место… Ну, скажи для порядка. Чтобы я был совершенно уверен, что передо мной соответствующий человек. И что это не сон.

– Восемнадцатого июля, восемнадцатого года.

– Где?

– Вроцлав. Нове Място…

– Разумеется, – сказал, немного помолчав мужчина. – Ясное дело, Вроцлав. Где это могло быть еще, если не там? Лады. Теперь подойди. И прими соответствующую позу.

– Не понял?

– Опустись на колени.

– У меня убили брата, – сказал Рейневан, не двигаясь с места. – Самому мне грозит смерть. Меня преследуют, я

вынужден бежать. А вначале довершить несколько дел. И кое за что расплатиться. Отец Отто заверил меня, что ты сможешь мне помочь. Именно ты, кем бы ты ни был. Но опускаться перед тобой на колени? И не подумаю. Как я должен тебя называть? Отцом? Братом?

– Называй как хочешь. Хоть дядюшкой. Мне это глубоко безразлично.

– Мне не до смеха. Я сказал: у меня убили брата. Приор заверил, что мы может отсюда уйти. Так уйдем же, покинем это печальное место, двинемся в путь. А по пути я расскажу все, что надо. Чтобы ты знал все, что необходимо. И не больше того.

– Я просил, – эхо голоса мужчины загудело еще глубже, – тебя опуститься на колени.

– А я сказал: исповедоваться тебе я не намерен.

– Кто бы ты ни был, – сказал мужчина, – у тебя на выбор два пути. Один здесь, рядом со мной, на колени. Другой – через монастырские ворота. Разумеется, без меня. Я не наймит, парень, не наемный убийца, чтобы заниматься твоими делами и расплатами. Это я – заруби себе на носу – решаю, сколько и какие сведения мне нужны. Впрочем, важно и взаимное доверие. Ты не доверяешь мне, как же я могу верить тебе?

– Тем, что ты выйдешь из тюрьмы, – задиристо сказал Рейневан, – ты будешь обязан именно мне. И отцу Оттону. Сам заруби это себе на носу и не вздумай изображать из себя бог весть кого. И ставить меня перед выбором. Или ты идешь со мной, или продолжай догнивать здесь. Выбор…

Мужчина прервал его, громко постучав по доске исповедальни.

– Выбирать мне достается не впервой. Ты грешишь высокомерием, полагая, будто я испугаюсь. Еще сегодня утром я не знал о твоем существовании, уже сегодня вечером, если понадобится, я о нем забуду. Повторяю последний раз: либо исповедь как проявление доверия, либо прощай. Поспеши с выбором, до сексты осталось немного времени. А здесь строго следуют литургии часов.

Рейневан стиснул кулаки, борясь с непреодолимым желанием развернуться и уйти, выйти на солнце, свежий воздух, зелень и пространство. В конце концов здравый смысл победил. Он переломил себя.

– Я даже не знаю, – выдавил он, опускаясь на колени на отполированную многочисленными исповедывавшимися доску, – священник ли ты.

– Это не имеет значения. – В голосе человека из исповедальни прозвучало что-то вроде насмешки. – Мне нужна

только твоя исповедь. Отпущения грехов не жди.

– Я даже не знаю, как тебя зовут.

– У меня много имен, – тихо, но отчетливо донеслось из-за решетки. – Мир знает меня под разными именами. Поскольку у меня есть шансы вновь вернуться в мир… придется что-то выбирать… Вилибальд из Гирсау? А может… Бенигнус из Аикса? Павел из Тыньца? Корнелиус ван Хеемскерк? А может… может… мэтр Шарлей? Как тебе это нравится, парень: мэтр Шарлей? Ну ладно, не кривись. Просто Шарлей. Без «мэтр». Согласен?

– Согласен. Приступим к делу, Шарлей.

Едва массивные, воистину не уступающие крепостным ворота стшегромского монастыря кармелитов с грохотом задвинулись за ними, едва они удалились от высиживающих у ворот нищих и вымаливавших подаяние попрошаек, едва вошли в тень придорожных тополей, как Шарлей до глубины души потряс Рейневана.

Недавний демерит и узник, только что таинственный, угрюмый и гордо молчаливый, теперь вдруг разразился гомерическим хохотом, подпрыгнул не хуже козла, кинулся навзничь в сорняки и несколько секунд катался в траве, словно жеребенок, рыча и смеясь попеременно. Наконец на глазах остолбеневшего Рейневана его недавний исповедник перекувыркнулся, вскочил, проделал в сторону ворот очень оскорбительный жест, согнув руку в локте. Жест сопровождался длинным перечнем крайне непристойных проклятий и ругательств. Некоторые касались персонально приора, некоторые – стшегомского монастыря, некоторые – ордена кармелитов в целом, некоторые имели общий характер.

– Не думал я, – Рейневан успокоил лошадь, напуганную спектаклем, – что там было так тяжко.

– Не судите и не судимы будете. – Шарлей отряхнул одежду. – Это во-первых. Во-вторых, будь добр, воздержись от комментариев хотя бы временно. В-третьих, поспешим в город.

– В город? А зачем? Я думал…

– Не думай.

Рейневан пожал плечами, направил лошадь по дороге. Он делал вид, будто отворачивается, но при этом не мог удержаться, чтобы уголком глаза не наблюдать за шагающим рядом с лошадью мужчиной.

Шарлей был не очень высок, даже немного уступал ростом Рейневану, но это не бросалось в глаза, поскольку недавний демерит был плечист, крепко сбит и наверняка силен, о чем свидетельствовали жилистые и играющие мускулами предплечья,

выглядывающие из коротковатых рукавов. Шарлей не соглашался покинуть монастырь в рясе, а одежда, которой его снабдили взамен, была немного странноватой.

Довольно грубые, чтобы не сказать топорные черты лица демерита не мешали ему быть живым, непрерывно изменяющимся, играющим широкой гаммой разнообразных выражений. Горбатый и мужественно крупный нос нес следы давнего удара, нижняя часть подбородка скрывалась в старом, но все еще видном шраме. Глаза Шарлея, зеленые, как бутылочное стекло, были очень странными. Глядя в них, так и хотелось проверить, на месте ли кошелек и кольцо на пальце. Беспокойная мысль устремлялась к оставшейся дома жене и дочерям, а вера в девичью добродетель обнажала всю полноту своей наивности. Неожиданно утрачивалась какая-либо надежда на возврат данных в долг денег, переставали удивлять пять тузов в колоде для пикета, подлинная печать на документе начинала казаться чертовски неподлинной, а у коня, доставшегося за большие деньги, начинались странные хрипы в легких. Именно такое чудилось, если смотреть в бутылочно-зеленые глаза Шарлея. И на его лицо, в котором решительно больше было от Гермеса, чем от Аполлона.

Они миновали широкую полосу пригородных огородов, потом часовенку госпициума[159] Святого Миколая. Рейневан знал, что госпициум содержат иоанниты, знал также, что в Стшегоме у ордена размещается командория. Он тут же вспомнил князя Кантнера и приказ направиться в Малую Олесьницу. И начал беспокоиться. Приказ мог быть связан с иоаннитами, а значит, дорога, по которой он ехал, не была тропой преследуемого волка, сомнительно, чтобы каноник Отто Беесс одобрил такой выбор. И здесь Шарлей впервые проявил свою проницательность. Либо столь же редкое умение читать чужие мысли.

– Нет причин беспокоиться, – сказал он легко и весело. – В Стшегоме свыше двух тысяч жителей, мы затеряемся среди них, как снежинка в пурге. Кроме того, ты под моей защитой. Как ни говори – я обязался.

– Все время, – ответил Рейневан после долгого молчания, понадобившегося ему, чтобы остыть, – все время я пытаюсь понять, какое значение для тебя имеет такое обязательство.

Шарлей широко улыбнулся, показав белые зубы шагающим навстречу сборщицам льна, пригожим девицам в сильно потрепанных одежках, едва прикрывающих обилие потных и запыленных прелестей. Девиц было несколько, а Шарлей лыбился всем по очереди, так что Рейневан потерял надежду услышать

ответ.

– Вопрос, – застал его врасплох демерит, отрывая взгляд от подрагивающей под мокрой от пота длинной рубашкой круглой попочки последней из прелестниц, – носит философский характер. А на таковые я не привык отвечать в трезвом состоянии. Но обещаю, ты получишь ответ еще до захода солнца.

– Не знаю, дождусь ли. Не сгорю ли раньше от любопытства.

Шарлей не ответил, зато ускорил шаг так, что Рейневану пришлось заставить лошадь пойти легкой рысью. В результате они вскоре оказались у Свидницких ворот. А дальше, за группой отдыхающих в тени умазюканных паломников и покрытых язвами нищих, уже был Стшегом с его узкими, грязными, вонючими и полными народу улицами.

Куда бы и к какой бы цели их ни вела дорога, Шарлей ее знал, так как шел уверенно и без всяких колебаний. Они прошли по улочке, в которой тарахтело столько ткацких станков, что она, несомненно, называлась Ткацкой либо Суконнической. Вскоре вышли на небольшую площадь, над которой вздымалась церковная колокольня. Через площадь – это можно было видеть и обонять – недавно прогоняли скот.

– Только глянь, – останавливаясь, проговорил Шарлей. – Церковь, корчма, бордель, а между ними кучка дерьма. Вот парабола человеческой жизни.

– А вроде бы, – Рейневан даже не улыбнулся, – ты на трезвую голову не философствуешь.

– После долгого периода воздержания, – Шарлей безошибочно направился в заулок к прилавку, уставленному кувшинами и горшками, – я упиваюсь самим только ароматом хорошего пива. Эй, добрый человек! Подай-ка белого стшегомского! Из подвала. Изволь заплатить, парень, поскольку, как утверждает Священное Писание, *argentum et aurum non est mihi.* [160]

Рейневан фыркнул, но бросил на прилавок несколько геллеров.

– Ты скажешь наконец, какие дела привели тебя сюда?

– Скажу. Но лишь после того, как осушу по меньшей мере три из этих вот дел.

– А потом? – насупил брови Рейневан. – Только что упомянутый бордель?

– Не исключено. – Шарлей поднял кружку. – Не исключено, парень.

– А дальше? Трехдневное возлияние по случаю обретения свободы… передвижения?

Шарлей не ответил, потому что пил… Однако прежде чем

прикончил кружку, подмигнул поверх нее, а это могло означать все.

– И все-таки это была ошибка, – серьезно проговорил Рейневан, не отрывая взгляда от прыгающего кадыка демерита. – Возможно, ошибка каноника. А может, моя, что я его послушался и связался с тобой.

Шарлей пил, не обращая на него никакого внимания.

– К счастью, – продолжал Рейневан, – это можно легко исправить. И положить конец.

Шарлей оторвал кружку от губ, вздохнул, слизнул пену.

– Ты хочешь что-то мне сказать, – догадался он. – Ну так говори.

– Мы, – холодно сказал Рейневан, – просто не подходим друг другу.

Демерит показал глазами, чтобы ему налили вторую кружку пива, и несколько мгновений, казалось, его внимание занимала исключительно она.

– Малость мы различаемся, факт, – согласился он, отхлебнув. – Я, к примеру, не привык хендожить чужих жен. Если поискать как следует, наверняка отыщутся еще некоторые различия. Это нормально. Ибо хоть мы и созданы по образу и подобию, но при этом Творец позаботился об индивидуальных особенностях. За что ему и хвала.

Рейневан махнул рукой, злясь еще больше.

– Я вот подумываю, – выпалил он, – а не распрощаться ли мне с тобой во имя создавшего нас Творца. Здесь и сейчас. Разойтись в разные стороны, каждый в свою. Я ведь и вправду не знаю, на что ты можешь мне пригодиться. Боюсь – ни на что.

Шарлей глянул на него по-над кружкой.

– Пригодиться, говоришь. В чем и как? Легко проверить. Крикни: «На помощь, Шарлей!» И помощь будет тебе оказана.

Рейневан пожал плечами и развернулся, намереваясь уйти. При этом кого-то задел. А тот ударил его лошадь так сильно, что она взвизгнула и дернулась, свалив обидчика в навоз.

– Как ходишь, жлоб? Куда прешь со своей скотиной? Это город, а не твоя зачуханная деревня!

Человек, которого он нечаянно задел, был одним из трех молодых мужчин, одетых богато, модно и элегантно. Все трое были невероятно похожи – одинаковые фантазийные фески на волосах, завитых на железках, подбитые ватой кафтаны, простеганные так густо, что их рукава смахивали на огромных гусениц. На мужчинах были вошедшие в моду облегающие парижские брюки, называемые *mi-parti,*[161] штанины которых сшивают из тканей контрастных цветов. Все трое держали в руках

изящные тросточки с шариками.

– Иисусе Христе и все святые, – бросил модник, накручивая тросточкой мельницу. – Что за хамство пышно цветет в этой Силезии, что за непристойная дикость! Кто-нибудь когда-нибудь научит их культуре?

– Придется, – сказал второй с таким же галльским акцентом, – взять на себя этот неблагодарный труд. И провести их в Европу.

– Верно, – подхватил третий модник в сине-красных *mi-parti*. – Для начала, в порядке введения, обработаем по-европейски шкуру этому простофиле. А ну, господа, за палки! И не ленитесь!

– Эй-эй! – крикнул хозяин пивного ларька. – Без дебошей, господа купцы! Не то стражу кликну!

– Заткнись, силезский хам, а то достанется и тебе.

Рейневан собрался было убежать, да не успел. Трость ударила его по плечу, вторая с сухим треском попала по спине, третья саданула по ягодицам. Он решил, что ждать дальнейших ударов нет смысла, и крикнул:

– На помощь! Шарлей! На помощь!

Шарлей, который посматривал на происходящее с умеренным интересом, отставил кружку и не спеша подошел.

– Хватит шалить, господа.

Модники оглянулись – и как по команде расхохотались. Действительно, Рейневан должен был это признать, демерит в своем куцем и пестром одеянии выглядел не наилучшим образом.

– Господи Иисусе, – фыркнул первый модник, видать, набожный. – Ну и потешные же субъекты попадаются на здешнем краю света!

– Какой-то местный шут, – определил второй. – Сразу видно по чудаческой одежде.

– Не одежда красит человека, – холодно ответил Шарлей. – Уйдите отсюда, любезные. Да поскорее.

– Что?

– Господа, – повторил Шарлей, – соблаговолите мирно удалиться. То есть уйти куда-нибудь подальше. Не обязательно в Париж. Достаточно на другой край города.

– Чтоооо?

– Господа, – медленно, терпеливо и настойчиво, словно детям, повторил Шарлей. – Соизвольте отсюда уйти. И заняться чем-нибудь для себя более привычным. Содомией, например. В противном случае вы, господа, будете побиты, к тому же основательно. И прежде чем кто-либо из вас успеет проговорить *credo in Deum patrem omnipotentem*.[162]

Первый модник замахнулся тростью. Шарлей ловко

увернулся. Ухватился за трость и вывернул ее. Модник перекувыркнулся и шлепнулся в грязь. Оставшейся в руке у демерита тростью он хватанул по голове второго купца, отправив того на прилавок пивовара, и тут же ударом быстрым как мысль дал по лапе третьему. Тем временем первый вскочил и кинулся на Шарлея, взревев раненым зубром. Демерит без видимого усилия сдержал нападение ударом, от которого модник перегнулся пополам, Шарлей тут же локтем крепко дал ему по почкам, падающему врезал по уху, казалось, просто так, походя. Но двухцветный модник свернулся червяком и больше уже не вставал.

Двое оставшихся переглянулись и как по команде выхватили кинжалы. Шарлей погрозил им пальцем:

– Не советую. Ножи могут покалечить!

«Парижане» предостережению не вняли.

Рейневану казалось, что он наблюдает за происходящим очень внимательно. Однако чего-то, видимо, не заметил, потому что не понял, как случилось то, что случилось. По сравнению с наскакивающими на него и размахивающими кинжалами, как крыльями ветряных мельниц, модниками Шарлей казался почти неподвижным, а его движения малозаметными, однако настолько быстрыми, что их не успевал уловить глаз. Один из «парижан» упал на колени, наклонив голову чуть не до земли, захрипел и один за другим выплевывал в грязь зубы. Второй сидел и кричал. Раззявив рот на всю ширину, он кричал и плакал. Тонко, вибрирующе, безостановочно, совсем как ребенок, которому долго не давали грудь. Собственный кинжал он все еще держал в руке, а нож дружка торчал у него в бедре, вбитый по самую золоченую гарду.

Шарлей глянул на небо, развел руки жестом, долженствовавшим означать: «Разве я не говорил», потом скинул свою смешную, очень тесную куртку, подошел к тому купцу, который плевался зубами, ловко схватил его за локти, поднял, вцепился в рукава и несколькими точными пинками выбил модника из кафтана. А затем нарядился в него сам.

– Не платье красит человека, – сказал он, с удовольствием потягиваясь, – а человеческое достоинство. Однако лишь хорошо одетый человек чувствует себя воистину достойно.

Потом он наклонился и сорвал у модника с пояса расшитый кошель.

– Богатый город Стшегом, – сказал он. – Богатый. Деньги, сами видите, валяются на дороге.

– На вашем месте… – проговорил дрожащим голосом хозяин пивного ларька. – На вашем месте я бежал бы, господин. Это

богатые купцы, гости благородного господина Гунцелина фон Лаасана. Они хорошо получили за скандалы, которые постоянно учиняют… Но лучше бегите, потому что господин фон Лаасан…

– Хозяйнует в этом городе, – докончил Шарлей, забирая кошель у третьего модника. – Благодарю за пиво, добрый человек. Пошли, Рейневан.

Они пошли, а модник с ножом в бедре долго провожал их отчаянным, непрекращающимся плачем младенца:

– Уаа-уаа! Уаа-уаа! Уаа-уаа! Уаа-уаа!

Глава десятая,

в которой и Рейневан, и читатель получат возможность лучше познакомиться с Шарлеем. Такую возможность предоставляет совместное странствование и различные сопутствующие ему события. Под конец появляются три ведьмы – совершенно классические, совершенно канонические и совершенно анахронические

Поудобнее расположившись на обомшелом пне, Шарлей рассматривал монеты, которые высыпал из кошельков в шапку. Он не скрывал недовольства.

– Судя по одежде и гонору – зажиточные выскочки. А в кошельках, ну, глянь, парень, какое убожество. Какое безденежье. Какой мусор. Два экю, немного обрезанных парижских сольди, четырнадцать грошей, полугрошевики, магдебургские пфениги, прусские скойцы и шелёнги, денарии и геллеры ценой дешевле облаток, какая-то еще мелочь, которую я даже узнать не могу, скорее всего фальшивки. Больше, чтоб мне провалиться, стоят сами кошельки, вышитые серебряной нитью и жемчугом. Но кошельки – не наличные, где я их обращу в валюту? Монет здесь не хватит даже на захудалого конягу, а мне необходим конь. Да и одежка этих, псякрев, фертиков тоже стоила больше. Нет, надо было их обобрать догола.

– Тогда, – довольно резко заметил Рейневан, – господин Лаасан послал бы вслед за нами, наверно, не двенадцать, а сто человек. И не по одному, а по всем трактам.

– Однако послал он двенадцать, так что рассуждать тут не о чем.

Действительно, не прошло и получаса после того, как оба через Яворские ворота покинули Стшегом, как из тех же ворот вылетели и помчались по тракту двенадцать конников в цветах Гунцелина фон Лаасана, вельможи, владельца стшегомского замка и фактического хозяина города. Однако Шарлей, доказав свою сметку, почти сразу после выезда из города велел Рейневану свернуть в лес и укрыться в чаще. Теперь он выжидал, желая удостовериться, что погоня не вернется.

Рейневан вздохнул и присел рядом с Шарлеем.

– Эффект нашего знакомства таков, – сказал он, – если сегодня утром за мной гонялись только братья Стерчи и нанятые ими бандиты, то к вечеру мне на пятки наседает фон Лаасан и стшегомские кнехты. Что будет дальше, страшно подумать.

– Ты просил помочь, – пожал плечами демерит. – А ведь я обязался тебя опекать и защищать. Я уже говорил, но ты не соизволил поверить. Фома неверующий. То, что ты увидел своими глазами, тебя не убедило? Или тебе обязательно надо было ощупать раны?

– Если бы тогда пораньше подоспела стража, – надулся Рейневан, – или дружки побитых, то и вправду было бы что ощупывать. Но сейчас бы я уже висел. А ты, опекун мой и защитник, болтался бы рядом. На соседнем крючке.

Шарлей не ответил, только снова пожал плечами и развел руками. Рейневан невольно улыбнулся. Он, как и раньше, не доверял странному демериту и – как и раньше – не понимал, чего ради ему доверял каноник Отто Беесс. Он по-прежнему не только не приближался к Адели, но даже все время от нее отдалялся. К перечню местностей, в которых он не мог показаться, прибавился Стшегом. Однако, честно говоря, Шарлей ему немного понравился. Рейневан очами души своей уже видел, как Вольфгер Стерча елозит на коленях и один за другим выплевывает зубы, а Морольд, таскавший в Олесьнице Адель за волосы, сидит и воет: «Уаа-уаа!»

– Где ты научился так драться? В монастыре?

– В монастыре, – спокойно подтвердил Шарлей. – Поверь, парень, монастыри забиты учителями. Почти каждый прибывающий туда что-нибудь да умеет. Так что стоит только захотеть.

– У демеритов в кармеле было то же самое?

– Еще лучше, в смысле обучения, разумеется. У нас была масса свободного времени, которое неизвестно было куда девать. Особенно если тебе не нравился брат Барнаба. Брат Барнаба, цистерцианец, хоть красивый и пухленький, как девочка, девочкой все же не был, и этот факт некоторым из нас немного мешал.

– Пожалуйста, без подробностей. Что будем делать?

– По примеру сынов Эмона,[163] – Шарлей встал и потянулся, – садимся вдвоем на твоего гнедого Баярда. И двигаемся на юг, к Свиднице. По бездорожью.

– Почему?

– Хотя мы и раздобыли три кошелька, нам по-прежнему не хватает *argentum et aurum*. В Свиднице я найду на это антидотум.[164]

– Я спрашиваю: почему по бездорожью?

– Свидницким трактом ты прибыл в Стшегом. Велика вероятность столкнуться там нос к носу с твоими преследователями.

– Я оторвался от них. Уверен…

– Они тоже рассчитывают на эту уверенность, – прервал демерит. – Из твоего рассказа следует, что тебя преследуют профессионалы. От таких оторваться нелегко. В путь, Рейневан. Хорошо бы еще до ночи оказаться подальше от Стшегома и господина фон Лаасана.

– Согласен. Хорошо бы.

Вечер застал их в лесу. Сумерки настигли около какого-то жилья, дым ползал там по крышам хат и стелился по округе, смешиваясь с туманом, поднимающимся с полей. Сначала они решили было заночевать под расположенным неподалеку от халуп навесом, закопавшись в теплое сено, но их учуяли собаки и так яростно облаяли, что пришлось отказаться от этой затеи. Уже почти вслепую они отыскали на опушке леса полуразвалившийся пастушеский шалаш.

В лесу постоянно что-то шуршало, что-то похрапывало, что-то попискивало и ворчало, во мраке то и дело вспыхивали бледные фонарики глаз. Вероятнее всего, это были куницы или барсуки, но Рейневан для верности бросил в костер остатки собранного на вонвольницком кладбище бореца, добавил набранной под вечер заячьей капусты, не прекращая при этом бормотать себе под нос заклинания. Однако в том, что это были соответствующие моменту заклинания, как и в том, что он их как следует помнил, он полностью уверен не был.

Шарлей с любопытством посматривал на него, потом сказал:

– Продолжай. Рассказывай, Рейнмар.

О своих неприятностях Рейневан уже рассказал Шарлею во время «исповеди» у кармелитов, тогда же в общих чертах изложил свои планы и намерения. Тогда демерит не комментировал. Тем более неожиданной была его реакция теперь, когда зашел разговор о деталях.

– Не хотелось бы, – сказал он, ковыряя веткой в костерке, – чтобы столь приятное начало нашего знакомства подпортила недосказанность и неискренность. Откровенно и без недомолвок скажу тебе, Рейнмар: твой план стоит лишь того, чтобы его сунуть псу под хвост.

– Что?

– Псу под хвост, – повторил Шарлей, играя голосом, как истинный проповедник. – Вот куда годится только что изложенный тобою план. Ты – юноша толковый и образованный, поэтому не можешь этого не видеть. Не можешь также рассчитывать на мое в нем участие.

– Я и каноник Отто Беесс выдернули тебя из-под замка. – Рейневан так и кипел от ярости, однако сдержался. – И вовсе не из особой к тебе любви, а только потому и только для того, чтобы ты – именно! – участие принял. Ты демерит толковый и не мог этого не понять там, в монастыре. И все же только теперь ты заявляешь, что участвовать не станешь. Так и я скажу честно и откровенно: возвращайся в тюрьму к кармелитам.

– Я все еще в тюрьме у кармелитов. Во всяком случае – официально. Но ты, похоже, этого не понимаешь.

– Почему же? Понимаю. – Рейневан вдруг вспомнил беседу с кармелитским шафажем. – Прекрасно также понимаю, что тебе необходимо искупить покаянием свои грехи, потому что после покаяния *nullum crimen* тебе возвращаются милости и привилегии. Но понимаю я и то, что каноник Отто держит тебя в руках. Ибо стоит ему только объявить, что ты сбежал от кармелитов, и ты будешь изгнанником до конца жизни. Не сможешь вернуться к своему ордену и теплому монастырчику. Кстати, что это за орден и что за монастырчик? Можно узнать?

– Нельзя. По сути дела, дорогой Рейнмар, ты верно понял ситуацию. Действительно, от демеритов меня выпустили как бы неофициально, покаяние мое все еще продолжается. Правда и то, что благодаря канонику Беессу оно продолжается не в тюрьме, а на свободе, за что хвала канонику, ибо я свободу люблю. Однако зачем бы благочестивому канонику отбирать у меня то, что он дал? Ведь я делаю то, что он мне велел.

Рейневан раскрыл рот, но Шарлей не дал ему заговорить.

– Твой рассказ о любви и преступлении, хоть и увлекает и вполне достоин пера Кретьена де Труа, меня тем не менее захватить не смог. Ты не убедил меня, парень, в том, что каноник Отто Беесс предназначил мне роль твоего помощника по спасению попавших в затруднительное положение невинных девиц и сообщника в осуществлении кровной мести. Я каноника знаю. Он человек умный. И направил он тебя ко мне, чтобы я тебя спас, а не для того, чтобы оба мы лишились голов под топором палача. Поэтому я исполню то, чего ожидает от меня каноник, спасу тебя от погони. И безопасно выведу в Венгрию.

– Я не уйду из Силезии без Адели. И не отомстив за брата. Я не скрываю, что мне не помешала бы помощь и что я рассчитываю на нее. На тебя. Но если нет – что делать. Управлюсь сам. А ты волен поступать как хочешь. Поезжай в Венгрию, в Русь, в Палестину, куда твоя душа желает. Пользуйся столь любезной тебе свободой.

– Благодарю за совет, – холодно ответил Шарлей. – Но не воспользуюсь.

– Что ж так?

– Один ты, совершенно ясно, не управишься. Лишишься головы. И тогда-то каноник припомнит о моей.

– Ха! Если тебе так уж дорога голова, то пойми: выбора у меня нет.

Шарлей долго молчал. Однако Рейневан уже успел немного узнать его и понимал, что это не конец.

– Во всем, что касается брата, – проговорил наконец недавний узник кармелитов, – я буду действовать решительно. Хотя бы потому, что ты не очень-то представляешь себе, кто мог его убить. Не прерывай! Кровная месть – дело серьезное. А у тебя, как ты сам сказал, нет ни свидетелей, ни доказательств, единственное, что есть, – это домыслы и предположения. Не прерывай, я же просил! Выслушай. Уедем, переждем, соберем факты, доказательства, добудем средства. Создадим группу. Я помогу тебе. Если меня послушаешь, обещаю, ты насладишься местью в полной мере. Трезво.

– Но…

– Я еще не кончил. Но в отношении твоей избранницы, Адели, предложенный тобою план по-прежнему годен лишь псу под хвост. Однако что ж делать, завернув в Зембицы, мы проделаем не очень большой крюк. А в Зембицах многое прояснится.

– Ты на что намекаешь? А? Адель меня любит!

– А кто возражает?

– Шарлей!

– Слушаю.

– Почему каноник и ты так настаиваете на Венгрии?

– Потому что это далеко.

– А почему не Чехия? Тоже ведь далеко. Я Прагу знаю, там у меня много знакомых…

– Ты что, в церковь не ходишь? Проповедей не слушаешь? Теперь Прага да и вся Чехия – котел с кипящей смолой, можно крепко ошпариться. А через некоторое время там скорее всего станет еще веселее. Дерзость гуситов перешла все границы, столь наглой ереси не потерпит ни папа, ни Люксем-буржец, ни саксонский курфюрст, ни ландграфы Майсена и Тюрингии, да что там, вся Европа двинется на Чехию крестовым походом.

– Уже были, – кисло заметил Рейневан, – антигуситские крестовые походы. Ходила уже на Чехию «вся Европа». И здорово получила по шее. О том, как это происходило, мне совсем недавно рассказывал очевидец.

– Достойный доверия?

– Безусловно.

– Ну и что? Получила и сделала выводы. Теперь подготовится лучше. Повторяю: католический мир не потерпит. Это всего лишь вопрос времени.

– Их терпят уже почти семь лет. Потому что вынуждены.

– Альбигойцев терпели сто. И где они теперь? Повторяю: это всего лишь вопрос времени, Рейнмар. Чехи изойдут кровью, как изошел Лангедок катаров. И методом, испытанным в Лангедоке, в Чехии тоже станут истреблять всех подряд, предоставив Богу распознавать неповинных и верных. Поэтому мы едем не в Чехию, а в Венгрию. Там нам могут грозить самое большее – турки. Я предпочитаю турок крестоносцам. Турки, если говорить об «истреблении неверных», не достают крестоносцам даже до пяток.

Лес стоял тихий, ничто в нем не шуршало и не пищало, вся живность либо испугалась заклинаний, либо – что больше походило на правду – просто угомонилась. Рейневан для верности кинул в огонь остатки трав.

– Завтра, – спросил он, – доберемся уже, надеюсь, до Свидницы?

– Несомненно.

* * *

У езды по бездорожью оказались, как выяснилось, свои недостатки. Например, выехав на дорогу, они никак не могли сообразить, откуда и куда она ведет.

Шарлей постоял немного над оттиснувшимися в песке следами, рассмотрел их, ругаясь себе под нос. Рейневан пустил лошадь к придорожной траве, сам посмотрел на солнце.

– Восток, – рискнул он, – там. Значит, нам скорее всего надо туда.

– Не умничай, – обрезал Шарлей. – Я как раз изучаю следы и определяю, куда направлено основное движение. И утверждаю, что нам надо… туда.

Рейневан вздохнул, потому что Шарлей указал в ту же сторону. Он потянул лошадь и двинулся вслед за демеритом, бодро шагавшим в избранном направлении. Спустя некоторое время вышли на распутье. Четыре совершенно одинаково выглядевшие дороги вели на четыре стороны света. Шарлей гневно заворчал и снова наклонился над оттисками подков. Рейневан вздохнул и начал искать глазами травы. Походило на то, что без магического навенза не обойтись.

Кусты зашевелились, лошадь фыркнула, а Рейневан подпрыгнул.

Из зарослей вышел, подтягивая штаны, дед, классический представитель местного фольклора. Один из бродячих попрошаек, сотнями выпрашивавших подаяние у женских монастырей и еду по корчмам и крестьянским дворам.

– Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков, аминь.

Дед, разумеется, выглядел как положено типичному нищему. Его сермяга была испещрена разноцветными латками, лыковые лапти и кривая клюка говорили о том, что их владелец исходил немало дорог. Из-под драной шапки, материал для которой поставляли в основном зайцы и кошки, выглядывали красный нос и всклокоченная борода. В руке дед нес волочащуюся по земле торбу, а на шее – висящую на веревке оловянную кружку.

– Помоги вам святой Вацлав и святой Винцент, святая Петронелла и святая Ядвига, покровительница…

– Куда ведут эти дороги? – прервал литанию Шарлей. – Которая будет в Свидницу, дедушка?

– Э-э-э? – приложил дед ладонь к уху. – Чего говоришь?

– Куда, спрашиваю, дороги ведут?

– А-а-а… Дороги… Ага… Знаю! Вот энта идеть на Ольшаны… А та к Свебодзицам… А вон та… Это… Ну… Подзабыл, как ево…

– Не важно, – махнул рукой Шарлей. – Я уже понял. Если туда на Свебодзицы, то в противоположную сторону – на Становице, что на стшегомском тракте. Значит, к Свиднице через Яворову Гуру ведет как раз эта дорога. Будь здрав, дедок.

– Помоги вам святой Вацлав…

– А если, – на этот раз прервал Рейневан, – если кто-нибудь станет тебя о нас выпытывать… Так ты нас не видел. Понятно?

– А чего ж не понять? Помоги вам святая…

– А чтоб ты хорошо помнил, о чем тебя просили, – Шарлей пошарил в кошеле, – возьми-ка, дедушка, денежку.

– Батюшки-светы! Благодарствую! Помоги вам…

– И тебе тоже.

– Глянь, – Шарлей обернулся, прежде чем они немного отъехали, – посмотри только, Рейнмар, как он радуется, как ощупывает и обнюхивает монету, наслаждается ее толщиной и весом. Право же, такая картина – истинная награда для дающего.

Рейневан не ответил, занятый наблюдением за стаей птиц, неожиданно взлетевших над лесом.

– И верно, – продолжал балаболить Шарлей, с серьезной миной шагая рядом с лошадью, – никогда не надо безразлично и бездушно проходить мимо человеческого горя. Никогда не

следует поворачиваться к бедняку спиной. В основном потому, что бедняк может неожиданно заехать клюкой по затылку. Ты меня слушаешь, Рейнмар?

– Нет. Гляжу на птиц.

– Какие птицы? О, псякрев! В лес! Скорее в лес! Живо!

Шарлей с размаху хлестнул лошадь по крупу, а сам кинулся в лес с такой скоростью, что рванувшаяся в галоп лошадь смогла его догнать только за линией деревьев. В лесу Рейневан соскочил с седла, затянул лошадь в чащу, потом присоединился к демериту, наблюдающему за дорогой из-за деревьев. Некоторое время все было спокойно, птицы замолкли, стало так тихо, что Рейневан уже готов был посмеяться над Шарлеем и его излишними опасениями. Но не успел.

На распутье влетели четыре всадника, под ломот копыт и храп лошадей окружили деда.

– Это не стшегомские, – буркнул Шарлей. – А значит, это… Рейнмар?

– Да, – глухо подтвердил тот. – Это они.

Кирьелейсон, наклонившись в седле, громко спрашивал о чем-то деда. Сторк из Горговиц напирал на него конем. Дед крутил головой, молитвенно сводил руки, несомненно, желая, чтобы конникам помогала святая Петронелла.

– Кунц Аулок, – узнал, удивив Рейневана, Шарлей, – он же Кирьелейсон, разбойник, а ведь надо же – рыцарь из известного рода. Сторк из Горговиц и Сыбек из Кобылейглавы, редкостные мерзавцы. А вон тот, в куньей шапке, – Вальтер де Барби. Преданный епископом анафеме за нападение на фольварк в Очицах, собственность рацибужских доминиканок. Ты не говорил, Рейнмар, что по твоим следам идут аж такие знаменитости.

Дед упал на колени, по-прежнему, сложив руки, умолял, кричал и колотил себя в грудь. Кирьелейсон свесился с седла и хлестнул его по спине плеткой, вслед за ним воспользовались плетками Сторк и остальные, причем возникла толкотня, во время которой все мешали друг другу, а кони начали пугаться и биться боками. Поэтому Сторк и проклятый епископом де Барби соскочили с седел и принялись дубасить вопящего деда кулаками, а когда тот упал, начали бить ногами. Дед кричал и выл так, что аж жалость брала.

Рейневан выругался, ударил кулаком по земле. Шарлей косо взглянул на него.

– Нет, Рейневан, – холодно сказал он. – И не думай. Это не французские куколки из Стшегома. Это четверо тертых-перетертых, вооруженных до зубов бандитов и мясников. Это Кунц Аулок, с которым, пожалуй, я не управился бы даже один на

один. Так что отбрось глупые мысли и надежды. Надо сидеть тихо, как мышь под метлой.

– И смотреть, как мордуют ни в чем не повинного человека.

– Именно, – ответил демерит, не опуская взгляда. – Потому что если уж выбирать, то моя жизнь мне гораздо милее. А я, кроме всего прочего, еще задолжал нескольким людям. Было бы неэтично и глупо рисковать, лишив их шансов вернуть свои деньги. Впрочем, мы напрасно болтаем. Все уже кончилось. Им надоело.

Действительно, де Барби и Сторк угостили деда несколькими прощальными пинками, наплевали на него, запрыгнули на коней, и через минуту разбойничья шайка уже мчалась галопом, погикивая и взбивая пыль, в сторону Яворовой Гуры и Свидницы.

– Не выдал, – вздохнул Рейневан. – Избили его и испинали, а он нас не выдал. Вопреки твоим насмешкам нас спасла поданная бедолаге милостыня. Ибо милосердие и щедрость…

– Если б Кирьелейсон, вместо того чтобы хвататься за плеть, дал ему скойца, дедуня выдал бы нас не задумываясь, – холодно бросил Шарлей. – Едем. К сожалению, снова по дикому бездорожью. Кто-то тут, помнится, совсем недавно хвастался, что оторвался от погони и замел за собой следы.

– А не следует ли, – Рейневан как бы не заметил сарказма и глядел, как дед, ползая на четвереньках, ищет во рву шапку, – а не следует ли отблагодарить? Дать ему еще немножко? У тебя же есть полученные от грабежа деньги, Шарлей. Прояви чуточку милосердия.

– Не могу. – В бутылочных глазах демерита сверкнула издевка. – И как раз из милосердия. Я дал деду фальшивую монету. Если вздумает расплатиться одной, его только вздуют. А если поймают с несколькими – повесят. Так что я милосердно позволю ему избежать такой участи. В лес, Рейнмар, в лес. Не будем терять времени.

Пошел краткий и теплый дождь, а как только он прекратился, лес начал затягивать туман. Птицы молчали. Было тихо, как в церкви.

– Твое гробовое молчание, – проговорил наконец шедший рядом с лошадью Шарлей, – вроде бы о чем-то говорит. Похоже, о недовольстве. Попробую угадать… Дедок?

– Да. Ты поступил скверно. Неэтично, говоря деликатно.

– Ха, человек, привыкший хендожить чужих жен, начинает учить меня морали.

– Не сравнивай, уважаемый, вещи несравнимые.

– Тебе только кажется, что они несравнимые. Кроме того, мой

грязный по твоему мнению поступок был продиктован заботой о тебе.

– Прости, но это трудно понять.

– При случае я тебе объясню. – Шарлей остановился. – Однако сейчас предлагаю сосредоточиться на более важном. Я, например, понятия не имею, где мы находимся. Заблудился в этом треклятом тумане.

Рейневан осмотрелся, взглянул на небо. Действительно, просвечивавший сквозь клочья тумана белый кружок солнца, еще мгновение назад видимый и указывавший направление, теперь исчез совершенно. Плотная мгла висела низко, иногда даже скрывала верхушки самых высоких деревьев. У земли туман местами лежал так, что папоротники и кусты, казалось, выглядывают из молочного океана.

– Вместо того чтобы убиваться над судьбой убогих дедов, – снова заговорил демерит, – и маяться от душевного разлада, ты б лучше использовал свой талант, чтобы отыскать дорогу.

– Не понял?

– Ради бога, не изображай из себя невинное дитятко. Все ты прекрасно понял.

Рейневан тоже считал, что без навензов не обойтись, однако не слез с лошади, медлил. Он был зол на демерита и хотел, чтобы тот это почувствовал. Лошадь фыркала, хрипела, трясла головой, топала передними копытами, отзвук топота глухо разносился по погруженной в туман чащобе.

– Я чувствую запах дыма, – вдруг заметил Шарлей. – Где-то неподалеку жгут костер. Лесорубы или углежоги. У них мы узнаем о дороге. А твои магические навензы оставим до лучших времен. Демонстрацию неудовольствия – тоже.

Он пошел быстрее. Рейневан едва поспевал за ним, лошадь косилась, упиралась, беспокойно храпела, давила копытами сыроежки. Выстланная толстым ковром прелых листьев земля начала вдруг понижаться, и, не заметив как, они оказались в глубоком яру. Склоны яра покрывали наклоненные, искореженные, обросшие лишаями мха деревья, их корни, обнаженные сползающей почвой, казались щупальцами чудовищ. Рейневан почувствовал, как по спине поползли мурашки. Лошадь фыркала.

Из тумана перед ним послышалась ругань Шарлея. Демерит стоял там, где яр разветвлялся на два рукава.

– Туда, – уверенно сказал он.

Яр продолжал разветвляться, они оказались в самом настоящем лабиринте из балок и оврагов. Там, казалось Рейневану, запах дыма шел со всех сторон сразу. Однако Шарлей

шел прямо и уверенно, лихо ускоряя шаг, и даже начал посвистывать. И перестал так же быстро, как начал…

Рейневан понял почему, когда под подковами захрустели кости.

Лошадь дико заржала, Рейневан соскочил, обеими руками повис на узде, и в самое время. Панически храпящая гнедая глянула на него испуганным глазом, попятилась, тяжело колотя копытами, круша черепа, тазовые и бедренные кости. Нога Рейневана увязла между поломанными ребрами человеческой грудной клетки, он стряхнул их, дико махнув ногой. Он дрожал от отвращения. И от ужаса.

– Черная Смерть, – сказал стоящий рядом Шарлей. – Болезнь тысяча трехсот восьмидесятого года. Тогда вымирали целые деревни, люди бежали в леса, но и там их настигал мор. Мертвецов хоронили по ярам, как вот здесь. Потом животные выкопали трупы и растащили кости.

– Вернемся… – закашлялся Рейневан. – Вернемся. Как можно скорее. Не нравится мне это место. Не нравится мне этот туман. Не нравится мне запах этого дыма.

– А ты трусоват, – съехидничал Шарлей, – словно девочка. Мертвяки…

Он не докончил. Послышался свист, визг и хохот, да такой, что они аж присели. Над яром, волоча за собой искры и хвост дыма, пролетел череп. Прежде чем они успели остыть, пролетел другой, свистящий еще страшнее.

– Возвратимся, – глухо сказал Шарлей. – Как можно скорее. Не нравится мне это место.

Рейневан был совершенно уверен, что возвращаются они по собственным следам, той же дорогой, по которой пришли. И однако вскоре путь им преградил отвесный откос балки. Шарлей молча развернулся, направился в другой ров. После нескольких шагов здесь их тоже остановила отвесная, покрытая путаницей корней стена.

– Чтоб их черти взяли, – прошипел Шарлей, поворачиваясь. – Не понимаю…

– А я, – простонал Рейневан, – боюсь, что да…

– Нет выхода, – буркнул демерит, когда они в очередной раз уткнулись в тупичок. – Надо вернуться и пройти через кладбище. Быстрее, Рейнмар. Раз, два…

– Погоди. – Рейневан наклонился, осмотрелся, пытаясь найти нужную траву. – Есть другой способ.

– Теперь? – резко прервал Шарлей. – Только теперь? Теперь-то на это нет времени!

Над лесом со свистом пролетела очередная черепная комета,

и Рейневан тут же согласился с демеритом. Они пошли по навалу костей. Лошадь храпела, трясла мордой, пугалась. Рейневан с величайшим трудом тащил ее за поводья. Запах дыма крепчал. В нем уже можно было различить ароматы трав. И чего-то еще. Неуловимого, тошнотворного. Пугающего.

А потом они увидели костер.

Костер дымил неподалеку от вывернутого с корнями дерева. На огне стоял, испуская клубы пара, покрытый сажей котелок. Рядом вздымалась куча черепов. На черепах лежал черный кот. В типично кошачьей разморенной позе.

Рейневан и Шарлей остановились как вкопанные. Даже лошадь перестала храпеть.

У костра сидели три женщины. Двух заслонял дым и пыхающий из котелка пар. Третья, сидящая справа, казалась довольно пожилой. Ее темные волосы действительно густо припорошила седина, но выдубленное солнцем и непогодой лицо было обманчиво – женщине можно было дать и четыре, и восемь десятков лет. Она сидела в небрежной позе, покачиваясь и неестественно крутя головой.

– Приветствую, – проскрипела она, потом громко и протяжно рыгнула. – Привет, тан Глэмз.[165]

– Перестань болтать, Ягна, – сказала вторая женщина, сидевшая в середине. – Опять, холера, набралась.

Порыв ветра немного прибил дым и пар, теперь можно было рассмотреть получше.

Женщина, сидевшая посередине, была высокой и довольно крепко сложенной, из-под черной шляпы на плечи падали огненно-рыжие волнистые волосы. У нее были выступающие, очень румяные скулы, красивые губы и очень светлые глаза. Шею прикрывал шарф из грязно-зеленой шерсти. Из такого же материала были вывязаны чулки – женщина сидела, довольно свободно расставив ноги и не менее свободно поддернув юбку, что позволяло любоваться не только чулками и икрами ног, но и многим достойным удивления остальным.

Сидящая справа от нее третья была самой младшей, почти девчонкой. У нее были блестящие в синих кругах глаза и худощавое лисье лицо с бледной и не очень здоровой кожей. Светлые волосы украшал венок из вербены и клевера.

– Извольте, – сказала рыжая, почесывая бедро повыше зеленого чулка. – Нечего было в горшок кинуть, и вот, пожалте, ёдово само заявилось.

Названная Ягной темноволосая рыгнула, черный кот мяукнул, холерические глаза подростка в венке зажглись злым огнем.

– Прощения просим за вторжение, – поклонился Шарлей. Он был бледен, но держался неплохо. – Просим прощения у уважаемых и весьма любезных дам. И просим не беспокоиться. Никаких церемоний. Мы здесь случайно. Совершенно неумышленно. И уже уходим. Нас уже нет. Если милые дамы позволят…

Рыжеволосая подняла из кучи череп, высоко подняла его, громко проговорила заклинание. Рейневану показалось, что он распознал в нем халдейские и арамейские слова. Череп защелкал челюстями, взлетел в воздух и со свистом помчался по-над вершинами сосен.

– Едово, – безо всяких эмоций повторила рыжая. – К тому же говорящее… Будет оказия поболтать за трапезой.

Шарлей еле слышно выругался. Женщина плотоядно облизнулась и впилась в Рейневана и Шарлея глазами. Дольше тянуть было невозможно. Рейневан набрал побольше воздуха в легкие.

Коснулся рукой темени. Правую ногу согнул в колене, поднял, переплел сзади с левой, левой рукой ухватил носок башмака, и хотя раньше он делал так всего лишь дважды, все прошло на удивление ловко. Достаточно было на минуту сосредоточиться и пробормотать заклинание.

Шарлей выругался опять. Ягна рыгнула. Глаза рыжеволосой расширились.

А Рейневан, не меняя позы, немножко приподнялся над землей. Невысоко, самое большое на три-четыре пяди. И ненадолго. Но и этого было достаточно.

Рыжеволосая подняла глиняный кувшинчик, солидно отхлебнула из него раз, потом другой. Девочку не угостила. Ягна жадно протянула руку, но рыжеволосая сразу же убрала кувшин из поля досягаемости когтистых пальцев. При этом она не спускала с Рейневана светлых глаз с двумя черными точечками зрачков.

– Ну, ну. Кто бы мог подумать! Магики, самые настоящие магики. Первый разряд. Толедо. Здесь. У меня. У простой ведьмы. Какая честь. Подойдите, подойдите поближе. Не бойтесь. Надеюсь, вы не восприняли всерьез шутку о ёдове и каннибализме. Э? Надеюсь, не приняли это за чистую монету?

– Нет-нет, что вы, как можно, – поспешно заверил Шарлей, так спешно, что было ясно – лжет. Рыжеволосая фыркнула.

– Так чего же, – спросила она, – ищут в моем бедном закутке господа чародеи? Чего желают? А может…

Она замолчала и рассмеялась.

– А может, господа чародеи просто-напросто заблудились?

Спутали дорогу? Пренебрегли магией из-за чисто мужского высокомерия? И теперь то же самое высокомерие не позволяет господам чародеям признаться. Тем более – перед женщинами?

Шарлей быстро взял себя в руки.

– Ваша проницательность, – он учтиво поклонился, – под стать вашей красоте.

– Нет, гляньте только, сестренки, – сверкнула глазами ведьма. – Какой светский попался кавалер, какими милыми изволит потчевать комплиментами. Умеет сделать приятное женщине. Ну, прямо-таки трубадур. Или епископ. Искренне жаль, что так редко… Ибо женщины и девушки, надо сказать, довольно часто рискуют углубиться в глухомань и урочище, моя репутация известна далеко за пределами этого яра, мало кто умеет удалить плод так ловко, безопасно и безболезненно, как я. Но мужчины… Ну, эти заходят сюда значительно реже… Значительно реже… А жаль, жаль…

Ягна гортанно засмеялась, девчонка шмыгнула носом. Шарлей покраснел, но, вероятно, больше от веселья, чем от смущения. Тем временем Рейневан тоже пришел в себя. Сумел вынюхать что надо во вздымающемся из булькающего котелка паре и рассмотреть пучки трав. Высушенных и свежих.

– Красота и проницательность дам, – выпрямился он немного чванливо, но сознавая, что сейчас блеснет, – под стать лишь их скромности. Ибо я уверен, что сюда наведываются многочисленные посетители и не только жаждущие медицинской помощи. Я вижу ясенец, а вон там не что иное, как «колючий хлебец», то есть дурман, датура. А вот это тошнотка, там божебыт, вещие травы. А здесь, извольте, черная белена, *herba Apollinari,* и морозник, он же черемица, *Helleborus,* обо вызывающие вещие видения. А на ворожбу и пророчество есть спрос, если не ошибаюсь?

Ягна рыгнула. Девчонка сверлила его взглядом. Рыжеволосая загадочно улыбалась.

– Не ошибаешься, коллега, искусный в травах, – сказала она наконец. – На ворожбу и пророчества спрос велик. Грядет время перемен и изменений. Многие хотят знать, что оно им принесет. И вы тоже хотите узнать, что сулит вам судьба. Я не ошибаюсь?

Рыжеволосая бросала и перемешивала в котелке травы. Прорицать же предстояло девчонке с лисьей физиономией и лихорадочно горящими глазами. Через несколько минут после того, как она выпила отвар, глаза помутнели, сухая кожа на щеках натянулась, нижняя губа отвисла, приоткрыв зубы.

– *Columna veil aureu,* – проговорила она вдруг вполне четко. – Колонная златой пелены. Рожденная в Дженаццано окончит

жизнь в Риме. Через шесть лет. Освободившееся место займет волчица. В воскресенье Окули.[166] Через шесть лет.

Тишина, нарушаемая только потрескиванием костра и мурлыканьем кота, тянулась так долго, что Рейневан усомнился. Напрасно.

– Не пройдет и двух дней, – сказала девочка, протянув к нему дрожащую руку, – не пройдет двух дней, он станет известным поэтом. У всех в почете будет имя его.

Шарлей слегка вздрогнул от сдерживаемого смеха, но тут же успокоился под резким взглядом рыжеволосой.

– Придет странник. – Вещунья несколько раз громко вздохнула. – Придет *Viator,* Странник с солнечной стороны. Будет замена. Кто-то от нас уходит, к нам приходит Странник. Странник говорит: *ego sum qui sum.*[167] Не спрашивай Странника об имени, оно – тайна.[168] Ибо: что сие есть, кто сие угадает: из ядущего вышло ядомое, и из сильного – сладкое?[169]

«Мертвый лев, пчелы и мед, – подумал Рейневан, – загадка, которую Самсон задал филистимлянам. Самсон и мед… Что это означает? Что символизирует? Кто таков этот Странник?»

– Брат твой зовет, – наэлектризовал его тихий голос медиума. – Твой брат призывает: иди и прииди. Иди, прыгая по горам. Не медли.

Рейневан обратился вслух.

– Исайя говорит: и будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу.[170] Амулет… И крыса… Амулет и крыса. Ин и янь… Кетер и Малькут. Солнце, змея и рыба. Раскроются, разомкнутся врата Ада, и тотчас рухнет башня, развалится *turns fulgurata,* башня, пораженная молнией. В прах рассыплется Башня шутов, шута под руинами погребет.

«Башня шутов, – мысленно повторил Рейневан, – *Narrenturm!* О Господи!»

– *Adsumus, adsumus, adsumus!* – неожиданно вскрикнула девочка, сильно напрягшись. – Мы здесь! Стрела, летящая днем, *sagitta volant in die,* стерегись ее, стерегись! Стерегись страха ночного, стерегись существа, идущего во мраке, стерегись демона, уничтожающего в полдень! И кричащего *Adsumus!* Стерегись Стенолаза! Бойся ночных птиц, бойся нетопырей безмолвных!

Воспользовавшись тем, что рыжая отвлеклась, Ягна быстро схватила кувшинчик, сделала несколько глубоких глотков, закашлялась, икнула.

– Стерегись также, – проскрипела она, – леса Бирнамского.[171]

Рыжеволосая утихомирила ее тумаком.

– А люди, – душераздирающе вздохнула вещунья, – полыхать будут, сгорая на бегу. По ошибке. Из-за похожести.

Рейневан наклонился к ней.

– Кто убил… – спросил он тихо. – Кто виновен в смерти моего брата?

Рыжеволосая предупреждающе гневно зашипела, погрозила ему веселкой. Рейневан понимал, что делает недопустимое и рискует необратимо прервать вещуньин транс. Но вопрос повторил. А ответ получил немедленно.

– Виновен отъявленный лгун. – Голос девочки изменился, стал ниже и хрипливее. – Лжец либо тот, кто скажет правду. Правду скажет. Солжет либо правду скажет. В зависимости от того, что об этом думает. Обожженный, обгоревший, сожженный. Не сожженный, ибо умерший. Умерший, похороненный. Потом выкопанный. Прежде чем минуют три года. Из могилы выкинутый. *Buried ad Lutterworth, remains taken ap and cast out.*[172] Плывет, плывет по реке пепел сожженных костей… По Авону до Северна, из Северна в моря, а из морей в океаны… Бегите, бегите, опасайтесь. Нас осталось уже так мало.

– Лошадь, – вдруг нагло вклинился Шарлей. – Чтобы бежать, мне нужна лошадь. Я хотел бы…

Рейневан остановил его жестом. Девочка смотрела невидящими глазами. Он решил, что она не ответит. Он ошибся.

– Гнедая, – проговорила она. – Лошадь будет гнедая.

– А я еще хотел бы… – попытался Рейневан, но осекся, увидев, что уже все кончилось. Глаза девочки закрылись, голова бессильно упала на грудь. Рыжеволосая поддержала ее, мягко уложила.

– Я вас не задерживаю, – помолчав, сказала она. – Поедете по яру, сворачивая только влево, все время влево. Будет буковый лес, потом поляна, на ней каменный крест. Напротив креста – просека. Она выведет вас на свидницкий тракт.

– Благодарю, сестра.

– Берегите себя. Нас осталось уже так мало.

Глава одиннадцатая,

в которой непонятные предсказания начинают непонятным образом сбываться, а Шарлей встречает знакомую. И проявляет новые, ранее не проявленные, таланты

За буковиной, на пересечении двух просек, стоял в высокой траве каменный крест, одно из многочисленных в Силезии напоминаний о совершенном преступлении. Преступления, судя по следам эрозии и вандализма, очень давнего, возможно, даже более давнего, чем поселение, о котором напоминали теперь только заросшие сорняками холмики и ямы.

– Сильно запоздавшее покаяние, – проговорил из-за спины Рейневана Шарлей, – растянувшееся прямо-таки на поколения. Наследственное, сказал бы я. Чтобы высечь такой крест, надобно немалое время, так что ставит его чаще всего уже сын, пытаясь догадаться, кого же папаша-покойничек прикончил и что подвигло его под старость на покаяние. Правда, Рейнмар? Как думаешь?

– Я не думаю.

– Ты все еще дуешься на меня?

– Нет.

– Ха. Ну, тогда поехали дальше. Наши знакомки не соврали. Просека напротив креста, которая наверняка помнит Болека Храброго, безошибочно выведет нас на свидницкий тракт.

Рейневан подогнал лошадь. Он продолжал молчать, но Шарлею это не мешало.

– Признаюсь, ты, Рейнмар из Белявы, поразил меня. Там, у ведьм. Бросить в костер горсть трав, бормотать заговоры и заклинания, даже ухитриться завязать себя узлом может, будем откровенны, любой знахарь или баба-колдунья. Но вот твоя левитация, ну-ну, это уж не фунт изюму. Где же ты, признайся, в Праге-то учился: в Карловом университете или у чешских чародеек?

– Одно, – Рейневан улыбнулся, – другому не мешало.

– Понимаю. Там во время лекций все ливитировали?

Не дождавшись ответа, демерит поелозил на лошадином крупе.

– Однако меня немало удивляет, – продолжал он, – что ты удираешь, прячась от погони по лесам в манере, более свойственной зайцу, нежели магику. Магики, даже если им приходится бежать, делают это гораздо эффектнее. Медея,

например, сбежала из Коринфа на колеснице, запряженной драконами. Атлант летал на гиппогрифе, Моргана обманывала преследователей миражами. Вивиана… Не помню, что делала Вивиана.

Рейневан смолчал. Впрочем, он тоже не помнил.

– Отвечать не обязательно, – продолжал Шарлей еще насмешливей. – Я понимаю. У тебя слишком мало знаний, да и опыт невелик, ты всего лишь адепт тайных наук, начинающий ученик чернокнижника. Неоперенный птенчик магии, из которого, однако, когда-нибудь вырастет орел, Мерлин, Альберих или Маладжиджи. И тогда…

Он осекся, увидев на дороге то же, что и Рейневан.

– Наши знакомые ведьмы, – шепнул он, – действительно не солгали. Не шевелись.

На просеке, наклонив голову и пощипывая траву, стоял жеребец. Стройный верховой, легкий *palefrois*[173] с тонкими бабками. Гнедой масти, с более темными гривой и хвостом.

– Не двигайся, – повторил Шарлей, осторожно сползая с крупа лошади. – Такая оказия может больше не повториться.

– Это, – с нажимом сказал Рейневан, – чья-то собственность. Он кому-то принадлежит.

– Конечно. Мне. Если ты не спугнешь. А посему – не пугай.

Видя медленно приближающегося демерита, жеребец высоко поднял голову, тряхнул гривой, протяжно фыркнул. Однако не испугался, позволил схватить себя за узду. Шарлей погладил его ноздри.

– Это чужая собственность, – повторил Рейневан. – Чужая, Шарлей. Надо будет отдать хозяину.

– Э-эй, люди, люди… – тихонько затянул Шарлей. – Чья скотина? Где хозяин? Видишь, Рейнмар? Никто не объявился. Стало быть, *res nullius cedit occupanti.*[174]

– Шарлей…

– Ладно, ладно, успокойся, не терзай свою деликатную совесть… Отдадим коня законному владельцу. При условии, что его встретим. От чего, умоляю, пусть уберегут нас боги.

Просьба явно не дошла до адресатов либо не была выслушана, поскольку просека неожиданно закишела людьми, задыхающимися и указывающими на коня пальцами…

– Это у вас сбежал гнедыш? – доброжелательно улыбнулся Шарлей. – Его ищете? Значит, вам повезло. Он рвался на север, что было сил в копытах. Я едва сумел задержать.

Один из людей, огромный бородач, подозрительно пригляделся к демериту.

Судя по неопрятной одежде и отталкивающей внешности, он,

как и остальные, был крестьянином. И, как и остальные, был вооружен толстой дубиной…

– Задержали, значицца, – проговорил он, вырывая из рук Шарлея узду, – ну и хвала вам. А таперича топайте отседова с Господом Богом.

Остальные подошли, окружив их плотным кольцом и удушающе невыносимым смрадом крестьянского хозяйства. Впрочем, это были не просто крестьяне, а деревенская голытьба, безземельщики, овчары. Спорить с такими о находке не имело смысла. Шарлей понял это сразу. Он молча протиснулся сквозь толпу. Рейневан последовал за ним.

– Эй-эй! – Плотно сбитый и жутко воняющий овчар неожиданно схватил демерита за рукав. – Кум Гамрат. Чего ж это? Так их пущаете? Не выспросив, кто такие? А случай, они не в розыске? Те, двое, которых стшегомские хозяева ищут? И награду за поимку обещают? Не они ль?

Крестьяне зашумели. Кум Гамрат подошел, подперся осиновой жердью, угрюмый, как утро в День Поминовения Усопших.

– Может, и они, – проворчал он враждебно. – А может, и не они.

– Не они, не они, – заверил их, усмехнувшись, Шарлей. – Не знаете, что ли? Тех уж поймали. И награду выплатили.

– Ой, видится мне, брешешь ты, господин.

– Отпусти рукав, парень.

– А не отпущу, то что?

Демерит несколько мгновений глядел ему в глаза. Потом резким рывком выбил его из равновесия, с полуоборота пнул в голень, под самое колено. Овчар хлопнулся на колени, а Шарлей коротким ударом сверху переломил ему нос. Мужик схватился за лицо, из-под пальцев обильно полилась кровь, яркой полосой украшая сермягу на груди.

Прежде чем крестьяне успели остыть, Шарлей вырвал у кума Гамрата палку и хватанул его по виску. Кум Гамрат сверкнул белками глаз и повалился на руки мужика, стоявшего позади него, а демерит треснул и того. И тут же закружился волчком, колотя палкой налево и направо.

– Беги, Рейневан! – рявкнул он. – Хватай ноги в руки!

Рейневан хлестнул лошадь, растолкал толпу, но убежать не успел. Крестьяне налетели словно свора гончих с обеих сторон, вцепились в упряжь. Рейневан работал кулаками как сумасшедший, но его стащили с седла. Он колошматил что есть сил и лягался, как мул, но и на него сыпались удары. Он слышал яростный рев Шарлея и сухой гул черепов, по которым тот

дубасил осиновой жердью. Его повалили, придавили. Положение было отчаянное. То, с чем он пытался бороться, уже было не бандой крестьян, а ужасным многоголосым чудовищем, склизким от грязи, воняющей навозом, калом, мочой и скисшим молоком стоногой гидрой, размахивающей двумя сотнями кулаков.

Сквозь рев драки и шум крови в ушах Рейневан вдруг услышал боевые крики, топот и ржание лошадей. Земля задрожала от ударов подков. Засвистели нагайки, раздались крики боли, а давящее его многорукое чудовище развалилось на составные части. Агрессивные только что крестьяне теперь на собственной шкуре познали, что такое агрессивность. Летающие по просеке наездники разгоняли их лошадьми и беспощадно лупцевали плетками, секли так, что из кожухов аж летели клочья. Кто сумел, убегал в лес, но ускользнуть совсем не удалось никому.

Спустя минуту все понемногу улеглось. Наездники успокаивали храпящих лошадей, кружили по «полю брани», высматривая, кому бы приложить еще. Это была достаточно живописная компания, общество, с которым следовало считаться и нельзя шутить, что было видно с первого взгляда как по одежде и сбруе, так и по физиономиям, отнести которые к разряду бандитских было нетрудно даже не очень опытному физиономисту.

Рейневан встал. И оказался перед самым носом серой в яблоках кобылы, на которой, оберегаемая двумя конниками, сидела полная и симпатично пухленькая женщина в мужском вамсе и берете на светло-палевых волосах. Из-под украшающего берет пучка перьев золотистой щурки смотрели жесткие, колкие и умные ореховые глаза.

Шарлей, который, похоже, отделался легкими ушибами, остановился рядом с ней, отбросил обломок осиновой жерди.

– Великий дух! Глазам своим не верю. И все-таки это не мираж, не иллюзия. Ее милость Дзержка Збылютова собственной персоной. Верно говорит пословица: гора с горой…

Серая в яблоках кобыла тряхнула мордой так, что зазвенели кольца мундштука, женщина похлопала ее по шее, молчала, изучая демерита колким взглядом ореховых глаз.

– А ты похудел, – сказала она наконец. – Да и волосы чуточку поседели, Шарлей. Ну, здравствуй. А теперь – убираемся отсюда.

– А ты похудел, Шарлей.

Они сидели за столом в просторном побеленном аркере на тылах постоялого двора. Одно окно выходило в сад на кривые груши, кусты черной смородины и звенящие пчелами ульи. Из

другого окна была видна загородь, в которой спутывали и готовили в табун лошадей. Среди доброй сотни животных преобладали массивные силезские *dextrerii* – верховые лошади для тяжеловооруженных рыцарей, были также кастильские верховые, жеребцы испанской крови, были великолепные шахтные лошади, были мерины и подъездки.[175] В топоте копыт и ржании можно было то и дело услышать окрики и ругань машталеров[176] и членов эскорта с мерзкими рожами.

– Похудел, – повторила женщина с ореховыми глазами. – Да и голову вроде бы снежком присыпало.

– Что делать, – улыбнулся в ответ Шарлей. – *Tacitisque senescimus annis.*[177] Хоть тебе, ваша милость Дзержка Збылютова, годы, похоже, только добавляют красоты и привлекательности.

– Не льсти. И не «вашей милости», потому что я сразу же начинаю чувствовать себя старухой. Да я уже и не Збылютова. Когда Збылют преставился, я восстановила себе девичье имя – Дзержка де Вирсинг.

– Верно, верно, – покачал головой Шарлей. – Значит, распрощался с этим светом Збылют из Шарады, упокой, Господи, душу его. Сколь уж лет, Дзержка?

– На Избиение Младенцев два года будет.

– Верно, верно. А я все то время…

– Знаю, – обрезала она, окинув Рейневана проницательным взглядом. – Ты все еще не представил мне своего спутника.

– Я… – Рейневан мгновение колебался, решив наконец, что перед Дзержкой де Вирсинг «Ланселот с Телеги» может прозвучать и бестактно, и рискованно. – Я – Рейнмар из Белявы.

Женщина некоторое время молчала, сверля его взглядом.

– Действительно, – процедила наконец, – гора с горой… Откушаете бермушки,[178] парни? Здесь подают отличную бермушку. Всякий раз, когда я здесь останавливаюсь, ем. Отведаете?

– Ну разумеется, – загорелись глаза у Шарлея. – Конечно же. Благодарю, Дзержка.

Дзержка де Вирсинг хлопнула в ладоши. Тотчас явились и забегали слуги. Здесь наверняка знали и уважали торговку лошадьми.

«Действительно, – подумал Рейневан, – она не раз должна была тут останавливаться с перегоняемым на продажу табуном, не один фролен оставила на этом постоялом дворе неподалеку от свидницкого тракта, у деревни, название которой я забыл». И не успел вспомнить, потому что подали еду. Спустя минуту они с Шарлеем поедали блюдо, вылавливая комочки сыра, работая липовыми ложками быстро, но в таком ритме, чтобы не

сталкиваться в миске. Дзержка тактично молчала, присматривалась к ним, поглаживая вспотевшую от холодного пива кружку.

Рейневан глубоко вздохнул. Он ни разу не ел горячего после того, как пообедал у каноника Оттона в Стшельне. Шарлей же поглядывал на пиво Дзержки так многозначительно, что и им тут же принесли исходящие пеной кружки.

– Куда Бог ведет, Шарлей? – наконец заговорила женщина. – И почему ты ввязываешься по лесам в драку с мужиками?

– Идем в Бард, – беспечно солгал демерит. – К Бардской Божьей Матери, помолиться за исправление мира сего. А напали на нас неизвестно почему. Воистину мир полон беспорядков, а по трактам и лесам гораздо проще встретить мерзавца, чем аббатису. Голытьба напала на нас, повторяю, без всякого повода, руководимая грешной жаждой творить зло. Но мы прощаем наших обидчиков…

– Крестьян, – Дзержка прервала его словоизлияние, – я наняла, чтобы они помогли мне найти сбежавшего жеребца. А то, что это конченые хамы, не отрицаю. Но потом они что-то болтали о преследуемых, о назначенном вознаграждении…

– Выдумка праздных и досужих умов, – вздохнул демерит. – Кто ж их поймет…

– Ты сидел под замком на монастырском покаянии. Правда?

– Правда.

– И что?

– И ничего. – На лице Шарлея не дрогнул ни один мускул. – Скукотища. Один день похож на другой. И так по кругу. Матутинум, лаудесы, прима, терция, потом на Барнабу, секста, нона, потом на Барнабу, вечерня, комплета, на Барнабу…[179]

– Перестань наконец вилять, – снова прервала его Дзержка, – ты прекрасно знаешь, о чем я. Так что говори: смылся? Тебя преследуют? Назначили награду за поимку?

– Боже упаси! – Шарлей изобразил из себя оскорбленную невинность. – Меня освободили. Никто за мной не гонится, никто не преследует. Я – свободный человек.

– Господи, ну как же я могла забыть, – язвительно бросила она. – Ну ладно, пусть будет так. Верю. А коли верю… То вывод напрашивается простой.

Шарлей поднял брови над облизываемой ложкой, выражая тем любопытство. Рейневан беспокойно повертелся на скамье. Как оказалось, не напрасно.

– Вывод напрашивается простой, – повторила, рассматривая его, Дзержка де Вирсинг. – Стало быть, объектом охоты и погони является его милость юный господин Рейнмар из Белявы. А

догадалась я не сразу, парень, потому что в таких аферах редко проигрываешь, если ставишь на Шарлея. Ну да вы два сапога пара, лучше не придумаешь…

Она резко оборвала, подбежала к окну, крикнула:

– Эй, ты! Да, да, ты! Говнюк! Недотепа золотушный, кутас кривой! Если еще раз ударишь коня, велю тебя им по торговой площади волочить!.. Простите! – Она вернулась к столу, сплела руки под колышущимся бюстом. – За всем приходится смотреть самой. Стоит глаза отвести и уже видишь – безобразничают, бездельники. Так о чем это я? Ах да. Что вы один другого стоите, фигляры.

– Значит, знаешь.

– А как же. Ходят слухи в народе. Кирьелейсон и Вальтер де Барби носятся по трактам, Вольфгер Стерча разъезжает сам-шесть по Силезии, вынюхивает, выслеживает, выспрашивает, угрожает… Однако ты напрасно морщишься, Шарлей, да и ты зря беспокоишься, парень. При мне вы в безопасности. Мне дела нет до любовных авантюр и кровной мести, мне Стерчи не братья, не сваты. В отличие от тебя, Рейнмар Беляу. Ибо ты мне, хоть тебя это, возможно, удивит, родственник. Прикрой рот. Я ведь *de domo* Вирсинг, из рейхвальдских Вирсингов. А Вирсинги из Рейхвальда через Зейдлицев породнились с Ностицами. А твоя бабка была Ностицувной.

– А ведь верно, – поборол изумление Рейневан. – А вы, госпожа, так хорошо разбираетесь в родословных?

– Кое-что знаю, – отрезала женщина. – Брата твоего, Петра, знала хорошо. Он дружил со Збылютом, мужем моим. Гостил у нас, в Скале, не один раз. Привык ездить на лошадях из скалецких табунов.

– Вы обо всем говорите в прошедшем времени, – насупился Рейневан. – Значит, уже знаете…

– Знаю.

Наступило продолжительное молчание.

– Искренне тебе сочувствую, – прервала его Дзержка, а ее серьезное лицо подтвердило искренность слов. – То, что случилось под Бальбиновом, трагедия и для меня. Я знала и любила твоего брата. Всегда ценила его за рассудительность, за трезвый взгляд, за то, что он никогда не изображал из себя надутого господинчика. Да что тут говорить, именно по примеру Петерлина мой Збылют поднабрался ума-разума. Нос, который привык было задирать по-великогосподски, опустил к земле, увидел, на чем ногами стоит. И занялся лошадьми.

– Так все было?

– А как же. До того Збылют из Шарады был хозяином,

благородным, якобы известной в Малопольше фамилией, самим Мельштынским вроде бы пятая вода на киселе. Рыцарь с собственным гербом из тех, что, знаешь, на груди Лелива,[180] а под Леливой драные штаны. А тут Петр Беляу, точно такой же *«milles mediocris»,*[181] гордый, но бедный, берется за дело, строит красильню и валяльню, привозит мастеров из Гента и Ипра, наплевав на мнение других рыцарей, и зарабатывает деньги. И что? Вскоре становится настоящим хозяином, влиятельным и богатым, а брезгавшие им «гербоносцы» сгибаются в поклонах и пускают слюни в улыбках, лишь бы только он соизволил одолжить им наличные…

– Петерлин, – глаза Рейневана блеснули, – Петерлин одалживал деньги?

– Понимаю, о чем ты, – быстро глянула на него Дзержка. – Но это вряд ли. Твой брат одалживал только хорошо знакомым и верным людям. За ростовщичество можно навлечь на себя недовольство Церкви. Петерлин брал малые проценты, даже меньше половины того, что берут евреи, но от доносов не так-то легко защититься. Ха, факт, немало есть людей, готовых укокошить займодавцев, не имея возможности или не желая выплачивать долги. Но люди, которым одалживал твой брат, такими скорее всего не были. Так что ты не там копаешь, родственник.

– Разумеется, – стиснул зубы Рейневан. – Зачем плодить подозрения. Я знаю, кто и почему убил Петерлина. В этом я не сомневаюсь.

– Значит, ты – в меньшинстве, – холодно проговорила женщина. – Потому что у большинства сомнения есть.

Наступившую было тишину снова прервала Дзержка де Вирсинг.

– Ходят слухи в народе, – повторила она. – Но безрассудно, да нет, просто глупо было бы, наверно, сразу хвататься за меч и кровную месть. Я говорю это на тот случай, если вы случайно вовсе не к Бардской Божьей Матери направляетесь, а совсем другие у вас планы и намерения.

Рейневан сделал вид, будто сильно заинтересовался потеком на бревенчатом потолке. У Шарлея была мина невинного младенца.

Дзержка не спускала с обоих ореховых глаз.

– Что же до смерти Петерлина, – снова заговорила она, понижая голос, – то сомнения есть. И серьезные. Потому что, понимаете ли, странная зараза распространяется по Силезии. Странный мор напал на предпринимателей и купцов, да и рыцарских голов не щадит. Люди умирают загадочной смертью…

– Господин Барт, – буркнул себе под нос Рейневан. – Господин Барт из Карчина.

– Господин фон Барт, – услышала она и кивнула. – А перед тем господин Чамбор из Хайссештайна. А до того два оружейника из Отмухова, забыла имена. Томас Гернероде, глава цеха шорников из Нисы. Господин Фабиан Пфефферкорн из немодлинского товарищества по торговле свинцом. А недавно, едва неделя тому, Миколай Ноймаркт, свидницкий суконный *mercator*. Самый настоящий мор…

– Дайте-ка угадать, – проговорил Шарлей. – Никто из названных не умер от оспы. И от старости.

– Угадал.

– Продолжу угадывать: не случайно тебя сопровождает более многочисленный, чем обычно, эскорт. Не случайно он состоит из вооруженных до зубов бандитов. Так куда, говоришь, ты едешь?

– Я не говорила, – обрезала она. – А проблемы этой коснулась только для того, чтобы вы поняли, насколько она серьезна. Чтобы поняли: то, что творится в Силезии, при всем желании нельзя приписать Стерчам. Или обвинить в этом Кунца Аулока. Потому что все началось еще задолго до того, как юного господина де Беляу прихватили на пуховиках госпожи Стерчевой. Надо, чтобы вы об этом помнили. Больше мне добавить нечего.

– Ты сказала достаточно много, – Шарлей не опустил глаз, – чтобы не продолжать. Так кто убивает силезских купцов?

– Если б мы знали, – глаза Дзержки де Вирсинг грозно сверкнули, – то уже не убивали бы. Не волнуйтесь, узнаем. А вы держитесь от этого подальше.

– Говорит ли вам о чем-нибудь, – вставил Рейневан, – имя Горн? Урбан Горн?

– Нет, – ответила она, а Рейневан сразу же понял, что это неправда.

Шарлей взглянул на него, и в его глазах Рейневан прочел: «Больше вопросов не задавай».

– Держитесь подальше, – повторила Дзержка. – Это дело опасное. А у вас, если верить слухам, хватает и своих забот. Людишки болтают, что Стерчи крепко обозлились. Что Кирьелейсон и Сторк рыщут словно волки, что уже напали на след. И наконец, что господин Гунцелин фон Лаасан назначил награду за каких-то двух шельмецов…

– Сплетни, – прервал Шарлей. – Слухи.

– Возможно. Тем не менее подобные слухи уже не одного довели до шубеницы. Так что я посоветовала бы держаться подальше от главных дорог. А вместо Барда, в который вы вроде бы направляетесь, я порекомендовала бы какой-нибудь другой,

более далекий город. К примеру, Пожонь. Или Остжигом. Наконец, Буду.

Шарлей почтительно поклонился.

– Ценный совет. И за него благодарю. Но Венгрия далеко. А я – пеший… Без лошади.

– Не канючь, Шарлей. Тебе это не к лицу… А, зараза!

Она снова вскочила, подбежала к окну и снова покрыла ругательствами кого-то, небрежно обошедшегося с лошадью.

– Выйдем, – сказала она, оправляя волосы и покачивая бюстом. – Сама не присмотришь, эти сукины сыны испоганят мне жеребцов.

– Ладный коняга, – сказал Шарлей, когда они вышли. – Даже для скалецкого табуна. Немалой деньгой попахивает. Если продашь.

– Не бойся. – Дзержка де Вирсинг с удовольствием посмотрела на своих лошадок. – Есть спрос на кастильцев, идут и подъездки. Когда речь заходит о лошадях, господа рыцари не скаредничают. Знаете, как бывает: в походе каждый хочет и собственным конем блеснуть, и свитой.

– В каком походе?

Дзержка откашлялась, оглянулась. Потом скривила губы.

– Мир этот исправлять.

– Ага, – догадался Шарлей. – Чехия.

– Об этом, – торговка лошадьми скривилась еще больше, – лучше не говорить вслух. Вроцлавский епископ вроде бы всерьез на здешних еретиков взъелся. По дороге, сколько городов ни прошла, перед каждым стоят прогибающиеся под тяжестью висельников шубеницы, везде пепелища от костров.

– Но мы же не еретики. Так чего бояться?

– Там, где кастрируют жеребцов, – сказала Дзержка со знанием дела, – неплохо поберечь и собственные яйца.

Шарлей не прокомментировал. Он был занят наблюдением за несколькими вооруженными людьми, которые выводили из сарая телегу, накрытую черным просмоленным полотном. В телегу впрягли пару лошадей. Потом подгоняемые толстым сержантом вооруженные внесли и погрузили под полотно солидный, запирающийся на замок сундук. Наконец из корчмы вышел высокий мужчина в бобровом колпаке и плаще с бобровым воротником.

– Кто такой? – полюбопытствовал Шарлей. – Инквизитор?

– Рядом попал, – вполголоса ответила Дзержка де Вирсинг. – Это колектор.[182] Налог собирает…

– Какой налог?

– Специальный, одноразовый. На войну. С еретиками.

– Чешскими?

– А есть другие? – опять поморщилась Дзержка. – Налог установили господа на рейхстаге во Франкфурте. У кого доход превышает две тысячи гульденов, тот должен заплатить гульден, у кого меньше – полгульдена. Каждый оруженосец рыцарского рода должен дать три гульдена, рыцарь – пять, барон – десять… Духовные лица должны выложить пять от сотни своего годового дохода, такие же, но без дохода, – два гроша…

Шарлей показал в усмешке белые зубы.

– Об отсутствии доходов, вероятно, заявляли все духовные. С только что упомянутым вроцлавским епископом во главе. А сундучок-то пришлось поднимать четырем крепким мужикам. Да в эскорте я насчитал восьмерых. Кстати, странно: такой значительный вес охраняет столь немногочисленный отряд.

– Эскорт меняется, – пояснила Дзержка, – по всей трассе. На чьей территории собирают, тот владелец и поставляет охрану, потому в данный момент их так мало. Это, Шарлей, как с тем переходом евреев через Красное море. Евреи перешли, египтяне еще не подоспели…

– А море расступилось. – Шарлей тоже знал этот анекдот. – Понимаю. Ну что ж, Дзержка, давай прощаться. Благодарю за все.

– Поблагодаришь через минуту. Сейчас я прикажу выбрать тебе лошадку. Чтоб не пришлось топать пехом и были какие-то шансы, когда тебя нагонят преследователи. Только не думай, что это из милосердия и от доброго сердца. Вернешь деньги при возможности. Сорок рейнских. Не морщись. Цена – как для брата. Должен благодарить.

– Я и благодарю, – улыбнулся демерит. – Благодарю, Дзержка. От всего сердца. На тебя всегда можно было рассчитывать. А чтоб не получилось, что я только брать горазд, пожалуйста, это презент тебе.

– Кошели, – холодно отметила факт Дзержка. – Неплохо. Серебряной нитью вышиты. И жемчугами. Весьма приличными. Хоть и фальшивыми. Но почему три?

– Потому что я щедрый. И это еще не все. – Шарлей заговорил тише, оглянулся. – Понимаешь, Дзержка, мой спутник, юный Рейнмар, обладает некоторыми… Хм-м… Способностями. Весьма необычными, чтобы не сказать… магическими.

– э?

– Шарлей преувеличивает, – отмахнулся Рейневан. – Я медик, а не магик.

– Вот-вот, – подхватил демерит. – Если тебе понадобится какой-либо эликсир или фильтр… Любовный, допустим… Афродизияк… Чего-нибудь для… потенции…

– Для потенции, – повторила она задумчиво. – Хммм… Пожалуй, пригодилось бы…

– Вот видишь. Ну, что я говорил?

– …для жеребцов, – докончила Дзержка де Вирсинг. – Я с любовью сама управляюсь. И вполне лихо обхожусь без помощи чернокнижников.

– Попрошу утенсилии,[183] – немного помолчав, сказал Рейневан. – Я выпишу рецепт.

Лошадкой оказался тот самый гнедой *palefrois,* которого они нашли на просеке. Рейневан, предсказаниям лесных колдуний вначале в общем-то не доверявший, теперь глубоко задумался. Шарлей же вскочил на коня и быстро объехал площадь. Демерит проявил очередной талант – управляемый твердой рукой и сильными коленями гнедой шел как по струнке, красиво поднимая ноги и высоко держа голову, а в непринужденно элегантной позе Шарлея даже самый крупный знаток и мастер конной выездки не нашел бы, к чему придраться. Конюхи и кнехты из эскорта захлопали в ладоши. Даже сдержанная Дзержка де Вирсинг причмокнула от восхищения.

– И не знала, – проворчала она, – что это такой кавалькатор.[184] Да, талантов ему не занимать стать.

– Верно.

– А ты, родственник, – повернулась она, – будь поосторожней. Охота идет на гуситских эмиссаров. За чужаками и пришельцами сейчас особо следят и о подозрительных немедля доносят. Потому что кто не доносит, сам подпадает под подозрение. Ты ж мало того что чужой и пришлый, так вдобавок твое имя и род стали известны в Силезии, все больше людей прислушиваются к слову «Белявы». Придумай себе что-нибудь. Назови себя… Хммм… Чтобы имя осталось то же самое, но тебя не путали ни с кем… Пусть будет… Рейнмар фон Хагенау.[185]

– Но, – усмехнулся Рейневан, – это же имя известного поэта…

– Не привередничай. Впрочем, времена сейчас трудные. Кто помнит имена поэтов?

Шарлей закончил демонстрацию езды коротким, но энергичным галопом, остановил коня так, что во все стороны прыснул щебень. Подъехал, заставив гнедого так вытанцовывать, что снова вызвал аплодисменты.

– Удалой шельмец, – сказал он, похлопывая жеребца по шее. – И резвый. Еще раз благодарю, Дзержка. И будь здорова.

– И вы тоже. Да храни вас Бог.

– До свидания.

– До встречи. И дай Бог, в лучшие времена.

Глава двенадцатая,

в которой Рейневан и Шарлей едят в монастыре бенедиктинцев постный обед в канун святого Исаака, пришедшийся на пятницу. А отобедав, экзерцируют дьявола. С совершенно неожиданным результатом

Скрытый в лесу монастырь они услышали еще прежде, чем увидели, потому что он вдруг заговорил глубоким, но мелодичным колокольным звоном. Прежде чем звон утих, окруженные стеной строения неожиданно проглянули красными черепицами среди листвы ольх и грабов, глядящихся в зеленую от ряски и полушника зеркальную гладь прудов, лишь временами нарушаемую расходящимися кругами, признаком того, что здесь обитают крупные рыбины. В камышах квакали лягушки, крякали утки, плескались и покрякивали камышницы.

Кони шли шагом по укрепленной дамбе меж рядами деревьев.

– Вот, – показал Шарлей, приподнимаясь в стременах. – Вот и монастырчик. Интересно, какого устава. Известное двустишье говорит:

Bernardus valles, montes
Benedictus amabat,
Oppida Franciscus, celebres
Dominicus urbes.

А здесь кто-то полюбил болота, пруды и дамбы. Хоть скорее всего это любовь не к прудам и дамбам, а к карпам. Как думаешь, Рейнмар?

– Я не думаю.

– Но карпа бы съел? Или линя? Сегодня пятница, а монахи звонили на нону. Может, почествуют обедом?

– Сомневаюсь.

– Почему и в чем?

Рейневан не ответил. Он глядел на полураспахнутые ворота монастыря, из которых выскочила пегая лошадка с монахом в седле.

Сразу же за воротами монах пустил пегую в галоп – и это кончилось скверно. Хоть лошадке далеко было до скакуна или *dextrarius* а копьеносцев, тем не менее она оказалась горячей и

норовистой, а монах – судя по черной рясе, бенедиктинец, – отнюдь не отличался ловкостью балаганного наездника да вдобавок уселся на гнедую в сандалиях, которые никак не хотели держаться в стременах. Отъехав, может, с четверть стояна, гнедая лошадка брыкнулась, монах вылетел из седла и покатился в вербы, сверкая голыми икрами. Гнедая брыкнула снова, заржала, довольная собой, и легкой рысью направилась по дамбе в сторону обоих путников. Когда пробегала мимо, Шарлей схватил ее за поводья.

– Ты только глянь, – сказал он, – на этого кентавра! Узда из веревки, седло из попоны, тряпичная упряжь. Не знаю, устав святого Бенедикта Нурского дозволяет конную езду иль запрещает, чес-слово, не знаю. Но такую – должен запрещать. Просто обязан.

– Он куда-то спешил. Видно было.

– Никакое это не оправдание.

Монаха, как раньше монастырь, они услышали еще до того, как увидели. Он сидел в люпинах и, склонив голову к коленям, жалостливо плакал, всхлипывая так, что сердце разрывалось.

– Ну, ну, – проговорил с высоты седла Шарлей. – Чего зря слезы лить, фратер. Ничего страшного. Лошадка не убежала, вот она здесь. А ездить верхом ты, фратер, еще успеешь научиться. Ибо времени на это, как вижу, у тебя, братец, очень, ооооочень много.

Шарлей действительно был прав. Монах был монашком. Молокососом. Мальчишкой, у которого от рыданий тряслись руки, дрожали губы и вся остальная часть лица.

– Брат… Деодат… – всхлипнул он. – Брат… Деодат… Из – за меня… Умрет…

– Чего-чего?

– Из-за меня… Умрет… Я подвел… Подвел…

– К лекарю спешишь, что ли? – догадался Рейневан. – Для больного?

– Брат… – снова захныкал парнишка. – Деодат… Из-за меня…

– Говори складнее, фратер.

– В брата Деодата, – выкрикнул монашек, поднимая на Шарлея покрасневшие глаза, – вселился злой дух, опутал его! Вот и наказал мне брат-аббат что есть мочи… Что есть мочи гнать в Свидницу к братьям-проповедникам… За экзорцистом!

– А получше ездока в монастыре не сыскалось?

– Не сыскалось… К тому же я самый младший… О я несчастный!

– Скорее счастливый, – не улыбнувшись, проговорил Шарлей. – Поверь, скорее счастливый. Отыщи, сынок, в траве свои

сандалии и беги в монастырь. Доставь аббату добрую весть, мол, милость Господня явно снизошла на вас, ибо на дамбе ты встретил магистра Бенигнуса, опытного экзорциста, коего, вне всякого сомнения, некий ангел направил в сии края.

– Вы, добрый господин… Вы?

– Беги, сказал я, что есть духу, к аббату. Извести его, что я приближаюсь.

– Скажи мне, что я ослышался, Шарлей. Скажи, что ты оговорился и вовсе не сказал того, что только что сказал?

– Это чего же? Что я выэкзерцирую брата Деодата? Ну так я его выэкзерцирую в лучшем виде. С твоей помощью, парень.

– А вот уж что нет, так нет. На меня не рассчитывай. У меня и без того достаточно забот. Новые мне ни к чему.

– Мне тоже. Зато мне необходимы обед и деньги. Обед лучше вперед.

– Наиглупейшая идейка из всех возможных глупых идей, – расценил Рейневан, осматривая залитый солнцем *viridarium*.[186] – Ты соображаешь, что делаешь? Ты знаешь, что грозит тем, кто прикидывается священником? Экзорцистом? Каким-то чокнутым магистром Бенигнусом?

– Что значит «прикидывается»? Я – духовное лицо. И экзорцист. Это проблема веры, а я верю. В то, что у меня получится.

– Издеваешься?

– Отнюдь! Начинай мысленно подготавливать себя к задаче.

– Нет уж, уволь. Это не для меня.

– Почему же? Ты вроде бы лекарь. Надо помочь страждущему.

– Ему, – Рейневан указал на инфермерию,[187] из которой они недавно вышли и где лежал брат Деодат, – ему помочь нельзя. Это летаргия. Монах в летаргическом сне. Ты слышал, как монахи говорили, что пытались его разбудить, тыча в пятки горячим ножом? Следовательно, это нечто похожее на *grand mal,* серьезную болезнь. Здесь бессилием поражен мозг, *spiritus animalis.* Я читал об этом в *«Canon medicinae»*[188] Авиценны, а также у Разеса и Аверроэса… И знаю, что такое лечить невозможно. Можно только ждать…

– Ждать, конечно, можно, – прервал Шарлей. – Но почему сложа руки? Тем более если можно действовать? И на этом заработать? Никому не навредив?

– Не навредив? А этика?

– С пустым животом, – пожал плечами Шарлей, – я не привык философствовать. А вот сегодня вечером, когда я буду сыт и под хмельком, я изложу тебе *principia* моей этики. И тебя поразит их

простота.

– Это может скверно кончиться.

– Рейневан, – Шарлей резко обернулся, – рассуждай же, черт побери, позитивно.[189]

– Я именно так и делаю. Думаю – это скверно кончится.

– А, думай, что хочешь. Но сегодня, будь любезен, замолчи, ибо они идут.

Действительно, приближался аббат в сопровождении нескольких монахов. Аббат был невысок ростом, кругловат и пухловат, однако добродушной и почтенной внешности противоречила мина недовольства, стиснутые губы, а также живые и внимательные глаза, которые он быстро переводил с Шарлея на Рейневана. И обратно.

– Ну, что скажете? – спросил он, пряча руки под ладанку. – Что с братом Деодатом?

– Немощью, – гордо надув губы, сообщил Шарлей, – поражен *spiritus anomalis.* Это что-то вроде *grand mal,* серьезной болезни, описанной Авиценной, короче говоря, *Tohu Wa Bohu.* Следует вам знать, *reverende pater,*[190] что все выглядит не лучшим образом. Но я постараюсь.

– Что постараетесь?

– Изгнать из одержимого злого духа.

– Так вы думаете, – наклонил голову аббат, – что это одержимость?

– Уверен, – голос Шарлея оставался довольно холодным, – что это не бегунка.[191] Бегунка проявляется иначе.

– Однако, – в голосе аббата все еще звучала нотка подозрительности, – вы же не духовные лица.

– Духовные. – У Шарлея даже веко не дрогнуло. – Я уже объяснял это брату-инфирмеру. А то, что одеваемся мы по-светски, так это для камуфляжа. Дабы ввести дьявола в заблуждение и захватить его врасплох.

Аббат быстро взглянул на Шарлея. «Ох, скверно, скверно, – подумал Рейневан. – Он далеко не глуп. Это и вправду может плохо кончиться».

– Так как же, – аббат не спускал с Шарлея испытующего взора, – вы намерены поступить? По Авиценне? А может, следуя рекомендациям святого Исидора Севильского, содержащимся в известном труде под названием… Ах, забыл… Но вы, ученый экзорцист, несомненно, знаете…

– *«Etymologiae».* – У Шарлея и на этот раз не дрогнуло веко. – Конечно, я использую содержащиеся в нем знания, однако это знания элементарные. Как и *«Denatura rerum»* того же автора. Как *«Dialogus magnus visionem atque miraculorum»* Цезаря

Гайстербахского. И *«De universo»* Рабана Мавра, архиепископа Майнцкого.

Взгляд аббата немного смягчился, но было видно, что подозрения покинули его не вполне.

– Да, вы ученые, несомненно, – сказал он язвительно. – Можете это доказать. А дальше что? Сначала попросите накормить и напоить? И заранее заплатить?

– Об оплате и речи быть не может. – Шарлей выпрямился так гордо, что Рейневан не мог скрыть удивления. – И речи быть не может о деньгах, ибо я не купец и не ростовщик. Удовлетворюсь подаянием, весьма скромным подаянием, к тому же отнюдь не вперед, а лишь по окончании дела. Что же до еды и напитка, то напомню вам, преподобный отец, слова Евангелия: злых духов изгоняют только молитвой и постом.

Чело аббата прояснилось, а глаза помягчали.

– Воистину, – сказал он, – вижу, что с праведными и благочестивыми христианами имею я дело. И скажу вам: Евангелие Евангелием, но как же так, порадовав уши, приступить к делу с пустым животом? Приглашаю на *prandium.*[192] Скромный постный *prandium,* ибо сегодня *feria sexta,* пятница. Бобриные плюски в соусе…

– Ведите нас, почтенный отче аббат, – громко проглотил слюну Шарлей. – Ведите.

Рейневан вытер губы и сдержал отрыжку. Поданный с кашей бобриный плюск, то есть хвост, тушенный в густом хреновом соусе, оказался настоящим деликатесом. До сих пор Рейневан лишь слышал о таком блюде, знал, что в некоторых монастырях его ели во время поста, потому что по неизвестным и теряющимся во мраке веков причинам он считался чем-то подобным рыбе. Однако это был достаточно редкий деликатес, не у каждого аббатства были неподалеку бобриные гоны[193] и не каждый получал право на охоту. Впрочем, колоссальное удовольствие, доставленное съеденным деликатесом, портила весьма беспокойная мысль об ожидающей их задаче. «Но, – думал Рейневан, тщательно протирая миску хлебом, – того, что я съел, у меня уже никто не отберет». Шарлей, мгновенно расправившийся с довольно малой и к тому же постной порцией, разглагольствовал, делая весьма мудрые мины.

– По вопросу дьявольской одержимости, – болтал он, – высказывались различные авторитеты. Величайшие, которые, не сомневаюсь, почтенным братьям также известны. Это святые отцы и доктора Церкви, в основном Василий, Исидор Севильский, Григорий Нисский, Кирилл Иерусалимский и Ефрем Сириец. Вам

наверняка также знакомы произведения Тертулиана, Оригена и Лактанция. Не так ли?

Некоторые из присутствовавших в трапезной бенедиктинцев активно закивали головами, другие головы опустили.

– Однако это весьма общие источники знания, – продолжал Шарлей, – а посему серьезный экзорцист не может только ими одними ограничивать свой опыт.

Монахи снова закивали, при этом тщательно выскребая из тарелок остатки каши и соуса. Шарлей выпрямился, откашлялся.

– Мне, – известил он не без гордости, – известны: *«Dialogus de energia et operatione daemonum»* Михаила Пселла. Знаком вразбивку *«Exorcisandis obsessia daemonum»,* труд авторства папы Льва III, воистину прекрасно это и полезно, когда наместники Петровы берутся за перо. Читывал я *«Picatrix»,* переведенный с арабского Альфонсом Мудрым, ученым королем Леона и Кастилии. Знаю *«Orationes contra daemonicus»* и *«Flagellum daemonum».* Знаю также «Книгу таинств Еноха», но здесь хвалиться нечем, это известно всем. А вот мой ассистент, мужественный магистр Рейнмар, изучил даже сарацинские книги, хотя осознавал риск, который несет за собой контакт с колдовством нехристей.

Рейневан покраснел. Аббат благосклонно улыбнулся, сочтя это проявлением скромности.

– Действительно, – возгласил он. – Вижу я, ученые вы мужи и опытные экзорцисты. Любопытствую узнать, есть ли и бесовская сила у вас на счету?

– По правде говоря, – Шарлей опустил глаза, скромный, как клариска-новичок, – с рекордами мне не сравняться. Самое большое количество дьяволов, коих удалось мне изгнать за один прием из одержимого, всего девять.

– Действительно, – явно обеспокоился аббат. – Не так уж и много. Я слышал о доминиканцах…

– Я тоже слышал, – прервал Шарлей, – но не видел. Кроме того, я говорю о дьяволах первой гильдии, а ведь известно, что у каждого одного дьявола первой гильдии ходят на услугах по меньшей мере тридцать чертиков поменьше. Впрочем, этих малых чертей уважающий себя экзорцист при изгнании дьявола в счет не берет, ибо если он изгонит главаря, то сбежит и мелкая сошка. Однако если по методике братьев-проповедников считать всех, то вполне может оказаться, что я запросто могу идти с ними в парагон.[194]

– Истинная правда, – согласился аббат, однако не очень уверенно.

– К сожалению, – холодно и как бы мимоходом добавил Шарлей, – я не могу дать письменную гарантию. Прошу это

учесть, чтобы потом не было претензий.

– Не понял?

– Святой Мартин Турский, – Шарлей и на сей раз глазом не моргнул, – у каждого экзорцированного дьявола брал подписанный его личным дьявольским именем документ, обязательство, что данный черт уже никогда-преникогда не решится опутать данную особу. Многим известным святым и епископам впоследствии такое также удавалось, но я, скромный экзорцист, подобного документа получить не сумею.

– А может, оно и к лучшему. – Аббат перекрестился, остальные братья последовали его примеру. – Матерь Божья, царица небесная! Пергамент, подписанный рукой Врага? Это ж отвратность! И грех! Нет, нет, не желаем, не желаем…

– И очень даже хорошо, – обрезал Шарлей, – что не желаете. Однако вначале обязанности, потом удовольствия. Надеюсь, пациент уже в часовне?

– Несомненно.

– Все же, – неожиданно проговорил один из младших бенедиктинцев, долгое время не спускавший глаз с Шарлея, – чем вы объясните, мэтр, что брат Деодат лежит колода колодой, едва дышит и пальцем не шевелит, а ведь почти все поименованные вами ученые книги утверждают, что опутанный дьяволом человек обычно дергает всеми своими членами и что через него дьявол не прекращая болтает и кричит. Нет ли тут какого-либо противоречия?

– Каждая болезнь, – Шарлей глянул на монаха сверху вниз, – в том числе и одержимость, есть дело рук Сатаны, разрушителя трудов Божиих. Каждая болезнь вызывается одним из четырех Черных Ангелов Зла: Махазеля, Азазеля, Азраэля либо Самаэля. То, что одержимый не мечется, не кричит, а лежит аки мертвый, доказывает, что им овладел один из демонов, подчиненных именно Самаэлю.

– Господи Христе! – перекрестился аббат.

– Однако ж, – добавил Шарлей, – я знаю, как быть с такими демонами. Они летают по воздуху, а человека опутывают тихарем и украдкой, через дыхание, то есть *insufflatio.* Тем же самым путем, то есть *exsufflatio,* я прикажу дьяволу покинуть больного.

– Как же это, однако? – не сдавался юный монах. – Дьявол в аббатстве, где колокола, требник и святость? Опутывает монаха? Как же это так?

Шарлей ответил ему колючим взглядом.

– Как учит нас святой Григорий Великий, доктор Церкви, – проговорил он сурово и отчетливо, – однажды монахиня проглотила дьявола вместе с листком салата, сорванным на

монастырской грядке. Ибо пренебрегла обязательностью молитвы и знаком креста перед съеданием. Интересно, с братом Деодатом не случались ли подобные провинности?

Бенедиктинцы опустили головы. Аббат кашлянул.

– Ваша правда, – забормотал он. – Слишком уж светским ухитрялся бывать брат Деодат, слишком светским и малообязательным.

– И тем самым, – сухо констатировал Шарлей, – становился легкой добычей для Злого. Проводите меня в часовню, преподобный.

– Что будет потребно, мэтр? Святая вода? Крест? Бенедикционал?[195]

– Только святая вода и Библия.

В часовне было холодно, к тому же она тонула в полумраке, освещаемом лишь огоньками свечей и косым лучом цветного света, просачивающегося сквозь витраж. В этом свете на накрытом полотном катафалке возлежал брат Деодат. Он выглядел точно так же, как час назад в монастырской инфирмерии, когда Рейневан и Шарлей увидели его впервые. Восковое, желтоватое, словно вываренная мозговая кость, лицо, впалые щеки и рот, прикрытые глаза, а дыхание было настолько неглубоким, что его почти невозможно было заметить. Сейчас Деодат лежал, скрестив на груди покрытые ранками от кровопускания руки, в бессильных пальцах которых еле-еле держался молитвенник и фиолетовая епитрахиль.

В нескольких шагах от катафалка, опершись спиной о стену, сидел на полу огромный остриженный наголо мужчина с затуманенными глазами и лицом недоразвитого ребенка. Богатырь держал во рту два пальца правой руки, а левой прижимал к животу глиняный горшочек. Каждые две-три секунды великан страшно шмыгал носом, отрывал грязный, липкий горшочек от грязного и липкого халата, вытирал пальцы о живот, совал их в горшочек, набирал меда и отправлял в рот. Затем ритуал повторялся.

– Это сирота, подкидыш, – упредил вопрос Шарлея аббат, видя его недовольную мину. – Нами окрещен Самсоном, потому как тело у него и сила соответствующие. Монастырский уборщик, немного недоразвитый… Очень брата Деодата любит, щенком за ним всюду ходит… Ни на шаг не отстает… Поэтому мы подумали…

– Хорошо, хорошо, – прервал Шарлей. – Пусть сидит где сидит, лишь бы не шумел. Начинаем. Магистр Рейнмар…

Рейневан, подражая Шарлею, повесил себе на шею

епитрахиль, сложил молитвенно руки, наклонил голову. Не зная, притворяется Шарлей или нет, сам он молился искренне и истово. Он, что уж говорить, страшно трусил. Шарлей же выглядел совершенно уверенным в себе, властным, и в нем аж хлюпало от самозначимости.

– Молитесь. Читайте *Domine sancte,* – велел он бенедиктинцам, а сам встал у катафалка, перекрестился, начертал знак креста над братом Деодатом. Кивнул Рейневану, тот покропил одержимого святой водой. Одержимый, само собой, не отреагировал.

– *Domine sancte, Pater omnipotens,* – гул монашеской молитвы вибрировал эхом, повторяемым звездообразным потолком, – *aeterne Deus propter tuam largitatem et Filii tui…*

Шарлей, крепко откашлялся, прочистил горло.

– *Offer nostras preces in conspectu Altissimi,* – проговорил он громко, разбудив еще более сильное эхо, – *ut cito anticipent nos misericordiae Domini, et apprehendas draconem, serpentem antiquum qui est diabolus et satanas, ac ligatum mittas in abyssum, ut non seducat amplius gentes. Hunc tuo confisi praesidio ac tutela, sacri ministerii nostri auctoritate, ad infestationes diabolicae fraudis repellendas in nomine Iesu Christi Dei et Domini nostri Fidentes et securi aggredimur.*

– *Domine,* – включился по данному знаку Рейневан, – *exaudi orationem meam.* [196]

– *Et clamor meus ad te veniat.*

– Аминь!

– *Princeps gloriosissime caelestis militiae, sancte Michael Archangele, defende nos in praelio et colluctatione. Satanas! Ecce Crucem Domini, fugite partes adversae! Apage! Apage! Apage!*

– Аминь.

Брат Деодат на катафалке не подавал признаков жизни. Шарлей незаметно промокнул лоб концом епитрахили.

– Итак, – не опустил он глаз под вопрошающими взглядами бенедиктинцев, – вступление позади. И известно одно: мы имеем дело не с каким-то худосочным дьяволом, ибо таковой уже б убежал. Придется выкатить бомбарды потяжелее.

Аббат заморгал и беспокойно пошевелился. Сидящий на полу Самсон-великан почесал себя в промежности, харкнул, пустил ветры, с трудом отлепил от живота горшочек с медом и заглянул в него, проверяя, осталось ли там еще.

Шарлей обвел монахов взглядом, который, по его личному мнению, был вдохновенным и одновременно мудрым.

– Как учит нас Священное Писание, – проговорил он, – Сатана спесив. Именно спесь неизмеримая подвигла Люцифера на бунт против Господа, за кою спесивость он поплатился тем, что был сброшен в адскую бездну. Однако от спеси своей не избавился!

Потому первейшая задача экзорциста – уязвить дьявольскую спесь, зазнайство и самовлюбленность. Короче говоря: крепко оскорбить его, проклясть, обидеть, обозвать, обругать. Унизить, и тогда он умчится, вне всякого сомнения.

Монахи ждали, уверенные, что это еще не конец. И были правы.

– Посему сейчас, – тянул Шарлей, – начнем черта оскорблять. Если кто-то из братьев восприимчив к грубым выражениям, пусть не мешкая удалится. Подойди, магистр Рейневан, возгласи слова Евангелия от Матфея. А вы, братья, молитесь.

– И запретил ему Иисус; и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот же час. Тогда ученики, приступивши к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему.[197]

Гул читаемой бенедиктинцами молитвы перемешивался со словами Рейневана. Шарлей же, поправив на шее епитрахиль, встал над неподвижным и окаменевшим братом Деодатом и распростер руки.

– Мерзкий дьявол! – рявкнул он так, что Рейневан заикнулся, а аббат аж подпрыгнул. – Приказываю тебе: немедленно изыди из тела сего, нечистая сила! Прочь от этого христианина, ты, грязная, жирная и развратная свинья, бестиарейшая из всех бестий, позорное семя Тартара, мерзость шеола. Изгоняю тебя, щетинистая жидовская свинья, в адский свинарник, дабы ты утопился там в говне!

– *Sancta Virgo virginem,* – шептал аббат, – *ora pro nobis…*

– *Ad insidiis diaboli,* – вторили ему монахи, – *libera nos…*

– Ты, дряхлый крокодил! – рычал Шарлей, наливаясь кровью. – Подыхающий василиск, обосравшийся кочкодан.[198] Ты, надутая жаба, ты – хромой осел с исхлестанным задом, ты – запутавшийся в собственной паутине тарантул! Ты – оплеванный верблюд! Ты – омерзительный червь, копающийся в падали, смердящей на самом дне Геенны, ты – навозный жук, сидящий в испражнениях. Послушай, как я называю тебя твоим истинным именем: *scrofa stercorata et pedicosa,* грязная завшивленная свинья, о ты, наиподлейший из подлых, о наиглупейший из глупых, *stultus stultorum rex,* ты – угольщик тупой! Ты – сапожник спившийся! Ты – козел с распухшими яйцами!

Лежавший на катафалке брат Деодат и не подумал шевелиться. Хоть Рейневан без меры кропил его святой водой. Капли бессильно стекали по застывшему лицу старца. Мышцы на щеках Шарлея задрожали. «Приближается кульминация», – подумал Рейневан. И не ошибся.

– Изыди из тела сего! – завопил Шарлей. – Ах ты, в жопу

трахнутый катамит!

Один из самых юных бенедиктинцев убежал, заткнув уши и вотще призывая имя Господне. Другие либо предельно побледнели, либо столь же предельно покраснели.

Стриженый силач стенал и поёкивал, пытаясь засунуть в горшочек с медом всю пятерню. Задача была невыполнима, ибо рука в два раза превышала размеры горшочка. Тогда гигант высоко поднял сосуд, задрал голову и раззявил рот, но мед не вытекал, его просто было уже очень мало.

– Ну и как там, – осмелился пробормотать аббат, – с братом Деодатом, мэтр? Что со злым духом? Иль уже вышел?

Шарлей наклонился над экзорцируемым, чуть ли не приложил ухо к его белым губам.

– Уже совсем на выходе, – сообщил он. – Сейчас мы его изгоним. Надо лишь поразить его вонью. Черт очень восприимчив к вони. А ну-ка, братья, принесите сковороду, жаровню и кружку дерьма. Будем поджаривать его под носом у одержимого. Впрочем, годится все, что хорошо смердит. Сера, известь, асафетида[199]… А лучше всего – провонявшая рыба. Ибо гласит книга Товита: *incenso iecore piscis fugabitur daemonium.*[200]

Несколько братьев помчались выполнять заказ. Сидящий у стены гигант поковырял пальцем в носу, осмотрел палец, вытер о штанину, потом снова взялся выбирать остатки меда из горшочка. Тем же пальцем. Рейневан почувствовал, как съеденный бобриный хвост подступает ему к горлу на вздымающейся волне хренового соуса.

– Магистр Рейневан, – резкий голос Шарлея вернул его к реальности. – Не следует прекращать усилий. Евангелие от Марка, пожалуйста, соответствующий абзац. Молитесь, братья.

– И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него».[201]

– *Surde et mute spiritus ego tibi praecipio,* – грозно и приказным тоном повторил склонившийся к брату Деодату Шарлей. – *Exi ab eo! Imperet tibi dominus per angelum et leonem! Per deum vivum! Justitia eius in saecula saeculorum!* Пусть сила Его изгонит тебя и заставит выйти вместе со всей твоей бандой!

– *Ego te exorciso per caracterum et verborum sanctum! Impero tibi per clavem salomonis et nomen magnum tetragrammaton!*

Пожирающий мед недоумок вдруг закашлялся, оплевался и усморкался. Шарлей отер со лба пот.

– Тяжелый и трудный есть сей казус, – пояснил он, избегая все более подозрительного взгляда аббата. – Придется применить еще более сильные аргументы.

Несколько секунд стояла такая тишина, что было слышно отчаянное бренчание мухи, которую паук поймал в паутину, растянутую в оконной нише.

– Именем Апокалипсиса, – раздался в тишине уже немного охрипший баритон Шарлея. – Через слова коего Господь поведал то, что наступить должно, и подтвердил сказанное устами ангела, собою присланного, проклиная тебя, Сатана! *Exorciso te, flumen immundissimum, draco maleficus, spiritum mendacii!*

– Семью подсвечниками златыми и одним подсвечником меж семью стоящим! Гласом, коий есть глас вод многих, говорящим: Я есть тот, кто умер, и тот, кто воскрес, тот, кто живет и жить будет вечно, кто держит в попечении своем ключи от смерти и ада, говорю тебе: изыди, дух нечистый, знающий кару вечного проклятия!

Результата как не было, так и нет. Лица взирающих на все это бенедиктинцев отражали разные, ну очень разные чувства. Шарлей набрал побольше воздуха в легкие.

– Да поразит тебя Агиос, как поразил он Египет! Да умертвят тебя каменьями, как Израиль умертвил каменьями Ахана! Да истопчут тебя ногами и возденут на вилы, как воздели пятерых царей Аморрейских! Да приставит Господь к челу твоему гвоздь и ударит по тому гвоздю молотком, как сделала Сисаре женщина Иаиль! Пусть у тебя, как у проклятого Дагона, лоб вражий и обе руки будут отрублены! И пусть у тебя хвост укоротят по самую задницу твою дьявольскую!

«Ох, – подумал Рейневан, – это скверно кончится. Скверно кончится».

– Адский дух, – Шарлей резким движением простер руки над по-прежнему безжизненным братом Деодатом, – заклинаю тебя Азароном, Эгеем, Гомусом, Афанатосом, Исхиросом, Акодесом и Альмахом! Заклинаю тебя Аратоном, Бефором, Фагелой и Огой, Повелем и Фулем! Заклинаю тебя могущественными именами Шмиеля и Шмуля! Заклинаю тебя наичудовищнейшим из имен, именем могущественнейшего и жутчайшего Семафора!!!

Семафор подействовал не лучше, чем Фуль и Шмуль. Скрыть этого не удалось. Шарлей тоже это видел.

– Жобса, хопса, афья, альма! – заорал он дико. – Малах, Берот, Нот, Берив *et vos omnes*[202] Хемен этан! Хэмен этан! Хау! Хау! Хау!

«Спятил, – подумал Рейневан. – А нас сейчас начнут бить, а может, и ногами пинать. Сейчас сообразят, что все это бессмыслица и пародия, уж не настолько же они глупы. Сейчас все это окончится страшным избиением».

Шарлей, уже до предела вспотевший и здорово охрипший,

умоляюще взглянул на него и подмигнул, совершенно недвузначно прося поддержать, и просьбу свою подкрепил достаточно резким, хоть и незаметным окружающим жестом. Рейневан воздел очи горе, то есть к своду часовни. «Всё, – подумал он, стараясь вспомнить древние книги и беседы с дружески расположенными к нему колдунами, – это все-таки лучше, чем хау, хау, хау».

– Гакс, пакс, макс, – взвыл он, размахивая руками. – Абеор супер аберер! Айе Серайе! Айе Серайе! Альбедо, рубедо, нигредо!

Шарлей, тяжело дыша, поблагодарил его взглядом, жестом велел продолжать. Рейневан набрал в легкие воздуха.

– Тумор, рубор, калор, долор! *Per ipsum et cum ipso, et in ipso! Jopsa, hopsa, et vos omnes! Et cum spiritu tuo!* Мелах, Малах, Молах!

«Сейчас-то уж точно нас будут бить, – лихорадочно подумал он. – А может, даже и пинать ногами. Сейчас. Через минуту. Через дольку минуты. Ничего не поделаешь. Надо идти до конца. Переходить на арабский. Не покидай меня, Аверроэс! Спаси, Авиценна!»

– Куллу-аль-шайтану-аль-раджим! – рявкнул он. – Фаанасахум Тариш! Квасура аль-Зоба! Аль-Ахмар, Бараган аль-Абайяд! Аль-щайтан! Хар-аль-Сус! Аль Цар! Мохефи аль релиль! Эль фойридж! Эль фойридж!

Последнее слово, как он туманно помнил, означало по-арабски женский половой орган и не имело ничего общего с экзорцированием. Он понимал, какую глупость делает. Тем сильнее удивил его эффект.

Ему вдруг показалось, что мир на мгновение замер. И тотчас же, в абсолютной тишине, меж застывшей на фоне серых стен *tableau*[203] бенедиктинцев в черных рясах, что-то дрогнуло, что-то произошло, что-то движением и звуком нарушило мертвый покой.

Сидящий у стены тупоглазый «тюфяк» резко, с отвращением и брезгливостью откинул грязный и липкий горшок с медом. Горшок ударился о пол, однако не разбился, а покатился, взрезая тишину глухим, но громким тарахтеньем.

Гигант поднес к глазам липкие от сладкого пальцы. Несколько мгновений рассматривал их, а на его распухшей лунообразной физиономии вначале отразилось недоверие, а потом ужас. Рейневан смотрел на него, тяжело дыша. Он чувствовал на себе подгоняющий взгляд Шарлея, но был уже не в силах произнести ни слова. «Конец, – подумал он. – Конец».

Великан, продолжая глядеть на пальцы, застонал. Душераздирающе.

И тотчас же лежащий на катафалке брат Деодат заохал, закашлял, захрипел и дрыгнул ногами. А потом выругался.

Вполне по-светски.

– Святая Ефросиния… – простонал аббат, падая на колени. Остальные монахи последовали за ним. Шарлей раскрыл рот, но тут же закрыл. Рейневан прижал руки к вискам, не зная, то ли молиться, то ли бежать.

– Вот зараза, – проскрипел Деодат, садясь и свешивая с катафалка ноги. – Ну и сухотища в горле… Что? Неужто я проспал вечерню? Мор на вас, братишки… Я просто хотел вздремнуть… Но ведь просил же разбудить…

– Чудо! – выкрикнул один из стоявших на коленях монахов.

– Пришло царствие Божие. – Второй пал крестом на пол. – *Igitur pervenit in nos regum Dei!*

– Аллилуйя!

Сидящий на катафалке брат Деодат водил кругом ничего не понимающими глазами, переводя их со стоящих на коленях конфратров[204] на Шарлея с епитрахилью на шее и Рейневана. От Рейневана – на гиганта Самсона, все еще рассматривающего свои руки и живот, с молящегося аббата – на монахов, которые в этот момент прибежали с кружкой дерьма и медной сковородой.

– Кто-нибудь, – спросил бывший одержимый, – объяснит мне, что тут происходит?

Глава тринадцатая,

в которой Шарлей после того, как они покинули монастырь бенедиктинцев, излагает Рейневану свою философию бытия, сводя ее – в порядке упрощения – к тезе, что в жизни бывает достаточно спущенных штанов и минутного невнимания, чтобы какой-нибудь недоброхот добрался до твоей задницы. Через минуту жизнь подтвердила эти рассуждения во всей их полноте и деталях. Из затруднительного положения Шарлея спасает некто, кого читатель уже знает, вернее, ему кажется, будто знает

Экзорцирование у бенедиктинцев – хоть оно в принципе и увенчалось успехом – еще больше усилило неприязнь Рейневана к Шарлею, неприязнь, возникшую, можно сказать, с первого взгляда и усилившуюся после случая с дедом-попрошайкой. Рейневан уже понимал, что полностью зависит от демерита и без него не управится и что в принципе у операции по освобождению его любимой Адели в одиночку исчезающе малые шансы на успех. Понимание пониманием, зависимость зависимостью, однако неприязнь была, докучала и злила, как полусломанный ноготь, как ломанный зуб, как заноза в подушечке пальца. А позы и высказывания Шарлея ее только усугубляли.

Спор или, скорее, диспут разгорелся вечером, после того как они покинули монастырь и находились, если верить демериту, совсем недалеко от Свидницы. Парадоксально, но Рейневан вспомнил экзорциские шельмовства Шарлея и принялся ему указывать на них во время поглощения даров, обретенных именно в результате шельмовства, потому что благодарные бенедиктинцы вручили им на прощание солидный сверток, в котором оказались ржаной хлеб, десяток яблок, несколько яиц вкрутую, кружок копченой говяжьей колбасы и толстая кишка по-польски, набитая гречневой кашей.

В том месте, где уже разрушенная частично плотина перегораживала речку и образовывался разлив, путники сидели на сухом склоне у опушки бора и вечеряли, посматривая на опускающееся все ниже к верхушкам сосен солнце. И дискутировали. Рейневан пустился было в восхваление этических норм и порицание любых обманов. Шарлей тут же осадил его.

– Я не принимаю, – заявил он, выплевывая скорлупки не до конца облупленного яйца, – моральных поучений от людей, привыкших трахать чужих жен.

– Сколько еще раз, – взъерепенился Рейневан, – ты прикажешь повторять, что это совершенно разные вещи. Несравнимые.

– Сравнимые, Рейнмар, сравнимые.

– Интересно!

Шарлей упёр краюху хлеба в живот и отрезал новый ломоть.

– Нас отличает, – начал он, набив хлебом рот, – как легко заметить, опыт и жизненная мудрость. Потому то, что ты делаешь инстинктивно, руководствуясь простым детским стремлением к удовлетворению склонностей, я делаю подумав и планово. Но в основе всегда лежит одно и то же. А именно убежденность, кстати, совершенно справедливая, что следует принимать во внимание самого себя, свое благо и свое удовольствие, остальное же, ежели оно моему благу и моему удовольствию ничего не дает, может спокойно провалиться пропадом, ибо какое мне дело до всего прочего, если оно ни в чем не может мне служить. Не прерывай. Прелести твоей возлюбленной Адели были для тебя вроде конфетки для ребенка. Чтобы поиметь возможность лизнуть ее, ты забывал обо всем. Важно было только твое удовольствие. Нет, не пытайся оправдаться любовью, цитировать Петрарку и Вольфрама фон Эшенбаха. Любовь – тоже удовольствие, к тому же одно из самых эгоистичных, какие мне известны.

– И слушать не хочу.

– *In summa,* – спокойно продолжал демерит, – наши жизненные программы ничем не различаются, поскольку исходят из *principium:* все, что я делаю, должно служить мне. Значение имеет мое личное благо, удовлетворение, выгода и счастье, а все остальное – пропади оно пропадом. Различает же нас…

– Ага, все-таки…

– …умение мыслить перспективно. Я, несмотря на частые искушения, сдерживаюсь по мере возможности от хендоженья чужих жен, поскольку перспективное мышление подсказывает, что это не только не принесет мне пользы, но совсем наоборот – причинит хлопоты. Нищих, как тот позавчерашний дед, я не балую подачками не из-за скупости, а лишь потому, что такое добродейство мне ничего не дает и даже наоборот – мешает… деньги убивают, а о человеке складывается мнение как о дурне и простофиле. А поскольку простофиль и дурней *infinitus est numerus,*[205] постольку я сам выманиваю у кого и сколько удастся. Не предоставляя никаких льгот бенедиктинцам. И другим монашеским орденам. Ты понял?

– Понял, – Рейневан откусил от яблока, – за что ты сидел в каталажке.

– Ничего ты не понял. Впрочем, времени научиться у нас хоть

отбавляй. До Венгрии путь далек.

– А я туда доберусь? Целым и невредимым?

– Что ты хочешь этим сказать?

– А то, что слушаю я тебя, слушаю и чувствую себя все большим простофилей, который в любой момент может стать жертвенным барашком на алтаре твоего личного блага. В числе тех «остальных», на которых тебе плевать.

– Смотри-ка, – обрадовался Шарлей, – а ты, однако, делаешь успехи. Начинаешь рассуждать разумно. Если забыть о бесподобном сарказме – ты уже начинаешь улавливать основной жизненный закон: закон ограниченного доверия. Суть которого в том, что окружающий нас мир непрестанно тебя подлавливает, ни за что не упустит оказии унизить тебя, подстроить неприятность или обидеть. Что он только и ждет, когда ты спустишь портки, чтобы тут же приняться за твою голую задницу.

Рейневан фыркнул.

– Из чего, – не дал себя сбить с мысли демерит, – следуют два вывода. *Primo:* никогда не доверяй и никогда не верь в намерения. *Secundo:* если ты сам кого-то обидел или поступил несправедливо, не майся угрызениями совести. Просто ты оказался шустрее, действовал превентивно…

– Замолкни!

– Что значит замолкни? Я говорю истинную правду и исповедую принцип свободы слова. Свобода…

– Замолкни, псякрев. Я что-то слышу. Сюда кто-то подбирается…

– Не иначе – оборотень! – хохотнул Шарлей. – Жуткий человековолк! Ужас здешних мест.

Когда они покидали монастырь, заботливые монахи предостерегли их и посоветовали быть внимательными. В округе, сказали они, особенно во время полнолуния, уже некоторое время разбойничает ликантроп, то есть человековолк, или оборотень, или человек, силами ада превращенный в волкообразного монстра. Предупреждение здорово развеселило Шарлея, который на протяжении нескольких стае смеялся до упаду и измывался над суеверными монахами. Рейневан тоже не очень верил в человековолка и оборотней, однако не смеялся.

– Я слышу, – сказал он, – чьи-то шаги. Кто-то приближается. Это ясно как день.

В чаще предупреждающе заскрипела сойка. Зафыркали лошади. Хрустнула ветка. Шарлей заслонил глаза рукой, заходящее солнце слепило.

– Чтоб тя черт, – проговорил он себе под нос. – Только этого нам недоставало. Нет, ты глянь, кто к нам приперся.

– Неужто… – заикаясь начал Рейневан. – Это же…

– Бенедиктинская дубина, – подтвердил его подозрения Шарлей. – Монастырский великан. Беовульф Мёдоед. Горшколаз с библейским именем. Как там его? Голиаф, что ли?

– Самсон.

– И верно, Самсон. Не обращай на него внимания.

– Что ему тут надо?

– Не обращай внимания. Может, уйдет. Своей дорогой, куда бы она ни вела.

Однако не походило на то, что Самсон собирается уйти. Совсем наоборот, походило на то, что он достиг конца пути, потому что уселся на расположенном в трех шагах от них пне. И сидел, повернувшись к ним опухшим лицом полудурня. Впрочем, лицо было чистое, гораздо чище, чем прежде. Исчезли и засохшие сопли под носом. Однако гигант все еще источал слабый запах меда.

– Ну что ж, – откашлялся Рейневан. – Гостеприимство обязывает…

– Я знал, – прервал Шарлей и вздохнул. – Я знал, что ты это скажешь. Эй, ты! Самсон! Укротитель филистимлян. Проголодался?

– Проголодался? – Не дождавшись ответа, Шарлей показал придурку кусок кишки, совсем так, словно подманивал собаку или кошку. – Бери. Ты меня понимаешь? На, ко мне, ко мне! Мням-мням! Съешь?

– Благодарю, – вдруг ответил гигант – неожиданно четко и вполне осмысленно. – Не воспользуюсь. Я не голоден.

– Странное дело, – заворчал Шарлей, наклоняясь к уху Рейневана. – Откуда он тут взялся? Шел за нами? Но ведь он вроде бы постоянно таскается за братом Деодатом, нашим недавним пациентом… От монастыря нас отделяет добрая миля, чтобы сюда добраться, он должен был отправиться сразу же вслед за нами. И быстро идти. Зачем?

– Спроси его.

– Спрошу. Когда придет время. А пока что для верности будем разговаривать по-латыни.

– *Bene.*[206]

Солнце опускалось все ниже над темным бором, курлыкали летящие на запад журавли, начали громкий концерт лягушки в болоте у речки. А на сухом склоне на краю леса, словно в университетском актовом зале, звучала речь Вергилия.

Рейневан неведомо уже в который раз – но впервые по-латыни – излагал недавнюю историю и описывал перипетии.

Шарлей слушал либо делал вид, что слушает. Монастырский здоровила Самсон тупо рассматривал неизвестно что, а на его пухлой физиономии, как и раньше, не было заметно никаких признаков эмоций.

Повествование Рейневана было, надо понимать, только вступлением к основному делу – попытке вовлечь Шарлея в наступательную операцию против Стерчей. Конечно, из этого ничего не получилось. Даже когда Рейневан вздумал прельстить демерита возможностью заработать крупные деньги, понятия, впрочем, не имея, откуда в случае успеха возьмется такая сумма. Однако проблема носила чисто академический характер, поскольку Шарлей от пожертвования отказался. Разгорелся спор, в котором диспутанты активно пользовались классическими цитатами – от Тацита до Екклезиаста.

– *Vanitas vanitatum,* Рейнмар! Суета сует! Не будь опрометчивым, гнев таится в груди глупцов. Запомни – *melior est cards vivus leone mortuo,* лучше живая собака, чем мертвый лев.

– Почему ж?

– Если ты не откажешься от глупых планов мести, то распрощаешься с жизнью, ибо такие планы для тебя – верная смерть. А меня, если не убьют, снова засадят в тюрьму. Но на этот раз не на отдых у кармелитов, а в застенок, *ad carcerem perpetuum.* [207] Либо, что они считают милосердием, на долголетнее *in pace*[208] в монастыре. Ты знаешь, Рейневан, что значит *in pace?* Это погребение заживо. В подземелье, в такой тесной и низкой келье, что там можно только сидеть, а по мере накопления экскрементов приходится все больше горбиться, чтобы не скрести теменем о потолок. Ты, похоже, рехнулся, если думаешь, что я пойду на такое ради твоего дела. Дела туманного, чтобы не сказать: вонючего.

– Что ты называешь вонючим? – возмутился Рейневан. – Трагическую смерть моего брата?

– Сопутствующие обстоятельства.

Рейневан стиснул зубы и отвернулся. Какое-то время глядел на гиганта Самсона, сидящего на пне. «Он выглядит как-то иначе. Правда, физиономия по-прежнему кретинская, но что-то в ней изменилось. Что?»

– В обстоятельствах смерти Петерлина, – заговорил он, – нет ничего неясного. Его убил Кирьелейсон, Кунц Аулок, *et suos complices. Ex subordinatione*[209] и за деньги Стерней. Стерчи должны понести…

– Ты не слушал, что говорила Дзержка, твоя свойственница?

– Слушал. Но значения не придавал.

Шарлей вытащил из вьюков и распечатал бутыль, вокруг

разошелся аромат наливки. Бутыли, вне всякого сомнения, не было среди прощальных бенедиктинских даров. Рейневан понятия не имел, когда и каким образом демерит завладел ею. Но подозревал наихудшее.

– Большая ошибка. – Шарлей глотнул из бутыли, подал ее Рейневану. – Большая ошибка не слушать Дзержки, она обычно знает, что говорит. Обстоятельства смерти твоего брата весьма туманны, парень. Во всяком случае, не настолько ясны, чтобы сразу начинать кровную месть. У тебя нет никаких доказательств вины Стерчей. *Tandem,* у тебя нет никаких доказательств вины Кирьелейсона. Да и вообще *ad hoc casu*[210] нет даже предпосылок и мотивов.

– Ты что… – Рейневан поперхнулся наливкой, – что ты несешь? Аулока и его банду видели в районе Бальбинова.

– Как доказательство *non sufficit.*[211]

– У них был мотив.

– Какой? Я внимательно выслушал твой рассказ, Рейнмар. Кирьелейсона наняли Стерчи, свояки твоей любезной. Чтобы он схватил тебя живым. Во что бы то ни стало живым. События в той корчме под Бжегом, несомненно, это доказывают. Кунц Аулок, Сторк и де Барби – профессионалы, делают только то, за что им заплачено. А заплачено им за тебя, а не за твоего брата. Зачем им оставлять за собой труп? Оставленный на пути *cadaver*[212] для профессионалов лишняя головная боль: грозит преследование, закон, месть… Нет, Рейнмар, тут нет логики ни на грош.

– Тогда кто же, по-твоему, убил Петерлина? Кто? *Qui bono?*[213]

– Вот именно. Есть смысл об этом подумать. Надо, чтобы ты побольше рассказал мне о брате. По пути в Венгрию, разумеется. Через Свидницу, Франкенштейн, Нису и Олаву.

– Ты забыл о Зембице.

– Точно. Но ты не забыл. И, боюсь, не забудешь. Интересно, когда он это заметит?

– Кто? Что?

– Бенедиктинский Самсон Мёдоед. В том пне, на котором он сидит, шершни устроили себе гнездо.

Гигант вскочил. И снова сел, поняв, что попал в ловушку.

– Так я и думал, – осклабился Шарлей. – Ты понимаешь латынь, братец.

К величайшему изумлению Рейневана, великан ответил улыбкой на улыбку.

– *Mea culpa.*[214] – Его акценту позавидовал бы сам Цицерон. – Хотя это ведь не грех. А если даже и так, то кто же *sine peccato est?*[215]

– Я б не сказал, что подслушивать чужие разговоры, прикрывшись незнанием языка, большое достоинство.

– Это верно, – слегка наклонил голову Самсон. – И я уже признал свою вину. А чтоб не плодить провинностей, сразу предупреждаю, что, перейдя на французский, вы тоже ничего не добьетесь. Я знаю его.

– Вот как. – Голос Шарлея был холоден как лед. – *Est-ce vrai?* Действительно.

– Действительно. *On dil, etil est verité.*[216]

Какое-то время стояла тишина. Наконец Шарлей громко кашлянул.

– Английским, – рискнул он, – ты, не сомневаюсь, владеешь так же хорошо?

– *Ywis,* – ответил, не заикнувшись, гигант. – *Herkneth, this is the point to speken short and plain. That ye han said is right enoug. Namore of this.*[217] Этого достаточно, ибо если б я даже говорил всеми языками человеческими и ангельскими… то я – медь звенящая или кимвал звучащий.[218] Поэтому, вместо того чтобы упражняться в красноречии, перейдем к делу, ибо время не терпит. Я шел за вами не удовольствия ради, а ведомый жестокой необходимостью.

– В самом деле? А в чем, если дозволено будет узнать, состоит эта *dira necessitas?*[219]

– Посмотрите на меня внимательно и скажите, положа руку на сердце, вы хотели бы так выглядеть?

– Не хотели бы, – разоружающе честно ответил Шарлей. – Однако ты обращаешься не по адресу, братец. Своей внешностью ты обязан исключительно собственным папе и маме. А опосредованно – Творцу, хоть многое, похоже, этому противоречит.

– Моей внешностью, – Самсон совершенно не обратил внимания на насмешку, – я обязан вам. Вашим идиотским экзорцизмам. Намутили вы, парни, и немало. Пора взглянуть правде в глаза и поразмыслить о том, как скорректировать то, что вы устроили. Да неплохо бы подумать и о возмещении ущерба тому, кому вы его причинили.

– Понятия не имею, о чем ты, – заметил Шарлей. – Ты, дружок, говоришь на многих языках человеческих и ангельских, но на всех невразумительно. Повторяю: я понятия не имею, о чем ты. Клянусь всем, что мне дорого, то есть моим дряхлым кутасом… /е *jure da sur mon coullon.*[220]

– Какое красноречие, какой ораторский пыл, – прокомментировал великан. – А смекалки ни на грош. Ты что, действительно не понимаешь, что произошло в результате ваших

холерных заклинаний?

– Я… – пробормотал Рейневан. – Я понимаю… Во время экзорцирования… что-то стряслось…

– Вот извольте, – взглянул на него гигант, – как торжествует молодость и университетское образование. Если учесть колоквиализмы,[221] скорее всего пражское. Да, да, юноша. Инкантация[222] и заклинания могут давать побочные эффекты. Библия говорит: молитва смиренного пробьет облака. Вот она и пробила.

– Наши экзорцизмы… – прошептал Рейневан. – Я чувствовал это. Чувствовал неожиданный прилив Силы. Но разве возможно, чтобы… Разве возможно…

– *Certes.*[223]

– Не будь ребенком, Рейнмар, не дай себя облапошить, – спокойно сказал Шарлей. – Не позволяй ему обмануть себя. Он над нами смеется. Прикидывается. Изображает из себя дьявола, случайно вызволенного силой наших экзорцизмов. Демона, призванного с того света и пересаженного в телесную оболочку Самсона Мёдоеда, монастырского идиота. Прикидывается инклюзом,[224] которого высвободили наши заклинания из драгоценного камня, джинном, выпущенным из амфоры. Что я еще упустил, пришелец? Что ты такое? Кто ты такой? Возвращающийся из Авалона король Артур? Огер Датчанин? Барбаросса, явившийся из Киффхаузена? Вечный Жид? Странник?

– Что ж ты замолчал? – Самсон скрестил огромные руки на груди. – Ведь ты в мудрости своей неизмеримой знаешь, кто я.

– *Cedes,* – с нажимом ответил Шарлей. – Знаю. Но к нашему бивуаку подошел, братец, ты, а не наоборот. Поэтому представиться должен ты.

– Шарлей, – вполне серьезно вмешался Рейневан, – он, пожалуй, говорит правду. Мы вызвали его при помощи наших экзорцизмов. Почему ты не видишь очевидного? Почему не видишь того, что видимо? Почему…

– Потому, – прервал демерит, – что я не столь наивен, как ты. И прекрасно знаю, кто он, откуда взялся у бенедиктинцев и чего хочет от нас.

– Так кто же я? – усмехнулся гигант отнюдь не кретински. – Скажи мне, пожалуйста. И поскорее. Я прямо-таки сгораю от любопытства.

– Ты – разыскиваемый беглец, Самсон Мёдоед. Беглец. Учитывая твои колоквиализмы, скорее всего беглый священник. В монастыре ты скрывался от преследования, прикидывался глупцом, в чем, без обиды, тебе здорово помогала внешность. Явно не будучи придурком, ты мгновенно раскусил нас… точнее,

меня. Ты не напрасно здесь прислушивался. Хочешь сбежать в Венгрию, а знаешь, что в одиночку это сделать будет трудно. Наша компания, компания людей ловких и бывалых, для тебя дар с небес. Хочешь присоединиться? Я ошибаюсь?

– Да. К тому же сильно. И в принципе во всех деталях. Кроме одной: действительно, тебя я раскусил сразу.

– Ага. – Шарлей поднялся. – Значит, я ошибаюсь, а ты говоришь правду. Ну, давай докажи. Ты – существо сверхъестественное, обитатель потустороннего мира, откуда мы, сами того не желая, вытащили тебя экзорцизмами. Ну так продемонстрируй свою силу. Пусть вздрогнет земля. Пусть загремят громы и сверкнут молнии. Пусть только что закатившееся солнце взойдет снова. Пусть лягушки в болоте вместо того, чтобы квакать, хором воспоют: *«Lauda Sion Salvatorem».* [225]

– Этого я сделать не могу. Да если б и мог, ты бы мне поверил?

– Нет, – признался Шарлей. – Я по природе своей не легковерен. К тому же Священное Писание говорит: не всякому духу верьте, потому что много лжепророков появилось в мире. [226] Проще говоря: обманщик на обманщике сидит и обманщиком погоняет.

– Не люблю, – мягко и спокойно ответил гигант, – когда меня называют обманщиком.

– Ах вот как. Серьезно? – Демерит опустил руки, немного наклонился вперед. – И как же ты тогда поступаешь? Я, например, не люблю, когда мне врут в глаза. Настолько не люблю, что мне порой даже случается сломать вруну нос.

– И не пытайся.

Хотя Шарлей был почти на полголовы ниже Самсона, Рейневан нисколько не сомневался в результате боя. Такое он уже видел. Удар по голени и под колено, падающий получает сверху в нос, кость с хрустом переламывается, кровь брызжет на одежду. Рейневан был до такой степени уверен в сценарии, что удивлению его не было предела.

Если Шарлей был быстрым, как кобра, то огромный Самсон был вроде питона и двигался с поразительной гибкостью. Молниеносным контрпинком парировал пинок Шарлея, ловко блокировал предплечьем удар кулака. И отпрыгнул. Шарлей отпрыгнул тоже, сверкнув зубами из-под верхней губы. Рейневан, сам не зная, зачем это делает, одним прыжком оказался между ними.

– Мир! – раскинул он руки. – *Pax!* Господа! И не совестно? Ведите же себя как цивилизованные люди!

– Ты бьешься… – Шарлей выпрямился, – бьешься как доминиканец. Но это только подтверждает мою теорию. А вралей я по-прежнему не люблю.

– Он, – сказал Рейневан, – возможно, говорит правду, Шарлей.

– Серьезно?

– Серьезно. Такие случаи уже бывали. Существуют невидимые параллельные миры… Астральные… С ними можно связаться. Были также… хммм… случаи посещений.

– О чем ты балаболишь, надежда замужних?

– Не балаболю. Об этом говорили в Праге! Об этом упоминает Зогар. Об этом пишет в *«De universo»* Рабан Мавр. На существование параллельного духовного мира указывает также Дунс Скот. По Дунсу Скоту, *materia prima*[227] может существовать без физической формы. Неодушевленное человеческое тело всего лишь *forma corporeitatis,* несовершенное нечто, которое…

– Прекрати, Рейнмар, – нетерпеливо прервал Шарлей. – Сдержи свой раж. Ты теряешь слушателей. По крайней мере одного. Ибо я удаляюсь, дабы перед сном облегчиться в чаще. Это будет, в скобках говоря, действие во сто крат более плодотворное, нежели то, на которое мы тут тратим время.

– Пошел опростаться, – помолчав, сказал гигант. – Дунс Скот в гробу переворачивается, как и Рабан Мавр вместе с Моисеем Лионским и остальными кабалистами. Если даже такие авторитеты его не убеждают, то какие же шансы у меня?

– Ничтожные, – согласился Рейневан. – Да, по правде говоря, и мои сомнения тебе тоже развеять не удалось. И ты мало что предпринимаешь для этого. Кто ты? Откуда прибыл?

– Кто я, – спокойно ответил великан, – ты не поймешь. И откуда прибыл – тоже. А то, как я оказался именно здесь, я и сам до конца не понимаю. Как сказал поэт: не знаю, как в эти забрел я места.

> Io non so ben ridir com'i' v'intrai,
> tant'era pien di sonno a quel punto
> che la verace via abbandonai.[228]

– Для пришельца из загробного мира, – поборол изумление Рейневан, – ты недурно знаешь человеческий язык. И поэзию Данте.

– Я… – проговорил Самсон после недолгого молчания. – Я – Странник, Рейнмар. А Странники знают многое. Это называется «мудрость пройденных дорог, посещённых мест». Больше сказать тебе я не могу. Зато скажу, кто виновен в смерти твоего брата.

Ты что-то знаешь? Говори!

– Не сейчас, сначала мне все надо еще обдумать. Я слышал твой рассказ. И у меня есть определенные подозрения.

– Так говори же, ради Бога!

– Тайна смерти твоего брата скрывается в том обгоревшем документе, который ты выхватил из огня. Постарайся припомнить, что там было. Обрывки фраз, слова, буквы, что-нибудь. Расшифруй документ, и я покажу тебе виновного. Отнесись к этому как к услуге.

– А чего ради ты оказываешь мне услуги? И чего ждешь взамен?

– Взаимных.

– В каком смысле?

– Чтобы ты обернул вспять произошедшее. Дабы я мог возвратиться к моему собственному телу и моему собственному миру, необходимо по возможности точно повторить весь ритуал экзорцизма. Всю процедуру…

Их прервал долетевший из чащи дикий вой волка. И жуткий крик демерита.

Они кинулись туда; несмотря на свой вес, Самсон не дал себя опередить. Они влетели в мрачную чащу, руководствуясь криком и хрустом веток. А потом увидели.

Шарлей боролся с чудовищем.

Огромное, человекоподобное, но заросшее черной шерстью чудо-создание напало, видимо, неожиданно, со спины, сразу охватив Шарлея страшнейшим нельсоном косматых и когтистых лап. Демерит, затылок которого был прижат так, что подбородок втиснулся в грудь, уже не кричал, только хрипел, пытаясь оттянуть голову из поля досягаемости зубастой, испускающей потоки слюны пасти. Он боролся изо всех сил, но безрезультатно – чудовище держало его хваткой богомола, не давая шевелиться одной руке и ограничивая движения другой. Несмотря на это, Шарлей извивался, как ласка, и вслепую тыкал локтем в волчью морду, пытался вырваться и давал пинки, но его попытки сводили на нет спущенные ниже колен штаны.

Рейневан стоял столб столбом, парализованный ужасом и нерешительностью. Зато Самсон не колеблясь кинулся в бой.

Гигант, как опять стало видно, умел двигаться со скоростью питона и грацией тигра. Тремя прыжками он подскочил к борющимся, точно и крепко саданул чудовище кулаком прямо по волчьей морде, растерявшегося зверя схватил за косматые уши, оторвал от Шарлея, завертел, ударом ноги бросил на ствол сосны, в который противник врезался лбом с таким стуком, что посыпались иголки. От такого удара череп человека раскололся

бы, как яйцо, но волколак тут же отпрянул, взвыл по-волчьи и кинулся на Самсона. Не нападал, как можно было ожидать, раскрыв клыкастую пасть, а осыпал градом молниеносных, неуловимых глазом ударов и пинков. Самсон парировал и отбивал их, невероятно быстрый и поворотливый для своих размеров и массы.

– Он дерется… – простонал Шарлей, которого Рейневан пытался поднять. – Он дерется, как доминиканец…

Отразив серию ударов и уловив подходящий момент, Самсон кинулся в контратаку. Волколак завыл, получив прямо в нос, покачнулся от мощного удара по голени, но новый удар в грудь кинул его к стволу сосны. Опять раздался глухой удар, но и на этот раз череп выдержал. Чудовище зарычало и прыгнуло, наклонив голову на манер нападающего быка, собираясь повалить гиганта. Однако задуманный маневр успехом не увенчался. Под натиском волколака Самсон даже не дрогнул, охватил бестию руками, так они и стояли, словно Тесей и Минотавр, кряхтя, пытаясь повалить один другого и сдирая дерн ногами. Наконец Самсон осилил, отбросил чудовище и ударил его кулаком – а кулак был не хуже тарана. Глухо стукнуло – потому что сосна по-прежнему стояла на своем месте. Теперь Самсон не дал чудовищу времени для нападения. Подскочил, нанес несколько мощных и точных ударов, кинувших волколака на четвереньки. При этом Самсон оказался позади него. Зад чудовища, не покрытый шерстью и красный, представлял собой отличную мишень, промахнуться было невозможно, а башмаки у Самсона были тяжелые. Получив пинок, волколак завизжал и полетел, уже в четвертый раз врезавшись лбом в ствол злосчастной сосны. Самсон дал ему подняться лишь настолько, чтобы зад снова стал доступной целью. И пнул еще раз, вложив в пинок еще больше силы. Волколак скатился с бережка, плюхнулся в речку, оленем выскочил из нее, прошлепал через болото, с треском и хрустом продрался сквозь лозняк и умчался в бор. Завыл только еще раз. Вдалеке. Скорее – жалобно.

Шарлей встал. Он был бледен. У него дрожали руки и подкашивались ноги. Но он быстро пришел в себя. Только тихо ругался, потирая и массируя шею.

Подошел Самсон.

– Ты цел? – спросил он. – Невредим?

– Обманом меня взял, сукин сын, – оправдывался демерит. – С заду зашел… Ребра мне чуточку помял… Но я все равно управился бы с ним. Если б не штаны… Я бы справился…

И тут же смутился под многозначительными взглядами.

– Хреново было, – признался он. – Чуть шею мне не свернул.

Благодарю за помощь, дружище. Ты спас меня. Я мог, что уж говорить, запросто распрощаться с жизнью.

– Жизнь жизнью, – прервал Самсон, – но задницы своей ты бы нетронутой не унес. Здесь этого ликантропа знают, вся округа знает. Будучи человеком, он тоже питал любовь к извращениям, и в волчьей шкуре это у него осталось. Теперь вот подстерегает таких, которые вроде тебя скидают штаны и раскрывают… э… прости, свой междужопок. Привык, паскудник, сзади схватить и сковать движения… А потом… Сам понимаешь.

Шарлей, несомненно, понимал, потому что заметно вздрогнул. А потом усмехнулся и протянул гиганту правую руку.

* * *

Полный месяц колдовско светил, бегущая по дну котловинки речка сверкала в его свете, как меркурий[229] в тигле алхимика. Костер постреливал языками пламени, сыпал искрами, потрескивали поленья и смолистые ветки.

Шарлей не проронил ни единого ехидного замечания, ни одного слова недовольства – ограничился тем, что крутил головой и несколько раз вздохнул, чем проявил свое сомнение в целесообразности мероприятия. Но участвовать в нем не отказался. Рейневан же взялся за дело с энтузиазмом. И оптимизмом. Преждевременным.

По просьбе странного гиганта они повторили весь ритуал экзорцирования у бенедиктинцев, так как, по мнению Самсона, нельзя было исключить, что таким образом снова случится пересадка, то есть он вернется в свое привычное бытие, а монастырский кретин – в свое большое тело. Поэтому они повторили экзорцизм, стараясь ничего не упустить. Ни цитат из Евангелия, ни из молитвы Михаилу Архангелу, ни из «Пикатрикса», переведенного ученым королем Леона и Кастилии. Ни из Исидора Севильского, ни из Цезаря Гайстербахского. Ни из Рабана Мавра, ни из Михаила Пселла.

Не забыли повторить и заклинания – против Ахарона, Эгея и Гомуса и против Фалея, Ога, Пофиеля и ужасного Семафора. Испробовали все, не упустив ни «джобса, хопса», ни «гакс, пакс, макс», ни «хау-хау-хау». Рейневан даже с величайшим усилием вспомнил и построил арабские – или псевдоарабские – сентенции, почерпнутые из Аверроэса, Авиценны и Абу Бакра Мухаммеда ибн Закария аль-Рази, известного в западном мире как Разес.

Впустую.

Не удалось уловить никаких признаков дрожи и шевеления

Силы. Не произошло ничего, если не считать долетающего из леса стрёкота птиц и фырканья лошадей, напуганных воплями экзорцистов. Странный же пришелец как был Самсоном, гигантом из бенедиктинского монастыря, так им и остался. Если даже принять, что в отношении невидимых миров, параллельных бытий и космосов не ошибались ни Дунс Скот, ни Рабан Мавр, ни даже Моисей Лионский вкупе с остальными кабалистами, то добиться новой пересадки не удалось. Как ни удивительно, но самый более других заинтересованный казался менее других разочарованным.

– Подтверждается тезис, – сказал он, – что в магических заклинаниях значение слов и вообще звуков играет весьма незначительную роль. Решающим здесь является духовная предрасположенность, решительность, усилие воли. Мне кажется…

Он осекся, словно ожидал вопросов или комментариев. Но не дождался. И докончил:

– У меня нет другого выхода, кроме как держаться вас. Придется сопровождать вас, надеясь, что когда-нибудь повторится то, чего кому-то из вас – либо вам обоим – удалось случайно достигнуть в монастырской часовне.

Рейневан беспокойно взглянул на Шарлея, но демерит молчал. Он молчал долго, поправляя нашлепку из листьев подорожника, которую Рейневан приложил к его поцарапанному и искусанному затылку.

– Что ж, – сказал он наконец, – я твой должник. Отложив в сторону сомнения, которые, братец, развеять тебе удалось не до конца, скажу: если хочешь присоединиться к нам – я не возражаю. Кто бы ты ни был, черт с тобой. Но ты сумел доказать, что в пути от тебя больше пользы, чем вреда. В смысле: ты скорее поможешь, чем помешаешь.

Гигант молча поклонился.

– Так что, – продолжал демерит, – вместе нам будет хорошо и весело странствовать. Если, конечно, ты соизволишь воздержаться от нарочитой демонстративности и публичных заявлений о своем внетутошнем происхождении. Тебе следует – прости за откровенность – вообще воздерживаться от каких-либо заявлений, ибо твои высказывания весьма шокирующе не совпадают с твоей внешностью.

Гигант поклонился снова.

– Мне, повторяю, в общем-то безразлично, кто ты таков, исповеди или признаний я не ожидаю и не требую. Но хотел бы знать, каким именем тебя называть.

– «Не спрашивай Странника об имени, оно – тайна», –

процитировал Рейневан слова лесной ведьмы-прорицательницы.

– Воистину, – улыбнулся гигант. – *Nomen meum quod est mirabile…* Совпадение любопытное и совершенно очевидно не случайное. Ведь это «Книга судей Израилевых». Слова ответа, который на свой вопрос получил Маной, отец Самсона. Так что сохраним Самсона, это имя ничуть не хуже других. А прозвище, ну что ж, за прозвище я могу поблагодарить твои, Шарлей, фантазию и изобретательность… Хоть, признаюсь, при одной мысли о мёде меня тошнит… Всякий раз, как только вспомню о своем пробуждении в часовне с липким кувшином в руке… Но принимаю. Самсон Медок. К вашим услугам.

Глава четырнадцатая,

в которой описываются события того же вечера, что и в предыдущей, но в другом месте: в большом городе, расположенном примерно в восьми милях – полета ворона – к северо-востоку. Если взглянуть на карту – к чему автор горячо призывает читателя, – станет ясно, о каком городе идет речь

Опускающийся на колокольню церкви стенолаз распугал грачей, стая черных птиц взлетела, громко крича, и спланировала вниз, на крыши домов, вращаясь, как летящие с пожара лепестки сажи. У грачей был численный перевес, и они не так-то легко позволяли согнать себя с колоколен и, уж конечно, ни за что не капитулировали бы перед обычным стенолазом. Но это не был обычный стенолаз, грачи поняли сразу.

Сильный ветер дул над Вроцлавом, гнал темные тучи со стороны Слёнжи, под порывами ветра морщинилась серо-синяя вода Одры, раскачивались ветки верб на Солодовом Острове, волновались камышники между старицами. Стенолаз раскинул крылья, бросил скрипучий вызов кружащим над крышами грачам, взвился в воздух, облетел колокольню, сел на карниз. Протиснулся сквозь резной каменный масверк окна, рухнул в темную бездну колокольни, полетел вниз, выкручивая головокружительную спираль вдоль деревянной лестницы.

Опустился, колотя крыльями, и, топорща перья, сел на пол нефа, почти тут же изменил внешность, превратившись в черноволосого, всего в черном мужчину.

Со стороны алтаря приближался, шлепая сандалиями и бормоча что-то под нос, ризничий, старичок с бледной пергаментной кожей. Стенолаз гордо выпрямился. Ризничий, увидев его, побледнел еще больше, перекрестился, низко склонил голову и быстро убрался в ризницу. Однако стук его сандалий потревожил того, с кем Стенолаз хотел встретиться. Из-под арки, ведущей в часовенку, беззвучно вышел мужчина с короткой остроконечной бородой, обернутый плащом со знаком красного креста и звездами. Вроцлавская церковь Святого Матфея принадлежала госпитальерам *cum Cruce et Stella,*[230] их приют размещался при церкви.

– *Adsumus,* – вполголоса произнес Стенолаз.

– *Adsumus,* – тихо ответил Крестоносец со Звездами, сводя ладони. – Во имя Господа.

– Во имя Господа. – Стенолаз непроизвольно по-птичьи пошевелил головой и руками. – Во имя Господа, брат. Как идут дела?

– Мы постоянно в готовности. – Госпитальер продолжал говорить тихо. – Люди понемногу приходят. Мы тщательно записываем все, о чем они доносят.

– Инквизиция?

– Ничего не подозревает. Они открыли новые собственные пункты доносительства в четырех церквях: у Войцеха, Винцента, Лазаря и Девы Марии на Песке. Так что, думаю, не сообразят, что дополнительно действует наш. В те же дни и в то же время, по вторникам, четвергам и воскресеньям…

– Я знаю когда, – бесцеремонно прервал Стенолаз. – Я прибыл как раз в нужную пору. Посижу, послушаю, узнаю, что беспокоит общество.

Не прошло и трех пачежей, как перед решеткой бухнулся на колени первый клиент.

– …у брата Тита нет уважительности к начальству, никого он не почитает… Однажды, Господи прости, накричал на самого приора, что тот, мол, нетверёзым мессу служит, а ведь приор-то всего ничего тогда испил, ну что это за питье такое – кварта[231] на троих? А брат Тит без всякого уважения… Тогда приор повелел внимательнее к нему присматриваться… И потайно, прости Господи, евонную келью осмотреть… И оказалися тама книги и прочее всякое под кроватью спрятано. Трудно поверить *«Trialogus»* Виклифа… *«De ecclesia»* Гуса… Писания лоллардов и вальденсов… А к тому же *«Postilla apocalipsim»,* кое писал Петр Оливи, проклятый еретик, апостол бегардов и иоахимитов, у кого это есть и кто читал, тот, несомненно, сам есть бегард тайный. А поелику начальство велело на бегардов доносить… Вот я и доношу… Господи, прости…

– …утаил, что у него брат за границей, в Чехии. А было что утаивать, потому как брат его до девятнадцатого года был дьяконом у Святого Штефана в Праге, да и теперь тоже служит попом, но уже в Таборе, у Прокопа. Бороду носит, молебны в голом поле без альбы[232] и орнаты[233] читает и комунии под обоими видами совершает. Разве ж добрый католик, спрашиваю я себя, станет утаивать, что у него есть такой брат? Разве ж может, спрашиваю я себя, добрый католик вообще иметь такого брата?

– …и кричал, что скорее плебан собственное ухо увидит, нежели от него десятину получит. И чтобы мор нашел на тех

попов дьявольских и что гуситов на них надобно и чтобы те как можно шибчее из Чехов пришли. Так кричал, клянусь всеми реликвиями. И еще то скажу, что он, ворюга, козу мою украл. Говорит, мол, неправда, мол, это его коза, да только я-то свою козу узнаю, потому как, понимаете, у нее черное пятнышко на конце уха имеется.

– Я, ваша милость, на Магду жалуюсь… На подстрекательницу, значит. Потому как она потаскуха бесстыдная… Ночью, когда ее деверь на лежанке прихватит, так охает, стонет, ахает, кричит, будто кошка мяучит. Ладно б ночью, так где там, бывает и днем на огороде, когда думает, что никто не видит… Бросит мотыгу, наклонится, схватиться за плетень, а деверь, юбку ейную до спины задрав, как тот козел ее уделывает… Тьфу, срамотища… А у моего мужика, гляжу, глаза горят и только знай облизывается… Тогда я ей и говорю, мол, имей приличие, поцьпега, ты чего чужим мужьям головы кружишь? А она на это, мол, услади мужика как следовает, так он не станет на других поглядывать и ухо наставлять, когда другие «шерсть чешут». А еще сказала, что молчком заниматься любовью и не помыслит, потому как ей приятно, а когда приятно, то она стонет и кричит. А ежели поп в церкви сказал, что, мол, такое удовольствие грех, так, значит, он либо дурень, либо сбесился, потому что удовольствие грехом быть не может, потому как сам Господь Бог так все сотворил. А когда я все это соседке передала, она мне и говорит, что такие слова есть ересь и надыть нажаловаться на стерву, прости Господи. Ну, вот я и жалуюсь…

– …болтал, что в церкви, значит, на алтаре никак не может быть тело Христово, потому что хоть и был Иисус велик, как наш, к примеру, собор, то все равно тела бы его не хватило на все мессы. И уж давно, значит, попы его сами бы сожрали. Так брехал, этими самыми словами, чтоб я сдох, ежели лжу, помоги мне Бог и Крест святой. А когда его уже на костер поведут и спалят, то покорно прошу, чтобы те его два морга земли, что подле ручья, моими были… Ведь говорят, что заслуги, значит, будут зачтены.

– …Дзержка Збылютова из Шарады, вдова, коя после смерти супруга переменилась на де Вирсинг, конный завод после покойного приняла и лошадьми торгует. Это слыхано ль дело, чтобы баба промыслом и торгом занималась? Нам конкуренцию, значит, добрым католикам, творила. Почему у нее так хорошо все идет, а? Когда у других не идет? Потому что она чешским гуситам лошадей продает. Еретикам!

– …только что на сиенском соборе принято и королевскими эдиктами подтверждено, что с гуситской Чехией всякое общение запрещено и кто с гуситами торгует, должен быть телом и имуществом покаран. Даже этот польский безбожник Ягелло инфамией,[234] изгнанием, лишением чести и привилегий карает тех, кто с еретиками сносится, свинец, оружие либо же провиант им продает. А у нас, в Силезии? Насмехаются вовсю над запретами зазнавшиеся господа купцы. Говорят: главное – доход, а как его получить, то хоть бы и с дьяволом. Хотите имена? Пожалуйста: Томас Гернроде из Нисы, Миколай Ноймаркт из Свидницы, Гануш Трост из Рацибужа. Этот Трост, добавлю, клеветал на священников, что-де распоясались, свидетелей тому будет множество, потому что происходило сие в городе Вроцлаве, в корчме «Под головой мавра» на Смольной площади *vicesima prima Iulli*[235] в вечерние часы. Да, совсем было забыл, с Чехией еще торгует некий Фабиан Пфефферкорн из Немодлина. А может, он уже помер?

– …говорят, Урбан Горн. Знают его, возмутитель он и поджигатель, говорят, еретик и выкрест. Вальденс! Бегард! Мать его была бегинкой, ее спалили в Свиднице, а прежде она призналась на пытках в мерзких делишках. Звали ее Рот, Малгожата Рот. Этого Горна, то бишь Рота, я в Стшелине собственными глазами видел. На бунт подбивал, над папой измывался. За ним волочился какой-то Рейнмар де Беляу, дальний родственник каноника при Яне Крестителе. Один другого стоит, сплошь выкресты и еретики…

Уже смеркалось, когда последний клиент покинул церковь Святого Матфея. Стенолаз вышел из исповедальни, потянулся, передал бородатому крестовику со звездами исписанные листки.

– Приор Добенек еще не поправился?

– Не поправился, – ответил госпитальер. – Все еще немощью уложен. Так что практически инквизитором а *Sede Apostolica* является Гжегож Гейнч. Тоже доминиканец.

Госпитальер слегка скривил губы, как бы почувствовал в них что-то невкусное. Стенолаз это заметил. Госпитальер заметил, что Стенолаз это заметил.

– Молоденький он, этот Гейнч, – пояснил он, немного помедлив. – Формалист. На все требует доказательств, даже редко велит брать на пытки. То и дело подозрительного признает невинным и выпускает. Мягок чрезмерно.

– Я видел пепелища от костров у вала за Святым Войцехом.

– Всего-то два костра, – пожал плечами госпитальер. – За

последние три недели. При брате Швенкефельде было бы двадцать. Правда, вот-вот будет сожжен третий. Его преподобие поймал колдуна. Вроде бы с потрохами продавшегося дьяволу. Его сейчас подвергают болезненному допросу.

– У доминиканцев?

– В ратуше.

– Гейнч там?

– В порядке исключения, – скверно усмехнулся крестовик, – там.

– А что за колдун?

– Захарис Фойгт, аптекарь.

– Говоришь, брат, в ратуше?

– В ней.

Гжегож Гейнч, в принципе обычный *inquisitor a Sede Apostolica specialiter deputatus*[236] во Вроцлавской епархии, действительно был человеком исключительно молодым. Стенолаз не дал бы ему больше тридцати, а значит, они были ровесниками. Когда Стенолаз спустился в подвал ратуши, инквизитор подкреплялся. Высоко подвернув рукава, он жадно выгребал прямо из горшка кашу со шкварками. При свете факелов и свечей сцена трапезы выглядела живописно и лирично. Ребристый свод, голые стены, дубовый стол, распятие, подсвечники, обросшие фестонами воска, пятно белой доминиканской рясы, цветная глазурь глиняных сосудов, юбка и передник прислуживающей девки – все это смотрелось как на миниатюре из служебника. Недоставало только виньеток.

Однако благостное настроение портили и нарушали пронзительные вопли и крики боли, через правильные промежутки времени доносившиеся из еще глубже расположенного подземелья, вход в которое, словно врата ада, освещали красные мерцающие всполохи огня.

Стенолаз задержался у ступеней. Ждал. Инквизитор ел. Не спешил. Съел все, до самого дна, даже выскреб ложкой то, что пригорело. Лишь после этого поднял голову. Кустистые, грозно сросшиеся брови придавали его лицу серьезность, из-за чего он казался старше, чем был в действительности.

– От епископа Конрада, верно? – догадался он. – Ваша светлость, господин…

– Фон Грелленорт, – напомнил Стенолаз.

– Конечно, конечно. – Гжегож Гейнч легким движением пальцев подозвал девку, чтобы та стерла со стола. – Биркарт фон Грелленорт, доверенный и советник епископа. Присаживайтесь.

Истязаемый завыл в подземелье, закричал дико и невнятно.

Стенолаз сел. Инквизитор отер с подбородка остатки жира. А немного погодя проговорил:

– Епископ, кажется, покинул Вроцлав? Выехал?

– Вы изволили сказать, ваше преподобие.

– Вероятно, в Нису? Навестить госпожу Агнешку Зальцведель?

– Его милость, – Стенолаз никак не прореагировал на произнесенное инквизитором имя последней епископской любовницы, удерживаемое в глубочайшей тайне, – его милость не привык информировать меня о таких деталях. Я ими также не интересуюсь. Тот, кто сует нос в дела инфулатов, рискует его лишиться. А мне мой нос дорог.

– Не сомневаюсь. Но я имею в виду вовсе не сенсации, а лишь здоровье его милости. Ведь епископ Конрад человек уже не первой молодости и должен избегать избытка напряженных турбаций[237]… А ведь прошла всего неделя после того, как он удостоил чести Ульрику фон Райн. К тому же визиты к бенедиктинцам… Вы удивлены, господин рыцарь? Инквизитор обязан знать все.

Из подземелья вырвался крик. Отрывистый, переходящий в хрип.

– Обязан знать все, – повторил Гжегож Гейнче. – Поэтому я знаю, что епископ Конрад странствует по Силезии не только ради того, чтобы посещать замужних женщин, молодых вдов и монашенок. Епископ Конрад готовит новый поход на Брумовско. Пытается склонить к сотрудничеству Пшемека Опавского и господина Альбрехта фон Колдица. Заручиться вооруженной поддержкой господина Путы из Частоловиц, клодненского старосты.

Стенолаз не вымолвил ни слова и не опустил глаз.

– Епископу Конраду, – продолжал инквизитор, – кажется, не мешает то, что король Зигмунт и князья Империи пришли к совершенно иному решению, а именно, что не следует повторять ошибок предыдущих крестовых походов. Что надлежит поступать обдуманно и без эйфории. Что необходимо подготовиться. Заключить союзы и альянсы, собрать средства, перетянуть на нашу сторону моравских панов. И временно воздержаться от военных авантюр.

– Его милости епископу Конраду, – прервал слова Гейнча Стенолаз, – нет необходимости оглядываться на князей Империи, ибо в Силезии он им ровня… если не выше их. К тому же добрый король Зигмунт, кажется, занят… Будучи форпостом христианства, он с оружием в руках занимается турками на Дунае. Хочет получить новый Некрополь. А может, пытается забыть о других взбучках, тех, которые три года тому получил от

гуситов под Немецким Бродом, может, силится забыть, как бежал оттуда. Но, надо думать, все еще помнит, ибо не шибко спешит в новый чешский поход. Следовательно, епископ Конрад, видит Бог, пытается напугать еретиков. Вы ведь знаете, ваше преподобие, *si vis pacem, para helium.*[238]

– Я знаю также, – инквизитор спокойно выдержал взгляд Стенолаза, – *что nemo sapiens, nisi patiens.*[239] Но оставим это.

У меня было к епископу несколько дел. Несколько вопросов. Но коли он выехал… Что делать… Ибо рассчитывать на то, что на мои вопросы ответите вы, господин Грелленорт, я, пожалуй, не могу. Не так ли?

– Все зависит от характера вопросов, которые ваше преподобие соизволит задать.

Инквизитор некоторое время молчал. Походило на то, что ждал, когда истязаемый в подземелье человек закричит снова.

– Речь идет, – проговорил он, когда крик возобновился, – о странных случаях смертей, загадочных убийствах… Господин Альбрехт фон Барт, убитый под Стшелином. Господин Петер де Беляу, убитый где-то под Генриковом. Господин Чамбор из Гессенштайна, тайно зарезанный в Собутке. Купец Ноймаркт, на которого напали и убили на свидницком тракте. Купец Пфефферкорн, убитый на самом пороге немодлинской колегиаты.[240] Странные, таинственные, загадочные смерти, нераскрытые убийства случаются последнее время в Силезии. Епископ не мог об этом не слышать. Вы тоже.

– Ну что ж, не возражаю, кое-что дошло до нас, – равнодушно согласился Скалолаз. – Однако слишком-то мы головы себе этим не забиваем. Ни епископ, ни я. С каких это пор убийство стало таким уж событием? То и дело кто-то кого-то убивает. Вместо того чтобы любить ближнего своего, люди ненавидят и готовы за любой пустяк отправить его на тот свет. Враги есть у каждого, а в мотивах никогда недостатка не было.

– Вы прямо-таки читаете мои мысли, – столь же равнодушно бросил Гейнче. – И срываете слова прямо у меня с языка. То же самое на первый взгляд относится и к невыясненным убийствам. Казалось бы, нет ни мотива, ни врага, на которого сразу падает подозрение. Там соседские неурядицы, тут супружеские измены, здесь кровная месть, вроде бы виновные совсем рядом, рукой подать, все ясно. А присмотришься повнимательней… и ничего не ясно. Именно это в подобных убийствах и необычно.

– Только это?

– Не только. Удивляет поразительная, прямо-таки невероятная искушенность преступника… либо преступников. Во всех случаях нападения совершались неожиданно, просто как

гром среди ясного неба. Буквально с ясного. Потому что все убийства приходятся на полдень. Почти точно на полдень.

– Интересно…

– Именно это я имел в виду.

– Интересно, – повторил Стенолаз, – нечто другое. То, что вы не распознаете слов псалма. Вам ни о чем не говорит *sagitta volans in die.*[241] Стрела, поражающая словно молния, падающее с ясного неба острие, несущее смерть? Вам ничего не напоминает демон, уничтожающий в полдень?[242] Удивляюсь.

– Стало быть, демон. – Инквизитор поднес сведенные ладони ко рту, но не сумел полностью заслонить саркастическую улыбку. – Демон рыскает по Силезии и совершает преступления. Демон и демоническая стрела, *sagitta volans in die.* Ну, ну. Невероятно.

– *Haeresis est maxima, opera daemonum non credere,*[243] – немедленно парировал Стенолаз. – Неужели я, простой смертный, должен напоминать об этом папскому инквизитору?

– Не должен. – Взгляд инквизитора стал жестким, в голосе прозвучала опасная нотка. – Никак не должен, господин фон Грелленорт. Не напоминайте мне, пожалуйста, больше ни о чем. Лучше сосредоточьтесь на ответах на мои вопросы.

Полный страдания вопль из подземелья достаточно многозначительно сопроводил сказанное. Но Стенолаз даже не вздрогнул.

– Я не в состоянии, – проговорил он, – помочь вашему преподобию. И хоть, как я уже сказал, слухи об убийствах дошли до меня, имена упомянутых вами жертв мне ни о чем не говорят. Я никогда не слышал об этих людях, сообщения об их судьбах для меня новость. Мне кажется, нецелесообразно расспрашивать о них его милость епископа. Он ответит то же самое, что и я. И добавит вопрос, задать который я не осмеливаюсь.

– А вы осмельтесь. Вам это ничем не грозит.

– Епископ спросил бы: чем упомянутые фон Беляу, Пфефферкорн, тот, не упомнил, Чамбор или Бамбор заслужили внимания Священного Официума?

– Епископу, – сразу же ответил Гейнче, – тут же сказали бы, что у Священного Официума в отношении упомянутых лиц имелись *suspicio de haeresi.*[244] Подозрения о прогуситских симпатиях. В подчинении еретическому влиянию. В контактах с чешскими отщепенцами.

– Надо же! Какие, однако, негодники. Стало быть, если они убиты, то у Инквизиции нет поводов их оплакивать. Епископ, насколько я его знаю, несомненно, сказал бы, что только рад этому и что кто-то выручил Официум.

– Официуму не нравится, когда его выручают. Так ответил бы я епископу.

– А епископ заметил бы, что в таком случае Официум должен действовать четче и оперативнее.

Из подземелья снова вырвался крик – на этот раз гораздо более громкий, чудовищный, протяжный и продолжительный. Тонкие губы Стенолаза скривились в пародии на улыбку.

– Ого, – указал он движением головы. – Раскаленное железо. До того было обычное страппадо и тиски на пальцах ног и рук. Правда?

– Это закоренелый грешник, – равнодушно ответил Гейнче. – *Haereticus pertinax*. Впрочем, не будем уклоняться от темы, рыцарь. Соблаговолите передать его милости епископу Конраду, что Святая Инквизиция с возрастающим недовольством наблюдает за тем, как таинственно гибнут люди, на которых имеются доносы. Люди, подозреваемые в еретичестве, контактах и сговоре с еретиками. Эти люди погибают прежде, чем Инквизиция успевает их допросить. Похоже, что кто-то хочет замести следы. А тому, кто заметает следы еретичества, самому трудно будет защититься от обвинения в ереси.

– Я передам это епископу слово в слово, – насмешливо улыбнулся Стенолаз. – Однако вряд ли он испугается. Он не из пугливых. Как и все Пясты.

После только что прозвучавшего вопля казалось, что громче и ужаснее пытаемый крикнуть уже не сможет. Но так только казалось.

– Если и теперь он ни в чем не признается, – сказал Стенолаз, – то не признается уже никогда.

– Мне кажется, у вас есть опыт.

– Не практический, упаси Боже. – Стенолаз скверно ухмыльнулся. – Однако практиков почитывал. Бернарда Ги, Николая Эймериха. И ваших крупных силезских предшественников: Перегрина Опольского, Яна Швенкефельда. Последнего я особенно рекомендовал бы вашему преподобию.

– Правда?

– Не иначе. Брат Ян Швенкефельд утешался и ликовал всякий раз, когда чья-то таинственная рука приканчивала мерзавца-еретика либо еретического пособника. Брат Ян от души благодарил оную таинственную руку и читал пачеж за ее благополучие. Просто становилось одним паршивцем меньше, благодаря чему у самого брата Яна оставалось больше времени на других стервецов. Ибо брат Ян считал правильным и полезным держать грешников в постоянной тревоге. Дабы, как то предписывает Книга Второзакония, грешник днем и ночью

дрожал от страха, не будучи уверенным в сохранении жизни. Чтобы утром думал: «От кого зависит, что я доживу до вечера, а вечером: Как знать, доживу ли до утра».[245]

– Любопытные вещи вы говорите, господин рыцарь. Будьте уверены, я это обдумаю.

– Вы утверждаете, – сказал после недолгого молчания Стенолаз, – и эту точку зрения подтвердили уже многочисленные папы и доктора Церкви, что колдуны и еретики – одна гигантская секта, действующая отнюдь не хаотично, а в соответствии с огромным, придуманным самим сатаною планом. Вы упорно утверждаете, что ересь и *maleficium*[246] творит одна и та же тайная, численно могущественная, объединенная, идеально устроенная, управляемая дьяволом организация. Организация, которая в ожесточенном и упорном бою последовательно реализует план ниспровержения Бога и захват власти над миром. Тогда почему же вы так горячо отвергаете предположение, что в этом бою и другая воюющая сторона… создала свою собственную… тайную организацию? Почему вам так не хочется в это верить?

– Хотя бы потому, – спокойно ответил инквизитор, – что такую точку зрения не санкционировал ни один из пап и докторов Церкви. Потому, добавлю, что Богу нет нужды ни в каких тайных организациях, имея нас, Святой Официум. Потому, добавлю еще, что слишком много я встречал сумасшедших, полагающих себя оружием Божиим, действующих как посланцы Бога и от имени Провидения. Я видел уже очень многих, которые слышали Голоса.

– Можно только позавидовать. Вы видели многих. Кто бы мог подумать, глядя на ваше юное преподобие.

– Поэтому, – Гжегож Гейнч не обратил внимание на издевку, – когда наконец ко мне в руки попадет эта *sagitta volans,* этот самозваный демон и Божие оружие… То он кончит жизнь отнюдь не мученичеством, на которое наверняка рассчитывает, а тем, что будет заперт на три замка в *Narrenturm'e.* Ибо место шута, глупца и сумасшедшего – в Башне шутов.

На ступенях, ведущих в подземелье, из которого уже долгое время не долетали крики, зашаркали башмаки.

Вскоре в зал вошел тощий доминиканец, подошел к столу, поклонился, демонстрируя испещренную коричневыми пятнами лысину под узким венчиком тонзуры.

– Ну и как, – спросил совершенно равнодушно Гейнче, – брат Арнульф? Он признался наконец?

– Признался.

– *Bene.* А то я уже начал было скучать.

Монах поднял глаза. В них не было ни равнодушия, ни усталости. Было ясно, что процедура в подземелье ратуши его нисколько не утомила и не надоела. Совсем наоборот. Было очевидно, что он с величайшим удовольствием повторил бы все снова. Стенолаз улыбнулся братской душе. Доминиканец в ответ не улыбнулся.

– И что? – подогнал инквизитор.

– Показания записаны. Он сказал все. Начиная от вызова демона, теургии и конъюрации вплоть до тетраграммации и демонологии. Сообщил содержание и обряд подписания цирографа. Описал всех, кого видел на шабашах и черных мессах. Однако не выдал, хоть мы старались, мест укрытия магических книг и гримуаров. Мы заставили его назвать имена тех, для которых он изготовил амулеты, в том числе и амулеты убивающие. Признался также, что с дьявольской помощью, используя *urim* и *thurim,*[247] принудил повиноваться и соблазнил девушку…

– О чем ты мне говоришь, братишка? – проворчал Гейнче. – Что ты несешь о демонах и девицах? Контакты с чехами. Имена таборитских шпионов и эмиссаров. Тайники контактов. Места укрытия оружия и пропагандистских материалов. Имена завербованных! Имена лиц, симпатизирующих гусизму!

– Ничего этого, – заикаясь, ответил монах, – он не выдал.

– Значит, – Гейнч встал, – завтра примешься за него снова. Господин фон Грелленорт…

– Уделите мне, – Стенолаз указал глазами на тощего монаха, – еще минутку.

Инквизитор нетерпеливым жестом отослал монаха. Стенолаз ждал, пока тот уйдет.

– Я хотел бы проявить добрую волю. Надеюсь, это останется между нами. В отношении тех загадочных смертей я хотел бы, если позволите, посоветовать вашему преподобию…

– Только не говорите, пожалуйста… – Гейнч, не поднимая глаз, барабанил пальцами по столу. – Не говорите, что всему виной евреи. Использующие *urim* и *thurim**.

– Я посоветовал бы поймать… И тщательно допросить… Двух человек.

– Имена.

– Урбан Горн, Рейнмар из Белявы.

– Брат убитого? – Гжегож Гейнче поморщился, но на это ушла лишь секунда. – Ха. Только без комментариев, без комментариев, господин Биркарт. А то вы опять готовы упрекнуть меня в незнании Священного Писания, на сей раз истории о Каине и Авеле. Так, значит, двух этих. Ручаетесь?

– Ручаюсь.

Несколько секунд они мерили друг друга колючими взглядами. «Отыщу обоих, – думал инквизитор. – И скорее, чем ты полагаешь. Это моя забота». «А моя, – думал Стенолаз, – забота в том, чтобы ты не нашел их живыми».

– Прощайте, господин Грелленорт. С Богом.

– Прощайте, ваше преподобие.

Аптекарь Захарис Фойгт стонал и охал. В келье ратушева карцера его кинули в угол, в приямок, в котором собиралась вся стекающая со стен влага. Солома здесь была гнилая и мокрая. Однако аптекарь не мог не только сменить места, но и вообще едва шевелился – у него были разбиты локти, вывернуты плечевые суставы, переломаны голени, размозжены пальцы рук, к тому же страшно горели обожженные бока и ступни. Поэтому он лежал навзничь, стонал, охал, моргал покрытыми запекшейся кровью веками. И бредил.

Прямо из стены, из покрытой плесенью кладки, непосредственно, казалось, из щелей между кирпичами, вышла птица. И тут же преобразилась в черноволосого, всего в черном человека. То есть в человекообразную фигуру. Ибо Захарис Фойгт прекрасно знал, что это не был человек.

– О мой господин, – застонал он, корчась на соломе. – О князь тьмы… О любезный мэтр… Ты пришел! Не покинул в несчастье своего верного слугу…

– Вынужден тебя разочаровать, – сказал черноволосый, наклоняясь над ним. – Я не дьявол. И не посланник дьявола. Дьявол мало интересуется судьбами единиц.

Захарис Фойгт раскрыл рот для крика, но смог только захрипеть. Черноволосый схватил его за виски.

– Место укрытия трактатов и гримуаров, – сказал он. – Сожалею, но я вынужден их из тебя извлечь. Тебе уже от книг не будет никакого проку. А мне они сильно пригодятся. А коли уж я здесь, то спасу тебя от дальнейших мучений и пламени костра. Не благодари.

– Если ты не дьявол… – Глаза теряющего власть над собой чародея испуганно расширились. – Значит, ты прибыл… От того, другого… О Боже…

– И снова тебя разочарую, – усмехнулся Стенолаз. – Этот судьбами единиц интересуется еще меньше.

Глава пятнадцатая,

в которой оказывается, что хоть понятия «рентабельное искусство» и «художественный гешефт» вовсе не должны обозначать contradictio in adiecto,[248] тем не менее в области культуры даже эпохальные изобретения не так-то легко находят спонсоров

Как и каждый большой город в Силезии, Свидница угрожала крупным денежным штрафом каждому, кто осмелится выкинуть на улицу мусор либо нечистоты. Однако незаметно было, чтобы этот запрет исполнялся неукоснительно, и даже наоборот, было ясно, что упомянутая угроза никого не волновала.

Короткий, но обильный утренний дождь подмочил улицы города, а копыта лошадей и волов быстро превратили их в дерьмо-грязево-соломенное болото. Из болота, словно колдовские острова из океанских вод, вырастали кучи отходов, богато изукрашенные различнейшими, порой весьма фантазийными экземплярами падали. По самой густой грязи прогуливались гуси, по самой жидкой – плавали утки. Люди, то и дело оступаясь, с трудом перемещались по «тротуарам» из досок и дранки. Хотя законы магистрата угрожали штрафом и за свободный выпас скотины, тем не менее по улицам во всех направлениях бегали визжащие свиньи. Свиньи казались ошалевшими, мотались вслепую на манер своих библейских пращуров из страны Гергесинской,[249] задевая пешеходов и распугивая лошадей.

Они миновали улочку Ткачей, потом громыхающую молотками Бондарную, наконец Высокую, за которой уже раскинулся рынок. Рейневана так и подмывало заглянуть в недалеко расположенную и знаменитую аптеку «Под золотым линдвурмом», поскольку он хорошо знал аптекаря, господина Христофора Эшенлёра, у которого обучался основам алхимии и белой магии. Однако отказался от своего намерения, ибо последние три недели многому научили его касательно принципов конспирации. Кроме того, Шарлей подгонял. Он не замедлил шага даже у одного из подвалов, в которых подавали пользующееся мировой славой свидницкое мартовское пиво. Быстро – насколько позволяла толкучка – они пересекли торговые ряды в галерее напротив ратуши и пошли по забитой телегами улице Крашевицкой. Затем вслед за Шарлеем вошли под низкий каменный свод, в темный туннель ворот, в котором воняло так, словно здесь испокон веков освобождались от избытка мочи

древние племена силезцев и дзядошан. Из ворот попали во двор. Тесное пространство было завалено всяческим мусором и поломанными предметами, а кошек было столько, что не постыдился бы храм богини Баст в египетском Бубастисе.

Конец двора подковой окружала внутренняя галерея, рядом с ведущей туда крутой лестницей стояла деревянная статуя, носящая слабые следы краски и позолоты – свидетельниц многих канувших в Лету веков.

– Какой-нибудь святой?

– Лука Евангелист, – объяснил Шарлей, ступая на скрипящие ступени. – Покровитель художников-маляров.

– А зачем мы сюда, к этим малярам-художникам, пришли?

– За различной экипировкой.

– Потеря времени, – решил нетерпеливый и стремящийся к своей любимой Рейневан. – Теряем время. Какая еще экипировка? Не понимаю…

– Тебе, – прервал Шарлей, – подыщем онучи. Новые. Поверь, они срочно необходимы. Да и мы вздохнем свободнее, когда ты расстанешься со старыми.

Лежащие на ступенях кошки неохотно уступали дорогу. Шарлей постучал, массивные двери отворились, и в них возник невысокий, худощавый и расчёхранный типус с синим носом, в халате, испещренном феерией разноцветных пятен.

– Мэтр Юстус Шоттель отсутствует, – сообщил он, смешно щуря глаза. – Зайдите позже, добрые… О Господи! Глазам своим не верю! Благородный господин…

– Шарлей, – быстро упредил демерит. – Надеюсь, ты не заставишь меня торчать на пороге, господин Унгер.

– А как же, а как же… Прошу, прошу…

Внутри помещения крепко пахло краской, льняной олифой и смолой, кипела активная работа. Несколько парeньков в замасленных и испачканных фартуках копошились вокруг двух странных машин. Машины были оборудованы воротами и напоминали прессы. Прессами они и были. На глазах у Рейневана из-под прижатого деревянным винтом штампа вытащили кусок картона, на котором была изображена Мадонна с Младенцем.

– Интересно.

– Что? – Синеносый господин Унгер оторвал взгляд от Самсона Медка. – Что вы сказали, молодой господин?

– Что это интересно.

– И более того. – Шарлей поднял лист, вынутый из-под другой машины. На листе отпечатались несколько ровно уложенных прямоугольников. Это были игральные карты для пикета – тузы, выжники и нижники, современные, по

французскому образцу, в цветах *pique* и *trefle*.[250]

– Полную талию, – похвалился Унгер, – стало быть, тридцать восемь карт, мы делаем за четыре дня.

– В Лейпциге делают за два.

– Но серийную дешевку, – возмутился синеносый. – С паршивых гравюр, кое-как раскрашенные, криво резанные. Наши, ты только взгляни, какой четкий рисунок, а когда я их раскрашу, получится шедевр. В наши карты играют в замках и дворцах, да что там, в кафедрах и колегиатах, а в те, лейпцигские, только лапсердаки[251] режутся в шинках да борделях…

– Ну ладно, ладно. Сколько берете за талию?

– Полторы копы грошей, если /oco-мастерская. Если franco-клиент, то плюс стоимость доставки.

– Проводите в индергмашек,[252] господин Шимон. Я там подожду мастера Шоттеля.

В комнате, через которую они проходили, было тише и спокойнее. Здесь за станками сидели трое художников. Они были так увлечены работой, что даже не повернули голов.

На доске первого художника был только грунт и эскиз, поэтому содержание будущей картины угадать было нельзя. Произведение второго было уже достаточно проработано, проступило изображение Саломеи с головой Яна Крестителя на блюде. На Саломее было ниспадающее до ног и совершенно прозрачное платье, художник позаботился о том, чтобы проступили детали. Самсон Медок хмыкнул. Рейневан вздохнул, взглянул на третью доску и вздохнул еще громче.

Картина была почти совершенно окончена и изображала святого Себастьяна. Однако Себастьян на картине принципиально отличался от привычных изображений мученика. Правда, он по-прежнему стоял у столба, по-прежнему вдохновенно улыбался, несмотря на многочисленные стрелы, вонзенные в живот и торс эфеба.[253] Впрочем, на этом подобие оканчивалось. Ибо здешний Себастьян был абсолютно гол. Он стоял, так роскошно свесив чрезвычайно толстый срам, что картина эта у любого мужчины должна была вызывать чувство собственной неполноценности.

– Специальный заказ, – пояснил Шимон Унгер. – Для монастыря цистерцианок в Тшебнице. Извольте, господа, пройти в индергмашек.

С близлежащей Котельной улицы доносился дикий грохот и лязг.

– У этих, – показал головой Шарлей, с некоторых пор что-то писавший на листке бумаги, – у этих, видать, много заказов. Бойко идут дела в котельницком деле. А как у вас, дорогой

господин Шимон?

– Застой, – довольно грустно ответил Унгер. – Заказы, правда, есть. Ну и что? Если невозможно товар развозить? Четверти мили не проедешь, а тебя уже задерживают, откуда, е, куда выспрашивают, по какому делу, в сапетах[254] и вьюках копаются…

– Кто? Инквизиция? Или Колдиц?

– И те, и другие. Попы-инквизиторы у доминиканцев, о, рукой подать, сидят. А в господина старосту Колдица ну прям дьявол вступил… И все из-за того, что недавно схватил двух чешских эмиссаров с еретическими посланиями и манифестами. Они, когда их пыточный мастер в ратуше припек, тут же показали, кто с кем сносился, кто им помогал. И у нас здесь, и в Яворе, в Рахбахе, даже по деревням, в Клечкове, в Вирах… Только здесь, в Свиднице, восьмь на кострах сгорело на выгоне перед Нижними воротами. Но всамделишная беда началась неделю назад, когда в день апостола Варфоломея, в самый полдень, на вроцлавском тракте кто-то замордовал богатого купца, господина Миколая Ноймаркта. Странное, ох, ё, странное это было дело…

– Странное? – неожиданно заинтересовался Рейнмар. – Почему?

– А потому, юный господин, что никто понять не мог, кто и зачем господина Ноймаркта убил. Одни болтали, ё, мол, рыцари-разбойники, хоть, к примеру, тот же Хайн фон Чирне или Буко Кроссиг. Другие говорили, что это Кунц Аулок, тоже тот еще бандюга. Аулок, говорят, какого-то парня по всей Силезии гоняет, потому как тот парень чью-то жену опозорил насилием и чаровством. Третьи толкуют, что непременно тот самый преследуемый парень и убил. А еще одни болтали, что убийцы – гуситы, которым господин Ноймаркт чем-то насолил. Как там было взаправду, не угадаешь, но господин староста Колдиц взбесился. Клялся, что с убийцы господина Ноймаркта, когда его поймают, живьем шкуру сдерет. А в результате товар нельзя развозить, потому что постоянно проверяют то одни, то другие, если не Инквизиция, так, ё, старостовы… Да, да.

– Да, да.

Рейневан, который уже давно что-то чертил углем на листе, вдруг поднял голову, ткнул локтем Самсона Медка.

– *Publicus super omnes,* – сказал тихо, показывая тому лист. – *Annis de sanctimonia. Positione hominis. Voluntas vitae.*

– Что?

– *Voluntas vitae.* А может, *potestas vitae.* Стараюсь воспроизвести надпись на обгоревшем листке Петерлина. Ты утверждал, что это важно. Или забыл? Мне надо было вспомнить, что там написано.

Вот я и вспоминаю.

– Ах да. Правда. Хммм… *Potestas vitae.* К сожалению, у меня это ни с чем не ассоциируется.

– А мастера Юстуса, – проговорил вполголоса Унгер, – все нет, ё, и нет.

Словно в ответ на заклинание дверь открылась, и появился человек в черной просторной, подбитой мехом делии с очень широкими рукавами. На артиста-художника он не смахивал. А смахивал на бургомистра.

– Здравствуй, Юстус.

– Клянусь костями святого Вольфганга. Павел? Ты? На свободе?

– Как видишь. А зовусь теперь Шарлеем.

– Шарлей, хммм. А твои… эээ… компаньоны?

– Тоже на свободе.

Мэтр Шоттель погладил тершегося о его щиколотку кота, появившегося неведомо откуда. Потом присел за стол, сплел руки на животе, внимательно посмотрел на Рейневана, долго, очень долго не отрывал глаз от Самсона Медка.

– Ты приехал за деньгами, – наконец с грустью в голосе угадал он. – Должен тебя предупредить…

– Что дела идет неважно, – бесцеремонно оборвал его Шарлей. – Знаю. Слышал. Вот список. Написал, утомившись ожиданием. Все, что на нем проставлено, я должен получить завтра.

Кот запрыгнул Шоттелю на колени. Гравировщик задумчиво погладил его. Долго читал. Наконец оторвал глаза от бумаги.

– Послезавтра. Завтра воскресенье.

– Верно. Забыл, – кивнул Шарлей. – Что ж, отпразднуем и мы святой день. Не знаю, когда снова загляну в Свидницу, так что грешно было бы не посетить парочку-другую холодных подвальчиков, не испробовать, как в этом году удалось мартовское. Ну, послезавтра, *maestro,* так послезавтра. В понедельник, ни днем позже. Понял?

Мэтр Шоттель утвердительно кивнул.

– Я не спрашиваю, – заговорил через минуту Шарлей, – о состоянии моего счета, ибо ни компанию распускать, ни свою долю забирать не собираюсь. Однако убеди меня, что ты заботишься о компании. Что не пренебрегаешь данными тебе некогда советами. И идеями. Идеями, которые могут быть для компании прибыльными. Знаешь, о чем я?

– Знаю. – Юстус Шоттель извлек из кошеля большой ключ. – И тотчас докажу, что твои задумки и советы принимаю близко к сердцу. Господин Шимон, достаньте, пожалуйста, из сундука и

принесите пробные образцы ксилографий. Тех, что из библейской серии.

Унгер быстро управился.

– Вот. – Шоттель разложил листы на столе. – Все сделано моей собственной рукой, ученикам не давал. Некоторые готовы под пресс, над некоторыми еще работаю. Я верю, что твоя идея заслуживает внимания. И люди будут покупать. Нашу библейскую серию. Ну, пожалуйста, оцени. Оцените, господа.

Все наклонились над столом.

– Что это… – Зарумянившийся Рейневан указал на лист, на котором была изображена нагая пара в совершенно недвузначной позе и ситуации. – Что это такое?

– Адам и Ева. Видно же. А опирается Ева на Древо познания…

– Ага.

– А здесь, извольте взглянуть, – продолжал демонстрировать гравировщик, явно гордясь своей работой, – Моисей и Огарь. Здесь Самсон и Далила. Тут Амнон и Фамарь. Вовсе недурно у меня получилось. Верно? А это…

– Ого-го! Это что такое? Что за путаница?

– Иаков, Лия и Рахиль.

– А это… – заикаясь, проговорил Рейневан, чувствуя, что кровь вот-вот прыснет у него из щеки. – Это что… Это…

– Давид и Ионафан, – беспечно пояснил Юстус Шоттель. – Но это надо еще подправить. Переделать.

– Переделай, – довольно холодно прервал Шарлей, – на Давида и Вирсавию. Потому что здесь, холера, недостает только Валаама и ослицы. Сдержи малость воображение, Юстус. Его излишек вредит, как избыток соли в супе. А это не идет на пользу делу. Впрочем, вообще-то, – добавил он, – чтобы задобрить немного обиженного художника, – *bene, bene, benissime, maestro**. Лучше, чем я ожидал.

Юстус Шоттель просветлел как любой тщеславный и обожающий похвалу артист.

– Видишь, Шарлей, я не бездельничаю и о фирме забочусь. И еще скажу тебе, что я установил очень интересные контакты, которые могут оказаться весьма выгодными для нашей компании. Понимаешь, «Под быком и ягненком» я познакомился с необычным юношей, способным изобретателем… Да что говорить, сам увидишь и услышишь. Я его пригласил. Он вот-вот подойдет. Ручаюсь, когда ты с ним познакомишься…

– Не познакомлюсь, – прервал Шарлей. – Я не хочу, чтобы этот юноша вообще видел меня здесь. Ни меня, ни моих спутников.

– Понимаю, – заверил после краткого молчания Шоттель. –

Значит, ты снова вляпался в какое-то дерьмо.

– Можно сказать и так.

– Криминальное или политическое?

– Все зависит от точки зрения.

– Ну что ж, – вздохнул Шоттель, – такие времена. То, что ты не хочешь, чтобы тебя здесь видели, понимаю.

Однако в данном случае твои опасения беспочвенны. Юноша, о котором я говорю, немец, родом из Майнца, бакалавр Эрфуртского университета. В Свиднице проездом. Никого здесь не знает. И не узнает, потому что вскоре уезжает. Есть смысл, Шарлей, с ним познакомиться, стоит задуматься над тем, что он изобрел. Это необычный, светлый ум, я бы сказал – мечтатель. Истинный *vir mirabilis.*[255] Увидишь сам.

Громко и звучно разлился звон приходского колокола. Его призыв к *Angelus*[256] подхватили колокольни остальных четырех свидницких храмов. Колокола окончательно завершили рабочий день – наконец умолкли даже работящие и шумные мастерские на Котельной улице.

Уже давно разошлись по домам художники и подмастерья мастерской Юстуса Шоттеля, так что, когда наконец явился обещанный гость, достойный знакомства светлый ум и мечтатель, в комнате с прессами оставались только сам мэтр, Шимон Унгер, Шарлей, Рейневан и Самсон Медок.

Гость действительно был человеком молодым, ровесником Рейневана. Школяр сразу признал школяра, знакомясь, гость поклонился Рейневану несколько менее чопорно, а улыбнулся несколько более искренне.

На пришельце были высокие ботинки из тисненой козловой кожи, мягкий бархатный берет и короткий плащ поверх кожаной куртки, застегивающейся на многочисленные латунные крючки. На плече висела большая дорожная торба. В общем, он больше походил на бродячего трувера, чем на школяра, – единственное, что указывало на академические связи, был широкий нюрнбергский кинжал, оружие, популярное во всех учебных заведениях Европы как среди студентов, так и у научной братии.

– Я, – начал пришедший, не ожидая, пока его представит Шоттель, – бакалавр Эрфуртской академии Иоганн Генсфляйш фон Зульгелох пум Гутенберг. Это несколько длинновато, поэтому обычно я сокращаю имя до Гутенберга. Иоганн или, как у вас принято, Ян Гутенберг.

– Похвально, – ответил Шарлей. – А поскольку я тоже сторонник сокращения вещей и предметов непотребно длинных, перейдем не мешкая к делу. Чего касается ваше изобретение,

господин Ян Гутенберг?

– Печатания. Точнее – печатания текстов.

Шарлей равнодушно перелистал лежащие перед ним ксилографии, вынул и показал одну, на которой под изображением Святой Троицы значилось:

BENEDICTE POPULI DEO NOSTRO[257]

– Знаю… – слегка покраснел Гутенберг. – Знаю, господин, что вы имеете в виду. Однако рекомендую обратить внимание на то, что для изображения на вашей ксилографии этого не очень длинного, согласитесь, текста гравировщику надо было бы кропотливо резать по дереву два дня. И если он при этом ошибся хотя бы в одной букве, то вся работа пошла б насмарку. И пришлось бы все начинать сызнова. А если б понадобилось создавать гравюру, скажем, для всего шестьдесят пятого псалма, сколько б потребовалось времени? А на все псалмы? А на всю Библию? Сколь долго…

– Не иначе, как вечность, – прервал Шарлей. – Изобретение же вашей милости, как я понимаю, сводит на нет недостатки, присущие работе по дереву?

– В значительной мере.

– Любопытно.

– Если позволите, я продемонстрирую.

Иоганн Генсфляйш фон Зульгелох цум Гутенберг раскрыл торбу, высыпал содержимое на стол. И взялся за работу, громко описывая свои действия.

– Я изготовил, – говорил он и показывал, – из твердого металла кубики с отдельными литерами. Литеры на кубиках, как видите, вырезаны выпуклыми, я назвал это патрицей. Оттиснув такую патрицу в мягкой меди, я получил…

– Матрицу, – догадался Шарлей. – Это ясно. Выпуклые подходят к вмятым, как папа к маме. Слушаю дальше, господин фон Гутенберг.

– В углубленных матрицах, – продолжал бакалавр, – я могу отлить столько бухштаб, то есть букв, сколько захочу. Вот таких, прошу взглянуть. Буквы, кубики которых идеально прилегают друг к другу, я укладываю… в соответствующем порядке… вот в эту рамку… Рамка небольшая, служит лишь для демонстрационных целей, но нормально, извольте взглянуть, она имеет размер страницы будущей книги. Как видите, я устанавливаю длину строки. Вкладываю клинья, чтобы создать

ровные пробелы и отступы. Сжимаю рамку железной обоймой, чтобы все это у меня не рассыпалось… Смазываю тушью, той самой, которую используете вы… Можно попросить помочь, господин Унгер? Кладу под пресс… На этот лист бумаги… Господин Унгер, винт… И, пожалуйста, готово.

На листе, точно посередине, отпечатанное четко и чисто, было видно:

IUBILATE DEO OMNIS TERRA

PSALMIM DICITE NOMINI EUIS

– Шестьдесят пятый псалом, – хлопнул в ладоши Юстус Шоттель. – Как живой!

– Это поразительно, – согласился Шарлей. – Но, господин Гутенберг, я поразился бы еще больше, если б не то, что должно быть *«dicite nomini eius»,* а не *«euis».*

– Ха-ха! – Бакалавр расцвел, словно студиозус, которому удалась шутка. – Я сделал это сознательно! Намеренно допустил ошибку составителя, то есть наборщика. Чтобы только продемонстрировать, с какой легкостью можно произвести корректировку. Ошибочно поставленную букштабу я вынимаю… На ее место ставлю нужную… Винт, господин Унгер. И вот текст исправлен.

– *Bravo,* – сказал Самсон Медок. – *Bravo, bravissimo…* Это действительно впечатляет.

Не только Гутенберг, но и Шоттель с Унгером раскрыли рты. Было ясно, что они удивились бы меньше, если б заговорил кот, статуя святого Луки во дворе или Себастьян с огромным фаллосом.

– Внешность, – пояснил, откашлявшись, Шарлей, – порой обманчива. Вы не первые.

– И наверняка не последние, – добавил Рейневан.

– Простите, – развел руками гигант. – Не смог сдержаться… Будучи, как ни говори, свидетелем изобретения, которое изменит лицо эпохи.

– Ах, – расцвел Гутенберг, как расцвел бы любой артист, радующийся похвале, пусть даже и произнесенной скребущим потолок великаном с физиономией кретина. – Так оно и будет. Так и не иначе! Представьте себе, господа, научные книги в десятках, а когда-нибудь, как бы смешно это сегодня ни звучало,

возможно, и в сотнях экземпляров! Без изнурительного и многовекового переписывания! Отпечатанная и общедоступная мудрость человечества. Да, да! А если вы, многоуважаемые господа, поддержите мое изобретение материально, то, ручаюсь, именно ваш город, пресветлая Свидница, во все времена будет славиться как место, в котором возгорел светильник просвещения. Как место, из которого по всему миру распространился светоч знания.

– Воистину, – проговорил, помолчав, Самсон Медок своим мягким и спокойным голосом. – Я вижу это очами души моей. Массовое изготовление бумаг, густо покрытых литерами. Каждая бумага в сотнях, а когда-нибудь, как бы смешно это ни звучало, возможно, и в тысячах экземпляров. Все многократно размножено и широко доступно. Ложь, бредни, шельмовство, пасквили, доносы, черная пропаганда и убеждающая толпу демагогия. Любая подлость облагорожена. Любая низость – официальна. Любая ложь – правда. Любое свинство – достоинство. Любой зачуханный экстремизм – революция. Любой дешевый лозунг – мудрость. Любая дешевка – ценность. Любая глупость признана, любая дурь – увенчана короной. Ибо все это отпечатано. Изображено на бумаге, стало быть – имеет силу, стало быть – обязывает. Начать это будет легко, господин Гутенберг. И запустить в дело. А остановить?

– Сомневаюсь, чтобы в этом была необходимость, – как бы всерьез сказал Шарлей. – Я гораздо больший реалист, чем ты, Самсон. И такой популярности изобретению господина Гутенберга не пророчу. И даже если действительно оно пошло бы в предсказанном тобою направлении, то это можно, да, можно будет остановить. Простым, как дышло, методом. Будет создан перечень запрещенных книг. Индекс.

Гутенберг, еще недавно сиявший, как солнце, пригас. Помрачнел так сильно, что Рейневану стало его жаль.

– Значит, вы не видите у моего изобретения будущего, – проговорил Иоганн спустя минуту гробовым голосом. – С истинно инквизиторским рвением усмотрев его темные стороны. И совсем как инквизиторы недооценив светлые. Светозарные. Самые яркие. Ведь можно будет печатать и тем самым широко пропагандировать Слово Божие. Что вы на это ответите?

– Ответим, – губы Шарлея скривились в ехидной усмешке, – как инквизиторы. Как папа римский. Как соборные отцы. Вы что ж, господин Гутенберг, не знаете, что об этом сказали отцы соборные? *Sacra pagina*[258] должно быть привилегией духовных лиц, ибо только они способны его понять. Прочь от него, светские кочерыжки.

– Издеваетесь?

Рейневан думал так же. Потому что когда Шарлей продолжил, то вовсе не скрывал ни насмешливой ухмылки, ни насмешливого тона.

– Светским, даже тем, которые обладают минимальным разумом, достаточно проповедей, лекций, воскресных Евангелий, повествований и моралей. А те, кто вконец убог духом, пусть познают Писание по вертепам[259] и мираклям,[260] страстным службам и крестным ходам, распевая лауды и пялясь в церквях на статуйки и картинки. А вы хотите отпечатать и дать этой тьме-тьмущей Священное Писание? А может, вдобавок еще переведенное на народный язык? Чтобы каждый мог его читать? И по-своему интерпретировать? Вы хотите, чтобы дело дошло до этого?

– Мне вовсе нет надобности, – спокойно ответил Гутенберг. – Ибо это уже случилось. Совсем недалеко отсюда. В Чехии. И как бы дело ни пошло дальше, ничто уже не изменит ни этого факта, ни его последствий. Хотите вы того или нет, мы стоим перед лицом реформ.

Наступила тишина. Рейневану показалось, что повеяло холодом. От окна, со стороны совсем недалекого монастыря доминиканцев, в котором размещалась Инквизиция.

– Когда Гуса сожгли в Констанце, – отважился прервать затянувшееся молчание Унгер, – взлетела, говорят, из дыма и пепла голубица. Говорят: знак того, что приидет новый пророк…

– Да, потому что и времена такие, – неожиданно взорвался Юстус Шоттель, – ничего больше, только подхватить да написать какие-нибудь призывы и прибить их, курва его мать, на дверях какой-нито церкви. Пшел, Лютер, со стола, прочь, наглый котяра.

Снова стояла долгая тишина, в которой послышалось полное удовлетворения мурлыканье кота Лютера.

Тишину прервал Шарлей.

– Наплевать на догмы, доктрины и реформы, – сказал он, – я утверждаю, что одно мне нравится, одна мысль радует меня сверх меры. Если ты, ваша милость, с помощью своего изобретения напечатаешь книг, то вдруг да люди начнут обучаться чтению, зная, что есть тексты, которые следует читать? Ведь не только спрос рождает предложение, но и *vice versa*. Ведь вначале было слово, *in principio erat verbum*. Разумеется, главным условием должно быть, чтобы слово, то есть книга, была дешевле если не талии игральных карт, то хотя бы бутылки водки, ибо сие есть проблема выбора. Подводя итоги, скажу знаете что, господин Ян Гутенберг? Отметая его недостатки, я, как следует подумав, все же прихожу к выводу, что ваше изобретение вполне может

оказаться эпохальным.

– Ты просто с языка у меня сорвал, Шарлей, – сказал Самсон Медок. – С языка сорвал.

– Значит, – лицо бакалавра опять прояснилось, – вы пожелаете спонсировать?

– Нет, – отрезал Шарлей. – Не пожелаю. Эпохальность эпохальностью, но я, господин Гутенберг, занимаюсь здесь интересами.

Глава шестнадцатая,

в которой Рейневан, благородный, как Персеваль, и столь же глупый, кидается на помощь и занимает оборону. В результате вся компания вынуждена убегать. И очень резво

– *Basilicus super omnes,* – сказал Рейневан. – *Annus ciclicus. Voluptas. Да, наверняка voluptas. Voluptas papillae. De sanctimonia et… Expeditione hominis.* Самсон!

– Слушаю?

– *Expeditione hominis.* Или *positione hominis.* На обгоревшей бумаге. Это у тебя ассоциируется с чем-нибудь?

– *Voluptas papillae…* Ох, Рейнмар, Рейнмар.

– Я спросил, это у тебя с чем-нибудь ассоциируется?

– Нет. К сожалению. Но я все время думаю.

Рейневан ничего не сказал, хотя, несмотря на уверения, Самсон Медок, казалось, меньше всего думает, а больше дремлет в седле широкого мышиного цвета мерина – коня, которого доставил Юстус Шоттель, свидницкий мастер гравюры по дереву, на основании составленного Шарлеем списка.

Рейневан вздохнул. Подбор заказанной Шарлеем экипировки отнял несколько больше времени, чем предполагалось. Вместо трех они провели в Свиднице четыре дня. Демерит и Самсон не ворчали, скорее даже были рады, получив возможность пошляться по знаменитым свидницким винным погребкам и глубоко исследовать качество мартовского пива этого города. Рейневан же, которому ради конспирации шляться по пивным не посоветовали, скучал в мастерской в обществе нудного Шимона Унгера, злился, торопился, любил и тосковал. Тщательно считал и пересчитывал дни разлуки с Аделью и никак не мог насчитать меньше двадцати восьми. Двадцать восемь дней, почти месяц! Он раздумывал над тем, могла ли – и как – все это выдержать Адель.

На пятый день утром ожиданиям пришел конец. Распрощавшись с гравировщиками, трое путешественников покинули Свидницу, сразу за Нижними воротами присоединились к длинной колонне других путников – конных, пеших, нагруженных, навьюченных, погоняющих рогатый скот и овец, тянущих возки, толкающих тачки, едущих на экипажах различнейшей конструкции и красоты. Над колонной висел смрад и дух предпринимательства.

К перечисленным в списке Шарлея пунктам экипировки Юстус Шоттель по собственной инициативе добавил и поставил

довольно много различных, но явно вразнобой подобранных предметов одежды, так что у всех трех путников появилась возможность переодеться. Шарлей незамедлительно воспользовался предоставившимися шансами и теперь выглядел значительно и даже воинственно, вырядившись в стеганый *haqueton,*[261] покрытый ржавыми и вызывающими уважение оттисками лат. Серьезная одежда прямо-таки магически преобразила самого Шарлея – сбросив шутовской наряд, демерит одновременно освободился и от шутовских манер и речи. Теперь, упершись рукой в бок, он сидел, гордо выпрямившись на своем прекрасном гнедом жеребце, и посматривал на обгоняемых торговцев с победоносной миной и представительностью если не Гавейна, то уж Гарета наверняка.

Самсон Медок тоже изменил внешность, хотя в доставленных Шоттелем свертках нелегко было подыскать что-либо налезающее на гиганта. И все-таки наконец удалось заменить мешковатый монастырский халат на свободную короткую журдану и капузу, вырезанную по краям модными рубчиками. Подобная одежда была так популярна, что Самсон перестал – насколько это было возможно – выделяться в толпе. Теперь в колонне других путников каждый, кому было не лень приглядываться, видел господина из благородных в сопровождении студиозуса и слуги. Во всяком случае, на это надеялся Рейневан. Надеялся он также на то, что Кирьелейсон и его банда, если они даже узнали о сопровождающем его Шарлее, выспрашивают о двух, а не о трех путниках.

Сам Рейневан, выбросив истрепавшиеся и не совсем свежие вещи, выбрал из подарков Шоттеля облегающие брюки и лентнер с модно подбитой ватой грудью, придающей фигуре несколько птичий вид. Все дополнял берет, какие обычно носят школяры, например, недавно встреченный Ян Гутенберг. Интересно, что именно Гутенберг стал предметом дискурса, причем, о диво, речь шла вовсе не об изобретении книгопечатания. Дорога за Нижними воротами, шедшая до Рихбаха по долине реки Пилавы, была частью важного торгового пути Ниса-Дрезно,[262] и поэтому ею пользовались очень активно. Настолько активно, что это начало наконец раздражать чуткий нос Шарлея.

– Господа изобретатели, – ворчал демерит, отгоняя мух, – господин Гутенберг *et consortes* могли бы наконец изобрести что-нибудь практичное. Какой-нибудь *perpetuum mobile,* что-нибудь самодвижущееся, позволяющее отказаться от лошадей и волов, которые, как мы видим и обоняем, безостановочно демонстрируют прямо-таки беспредельные возможности своих кишечников. Нет, воистину говорю вам, мечтается мне нечто

такое, что передвигается самостоятельно и при этом не отравляет естественной среды. Что? Рейнмар? Самсон? Что скажешь ты, прибывший из потустороннего мира философ?

– Нечто самодвижущееся и не смердящее? – задумался Самсон Медок. – Самодвижущееся, не гадящее на дорогах и не отравляющее среду? Хе, действительно нелегкая проблема. Жизненный опыт подсказывает мне, что изобретатели ее разгрызут только частично.

Шарлей, возможно, и намеревался расспросить гиганта о сути ответа, однако ему помешал всадник, оборванец на тощей кляче без седла, вырвавшийся в сторону головы колонны. Шарлей сдержал испугавшегося гнедого, погрозил оборванцу кулаком, бросил вслед ему кучу ругательств. Самсон поднялся на стременах, глянул назад, откуда примчался оборванец. Быстро набирающийся опыта Рейневан знал, что он высматривает.

– На воре шапка горит, – угадал он. – Беглеца кто-то спугнул. Кто-то едущий от города…

– …и внимательно рассматривающий всех путников, – докончил Самсон. – Пятеро… Нет, шестеро вооруженных. У некоторых гербы на яках. Черная птица с распростертыми крыльями…

– Мне знаком этот герб…

– Мне тоже, – резко бросил Шарлей, натягивая поводья. – А ну, вперед! За тощей кобылой! Вперед! Что есть духу!

Еще не доехав немного до головы колонны, там, где дорога втягивалась в мрачную буковину, они свернули в лес и тут же укрылись в кустарнике. И увидели, как по обеим сторонам дороги, присматриваясь ко всем, внимательно заглядывая в телеги и под тенты фургонов, проследовали шестеро конников. Стефан Роткирх, Дитер Гакст, Иенч фон Кнобельсдорф по прозвищу Филин. А также Виттих, Морольд и Вольфгер Стерчи.

– Таааак, – протянул Шарлей. – Так, Рейнмар. Себя ты считал умником, а весь мир – глупым. С сожалением констатирую, что это была ошибочная точка зрения. Ибо весь мир уже разгадал тебя и твои легко разгадываемые намерения. Знает, что ты направляешься в Зембицы, где сидит твоя любушка. Если же у тебя наконец начинают возникать сомнения в целесообразности поездки в Зембицы, то не ломай себе напрасно голову. Я тебе скажу: смысла нет. Никакого. Твой план… Минутку, только подыщу подходящее слово… Хм…

– Шарлей…

– Нашел! Абсурдный!

Спор был краткий, бурный и совершенно бессмысленный.

Рейневан остался глух к логике Шарлея, Шарлея не волновала любовная тоска Рейневана. Самсон Медок воздерживался и молчал.

Рейневан, мысли которого в основном были заняты попытками подсчитать количество дней разлуки с любимой, требовал, разумеется, продолжать ехать в выбранном направлении, то есть в Зембицы. Вслед за Стерчами; или попытаться опередить их, например, когда те остановятся, чтобы покормить лошадей, скорее всего где-то вблизи Рихбаха либо в самом городе. Шарлей категорически возражал. Проявленная Стерчами прозорливость, утверждал он, может свидетельствовать только об одном.

– Они, – поучал он, – намерены погнать тебя именно в сторону Рихбаха и Франкенштейна. А где-то там поджидают Кирьелейсон и де Барби. Поверь мне, парень, это обычный способ ловли беглецов.

– Что же ты предлагаешь?

– Мои предложения, – Шарлей повел вокруг широким жестом, – ограничивает география. То огромное, затянутое тучами, на востоке, это, как ты знаешь, Слёнза… То, что вздымается вон там, это Совиные горы, то большое – гора, именуемая Большой Совой. Рядом с Большой Совой есть два перевала, Валимский и Юговский, по ним можно было бы прошмыгнуть в Чехию, до Броумовска.

– Чехия, ты же сам говорил, дело рискованное.

– Сейчас, – холодно ответил Шарлей, – самый большой риск – это ты. И погоня, которая преследует тебя по пятам. Признаюсь, охотнее всего я двинулся бы сейчас именно в Чехию. Из Брумова[263] перепрыгнул бы в Клодзко, а из Клодзка в Моравию и Венгрию. Но, полагаю, ты не откажешься от Зембиц.

– Правильно полагаешь.

– Ну что ж, значит, придется пожертвовать безопасностью, которую нам обеспечили бы перевалы.

– Это, – неожиданно вставил Самсон Медок, – была бы весьма относительная безопасность. И труднодостижимая.

– Факт, – спокойно согласился демерит. – Район далеко не безопасный. Ну что ж, значит, направляемся на Франкенштейн. Но не по тракту, а вдоль подножия гор, по краю боров Силезской Просеки. Удлиним путь, немного поездим по бездорожьям, но что нам остается делать?

– Ехать по тракту, – ляпнул Рейневан. – Следом за Стерчами! Догнать их…

– Ты сам, – резко прервал Шарлей, – не веришь в то, что говоришь, парень. Ведь не хочешь же попасть им в лапы. Очень не

хочешь.

Поэтому вначале они поехали через буковины и дубравы, потом по просекам, наконец по дороге, извивающейся меж пригорков. Шарлей и Самсон тихо переговаривались. Рейневан молчал и размышлял над последними словами демерита…

Шарлей в очередной раз доказал, что умеет если не читать, то безошибочно угадывать мысли на основании предпосылок. Правда, вид Стерчей вначале разбудил в Рейневане ярость и дикую жажду расправы, он был готов чуть ли не тотчас двинуться вслед за ними, дождаться ночи, подкрасться и перерезать спящим горло. Однако его удержал не только рассудок, но и парализующий страх. Он уже несколько раз просыпался весь в поту, напуганный сном, в котором видел, как его поймали и тащили в застенки Штерендорфа, причем все, что касалось припасенных там инструментов, сон демонстрировал с поразительной четкостью. Стоило Рейневану вспомнить эти инструменты, как его попеременно начинало кидать то в жар, то в холод. Сейчас тоже мурашки ползали по спине, а сердце замирало всякий раз, когда на обочине дороги возникали темные силуэты, которые оказывались вовсе не Стерчами, а можжевеловыми кустами. Если рассмотреть как следует.

Все стало еще хуже после того, как Шарлей и Самсон сменили предмет разговора и взялись рассуждать на темы, связанные с историей литературы.

– Когда трубадур Гвилельм де Кабестэн, – затянул Шарлей, многозначительно поглядывая на Рейневана, – соблазнил жену господина де Шато-Руссильона, тот приказал укокошить поэта, выпотрошить, сердце поджарить и подать неверной супруге. А она взяла, да и сиганула с башни.

– Во всяком случае, так гласит легенда, – отвечал Самсон Медок с таким знанием вопроса, которое в сочетании с его кретинской мордой прямо-таки изумляло. – Господам трубадурам не всегда можно доверять, их строфы об амурных успехах у замужних дам чаще отражают желания и мечты и реже реальные события. Примером может служить хотя бы Маркабру, которого, невзирая на нахальные намеки, решительно ничего не связывало с Элеонорой Аквитанской. Очень уж раздуты, кажется мне, романы Бернарта де Вентадорна с мадам Алаизой де Монпелье и Рауля де Куки с госпожой Габриелей де Файель. Вызывает сомнение также Тибальд Шампанский, похваляющийся благосклонностью Бланки Кастильской. Да и Арнольд де Малейль, по его словам – любовник Адалазьи из Безье, фаворитки короля Арагонии.

– Вполне возможно, – соглашался Шарлей, – что трубадур присочинил, поскольку все окончилось его изгнанием со двора, а будь в тексте хотя бы крупица правды, финал мог быть гораздо плачевнее. Или если б король был повспыльчивее. Как, к примеру, господин де Сант-Жилье. Этот за двусмысленную канцону в адрес своей жены приказал подрезать язык трубадуру Пьеру де Видалю.

– Если верить легенде.

– А трубадур Жиро де Колбель, сброшенный со стены Каркассона, – тоже легенда? А Госельм де Понс, отравленный из-за чьей-то прекрасной женушки? Говори что хочешь, Самсон, но далеко не каждый рогоносец был таким дурнем, как маркиз Монферрат, который, увидев в саду свою супругу спящей в объятиях трубадура Рамбо де Ваквейра, прикрыл их плащом, дабы не замерзли.

– Это была его сестра, а не жена. Но остальное совпадает.

– А что случилось с Даниелем Карре за то, что он украсил рогами барона де Фо. Барон прикончил его руками наемных убийц, велел изготовить себе кубок из его черепа и теперь пьет из него.

– Все верно, – кивнул Самсон Медок. – Если не считать того, что это был не барон, а граф, что не убил, а засадил в застенки. И изготовил не кубок, а красивый мешочек. Для сигнета[264] и мелких монет.

– Ме… – поперхнулся Рейневан. – Мешочек?

– Мешочек.

– Что это ты вдруг так посинел, Рейнмар, – изобразил обеспокоенность Шарлей. – Или занемог? Ты же всегда утверждал, что большая любовь требует жертв. Избранники говорят: жажду тебя более королевства, более скипетра, более здоровья, более долгого века и жизни… А мошонка? Мошонка – мелочь.

От недалекой церковки, расположенной, как утверждал Шарлей, в деревне под названием Лутомья, долетел звон колокола как раз в тот момент, когда едущий впереди Рейневан остановился, поднял руку.

– Слышите?

Они были на распутье, около покосившегося креста и статуэтки, превращенной дождями в бесформенного идола.

– Ваганты, – сказал Шарлей. – Поют.

Рейневан покачал головой, звуки, долетающие из уходящего в лес оврага, ничем не напоминали ни *«Tempus est iocundum»,* ни *«Amor tenet omnia»,* ни *«In taberna quando sumus»*[265] и ни одной из других популярных песен голиардов. Да и голоса ничем не

походили на голоса недавно опередивших их вагантов. Скорее они напоминали…

Он ощупал рукоять корда, одного из полученных в Свиднице подарков. Потом наклонился в седле и подогнал лошадь, пустив ее рысью. А затем галопом.

– Куда? – рявкнул ему вслед Шарлей. – Стой! Стой, черт возьми! Ты доведешь нас до беды, глупец!

Рейневан не слушал. Устремился в яр. А за яром на поляне кипел бой. Там стояли два приземистых коня и фургон, накрытый черным просмоленным полотном. Рядом с фургоном человек десять пеших в бригантинах, кольчужных капюшонах и капалинах, с оружием на древках налетали на двух рыцарей. Яростно, как собаки. Рыцари защищались. Яростно, как обложенные кабаны. Один рыцарь, конный, был с ног до головы, то есть от купола салады до острых сабатонов, закован в полные пластинчатые латы. Острия сулиц и глевий отскакивали от нагрудника, звенели на ташках и бейгвантах, никак не могли попасть в щель между пластинами лат. Не в состоянии добраться до седока, нападающие отыгрывались на коне. Не тыкали, старались не калечить – в конце концов, конь стоил очень дорого, – но колотили древками куда попало, рассчитывая на то, что безумствующий конь сбросит рыцаря. Конь действительно безумствовал, тряс головой, храпел и грыз покрытый пеной мундштук. При этом приученный к такому способу боя, он дергался и лягался, затрудняя доступ к себе и своему хозяину. Однако рыцарь так сильно качался в седле, что было удивительно, как он вообще удерживается.

Все же второго рыцаря, тоже в полной броне, пешим ссадить с коня удалось. Теперь он яростно защищался, припертый к черному фургону. На нем не было шлема, из-под откинутого капюшона развевались длинные светлые окровавленные волосы, из-под таких же светлых усов сверкали зубы. Нападающих он отгонял ударами шаршуна,[266] который держал обеими руками. Удивительно длинный и тяжелый шаршун летал в руках рыцаря словно какой-то небольшой разукрашенный дворцовый парадный меч. Оружие было опасным не только с вида – наступление нападавшим затрудняли трое уже лежащих на земле раненых, воющих от боли и пытающихся отползти в сторону. Остальные проявляли осторожность, не подходили, а пытались хватануть рыцаря с безопасного расстояния. Однако даже если тычки попадали в цель и не были отражены тяжелым клинком шаршуна, они соскакивали по пластинам лат.[267]

Наблюдение за происходящим, для описания которого понадобилось несколько этих строчек, у Рейневана отняло едва

минуту. У него перед глазами было то, что видели все: два истинных рыцаря в беде, подвергнувшиеся нападению орды преступников. Или: два льва, которых пытаются кусать гиены. Или: Роланд и Флорисмарт, сопротивляющиеся превосходящим силам мавров. Короче говоря, Рейневан мгновенно почувствовал себя Оливером. Он вскрикнул, выхватил из ножен корд, хватанул лошадь пятками и кинулся на помощь, совершенно не обращая внимания на предостерегающий крик и брань Шарлея.

Хоть и безрассудная, помощь отнюдь не была преждевременной, потому что атакованный рыцарь как раз свалился с коня, причем с таким гулом, словно сброшенные с церковной башни медные литавры. А припертый древками к телеге блондин с шаршуном мог помочь ему лишь ругательствами, которыми щедро осыпал нападающих.

Во все это ворвался Рейневан. Разогнал лошадью и повалил тех, которые толкались над скинутым с седла рыцарем, одного, седоволосого, не давшего себя повалить, рубанул кордом по капалину так, что аж зазвенело. Капалин упал, а седоволосый развернулся, зловеще крикнул и с размаху саданул Рейневана алебардой, однако, к счастью, древком. Но Рейневан все-таки упал с лошади. Седовласый прыгнул на него, прижал, схватил за горло. И отлетел. Буквально. Потому что с такой силой Самсон Медок двинул его кулаком по скуле. На Самсона тут же накинулись другие. Оказавшийся в трудном положении гигант подхватил с земли алебарду, первого из нападавших треснул по шлему острием плашмя так, что оно отвалилось от древка, а человек, получивший удар, свалился как подкошенный. Самсон закрутил ратищем, завертел им, как камышинкой, очищая место вокруг себя, Рейневана и поднимающегося с земли рыцаря. При падении рыцарь потерял саладу, из-под прикрывающего шею барта было видно молодое румяное лицо, вздернутый нос и зеленые глаза.

– Ну, погодите, свиные морды! – кричал он смешным дискантом. – Я вам покажу, говноеды! Клянусь святой Сабиной! Вы меня попомните.

На помощь оказавшемуся в трудном положении отбивающемуся у воза светловолосому пришел Шарлей. Демерит не хуже профессионального акробата на полном скаку подхватил чей-то упавший меч, разогнал пеших, с удивительной скоростью рубя налево и направо. Светловолосый, у которого в сумятице, возникшей у телеги, выбили шаршун, не стал терять времени на его поиски в песке, а кинулся в водоворот схватки с кулаками.

Неожиданная помощь уже перетянула, казалось, чашу весов на сторону подвергшихся нападению, когда вдруг зацокали

подкованные копыта и на поляну галопом влетели четыре тяжеловооруженных всадника. Если даже у Рейневана на момент и мелькнули сомнения, их развеял торжествующий рев пеших, с удвоенным пылом ринувшихся в бой при виде подкрепления.

– Живыми брать! – рявкнул из-под забрала шлема командир тяжеловооруженных с тремя серебряными рыбами на щите. – Живыми брать негодяев!

Первой жертвой вновь прибывших оказался Шарлей. Правда, демерит ловко уклонялся от ударов боевого топора, соскочил на землю, но на земле на него навалились преобладающие численностью пешие. На помощь ему поспешил Самсон Медок, колотя своим древком. Гигант не испугался напирающего на него рыцаря с топором, саданул его коня по защищающему морду железному налобнику с такой силой, что древко с треском переломилось. Конь завизжал и упал на колени. А наездника стащил с седла светловолосый. И они принялись бороться, сцепившись, как два медведя.

Рейневан и выбитый из седла юноша отчаянно сопротивлялись остальным латникам, добавляя себе храбрости диким криком, ругательствами и призывами, обращенными ко всем святым. Однако безнадежности положения нельзя было не видеть. Ясно, что разгоряченные атакующие уже не помнили о приказе брать живьем, а даже если и помнили, Рейневан все равно уже видел себя на виселице.

Но в тот день фортуна была к ним милостива.

– Бей! Во имя Господа Бога бей! Убивай, кто в Бога верует!

В грохоте подков и богоубийственных криках в схватку ввязались очередные силы – трое новых тяжеловооруженных всадников в полных латах и шлемах с забралами типа хундсгугель, собачьей морды. На чьей они стороне, было ясно без слов. Удары длинных мечей валили на окровавленный песок одного за другим пеших в капалинах. Получив мощный удар, покачнулся в седле рыцарь с рыбами в гербе. Второй заслонил его щитом, поддержал, схватил коня за поводья, и они галопом кинулись прочь. Третий хотел последовать за ними, но получил мечом по голове и рухнул под копыта. Самые мужественные из пеших еще пытались загородиться древками, но то и дело один за другим бросали оружие и удирали в лес.

Тем временем светловолосый мощным ударом кулака в железной перчатке повалил своего противника, пытающегося встать, ударил ногой по плечу, а когда тот тяжело уселся, оглянулся, ища глазами, чем бы его добить.

– Лови! – крикнул один из тяжеловооруженных. – Лови, Рымбаба!

Названный Рымбабой светловолосый схватил на лету кинутый ему чекан, отвратно выглядевший *martel de fer,*[268] размахнулся так, что аж загудело, и саданул по шлему пытающегося встать противника. Раз, другой, третий. Голова избиваемого упала на плечо, из-под вмятой пластины лат обильно полилась кровь на *aventail,*[269] ворот панциря и нагрудник. Светловолосый, расставив ноги, встал над раненым и ударил еще раз.

– Иисусе Христе! – засопел он при этом. – Как я люблю такую работу…

Юноша с задранным носом захрипел, выплюнул кровь. Потом выпрямился, улыбнулся измазанным кровью ртом и протянул Рейневану руку.

– Благодарю за помощь, благородный господин. Клянусь мощами святого Афродизия, я этого не забуду. Я – Куно фон Виттрам.

– А меня, – светловолосый протянул правую руку Шарлею, – пусть черти в ад отправят, если я забуду о вашей помощи. Я – Пашко Пакославиц Рымбаба.

– Собирайтесь, – скомандовал один из латников, показав из-под открытого забрала смуглое лицо и синие от гладковыбритой щетины щеки. – Рымбаба, Виттрам, ловите лошадей! Живее, черт побери!

– А чего? – Рымбаба наклонился и высморкался в пальцы. – Они ж сбежали.

– Наверняка вернутся, – ответил второй из прибывших на помощь, указывая на брошенный щит с тремя рыбами, расположенными одна над другой. – Вы что, иль оба белены объелись, чтобы нападать на путников именно здесь?

Шарлей, поглаживая своего сивку по морде, одарил Рейневана многозначительным, весьма многозначительным взглядом.

– Именно здесь, – повторил рыцарь, – во владениях Зейдлицев. Они не простят…

– Не простят, – подтвердил третий. – По коням.

По дороге и лесу несся крик, ржание, топот копыт. Через папоротники и пни бежали алебардисты, по дороге мчались несколько всадников, тяжеловооруженных латников и арбалетчиков.

– Бежим! – крикнул Рымбаба. – Бежим, кому жизнь дорога!

Все пустили лошадей галопом, подгоняемые ревом и свистом первых болтов.

Преследовали их недолго. Когда пешие остались позади,

конные попридержали лошадей, видимо, не доверяя своему численному перевесу. Лучники послали вслед убегающим еще один залп – и на этом погоня окончилась.

Для верности они еще прошли галопом несколько стае, потом перешли на рысь между взгорьями и яворовыми лесами, то и дело оглядываясь. Однако никто за ними не гнался. Чтобы дать передых лошадям, остановились неподалеку от деревеньки. Около крайнего домишки. Хозяин, не дожидаясь, когда ему развалят дом и двор, сам вынес тарелку пирогов и ушат пахты. Раубриттеры присели у ограды. Ели и пили молча. Самый старший, представившийся Ноткером фон Вейрахом, долго присматривался к Шарлею. Наконец, облизывая испачканные пахтой усы, сказал:

– Толковые и смелые вы люди, господин Шарлей и ты, молодой господин фон Хагенау. А кстати, ты уж не потомок ли известного поэта?

– Нет.

– Ага. Так о чем это я? А, что смелые и толковые вы парни. Да и ваш слуга, хоть на вид глуповат, отважен и боевит сверх удивления. Даааа. Поспешили на помощь моим парням.

И из-за этого сами попали в скверное положение. Приятного мало. Вы пошли против Зейдлицев, а они мстительны.

– Верно, – подтвердил другой рыцарь, с длинными волосами и пышными усами, представившийся Вольданом из Осин. – Зейдлицы те еще сукины сыны. Весь их род, значит. И Лаасаны. И Курцбахи. Все исключительно зловредные скоты и мстительные поганцы… Эй, Виттрам, эй, Рымбаба. Ну, вы и натворили дел, чтоб вас зараза!

– Думать надо, – заметил Вейрах. – Думать…

– Я ж думал, – пробормотал Куно Виттрам. – Ведь как было? Глядим, едет телега. Ну, я тогда и подумал: может, ее грабануть? Ну и за дело… Тьфу, клянусь виселицей святого Дыжмы. Сами знаете, как это бывает.

– Знаем. Но думать надо.

– И еще, – добавил Вольдан из Осин, – на сопровождающих смотреть.

– Не было сопровождающих. Только возница, обозник да конник в бобровой шубе, похоже, купец. Эти сбегли. Ну мы и подумали: порядок! А тут, понимаешь, как из-под земли выскакивают пятнадцать хмырей с алебардами.

– Я и говорю – думать надо.

– А еще и времена такие! – уперся Пашко Пакославиц Рымбаба. – До чего ж дело дошло! Дурной, сраный воз, товару там под полотном небось на три гроша, а защищали так, словно

там лежал, к примеру, Священный Грааль.

– Давней так не бывало, – кивнул черной, подстриженной модно, по-рыцарски, шевелюрой смуглый, выглядевший постарше Рымбабы и Виттрама Тасило де Тресков. – Давней ежели крикнешь: «Стой и давай!», так стояли и давали. А теперь защищаются, будто черти, будто венецкие кондотьеры. Хреново нам стало. И как тут в таких условиях на промысел ходить?

– Никак, – подвел черту Вейрах. – Все труднее наш *exercitium,* [270] все тяжелее наша раубриттерская доля… И-эх!

– И – ээх! – подхватили жалобным хором рыцари-разбойники. – Иээээх!

– А в навозной-то куче, – ткнул пальцем Куно Виттрам, – свинья роется. Может, зарежем и прихватим?

– Нет, – решил после краткого раздумья Вейрах. – Времени в обрез.

Он встал.

– Господин Шарлей. Не дело вас тут втроем оставлять. Зейдлицы памятливы, наверняка уже погонь разослали, будут по дорогам искать. Так что едем-ка с нами. В Кромолин, наше село. Там у нас оруженосцы, да и друзей будет довольно. Вам никто там не загрозит и не обидит.

– Пусть попробуют! – распушил светлые усы Рымбаба. – Поехали с нами, поехали, господин Шарлей. Потому как, скажу я вам, здорово вы мне по нраву пришлись.

– Как и мне молодой господин Рейнмар. – Куно Виттрам хлопнул Рейневана по спине. – Клянусь кельмой святого Руперта Зальцбургского! Поехали с нами до Кромолина. Господин Шарлей? Лады?

– Лады.

– Ну, стало быть, – потянулся Ноткер фон Вейрах, – в путь, *comitiva.* [271]

Пока формировался кортеж, Шарлей поотстал и тихо подозвал к себе Рейневана и Самсона Медка.

– Этот Кромолин, – сказал он тихо, пошлепывая по шее гнедка, – где-то неподалеку от Серебряной Гуры и Стошовиц, у так называемой Чешской тропы, дороги, ведущей из Чехии через Серебряный перевал к Франкенштейну и вроцлавскому тракту. Поэтому нам с ними по пути и очень наруку. И гораздо безопаснее. Будем держаться их. Прикрыв глаза на то, чем они занимаются. В беде не выбирают. Однако советую соблюдать осторожность и излишне не болтать. Самсон?

– Молчу и прикидываюсь балбесом. *Pro bono commune.* [272]

– Прекрасно. Рейнмар, подойди. Хочу тебе кое-что сказать.

Рейневан, уже в седле, подъехал, подозревая, что его ждет и что он услышит. И не ошибся.

– Послушай меня внимательно, неисправимый глупец. Ты представляешь для меня смертельную опасность уже самим фактом существования. Я не допущу, чтобы ты увеличивал ее кретинским поведением и поступками. Я не стану комментировать тот факт, что, стремясь быть благородным, ты показал себя глупым, кинулся на помощь разбойникам и поддержал их в бою с силами правопорядка. Я не стану ехидничать, надеюсь, даст Бог, этот факт чему-то тебя научил. Но обещаю: если ты еще раз сделаешь что-то подобное, я брошу тебя на произвол судьбы. Необратимо и окончательно. Запомни, осел, заруби себе на носу, болван: никто не придет тебе на помощь в беде, ибо только идиот торопится спасать других. Если тебя зовут на помощь, надо повернуться к нему задом и поскорее удалиться. Обещаю: если в будущем ты хотя бы голову повернешь в сторону бедняка, девушки в затруднительном положении, обижаемого ребенка либо убиваемой собаки, мы расстанемся. А потом уж изображай из себя Персеваля на собственный риск и страх.

– Шарлей…

– Молчи. И помни – я тебя предупредил. Я не шучу.

Они ехали по лесным полянам, по доходящим до стремян травам. Небо на западе, затянутое рваными перьями облаков, ярилось лентами огненного пурпура. Темнела стена гор и черных боров Силезской Просеки.

Едущие в авангарде Ноткер фон Вейрах и Вольдан из Осин, серьезные и сосредоточенные, распевали хвалебную песнь, время от времени возводя к небу глаза из-под поднятых забрал. Их пение, хоть негромкое, звучало возвышенно и сурово.

Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quern in mundi pretium
Fructus ventris geneosi
Rex effundit Gentium.

Несколько поотстав, достаточно, чтобы не мешать собственным пением, ехали Тассило де Тресков и Шарлей. Оба, далеко не так серьезно, напевали любовную балладу.

So die bluomen üz dem grase dringent,
same si lachen gegen der spilden sunnen,

in einem meien an dem morgen fruo,
und diu kleinen vogelln wol singent
in ir besten wîse, die si kunnen,
waz wünne mac sich dâ geîchen zuo?

Следом за певцами ехали шагом Самсон Медок и Рейневан. Самсон прислушивался, покачивался в седле и мурлыкал. Было ясно, что слова миннезанга он знает и, если б не хранимое инкогнито, охотно присоединился бы к дуэту. Рейневан был погружен в мысли об Адели. Однако сосредоточиться было трудно, поскольку замыкающие кавалькаду Рымбаба и Куно Виттрам не переставая орали пьянчужные и непристойные песни. Их репертуар казался неисчерпаемым.

Пахло дымом и сеном.

Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit;
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

Возвышенная мелодия и благочестивые стихи Фомы Аквинского не могли обмануть никого, знать, рыцарей опережала их репутация. При виде кортежа в панике разбегались бабы, собирающие хворост, словно серны разлетались девушки-подростки. Дровосеки удирали с вырубок, а вспуганные опасностью пастухи забирались под овец. Убежал, оставив без присмотра тележку, дегтяр. Умчались, задрав рясы по самые задницы, трое бродячих Малых Братьев. Их нисколько не успокоили поэтические строки Вальтера фон дер Фогельвайде.

Nü wol dan, welt ir die wârheit schouwen,
gen wir zuo des meinen hôhgezîe!
der est mit aller sîner krefte komen.
Seht an in und seht an werde frouwen,
wederz dâ daz ander überstrîte:
daz bezzer spil, ob ich daz hân genomen.

Самсон Медок вторил себе под нос. «Моя Адель, – думал Рейневан, – моя Адель. Поверь, когда мы наконец будем вместе, когда кончится разлука, все будет так, как у Вальтера фон дер

Фогельвайде в песне, которую они поют: настанет май. Или как в других строфах того же поэта:

Rerum tanta novitas
in solemni vere
et veris auctoritas
jubet nos gaudere…»

– Ты что-то сказал, Рейневан?

– Нет, Самсон, ничего.

– Да? Но ты издавал какие-то странные звуки.

«Эх, весна, весна… А моя Адель прекраснее весны. Ах, Адель, Адель, где ты, любимая? Когда же наконец я тебя увижу? Поцелую твои губы? Твои груди…

Скорее, вперед, скорее. В Зембицы!

А интересно, – подумал он вдруг, – где сейчас находится и что делает Николетта Светловолосая?»

Genitori, Genitique
laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio…

В конце кортежа, невидимые за поворотом дороги, орали, распугивая животных, Рымбаба и Виттрам.

Garbarze kurwiarze
dupę wyprawili.
Szewcy skurwysyny
buty z niej zrobili!

Глава семнадцатая,

в которой Рейневан заводит в раубриттеровском селе Кромолин знакомства, ест, пьет, пришивает отрубленные уши и участвует в тинге[273] ангельской милиции,[274] пока в Кромолин не прибывают совершенно неожиданные гости

С точки зрения стратегии и обороны раубриттеровское поселение Кромолин было размещено удачно – на острове, образованном широким, заиленным рукавом реки Ядковой. Попасть на остров можно было по скрытому среди верб и ив мосту, но его легко было защищать, о чем свидетельствовали запоры, козлы и шипованные кобылицы,[275] явно подготовленные к тому, чтобы преградить в случае нужды дорогу. Даже в полумраке наступающих сумерек были видны другие элементы фортификаций – заграждения и заостренные колья, вбитые в болотистый берег. У самого въезда мост был дополнительно перегорожен толстой цепью, которую тут же сняли слуги – еще прежде, чем Ноткер фон Вейрах успел протрубить в рог. Их, конечно, уже раньше заметили с вышки, просматривающейся понад ольховником.

Они въехали на остров меж крытыми дерном шалашами и сараями. Главным, похожим на крепость строением была, как оказалось, мельница, а то, что они считали рукавом реки, – мельничным лотком. Затворы были подняты, мельница работала, колесо гудело, вода лилась с шумом, вскипая белой пеной. За мельницей и тремя халупами виднелись отсветы множества костров. Слышалась музыка, крики, шум.

– Гуляют, – угадал Тассило де Тресков.

Из-за халуп выскочила хохочущая растрепанная девка с развевающейся косой. Ее догонял толстый бернардинец. Оба влетели в овин, откуда через минуту послышались смех и писк.

– Ну, извольте, – буркнул Шарлей. – Совсем как дома.

Миновали спрятавшийся в сорняках, но выдающий себя ароматом сортир, въехали на полную людей площадку, светлую от огней, гремящую музыкой и гулом голосов. Их тут же заметили, рядом сразу же оказалось несколько слуг и оруженосцев. Они спешились, о конях рыцарей незамедлительно позаботились. Шарлей подмигнул Самсону, гигант вздохнул и отправился вслед за прислугой, ведя за собой верховую лошадь.

Ноткер фон Фейрах отдал армигеру[276] шлем, но меч взял под мышку.

– Много народу съехалось, – заметил он.

– Много, – сухо подтвердил армигер. – Говорят, еще больше будет.

– Пошли, пошли, – потирая руки, поторопил Рымбаба. – Есть хочу!

– Верно, – подхватил Куно Виттрам. – И пить тоже!

Они прошли мимо пышущей жаром, воняющей углем и звенящей металлом кузни, несколько кузнецов, черных, как циклопы, крутились там за работой, которой у них было хоть отбавляй. Прошли мимо овина, превращенного в бойню: в широко распахнутых воротах были видны подвешенные за ноги разделываемые туши свиней и большого быка, из вспоротого брюха которого рубщики вываливали в бадью внутренности. Перед овином полыхали костры, над огнем шипели на вертелах поросята и бараны. Испускали пар и манили запахами закопченные котлы и чугуны. Рядом на скамьях, за столами или прямо на земле сидели едоки, среди вздымающихся холмов обглоданных костей крутились и грызлись собаки. Светила окнами и лампами навеса корчма. Оттуда то и дело выкатывали бочки, которые тут же облепляли жаждущие.

Окруженный постройками майдан был залит мерцающим светом горящих мазниц. Здесь толкалось множество народу – крестьян, прислуги, оруженосцев, девок, торговцев, жонглеров, бернардинцев, францисканцев, евреев и цыган. И множество рыцарей и армигеров в доспехах и непременно с мечами у пояса либо под мышкой.

Экипировка рыцарей определяла их статус и имущественное положение. Большинство было в полных латах, а некоторые даже похвалялись изделиями нюрнбергских, аугсбургских и инсбуркских мастеров оружейного искусства. Однако были и такие, которых достало лишь на некомплектные латы, надеваемые на кольчуги нагрудники, воротники, опахи.

Прошли около амбара, на ступенях которого концертировала группа музыкантов-вагантов, звенели гусли, пищали дудочки, гудела басетля,[277] заливались флейты и рожки. Ваганты ритмично подпрыгивали, позвякивая пришитыми к одеждам колокольчиками и погремушками. Немного дальше на деревянном помосте оттанцовывали несколько рыцарей, если можно назвать танцами прыжки и притоптывания, ассоциировавшиеся скорее с болезнью святого Витта. Устроенный ими на помосте грохот почти заглушал музыку, а поднятая пыль вздымалась свербящей в носу тучей. Девки и цыганки хохотали и пищали тоньше голиардских пищалок. В центре майдана на большом квадрате утоптанной земли, обозначенном по углам

мазницами, предавались более мужским развлечениям. Рыцари в латах состязались в умении пользоваться оружием и испытывали крепость лат. Звенели клинки, долбили по панцирям топоры и моргенштерны, воздух сотрясала оскорбительная брань и поощрительные выкрики зрителей. Двое рыцарей, из них один с золотым карпом Глаубицей на щите, бились достаточно рискованно – без шлемов. Глаубиц наносил удары мечом, его противник, заслоняясь круглым щитом, пытался ухватить оружие зубьями своего мечеломателя.[278]

Рейневан остановился, чтобы посмотреть на состязание, но Шарлей потянул его за локоть, указав при этом на раубриттеров, которых еда и напитки интересовали явно больше соревнования вооруженных «коллег». Вскоре они оказались в самом центре пиршества и веселья. Перекрывая гул, Рымбаба, Виттрам и де Тресков здоровались со знакомыми, обменивались рукопожатиями и колотили по спинам. Вскоре все, включая Шарлея и Рейневана, уже сидели стиснутые за столом, обгладывали свиные и бараньи лопатки и опустошали кружки под пожелания здоровья, счастья и удачи. Брезгуя такой мелочишкой, как кружка, истосковавшийся, видимо, по влаге Рымбаба пил мед из вмещающего гарнец ведерка, золотистый напиток стекал у него по усам на нагрудник.

– Будь здрав! За ваши руки!

– Клянусь честью, за ваши!

– За наши успехи!

Кроме дергающегося на майдане Глаубица, меж раубриттеров были и такие, которые явно не считали, что разбойничье дело позорит герб, и вовсе этого не скрывали. Неподалеку от Рейневана дробил зубами хрящи детина в яке с гербом Котвицей – красной полосой на серебряном поле. Поблизости елозил на скамье другой, курносый, с розой, гербом Пораев, польских рыцарей, и их же боевым кличем: «Порай!» Третий, широкий в плечах, как тур, был в лентнере, украшенном золотой рысью. Рейневан не помнил, чей это герб, но ему тут же напомнили.

– Господин Боживой де Лоссов, – представил его Ноткер фон Вейрах. – Господа Шарлей и Хагенау.

– Честь имею. – Боживой де Лоссов вынул изо рта свиное бедро, жир капнул на золотую рысь. – Имею честь приветствовать Хагенау, хм… Потомок известного поэта?

– Нет.

– Ага. Ну, значит, выпьем. Твое здоровье.

– И твое.

– Господин Венцель де Харта, – представлял очередных подходящих рыцарей Вейрах. – Господин Буко фон Кроссиг.

Рейневан присматривался с интересом. Носящий обрамленные латунью доспехи Буко фон Кроссиг был личностью известной в Силезии, особенно после прошлогодней Троицы, когда он ограбил кортеж и лично библиотекаря глоговской колегиаты. Сейчас, наморщив лоб и прищурив глаза, знаменитый раубриттер присматривался к Шарлею.

– Мы, случаем, не знакомы? Нам нигде не доводилось встречаться?

– Не исключено, – спокойно ответил демерит. – Может быть, в церкви?

– Ваше здоровье!

– Ваше здоровье!

– Всем нам!

– …совет, – говорил Буко фон Кроссиг Вейраху. – Будем совещаться. Пусть только все соберутся. Трауготт фон Барнхельм. И Экхард фон Зульц.

– Экхард Зульц, – поморщился Ноткер фон Вейрах, – конечно. Этот всюду нос сует. А о чем будем совещаться?

– О походе, – сказал сидящий неподалеку рыцарь, благовоспитанно подносивший ко рту кусочки мяса, которые кинжалом отрезал от окорока, зажатого в пятерне. У него были длинные, сильно поседевшие волосы, ухоженные руки и лицо, благородства которого не портили даже старые шрамы. – Вроде бы, – повторил он, – готовится поход.

– И на кого же, господин Маркварт?

Седовласый не успел ответить. На майдане поднялся шум. Кто-то кого-то крыл, не выбирая выражений, кто-то кричал, отрывисто заскулила собака, получившая пинка. Кто-то громко требовал цирюлика[279] или еврея или и того, и другого.

– Слышите, – указал головой седовласый, насмешливо улыбаясь. – Самое время. Что там стряслось? Э? Господин Ясек?

– Отто Глаубиц порезал Джона Шёнфельда, – ответил задыхающийся рыцарь с тонкими, висящими, как у татарина, усами. – Ему нужен медик. А медик-то ушел. Пропал парх, шельма.

– А кто вчера грозился научить жидовина есть как все? Кто собирался силой накормить его свининой? Кого я просил оставить горемыку в покое? Кого я увещевал?

– Вы, как всегда, правы, милостивый государь фон Штольберг, – неохотно признался усатый. – А что теперь делать? Шёнфельд истекает кровью, как кабан, а от цирюлика только его еврейские инструменты остались…

– Давайте их сюда, – громко и не раздумывая сказал Реиневан. – И давайте раненого. И света, больше света.

Раненый, который, гремя латами, через минуту грохнулся на стол, оказался одним из двух состязавшихся на майдане рыцарей. Без шлема. Результатом бурного лихачества оказался раз рубленный почти до кости наплечник и крепко надрезанное свисающее ухо. Раненый ругался и дергался, кровь обильно лилась на липовые доски стола, пачкала мясо, впитывалась в хлеб.

Принесли сумку медика, при свете нескольких потрескивающих лучин Рейневан принялся за дело. Нашел флакон с ларендогрой,[280] вылил содержимое на рану, при этой процедуре пациент задергался не хуже осетра и чуть было не свалился со стола, пришлось его придержать. Рейневан быстро вдел дратву в кривую иглу и начал сшивать, стараясь делать по возможности ровные стежки. Оперируемый принялся жутко злословить, безбожно хуля некоторые религиозные догмы, тогда седовласый Маркварт фон Штольберг заткнул ему рот куском корейки. Рейневан поблагодарил глазами. И шил, шил и делал узлы под любопытствующими взглядами обступившей стол публики. Движениями головы отгоняя от себя ночных бабочек, густо летящих на свет, он сосредоточивался на том, чтобы прикрепить ухо как можно ближе к месту его первоначального размещения.

– Чистое полотно, – попросил он немного погодя. Немедленно схватили одну из ротозейничавших девок и содрали с нее рубашку. Ее протесты приглушили, дав несколько раз по заду.

Рейневан тщательно и туго забинтовал голову раненого разорванным на полосы льном. Раненый, о диво, не потерял сознания, а сел, невнятно пробормотал что-то в адрес святой Люции, заохал, застонал и пожал Рейневану руку. После чего все присутствующие тут же принялись поздравлять и благодарить медика за хорошую работу. Рейневан улыбчиво и гордо принимал поздравления. И хотя понимал, что с ухом у него получилось не очень гладко, однако на физиономиях вокруг видел следы от ран, заштукованных гораздо хуже. Раненый бормотал что-то из-под повязки, но его никто не слушал.

– А что? Молодчина, верно? – принимал поздравления стоявший рядом Шарлей. – *Doctus doctor,*[281] разорви меня черти. Хорош медик, а?

– Хорош, – согласился ничуть не раскаивающийся виновник, тот самый Глаубиц с золотым карпом в гербе, вручая Рейневану кружку медовухи. – И трезвый, а это редкость среди коновалов. Повезло Шёнфельду.

– Ага, повезло, – холодно прокомментировал Буко фон

Кроссиг, – потому что резанул его ты. Будь это я, нечего было бы пришивать.

Интерес к случившемуся неожиданно угас, прерванный появлением новых гостей, въезжающих на кромолинский майдан. Раубриттеры зашумели, послышались возбужденные голоса, свидетельствующие о том, что въезжает не какой-нибудь фертик. Рейневан посмотрел внимательнее, вытирая руки.

Кавалькаду из нескольких вооруженных человек возглавляли трое конных. В середине ехал лысеющий толстяк в черных, покрытых эмалью латах, справа от него – священник или монах, но с кордом на боку и в железном вороте на кольчуге, надетой прямо поверх рясы.

– Приехали Барнхельм и Зульц, – провозгласил Маркварт фон Штольберг. – В корчму, господа рыцари! На тинг! Дальше, дальше. А ну, зовите сюда тех, кто с девками по сусекам. Будите спящих. На тинг!

Возникла небольшая суматоха, почти каждый направляющийся на совет рыцарь запасался едой и выпивкой. Громко и грозно требовали от слуг, чтобы те выкатывали новые бочки и бочонки. Среди прибежавших на клич появился и Самсон Медок. Рейневан незаметно подозвал его и придержал. Он хотел уберечь спутника от судьбы слуг, которых раубриттеры безжалостно тыкали и пинали.

– Идите на тинг, – сказал Шарлей. – Смешайтесь с толпой. Хорошо бы знать, что замышляет эта компания.

– А ты?

– У меня временно другие планы. – Демерит поймал взглядом горящие глаза крутящейся поблизости цыганки, красивой, хоть несколько полноватой, с золотыми колечками, вплетенными в чернющие, цвета вороньего крыла локоны. Цыганка подмигнула ему.

Рейневану хотелось кое-что сказать. Но он сдержался.

В корчме была давка. Под низким бревенчатым потолком плыл дым и смрад. Запах людей, давно не снимавших доспехи, то есть запах металла и не только. Рыцари и оруженосцы составили лавки так, чтобы образовать что-то вроде Круглого Стола короля Артура, но далеко не всем хватило места. Многие стояли. Среди них, чтобы не бросаться в глаза, были Рейневан и Самсон Медок.

Тинг открыл, приветствуя по имени наиболее знатных, Маркварт фон Штольберг. Сразу после него взял голос Трауготт фон Барнхельм, новоприбывший, полный и лысоватый, в латах, покрытых черной эмалью.

– Дело, значит, в том, – начал он, со звоном кладя перед

собой меч в ножнах, – что Конрад, епископ Вроцлава, скликает вооруженных под свои знамена. Собирает, значит, войско, чтобы снова вдарить по чехам, по еретикам, значит. Будет крестовый поход. Меня через доверенное лицо уведомил господин староста Колдиц, что, ежели кто хочет, может, значит, к крестовикам присоединиться. Все провинности крестовику будут прощены, а что заработает – то его. При этом попы наболтали Конраду разные разности, однако я не запомнил, но здесь с нами патер Гиацинт, которого я, значит, взял по дороге, он это вам лучше доложит.

Патер Гиацинт, уже упомянутый священник в латах, встал, бросил на стол свое оружие – тяжелый и широкий корд.

– Господь благословенный, – загремел он, словно с амвона, воздевая руки жестом проповедника, – опора моя! Он руки мои приучает к бою, пальцы мои – к войне! Братья! Вера покидает нас! В Чехии еретическая зараза набрала новые силы, отвратный дракон гуситской ереси поднял свою главу мерзопакостную! Неужто вы, благородные рыцари, будете взирать спокойно на то, что под Крестовские знамена валом валят люди более низких сословий? Зреть, что гуситы все еще живы и ежеутренне стенает и мается Матерь Божья? Благородные господа! Напоминаю вам слова святого Бернарда: убить врага во имя Христа значит вернуть его ко Христу!

– К делу, – угрюмо вставил Буко фон Кроссиг. – Закругляйся, патер.

– Гуситы, – патер Гиацинт саданул по столу обоими кулаками сразу, – отвратны Богу! Следовательно, Богу будет приятственно, ежели мы пойдем на них с мечом, не допустим, дабы они затягивали души в свой блуд и мерзопакостность! Ибо плата за грех есть смерть! И посему: смерть чешским отщепенцам, огонь и погибель еретической заразе! Посему говорю и прошу от имени его милости епископа Конрада, осените знаком креста свои доспехи, станьте ангельской милицией! И будут вам грехи и провинности отпущены, како на сим падоле, тако и на Суде Господнем. А кто что заработает – то его.

Какое-то время стояла тишина. Кто-то рыгнул, у кого-то забурчало в животе. Маркварт фон Штольберг откашлялся, почесал за ухом, повел глазами вокруг.

– Ну и, – проговорил он, – что скажете, господа рыцари? Э? Господа ангельская милиция?

– Этого надо было ожидать, – первым проговорил Боживой де Лоссов. – Гостил во Вроцлаве легат Бранда со свитой богатой, ха, я даже подумывал, не напасть ли на него где-нито на краковском тракте, но эскорт был у него сильный. Не секрет, что кардинал

Бранду к крестовому походу подбивает. Уели вконец гуситы римского папу!

– Потому как и правда, что в Чехии са-а-всем не весело, – добавил Яська Хромой из Любни, уже знакомый Рейневану раубриттер с татарскими усами. – Окружены крепости Карлштайн и Жебрак. Того и жди нападут. Видится мне, что если мы в пору чего-нито с чехами не сделаем, то чехи чего-нито сделают с нами. След, видится мне, это рассудить.

Эрхард фон Зульц, тот, с косым шрамом на лбу, выругался, хватил кулаком по рукояти меча.

– Тоже мне, нашли о чем рассуждать! – фыркнул он. – Верно говорит патер Гиацинт: смерть еретикам, огонь и погибель! Бей чехов, кто добродетелен! А при оказии и карманы набьем. И сие справедливо, ибо чтобы за грех была кара, а за добродетель – награда.

– Истинно, – проговорил Вольдан из Осин, – крестовка – это большая война. А на большой войне люди шибчее богатеют.

– Но и скорее, – заметил кудрявый Порай, – по лбу получают. И сильнее.

– Что-то трусоват ты стал, благородный Блажей, – воскликнул Отто Глаубиц, ухоруб. – А чего тут бояться-то, двум смертям не бывать… А здесь-то разве ж не подставляем мы шеи, на промысел идучи? А чем тут обогатишься? Что урвешь? Мошну у купца? А там, в Чехии, в бою всеобщем, ежели посчастливится тебе рыцаря живьем взять, можешь требовать выкупа даже в двести коп. А повалишь, так возьмешь коня, доспехи с убитого, а это никак уж не мене двадцати гривен, считай как хочешь. А ежели город какой захватим…

– Ого! – подбодрил его Пашко Рымбаба. – Города там богатые, в замках скарбцы полные. К примеру, хотя бы тот же Карлштайн, о котором все болтают. Захватим и сдерем…

– Ну, придумал, – фыркнул рыцарь с красной полосой в гербе. – Карлштайн-то не в гуситских, а в католических руках. Окружена крепость еретиками, это верно, крестовики должны идти как раз на выручку. А ты, Рымбаба, козел глупый, ничего в политике не смыслишь.

Пашко Рымбаба покраснел и распушил усы.

– Ты гляди, Котвиц, – прошипел он, вытаскивая из-за пояса чекан, – кого глупым называешь! За политику – не разумею, но как по башке врезать – так вполне понимаю!

– *Pax, pax!* – крикнул Боживой де Лоссов, чуть не силой усаживая Котвица, который уже перегибался через стол, стискивая в руке мизерикордию. – Успокойтесь! Оба! Ну, прям дети малые! Только б вам за ножики хвататься.

– А Гуго прав, – добавил Трауготт фон Барнхельм. – Ни черта ты, значит, Пашко, в политических тонкостях не смыслишь. Мы ж о крестовом походе толкуем. Ты знаешь, что такое крестовый поход? Ну, это как Готфрид Бульонский, как Ричард Львиное, значит, Сердце, понимаешь? Иерусалим и вообще. Нет?

Раубриттеры покивали головами, но Рейневан готов был поставить на кон любые деньги, что понял не каждый. Буко фон Кроссиг одним духом осушил кружку, хватанул ею об стол.

– Хрен им всем в глотку, – возгласил он трезво. – Иерусалим, Ричарда Львиное Сердце, бульон, политику и религию. Будем раздевать, и вся недолга, кого попало и кто подвернется, черт с ним и его верой. Идет слух, что так поляки в Чехии делают. Федор из Острога. Добко Пухала и другие. Недурно уже, говорят, нахапали. А мы, ангельская милиция, хуже, что ли, или как?

– Не хуже! – рявкнул Рымбаба. – Верно Буко говорит!

– Клянусь мукой Божьей, верно!

– На Чехию!

Поднялся шум и гам. Самсон незаметно наклонился к уху Рейневана.

– Ну, – шепнул он, – один к одному – Клермон в тысяча девяносто пятом. Того и гляди затянут хором *Dieu le veult*.[282]

Однако гигант ошибался. Эйфория оказалась совсем недолгой, угасла, словно соломенный костер, заглушнная проклятиями и грозными взглядами скептиков.

– Поименованные Пухала и Остроградский, – проговорил молчавший до того Ноткер Вейрах, – нахапали, потому что воевали на стороне победителей. Тех, что бьют, а не тех, которых бьют. Пока что крестовики привозили из Чехии больше шишек, чем богатств.

– Верно, – почти сразу подтвердил Маркварт фон Штольберг. – Те, что были в двадцатом году под Прагой, рассказывали, как майсенцы Генриха Исенбурга ударили по Витковскому взгорью. И как сбежали, оставив под голым небом гору трупов.

– Там гуситские священники, – добавил, кивая головой, Венцель де Харта, – дрались плечом к плечу с воинами, а выли при этом, как волки, аж страх брал. Даже бабы там воевали, размахивали серпами, словно спятили… А тех, кто живым попался гуситам в лапы…

– Блудословие, – махнул рукой патер Гиацинт. – Впрочем, на Виткове был Жижка. И сила дьявольская, коей он запродался. А теперь Жижки уже нет. Год тому, как он в аду поджаривается.

– Под Вышеградом, – сказал Тассило де Тресков, – в День Всех Святых Жижки не было. И хоть у нас там был

четырехкратный перевес, хорошую мы получили от гуситов взбучку. Жестоко нас побили, измяли и погнали так, что до сих пор стыдно вспоминать, как мы оттуда бежали. В панике, сломя голову, лишь бы подальше, пока кони не начали храпеть… А пять сотен трупов покрыли поле. Знаменитейшие из чешских и моравских панов: Генрик из Плюмлова, Ярослав из Штернберка… Из Польши пан Анджей Балицкий герба Топор. Из Лужиц пан фон Рателау. А из наших, из силезцев, господин Генрик фон Лаасан…

– Господин Штольц из Шеллендорфа, – докончил в тишине Штольберг. – Господин Петр Ширмер. А я не знал, что ты был под Вышеградом, господин Тассило.

– Был. Потому как будто глупец какой пошел следом за силезским войском с Кантнером Олесьницким и Румпольдом из Глогова. Да, да, господа. Жижку дьяволы взяли, но в Чехии есть другие, которые не хуже его биться умеют. Они показали это под Вышеградом тогда, в День Всех Святых: Гинек Крушина из Лихтенбурка, Гинек из Кольштайна, Викторин из Подебрад, Ян Гвезда. Рохач из Дубы. Запомните эти имена. Потому что вы их услышите, выбравшись крестовым походом на Чехию.

– Ишь ты, – прервал нависшую тишину Гуго Котвиц. – Страсти какие! Побили вас, потому как вы сами биться не умели. Воевал я с гуситами в двадцать первом году под началом господина Путы из Частоловиц. Под Петровицами мы всыпали еретикам так, что пух летел! Потом прошли огнем и мечом по хрудимскому краю, пустили с дымом Жампах и Литице. И взяли такие трофеи, что ого-го! Латы, которые на мне, баварской работы, как раз оттуда…

– Что молоть воду в ступе! – отрезал Штольберг. – надо наконец решать. Идем на Чехию или нет?

– Я иду! – громко и гордо возвестил Экхард фон Зульц. – Выкорчуем плевелы еретические, вот что. Надобно выжигать проказу, пока она всех не уложит.

– Я тоже иду, – сказал де Харта. – Надо добра поднабрать. Прожился я, жениться собираюсь.

– Клянусь зубом святой Аполлонии! – вырвался Куно Виттрам. – Добычей и я не побрезгаю!

– Добыча – дело одно, – неуверенно проговорил Вольдан из Осин. – Но, говорят, кто возьмет крест, грехи его через частое сито пропускать будут. А нагрешили мы… Ох нагрешили.

– Я не иду, – кратко заявил Боживой де Лоссов. – Не стану шишки зарабатывать в чужих сторонах.

– Я не иду, – спокойно сказал Ноткер Вейрах. – Потому что если идет Зульц, стало быть, дело это склизкое и вонючее.

Опять поднялся шум, посыпались ругательства, силой

усадили на место Экхарда Зульца, уже наполовину вытащившего корд.

– А я думаю, – сказал, когда все утихло, Яська Хромой из Любни, – если уж куда идти, так лучше в Пруссию. С поляками на крестоносцев. Или *vice versa.* В зависимости от того, кто больше заплатит.

Некоторое время все орали, стараясь перекричать друг друга, наконец кудрявый Порай жестами успокоил компанию.

– Я на эту крестовину не двинусь, – известил он в тишине. – Потому что не хочу идти на поводу у епископов и попов. Не позволю, чтобы меня как пса какого науськивали. Что еще за крестовый поход? На кого? Чехи – не сарацины. В бой дароносицу с собой несут. А то, что им не нравится Рим, папа Одо Колонна, Бранда Кастильоне, наш епископ Конрад и другие прелаты, так ничего удивительного. Мне тоже не нравятся.

– Брешешь ты, Якубовский! – разорался Экхард фон Зульц. – Чехи – еретики! Еретическое учение исповедуют! Церкви жгут. Дьяволу поклоняются. Хотят…

– Я покажу вам, – громко прервал Порай, – чего хотят чехи. А вы решайте, с кем здесь оставаться, а против кого идти.

По данному им знаку подошел немолодой голиард в красном рогатом капюшоне и кабате с вырезанной зубчиками баской.

– Знайте же, все верующие христиане, – прочитал он зычно и отчетливо, – что Чешское королевство существует и, клянусь смертью и жизнью, с Божьей помощью существовать будет, придерживаясь нижеприведенных правил. Во-первых, чтобы в королевстве Чешском свободно и безопасно проповедовалось слово Божие и чтобы священники проповедовали его без помех…

– Что это такое? – закричал фон Зульц. – Откуда ты это взял, музыкант?

– Пусть продолжает, – поморщился Ноткер фон Вейрах. – Откуда бы ни взял – взял. Читай, парень.

– Во – вторых, чтобы Тело и Кровь Господа Христа раздавались всем верующим в обоих видах хлеба и вина…

В-третьих, чтоб у священников отобрали и уничтожили их светскую власть над земным богатством и благами, чтобы во имя спасения своего вернулись они к законам Писания и жизни, кою вел Христос со своими апостолами.

В-четвертых, чтобы все грехи смертные и иные преступления против закона Божьего карались и осуждались.

– Еретическое письмо! Само только слушание его есть грех! Вы что, кары Божией не боитесь?

– Заткнись, патер.

– Тихо! Пусть читает!

– …среди священников: симония, еретичество, взимание денег за крещение, за помазание, за исповедь, за причастие, за посты, за удары колокола, за исполнение обязанностей плебана, за должности и прелатство, за сан, за отпущение грехов…

– А что? – подбоченился Якубовский. – Неправда, может?

– Дальше: следующие из сказанного ереси и позорящие церковь Христову прелюбодеяния, проклятое множение сыновей и дочерей, содомия и другие развратности, гнев, склоки, раздоры, оговоры, мучения простого народа, ограбление его, вымогательство оплат, податей и жертвоприношений. Каждый праведный сын своей матери Святой Церкви должен все это отринуть, отказаться, ненавидеть, как дьявола, и презирать оное…

Дальнейшее чтение нарушил общий крик и замешательство, во время которого, как заметил Рейневан, голиард незаметно скрылся вместе со своим пергаментом. Раубриттеры вопили, сквернословили, толкались, кидались друг на друга. Наконец уже начали скрежетать клинки в ножнах.

Самсон Медок толкнул Рейневана в бок.

– Сдается мне, – буркнул он, – тебе стоило бы глянуть в окно. И поскорее.

Рейневан глянул. И обмер.

На кромолинский майдан въезжали шагом трое конных.

Виттих, Морольд и Вольфгер Стерчи.

Глава восемнадцатая,

в которой в рыцарские традиции и обычаи врывается – с гулом – современность, а Рейневан, стремясь доказать, что книга названа правильно, изображает из себя шута. И вынужден в этом признаться. Перед всей природой

У Рейневана были основания стыдиться и злиться, потому что, увидев въезжающих в Кромолин Стерчей, он всполошился, а охвативший его бессмысленный и глупый страх тут же бессмысленно и глупо принялся управлять его действиями. Стыд был особенно велик еще и потому, что Рейневан полностью отдавал себе в этом отчет. Вместо того чтобы трезво оценить ситуацию и действовать более или менее разумно, он прореагировал как спугнутый и преследуемый зверь.

Выскочил из окна эркера и принялся петлять между сараями и шалашами, направляясь в сторону густого приречного ивняка, сулящего, как ему казалось, безопасное и темное убежище.

Выручило его счастье и насморк, уже несколько дней мучивший Стефана Роткирха.

Стерчи четко запланировали охоту. Они въехали в Кромолин втроем. Остальные же трое, то есть Роткирх, Дитер Гакст и Филин фон Кнобельсдорф, прибыли в поселение раньше и незаметно разместились у наиболее вероятных путей бегства. Рейневан обязательно наткнулся бы на затаившегося за сараем Роткирха, если б простуженный Роткирх не чихнул, причем так могуче, что испуганный его чихом конь замолотил по доскам копытами. Рейневан, хоть и вконец запаниковавший и почти утративший власть над ногами, вовремя остановился, развернулся, промчался мимо шалаша, рядом с навозной кучей, на четвереньках прополз под плетнем и скрылся за сухим кустарником. При этом он дрожал так, что ему казалось, будто кустарник дергается под порывом ветра.

– Пст! Пст!

Рядом, за плетнем, стоял мальчик лет, может, шести, в фетровой шапке и перехваченной вожжой рубахе, доходящей до середины грязных икр.

– Пст! В сырню, господин… В сырню… Тудай!

Рейневан глянул в указанном направлении. На расстоянии броска камнем стояла деревянная конструкция, четырехугольное, покрытое островерхой крышей строение на четырех солидных столбах, возвышающееся почти на три сажени над землей. То, что

мальчик назвал сырней, больше смахивало на большую голубятню. А еще больше на безвыходную ловушку.

– В сырню, – торопился малец. – Быстрее… Тамочки упрячетесь…

– Там…

– А то! Мы завсегда тама прячемся.

Рейневан не стал спорить, тем более что совсем неподалеку кто-то свистнул, а громкий чих и топот копыт известили о приближении простуженного Роткирха. К счастью, Роткирх свернул между шалашами, выехал прямо на гусятник, а гуси подняли дикий, все заглушающий гогот. Рейневан понял: сейчас либо никогда. Наклонившись, он бегом пустился по краю кустарника, подбежал к сырне. И помертвел. Лестницы не было, а о том, чтобы взобраться по гладким столбам, нечего было и думать.

Кляня свою глупость, он уже собрался бежать дальше, когда услышал тихое шипение, а сверху из черного отверстия змеей опустился канат с узлами. Рейневан ухватился за него руками и ногами и мгновенно оказался наверху в мраморном, душном и заполненном запахом старого сыра чреве. Спустил веревку и помог ему залезть не кто иной, как голиард в красном кабате и рогатом колпаке. Тот самый, который только что читал в корчме гуситскую либеллу.

– Пст, – прошипел он, положив палец на губы. – Тихо, господин!

– А здесь…

– Безопасно? Да. Мы всегда тут прячемся.

Рейневан, может, попробовал бы выяснить, почему в таком случае столь регулярно прятавшихся никто так же регулярно не находит, но времени на это не было. Совсем рядом с сырней проехал Роткирх. Чихнул и направился дальше, не удостоив «голубятню» на столбах даже взглядом.

– Вы, – проговорил в темноте голиард, – Рейнмар из Белявы. Брат Петра. Убитого в Бальбинове.

– Верно, – сразу же подтвердил Рейневан. – А ты спрятался здесь, спасаясь от Инквизиции.

– Тоже верно, – почти тут же подтвердил голиард. – То, что я читал в корчме… Догмы…

– Я знаю, что это были за догмы. Но приехавшие конники – не инквизиторы.

– Кто их знает. Сразу-то…

– Верно. Но, похоже, у тебя здесь есть покровители. И все же ты спрятался.

– А вы – нет?

* * *

В стенах сырни были проделаны многочисленные отверстия, через которые к случившимся Гомулкам[283] поступал воздух. Они же позволяли вести круговое наблюдение. Рейневан прижался глазом к отверстию, выходящему на корчму и освещенный мазницами майдан. Видеть, что там происходило, он не мог. Слышать же не позволяло расстояние. Но догадаться было совсем не трудно.

Военный совет в корчме еще продолжался, ушли лишь немногие. Так что Стерчей на майдане приветствовали в основном собаки, ну да еще армигеры и пара-другая раубриттеров, в том числе Куно Виттрам и Джон фон Шёнфельд с перевязанной головой. Впрочем, сказать «приветствовали» значит сильно преувеличивать. Мало кто из рыцарей вообще поднял голову. Виттрам и еще двое все внимание посвятили скелету барана, с ребер которого сдирали и запихивали в рот остатки мяса, Шёнфельд утолял жажду малмазией, потягивая ее через просунутую сквозь перевязку соломинку. Кузнецы и купцы отправились спать, девки, монахи, ваганты и цыгане куда-то предусмотрительно запрятались, слуги делали вид, что невероятно заняты. В результате Вольфгеру Стерче пришлось повторить вопрос.

– Я спрашивал, – загремел он с высоты седла, – видели ли вы парня, соответствующего описанию? Был ли он – и находится ли сейчас здесь? Может, кто-нибудь наконец соблаговолит ответить? А? Вы что, побей вас зараза, вконец оглохли?

Куно Виттрам выплюнул баранью косточку прямо под копыта стерчева коня. Второй рыцарь отер пальцы о вапенрок, взглянул на Вольфгера и многозначительно передернул на живот пояс с мечем. Шёнфельд, не поднимая глаз, забулькал через соломинку.

Подъехал Роткирх, через минуту присоединился Дитер Гакст. Оба в ответ на вопросительные взгляды Вольфгера и Морольда отрицательно покрутили головами. Виттих выругался.

– Кто видел человека, которого я описал? – повторил Вольфгер. – Кто? Может, ты? Нет? А может, ты? Да, ты, вельгух,[284] к тебе обращаюсь! Видел?

– Нет, – ответил стоящий у корчмы Самсон Медок. – Не видел.

– Кто видел и укажет, – Вольфгер оперся о луку, – получит дукат. Ну? Вот дукат, чтобы не думали, будто я вру. Достаточно указать человека, которого я ищу. Подтвердить, что он сейчас здесь или был тут. Кто это сделает – дукат его! Ну! Кто хочет

заработать? Ты? Или, может, ты?

Один из слуг неуверенно приблизился, робко осматриваясь.

– Я, господин, видел… – начал он, но не докончил, потому что Джон фон Шёнфельд крепко дал ему под зад. Слуга упал на четвереньки. Потом вскочил и убежал, припадая на одну ногу.

Шёнфельд подбоченился, взглянул на Вольфгера и невнятно что-то пробубнил из-под повязки.

– Э? – Стерча свесился с седла. – Чего? Что он сказал?

– Я не уверен, – спокойно ответил Самсон, – но мне показалось, что-то о засранных иудах.

– И мне так показалось, – подтвердил Куно Виттрам. – Клянусь бочкой святого Вилиброда! Не любим мы здесь, в Кромолине, иуд.

Вольфгер покраснел, потом побледнел, сжимая пятерней рукоять нагайки. Виттих тронул коня, а Морольд потянулся к мечу.

– Не советую, – сказал стоявший в дверях кормы Ноткер фон Вейрах, по одну сторону которого стоял де Тресков, по другую – Вольдан из Осин, а за спиной – Рымбаба и Боживой де Лоссов. – Не советую начинать, господа Стерчи. Потому что, клянусь Богом, то, что вы начнете, то мы докончим.

– Они убили моего брата, – прошипел Рейневан, все еще не отрывая глаз от отверстия в стене сырни. – Стерчи заказали это убийство. Если вдруг начнется драчка… И раубриттеры их порубят, Петерлин будет отмщен…

– Я бы на это не рассчитывал.

Рейневан обернулся. Глаза голиарда светились во мраке. «На что он намекает? – подумал Рейневан. – На что не надо рассчитывать? На драку или на месть? Или ни на то, ни на другое?»

– Я не хочу ссоры, – проговорил, сбавляя тон, Вольфгер Стерча. – И не ищу себе дополнительных хлопот. А спрашиваю вежливо. Человек, которого я преследую, убил моего брата и опозорил невестку. Мое право требовать удовлетворения.

– Ой, господа Стерчи, – покачал головой Маркварт фон Штольберг, когда утих смех. – Неудачно же вы со своей болячкой в Кромолин наведались. Поезжайте, советую, куда-нибудь в другое место удовлетворения искать. К примеру, в суд.

Вейрах фыркнул. Де Лоссов хохотнул. Стерча побледнел, понимая, что смеются над ним, Морольд и Виттих скрежетали зубами так, что едва искры не сыпались. Вольфгер несколько раз пытался открыть рот, но не успел ничего сказать, как на майдан

галопом влетел Иенч фон Кнобельсдорф по прозвищу Филин.

– Мерзавцы, – сквозь зубы проговорил Рейневан. – Неужто нет на них управы… Неужто не выстегает их Господь своим бичом, неужто не нашлет на них одного из своих ангелов…

– Как знать? – вздохнул в заполненной запахами сыра тьме голиард. – Как знать?

Филин подъехал к Вольфгеру, возбужденный, с покрасневшим лицом, что-то быстро проговорил, указывая в сторону мельницы и моста. Долго говорить ему не пришлось. Братья Стерчи дали лошадям шпоры и галопом помчались через майдан в противоположную мосту сторону, между шалашами, к броду на реке. За ними, не оглядываясь, последовали Филин, Гекст и не переставающий чихать Роткирх.

– Крест вам на дорогу! – плюнул вслед им Пашко Рымбаба.

– Учуяли мыши кота! – сухо рассмеялся Вольдлан из Осин.

– Тигра, – многозначительно поправил Маркварт фон Штольберг. Он стоял ближе и расслышал, что Филин сказал Вольфгеру.

– Я, – проговорил из тьмы голиард, – пока не стал бы выходить.

Рейневан, уже почти висевший на узловатой веревке, задержался.

– Мне больше ничего не угрожает, – заверил он. – Но ты поберегись. За то, что ты читал, сжигают на костре.

– Есть вещи, – голиард пододвинулся ближе – так, чтобы сочащийся сквозь отверстие лунный свет попал ему на лицо, – есть вещи, стоящие того, чтобы ради них жертвовать жизнью. Вы и сами прекрасно знаете, господин Рейневан.

– Вы же понимаете, о чем речь.

– О чем это ты?

– Я тебя знаю, – вздохнул Рейневан. – Я тебя уже видел.

– Конечно, видели. У брата в Повоевицах. Но с этим поосторожней. Лучше не говорить. В наше время болтливость – большой недостаток. Уж не один болтун собственным своим языком глотку себе перерезал, как говаривали…

– Урбан Горн, – докончил Рейневан, удивляясь собственной догадливости.

– Тише, – шепнул голиард. – Поосторожнее с этим именем, господин.

Стерчи действительно удирали из поселения так прытко,

словно бежали от татарского нашествия, чумы или преследующего их дьявола. Это здорово поправило самочувствие Рейневана. Однако стоило ему увидеть, от кого так стремительно убегали Стерчи, и он опять скис.

Во главе въезжающего в Кромолин отряда рыцарей и конных арбалетчиков ехал мужчина с крупными чертами лица и широкими как двери кафедрального собора плечами, одетый в великолепные, сильно позолоченные миланские латы. Конь рыцаря, огромный вороной, тоже был покрыт броней: голову ему защищал *chamfron,* то есть налобник, шею – пластинчатый *crinet*.

Рейневан смешался с кромолинскими раубриттерами, к тому времени высыпавшими на майдан. Никто, кроме Самсона, не заметил его и не обратил внимания. Шарлея нигде не было ни видно, ни слышно. Раубриттеры гудели словно осиный рой.

По обеим сторонам рыцаря в миланских доспехах ехали двое – светловолосый красивый, как девушка, юноша и смуглый тощага с запавшими щеками. Оба также были в полных пластинчатых латах, оба сидели на ландрованных[285] лошадях.

– Хайн фон Чирне, – удивленно сказал Отто Глаубиц. – Смотрите, какая у него миланеза.[286] Чтобы я сдох – это стоит никак не меньше сорока гривен.

– Тот, что слева, молодой, – шепнул Венцель де Харта, – Фричко Ностиц. А справа – Вителодзо Гаэтани, итальянец…

Рейневан слабо вздохнул. Кругом слышались такие же вздохи, сопение и тихая ругань, говорившие о том, что не только его взбудоражило появление одного из самых известных раубриттеров. Хайн фон Чирне, владелец замка Ниммерсатт, пользовался предельно скверной славой, а его имя явно вызывало ужас не только у купцов и мирных людей, но и грозное уважение у собратьев по профессии.

Тем временем Хайн фон Чирне остановил коня перед старшиной, слез, подошел, звеня шпорами и скрежеща доспехами.

– Господин Штольберг, – проговорил он глубоким басом. – Господин Барнхельм.

– Господин Чирне.

Раубриттер оглянулся, словно хотел проверить, держит ли его свита оружие под рукой, а стрелки – арбалеты в готовности. Удостоверившись, он положил левую руку на рукоять меча, а правую на бедро. Расставил ноги, задрал голову.

– Скажу кратко! – грохотнул он. – Мне недосуг долго болтать. Кто-то напал и ограбил Валонов, членов горнопромышленного товарищества из золотостокских копей. А я предупреждал, что Валоны из Золотого Стока находятся под моей опекой и охраной. Так вот, я кое-что скажу, а уж вы решайте: если у кого-либо из

вас, паршивцы, рыльце в пуху, так пусть лучше сам признается, иначе, ежели я его споймаю, так буду с сукина сына ремни драть, даже если он рыцарь.

Лицо Маркварта Штольберга покрыла, можно бы сказать, черная туча. Кромолинские раубриттеры зашумели. Фричко Ностиц и Вителодозо Гаэтани не шевельнулись, продолжая сидеть на конях не хуже двух железных кукол. Стрелки же из свиты наклонили арбалеты, готовые пустить их в дело.

– Особое подозрение за названные фокусы, – продолжал фон Чирне, – падает на Кунца Аулока и Сторка из Горговиц, так что я опять же скажу вам, а вы внимательно слушайте: ежели вздумаете этих подлюг и ублюдков укрывать в Кромолине, то меня попомните. Известно, – продолжал Чирне, не обращая внимания на усиливающийся меж рыцарей шум, – что выродки Аулок и Сторк кормятся у Стерчей, у братьев Вольфгера и Морольда, таких же паскуд и негодяев. С ними у меня давние счеты, но теперь их наглость перешла границы. Если история с Валонами обернется правдой, то я из Стерчей кишки выпущу. А одним махом и из тех, кто их покрывать надумает.

И еще одно дело, под сам конец. Не менее важное, так что навострите уши. Последнее время кто-то крепко на купцов навалился. То и дело какого-нибудь *mercatora* обнаруживают хладным и застывшим. Дело, впрочем, давнее, и углубляться в него я не собираюсь, но скажу так: аугсбургская компания Фуггеров платит мне за охрану. Поэтому, если с кем-нибудь из фуггеровских меркаторов какое-нито приключение случится и будет ясно, что замешан кто-то из вас, то пусть Бог над ним смилостивится. Понятно? Понятно, сукины дети?

Слыша, как вздымается злой гул, Хайн фон Чирне неожиданно выхватил меч. Засвистело.

– А ежели, – рявкнул он, – кто супротивится тому, что я сказал, или думает, дескать, я лгу, и вообще, ежели кому сказанное не по вкусу, то прошу сюда, на майдан! Враз железом дело разрешим. А ну! Жду! Псякрев, с самой Пасхи никого не приканчивал.

– Некрасиво поступаете, господин Хайн, – спокойно сказал Марквард фон Штольберг. – Разве ж так след?

– Мои слова, – Чирне еще больше вытянул оружие из ножен, – не касаются ни вас, почтенный господин Марварт, ни уважаемого господина Трауготта. И вообще никого из старейшин. Но свои права я знаю. Из толпы вызвать имею право любого.

– Я лишь сказал, что это некрасиво. Вас все знают. Вас и ваш меч.

– Так как же? – фыркнул разбойник. – Мне теперь, значит,

чтобы не узнавали, девкой переодеваться, как Ланселот Озерный? Я сказал: свои права знаю. Да и они тоже их знают. Эта вот шайка засранцев с дрожащими подштанниками.

Раубриттеры зашумели. Рейневан видел, как у стоящего рядом с ним Котвица кровь от ярости отхлынула от лица, услышал, как Венциль де Харта скрежетнул зубами. Отто Глаубиц схватился за рукоять и сделал такое движение, словно хотел выступить вперед, но Ясько Хромой схватил его за руку.

– Не дури, – буркнул он. – От его меча еще никто живым не уходил.

Хайн фон Чирне снова махнул мечом, прошелся, позвякивая шпорами.

– Ну и что, пердохеры? Что, говноеды, никто не решится? Знаете, кем я вас всех считаю? Бычьими жопами. И таковыми во всеуслышание объявляю. А что? Может, кто возразит? Может, кто скажет, что я вру? Никто? Стало быть, вы все до одного пердуны, рохли и тонкобздюхи. И вощe – позорище для рыцарства!

Рыцари-разбойники зашумели еще громче. Однако Хайн, казалось, этого не замечал.

– Один только, – продолжал он, тыча пальцем, – вижу, есть среди вас мужчина, вон он там стоит. Боживой де Лоссов. Воистину не разумею, что такой человек может делать в толпе вам подобных выкидышей, прощелыг и козотрахов. Видать, сам скурвился. Тьфу, стыд и срам.

Лоссов выпрямился, скрестил руки на украшенной гербовой рысью груди, не смутившись, выдержал взгляд Хайна.

Однако не пошевелился и продолжал стоять с каменным лицом. Его спокойствие явно распалило фон Чирне. Разбойник покраснел, упер руку в бок.

– Козотрахи! – закричал он. – Выкидыши недоскребанные! Щипокуры! Вызываю вас, слышите, уделанные говномазы! Пешими либо конными, сейчас, здесь, на этой площади! Хоть на мечах, хоть на топорах. Да на чем хотите, выбирайте! Ну, кто? Может, ты, Гуго Котвиц? Может, ты, Кроссиг? Может, ты, Рымбаба, помет куриный?

Пашко Рымбаба наклонился и схватился за меч, скаля зубы из-под усов. Вольдин из Осин схватил его за плечо, удержал на месте тяжелой рукой.

– Утихомирься, – прошипел он. – Тебе что, жизнь не мила? Против него никто не стоит.

Хайн фон Чирне захохотал, словно услышал.

– Никто? Никто не выступит? Нету смелого? Так я и думал! Ах вы, жопосраи! Собачьи хвосты! Жбанопии! Горшкоскребы!

– А, мать твою! – неожиданно рявкнул, выступая вперед,

Экхард фон Зульц. – Индюк надутый! Мордач! Жоподуй! Выходи на плац!

– На нем стою, – спокойно ответил Хайн фон Чирне. – Ну, на чем испробуем?

– На этом! – Зульц поднял самопал. – Больно ты горд, Чирне, потому как силен на мечах, могуч на топорах! А ныне новое в моде – вот она, современность-то! Равные шансы! Стреляться будем!

В поднявшемся шуме Хайн фон Чирне подошел к коню и через минуту вернулся, неся стрельбу. Однако если у Экхарда Зульца была обыкновенная пищаль, простая труба на палке, то оружием Чирне была прямо-таки художественно изготовленная ручница с граненым стволом, посаженным на профилированное дубовое ложе.

– Ну, значит, пусть будет огнестрельное, – заявил он. – Пусть будет современность и дома, и во дворе. Пометьте ристалище.

Дело пошло быстро. Рубежи обозначили двумя вбитыми в землю пиками, определившими дистанцию в десять шагов между рядами горящих мазниц. Чирне и Зульц встали друг против друга, каждый с самопалом под мышкой и тлеющим фитилем в другой руке. Раубриттеры отошли на стороны, освобождая линию выстрела.

– Готовь оружие! – Ноткер Вейрах, взявший на себя обязанность герольда, поднял булаву. – Цельсь!

Противники наклонились, поднесли фитили к запалам.

– Пли!

Некоторое время стояла тишина, нарушаемая лишь шипящими и сеющими искры фитилями, да вонял горящий на полках порох. Походило на то, что придется прервать поединок, чтобы снова набить оружие. Ноткер Вейрах уже собрался было подать знак, когда неожиданно пищаль Зульца сработала со страшным гулом, сверкнул огонь, заклубился вонючий дым. Стоявшие поблизости услышали свист пули, которая, пройдя мимо цели, полетела куда-то в стороны сортира. Почти в тот же момент плюнула дымом и огнем хандканона[287] Хайна фон Чирне. С лучшим результатом. Пуля угодила Экхарду Зульцу в подбородок и оторвала ему голову. Из шеи поборника антигуситского похода хлынул фонтан крови, голова ударилась о стенку овина, упала, покатилась по майдану и наконец упокоилась в траве, глядя мертвым глазом на обнюхивающих ее собак.

– Курва! – сказал в абсолютной тишине Пашко Рымбаба. – Этого, пожалуй, уже не пришьешь.

Рейневан недооценил Самсона Медка.

Он даже не успел оседлать в конюшне коня, когда почувствовал затылком щекочущий взгляд. Обернулся, увидел и замер, как соляной столп, обеими руками вцепившись в седло. Выругался и тут же с размаху перекинул седло на спину коня.

– Не порицай меня, – сказал он, не поворачиваясь и делая вид, будто целиком занят упряжью. – Я должен ехать вслед за ними. Хотел избежать прощания. Вернее, прощальных споров, которые не дали бы ничего, кроме ненужной обиды и потери времени. Я подумал, что лучше будет…

Самсон Медок, прислонившийся к дверной коробке, сплел руки на груди и молчал, многозначительно глядя на Рейневана.

– Я должен ехать за ними, – выпалил после напряженного колебания Рейневан. – Иначе не могу. Пойми. Для меня это исключительный, неповторимый случай. Провидение…

– Личность господина Хайна фон Чирне, – усмехнулся Самсон, – приводит мне на ум некоторые аналогии. Однако ни одной я не назвал бы провиденческой. Ну что ж, я тебя понимаю. Хоть не скажу, что мне это легко далось.

– Хайн Чирне – враг Стерчей. Враг Кунца Аулока. Враг моих врагов, а значит, мой естественный союзник. Благодаря ему у меня появляется возможность отомстить за брата. Не вздыхай, Самсон. Здесь не место и не время для очередного диспута, оканчивающегося выводом, что месть – дело бесплодное и бессмысленное. Убийцы моего брата не только спокойно ходят по земле, но еще и беспрерывно топчутся у меня по пятам, угрожают смертью, преследуют женщину, которую я люблю. Нет, Самсон. Я не сбегу в Венгрию, оставив их тешиться гордостью и славой. Мне представился случай, у меня есть единомышленник, я нашел врага моего врага. Чирне пообещал выпустить из Стерчей и Аулока кишки. Может, это и излишняя кичливость, может, низко, может, отвратительно, может, бессмысленно, но я хочу ему помочь. Хочу видеть, как он будет выпускать из них кишки…

Самсон Медок молчал. А Рейневан, неведомо в который раз, не мог не удивляться, видя, сколько в мутных глазах и одутловатом лице идиота задумчивости и мудрой заботы. И немного, но все же явного упрека.

– Шарлей, – пробормотал он, затягивая подпругу. – Шарлей, правда, помог мне, сделал для меня много. Но ведь ты сам слышал, был свидетелем… И не раз. Стоило мне заговорить о желании отомстить Стерчам, как он тут же начинал отговаривать. При этом ехидничая и относясь ко мне так, словно я глупый мальчишка. Он категорически отказывается помогать мне, больше того, даже к Адели, ты сам слышал, относится несерьезно,

высмеивает, постоянно пытается отговорить меня от поездки в Зембицы!

Конь фыркнул и затопал, словно ему передалось настроение Рейневана, а Рейневан глубоко вздохнул, успокоился.

– Передай ему, Самсон, пусть не обижается. Псякрев, я неблагодарный хам, прекрасно понимаю, что он для меня сделал. Но, вероятно, именно так я отблагодарю его лучше всего. Уйдя. Он сам сказал: я – человек рискованный. Без меня ему будет легче. Обоим вам…

Он замолчал.

– Я хотел бы, чтобы ты пошел со мной. Но не предлагаю. Это было бы с моей стороны скверно и непорядочно. Я иду на опасное дело. С Шарлеем тебе будет спокойнее.

Самсон Медок долго молчал, потом сказал:

– Отговаривать тебя я не стану. Не стану толкать тебя, как ты это назвал, на свары и потерю времени. Даже воздержусь высказывать собственное мнение касательно смысла мероприятия… Не хочу также еще больше ухудшать положения и заставлять тебя мучиться угрызениями совести. Однако знай, Рейнмар: уходя, ты окончательно лишаешь меня надежды вернуться в мой собственный мир и мое собственное тело.

Рейневан долго молчал. Наконец сказал:

– Самсон. Ответь. Если можешь – честно. Ты действительно… Ты… Ну, то, что ты говорил о себе… Кто ты?

– *Ego sum, qui sum,* – мягко прервал Самсон. – Я тот, кто я есть. И давай не будем исповедоваться на прощание. Это ничего не даст, ничего не оправдает и ничего не изменит.

– Шарлей, – быстро сказал Рейневан, – человек бывалый и опытный. Вот увидишь, в Венгрии он наверняка сумеет связаться с кем-нибудь, кто…

– Ладно, отправляйся. Отправляйся, Рейнмар.

Котловину заполнял плотный туман. К счастью, он лежал низко, у самой земли, поэтому не было опасности – по крайней мере пока что – заблудиться, было видно, куда идет тракт, дорогу четко определял ряд выступающих из белого покрывала кривых верб, диких груш и кустов боярышника. Кроме того, далеко в темноте помигивал и указывал дорогу расплывчатый, пляшущий огонек – фонарь отряда Хайна фон Чирне.

Было очень холодно. Когда Рейневан проехал мост через Ядкову и погрузился в туман, ему казалось, что он нырнул в ледяную воду. «Ну что ж, – подумал он, – ведь уже сентябрь».

Раскинувшееся вокруг белое поле тумана отражало свет, позволяло, в общем, неплохо видеть то, что находилось по

сторонам. Однако Рейневан ехал в совершенной темноте, едва различая уши коня. Наиболее плотный мрак висел – как ни странно – на самой дороге, меж рядами деревьев и густых кустарников, силуэты которых были уже настолько демоническими, что юноша то и дело вздрагивал от неприятного ощущения и невольно натягивал вожжи, пугая и без того пугливого коня. Он продолжал ехать, посмеиваясь над собственной трусостью. Ну как же можно, черт побери, бояться кустов?

Два куста неожиданно преградили ему путь, третий выхватил из рук вожжи. А четвертый приставил к груди что-то такое, что могло быть только наконечником рогатины.

Вокруг затопали копыта, усилился запах конского и человеческого пота. Щелкнуло кресало, посыпались искры, разгорелись фонари. Рейневан прищурил глаза и откинулся в седле: один фонарь подсунули ему почти под нос.

– Для шпика слишком хорош, – сказал Хайн фон Чирне. – Для платного убийцы – слишком молод. Однако внешность бывает обманчива.

– Я…

Он осекся и скорчился в седле, получив по спине чем-то твердым.

– Кто ты такой, пока что решаю я, – холодно бросил Чирне. – И кто не такой. К примеру, ты не пробитый болтами труп во рву. Пока что. Именно благодаря моему решению. А теперь помолчи, ибо я думаю.

– А что тут думать, – проговорил Вителодзо Гаэтани, итальянец. По – немецки он говорил свободно, однако его выдавал певучий акцент. – Ножом его по горлу, и вся недолга, и поехали, потому как холодно и есть хочется.

Позади затопали копыта, зафыркали лошади.

– Он один, – крикнул Фричко фон Ностиц, которого тоже выдавал молодой и приятный голос. – За ним никого нет.

– Видимость может быть обманчива, – повторил Чирне.

Из ноздрей его коня бил белый пар. Он подъехал близко, совсем близко, так что они коснулись стременами. Рейневан с ужасающей ясностью понял почему: Чирне проверял. И провоцировал.

– А я, – повторил из тьмы итальянец, – говорю – ножом по горлу.

– Ножом, ножом, – повысил голос Чирне. – Все у вас так просто. А мне потом исповедник дырку в брюхе вертит, совестит, напоминает: мол, убить без повода – большой грех, надо иметь повод, мол, важный повод, чтобы убить. На каждой исповеди мне

долбит: повод, повод, повод, нельзя без повода, все кончится тем, что я возьму и раздолбаю попу череп булавой, в конце концов, раздражение тоже повод, нет, что ли? Ну а пока пусть все будет так, как он мне на исповеди наказал.

– Ну, братец, – обратился он к Рейневану, – давай излагай, кто ты. Погляди, есть повод иль надобно его наперед придумать.

– Меня зовут Рейнмар из Белявы, – начал Рейневан. А поскольку никто его не прерывал, продолжал: – Мой брат, Петр из Белявы, был убит по заказу братьев Стерчей, а убил его Кунц Аулок и его шайка. Поэтому у меня нет причин их любить. В Кромолине я услышал, что и меж вами тоже дружбы нет. Поэтому поехал следом, чтобы сообщить, что Стерчи были в поселении, сбежали оттуда, услышав о вашем приближении. Поехали на юг, по броду через реку. Я говорю все это и делаю из-за ненависти к Стерчам. Сам я отомстить им не смогу. Поэтому надеюсь на ваш отряд. Ничего больше я не хочу. Если я ошибаюсь… Простите и позвольте мне ехать своей дорогой.

Он глубоко вздохнул, устав от поспешно произнесенной речи. Кони раубриттеров похрапывали, позвякивали упряжью, фонари выхватывали из мрака прозрачные, пляшущие тени.

– Фон Беляу, – фыркнул Фричко Ностиц. – Надо же! Получается, что он какой-то мой дальний родственник. Не иначе.

Вителодзо Гаэтани выругался по-итальянски.

– В путь, – неожиданно кратко приказал Хайн фон Чирне. – А ты, господин из Белявы, со мной. Рядом.

«Он даже не велел меня обыскать, – подумал Рейневан, шлепнув лошадь. – Не проверил, нет ли у меня спрятанного оружия. А велит быть рядом. Конечно, очередная проверка. И провокация».

На придорожной вербе покачивался фонарь – хитрый трюк, имевший целью обмануть едущего следом, убедить его, что отряд находится далеко впереди. Чирне снял фонарь, еще раз осветил Рейневана.

– Честное лицо, – отметил он. – Честное, искреннее лицо. Получается, внешность не обманывает, и он правду говорит. Враг Стерчей, да?

– Да, господин Чирне.

– Рейнмар из Белявы, да?

– Да.

– Все ясно. А ну, взять его. Разоружить, связать. Постромок на шею быстро!

– Господин Чирне… – выдавил схваченный сильными руками Рейневан. – Как же так… Как же…

– На тебя есть *significavit,*[288] парень, – небрежно бросил Хайн

фон Чирне. – И награда за живого. Тебя, видишь ли, разыскивает Инквизиция. Какое-то волшебство или ересь, мне, впрочем, все едино. Но поедешь ты в путах в Свидницу, к доминиканцам.

– Отпустите меня… – Рейневан застонал, потому что вожжи болезненно врезались в суставы рук. – Прошу вас, господин Чирне… Ведь вы все же рыцарь… А мне надо… Я спешу… К невесте, которую люблю!

– Как и все мы.

– Но вы же ненавидите моих врагов, Стерчей и Аулока!

– Верно, – согласился раубриттер. – Ненавижу сукиных сынков. Но я, парень, не какой-то там дикарь. Я – европеец. Я не допускаю, чтобы мною руководили симпатии и антипатии. В деле.

– Но… господин Чирне…

– По коням, господа.

– Господин Чирне… Я…

– Господин Ностиц! – резко прервал его Хайн. – Это вроде бы ваш родственник. Так сделайте так, чтобы он умолк.

Рейневан получил кулаком по уху так, что у него посыпались искры из глаз, а голову пригнуло чуть не до конской гривы.

Больше он заговаривать не решался.

Небо на востоке посветлело в предчувствии зари. Еще больше похолодало. Связанный по рукам Рейневан дрожал, трясся и от холода, и от страха. Ностицу пришлось несколько раз призывать его к порядку, рванув вожжи.

– Что с ним делать-то? – неожиданно спросил Вителодзо Гаэтани. – Тащить с собой через все горы? Или ослабить отряд, дав ему эскорт до Свидницы? А?

– Еще не знаю. – В голосе Хайна фон Чирне чувствовалось нетерпение. – Я думаю.

– А, – не отступал итальянец, – неужто награда за него так уж велика? Или за мертвого дают гораздо меньше?

– Меня интересует не награда, – проворчал Чирне, – а хорошие отношения со Священным Официумом. И вообще, довольно болтать! Я сказал – думаю.

То, что они выехали на тракт, Рейневан понял по изменению звука и ритма копыт, бьющих по грунту. Это была франкенштейнская дорога. Но вот ехали ли они в сторону самого крупного из здешних городов, или удалялись от него, угадать он не мог. Решение доставить его в Свидницу скорее всего говорило о втором. Впрочем, звезды могли указывать на то, что едут они именно во Франкенштейн. Скажем, на ночлег.

Он ненадолго перестал ругать себя за собственную глупость и

принялся лихорадочно размышлять, придумывая фокусы и планы бегства.

– Хооо! – крикнул кто-то впереди. – Хооо!

Вспыхнул фонарь, вырвав из мрака угловатые контуры телег и силуэты наездников.

– Есть, – тихо сказал Чирне. – Пунктуально! И там, где договорились. Люблю таких. Но видимость может быть обманчива. Господин Гаэтани, останьтесь позади и будьте начеку. Господин Ностиц, присматривайте за родственником. Остальные – за мной!

Впереди, в ритме шага коня, заплясал фонарь. Приближались трое верховых. Один, словно кукла, закутанный в тяжелую, просторную, укрывающую круп лошади шубу, и двое арбалетчиков, таких же, как стрелки Чирне, одетых кое-как, но с металлическими воротниками и в бригантинах.

– Господин Хайн фон Чирне?

– Господин Гануш Трост?

– Люблю точно держащих слово, – потянул носом человек в шубе. – Вижу, наши общие знакомцы не преувеличивали, порекомендовав нам вас. И охарактеризовав. Рад видеть и доволен сотрудничеством. Думаю, можно двигаться?

– Мое сотрудничество, – ответил фон Чирне, – стоит сто гульденов. Наши общие знакомцы не могли упомянуть об этом.

– Но, разумеется, не авансом, – фыркнул человек в шубе. – Вы, надеюсь, не думали, господин, что я на это соглашусь. Я – купец, человек дела. А в нашем деле так: сначала услуга, потом оплата. Ваша услуга: безопасно переправить меня через Серебряный перевал до Брумова. Сделаете – будет заплачено. Сто гульденов до последнего геллера.

– Лучше, – многозначительно подчеркнул Хайн фон Чирне, – чтобы так оно и было. Конечно, господин Трост, лучше. А на телегах-то что везете, если можно спросить?

– Товар, – спокойно ответил Трост. – А какой – мое дело.

– Ясно, – кивнул Чирне. – Впрочем, мне это знать ни к чему. Мне достаточно и того, что товар ваш не хуже тех, которыми последнее время торговали другие. Фабиан Пфефферкорн. И Миколай Ноймаркт. Об иных умолчу.

– Может, и правильно сделаете. Слишком уж много мы болтаем. А пора бы в путь. Зачем на распутье выстаивать, лихо искушать?

– А и верно. – Чирне развернул коня. – Ничего мы тут не выстоим. Дайте знак, пусть трогает. А что до лиха, то не бойтесь. То лихо, что последнее время так свирепствует в Силезии, имеет привычку с ясного неба бить. В самый полдень. Воистину, как

говорят попы, *daemonium meridinum,* демон, который уничтожает в полдень. Вокруг нас, извольте заметить, темень кромешная.

Купец подогнал коня, сравнялся с вороным раубриттера.

– На месте демона, – заметил он немного погодя, – я изменил бы привычки, поскольку они стали слишком уж известными и предсказуемыми. Кстати, тот же самый псалом упоминает и о темноте. Помните? *Negatio perambulans in tenebris.*[289]

– Знал бы, – в угрюмом голосе Чирне прозвучала веселая нотка, – что вы в таком страхе, то повысил бы ставку. До полторы сотен гульденов самое меньшее.

– Уплачу, – сказал Трост так тихо, что Рейневан едва расслышал. – Сто пятьдесят гульденов в руки, господин Чирне. Когда безопасно доберемся на место. Потому как и верно, я жутко боюсь. Алхимик в Рацибуже составил мне гороскоп, ворожил по курьим кишкам… Получилось, что смерть кружит надо мной…

– Вы верите в такие шутки?

– До недавних пор не верил.

– А теперь?

– А теперь, – сказал купец, – бегу из Силезии. Умной голове два раза не повторяют. Не хочу окончить жизнь, как Пфефферкорн и Ноймаркт. Уезжаю в Чехию, там меня не достанет никакой демон.

– И верно, – подтвердил Хайн фон Чирне. – Там нет. Гуситов даже демоны боятся.

– Выезжаю в Чехию, – повторил Трост. – А ваше дело сделать так, чтобы я туда добрался. Безопасно.

Чирне не ответил. Телеги тарахтели на выбоинах, скрипели оси и ступицы.

Они выехали из леса на открытое пространство, здесь было еще холодней и еще туманней. Услышали шум воды на камнях.

– Вэнжа, – сказал Чирне. – Речка Вэнжа. Отсюда до перевала неполная миля. Хооо! Погоняй! Погоняй, погоооняй!

Под подковами коней и обручами колес застучали и заскрипели окатыши, вскоре вода заплескалась и вспенилась у конских ног. Речка была не очень глубокая, но стремительная.

Хайн фон Чирне неожиданно остановился посередине брода, замер в седле. Вителодзо Гаэтани повернул коня.

– В чем дело?

– Тише. Ни слова.

Увидели они раньше, чем услышали. А увидели белые брызги воды, пенящейся под копытами лошадей, несущихся на них по руслу Вэнжи. Только потом заметили фигуры наездников, увидели плащи… развевающиеся на манер призрачных крыльев.

– За оружие! – рявкнул Чирне, выхватывая меч. – За оружие!

Арбалеты!

В них ударил ветер, резкий, дикий, воющий, режущий лицо вихрь. А потом ударил сумасшедший крик.

– *Adsumus! Adsumus!*

Щелкнули тетивы арбалетов, запели болты. Кто-то крикнул. А через мгновение конники налетели на них в розбрызгах воды, навалились, как ураган, рубя мечами, сваливая и коля. Заклубилось, ночь вспороли крики, вой, грохот и лязг железа, визг и ржание коней. Фричко Ностиц рухнул в реку вместе с лягающимся конем, рядом свалился зарубленный армигер. Кто-то из стрелков взвыл, вой перешел в хрип.

– *Adsuuuuttuuus!*

Удирающий Гануш Трост повернулся в седле, завопил, видя за собой ощерившуюся конскую морду, а за ней черную фигуру в капюшоне. И это было последнее, что он увидел на земле. Узкое острие меча угодило ему в лицо между глазом и носом, с хрустом вонзилось в череп. Купец напружинился, взмахнул руками и рухнул на камни.

– *Adsuuuttus!* – торжествующе рявкнул черный наездник. – *In nomine Tuo!*[290]

Черные наездники хлестнули коней и ринулись во мрак. Но не все! Хайн фон Чирне кинулся за ними следом, спрыгнул с седла, схватил одного, оба покатились в воду, оба одновременно выхватили мечи, оружие засвистело и со звоном ударилось одно о другое. Они бились яростно, стоя по колено в пенящейся воде речки, снопы искр сыпались с клинков.

Черный рыцарь споткнулся. Чирне, старый хват, такой оказии упустить не мог. Ударил с полуоборота в голову, тяжелый пассавский[291] меч разрубил капюшон, разрубил и скинул шлем. Взору Чирне явилось залитое кровью, смертельно бледное искаженное лицо, и он тут же понял, что лица этого не забудет никогда. Раненый зарычал и напал, не думая падать, хотя упасть должен был. Чирне выругался, схватил меч обеими руками и рубанул еще раз, сильно крутанувшись, по шее хлынула черная кровь, голова рыцаря упала на плечо, повисла, удерживаясь лишь на лоскутке кожи. А безголовый рыцарь продолжал идти, размахивая мечом и поливая все вокруг себя кровью.

Кто-то из стрелков взвыл от страха, два других кинулись бежать. Хайн фон Чирне не отступал. Принялся страшно и безбожно ругаться, крепче встал на ноги и рубанул снова, на этот раз не только отделил голову от туловища окончательно, но и отрубив почти все плечо. Черный рыцарь рухнул в прибрежное мелководье, дергаясь там в конвульсиях. Прошло немало времени, прежде чем он замер.

Хайн фон Чирне, тяжело дыша, оттолкнул подальше уносимый течением труп арбалетчика в бригантине.

– Что это было? Что это, клянусь Люцифером, было?

– Иисусе, будь милостив, – бормотал стоящий рядом Фричко Ностиц. – Иисусе, смилостивься…

Речка Вэнжа певуче шумела на камнях.

Тем временем Рейневан сбежал, и это получилось у него так ловко, словно он всю жизнь только и делал, что галопировал связанным. Несся он прямо вперед, крепко ухватившись связанными руками за луку седла, вжавшись головой в гриву, изо всех сил стискивая бока коня коленями, мчался таким галопом, что аж дрожала земля и завывал в ушах ветер. Конь, любимое животное, казалось, понимал, в чем дело, вытянув шею и выдавая из себя все, что мог, доказывая тем самым, что последние пять-шесть лет его овсом кормили не напрасно. Подковы били по затвердевшему грунту, шумели задеваемые в диком беге кусты и высокие травы, били по лицу ветки. «Жаль, что Дзержка де Вирсинг не видит, – подумал Рейневан, хотя в принципе сознавал, что его наезднические способности в данный момент сводятся лишь к тому, чтобы как-то удержаться в седле. – Но, – тут же подумал он, – и этого вполне достаточно».

Возможно, подумал он так немного рановато, потому что конь как раз решил перескочить через поваленный ствол. И перескочил, и даже вполне ловко, только беда в том, что за стволом была яма от вырванных корней. Удар ослабил хватку. Райневан полетел в лопухи, к счастью, такие большие и густые, что они оказались способными хоть немного смягчить падение. Но удар о землю все же вышиб у него из легких весь воздух, и он со стоном свернулся клубком.

Распрямиться он уже не успел. Гнавшийся за ним Вителодзо Гаэтани спрыгнул с седла рядом.

– Хотел сбежать? – прохрипел он. – От меня? Ах ты, гадина.

Гаэтани уже собрался было пнуть Рейневана, но не успел.

Как из-под земли вырос Шарлей, двинул его кулаком в грудь и угостил своим излюбленным пинком под колено. Однако итальянец не упал, только покачнулся, выхватил из ножен меч и рубанул от уха. Демерит ловко выскользнул из поля досягаемости острия, обнажил собственное оружие, кривую саблю. Завертел ею, свистнул крестом, сабля мелькала в его руке молнией и шипела змеей.

Гаэтани не позволил напугать себя продемонстрированным умением фехтовальщика и, дико рявкнув, прыгнул на Шарлея. Они сошлись, звеня оружием. Трижды. На четвертый итальянец

не успел парировать удар гораздо более быстрой сабли. Получил по щеке, залился кровью. Ему было этого мало, он, возможно, намерен был драться дальше, но Шарлей не позволил. Подскочил, оголовком сабли хватанул противника меж глаз. Гаэтани рухнул в лопухи. Взвыл, только когда упал:

– *Figlio di puttana.*[292]

– Возможно. – Шарлей протер клинок листом лопуха. – Но ничего не поделаешь, матерей не выбирают.

– Я не хотел бы портить развлечения, – сказал Самсон Медок, – появляясь из тумана с тремя конями, в том числе и храпящим, покрытым мылом гнедым Рейневана. – Но, может, нам все-таки уехать? И неплохо бы галопом.

Млечное покрывало разорвалось, туман поднялся, развеялся в лучах пробивающегося сквозь облака солнца. Погруженный в *chiaroscuro*[293] длинных теней мир неожиданно посветлел, заблестел, заиграл расцветками. Совсем как у Джотто. Для тех, кто, конечно, когда-нибудь видел фрески Джотто.

Блеснули красной черепицей башни недалекого уже Франкенштейна.

– А теперь, – сказал, насмотревшись, Самсон Медок. – Теперь в Зембицы.

– В Зембицы, – потер руки Рейневан. – Двигаем в Зембицы. Друзья… Как мне вас благодарить?

– Мы об этом подумаем, – пообещал Шарлей. – А пока… А ну, слезай с коня.

Рейневан послушался. Он знал, чего ожидать. И не ошибся.

– Рейневан из Белявы, – проговорил Шарлей благородно и торжественно. – Повторяй за мной: «Я дурак!»

– Я дурак…

– Громче!

– Я дурак, – узнавали заселяющие округу и просыпающиеся в эту пору Божьи семьи: полевые мыши, лягушки, жерлянки, куропатки, овсянки и кукушки, а также мухоловки, сосновые клесты и пятнистые саламандры.

– Я дурак, – повторял вслед за Шарлеем Рейневан. – Я патентованный дурак, глупец, кретин, идиот и шут, стоящий того, чтобы меня заключили в NARRENTURM! Что бы я ни придумал, оказывается пределом глупости, что бы я ни сделал, превышает эти пределы, – разбегалась по мокрым лугам утренняя литания, – к величайшему и совершенно не заслуженному мною счастью, у меня есть друзья, которые не привыкли оставлять меня в беде. У меня есть друзья, на которых я всегда могу положиться и рассчитывать на них, ибо дружба…

Солнце поднялось выше и залило золотым светом поля.
– Дружба – это штука изумительная и громадная!

Глава девятнадцатая,

в которой наши герои попадают в Зембицах на очень европейский рыцарский турнир. Для Рейневана же контакт с Европой оборачивается крупным разочарованием. И не только крупным, но и болезненным

Зембицы были уже так близко, что они могли любоваться внушительными стенами и башнями, выглядывавшими во всей своей красе по-над поросшими лесом холмами. Вокруг крыши пригородных домишек, на полях и лугах трудились земледельцы, над самой землей стелился грязно-коричневый дым от сжигаемых сорняков. Пастбища были заполнены овцами, луга над прудами белели от полчищ гусей. Вышагивали нагруженные корзинами селяне, важно ступали откормленные волы, тарахтели набитые сеном и овощами телеги. Словом, куда ни глянь, всюду были видны признаки благосостояния.

– Приятная страна, – оценил Самсон Медок. – Работящий край, живущий в достатке.

– И по закону. – Шарлей указал на шубеницу, прогибающуюся под тяжестью повешенных. Рядом, к радости ворон, несколько трупов гнили на кольях, белели кости на колесах.

– Предивно! – захохотал демерит. – Видать, тут и впрямь право правом правится, а справедливость – справедливостью.

– Где ты видишь справедливость?

– А вон тут.

– Ага.

– Отсюда также, – продолжал болтать Шарлей, – и достаток, который ты, Самсон, только что изволил заметить. Воистину такие места надлежит посещать в более разумных целях, нежели наши. К примеру, чтобы одурачить, надуть и объегорить какого-нибудь хорошо устроившегося обывателя, а это было бы нетрудно, поскольку благосостояние прямо-таки само в руки идет тысячам зазнаек, фрайеров, наивняков и дурней. А мы едем, чтобы… А, да что говорить…

Рейневан не прокомментировал ни единым словом. Ему не хотелось. Он подобные речи выслушивал уже не один день.

Они выехали из-за пригорка.

– Иисусе Христе, – просопел Рейневан. – Ну народу! Что там такое?

Шарлей придержал коня, приподнялся на стременах.

– Турнир, – угадал он почти сразу. – Это турнир, дорогие

господа. *Torneamentum.* Какой нынче день? Кто-нибудь помнит?

– Восьмой, – посчитал на пальцах Самсон. – Mensis *Septembris,* [294] натурально!

– О! – Шарлей искоса взглянул на него. – Так у вас в потустороннем мире точно такой же календарь?

– В принципе да. – Самсон не прореагировал на зацепку. – Ты спрашивал о дате, я ответил. Желаешь еще что-нибудь? Каких-то более подробных сведений? Сегодня праздник Рождества Девы Марии, *Nativitas Mariae.*

– Значит, – констатировал Шарлей, – турнир проводят именно по этому случаю. Вперед, господа!

Пригородные луга были заполнены людьми, стояли также временные трибуны для зрителей высшего ранга, обитые цветным сукном, декорированные гирляндами, лентами, пястовскими знаменами и гербовыми щитами рыцарства. Около трибун расположились ларьки ремесленников и палатки продавцов пищи, реликвий и сувениров, а надо всем этим полоскалась феерия разноцветных флагов, хоругвей, прапорчиков и конфолонов.[295] Над гулом толпы то и дело вздымался медный голос труб и сурм.[296]

Происходящее в принципе, никого не должно было удивлять. Зембицкий князь Ян наряду с несколькими другими князьями и вельможами входил в силезский «Руденбанд», члены которого были обязаны выступать на турнирах никак не реже раза в год. Однако в отличие от большинства князей, участвовавших в дорогостоящем мероприятии в общем-то неохотно и нерегулярно, Ян из Зембиц устраивал турниры довольно часто. Княжество, в принципе очень небольшое, было к тому же малодоходным, как знать, не самым ли бедным в этом смысле во всей Силезии. Несмотря на это, князь Ян тужился и пыжился. Задолжал евреям, продал все, что мог продать, сдал в аренду все, что мог сдать. От разорения его спас брак на Эльжбете Мелыптынской, очень богатой вдове краковского Спытка. Княгиня Эльжбета, пока была жива, немного сдерживала супруга и его широкие жесты, но после ее смерти князь с удвоенной энергией принялся транжирить наследство. В Зембицах опять возобновились турниры, разгульные пиры и помпезные охоты.

Снова загремели трубы, разоралась толпа. Рейневан с друзьями были уже настолько близко, чтобы хорошо видеть ристалище – классическое, длиной в полтораста и шириной в сто шагов, обнесенное двойной изгородью из бревен, по внешней стороне особенно солидной, способной выдержать напор тлущи. [297] Внутри арены установили барьер, вдоль которого в этот момент, наклонив копья, мчались друг на друга двое рыцарей.

Толпа ревела, свистела и била в ладоши.

– Турнир, – оценил Шарлей, – *hast lidium,*[298] который мы наблюдаем, облегчит нашу задачу. Сюда сбежался весь город. Гляньте, о, там даже на деревья забрались. Могу поспорить, Рейневан, что твою любимую никто не стережет. Слезем с коней, чтобы не бросаться в глаза, обойдем стороной эту шумную ярмарку, смешаемся с селянами и войдем в город. *Veni, vidi, vici!*[299]

– Прежде чем следовать за Цезарем, – покачал головой Самсон Медок, – неплохо бы проверить, нет ли случайно среди турнирных зрителей любимой Рейневана. Если собрался весь город, может, и она здесь?

– А что Адели, – слез с коня Рейневан, – делать в такой компании? Напоминаю: ее здесь держат в заточении. А арестантов на турниры не приглашают.

– Оно, конечно, так, но что мешает проверить?

Рейневан пожал плечами.

– Ну, пошли дальше.

Пришлось идти осторожно, чтобы не вляпаться в кучу. Окрестные рощицы превратились, как и при каждом турнире, в общественное отхожее место. Зембицы насчитывали около пяти тысяч жителей, турнир мог привлечь не только горожан, но и гостей, что в сумме было приблизительно что-нибудь около пяти с половиной тысяч человек. Похоже, каждый из них побывал в кустах по меньшей мере дважды, чтобы облегчиться, освободиться от накопившейся влаги и выбросить недоеденный бублик. Смердило так, что аж глаза слезились. Было ясно – это не первый день турнира.

Запели трубы, толпа опять завопила в один голос. На сей раз Рейневан с друзьями были уже настолько близко, чтобы сначала услышать треск ломающихся копий и грохот столкновения очередных соперников.

– Видный турнир, – оценил Самсон Медок. – Видный и богатый.

– Как всегда у князя Яна.

Мимо них прошел крепкий паренек, сопровождающий в кусты пригожую, румяную и огненную красавицу. Рейневан с симпатией взглянул на пару, всей душой желая им отыскать местечко поуютнее и по возможности свободное от ароматящих куч человеческого дерьма. Мысли его немного замутила настырная картинка того, чем сейчас парочка занимается в кустах, в промежности приятно защекотало. «Ничего, – подумал он, – ничего. Меня от подобных радостей с Аделью тоже отделяют лишь минуты».

– Туда. – Шарлей со свойственным ему чутьем повел их меж домиками кузнецов и оружейников. – Привяжите лошадей здесь к изгороди. И пошли сюда, тут свободнее.

– Попытаемся подойти поближе к трибуне, – сказал Рейневан. – Если Адель здесь, то…

Его слова заглушили фанфары.

– *Aux honneurs, seigneurs chevaliers et escuiers!*[300] – громко крикнул маршал герольдов, когда фанфары умолкли. – *Aux honneurs! Aux honneurs!*

Девизом князя Яна была современность. И европейскость. Выделяясь в этом даже среди силезских Пястов, зембицкий князь маялся комплексом провинциала оттого, что его княжество лежит на периферии цивилизации и культуры, на рубеже, за которым уже нет ничего, только Польша и Литва. Князь тяжело это переживал и прямо-таки болезненно тянулся к Европе. Для окружающих это порой бывало весьма обременительно.

– *Aux honneurs!* – кричал по-европейски маршал герольдов, одетый в желтый табарт[301] с большим черным пястовским орлом. – *Aux honneurs! Laissez les aller!*[302]

Разумеется, маршал, старый добрый немецкий *Marschall,* у князя Яна именовался по-европейски *Roy d'armes,*[303] ему помогали герольды – европейские персевансы, а гонки с копьями через ограду, старый добрый *Stechen über Schrnken,* назывались культурно и европейско: *la juste.*[304]

Рыцари вложили копья в токи[305] и с грохотом копыт бросились вдоль барьера. Один, судя по девизам на попоне, изображающим вершину горы над красно-серебряной шашечницей, был из рода Гобергов. Второй был поляком, о чем свидетельствовал герб Елита на щите и козел в гербе модно зарешеченного турнирного шлема.

Европейский турнир князя Яна привлекал множество гостей и из Силезии, и из зарубежья. Пространство между изгородями и специально огороженную площадь заполняли сказочно расцвеченные рыцари и гермки, в том числе представители самых видных силезских родов. На щитах, конских попонах, лентнерах и вапенроках красовались оленьи рога Биберштайнов, бараньи головы Хаугвицей, золотые пряжки Зедлицей, турьи головы Цеттрицев, шашечницы Боршнитцев, скрещенные ключ Эхтерицев, рыбы Сейдлицев, болты Бользов и карточные буби Квасов. Словно этого было недостаточно, там и тут виднелись чешские и моравские эмблемы и девизы – остжевья панов из Липы и Лихтенбурга, одживонсы[306] панов из Краваржа, Дубе и бехини, багры Мировских, лилии Эвольских. Не было недостатка и в поляках – Староконей, Авданьцев, Долив, Ястжембцев и

Лодзьцев.

Поддерживаемые могучими руками Самсона Медка Рейневан и Шарлей взобрались на угол, а потом на крышу дома кузнеца. Оттуда Рейневан внимательно исследовал уже близко расположенную трибуну. Начал с конца, с менее значительных личностей. Это была ошибка.

– О Господи! – очень громко вздохнул он. – Там Адель. Там, клянусь душой. На трибуне!

– Которая?

– Та, что в зеленом платье… Под балдахином… Рядом…

– Рядом с самим князем Яном, – не упустил возможности Шарлей. – И верно, красавица. Ну что ж, Рейневан, поздравляю с отменным вкусом. Поздравить со знанием женской души не могу. Подтверждается, ох подтверждается мое мнение. Напрасно мы ввязались в зембицкую одиссею.

– Это не так, – сам себя заверил Рейневан. – Это не может быть так… Она… Она… узница.

– Чья, давай подумаем? – Шарлей прикрыл глаза ладонью. – Рядом с князем сидит Ян фон Биберштайн, владелец замка Столец. За Биберштайном – незнакомая мне дама в годах.

– Эвфемия, старшая сестра князя, – узнал Рейневан. – За ней… Неужто Болько Волошек?

– Наследник Глогувки, сын опольского князя. – Шарлей, как обычно, оказался на высоте. – Рядом с Волошеком сидит клодский староста, господин Пута из Частоловиц с женой Анной из Колдицев. Дальше сидят Кильян Хаугвиц и его супруга Людгарда, затем – старый Герман Цеттриц, дальше Янко из Хотемиц, владелец замка Ксенж. Он как раз встает и аплодирует Гоче Шаффу из Грайфенштайна. Пожалуй, с женой. Рядом с ней сидит Миколай Зейдлиц из Альтенау, одмуховский старости, около него Гунцель Свинка из Свин, далее кто-то с тремя рыбами на красном поле, а значит, Зейдлиц или Кужбах. А с другой стороны вижу Оттона фон Боршнитца, дальше кого-то из Бишофштайнов, затем Бертольда Апольду, чесника из Шенау. Потом идут Лотар Герсдорф и Хартунг фон Клюкс – оба лужичане. На нижней скамье сидят, если мне зрение не изменяет, Борута из Венцемежиц и Секиль Рейхенбах, хозяин Тепловод… Нет, Рейневан, я не вижу никого, кто мог бы походить на стражника твоей Адели.

– Там дальше, – воскликнул Рейневан, – сидит Тристрам фон Рахенау, родственник Стерчей. Как и Барут, тот, что с туром в гербе. А там… Ох! Псякрев! Не может быть!

Если б не то, что Шарлей крепко схватил его за плечо, Рейневан непременно свалился бы с крыши.

– Это кто же, – спросил он холодно, – так тряхнул тебя? Вижу, твои вытаращенные глаза прилипли к деве со светлыми волосами. К той, за которой ухаживает юный фон Догна и какой-то польский Равич. Ты ее знаешь? Кто она такая?

– Николетта, – тихо сказал Рейневан. – Николетта Светловолосая.

План, казалось бы, гениальный по простоте и дерзости, не сработал, мероприятие провалилось по всему фронту. Шарлей это предвидел, но Рейневана удержать не удалось.

К тылам турнирной трибуны прилегали наспех сколоченные конструкции из столбов и лесов, обернутые полотном. Зрители – во всяком случае, те, что поблагороднее и с положением, – коротали там перерывы, занимая друг друга беседой, флиртуя и похваляясь одеждой. А также угощались блюдами и напитками. Слуги то и дело таскали туда бочки, бочонки и бочоночки, носили корзины. Идею прокрасться в кухню, смешаться со слугами, схватить корзину с булками и отправиться с нею к невесте Рейневан считал совершенно гениальной. Напрасно.

Ему удалось лишь добраться до тамбура, в котором складывали продукты и из которого потом уже их разносили пажи. Рейневан, последовательно реализуя свой план, поставил корзину, незаметно выскользнул из вереницы возвращающихся в кухню слуг и проскользнул под навес. Потом вытащил стилет, чтобы вырезать в обтягивающем конструкцию полотне наблюдательную дырку. И тут его схватили.

Обездвижили его несколько пар крепких рук, железная пятерня стиснула горло, вторая, не менее железная, вырвала стилет. Внутри набитого рыцарями навеса он оказался гораздо скорее, чем ожидал. Хоть и не совсем так, как рассчитывал.

Его сильно толкнули, он упал, прямо перед глазами увидел модные чижмы[307] с невероятно длинными носами. Такие чижмы называли *poulaines,* обувь, хоть и европейская, пришла вовсе не из Европы, а из Польши. Именно такой обувью славились на весь мир краковские сапожники. Рейневана дернули, он встал. Того, кто его рванул, он знал в лицо. Это был Тристрам Рахенау. Родственник Стерчей. Его сопровождали несколько Барутов с черными турами на лентнерах, тоже стерчевых родственников. Хуже попасть Рейневан не мог.

– Террорист, – представил его Тристрам Рахенау. – Тайный убийца, ваша светлость, князь. Рейнмар из Белявы.

Окружавшие князя грозно зашептались.

Князь Ян Зембицкий, видный, интересный сорокалетний мужчина, был одет в черный облегающий *justaucorps,*[308] поверх

которого он носил модно богатую, обшитую соболями бордовую *hauppelande.*[309] На шее у князя висела тяжелая золотая цепь, на голове был модный *chaperon turban* с опадающей на плечо лирипипой. Темные волосы князя Яна также были подстрижены по последним новейшим европейским образцам и модам – «под горшок» вокруг головы, на два пальца выше ушей, впереди челка, сзади выбриты по самый затылок. Обут князь был в красные краковские *paulaines* с модно длинными носами, те самые, которыми Рейневан только что любовался с уровня пола.

Князь, что Рейневан отметил, чувствуя болезненную спазму горла и диафрагмы, держал под руку Адель де Стерча в платье наимоднейшего цвета *vert d'emeraude*[310] со шлейфом, с разрезанными рукавами, свисающими до самой земли, с золотой сеточкой на волосах, со шнурком жемчугов на шее и соблазнительной грудью, выглядывающей из-под тесного корсета с заманчивым декольте. Бургундка поглядывала на Рейневана холодными как у змеи глазами.

Князь Ян взял двумя пальцами стилет Рейневана, поданный Тристрамом фон Рахенау, осмотрел его, потом поднял глаза.

– Подумать только, – проговорил он, – а ведь я не очень верил тому, что тебя обвиняли в преступлении. В убийстве господина Барта из Карчина и свидницкого купца Ноймаркта. Не хотел верить. И вот, извольте, тебя ловят с вещественным доказательством, когда ты пытаешься ударить меня в спину ножом. Неужели ты так меня ненавидишь? А может, кто-то заплатил? Или ты просто-напросто безумец? А?

– Светлейший князь… Я… Я… не террорист… Правда, я прокрался, но я… Я хотел…

– Ах, князь. – Ян сделал красивой рукой очень княжеский и очень европейский жест. – Понимаю. Ты пробрался сюда с кинжалом, чтобы передать мне петицию?

– Да! То есть нет… Ваша княжеская милость! Я ни в чем не виноват. Наоборот, меня самого постигло несчастье! Я жертва, жертва заговора.

– Ну конечно, – надул губы Ян Зембицкий. – Заговор. Так я и знал.

– Да! – воскликнул Рейневан. – Именно так! Стерчи убили моего брата! Зарезали его.

– Врешь, собачий сын, – проворчал Тристрам Рахенау. – Не гавкай на моих свояков.

– Стерчи убили Петерлина! – рванулся Рейневан. – Если не собственными руками, то руками наемных убийц. Кунца Аулока, Сторка, Вальтера де Барби! Мерзавцев, которые охотятся и за мной! Ваша княжеская милость князь Ян! Петерлин был твоим

вассалом! Я требую правосудия!

– Это я его требую! – крикнул Райхенау. – Я, по праву крови! Этот сукин сын убил в Олесьнице Никласа Стерчу!

– Правосудия! – выкрикнул один из Барутов, вероятно, Генрик, потому что у Барутов редко нарекали детей другими именами. – Князь Ян! Кара за это убийство!

– Все это ложь и наговор! – воскликнул Рейневан. – В убийстве повинны Стерчи! А меня обвиняют, чтобы обелиться самим! И из мести! За любовь, связывающую меня с Аделью!

Лицо князя Яна изменилось, и Рейневан понял, какую сморозил жуткую глупость. Видя равнодушное лицо своей возлюбленной, он постепенно, медленно начинал понимать.

– Адель, – проговорил в абсолютной тишине Ян – Зембицкий. – О чем он говорит?

– Лжет, Яничек, – усмехнулась бургундка, – ничто меня с ним не связывает и никогда не связывало. Правда, он лез ко мне со своими эфектами,[311] нагло приставал, но ушел несолоно хлебавши, ничего не добившись. Ему не помогла черная магия, которой он меня опутал.

– Неправда, – с трудом выдавил Рейневан сквозь стиснутое горло. – Все это неправда! Вранье! Ложь! Адель! Скажи… Ну скажи же, что ты и я…

Адель покачала головой – он так хорошо знал это движение, так она покачивала, сидя на нем верхом, когда они занимались любовью в любимой позе. Глаза у нее сверкнули. И этот блеск он знал тоже.

– В Европе, – громко сказала она, осматриваясь кругом, – не могло случиться ничего подобного. Чтобы грязными намеками оскорбить честь добродетельной дамы. К тому же на турнире, на котором эту даму только вчера провозгласили *La Roine de la Beaulte et des Amours.*[312] В присутствии рыцарей турнира. И если бы что-то подобное приключилось в Европе, то такой *mesdisant,*[313] такой *mal-faiteur*[314] ни минуты не оставался бы безнаказанным.

Тристрам Рахенау сразу же понял намек и с размаху врезал Рейневану кулаком по шее. Генрик Барут добавил с другой стороны. Видя, что князь Ян не реагирует, а с каменной физиономией смотрит в сторону, подскочили следующие, среди них кто-то из Зайдлицев или Курцбахов с рыбами на красном поле. Рейневан получил в глаз, мир исчез в жуткой вспышке. Он скорчился под градом ударов. Подбежал кто-то еще, Рейневан упал на колени, получил по плечу турнирной палицей. Заслонил голову, палица крепко ударила его по пальцам. Потом кто-то хватанул его по почкам, и он упал на землю. Его принялись

пинать, он свернулся клубком, защищая голову и живот.

– Стойте! Довольно! Немедленно прекратить!

Удары и пинки прекратились. Рейневан открыл один глаз.

Спасение пришло с совершенно неожиданной стороны. Его мучителей остановил грозный, сухой, неприятный голос и приказ худой как щепка немолодой женщины в черном платье и белой подвике[315] под жестко накрахмаленным точком.[316] Рейневан знал, кто это. Евфемия, старшая сестра князя Яна, вдова Фредерика графа Оттингена, после кончины мужа вернувшаяся в родные Зембицы.

– В Европе, которую я знаю, – сказала графиня Евфемия, – лежачих не бьют. Этого не допустил бы ни один известный мне европейский князь, господин брат мой.

– Он провинился, – начал князь Ян. – Поэтому я…

– Я знаю, в чем он провинился, – сухо прервала его графиня. – Ибо слышала. Я беру его под свою защиту. *Mersy des dames.*[317] Ибо льщу себя надеждой, что знаю европейские турнирные правила не хуже присутствующей здесь законной супруги рыцаря фон Стерча.

Последние слова были произнесены с таким нажимом и столь ядовито, что князь Ян опустил глаза и покраснел до самого обритого затылка. Адель глаз не опустила, на ее лице тщетно было искать хотя бы признаки румянца, а бьющая из глаз ненависть могла напугать кого угодно. Но не графиню Евфемию. Говорили, что Евфемия очень быстро и очень умело расправлялась в Швебии с любовницами графа Фридерика. Боялась не она, боялись ее.

– Господин маршал Боршнитц, – властно кивнула она. – Прошу взять под арест Рейнемара де Беляу. Ты отвечаешь за него передо мной головой.

– Слушаюсь, ясновельможная госпожа.

– Полегче, сестра, полегче, – обрел голос Ян Зембицкий. – Я знаю, что значит *mersi des dames,* но здесь гравамины[318] касаются весьма серьезного дела. Слишком тяжелы обвинения против этого юноши. Убийства, черная магия…

– Он будет сидеть в тюрьме, – отрезала Евфемия. – В башне под охраной господина Боршнитца. Пойдет под суд. Если кто-нибудь его обвинит. Я имею в виду серьезные обвинения.

– А! – Князь махнул рукой и широким жестом откинул лирипипу на спину. – Ну его к дьяволу. У меня тут дела поважнее. Продолжайте, господа. Сейчас начнется бургурт[319]… Я не стану портить себе впечатление и бургурта не пропущу. Позволь, Адель. Прежде чем начнется бой, рыцари должны увидеть на трибуне Королеву красоты и любви.

Бургундка приняла поданную руку, приподняла шлейф. Связанный оруженосцами Рейневан впился в нее взглядом, рассчитывая на то, что она обернется и глазами или рукой подаст знак. Надеялся, что все это лишь уловка, игра, фортель, что в действительности все остается по-прежнему и ничто между ними не изменилось. Он ждал этого знака до последней минуты.

И не дождался.

Последними покинули навес те, кто на разыгравшуюся сцену смотрел если и не с гневом, то с удовольствием. Седовласый Герман Цеттлиц, клодский староста Пута из Частоловиц, и Гоче Шафф – оба с женами в конусовидных ажурных хенниках,[320] сморщенный Лотар Герсдорф из Лужиц. И Болько Волошек, сын опельского князя, наследник Прудника, владелец Глогувки. Последний, прежде чем уйти, особенно внимательно из-под прищуренных век следил за происходящим.

Разгремелись фанфары, громко зааплодировали толпа, герольд выкрикнул свое *laissez les alleru aur honneurs.* Начинался бургурт.

– Пошли, – приказал армигер, которому маршал Боршнитц доверил сопровождение Рейневана. – Не сопротивляйся, парень.

– Не буду. Какая у вас башня?

– Ты впервые? Хе, вижу, что впервые. Приличная. Для башни.

Рейневан старался не оглядываться, чтобы лишним волнением не выдать Шарлея и Самсона, которые – он был в этом уверен – наблюдают за ним, смешавшись с толпой. Однако Шарлей был слишком хитрым лисом, чтобы дать себя заметить.

Зато его заметили другие.

Она изменила прическу. Тогда, у Бжега, у нее была толстая коса, теперь же соломенные, разделенные посередине головы волосы она заплела в две косички, свернутые на ушах улитками. Лоб охватывал золотой обруч, одета она была в голубое платье без рукавов, под платьем белая батистовая *chemise.*[321]

– Светлейшая госпожа. – Армигер кашлянул, почесал голову под шапкой. – Нельзя… У меня будут неприятности.

– Я хочу, – она смешно закусила губку и топнула немного по-детски, – обменяться с ним несколькими словами, не больше. Не говори никому, и никаких неприятностей не будет. А теперь – отвернись. И не прислушивайся.

– Что на этот раз, Алькасин? – спросила она, слегка прищурив голубые глаза. – За что в путах и под стражей? Осторожней! Если скажешь, что за любовь, я сильно разгневаюсь.

– И однако, – вздохнул он, – это правда. В общем-то.

– А в деталях?

– Из-за любви и глупости.

– Ого! Ты становишься откровеннее! Но, пожалуйста, поясни.

– Если б не моя глупость, я сейчас был бы в Венгрии.

– Я, – она взглянула ему прямо в глаза, – и без того все узнаю. Все. Каждую деталь. Но мне не хотелось бы видеть тебя на эшафоте.

– Я рад, что тебя тогда не догнали.

– У них не было шансов.

– Светлая госпожа. – Армигер повернулся, кашлянул в кулак. – Поимейте милость…

– Бывай, Алькасин…

– Будь здорова, Николетта.

Глава двадцатая,

в которой в очередной раз подтверждается старая истина, что уже на кого, на кого, а на друзей по учебе всегда можно рассчитывать

– Знаешь, Рейневан, – сказал Генрик Хакеборн, – повсюду утверждают, что причиной всяческих несчастий, служащих с тобой, всего зла и твоей печальной участи стала французка Адель Стерча.

Рейневан не отреагировал на столь новаторское утверждение. Крестец у него чесался, а почесать не было никакой возможности, потому что руки были стянуты в локтях и вдобавок прижаты к бокам кожаным ремнем. Кони отряда били копытами по выбоистой дороге. Арбалетчики сонно покачивались в седлах.

Он просидел в башне зембицкого замка трое суток. Но не сдался. Его заперли и лишили свободы, это правда. Он не был уверен в завтрашнем дне, и это тоже правда. Но пока что его не били и кормили, хоть скверно и однообразно, но зато ежедневно, а от этого он успел отвыкнуть и с приятностью привыкал опять.

Спал он плохо не только из-за свирепствовавших в соломе блох внушительных размеров. Всякий раз, закрывая глаза, он видел бледное, пористое, как сыр, лицо Петерлина. Или Адель и Яна Зембицкого в самых различных взаиморасположениях. И не мог сказать, что хуже.

Зарешеченное оконце в толстой стене позволяло видеть лишь малюсенький уголок неба, но Рейневан постоянно висел у ниши, вцепившись в решетку и не теряя надежды вот-вот услышать Шарлея, пауком взбирающегося по стене с напильником в зубах. Либо поглядывал на дверь, мечтая, что она вот-вот вылетит из навесов под ударами могучих плеч Самсона Медка. Не лишенная оснований вера во всемогущество друзей поддерживала его дух.

Конечно, никакое спасение ниоткуда не пришло. Ранним утром четвертого дня его вытащили из камеры, связали и усадили на коня. Из Зембиц он выехал через Пачковские ворота, эскортируемый четырьмя конными арбалетчиками, армигером и рыцарем в полных доспехах со щитом, украшенным восьми-лучевой звездой Хакеборнов.

– Все говорят, – тянул Генрик Хакеборн, – что твое увлечение французкой было промашкой, а вот то, что ты ее отхендожил, стало твоей гибелью.

Рейневан и на этот раз не ответил, но не удержался, чтобы не

кивнуть. Задумчиво.

Едва за холмами скрылись городские башни, как внешне угрюмый и до отвращения службистый Хакеборн оживился, повеселел и сделался разговорчивым без всякого понукания. Звали его – как и добрую половину немцев – Генриком, и был он, как оказалось, родственником влиятельных Хакеборнов из Пшевоза, всего два года назад прибывших из Тюрингии, где их род все ниже сползал по служебной лестнице ландграфов и, как следствие, все сильнее беднел. В Силезии, где имя Хакеборн что-то значило, рыцарь Генрик рассчитывал, служа Яну Зембицкому, на кое-какие приключения и карьеру. Первое ему должна была обеспечить ожидаемая со дня на день круцьята, второе – выгодная колигация.[322] Генрик Хакеборн признался Рейневану, что сейчас вздыхает по прекрасной и темпераментной Ютте де Апольда, дочери чесника Бертольда де Апольды, хозяина в Шёнау. Ютта, увы, признался дальше рыцарь, его афектам не только не отвечает, но даже позволяет себе подшучивать над его намеками. Но ничего, главное – выдержка, капля камень точит.

Рейневан, хоть сердечные перипетии Хакеборна его интересовали гораздо меньше, чем прошлогодний снег, прикидывался, будто слушает, вежливо поддакивал. В конце концов, не стоило быть невежливым с собственным конвоиром. Когда по прошествии некоторого времени рыцарь исчерпал запас интересующих его тем и умолк, Рейневан попытался задремать, но из этого ничего не получилось. Перед прикрытыми глазами постоянно возникал мертвый Петерлин на катафалке либо Адель с ногами на плечах князя Яна.

Они были в Служеевском лесу, красочном, полном ароматов после утреннего дождичка, когда рыцарь Генрик заговорил. Сам – без вопросов – выдал Рейневану цель поездки: замок Столец, гнездышко влиятельного господина фон Биберштайна. Рейневан заинтересовался и одновременно обеспокоился. Он намеревался выспросить болтуна, но не успел. Рыцарь сменил тему и принялся рассуждать относительно Адели фон Стерча и жалкой участи, которую роман с нею уготовил Рейневану.

– Все говорят, – повторил он, – что твое увлечение французкой было промашкой, а то, что ты ее отхендожил, стало твоей погибелью.

Рейневан не стал перечить.

– А меж тем все вовсе не так, – продолжал Хакеборн, строя всезнающую мину. – Все как раз наоборот. Некоторые это угадали. И знают: то, что ты французку оттрахал, спасло тебе жизнь.

– Не понял.

– Князь Ян, – пояснил рыцарь, – не сморгнул глазом выдал бы тебя Стерчам. Рахенау и Баруты здорово на него наседали. Но что бы это означало? Что Адель лжет, запираясь. Что ты ее все же трахал. До тебя доходит? По тем же самым причинам князь не передал тебя палачу на спытки относительно убийств, которые ты якобы совершил. Потому что знал, что на пытках ты начнешь болтать об Адели. Понимаешь?

– Малость.

– Малость! – рассмеялся Хакеборн. – Эта «малость» убережет твою задницу, братец. Вместо эшафота или застенков ты едешь в замок Столец. Потому что там о любовных победах в Аделевой постели ты сможешь рассказывать только стенам, а стены там ого-го! Ну что ж, посидеть-то ты немного посидишь, но зато сохранишь голову и другие части тела. В Стольце тебя никто не достанет, даже епископ, даже Инквизиция. Биберштайны – влиятельные вельможи, не боятся никого, и с ними задираться никто не посмеет. Да, да, Рейневан, тебя спасло то, что князь Ян ни в коем разе не может признать, что ты до него крутил-вертел его метрессу.[323] Любовница, роскошное поле которой пахал лишь законный супруг, это, почитай, почти что девица, а та, что уже давала другим любовникам, – развратница. Потому что если в ее ложе побывал Рейнмар де Беляу, то вполне мог ведь наведываться и любой другой.

– Ты очень мил. Благодарю.

– Не благодари. Я сказал, что твое амурное дельце тебя спасло. Так на это и смотри.

«Ох, не до конца, – подумал Рейневан. – Не до конца».

– Я знаю, о чем ты думаешь, – удивил его рыцарь. – О том, что умряк будет еще молчаливее? Что в Сельце тебя могут отравить или втихаря свернуть шею. Так вот – нет, ошибочно ты так думаешь, если, конечно, думаешь. Хочешь знать почему?

– Хочу.

– Тайно заточить тебя в Стольце предложил князю сам Ян фон Биберштайн. И князь тут же согласился. А теперь самое интересное: ты знаешь, почему Биберштайн поспешил с такой офертой?[324]

– Понятие не имею.

– А я имею. Потому что слух пошел по Зембицам. Об этом его попросила сестра князя, графиня Евфемия. А она держит князя в крупном к себе уважении. Говорят, еще с детячьих лет. Поэтому графиня на зембицком дворе имеет такой вес. Хоть положение-то у нее никакое. Потому что какая она графиня? Пустой титул и уважение. Она родила швабскому Фридерику одиннадцать детей, а когда овдовела, детки выставили ее из Эттингена. Ни для кого

это не тайна. Но в Зембицах она всей своей мордой – госпожа. Ничего не скажешь.

Рейневан и не думал возражать.

– Не она одна, – продолжал после недолгого молчания Хакеборн, – просила за тебя у господина Яна Биберштайна. Хочешь знать, кто еще?

– Хочу.

– Биберштайна дочка, Катажина. Видать, ты ей по душе пришелся.

– Такая высокая, светловолосая?

– Не прикидывайся глупцом. Ты же ее знаешь. Идут слухи, что она уже раньше спасла тебя от погони. Эх, как все это удивительно переплелось. Скажи сам, разве не ирония судьбы, комедия ошибок? Разве это не NARRENTURM, не истинная Башня шутов?

«Это верно, – подумал Рейневан. – Самая настоящая Башня шутов. А я… Нет, Шарлей был прав – я самый большой шут. Король дураков, маршал глупцов, великий приор ордена кретинов».

– В башне в Стольце, – весело продолжал Хакеборн, – ты долго не просидишь, если проявишь сообразительность. Готовится, я знаю наверняка, большая круцьята на чешских еретиков. Дашь обет, примешь крест, тебя и отпустят. Повоюешь. А покажешь себя в борьбе со схизмой, так тебе простят все прегрешения.

– Есть только одно «но».

– Какое?

– Я не хочу воевать.

Рыцарь повернулся в седле, долго смотрел на него.

– Это, – спросил он язвительно, – почему бы?

Ответить Рейневан не успел. Раздался ядовитый свист и тут же громкий хруст. Хакеборн покачнулся, схватился руками за горло, в котором, пробив пластину горжета,[325] торчал арбалетный болт. Рыцарь, обильно оплевываясь кровью, медленно наклонился назад и свалился с коня. Рейневан видел его глаза, широко раскрытые, полные безбрежного изумления.

Потом пошло сразу много и быстро.

– Нападееееение! – крикнул армигер, выхватывая из ножен меч. – За оружие!

В кустарнике перед ними страшно гукнуло, сверкнул огонь, заклубился дым. Конь под одним из слуг повалился, словно громом пораженный, придавив седока. Остальные кони поднялись на дыбы, напуганные выстрелом. Встал на дыбы и конь Рейневана. Связанный Рейневан не сумел удержать равновесие,

упал, крепко ударившись бедром о землю.

Из кустарников вылетели конники. Рейневан, хоть и скорчившийся на песке, сразу узнал их.

– Бей! Убивай! – орал, крутя мечом, Кунц Аулок, известный под прозвищем Кирьелейсон.

Зембицкие стрелки дали залп из арбалетов, но все трое безбожно промазали. Собрались бежать, но не успели, свалились под ударами мечей. Армигер мужественно сошелся с Кирьелейсоном, кони храпели и плясали, звенели клинки. Конец стычке положил Сторк из Горговиц, вбив армигеру в спину бурдер.[326] Армигер напружинился, тогда Кирьелейсон добил его тычком в горло.

Глубоко в лесу, в гуще, тревожно кричала напуганная сорока. Пахло порохом.

– О, гляньте-ка, гляньте, – проговорил Кирьелейсон, ткнув в лежащего Рейневана ботинком. – Господин Белява. Давненько мы не виделись. Ты не радуешься?

Рейневан не радовался.

– Заждались ты тебя здесь, – посетовал Аулок, – в слякоти, холоде и неудобствах. Ну, *finis coronat opus*.[327] Мы тебя взяли, Белява. К тому ж готового, я бы сказал, к употреблению, уже упакованного. Ох нет, не твой это день. Не твой.

– Давай, Кунц, я садану его по зубам, – предложил один из банды. – Он мне тогда чуть было глаз не выбил, в той корчме под Бжегом. Так я ему теперича зубы вышибу.

– Перестань, Сыбек, – буркнул Кирьелейсон. – Держи нервы в узде. Иди лучше и проверь, что у того рыцаря было во вьюках и мошне. А ты, Белява, чего это так на меня свои буркалы вытаращил?

– Ты убил моего брата, Аулок.

– Э?

– Брата моего убил. В Бальбинове. За это будешь висеть.

– Дурь несешь, – холодно сказал Кирьелейсон. – Видать, с коня-то на голову сверзился.

– Ты убил моего брата.

– Повторяешься, Белява.

– Врешь!

Аулок встал над ним, по выражению его лица можно было понять, что он решает дилемму: пнуть или не пнуть. Не пнул явно из пренебрежения. Отошел на несколько шагов, остановился у коня, убитого выстрелом.

– Чтоб меня черти взяли, – сказал, покачав головой. – И верно, грозное и убийственное оружие эта твоя хандканона, Сторк. Погляди сам, какую дырищу в кобыле проделала. Кулак

поместится! Да! Воистину – оружие будущего! Современность! Прогресс!

– В задницу с такой современностью, – кисло огрызнулся Сторк из Горговиц. – Не в коня, а в мужика я метился из этой холерной трубы. И не в этого, в того, другого.

– Не беда. Не важно, куда метился, важно, куда попал! Эй, Вальтер, ты что там делаешь?

– Дорезаю тех, кто еще дышит! – ответил Вальтер де Барби. – Нам свидетели ни к чему, верно?

– Поспеши! Сторк, Сыбек, ать-два, сажайте Беляву на коня. На того рыцарского кастильца. Да привяжите покрепче, потому как это озорник. Помните?

Сторк и Сыбек помнили, ох помнили, поэтому, прежде чем посадить Рейневана на седло, выдали ему несколько тычков и покрыли грязными ругательствами. Связанные руки прикрепили к луке, а икры – к стременному ремню. Вальтер де Барби покончил с «дорезанием», протер кинжал, трупы зембичан затащили в кусты, коней прогнали, по команде Кирьелейсона вся четверка – плюс Рейневан – двинулись вперед. Ехали быстро, явно стремясь поскорее убраться с места нападения и оторваться от возможной погони. Рейневан дергался в седле. Ребра кололи при каждом вздохе и болели как черти. «Дальше так быть не может, – глупо подумал он, – не может быть, чтобы меня то и дело колотили».

Кирьелейсон подгонял дружков криком, ехали галопом. Все время по дороге. Они явно предпочитали скорость возможности скрыться, плотный лес не позволил бы ехать рысью, не говоря уже о галопе.

С ходу вылетели на распутье и напоролись на засаду.

Со всех дорог, а также сзади на них ринулись скрытые до того в зарослях конники. Человек двадцать, из которых половина была в полных белых латах. У Кирьелейсона и его компании не было никаких шансов выкрутиться, но все равно, надо признать, они яростно сопротивлялись. Аулок с разрубленной топором головой свалился с коня первым. Рухнул под конские копыта Вальтера де Барби, которого навылет пробил мечом небольшой рыцарь с польским Хвостом на щите. Получил булавой по голове Сторк, Сыбка из Кобылейгловы иссекли и искололи так, что кровь обильно обрызгала съежившегося в седле Рейневана.

– Ты свободен, друг.

Рейневан заморгал. Голова кружилась. Ему показалось, что все произошло слишком уж быстро.

– Спасибо, Болько… Прости… Ваша княжеская милость…

– Ладно, ладно, – прервал Болько Волошек, наследник Ополя и Прудника, хозяин Глокувки, перерезая корделясом[328] его

узы. – Никакая не «милость». В Праге ты был Рейневаном, а я Болеком. За кружкой пива и в драке. Да еще когда мы экономии ради брали одну курву на двоих в борделе на Целетней в Старом Городе. Забыл?

– Не забыл.

– Я тоже. Как видишь, школяр школяра в беде не бросает. А Ян Зембицкий может чмокнуть меня в задницу. Впрочем, я рад, что мы вовсе не зембицких порубили. Правда, случайно, но обошлось без дипломатических осложнений, потому как мы, признаться, здесь, на дороге в Столец, думали увидеть скорее зембицкий эскорт. А тут – глянь, какая неожиданность. Кто ж это такие, господин подстароста? Познакомься, Рейневан, это мой подстароста, господин Кжих из Костельца. Ну так как, господин Кжих? Кого-нибудь узнаете? Может, кто еще жив?

– Кунц Аулок и его компания, – опередил Рейневана гигант с Хвостом на щите, – а дышит еще только один. Сторк из Горговиц.

– Ого! – насупился и закусил губу хозяин Глогувки. – Сторк? И живой? А ну, давайте его сюда.

Волошек тронул коня, с высоты седла глянул на убитых.

– Сыбек из Кобылейгловы, – узнал он. – Сколько уж раз уходил от палача, но вот, как говорится, сколь веревочке ни виться… А это Кунц Аулок, холера, из такой приличной семьи. Вальтер де Барби, ну что ж, как жил, так и помер. Это кто ж таков? Уж не господин ли Сторк?

– Смилуйтесь, – забормотал Сторк из Горговиц, кривя залитое кровью лицо. – Пардону… Помилуй, господин…

– Нет, господин Сторк, – холодно ответил Болько Волошек. – Ополе вскоре будет моей собственностью, моим княжеством. Изнасилование опольской жительницы – это, на мой взгляд, серьезное преступление. Слишком тяжелое для быстрой смерти. Жаль, мало у меня времени.

Молодой князь привстал на стременах, осмотрелся.

– Связать стервеца, – приказал он. – И утопить.

– Где? – удивился Хвост. – Тут же нигде нет воды.

– Вот там, во рву, – указал Волошек, – есть лужа. Правда, невеликая, но голова наверняка поместится.

Глогувские и опольские рыцари затащили ревущего и вырывающегося из пут Сторка ко рву, перевернули и, держа за ноги, впихнули голову в лужу. Рев сменился яростным бульканьем. Рейневан отвернулся.

Прошло много времени. Очень много.

Вернулся Кших из Костельца в сопровождении другого рыцаря, тоже поляка, герба Нечуя.

– Всю воду из лужи выхлестал, негодяй, – весело сказал

Хвост. – Только илом подавился.

– Пора бы нам отсюда уходить, ваша княжеская милость, – добавил Нечуй.

– Верно, – согласился Болько Волошек. – Правда, господин Сляский? Послушай, Рейневан, со мной ты ехать не можешь, мне негде тебя спрятать ни у себя, в Глогувке, ни в Ополе, ни в Немодлине. Ни отец, ни дядя Бернард не захотят неприятностей с Зембицами, выдадут тебя Яну, как только он напомнит. А он напомнит.

– Знаю.

– Знаю, что ты знаешь. – Молодой Пяст прищурился. – Но не знаю, понимаешь ли. Поэтому перейду к деталям. Безразлично, какое ты выберешь направление, но Зембицы обходи. Обходи Зембицы, друг, советую по старой *amicicii.*[329] Обходи это княжество стороной. Поверь, там тебе искать нечего. Может, и было что, но теперь нечего. Тебе это ясно?

Рейневан кивнул. Ему это было ясно, но признаться он ни в какую не хотел и не мог себя заставить.

– Ну, тогда, – князь дернул вожжи, развернул коня, – каждый в свою сторону. Управляйся сам.

– Еще раз благодарю. Я твой должник, Болько.

– О чем речь! – махнул рукой Волошек. – Я же сказал: по старой школярской дружбе. Эх! Это были времена! В Праге… Бывай, Рейнмар. *Bene vale.*[330]

– *Bene vale,* Болько.

Вскоре на тракте утих топот коней опольского кортежа, скрылся в березняке темно-гнедой кастилец Рейневан, до недавних пор собственность Генрика Хакеборна, тюрингского рыцаря, приехавшего в Силезию по собственную смерть. На развилке все успокоилось, утихли крики сорок и соек. Продолжали петь иволги…

Не прошло и часа, как первый лис принялся обгладывать голову Кунца Аулока.

События на ведущем в Столец тракте стали – во всяком случае, на некоторое время, – сенсацией, темой дружеских бесед и модных сплетен. Зембицкий князь Ян несколько дней ходил хмурый, пронырливые придворные рассказывали, что он дуется на сестру, княгиню Евфемию, иррационально приписывая ей вину за случившееся. Разошелся также слух, будто очень крепко получила по ушам служанка госпожи Адели де Стерча. Шла молва, что досталось ей за веселое щебетанье и смех в то время, когда госпоже было вовсе не до смеха.

Хакеборны из Пжевоза пообещали, что убийц юного Генрика

достанут хоть из-под земли. Прелестная темпераментная Ютта де Апольда смертью поклонника не опечалилась, как говорили, отнюдь.

Молодые рыцари организовали преследование преступников, мотаясь от замка к замку под пение рогов и грохот подков. Преследование больше напоминало пикник, да и результаты были тоже пикничные. В некоторых случаях наблюдалась беременность, а затем и направление сватов. Правда, с большой задержкой.

Зембицы навестила Инквизиция, но зачем навещала, не смогли узнать даже самые пронырливые и жадные до сенсаций сплетники. Другие вести и слухи доходили быстро.

Во Вроцлаве, у Святого Яна Крестителя, каноник Отто Беесс страстно молился перед главным алтарем, благодарил Бога, опустив голову на сложенные домиком ладони.

В Ксенгницах, селе под Любином, старенькая, вконец сгорбившаяся мать Вальтера де Барби думала о приближающейся зиме и о голоде, который теперь, когда она осталась без опеки и помощи, несомненно, убьет ее перед новолунием.

В Немчи, в корчме «Под бубнами», какое-то время было очень шумно – Вольфгер, Морольд и Виттих Стерчи, а с ними Дитер Гакст Стефан Роткирх и Иенч фон Кнобельсдорф по прозвищу Филин орали наперебой, сквернословили, угрожали, опрокидывая кватерку за кватеркой и гарнец за гарнцем. Подносящие напитки слуги ежились от страха, слыша описания мук, которым выпивохи намеревались в ближайшем будущем подвергнуть некоего Рейневана де Беляу. К утру настроение поправило неожиданно трезвое замечание Морольда. Нет такого худа, отметил Морольд, которое не обернулось бы добром. Раз уж Кунца Аулока дьяволы взяли, значит, тысяча рейнских золотых Таммона Стерча останется в кармане. То есть в Штерендорфе.

Спустя четыре дня весть дошла и до Штерендорфа.

Малолетняя Офка Барут была очень, ну, очень недовольна. И очень зла на охмистриню.[331] Офка никогда не дарила охмистриню симпатией, слишком часто ее мать пользовалась помощью охмистрини, чтобы принудить Офку делать то, чего Офка не любила, – особенно есть кашу и умываться. Однако сегодня охмистриня достала Офку особенно зверски – силой оторвала от игры. Игра заключалась в бросании плоского камня на свежие коровьи лепешки и благодаря своей простоте и доставляемой радости пользовалась последнее время успехом у ровесников Офки, в основном отпрысков городской стражи и челяди.

Оторванная от игры девочка ворчала, дулась и что было сил старалась осложнить охмистрине задачу. Нарочно шла маленькими шажками, из-за чего охмистриня вынуждена была чуть ли не еле-еле плестись. Злым фырканьем реагировала на замечания и на все, что охмистриня говорила. Потому что все это ее мало задевало. Она была по горлышко сыта переводом речей дедушки Таммона, у которого в комнатах сильно воняло, впрочем, дедушка и сам вонял не меньше. Ей было до свечки, что в Штерендорф только что приехал дядя Апеч, что дядя Апеч привез дедушке невероятно важные новости, что именно сейчас передает их, а когда окончит, дедушка Томмо, как всегда, пожелает много чего сказать, а кроме нее, благородной девицы Офки, никто не понимает дедушкиных речей.

Благородной девице Офке все это было неинтересно. У нее было только одно желание – вернуться к городскому валу и кидать плоский камень на коровьи лепешки.

Уже на лестнице она услышала звуки, доносящиеся из комнаты дедушки. Вести, доставленные дядей Апечей, видимо, действительно были потрясающими и крайне неприятными. Почему что Офке еще никогда не доводилось слышать, чтобы дедушка так рычал. Никогда. Даже когда узнал, что лучший жеребец табуна чем-то отравился и издох.

– Вуаахха-вуаха-буххауахху-ууууаха! – вырывалось из комнаты. – Хрррохрххххих… Уаарр-раааах! О-о-о-ооо…

Потом послышался хрип.

И наступила тишина.

А потом из комнаты вышел дядя Апеч. Долго смотрел на Офку. Еще дольше – на охмистриню.

– Прошу наготовить еды на кухне, – сказал он наконец. – Проветрить комнату. И вызвать священника. Именно в такой последовательности. Дальнейшие распоряжения дам, когда поем.

– Многое, – добавил он, видя угадывающий истину взгляд охмистрини. – Здесь теперь многое изменится.

Глава двадцать первая,

в которой снова появляется красный голиард и черный воз, а на возу пятьсот с гаком гривен. И все потому, что Рейневан опять устремляется за очередной юбкой

Около полудня дорогу ему загородил бурелом – огромное пространство поломанных, лежащих валом стволов, доходящее до далекой стены бора. Затор из искореженных стволов, хаос спутавшихся ветвей, исковерканных как бы в смертной муке, вырванных из земли корней и лабиринт ям был точным отображением того, что творилось у него в душе. Аллегорический ландшафт не только задержал его, но и заставил задуматься.

Расставшись с князем Болеком Волошеком, Рейневан в совершенной апатии ехал на юг, туда, куда ветер гнал валы черных туч. Собственно, он не знал, почему выбрал именно это направление. Может, потому что перед тем, как уехать, туда указал Волошек? Или инстинктивно выбрал дорогу, уводящую от мест и дел, пробуждающих страх и отвращение? От Стерчей, Стшегома и господина фон Лаасана, от Хайна фон Чирне, свидницкой Инквизиции, замка Столец, Зембиц и князя Яна…

И Адели.

Тучи неслись так низко, что казалось, еще немного, и заденут верхушки деревьев, стоявших за буреломом. Рейневан вздохнул.

Ах как задели, как резанули сердце и внутренности холодные слова князя Болека! В Зембицах ему больше нечего искать! Господи! Эти слова, возможно, потому, что они были так безжалостно откровенны, столь правдивы, потрясли Рейневана сильнее, чем холодный и равнодушный взгляд Адели, чем жестокий голос, которым она науськивала на него рыцарей, чем удары, которые по ее вине сыпались на него, чем заточение в башне. В Зембицах ему больше искать нечего. В Зембицах, в которые он рвался, полный надежды и любви, пренебрегая опасностями, рискуя здоровьем и жизнью. В Зембицах ему уже нечего искать!

«Значит, – подумал он, вглядываясь в путаницу корней и ветвей, – мне уже не осталось ничего, и вместо того, чтобы убегать в поисках утраченного, не лучше ли вернуться в Зембицы? Изыскать возможность встретиться с глазу на глаз с неверной любовницей? Чтобы, как известный рыцарь из баллады, который, спасая брошенную ветреной дамой перчатку, вошел в цвингер[332] со львами и пантерами, кинуть Адели в лицо, как кинул перчатку

тот рыцарь, горький упрек и холодное презрение? Посмотреть, как негодница бледнеет, как смущается, как ломает руки, как опускает глаза, как дрожат у нее губы. Да, да, пусть будет что угодно, лишь бы увидеть, как она бледнет, как стыдится, видя презрение, порожденное собственным отступничеством. Сделать так, чтобы она страдала! Чтобы ее изматывал стыд, мучили угрызения совести…»

«Как же, – отозвался рассудок, – угрызения?! Совесть! Дурак ты, вот что. Она рассмеется, прикажет снова избить тебя и бросить в башню. А сама пойдет к князю, и они улягутся в постель, будут играть в любовь, да что там, беситься так, что ложе начнет трястись и трещать. И не будет там ни угрызений совести, ни сожалений. Будет смех, потому что насмешки и издевки над наивным глупцом Рейневаном из Белявы придадут любовным забавам вкуса и огня, словно пряная приправа».

Конь Генрика Хакеборна заржал, тряхнул головой. Шарлей, подумал Рейневан, похлопывая его по шее, Шарлей и Самсон остались в Зембицах. Остались? А может, сразу, как только его арестовали, двинулись в Венгрию, довольные тем, что освободились наконец от излишних забот? Шарлей совсем недавно расхваливал дружбу, говорил, что это штука изумительная и громадная. Но раньше – и как же искреннее и правдивее это звучало – заявлял, что ему важны лишь собственное удобство, собственное благо и счастье, а все остальное – пропади пропадом. Так он говорил, и в общем…

В общем, конь снова заржал. И ему ответило ржание.

Рейневан поднял голову и успел заметить наездника на опушке леса.

Амазонку.

«Николетта, – изумился он. – Николетта Светловолосая! Серая кобыла, светлая коса, серая накидка. Это она, она, никаких сомнений!»

Николетта тоже увидела его. Но вопреки ожиданиям не помахала рукой, не окликнула весело и приветливо. Куда там! Она развернула коня и кинулась прочь. Рейневан не стал долго раздумывать. Говоря точнее, не раздумывал вообще.

Он ударил кастильца ногами и бросился вслед по краю бурелома. Галопом. Ямы от вывороченных деревьев грозились поломать ноги коню, а ездоку свернуть шею, но, как сказано, Рейневан не раздумывал. Конь тоже.

Когда он вслед за амазонкой влетел в бор, то понял, что ошибся. Во-первых, сивый конь был не знакомой ему чистокровной и резвой кобылой, а костлявой и неуклюжей клячей, бегущей по папоротникам тяжело и совершенно

неграциозно. Восседающая на кляче девушка никоим образом не могла быть Николеттой Светловолосой. Смелая и решительная Николетта, то есть Катажина Биберштайн, мысленно поправился он, не ехала бы, во-первых, на дамском седле. Во-вторых, не сгибалась бы на нем так безобразно и не оглядывалась бы испуганно. И не пищала бы так пронзительно. Совершенно определенно – так бы она не пищала.

Когда наконец до него дошло, что он, словно кретин или извращенец, гоняется по лесам за совершенно незнакомой девушкой, было уже слишком поздно. Амазонка под грохот копыт и истошный визг выехала на поляну; Рейневан выехал за ней. Он пытался сдержать коня, но норовистый жеребец не дал себя остановить.

На поляне были люди, кони, целый кортежик. Рейневан заметил нескольких пилигримов, нескольких францисканцев в коричневых рясах, нескольких вооруженных алебардистов, толстого сержанта и запряженный парой лошадей фургон, покрытый черным просмоленным полотном. И человека на вороном коне в бобровом колпаке и плаще с бобровым воротником. Тот в свою очередь заметил Рейневана, указал на него сержанту и вооруженным людям.

«Инквизитор», – с ужасом подумал Рейневан, но тут же сообразил, что ошибся. Он уже видел эту телегу, видел этого типа в бобровом колпаке и воротнике. О том, кто это, ему сказала Дзержка де Вирсинг на фольварке, где останавливалась со своим табуном. Это был колектор. Сборщик податей.

Вглядываясь в накрытую черным полотном телегу, он понял, что видел ее и позже. Вспомнил обстоятельства и в результате тут же решил бежать. Но не успел. Потому что, прежде чем развернул топчущегося и дергающего мордой коня, рысью подъехали вооруженные, окружили его и отрезали от леса. Увидев, что он попал под прицел нескольких готовых к выстрелу арбалетов, Рейневан отпустил вожжи, поднял руки и крикнул:

– Я здесь случайно, по ошибке. Без злых намерений!

– Любой так может сказать, – ответил, подъехав, бобровый колектор. Он смотрел угрюмо, рассматривал так внимательно и подозрительно, что Рейневан замер, ожидая самого худшего и неизбежного. То есть того, что колектор его узнает.

– Эй-эй! Постойте! Я этого парня знаю!

Рейневан сглотнул. Положительно, это был день восстановления знакомств. Крикнул голиард, с которым Рейневан познакомился в раубриттерском Кромолине, тот самый, который читал гуситский манифест, а потом вместе с Рейневаном прятался в сырне. Немолодой, в кабате с вырезанной зубчиками

баскиной и красном рогатом капюшоне, из-под которого выглядывали вьющиеся пряди сильно поседевших волос.

– Я хорошо знаю этого юношу, – сказал голиард. – Он из приличной благородной семьи. Его зовут Рейнмар фон Хагенау.

– Может, потомок, – черты лица бобрового коллектора помягчали, – известного поэта?

– Нет. А почему он следит за нами? Идет по следу? А?

– По какому следу? – опередив Рейневана, фыркнул красный голиард. – Слепые вы, что ли? Он же из бора выехал! Если б следил, ехал бы по дороге, по следам.

– Хм-м-м, пожалуй, верно. Так вы его знаете?

– Как аминь в пачеже, – весело подтвердил голиард. – Я же его имя знаю. А он знает, что меня зовут Тибальт Раабе. Ну, господин Рейнмар, скажи, как меня зовут?

– Тибальт Раабе.

– Ну, видите!

Получив столь неоспоримое доказательство, колектор откашлялся, поправил бобровый колпак, приказал солдатам отъехать.

– Простите, хм-м-м… Пожалуй, слишком уж я осторожен… Но мне надо быть чутким! Больше сказать ничего не могу. Ну что ж, господин Хагенау, можете…

– …ехать с нами, – запросто докончил голиард, предварительно незаметно подмигнув Рейневану. – Мы в Бардо. Вместе, потому как кучкой-то веселей и… безопасней.

– Ты был, – догадался Рейневан, – в Зембицах.

– Был. И кое-что слышал… Вполне достаточно, чтобы удивиться, увидев вас здесь, в Голеньевских борах. Потому что разошлась весть, что вы в башне сидите. Ох, ну и приписали же вам грехов… Сплетничали… Если б я вас не знал…

– Однако знаешь.

– Знаю. И сочувствую. Поэтому скажу: поезжайте с нами. В Бардо. О Господи… да не смотрите вы на нее так. Мало вам того, что вы ее по лесу гоняли?

Когда едущая впереди группы девушка обернулась в первый раз, Рейневан даже вздохнул от изумления и разочарования. Как он мог спутать эту дурнушку с Николеттой? С Катажиной Биберштайн?

Волосы у девушки действительно были почти такого же цвета, светлые, как солома, частый в Силезии результат смешения крови светловолосых отцов с Лабы и светловолосых матерей с Ватры и Просны. Но на этом подобие и оканчивалось. У Николетты кожа была как албеастр, лоб же и подбородок этой девушки украшали точечки угрей. У Николетты глаза были ну

прямо васильки, у прыщатой девицы – никакие, водянистые и все время по-лягушечьи вылупленные, что могло быть результатом испуга. Нос слишком маленький и вздернутый, губы слишком тонкие и бледные. Вероятно, что-то прослышав о моде, она выщипала себе брови, но с ужасным результатом – вместо того чтобы выглядеть модной, она выглядела глупой. Впечатление дополняла одежда: тривиальная кроличья шапочка, а под опончей – серое дешевенькое пальтишко, прямо скроенное, сшитое из плохой шерсти. Катажина Биберштайн наверняка лучше одевала своих служанок.

«Дурнушка, – подумал Рейневан, – бедная дурнушка. Не хватает еще только оспинок. Но у нее все еще впереди».

У едущего бок о бок с девушкой рыцаря оспа – этого нельзя было не заметить – была уже пройденным этапом. Ее следов не скрывала короткая седая борода. Упряжь вороной, на которой он ехал, была сильно изношена, а кольчуг вроде той, что была на нем, не носили уже со времен легницкой битвы. «Обедневший рыцарь, – подумал Рейневан, – каких много, провинциальный *vassalorum*.[333] Везет дочь в монастырь. Куда же еще-то. Кому такая нужна? Только кларискам или цистерцианкам».

– Прекратите же, – прошипел голиард, – пялиться на нее. Нехорошо.

Что ж, действительно нехорошо. Рейневан вздохнул и отвел глаза, целиком сосредоточившись на дубах и грабах, растущих по краю дороги. Однако было уже поздно.

Голиард тихо выругался. А выряженный в легницкую кольчугу рыцарь остановил коня и подождал, пока к нему подъедут. Мина у него была очень серьезная и очень угрюмая. Он гордо поднял голову, уперся рукой в бедро рядом с рукоятью меча. Столь же немодного, как и кольчуга.

– Благородный господин Хартвиг фон Штетенкорн, – откашлявшись, представил его Тибальд Раабе. – Господин Рейневан фон Хагенау.

Благородный господин Хартвиг фон Штетенкорн некоторое время смотрел на Рейневана, но вопреки ожиданиям не спросил о родственной связи с известным поэтом.

– Вы напугали мою дочь, милостивый господин, – высокомерно заметил он, – гоняясь за ней.

– Прошу извинить. – Рейневан поклонился, чувствуя, как краснеют у него щеки. – Я ехал за ней, поскольку… По ошибке. Еще раз прошу простить. И у нее тоже, если позволите, попрошу прощения, опустившись на колено…

– Это ни к чему, – отрезал рыцарь. – Просто не уделяйте ей внимания. Она очень робка. Несмела. Ер – доброе дитя. В Бардо

ее везу…

– В монастырь?

– Почему, – насупил брови рыцарь, – вы так думаете?

– Потому как очень благочестивы… то есть, – выручил Рейневана из неловкого положения голиард, – очень благочестивыми вы оба выглядите.

Благородный Хартвиг фон Штетенкорн наклонился в седле и сплюнул, совсем не благочестиво, зато абсолютно по-рыцарски.

– Оставьте в покое мою дочь, господин фон Хагенау, – повторил он. – Совсем и навсегда. Вы поняли?

– Понял.

– Прекрасно. Кланяюсь.

Еще через час покрытый черным полотном воз увяз в грязи. Чтобы его вытянуть, пришлось привлечь все силы, не исключая Меньших Братьев. Естественно, до физической работы не снизошли ни дворяне, то есть Рейневан и фон Штетенкорн, ни культура и искусство в лице Тибальда Раабе. Бобровый колектор ужасно занервничал в связи со случившимся, бегал, ругался, командовал, беспокойно посматривал на бор. Видимо, заметил взгляды Рейневана, потому что, как только экипаж высвободился и отряд двинулся, счел нужным кое-что пояснить.

– Понимаете ли, – начал он, заведя коня между Рейневаном и голиардом, – все дело в грузе, который я везу. По правде говоря, довольно важном.

Рейневан не прокомментировал. Впрочем, он прекрасно знал, о чем речь.

– Да-да. – Колектор понизил голос, немного испуганно осмотрелся. – На моей телеге мы везем не какой-нибудь шиш. Другому бы не сказал, но вы ведь дворянин из почтенного рода, и глаза у вас честные. Потому вам скажу. Мы везем собранные подати.

Он снова сделал паузу, переждал, не будет ли вопросов. Вопросов не было.

– Подать, – продолжил он, – назначенную франкфуртским Рейхстагом. Специальную. Одноразовую. На войну с чешскими еретиками. Каждый платит в зависимости от состояния! Рыцарь – пять гульденов, барон – десять, священник по пять с каждой сотни годового дохода. Понимаете?

– Понимаю.

– А я – колектор. На телеге находится то, что собрано. В сундуке. А собрано, надо вам знать, немало, потому что в Зембицах я заинкассировал не от какого-то барончика или Фуггеров. Поэтому неудивительно, что я так осторожничаю. Всего

неделя, как напали на меня. Неподалеку от Рыхбаха, после деревни Лутомья.

Рейневан и на этот раз ничего не сказал и не спросил. Только кивал головой.

– Рыцари-грабители. Хамская шайка! Сам Пашко Рымбаба. Его узнали. Нас наверняка бы поубивали, к счастью, господин Зейдлиц на помощь пришел, прогнал подлецов. Во время стычки сам ранение получил, и это вызвало у него жестокую горячку. Клялся, что раубриттерам отплатит, а несомненно слово свое сдержит. Зейдлицы – народ памятливый.

Рейневан облизнул губы, продолжая машинально покачивать головой.

– Господин Зейдлиц в горячке кричал, что всех их выловит и так уделает, умучает, что даже сам чешинский князь Ношак так разбойника Хрена не умучил, ну, того, знаете, который его сына убил, молодого князя Пжемка. Помните?

На раскаленного медного коня велел его посадить, щипцами до белого каления раскаленными и крючьями тело рвать. Помните? Ну, по вашим лицам вижу, что помните.

– Мхм.

– Выходит, хорошо получилось, что я мог сказать господину Зеддицу, кто они были, те грабители. Пашко, как я ране сказал, Рымбаба, а где Пашко, там и Куно Виттрам, а где эти оба два, там, верно, и Ноткер Вейрах, старый разбойник. Ну и другие там были, тех я тоже господину Зейдлицу описал. Огромнейшая какай-то дубина с глупой мордой, надо думать, спятивший. Второй типчик помельче ростом, этакий горбонос, как глянешь, сразу ясно – мерзавец. И еще хлюстик, парнишка, малость даже на вас похожий, сдается мне… Но нет, что я болтаю, вы юноша благородный, культурной внешности, ну ни дать ни взять – святой Себастьян на картине. А у того по глазам видать – дерьмо.

Рассказываю я, рассказываю, а господин Зейдлиц кааак шикнет! Дескать, знает он этих негодяев, слышал о них, его свояк, господин Гунцелин фон Лаасан, тоже таковых ищет, тех двух – горбоноса и хлюстика, за нападение, которое они в Стешгоме учинили. Это ж надо, как судьба-то переплетается. Удивляетесь? Погодите, сейчас еще лучше будет, вот уж тут-то будет чему удивляться. Я уж совсем было собрался из Зембиц выезжать, а тут мне слуга доносит, что кто-то вокруг воза крутится. Притаился я и что вижу? Тот самый горбонос и тот самый дублинский идиот! Чуете! Ну, какие ловкие мерзавцы!

Колектор аж слюной захлебнулся от возмущения. Рейневан кивал и сглатывал слюну.

– Тогда я что есть духу, – продолжал сборщик, – к ратуше,

уведомил, подал донесение. Уж их там, наверно, поймали, уж их в узилище мастер на кол натягивает. А соображаете, в чем тут вопрос-то? Два этих стервеца с тем третьим, хлюстиком, не иначе как для раубриттеров шпионили, давали знать банде, на кого засаду устраивать. Испугался я, уж не меня ли где на дороге дожидаются, уведомленные. А эскорт мой, как видите, менее чем скромный! Все зембицкое рыцарство предпочитает турнир, пиршество, игры, тьфу, танцы! Страх подумать, и жизнь мне мила, да жаль, если в грабительские руки попадут эти пятьсот с лишним грошей… Ведь на святое дело предназначенные.

– Ну конечно, – добавил голиард, – жаль! И ясно, что на святое. На святое и доброе, а они не всегда в паре идут, хе-хе. Вот я господину колектору посоветовал избегать главных дорог, а втихую, лесами, прошмыгнуть, шах-мах, в Бардо.

– И пусть нас, – колектор возвел глаза горе, – опекает Господь Бог. И патроны налоговых сборщиков, святые Адаукт и Матфей. И Матка Боска Бардская, чудами славящаяся.

– Аминь, аминь! – закричали, услышав имя Божьей Матери, идущие рядом с возом паломники с посохами. – Хвала тебе, Наисветлейшая Дева, покровительница и защитница.

– Аминь! – воскликнули хором идущие по другую сторону телеги Меньшие Братья.

– Аминь, – добавил фон Штетенкорн, а дурнушка перекрестилась.

– Аминь, – заключил колектор. – Святое место, господин Хагенау, говорю вам, Бардо. Видать, полюбилось Божьей Матери? Знаете, кажется, она снова на Бардской горе объявилась. И снова плачущая, как тогда, в сороковом годе. Одни говорят, мол, это предвестье несчастий, кои вскоре падут на Бардо и всю Силезию. Другие утверждают, что Божья Матерь плачет, ибо схизма ширится. Гуситы…

– Вам, понимаете, всюду, – прервал голиард, – гуситы видятся и ересь чудится. А не кажется ли вам, что Пресвятая Дева может плакать совсем по другой причине? Может, у нее слезы льются, когда она смотрит на священников, на Рим?

Когда видит симонию, бесстыжую распущенность, воровство? Вероотступничество и ересь, наконец, ибо чем же, если не еретичеством, является поведение вопреки Евангелиям? Может, Божья Матерь плачет, видя, как священные таинства становятся фальшью и игрищами шарлатанов? Ибо их вещает жрец, погрязший во грехе? Может, ее возмущает и смущает то, что смущает и возмущает многих, почему, например, папа, будучи самым богатейшим из богатых, возводит храм Петров не на свои деньги, а на деньги нищенствующих бедняков?

– Ох, умолкли бы вы лучше…

– Может, плачет Матка Боска, – не дал заткнуть себе рот голиард, – видя, как вместо того, чтобы молиться и жить в благочестии, священники рвутся на войну, в политику, ко власти? Как они правят? А к их правлению прекрасно подходят слова пророка Исаии: «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных… чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот».[334]

– Да уж, – криво усмехнулся колектор, – резкие слова, резкие, милостивый господин Раабе. А сказал бы я, что и к вам самим можно их применить, что вы и сами не без греха. Рассуждаете как политик, чтобы не сказать как священник. Вместо того что вам следует: придерживаться лютенки, рифмы и пения.

– Рифмы и песни, говорите? – Тибальд Раабе снял с луки лютню. – Как пожелаете!

Королевские попы —
антихристы из толпы.
Сила их не от Христа,
а от папского листа!

– Вот зараза, – проворчал, оглядываясь, колектор. – Уж лучше б вы говорили.

За твои, Христос, раны
дай нам правых капелланов,
чтобы ересь извели
и к Тебе нас привели.

Ляхи, немцы, весь народ —
коль сомненье вас берет,
знайте: как волну прилив,
правду вам несет Виклиф!

– Правду несет, – машинально повторил про себя заслушавшийся Рейневан. – Скажите правду. Где я уже слышал эти слова?

– Достанется вам когда-нибудь, господин Раабе. Будет еще на вашу голову горе за такие припевки, – тем временем кисло говорил колектор. – А вам, братишки, удивляюсь: как вы можете все это так спокойно слушать.

– В песнях, – усмехнулся один из францисканцев, – очень

часто скрывается правда. А правда – это правда, ее не залжешь, надобно терпеть, хоть и больно будет. А Виклиф? Ну что же, плутал, но *libri sunt legendi non comburendi.*[335]

– Виклиф, прости его Господи, – добавил другой, – не был первым. Размышлял о том, о чем здесь речь шла, наш великий брат и патрон, Бедняк из Ассизи.

– А ведь Иисус, как утверждает Евангелие, – тихо заметил третий, – говорил: *nolite possidere aurum negue argentum negue pecuniam in zonis vestris.*[336]

– А слова Иисусовы, – вставил, откашлявшись, толстый сержант, – ни поправлять, ни изменять не может никто, даже папа… А если это делает, значит, он не папа, а, как сказано в песне, истинный антихрист.

– Именно! – крикнул, потирая сизый нос, самый старший паломник. – Так оно и есть!

– Ну, Господи прости! – заохал колектор. – Замолкните же! Ну мне и компания досталась! Один к одному вальденские и бегардские слова. Грех!

– Да будет вам отпущен, – фыркнул, настраивая лютню, голиард. – Вы же собираете подать на святую цель. За вас встанут святые Адаукт и Матфей.

– Замечаете, господин Рейневан, – сказал явно обиженный колектор, – с каким ехидством он это произнес? Вообще-то каждый сознает, что подати на богоугодное дело собираются, что ко благу общества. Что платить надобно, ибо таков порядок. Все это знают. И что? Никто сборщиков не любит. Бывает, увидят, что я приближаюсь, и в лес утекают. А то и собаками травят. Грубыми словами обзывают. И даже те, которые платят, глядят на меня как на зачумленного.

– Тяжкая доля, – кивнул головой голиард, подмигнув Рейневану. – А вы никогда не хотели этого изменить? При ваших-то возможностях?

Тибальд Раабе, как оказалось, был человеком скорым и догадливым.

– Не вертитесь в седле, – тихо бросил он Рейневану, подведя коня совсем близко. – Не думайте о Зембицах. Зембиц вам надо избегать.

– Мои друзья…

– Я слышал, – прервал голиард, – о чем болтал колектор. Спешить на помощь друзьям – дело благородное, однако ваши друзья, позвольте вам заметить, не из тех, которые не смогут управиться самостоятельно, и не позволят себя арестовать зембицкой городской страже, славящейся, как все стражи права,

предприимчивостью, пылом, быстротой действия, отвагой и интеллектом. Не думайте, повторяю, о возвращении. С вашими друзьями в Зембицах ничего не случится, а вам этот город – погибель. Поезжайте с нами в Бардо, господин Рейнмар. А оттуда я лично проведу вас в Чехию. Ну, что вы уставились? Ваш брат был мне близким комилитоном.[337]

– Близким?

– Вы удивитесь, узнав насколько. Удивитесь, узнав, сколь многое нас связывало.

– Меня уже ничем не удивишь.

– Вам так только кажется.

– Если ты действительно был Петерлину другом, – сказал после недолгого колебания Рейневан, – то тебя обрадует весть, что его убийц постигла кара. Уже скончались Кунц Аулок, да и вся его компания.

– Ну что ж, «таскал волк – потащили и волка», – повторил избитую поговорку Тибальд Раабе. – Уж не от вашей ли они руки пали, господин Рейнмар.

– Не важно, от чьей. – Рейневан слегка покраснел, уловив в голосе голиарда насмешливую нотку. – Главное – пришел им конец. А Петерлин отмщен.

Тибальд Раабе долго молчал, поглядывая на кружащего над лесом ворона.

– Далек я от того, – сказал он наконец, – чтобы сожалеть о Кирьелейсоне или оплакивать Сторка. Пусть горят в аду. Но господина Петра убили не они… Не они.

– Кто ж… – поперхнулся Рейневан. – Кто же тогда?

– Не вы один хотели бы это знать.

– Стерчи? Или по наущению Стерчей? Кто? Говори!

– Тише, молодой человек! Спокойней. Будет лучше, если этого не услышат чужие уши. Я не могу сказать вам ничего сверх того, что слышал сам…

– А что ты слышал?

– Что в дело замешаны… темные силы.

Рейневан какое-то время молчал, потом насмешливо повторил:

– Темные силы. Я тоже слышал. Об этом говорили конкуренты Петерлина. Мол, ему везло в делах, потому что дьявол помогал, а взамен за это Петерлин ему душу продал. И что придет день, когда этот дьявол утащит его в пекло. Действительно, темные и сатанинские силы. И подумать только, что я считал тебя, Тибальд Раабе, человеком серьезным и рассудительным.

– Ну, значит, я замолкаю. – Голиард пожал плечами и

отвернулся. – Больше ни слова. Боюсь разочаровать вас еще сильнее.

На отдых кортеж остановился под огромным древним дубом, деревом, несомненно, прожившим не один десяток веков. По дубу резво прыгали белочки, ничуть не заботясь о собственной степенности и серьезности. Коней выпрягли из накрытой черным полотном телеги, люди расселись под деревом. Вскоре, как и думал Рейневан, ввязались в политическую дискуссию, касающуюся идущей из Чехии гуситской ереси и со дня на день ожидаемой большой круцьяты, долженствующей положить этой ереси конец. Но хоть тема, и верно, была достаточно типичной и предсказуемой, тем не менее дискуссия пошла не по ожидаемому руслу.

– Война, – неожиданно заявил один из францисканцев, потирая тонзуру, на которую белочка сбросила желудь. – Война есть зло. Ибо сказано: «Не убий».

– А защищая себя? – спросил колектор. – И собственное имущество?

– А защищая честь? – дернул головой Хартвиг фон Штетенкорн. – Тоже мне – болтовня. Честь надобно защищать, а оскорбления смывать кровью!

– Иисус в Гефсиманском саду не защищался, – тихо ответил францисканец. – И наказал Петру убрать меч. Неужто он был бесчестен?

– А что пишет Августин, *Doctor Ecclesiae* в *«De civitate Dei»?* – воскликнул один из паломников, демонстрируя свою начитанность, довольно неожиданную, поскольку цвет его носа свидетельствовал скорее об иных пристрастиях. – Так вот, речь там идет о войне справедливой. А что может быть более справедливым, нежели война с нехристями и ересью? Не мила ли такая война Богу? Не мило ли Ему, когда кто-то убивает Его врагов?

– А Иоанн Златоуст, а Исидор что пишут? – закричал другой эрудит с таким же красно-сизым носом. – А святой Бернад Клеровский? Велят убивать еретиков, мавров и безбожников. Вепрями именует их, нечистыми. Таковых убивать, речёт, не грех. Ибо во славу Божию!

– Кто ж я таков, будь Боже милостив, – сложил руки францисканец, – чтобы возражать святым и докторам Церкви? Я ж не спорю, не дискутирую, я лишь повторяю слова Христа на Горе. А он наказал любить ближнего своего. Прощать тем, кто провинился перед Ним. Любить врагов и молиться за них.

– А Павел велит эфессянам, – добавил другой из монахов

таким же тихим голосом, – супротив сатаны вооружаться любовью и верой, а не копьями.

– И даст Бог, в конце концов, – перекрестился третий францисканец, – любовь и вера победят. Согласие и *Pax Dei*[338] воцарятся меж христианами. Ибо, ну, гляньте, кто пользуется диференцией[339] меж нами? Бусурманин! Сегодня мы спорим с чехами о Слове Божием, о комунии, а завтра? Что может случиться завтра? Магомет и полумесяцы на церквях!

– Ну что же, – фыркнул самый старший паломник, – может, и чехи прозреют, отрекутся от еретичества. Может, им в этом деле голод поможет! Ибо вся Европа присоединилась к эмбарго, запретила торговлю и всякий промысел с гуситами. Если им этого будет мало, то она и разоружит, и уморит голодом. Когда в кишках голод заиграет, так они поддадутся, вот увидите.

– Война, – повторил с нажимом первый францисканец, – есть зло. Это мы уже установили. А по-вашему что, блокада – это Иисусово учение? Велел Иисус на Горе голодом ближнего морить? Христианина? Отбросив религиозные диференции, чехи – тоже христиане. Нет, не нужно никому это эмбарго.

– Верно, брат, – вставил раскинувшийся под дубом Тибальд Раабе. – Так не годится. И еще скажу, что порой такие блокады становятся обоюдоострым оружием. Хорошо, если они нас до несчастья не доведут, как довели лужичан. А то как бы не отыгралось на Силезии так же, как на Верхней Лужице прошлогодняя селедочная война.

– Селедочная война?

– Так ее назвали, – спокойно пояснил голиард, – потому что речь шла и об эмбарго, и о селедках. Хотите, расскажу.

– Ну ясно ж, хотим. Хотим!

– Так вот, – Тибальд Раабе выпрямился, обрадовавшись проявленному интересу, – все было так: пан Гинек Бочек из Кунштата, чешский дворянин, гусит, бо-о-ольшим был любителем сельдей, мало что едал с таким удовольствием, как балтийские улики,[340] особливо под пиво или горилку или же в пост. А верхнелужицкий рыцарь Генрик фон Догна, пан в Грифенштайне, знал о бочековом аппетите. А поскольку Рейхстаг в это время аккурат относительно эмбарго совещался, то решил пан Генрик обратить слово в плоть и по собственной инициативе гусита прижать. Взял, да и заблокировал ему поставки сельди. Обозлился пан Бочек, стал просить, мол, религия – религией, но селедка-то селедкой. Ты, папист паршивый, дерись за доктрину и литургию, но селедку мне оставь, потому как я ее люблю. А пан Догна на это: селедок к тебе, еретик, не пропущу, жри, Бочек, бочок, грудинку, значит, даже по пятницам. Ну и это уж

переполнило чашу. Собрал разъяренный пан Гинек дружину, двинулся на лужицкие земли, неся туда меч и огонь. Первым делом спалил замок Карлсфрид, пограничный таможенный пункт, где задерживали сельдевые транспорты. Но пану Бочеку этого было мало, жутко он был разозленный. Запылали деревни вокруг Гартау, церкви, фольварки, даже предместья самой Житавы осветило зарево пожаров. Три дня пан Бочек палил и грабил. Не окупилась, ох не окупилась лужичанам Селедочная война! Не желаю Силезии ничего подобного.

– Будет то, – проговорил францисканец, – что Бог положит.

Долго никто не произносил ни слова.

Погода начала портиться. Грозно потемнели подгоняемые ветром тучи. Шумел лес, первые капли дождя начали кропить капюшоны, епанчи, черное покрывало телеги. Рейневан подъехал стремя к стремени к Тибальду Раабе.

– Хороший рассказ, – тихо проговорил он. – О селедках. И кантилена о Виклифе тоже ничего. Удивляюсь только, что ты не завершил всего, как там, в Кромолине, чтением четырех пражских статей. Интересно, колектор знает о твоих взглядах?

– Узнает, – тихо ответил голиард, – когда придет время. Потому что, как говорит Екклесиаст: «Всему свое время… Время рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать, время молчать и время говорить. Время искать и время терять, время любить и время ненавидеть; время войне и время миру».[341] Всему свое время.

– На сей раз я соглашусь с тобой целиком и полностью.

На распутье среди светлого березняка – каменный покаянный крест, один из множества в Силезии памятников преступления и покаяния.

Напротив креста светлел песчанистый тракт, в остальных направлениях расходились мрачные лесные дороги. Ветер рвал кроны деревьев, раскидывал сухие листья. Дождь – пока еще только мелкий – бил в лицо.

– Всему свое время, – сказал Рейневан Тибальду Раабе. – Так говорит Екклесиаст. Вот и пришло время нам расстаться. Я возвращаюсь в Зембицы. И, пожалуйста, помолчи.

Колектор посмотрел на них. Меньшие Братья, паломники, солдаты, Хартвиг фон Штетенкорн и его дочка тоже.

– Я не могу, – начал Рейневан, – оставить друзей, которые, возможно, попали в беду. Это несправедливо. Дружба – штука изумительная и громадная.

– Разве я что-нибудь говорю?

– Еду.

– Поезжайте, – кивнул голиард. – Однако, если вам придется сменить планы, если вы все же предпочтете Бардо и дорогу в Чехию, вы сможете запросто догнать нас. Мы будем ехать медленно. А возле Счиборовой Порубки думаем задержаться подольше. Запомните: Счиборова Порубка.

– Запомню.

Прощание было кратким. Как бы вскользь. Так, обычные пожелания счастья и Божьей помощи. Рейневан развернул коня. В памяти остался взгляд, которым простилась с ним дочка Штетенкорна. Взгляд телячий, маслянистый, взгляд водянистых и тоскливых глаз из-под выщипанных бровей.

«Какая дурнушка, – подумал, мчась галопом против ветра и дождя, Рейневан. – Такая некрасивая, такая трусливая. Но удалого мужчину приметила сразу и сумела распознать».

Конь мчался галопом примерно стае, прежде чем Рейневан одумался и понял, насколько он глуп.

Столкнувшись с ними около огромного дуба, он даже не очень удивился.

– Хо! Хо! – крикнул Шарлей, сдерживая пляшущего коня. – Дух неземной! Это ж наш Рейневан!

Соскочили с седел, и через мгновение Рейневан уже стонал в сердечном и горячо сдавливающем ребра объятии Самсона Медка.

– Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, – говорил немного изменившимся голосом Шарлей. – Ушел от зембицких палачей, ушел от господина Биберштайна из Столецкого замка. Уважаю! Ты только глянь, Самсон, что за способный юноша. Всего две недели, как со мной, а уж столькому научился. Прытким сделался, мать его, как доминиканец!

– Он едет в Зембицы, – заметил Самсон, казалось бы, холодно, но в его голосе тоже пробивалось возбуждение. – А это явно указывает на недостаток прыткости. И ума. Как же так, Рейнмар?

– Зембицкую проблему, – проговорил сквозь стиснутые зубы, – я считаю закрытой. И никогда не существовавшей. С… Зембицами меня больше ничего не связывает. Ничто меня уже не связывает с прошлым. Но я боялся, что они там вас схватят.

– Они? Нас? Ничего себе шуточки!

– Рад вас видеть. Нет, я, честное слово, радуюсь.

– Ты усмеешься! Мы – тоже.

Дождь крепчал, ветер раскачивал кроны деревьев.

– Шарлей, – бросил Самсон, – думаю, нет надобности двигаться и дальше… следом за ним… В том, что мы собирались сделать, уже нет ни цели, ни смысла. Рейнмар свободен, его больше ничто ни с чем не связывает, давай дадим коням шпоры, и айда к Опаве, к венгерской границе. Оставим, предлагаю, за спиной Силезию и все силезское. В том числе и наши сумасбродные планы.

– Какие планы? – заинтересовался Рейневан.

– Не важно. Шарлей, что скажешь? Я предлагаю забыть о наших намерениях. Разорвать уговор.

– Не понимаю, о чем вы.

– Потом, Рейнмар. Ну, Шарлей?

Демерит громко кашлянул.

– Разорвать уговор, – повторил он вслед за Самсоном.

– Разорвать.

Было видно, что Шарлей борется с собственными мыслями.

– Наступает ночь, – наконец сказал он. – А ночь рождает совет. *La notto,* как говаривают в Италии, *porta la consiglia.*[342] Но, добавлю от себя, очень важно, чтобы это была ночь сна, проведенного в сухом, теплом и безопасном месте. По коням, парни. И за мной.

– Куда?

– Увидите.

Уже почти совсем стемнело, когда перед ними замаячили заборы и строения. Зашлись лаем собаки.

– Что это? – беспокойно спросил Самсон. – Неужели…

– Это Дембовец, – прервал Шарлей, – грангия,[343] принадлежащая монастырю цистерцианцев в Каменце. Когда я сидел у демеритов, мне, бывало, доводилось здесь работать. В порядке наказания, как вы справедливо полагаете. Потому-то я и знаю, что это место сухое и теплое, как бы созданное для того, чтобы выспаться как следует. А утром, думаю, удастся что-нибудь и перекусить.

– Я так понимаю, – сказал Самсон, – что цистерцианцы тебя знают. И мы попросим у них гостеприимства…

– Ну, не так уж все хорошо, – снова обрезал демерит. – Треножьте коней. Оставим их здесь, в лесу. А сами – за мной. На цыпочках.

Цистерцианские собаки успокоились, лаяли уже гораздо тише и как бы равнодушнее, когда Шарлей ловко выламывал доску в стене овина. Через минуту они были в темном, сухом, теплом чреве, приятно пахнущем соломой и сеном. Спустя еще минуту, взобравшись по лестнице на перекрытие, они уже закапывались в

сено.

– Спать, – промурлыкал Шарлей, шелестя соломой. – Жаль – на голодный желудок, но с ужином предлагаю повременить до утра, тогда наверняка удастся стырить какую-нибудь пищу, хотя бы яблоки. Впрочем, если очень надо, могу пойти хоть сейчас. Вдруг да кто-нибудь из вас не выдержит. А, Рейнмар? В основном я имел в виду тебя как личность, которой сложновато сдерживать примитивные инстинкты… Рейнмар!

Рейневан спал.

Глава двадцать вторая,

в которой оказывается, что наши герои очень неудачно выбрали место для ночлега, также подтверждается – хоть и гораздо позже – общеизвестная истина, что в исторические времена даже самое мельчайшее событие может быть чревато историческими последствиями

Несмотря на усталость, Рейневан спал скверно и беспокойно. Прежде чем уснуть, долго ворочался в колючем, остистом сене и вертелся между Шарлеем и Самсоном, заработав несколько проклятий и тычков. Потом стонал во сне, видя кровь, вытекающую изо рта пронзенного мечами Петерлина. Вздыхал, видя нагую Адель де Стерча, сидящую верхом на князе Яне Зембицком, постанывал, видя, как князь играет ритмично приплясывающими грудями, лаская их и тиская. Потом, к его ужасу и отчаянию, место, освобожденное Аделью, заняла на князе Светловолосая Николетта, то есть Катажина Биберштайн, объезжающая неутомимого Пяста с неменьшей, чем Адель, энергией и прытью. И с неменьшим в финале удовлетворением.

Потом были полунагие девицы с развевающимися волосами, летящие на метлах по подсвеченному заревом небу в окружении стай каркающих ворон. Был ползающий по стене стенолаз, беззвучно разевающий клюв, был отряд мчащихся по полям прикрытых капюшонами рыцарей, кричащих что-то непонятное. Была *turns fulgurata,* башня, разваливающаяся от удара молнии, был падающий с нее человек и человек, охваченный пламенем, бегущий по снегу. Потом был бой, гул пушек, хряст самопалов, громыхание копыт, ржание лошадей, звон оружия, крики…

Разбудили его топот копыт, ржание лошадей, звон оружия, крики. Самсон Медок своевременно прикрыл ему рот рукой.

Двор грангии заполняли пешие и конные.

– Ну, попали, – проворчал Шарлей, разглядывая майдан сквозь щель между бревнами. – Ну прямо как в говно.

– Неужели погоня? Из Зембиц? За мной?

– Хуже. Это какое-то, холера, сборище. Толпища людей. Я вижу вельмож. И рыцарей. Псякрев, надо же! Именно здесь. В этой пустоши. На безлюдье.

– Сматываемся, пока не поздно.

– Увы, – Самсон указал головой в сторону овчарни, – поздно. Вооруженные плотно окружили территорию. Похоже, чтобы никого сюда не допустить. Да, думаю, и выпустить тоже.

Слишком поздно мы проснулись. Просто чудо, что нас не разбудили… запахи; мясо жарят с самого рассвета…

Действительно, со двора доносился все более ядреный запах печеного.

– На вооруженных, – Рейневан и для себя отыскал наблюдательную щелочку, – одежды в епископских расцветках. Возможно, Инквизиция.

– Прелестно, – буркнул Шарлей. – Прелестно, курва! Единственная наша надежда на то, что они не заглянут в овин.

– Увы, – повторил Самсон Медок. – Пустая надежда. Они как раз направляются сюда. Давайте-ка заберемся в сено. А в случае чего прикинемся идиотами.

– Тебе легко говорить.

Рейневан догребся сквозь сено до досок потолка, отыскал щель, приложился к ней глазом и увидел, что в овин вбежали кнехты, к его всевозрастающему ужасу проверяющие все закоулки, протыкающие глевиями даже снопы и солому в сусеке. Один поднялся по лестнице, но на перекрытие не взошел, удовольствуясь поверхностным осмотром.

– Хвала и благодарение, – прошептал Шарлей, – известному солдатскому растяпству.

Увы, этим дело не кончилось. После кнехтов в овин набились слуги и монахи. Глинобитный пол привели в порядок и подмели. Насыпали ароматных пихтовых веток. Притащили скамьи. Установили сосновые крестовины, на них уложили доски. Доски накрыли полотном. Прежде чем внесли бочонки и кружки, Рейневан уже понял, чем дело пахнет.

Прошло немного времени, прежде чем в овин вступили вельможи. Сделалось красочно, посветлело от оружия, драгоценностей, золотых цепей и застежек, словом, от вещей, совершенно не соответствующих неприглядному помещению.

– Зараза, – шепнул Шарлей, тоже прижавшийся глазом к щели. – Надо ж было так случиться, чтобы именно в этом сарае они устроили тайное сборище. Фигуры – дай Боже. Конрад, вроцлавский епископ, собственной персоной. А рядом с ним – Людвик, князь Бжега и Легницы…

– Тише…

Рейневан тоже узнал обоих Пястов. Конрад, уже восемь лет епископствовавший во Вроцлаве, поражал своей истинно рыцарской осанкой и свежим лицом, поразительным, если учесть его страсть к перепоям, обжорству и разврату, повсеместно известным и уже ставшим притчей во языцех пороком церковного вельможи. В том наверняка была заслуга крепкого организма и здоровой пястовской крови, потому что другие знатные мужи, даже

напивавшиеся меньше и по шлюхам ходившие реже, в Конрадовом возрасте уже обзавелись животами до колен, мешками под глазами и красно-синими носами – если таковые у них еще сохранились. Отсчитавший уже сорок весен Людвиг Бжегский напоминал короля Артура с рыцарских миниатюр – длинные волнистые волосы ореолом окружали его одухотворенное, как у поэта, однако вполне мужское лицо.

– Прошу к столу, благородные господа, – проговорил епископ, на этот раз снова поразив всех звонким юношеским голосом. – Хоть это овин, а не дворец, угостимся чем хата богата, а простую крестьянскую пищу сдобрим венгрином, какой и у короля Зигмунта в Буде не всегда подают. Думаю, это подтвердит королевский канцлер его светлость господин Шлик. Ежели, разумеется, таковым найдет сей напиток.

Молодой, но очень серьезный и богато одетый мужчина поклонился. Его лентнер был украшен гербом – серебряным клином на красном поле и тремя кольцами различной тинктуры.

– Кашпар Шлик, – шепнул Шарлей, – личный секретарь, доверенное лицо и советник Люксембуржца. Солидная карьера для такого желтоклювика…

Рейневан вытащил соломку из носа, сверхчеловеческим усилием сдержав желание чихнуть. Самсон Медок предостерегающе зашипел.

– Особо сердечно приветствую, – продолжал епископ Конрад, – его преосвященство Джордано Орсини, члена кардинальской коллегии, ныне легата Его Святейшества папы Мартина. Приветствую также представителя Орденского государства, благородного Готфрида Роденберга, липского старосту. Приветствую нашего почтенного гостя из Польши, а также гостей из Моравии и Чехии. Здравствуйте все и рассаживайтесь.

– Глянь-ка, сюда аж чертова крестоносца принесло, – ворчал Шарлей, пытаясь ножом расширить щель в перекрытии. – Староста из Липы. Где ж это? Не иначе, как в Пруссии. А кто ж другие-то? Там вон вижу господина Путу из Частоловиц… Вон тот широкоплечий с черным львом на золотом поле – Альбрехт фон Колдиц, свидницкий староста… А тот, с одживонсом в гербе, не иначе как кто-то из краваржских панов.

– Сиди тихо, – прошипел Самсон. – И перестань ковырять… Щепочки могут нас выдать, да если еще и в кружки попадут…

Внизу действительно поднимали кубки и пили за здоровье друг друга, слуги мотались с кувшинами. Канцлер Шлик похвалил вино, но трудно было сказать, не из дипломатической ли вежливости. Сидящие за столом были, казалось, хорошо

знакомы. За некоторым исключением.

– А кто, интересно, – полюбопытствовал епископ Конрад, – ваш юный спутник, *monsignore* Орсини?

– Мой секретарь, – ответил папский легат, маленький, седенький и приятно улыбающийся старичок. – Николай из Кузы. Предрекаю ему большую карьеру на службе нашей Церкви. Vero, он весьма помог мне в исполнении моей миссии. Ибо как никто умеет опровергнуть еретические, а в особливости лоллардские и гуситские тезисы. Его преосвященство краковский епископ может подтвердить.

– Краковский епископ… – прошипел Шарлей. – Зараза… Это ж…

– Збигнев Олесьницкий, – шепотом подтвердил Самсон Медок. – В Силезии ведет закулисные переговоры с Конрадом. м-да, ну и влипли мы. Сидите тихо, как мышки. Потому как если нас обнаружат – нам конец.

– Коли так, – проговорил внизу епископ Конрад, – то, может быть, преподобный Николай из Кузы и начнет? Ибо ведь именно такова конечная цель нашего собрания: положить конец гуситской заразе. Прежде чем подадут еду и вино, прежде чем мы наедимся и напьемся, пусть-ка нам юный священник опровергнет учение Гуса. Слушаем.

Слуги внесли на носилках и свалили на стол целиком испеченного быка. Сверкнули и пошли в ход кинжалы и ножи. Молодой Николай из Кузы встал и заговорил. И хоть глаза горели у него при виде жаркого, голос юного священника не дрогнул.

– Искра есть вещь малая, – начал он вдохновенно, – но, попав на сухое, города, стены, леса превеликие губит. Щавель, казалось бы, тоже невеликая и неприметная вещь, а всю кринку молока проквасит. А дохлая муха, говорит Екклесиаст, приведет в негодность сосуд благовонного ладана. Так и скверная наука с одного починается, едва двух либо трех слушателей вначале имея, но помалу-понемногу канцер сей в теле расположается, или, как говорят, паршивая овца все стадо портит. А посему искру, стоит только оной появиться, гасить надобно и кислоту до квашни не допускать, скверное тело отсекать, паршивую овцу из овчарни изгонять следует! Дабы дом весь, и тело, и квашня, и скот не погибли.

– Скверное тело отсекать, – повторил епископ Конрад, отдирая зубами кусок бычатины, истекающий жиром и кровавым соком. – Хорошо, истинно хорошо излагаете, юный господин Николай. Все дело в хирургии! Железо, острое железо – самая лучшая против гуситского канцера медицина. Вырезать! Резать еретиков. Резать без жалости!

Собравшиеся за столом единогласно выразили согласие, бубня с полным ртом и жестикулируя обгладываемыми костями. Бык понемногу превращался в бычий скелет, а Николай Кузанский одно за другим опровергал гуситские заблуждения, поочередно обнажая всю вздорность Виклифова учения: отрицание преображения, отрицание чистилища, отрицание культа святых, их изображений, недопустимость устной исповеди. Наконец дошел до причастия *sub utraque specie*[344] и опроверг ее тоже.

– В одной, – кричал он, – лишь форме в виде хлеба должна быть для верных комуния. Ибо говорит Матфей: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день»;[345] *panem nostrum supersubstantialem* дай нам днесь, сказал Лука: и взял хлеб и, возблагодарив, преломил его и подал им, говоря: «Сие сеть Тело Мое».[346] Где здесь о вине речь? Воистину один, и только один, есть Церковью одобренный и подтвержденный обычай, чтобы простой человек в одном только виде принимал. И этого каждый исповедующийся придерживаться обязан!

– Аминь, – докончил, облизывая пальцы, Людовик Бжеский.

– По мне, – рявкнул львом епископ Конрад, бросив кость в угол, – так пусть гуситы принимают комунию хоть в виде клистира, со стороны задницы! Но эти сукины сыны хотят меня ограбить! Верещат о безоговорочной секуляризации церковных богатств, о якобы евангелической бедности клера! Получается: у меня отобрать, а меж собой растащить? О нет, клянусь муками Господними, не бывать тому! Через мой труп! А сначала через их еретическую падаль! Чтоб они подохли!

– Пока что они живут, – едко проговорил Пута из Честоловиц, клодненский староста, которого всего пять дней назад Рейневан и Шарлей видели на турнире в Зембицах. – Пока что они живут и здравствуют, полностью вопреки тому, что им пророчили после смерти Жижки. Дескать, друг другу глотки перегрызут. Прага, Табор и Сиротки. Ничего похожего. Если кто-то на это рассчитывал, тот жестоко просчитался.

– Опасность не только не уменьшается, но даже возрастает, – басовито загремел Альбрехт фон Колдиц, староста и земский гетман вроцлавско-свидницкого княжества. – Мои шпики сообщают о крепнущем сотрудничестве пражан и Корыбута с наследниками Жижки: Яном Гвездой из Вицемилиц, Богуславом из Швамберка и Рогачем из Дубе. Не скрываясь говорят о совместных военных операциях. Господин Пута прав. Ошиблись те, кто рассчитывал на чудо после жижковой смерти.

– И нечего, – с усмешкой вставил Кашпар Шлик, – рассчитывать ни на новое чудо, ни на то, что проблему чешской

схизмы за нас прикроет Пресвитер Иоанн,[347] который придет из Индии с тысячами лошадей и слонов. Мы, мы сами должны это сделать. Именно по этому вопросу меня прислал сюда король Жигмонд. Мы должны знать, на что реально он может рассчитывать в Силезии, Мораве, в Опавском княжестве. Хорошо было бы также знать, что на этот счет думают в Польше. Об этом, надеюсь, нам сообщит его преосвященство краковский епископ, непримиримое отношение которого к польским сторонникам виклифизма широко известно. А мое присутствие здесь доказывает одобрение политики Римского короля.

– Мы в Риме знаем, – вставил Джордано Орсини, – с каким пылом и самоотверженностью борется с ересью епископ Збигнеус. Мы знаем об этом в Риме и не замедлим вознаградить.

– Следовательно, – снова улыбнулся Кашпар Шлик, – можно считать, что Польское королевство поддерживает политику короля Жигмонда? И поддержит его инициативы? Действенно?

– Очень бы хотел, – фыркнул раскинувшийся за столом крестоносец Готфрид фон Роденберг, – воистину был бы очень рад услышать ответ на этот вопрос. Узнать, когда же мы можем ждать действенного участия польских войск в антигуситском крестовом походе. Из уст объективных хотелось бы мне это узнать. Так что я слушаю, *monsignore* Орсини. Все мы слушаем!

– Конечно, – улыбнувшись, добавил Шлик, не спускавший глаз с Олесьницкого. – Все слушаем. Чем окончилась ваша встреча с Ягеллой?

– Я долго беседовал с королем Владиславом, – проговорил несколько опечаленным голосом Орсини. – Но, хм-м… Без всякого результата. От имени и по уполномочию Его Святейшества я вручил польскому королю нешуточную реликвию… один из гвоздей, коими наш Спаситель был прибит к кресту. *Vere,* если такая реликвия не в состоянии христианского монарха воодушевить на антиеретический крестовый поход, то…

– То это – не христианский монарх, – докончил за легата епископ Конрад.

– Вы заметили? – насмешливо поморщился крестоносец. – Лучше поздно, чем никогда.

– Видимо, – вставил Людвиг Бжегский, – на поддержку поляков вера рассчитывать не может.

– Польское королевство и польский король Владислав, – в первый раз открыл рот Збигнев Олесьницкий, – поддерживают истинную веру и Петрову Церковь. Максимально возможным способом – денариями святого Петра. Этого ни один из представленных здесь вельмож о себе сказать не может.

– А-а! – махнул рукой князь Людовик. – Болтайте что хотите и

сколько хотите. Тоже мне – Ягелло христианин! Это неофит, у которого под шкурой постоянно сидит дьявол!

– Его язычество, – выкрикнул Готфрид Роденберг, – очевиднейшим образом проявляется в дикой ненависти ко всей немецкой нации – опоре Церкви, в особенности же к нам, госпитальерам Светлейшей Девы, *antemurale christianitatis,*[348] своей грудью защищающим католическую веру от нехристей. Кстати, уже двести лет! Правда и то, что этот Ягелло – неофит и идолопоклонник, который, чтобы истерзать орден, не только с гуситами, но и с адом самим готов стакнуться. Да и вообще не о том нам сейчас рассуждать надо, как убедить Ягеллу и Польшу присоединиться к крестовому походу, а вернуться надобно к тому, о чем мы в Пресбурге тогда, еще два года назад, на Трех Царей, совещались, как бы нам на самою Польшу с крестовым походом вдарить. И на куски разодрать этот гнилой плод, этого ублюдка городельской унии![349]

– Ваши слова, – очень холодно проговорил епископ Олесьницкий, – похоже, стоят самого Фалькенберга. И неудивительно, ведь не секрет, что и пресловутые *«Satyry»* надиктовали Фалькенбергу не где-нибудь, а именно в Мальборке. Напоминаю, что названный пасквиль осудил собор, а сам Фалькенберг вынужден был отречься от своих позорных еретических тез под угрозой костра. Прямо-таки странно звучат они в устах человека, говорящего об *antemurale christianitatis*…

– Не злобствуйте, епископ, – примиряюще вставил Пута из Частоловиц. – Ведь факт же, что ваш король гуситов поддерживает. Явно и тайно. Мы знаем и понимаем, что поляки крестоносцев держат в шахе, а в том, что их в шахе держать приходится, ничего удивительного, если честно говорить, нет. Однако же результаты такой политики для всей христианской Европы могут оказаться губительными. Вы ведь сами знаете.

– Увы, – подтвердил Людвиг Бжегский. – А результаты мы видим. Корыбутович в Праге и с ним несколько рот поляков. В Мораве Любко Пухала. Петр из Лихвина и Федор из Острога. Вышек Рачиньский рядом с Рогачем из Дубе. Вот где они, поляки, вот где на этой войне мелькают польские гербы и слышны польские боевые кличи. Вот как Ягелло поддерживает истинную веру. А его эдикты, манифесты, указы? Мозги нам пудрит, вот что.

– А тем временем свинец, лошади, оружие, снедь, товары всякие, – угрюмо добавил Альбрехт фон Колдиц, – непрерывно текут из Польши в Чехию. Как же так, а, епископ? По одной дороге денарии, которыми вы так похваляетесь, шлете в Рим, а по другой – порох и снаряды для гуситских пушек? Согласитесь,

очень это похоже на вашего короля, который, как говорят, Богу ставит свечку, а черту огарок.

– Над некоторыми проблемами, – признался после недолгого молчания Олесьницкий, – и я задумываюсь. Чтобы дело шло к лучшему, я приложу старания, пособи мне Боже. Но не хочется бросаться словами, повторяя одни и те же аргументы. Так что скажу кратко: доказательством намерений Польского королевства является мое здесь присутствие.

– Кое мы воспринимаем положительно, – хлопнул по столу епископ Конрад. – Но что оно такое сегодня, это ваше Польское королевство? Вы, что ли, господин Збигнев? Или Витольд? Или Шафраньские? Или, может, Осторог? Или же Ястжембцы и Бискупцы? Кто в Польше правит? Ведь не король же Владислав, дряхлый старец, который даже с собственной женой управиться не в состоянии. Так, может, и верно, Сонка Гольшанская в Польше командует? И ее любовники, Челок, Хиньча, Куровский, Заремба? И кто там еще эту русинку хендожит?

– Vera, *vero,* – печально покачал головой легат Орсини. – Стыдоба, чтобы такой *cornuto*[350] был королем…

– Вроде бы серьезный тинг, – наморщил лоб краковский епископ, – а сплетнями забавляемся, словно бабы. Или жаки[351] в борделе.

– Не станете же вы отрицать, что Сонка Ягелле рога наставляет и позорит его всячески.

– Буду отрицать, ибо это *vana rumoris.*[352] Слухи, распускаемые и подпитываемые Мальборком.

Крестоносец вскочил из-за стола, красный и готовый ответить, но Кашпар Шлик остановил его резким жестом.

– *Pax!* Оставим эту тему, есть дела и поважнее. Насколько я понимаю, вооруженное участие Польши в крестовом походе в данный момент дело сомнительное. Что делать, хоть и с сожалением, но принимаем к сведению. Однако клянусь ракой святого Якуба, присмотрите, епископ Збигнев, за тем, чтобы были реально исполнены пункты договоренности в Кежмарке и Ягелловы эдикты из Трембовли и Велуна. Эти эдикты вроде бы закрывают границы, торгующим с гуситами грозят наказанием, а меж тем товары и оружие, как справедливо заметил господин свидницкий староста, по-прежнему из Польши в Чехию идут.

– Обещаю, – нетерпеливо прервал Олесьницкий, – что приложу старания. И это не пустые слова. Сносящихся с чешскими еретиками в Польше будут карать, существуют королевские эдикты. *Jura sunt clara.*[353] Однако господину свидницкому гетману и его преосвященству епископу напомню слова Писания: «Почему вы видите пылинку в глазах брата, а в

своем бревна не замечаете?» Половина Силезии торгует с гуситами, и никто ничего против этого не предпринимает.

– Ошибаетесь, ясновельможный князь Збигнев, – перегнулся через стол епископ Конрад. – Ибо предпринимаем. Уверяю вас, что предприняты определенные меры. Жесткие средства. Без эдиктов, без манифестов, без всяких пергаментов обойдется, но некоторые *defensores haereticorum*[354] на собственной шкуре почувствуют, что значит с еретиками кумоваться. А других, уверяю вас, бледный страх охватит. Тогда мир увидит разницу между истинной и показной деятельностью. Между истинной борьбой и запудриванием, как вы выразились, мозгов.

Епископ говорил так ядовито, в голосе его было столько запекшейся ненависти, что Рейневан почувствовал, как волосы шевелятся у него на макушке. Сердце принялось биться так сильно, что он испугался, как бы собравшиеся внизу не услышали. Однако у тех, внизу, на уме было нечто иное. Кашпар Шлик снова успокоил собравшихся и прекратил споры, а затем призвал к конкретному и спокойному обсуждению ситуации в Чехии. Спорщики в лице епископа Конрада, Готфрида Роденберга, Людвига Бжегского и Альбрехта фон Колдица умолкли, а заговорили молчавшие до того чехи и моравцы. Ни Рейневан, ни Шарлей, ни Самсон Медок не знали никого из них, однако было ясно – или почти ясно, – что это паны из круга пльзенского ландфрида и верного Люксембуржцу моравского дворянства, сгруппировавшегося вокруг Яна из Краваржа, хозяина в Ийчине. Вскоре оказалось, что один из присутствующих и есть тот самый знаменитый Ян из Краваржа собственной персоной.

Именно Ян Краварж, видный, черноволосый и черноусый, с лицом, цвет которого доказывал, что он больше времени проводит в седле, нежели за столом, больше других мог сказать о теперешней ситуации в Чехии. Его никто не прерывал. Когда он говорил спокойным, даже немного бесстрастным голосом, все, склонившись, молча вглядывались в карту королевства Чехии, разложенную на столе, на том месте, с которого слуги убрали начисто обглоданный скелет быка. Сверху детали карты не были видны, так что Рейневану оставалось положиться на воображение, когда хозяин Ийчина говорил об атаках гуситов на Карлштайн и Жебрак, правда, безуспешных, и на Швигов, Обожище и Кветницу, к сожалению, вполне удачных. О действиях на западе против верных королю Зигмунту панов из Пльзна, Локтя и Моста. Об атаках на юге, в данный момент удачно отражаемых католическим объединением пана Олдржиха из Рожмберка. Об угрозе Иглаве и Оломунцу, созданной союзом Корыбутовича, Божка из Милетинка и Рогача из Дубе. Об опасных для северной

Моравы действиях Добка Пухалы, польского рыцаря герба Венява.

– У меня пузырь переполнился, – прошептал Шарлей. – Не сдержусь.

– Может быть, тебе позволит сдержаться знание того, – прошептал Самсон Медок, – что если тебя обнаружат, то второй раз ты отольешь уже на виселице.

Внизу заговорили об Опавском княжестве. И тут же разгорелся спор.

– Пшемка Опавского, – заявил епископ Конрад, – я считаю сомнительным союзником.

– Из-за чего? – поднял голову Кашпар Шлик. – Из-за его женитьбы? Из-за того, что он якобы взял в жену вдову Яна, князя Рацибужа? А она ягеллонка, дочь Димитра Корыбуты, племянница польского короля и родная сестра Корыбутовича, доставляющего нам столько неприятностей? Уверяю вас, господа, короля Жигмонда совершенно не волнует этот союз. Ягеллоны – семейство волчье, там чаще грызутся, чем стакиваются. Пшемек Опавский не сойдется с Корыбутовичем только потому, что это его шурин.

– Пшемек уже заключил союз, – возразил епископ. – В марте, в Глубочках. И в Оломунце в день святого Урбана. Воистину быстро Опава и моравские паны договариваются с еретиками, быстро заключают союзы. Что скажете, пан Ян из Краваржа?

– Не наговаривайте ни на моего тестя, ни на моравское дворянство, – буркнул в ответ хозяин Ийчина. – И знайте, что благодаря пактам с Глубочком и Оломунцем мы имеем сейчас мир в Мораве.

– А гуситы, – высокомерно усмехнулся Кашпар Шлик, – получили свободный торговый доступ в Польшу. Мало, ох мало же вы понимаете в политике, пан Ян.

– Если бы нас… – загорелое лицо Яна из Краваржа покраснело от злости, – если б нас своевременно… Когда на нас шел Пухала… Если б нас Люксембуржец поддержал, нам не пришлось бы ни о чем договариваться.

– Чего уж теперь вздыхать. Если бы да кабы, – пожал плечами Шлик. – Главное, что из-за ваших переговоров гуситы получили свободные торговые пути через Опаву и Мораву. А упомянутый Добко Пухала и Петр Поляк держат Шумперк, Уничув, Одры и Доляны, фактически блокируют Оломунец, обдирают рейдами и терроризируют всю округу. Это у них там мир, а не у вас. Паршивый вы сделали интерес, пан Ян.

– Рейды, – вставил со злой усмешкой вроцлавский епископ, – не только гуситская профессия. Я дал гуситам под дых в двадцать первом году в Броумове и под Трутновом. Там гуситские трупы

укладывали штабелями. Небо было черным от дыма костров. А кого мы не убили и не сожгли, того пометили. По-нашему, по-силезски. Как увидишь теперь чеха без носа, руки или ноги, знай – это результат того нашего удачного рейда. А что, господа, не повторить ли нам спектакля? 1425 год – год святой… Может, почтить его истреблением гуситов? Я не люблю болтать впустую, не привык также ни договариваться со змеюками, ни мира с ними заключать! Что скажете, господин Альбрехт? Господин Пута? Добавьте каждый к моим еще по двести копий и пехоту с огневым оружием, и мы выбьем у еретиков дурь из головы… Осветится заревами небо от Трутнова до Градца-Кралове. Обещаю…

– Не обещайте, – прервал Кашпар Шлик. – А пыл свой попридержите до нужного момента. Для крестового похода. Ибо не в рейдах дело. Не в том, чтобы рубить ноги и руки, какой королю Жигмунду прок от безруких и безногих подданных. Да и Его Святейшество жаждет не уродовать чехов, а в лоно истинной Церкви возвратить. И не в уничтожении мирного населения суть дела, а в том, чтобы разбить таборитско-оребицкие войска. Так разгромить, чтобы они на переговоры пошли. Поэтому перейдем к делу. Какие силы выставит Силезия, когда будет объявлен крестовый поход? Прошу конкретно.

– Конкретно-то, пожалуй, – криво усмехнулся епископ, – вы можете говорить с жидами. А разве дело – так с родственниками разговаривать? Ведь практически вы уже мой свояк. Впрочем, если вы настаиваете, извольте: я один выставлю семьдесят копий плюс соответствующую пехоту и огнестрельцев. Конрад Кантнер, мой брат, ваш будущий тесть, даст шестьдесят конников. Столько же выставит, я знаю, присутствующий здесь Людвиг Бжегский. Румпрехт из Любина и его брат Людвик соберут сорок. Бернард Немодлинский…

Рейневан даже не заметил, как задремал. Разбудил его тычок в бок. Кругом стояла темень.

– Бежим отсюда, – буркнул Самсон Медок.

– Мы вздремнули?

– К тому же неплохо.

– Тингу конец?

– Во всяком случае, временно. Говори шепотом, за овином – пост.

– Где Шарлей?

– Уже шмыгнул за лошадьми. Теперь иду я. А потом ты. Сосчитай до ста и выходи. Через двор. Возьми охапку соломы, иди медленно, наклони голову, вроде как ты слуга, к лошадям идешь. А за углом крайней хаты – направо и в лес. Понял?

– Конечно.

На площадке крутились несколько солдат, горели костерки и мазницы, но мрак навеса давал настолько хорошее укрытие, что Рейневан не побоялся влезть на скамейку, приподнялся на цыпочки и сквозь пленку в окне заглянул в комнату. Пленки были сильно грязные, а комната освещена скупо. Однако ему удалось рассмотреть, что разговаривали трое. Одним был Конрад, епископ Вроцлава. Юношески звучный и выразительный голос не позволял в этом сомневаться.

– Повторяю, я, господа, искренне благодарен за информацию. Нам самим нелегко было бы ее раздобыть. Купцов губит жадность, а с конспирацией в торговле трудновато, секрета не удержишь, слишком много звеньев и посредников. Рано или поздно поступит донос на того, кто с гуситами знается и ведет с ними торговлю. Но вот с господами дворянами и мещанами дело гораздо сложнее. Они умеют держать язык за зубами, вынуждены опасаться Инквизиции, знают, что случается с еретиками и гуситскими приспешниками. И повторяю еще раз: без помощи из Праги мы никогда не напали бы на след этакого Альберта Барта или Петра де Беляу.

Сидевший спиной к окну мужчина проговорил с акцентом, которого Рейневан не спутал бы ни с каким другим. Это был чех.

– Петр из Белявы, – ответил он епископу, – умел хранить секреты. Даже у нас, в Праге, мало кто о нем слышал. Но знаете, как это бывает: находясь среди врагов, человек остерегается, а оказавшись среди друзей, распускает язык. Ну, коли уж мы об этом заговорили, то, надеюсь, здесь, среди друзей, у вас, епископ, не вырвалось какое-нибудь неосторожное словечко касательно моей особы?

– Вы меня обижаете, – гордо сказал Конрад. – Я не ребенок. Кроме того, наш тинг не случайно проходит здесь, в Дембовце, в глуши. Место тайное и надежное. Да и люди съехались верные. Друзья и союзники. Впрочем, ни один из них, позвольте заметить, вас даже не видел.

– Хвалю за предусмотрительность. Потому что, можете мне поверить, гуситские уши есть в свидницком замке, у пана фон Колдица, есть у пана Путы в Клодске. Относительно присутствующих здесь моравских панов я тоже искренне советовал бы быть поосторожнее. У пана Яна из Краваржа среди гуситов много родственников и свойственников.

Заговорил третий из беседующих. Он сидел ближе других к светильнику. Рейневан видел длинные черные волосы и птичью физиономию, как-то ассоциирующуюся с большим стенолазом.

– Мы осторожны, – сказал Стенолаз. – И бдительны. А

предательство в состоянии покарать, можете мне верить.

– Верю, верю, – фыркнул чех. – Как же не верить-то? После всего, случившегося с Петром из Белявы, паном Бартом? Купцами Пфефферкорном, Ноймарктом и Тростом? Демон, ангел мести, неистовствует в Силезии, бьет с ясного неба. В самый полдень. Воистину *daemonium meridianum.* Страх обуял людей…

– И очень даже хорошо, – спокойно отметил епископ, – что обуял. И должен был обуять.

– А результат, – покачал головой чех, – виден невооруженным глазом. Пусто стало на карконошских перевалах, поразительно мало купцов направляется в Чехию. Наши шпионы уже не ходят с миссиями в Силезию так охотно, как некогда. Крикливые до недавних пор эмиссары из Градца и Табора тоже что-то поутихли. Люди болтают, проблема обрастает слухами, сплетнями, растет словно снежный ком. Кажется, Петра де Беляу жестоко искололи. Пфефферкорна не уберегло, говорят, священное место, смерть настигла его в церкви. Гануш Трост бежал ночью, но оказалось, что ангел мести видит и убивает не только в полдень, но и в ночной тьме. Ну а то, что именно я, ваше преосвященство, сообщил их имена, пускай уж остается на моей совести.

– Хотите, я вас исповедую. Да хоть бы и сейчас. Без оплаты.

– Искренне благодарю. – Чех не мог не почувствовать насмешки, но не обратил на нее внимания. – Искренне благодарю, но я, как вы знаете, каликстинец и утраквист и не признаю устной исповеди.

– Ваше дело и ваша боль, – холодно прокомментировал епископ Конрад. – Я предложил вам не церемониал, а душевный покой, а ведь он не зависит от доктрины. Впрочем, ваше право отказаться. Только уж с совестью теперь управляйтесь сами. Я же лишь скажу вам, что названные покойники – Барт, Трост, Пфефферкорн, Беляу… провинились. Согрешили. А Павел пишет римлянам: «Возмездие за грех есть смерть». [355]

– Там же, – проговорил Стенолаз, – написано о грешниках: «Пусть стол их станет силком, ловушкой, камнем преткновения и расплаты».

– Аминь, – докончил чех. – Эх, жаль, искренне жаль, что этот ангел или демон только над Силезией бдит. Нет недостатка в грешниках и у нас в Чехии… Некоторые из нас там, в Златой Праге, утром и вечером возносят мольбы, чтобы определенных грешников хватил удар, чтобы молния их спалила… Или какой-нибудь демон доконал. Хотите, дам вам список. Именной.

– Какой список? – спокойно спросил Стенолаз. – О чем вы? Что-то предлагаете? Люди, о которых мы говорим, виновны и заслужили кару. Но их покарал Господь и собственная греховная

жизнь. Пфефферкорна убил арендатор из ревности к жене, а потом сам повесился, раскаявшись. Петра из Белявы убил в приступе неистовства собственный брат, полоумный чародей и прелюбодей. Альбрехта Барта прикончили евреи из зависти, потому что он был богаче их. Некоторых поймали, сейчас они признаются на пытках. Купца Троста убили разбойники, он обожал валандаться по ночам и дождался. Купец Ноймаркт…

– Достаточно, достаточно, – махнул рукой епископ. – Воздержимся, не надо утомлять нашего гостя. Есть тема поважнее, и давайте к ней вернемся. К тому, значит, кто из пражских панов готов к сотрудничеству и переговорам.

– Простите за откровенность, – после некоторого молчания сказал чех, – но было бы полезней, если б Силезию представлял кто-либо из князей. Я, конечно, знаю пропорции, но у нас в Праге было достаточно сложностей и хлопот из-за радикалов и фанатиков. У нас очень плохо относятся к духовным лицам…

– Вы, уважаемый, не знаете пропорций, путая католических священников с еретиками.

– Многие считают, – бесстрастно продолжал чех, – что фанатизм есть фанатизм и римский ничуть не лучше таборитского. Поэтому…

– Я, – резко оборвал его епископ Конрад, – в Силезии – наместник короля Зигмунта. Я – Пяст королевской крови. Все силезские князья мои родственники, все силезские дворяне признали мое верховенство, избрав меня ландсгауптманом. Этот тяжкий груз я несу со дня святого Марка 1422 года. Достаточно долго, чтобы знать. Даже там, у вас, в Чехии.

– Знаем, знаем. Тем не менее…

– Никаких «тем не менее», – снова обрезал епископ. – Силезией правлю я. Хотите вести переговоры – ведите со мной. Пан или пропал.

Чех долго молчал. Наконец сказал:

– Любите, ох любите вы это, преподобные. Обожаете управлять, вмешиваться в политику, совать всюду нос и лезть пальцами. Поверьте, для вас будет страшным ударом, если кто-нибудь наконец лишит вас власти, отнимет, вырвет из загребущих лап. Как вы это переживете, а? Представляете себе? Никакой политики. Целый день, от заутрени до комплеты, ничего, только молитва, покаяние, проповеди, дела милосердия. Как вам это нравится? Ваше епископское преосвященство?

– Это вам видится что-то подобное, – высокомерно заявил Пяст. – Только руки у вас коротки. Сказал когда-то какой-то мудрый кардинал: собака лает, караван идет. Нашим миром владеет и будет владеть Рим. Я бы сказал, того хочет Бог. Но не

стану поминать имени Бога всуе. Поэтому скажу так: справедливо, чтобы власть была в руках самых достойных людей. А кто более достоин, если не мы? А? Может, вы, рыцари?

– Найдется, – не сдавался чех, – какой-нибудь сильный король либо кесарь. И тогда кончится…

– Все кончится Каноссой, – в очередной раз прервал епископ. – У тех же стен, у которых стоял Генрих IV Германский. Этот «крепкий» король, как вы помните, требовал, чтобы духовенство, не исключая папы Григория VII, перестало лезть в политику и от заутрени до комплеты занималось исключительно молитвами. И что? Напомнить? Спесивец два дня стоял босым на снегу, а в замке папа Григорий тем временем смаковал роскошные блюда и отведывал хваленые прелести маркграфини Матильды. И на этом покончим с пустой болтовней. Вывод: не следует поднимать на Церковь голос. Мы всегда будем править и управлять. До границ мира и конца света…

– И даже дальше, – ядовито вставил Стенолаз. – В Новом Иерусалиме, златом граде за яшмовыми стенами, тоже у кого-то в руках должна быть власть.

– Вот именно, – фыркнул епископ. – А для собак, которые лают и воют, как всегда – Каносса! Покаяние, стыд, снег и перемерзшие ноги. А для нас теплые покои, теплое тосканское вино и пылкая маркграфиня в пуховой постели.

– Там у нас, – глухо сказал чех, – Сиротки и табориты уже точат клинки, уже готовят цепы. Уже смазывают оси телег. Вот-вот сюда нагрянут и отберут у вас все. Вы потеряете дворцы, вино, маркграфинь, власть и, наконец, ваши якобы столь ценные головы. Так будет. Я сказал бы, что, видимо, того хочет Бог, но не стану упоминать имени Его всуе. Поэтому скажу: с этим надо что-то делать. Противодействовать.

– Ручаюсь вам, святой отец Мартин…

– Да оставьте вы, – взорвался чех, – в покое мир со святым отцом, королем Зигмунтом и всеми князьями Империи, со всей этой верещащей европейской ярмаркой. С очередными легатами, регулярно расхищающими всякий раз заново собираемые на круцьяту деньги! О муки Господни! Вы требуете, чтобы мы ждали, пока наверху не придут к какому-либо согласию? А там ежедневно смерть смотрит в глаза!

– Нас, – проговорил Стенолаз, – вы не можете обвинить в бездействии, господин. Мы, как вы сами признали, действуем. Беззаветно молимся, наши молитвы бывают услышаны, грешников настигает кара. Но грешников много, да и новые постоянно прибывают. Мы просим вас не прекращать помощи.

– То есть вам нужны новые имена?

Ни епископ, ни Стенолаз не ответили. Чех же явно не ожидал ответа.

– Мы сделаем, – сказал он, – все, что в наших силах. Передадим списки гуситских сторонников и торгующих с гуситами купцов, приведем имена… чтобы вам было за кого молиться.

– А демон, – чеху и на этот раз никто не ответил, – демон, как обычно, ударит без промаха и неотвратно. Ох нужна была бы, нужна бы была такая акция и у нас…

– С этим, – жестко сказал Конрад, – сложнее. Уж кому-кому, как не вам, лучше знать, что у вас сам дьявол не в силах разобраться в хаосе фракций. И не угадаешь, кто кого и против кого держится и держится ли во вторник с теми же самыми, которых держался в понедельник. Папа Мартин и король Зигмунт хотят договориться с гуситами. С разумными. С такими, как вы, хотя бы. Думаете, мало было охотников покончить с Жижкой? Мы не дали согласия. Ликвидация определенных лиц грозила хаосом, полнейшей анархией. Ни король, ни папа не желают видеть подобное в Чехии.

– Болтайте об этом, – пренебрежительно фыркнул чех, – с легатом, с Орсини, а меня от подобной пустой болтовни увольте… И шевельните же немного, епископ, вашими якобы ценнейшими мозгами. Подумайте об общем интересе.

– Кого-то надо… прикончить? Вашего политического или личного врага? И что это за интерес?

– Я вам говорю, – чех и на сей раз не обратил внимания на насмешку, – что табориты и Сиротки поглядывают на Силезию жаждущим оком. Одни желают обращать, другие просто колошматить и грабить. Двинутся того и гляди, сорвутся с мечом и огнем. Мечтающий о христианском примирении папа Мартин будет за вас в далеком Ватикане молиться, жаждущий договоренности Люксембуржец будет в далекой Буде рвать и метать. Альбрехт Ракусский и епископ Оломунца облегченно вздохнут, поскольку свалилось все это не на них. А вас тем временем будут здесь обезглавливать, сжигать в бочках, насаживать на колья…

– Ладно, ладно. Успокойтесь. Все это у меня во Вроцлаве на картинах изображено в каждой церкви. Вы хотите, если я верно понимаю, убедить в том, что неожиданная смерть нескольких крупных таборитов убережет Силезию от нашествия? От апокалипсиса?

– Возможно, не спасет, но, во всяком случае, оттянет.

– Без обязательств и обещаний: о ком может идти речь? Кого потребовалось бы прикончить? То есть, простите *lapsus linqua,* [356]

кого упомянуть в поминальных молитвах?

– Богуслава из Швамберка, Яна Гвезду из Вицемилиц, гетмана градецкого Яна Чапека из Сана, оттуда же и Амброжа, бывшего приходского священника в церкви Святого Духа. Прокопа по прозвищу Голый. Бедржиха из Стражниц…

– Помедленнее, пожалуйста, – посоветовал Стенолаз. – Я записываю. Однако извольте, пан, сконцентрироваться на районе Градца-Кралове. Мы попросили предоставить перечень активных и радикальных гуситов из района Находа, Трутнова и Вимбурка.

– О! – воскликнул чех. – Вы что-то планируете?

– Тише, пожалуйста.

– Я хотел принести в Прагу радостную нов…

– А я говорю, потише, пожалуйста.

Чех замолчал в гибельный для Рейневана момент. Стремясь любой ценой увидеть лицо говорившего, он приподнялся на цыпочки и не устоял на скамье. Подгнившая ножка с треском переломилась, Рейневан шмякнулся на доски, дополнительно свалив прислоненные к стене хаты палки, жерди, вилы и грабли. Грохот слышен был, пожалуй, даже во Вроцлаве.

Он тут же вскочил и кинулся бежать. Слышал окрики стражи, к сожалению, не только позади себя. Впереди – тоже, причем как раз оттуда, куда намерен был убегать. Свернул между постройками. Когда из хаты выбежал Стенолаз, он не видел.

– Шпион! Шпиоон! За ним! Брать живьем! Жиивьем!

Дорогу преградил слуга, Рейневан повалил его, другому, схватившему его за плечо, врезал кулаком в нос. Сопровождаемый ругательствами и криками, перепрыгнул через изгородь, продрался сквозь подсолнухи, крапиву и лопухи. Спасительный лес был уже совсем рядом, увы, погоня сидела на шее, сбоку, из-за стога, тоже заходили кнехты, пытающиеся поймать его. Один уже совсем было его ухватил, как вдруг словно из-под земли вырос Шарлей и треснул его по голове большущим глиняным горшком. На остальных пошел Самсон Медок, вооруженный выломанной из ограды жердью. Держа двухсаженную слегу пред собой, гигант одним взмахом свалил с ног троих, двух следующих угостил так, что они рухнули словно колоды, утопая в лопухах, как в морской пучине. Самсон тряхнул жердью и зарычал, как лев, стоя в позе, можно бы сказать, своего знаменитого библейского тезки, угрожающего филистимлянам. Кнехты задержались на мгновение, но не больше – от грангии мчалось подкрепление. Самсон запустил в солдат своей жердью и ретировался вслед за Шарлеем и Рейневаном.

Они запрыгнули в седла, ударами пяток и криком заставив лошадей пойти в галоп. Промчались через буковину, подняв тучи

листьев, прогалопировали сквозь рощицу, прикрывая лица от секущих ударов веток. Разбрызгали лужи на просеке, влетели в высокий лес.

– Не отставать! – крикнул, обернувшись, Шарлей. – Не отставать! Они гонятся за нами!

Факт. Гнались. Лес позади был полон звона копыт и крика. Рейневан оглянулся и увидел фигуры наездников. Он прижался к гриве, чтобы хлещущие ветки не сбросили с седла. К счастью, он уже вылетел из чащобы в редколесье и пустил коня в галоп. Сивка Шарлея мчался как ураган, отрываясь все больше. Рейневан заставил свою верховую мчаться быстрее. Это было очень рискованно, но остаться позади одному ему вовсе не улыбалось.

Он обернулся. Сердце замерло и опустилось вниз, на самое дно живота, когда он увидел, кто за ними гонится. Конники с полощущимися за спинами похожими на крылья призраков плащами. И услышал крик:

– *Adsumus! Adsuuuuuuumus!*

Он гнал, что было сил в копытах. Конь Генрика Хакеборна неожиданно захрапел, сердце Рейневана съехало еще ниже. Он прижался лицом к гриве. Почувствовал, как конь прыгнул и не понукаемый, по собственной инициативе, перелетел то ли через яму, оставшуюся от вырванного с корнем дерева, то ли через ров.

– *Adsuuuumus!* – донеслось сзади. – *Adsuuuumus!*

– В яр! – крикнул мчавшийся первым Самсон. – В яр, Шарлей!

Шарлей, хоть и не уменьшил скорости, все же заметил ложбинку – яр, *holweg,*[357] впадину, тропинку в колтловине. Моментально направил туда коня, сивка заржал, скользя по покрывающему склон ковру листьев. Самсон и Рейневан последовали за ним. Скрылись в лощине, но хода не замедлили, не стали сдерживать коней. Мчались напропалую по приглушающему стук копыт мху. Конь Генрика Хакеборна снова захрапел, громче, несколько раз подряд. Конь Самсона тоже храпел, грудь покрылась пеной, хлопья так и сыпались с него. Сивка же Шарлея не подавал никаких признаков усталости.

Крутая лощина вывела их на полянку, за полянкой раскинулся орешник, густой, что твои лесные дебри. Они продрались сквозь чащу и вновь въехали в высокорослый бор, позволяющий пустить коней галопом. Кони храпели все сильнее.

Спустя какое-то время Самсон придержал коня и отстал. Рейневан понял, что должен сделать то же. Шарлей обернулся, придержал сивку.

– Похоже… – с трудом произнес он, сравнявшись с ними. – Похоже, оторвались… Во что же ты, язви тебя, снова нас впутал, Рейневан?

– Я?

– А кто же еще-то?! Я видел тех наездников. Видел, как ты корчился от страха, заметив их. Кто это? Почему они орали: «Мы здесь»?

– Не знаю, клянусь…

– Что толку в твоих клятвах! Ладно, кем бы они ни были, нам удалось…

– Еще не удалось, – изменившимся голосом сказал Самсон Медок. – Опасность еще не миновала. Внимание! Внимание!

– Что!

– Что-то приближается.

– Я ничего не слышу.

– И все-таки. Что-то скверное. Что-то очень скверное.

Шарлей развернул коня, стоя на стременах вглядывался и напрягал слух. Рейневан же, наоборот, съежился в седле. Новые нотки в голосе Самсона заставили его насторожиться. Конь Генрика Хакеборна захрапел, затопал. Самсон крикнул. Рейневан взвизгнул.

И тут неведомо откуда, неведомо как с мрачного неба посыпались нетопыри.

Это, конечно, не были обыкновенные летучие мыши, хотя и были они лишь немногим крупнее обычных, самое большее – раза в два, но у них были неестественно большие головы, огромные уши. Глаза будто раскаленные угольки и ощерившиеся пасти, забитые белыми клыками. И было их множество, целая туча, рой. Их узкие крылья будто ятаганы со свистом рассекали воздух.

Рейневан словно сумасшедший размахивал руками, отбиваясь от яростно нападавших бестий, исходя криком от ужаса и отвращения, срывал с себя цеплявшихся за шею, грызущих руки. Болезненно кусавших уши. Рядом Шарлей не целясь рубил вокруг себя саблей, густо прыскала черная нетопыриная кровь. На голове Шарлея сидели четыре, Рейневан видел, как по лбу и щекам демерита ползут змейки крови. Самсон боролся молча, давил ползающих по нему существ, хватая их горстями по нескольку штук сразу. Лошади безумствовали, рвались, визжали, дико ржали.

Сабля Шарлея свистнула у самой головы Рейневана, клинок прошел по волосам, смел с них большую, жирную и исключительно наглую тварь.

– Вперед! – рявкнул демерит. – Надо бежать, здесь оставаться нельзя!

Рейневан погнал коня, как-то тоже сразу поняв: это не были обычные летучие мыши, это были существа, призванные чарами, а значит, насланные преследователями, и эти преследователи вот-

вот появятся. Они рванули галопом, коней подгонять не приходилось, паникующие животные забыли об усталости и мчались так, словно их преследовали волки. Нетопыри не отставали, наскакивали, валились на них непрерывно, защищаться на полном скаку было трудно. Удавалось это только Шарлею, который рубил саблей так, словно родился и всю свою юность провел в Татарии.

Рейневана же, как опять стало ясно, неудачи преследовали хуже, чем Иону. Нетопыри кусали всех троих, но именно Рейневану один вцепился в волосы на лбу так, что совершенно заслонил глаза. Уродцы атаковали всех трех лошадей, но только Рейневанову коню один впился прямо в ухо. Конь рванулся, дико заржал, затряс опущенной головой, дернулся, подкинул круп с такой силой, что ослепший Рейневан вылетел из седла, как снаряд из катапульты. Освободившийся от груза конь сумасшедшим галопом кинулся в лес, к счастью, Самсон успел ухватить его за поводья и остановить. Шарлей же спрыгнул с лошади и, подняв саблю, ворвался в можжевельник, где над барахтающимся в высокой траве Рейневаном нетопыри кружили будто сарацины над поверженным на землю паладином. Выкрикивая чудовищные ругательства, демерит хлестал саблей так, что во все стороны брызгала кровь. Рядом Самсон, сидя в седле, дрался одной рукой – другой держал вырывающихся коней. Совершить такое мог только Самсон.

Рейневан был первым, заметившим, что в бой вступили новые силы. Возможно, это случилось потому, что, стоя на четвереньках и уткнув нос в траву, он пытался выбраться из боя. И видел, как трава вдруг стелется по земле. Словно поваленная вихрем. Он приподнял голову и шагах в двадцати от себя увидел мужчину, почти старика. Но прямо-таки гиганта с горящими глазами и львиной гривой млечно-белых волос. Старец держал посох, странный, сучковатый, фантастически выкрученный, истинный змей, застывший в пароксизме мучений.

– Пади! – громовым голос крикнул старец. – Не поднимайся!

Рейневан распластался по земле. Почувствовал, как странный вихрь свистит у него над головой. Услышал приглушенное ругательство Шарлея. И неожиданный, всеохватывающий, пронзительный писк до того нападавших на них в полном молчании нетопырей. Писк утих, оборвался так же неожиданно, как и возник. Рейневан услышал и почувствовал, как кругом что-то падает градом, ударяясь о почву глухо, как зрелые яблоки. Он чувствовал также на волосах и спине словно сухой дождь. Оглянулся. Кругом куда ни глянь валялись мертвые нетопыри, а сверху, с ветвей деревьев, не переставая сыпался плотный поток

насекомых – жуков, паучков, гусениц, личинок и ночных бабочек.

– *Matavermis,*[358] – вздохнул он. – Это был *Matavermis*…

– Ну, ну, – сказал старик. – Знает! Молодой, но опытный. Вставай. Уже можно.

Старик, теперь это уже стало видно, вовсе не был стариком. Юношей он, правда, тоже не был, а седина его волос – Рейневан дал бы голову на отсечение – была не старческой, это был альбинизм – столь часто встречающийся у магов. Да и гигантский рост тоже был иллюзией – результатом магии. Опирающийся на посох беловолосый человек был высок, но отнюдь не сверхъестественно. Подошел Шарлей, без всякого интереса пиная валяющихся в траве мертвых нетопырей. Подошел Самсон Медок с лошадьми. Седоволосый несколько минут внимательно рассматривал их – Самсона особенно серьезно.

– Трое. Любопытно. Искали-то мы двоих.

Откуда взялось множественное число, Рейневан узнал прежде, чем успел спросить. Задуднили копыта, на поляне стало тесно от храпящих лошадей.

– Приветствую, – воскликнул, не слезая с седла, Ноткер фон Вейрах. – Однако встретились. Вот ведь везение.

– Везение, – повторил с такой же усмешкой в голосе Буко фон Кроссиг, слегка напирая на демерита конем. – Тем более что совсем не там, где было условлено. Совсем в другом месте!

– А ты не держишь слова, господин Шарлей, – добавил, поднимая хундсгугель, Тассило де Тресков. – Не выполняешь договора. А сие наказуемо.

– И, вижу, не миновала его кара, – фыркнул Куно Виттрам. – Клянусь дубинкой святого Григория Чудотворца! Только гляньте, как ему кто-то ушки понадгрыз.

– Надо отсюда убираться. – Седоволосый прервал разыгравшуюся на глазах у изумленного Рейневана сцену. – Погоня приближается. Конные идут по пятам.

– Ну, разве я не говорил? – проворчал Буко фон Кроссиг. – Мы спасаем их, вытаскиваем ихние задницы из петли. Ладно, поехали. Господин Гуон? Это преследование…

– Не простое. – Седоволосый внимательно посмотрел на поднятого с земли за конец крыла нетопыря, потом перевел взгляд на Шарлея и Самсона. – Все это неспроста… Я понял по тому, как занемели пальцы… Ну, ну… Интересные вы люди, интересные. Можно сказать: покажи мне, кто за тобой гонится, и я скажу, кто ты. Иначе: мои преследователи свидетельствуют обо мне.

– Фу, преследователи! – воскликнул, заворачивая коня, Пашко Рымбаба. – Тоже мне преследователи. И пусть только

подъедут, мы зададим им перцу.

– Не думаю, – ответил седоволосый, – чтобы все было так просто.

– Я тоже. – Буко присмотрелся к нетопырям. – Господин Гуон, можно вас попросить?

Названный Гуоном седоволосый вместо ответа махнул кривым посохом. С трав и папоротников тут же начал подниматься туман белый и плотный, как дым. И удивительно быстро полностью затянул лес.

– Старый чародей, – пробормотал Ноткер Вейрах. – Аж мурашки побежали…

– Э! – весело воскликнул Пашко. – По мне ничто не побежало.

– Людям, которые нас преследуют, – отважился проговорить Рейневан, – туман не помеха. Даже магический.

Седоволосый обернулся. Взглянул ему в *глаза.*

– Знаю, – сказал он, – знаю, господин знаток. Потому-то этот дым не против людей, а против лошадей. И вообще поскорее выбирайтесь отсюда. Если лошади учуют вапор[359] – ошалеют.

– В путь, *comitiva!*

Глава двадцать третья,

в которой события принимают настолько криминальный оборот, что если б каноник Отто Беесс мог это предвидеть, то без всяких церемоний постриг бы Рейневана в монахи и запер в цистерцианской клаузуре, Рейневан же начинает подумывать, не была ли бы для него такая альтернатива менее болезненной

Углежогов и дягтярей из близлежащей деревни, направляющихся на рассвете к своему рабочему месту, потревожили доходящие оттуда звуки. Те, что потрусливей, сразу же взяли ноги в руки. За ними поспешили более рассудительные, справедливо решив, что сегодня из работы ничего не получится, угля не выжечь, смолы и дегтя не отогнать, да к тому же еще и по шеям можно будет отхватить. Лишь немногие смельчаки отважились подобраться к смолярне настолько, чтобы, осторожно выглянув из-за стволов, увидеть на поляне штук пятнадцать лошадей и столько же вооруженных людей, из которых часть была в полных пластинчатых латах. Углежоги увидели, что рыцари живо жестикулируют, услышали возбужденные голоса, крики, ругань. Последнее убедило углежогов в том, что им тут делать нечего, а надо бежать, пока возможно. Рыцари спорили, ругались, некоторые даже впали в ярость, а от таких рыцарей бедный крестьянин мог ожидать самого худшего, потому что на бедном крестьянине рыцари привыкли отыгрываться и восстанавливать нервы. Больше того, тому, кто попадет благородно урожденному под руку, они могли дать не только кулаком по морде, башмаком под зад или нагайкой по спине, но бывало, что благородный рыцарь хватался за меч, буздыган или топор.

Углежоги сбежали. И сообщили об увиденном в деревню. Поджигать деревни разозленным рыцарям тоже случалось.

На поляне углежогов шел яростный спор, разыгрался скандал. Буко фон Кроссиг так орал, что пугались даже удерживаемые оруженосцами кони. Пашко Рымбаба размахивал руками. Вольдан из Осин поносил кого-то, Куно Виттрам призывал в свидетели всех святых. Шарлей хранил относительное спокойствие. Ноткер фон Вейрах и Тассило де Тресков пытались унять разбушевавшихся вояк.

Беловолосый маг сидел неподалеку на пеньке и демонстрировал равнодушие.

Рейневан знал, в чем причина раздора. Он понял это еще в

пути, когда они мчались по лесам, кружили по дубравам и буковинам, постоянно оглядываясь, не вынырнет ли из мрака погоня. Не появятся ли всадники в развевающихся плащах. Однако погони не было, и удалось поговорить. Тогда-то Рейневан узнал все от Самсона Медка. Узнал и, узнав, одурел.

– Не понимаю… – сказал он, когда немного остыл. – Не понимаю, как вы могли пойти на такое!

– Ты хочешь сказать, – повернулся к нему Самсон, – что, если б дело коснулось кого-нибудь из нас, ты не попытался бы нас спасти? Даже по-дурному?

– Не хочу. Но я не понимаю, как…

– Собственно, – довольно резко перебил гигант, – я пытаюсь тебе объяснить как. Но ты постоянно мешаешь мне взрывами священного возмущения. Соблаговоли выслушать. Мы узнали, что тебя отвезут в замок Столец и там непременно укокошат. Черный фургон сборщика податей Шарлей приметил уже раньше. Поэтому когда неожиданно появился Ноткер Вейрах со своей комитивой, план нарисовался сам.

– Помочь напасть на колектора, участвовать в грабеже взамен за помощь в моем освобождении?

– Ну, ты прямо-таки словно присутствовал при этом. Именно так и договорились. А поскольку о мероприятии узнал, вероятно, из-за чьей-то болтливости, Буко Кроссиг, пришлось включить и его.

– Ну, вот и получили.

– Получили, – спокойно согласился Самсон.

Получили. Дискуссия на поляне углежогов становилась все более бурной, настолько бурной, что некоторым дискутантам слов оказалось недостаточно. Особенно ярко это было видно по Буко фон Кроссигу. Раубриттер подошел к Шарлею и схватил его обеими руками за куртку на груди.

– Еще раз… – прошипел он яростно, – если ты еще раз произнесешь слово «неактуально», то пожалеешь. Что плетешь, бродяга? Или думаешь, бездельник, мне больше делать нечего, как только мотаться по лесам? Я потерял время в надежде на добычу. Не говори, что зря. У меня руки чешутся…

– Потише, Буко, – примирительно бросил Ноткер фон Вейрах. – Зачем сразу скандалить. Можем договориться. А ты, господин Шарлей, поступил скверно, позволь тебе заметить. Был уговор, что вы станете за сборщиком следить до Зембиц и дадите нам знать, куда он поедет, где остановится. Мы ждали вас. Было бы общее дело. А вы что?

– В Зембицах, – Шарлей разгладил куртку, – когда я просил у вас помощи и когда за эту помощь платил выгодной вам

информацией и предложением, что я услышал в ответ? Что вы, может быть, поможете, если вам, цитирую: захочется освобождать Рейнмара Хагенау. Но из добычи от нападения на сборщика я не получу ни ломаного шелёнга. Так, по-вашему, должно выглядеть общее дело?

– Вас интересовал друг. Его следовало освободить…

– И он свободен. Освободился сам, собственным уменьем. Поэтому, мне кажется, ясно, что ваша помощь мне уже не нужна.

Вейрах развел руками. Тассило де Тресков выругался. Вольдан из Осин, Буко Виттрам и Пашко Рымбаба принялись орать, стараясь перекричать один другого. Буко фон Кроссиг успокоил их резким жестом.

– Речь шла о нем, так? – сквозь стиснутые зубы спросил он, указывая на Рейневана. – Его мы должны были вытащить из Стольца? Его шкуру спасти? А теперь, когда он свободен, так мы тебе, господин Шарлей, уже не нужны, да? Договор нарушен, слово ветром сдуло? Слишком уж смело, господин Шарлей, слишком уж быстро! Потому что если тебе, господин Шарлей, шкура друга так дорога, коли ты так о ее целости печешься, то знай, я могу в момент эту целость порушить! И не трепись, будто договор ликвидирован, потому что-де твой дружок в безопасности. Потому что здесь, на этой поляне, в пределах досягаемости моей руки обоим вам чертовски далеко до безопасности.

– Спокойно, – поднял бровь Вейрах. – Притормози, Буко. А ты, господин Шарлей, скинь тон. Твой друг уже, к счастью, свободен? Радуйся. Мы тебе, говоришь, не нужны? Так ты нам, знай, еще меньше. Двигай отсюда, если тебе так хочется. Только сначала отблагодари за помощь. Потому что и дня не прошло, как мы вас спасли и ваши задницы, как кто-то мудро сказал, из петли вытащили. Потому что если б вас ночная погоня достала, то искусанными ушами дело наверняка бы не кончилось. Ты об этом забыл? Ха, правда, ты быстро забываешь. Ну что ж, скажи нам еще «на посошок», куда сборщик с возом поехал, по которой дороге с перепутья. И прощай, черт с тобой.

– За вашу ночную помощь. – Шарлей откашлялся, слегка поклонился, но не Буко и Вейраху, а сидящему на пне и равнодушно посматривавшему магу. – Благодарю за вашу ночную помощь. Отнюдь не желая напомнить, что едва неделя прошла с тех пор, как мы под Лутомью спасали задницы господ Рымбабы и Виттрама. Так что мы квиты. А куда поехал колектор, не знаю. К сожалению. Мы потеряли след позавчера после полудня. А поскольку незадолго до сумерек встретили Рейневана, постольку колектор перестал нас интересовать.

– Держите меня! – рявкнул Буко фон Кроссиг. – Держите меня, курва, не-то я его пришибу! Нет, вы слышали? Он потерял след! Его колектор интересовать перестал! Его, курва, перестала интересовать тысяча гривен! Наша тысяча гривен!

– Какая там тысяча, – не подумав, бросил Рейневан. – Не было там никакой тысячи. А было… всего-то… пятьсот…

Тут же, сразу, он понял, какую сморозил глупость.

Буко фон Кроссиг так быстро выхватил меч, что скрежет клинка в ножнах, казалось, еще звучал, еще висел в воздухе, когда острие коснулось Рейневанова горла. Шарлей успел сделать только полшага, как тоже наткнулся грудью на мгновенно выхваченные клинки Вейраха и Трескова. Оружие остальных зашаховало и остановило Самсона. Куда девались, словно сдутые ветром, признаки фамильярной доброжелательности. Злые, прищуренные, жесткие глаза раубриттеров не оставляли сомнений в том, что они оружием воспользуются. И сделают это, ничуть не задумавшись.

Сидящий на пне седовласый маг вздохнул и покрутил головой. Однако мина у него была безразличная.

– Губертик, – бросил Буко фон Кроссиг одному из оруженосцев, – возьми ремень, сделай петлю и накинь на тот вон сук. Не шевелись, Хагенау.

– Не шевелись, Шарлей, – словно эхо повторил де Тресков. Мечи остальных сильнее уперлись в грудь и шею Самсона.

– Итак. – Буко, не отводя оружия от горла Рейневана, приблизился. Глянул ему в лицо. – Итак, на возу колектора находится не тысяча, а пятьсот гривен. Ты это знаешь. А значит, знаешь, куда он поехал. У тебя, парень, простой выбор: либо ты знаешь, либо висишь.

Раубриттеры спешили, навязывали быстрый темп. Не жалели лошадей. Если только позволяла местность, гнали галопом. Гнали что было сил.

Вейрах и Рымбаба, кажется, знали район, вели по короткому пути.

Пришлось двигаться медленнее, так как дорога вела по сильно подмокшему мшанику в долине речки Будзувки, левого притока Нисы Клодской. Только тогда Шарлею, Самсону и Рейневану выпала оказия перекинуться несколькими словами.

– Без глупостей, – тихо предупредил Шарлей. – И не вздумайте сбежать. У тех двоих, что едут за нами, самострелы, и они не спускают с нас глаз. Лучше послушно ехать за ними…

– И принять, – язвительно докончил Рейневан, – участие в бандитском нападении? Да, Шарлей, далеко же завело меня

знакомство с тобой. Я стал разбойником.

– Напоминаю, – вставил Самсон, – что мы делали это ради тебя. Спасая твою жизнь.

– Каноник Беесс, – добавил Шарлей, – приказал мне защищать тебя и оберегать…

– И сделать нарушителем закона?

– Именно из-за тебя, – резко ответил демерит, – мы оказались на Счиборовой Порубке, именно ты выдал Кроссигу место остановки сборщика. Причем выдал очень быстро. Ему даже не пришлось долго тебя трясти. Надо было держаться тверже, мужественно молчать. Теперь ты был бы вполне приличным висельником с чистой совестью. Сдается мне, ты бы лучше чувствовал себя в такой роли.

– Преступление – всегда пре…

Шарлей вздохнул, махнул рукой. Подогнал коня.

Над мшаником поднимался туман. Трясина прогибалась, чавкала под копытами. Квакали лягушки, трубили выпи, покрякивали дикие гуси. Беспокойно шумели и со шлепком поднимались на крыло утки и селезни. Что-то большое, вероятно, лось, продиралось в окружающем лесу.

– То, что сделал Шарлей, – сказал Самсон, – он сделал ради тебя. Ты оскорбляешь его своим поведением.

– Преступление… – откашлялся Рейневан, – всегда остается преступлением. Оправдать его не может ничто.

– Правда?

– Ничто. Нельзя…

– Знаешь что, Рейневан? – Самсон впервые проявил что-то вроде нетерпения. – Начинай играть в шахматы. Это тебе будет больше по душе. Тут черные, там белые, а все поля квадратные.

– Кто сказал, что в Стольце меня собирались прикончить? Кто это сказал?

– Ты удивишься. Юная дама в маске, плотно закутанная в плащ. Пришла к нам ночью на постоялый двор. В сопровождении вооруженных слуг. Ты удивлен?

– Нет.

Самсон не стал выспрашивать.

На Счиборовой Порубке не было никого. Ни живой души. Это было видно ясно и издалека. Раубриттеры сразу же отказались от намеченного заранее скрытного подхода, влетели на поляну с ходу, галопом, с грохотом, топотом и криками, которые всполошили лишь ворон, пиршествовавших вокруг обложенного камнями потухшего костра.

Отряд разъехался, шаря меж шалашей. Буко фон Кроссинг

развернулся в седле и вперил в Рейневана грозный взгляд.

– Оставь, – упредил его Ноткер фон Вейрах. – Он не врал. Видно же, что здесь кто-то останавливался надолго.

– Здесь была телега, – подъехал Тассило де Тресков. – Вот следы колес.

– Трава изрыта подковами, – доложил Пашко Рымбаба. – Много коней было!

– Пепел в кострище еще теплый, – сообщил Губертик, оруженосец Буко, мужчина вопреки уменьшительному имени в солидных годах. – Кругом бараньи кости и куски репы.

– Опоздали, – угрюмо подвел итог Вольдан из Осин. – Колектор тут останавливался. И уехал. Поздно мы прибыли.

– Конечно, – буркнул фон Кроссиг, – если парень нас не обманул. А он мне не нравится, этот Хагенау. А? Кто за вами ночью гнался? Кто напустил нетопырей? Кто…

– Перестань, Буко, – снова прервал фон Вейрах. – Ты отклоняешься от темы. Давайте, *comitiva,* объезжайте поляну, ищите следы. Надо знать, что делать дальше.

Раубриттеры снова разъехались, часть спешилась и разбрелась по шалашам… К «поисковикам», к некоторому удивлению Рейневана, присоединился Шарлей. Беловолосый же маг, не обращая внимания на суматоху, раскинул кожух, уселся на него, достал из вьюков хлеб, стружки сушеного мяса и баклажку.

– А вы, господин Гуон, не сочтете ли нужным помочь нам?

Маг отхлебнул из баклажки, откусил хлеба.

– Не сочту.

Вейрах фыркнул, Буко выругался под нос. Подъехал Вольдан из Осин.

– Трудно что-нибудь понять по здешним следам, – опередил он вопрос. – Одно ясно – лошадей было множество.

– Это я уже слышал. – Буко снова измерил Рейневана злым взглядом. – Но подробности узнать хотелось бы. Так сколько же было с колектором народу? И кто? Я с тобой разговариваю, Хагенау.

– Сержант и пятеро вооруженных, – проговорил Рейневан. – А кроме них…

– Ну, слушаю! И смотри мне в глаза, когда я спрашиваю!

– Четверо Меньших Братьев… – Рейневан уже раньше решил не упоминать Тибальда Раабе, а подумав, распространил это решение и на Хартвига Штетенкорна и его некрасивую дочку. – И четыре паломника.

– Мендиканты.[360] – Губа Буко приоткрыла зубы. – Верхом на подкованных конях? А? Что ты мне…

– Он не врет. – Куно Виттрам подъехал рысью, бросил перед ними кусок завязанного узлом шнура.

– Белый. Францисканский!

– Зараза, – насупил брови Ноткер Вейрах. – Что тут произошло?

– Произошло, произошло. – Буко ударил кулаком по рукояти меча. – Не все ли мне равно? Я хочу знать, где колектор! Где телега, где деньги? Кто-нибудь может мне это сказать? Господин Гуон фон Сагар?

– Я сейчас ем.

Буко выругался.

– С порубки ведут три дороги, – сказал Тассило де Тресков. – На всех есть следы. Но которые чьи – установить нельзя. Невозможно сказать, куда поехал колектор.

– Если вообще поехал, – появился из кустарника Шарлей. – Я считаю, что не поехал. А по-прежнему здесь.

– Это как же так? Где? Откуда вы знаете? Как установили?

– Обдумав все, что вижу.

Буко фон Кроссиг грязно выругался. Ноткер Вейрах сдержал его жестом. И выразительно взглянул на демерита.

– Говорите, Шарлей. Что вы там вынюхали? Что знаете?

– Участвовать в дележе добычи, – гордо задрал голову демерит, – вы нас не допустили. Так и следопыта из меня не делайте. Что я знаю, то знаю. Мое дело.

– Держите меня… – яростно заворчал Буко, но Вейрах снова сдержал его.

– Еще недавно, – сказал он, – ни сборщик вас не интересовал, ни его деньги. И вот вдруг вам захотелось принять участие в дележе. Не иначе как что-то изменилось. Интересно б узнать что?

– Многое. Теперь добыча, если нам посчастливится ее взять, уже не будет результатом нападения на сборщика. А в подобном я охотно принимаю участие, поскольку полагаю вполне моральным отобрать у грабителя награбленное.

– Говорите ясней.

– Ясней некуда, – сказал Тассило де Тресков. – Все ясно.

Укрытое в лесу, окруженное трясиной озерко, хоть и живописное, пробуждало неясно беспокойство и даже страх. Его гладь была как смола – такая же черная и застывшая, такая же неподвижная, такая же мертвая, не замутненная ни одним признаком жизни, ни малейшим движением. Хотя вершины глядящихся в воду елей слегка покачивались на ветру, гладь зеркала не нарушала ни малейшая волна, густую от коричневых водорослей воду трогали лишь пузырьки газа, поднимающиеся из

глубины, медленно расходящиеся и лопающиеся на маслянистой, покрытой ряской поверхности, из которой, словно руки мертвецов, торчали высохшие искореженные деревья.

Рейневан вздрогнул. Он догадался, что обнаружил демерит. «Они лежат там, – подумал он, – в глубине, в тине, на самом дне этой черной пучины. Колектор, Тибальд Раабе, прыщатая Штетенкронувна с выщипанными бровями. А кто еще?»

– Взгляните сюда, – сказал Шарлей.

Трясина прогибалась под ногами, прыскала водой, выжимаемой из губчатого ковра мхов.

– Кто-то попытался затереть следы, – продолжал показывать демерит, – но все равно ясно видно, откуда тащили трупы. Здесь на листьях кровь. И здесь. И тут. Всюду кровь.

– Это значит, – потер подбородок Вайрах, – что кто-то…

– Что кто-то напал на сборщика, – спокойно докончил Шарлей. – Прикончил его и сопровождающих, а трупы утопил здесь, в озерке. Нагрузив камнями, взятыми из остатков костра. Достаточно было внимательнее осмотреть все, что осталось от него…

– Ладно, ладно, – обрезал Буко. – А деньги? Что с деньгами? Значит ли это…

– Это значит, – Шарлей с легким сочувствием взглянул на него, – точно то, о чем вы подумали. Исходя из предположения, что вы вообще думаете.

– Деньги захватили?

– Браво!

Буко некоторое время молчал, а лицо его все сильнее наливалось кровью.

– Курва, – рявкнул он наконец. – Господи! Ты видишь и не мечешь громы и молнии?! До чего мы дожили! Забыты обычаи, курва, испарилась честь, подохло почтение!

Все грабят, все воруют, тащат! Вор на воре сидит и вором погоняет. Подлецы! Шельмы! Мерзавцы!

– Мерзавцы, клянусь котлом святой Цецилии, мерзавцы! – подхватил Куно Виттрам. – Господи Христе, неужто ты не нашлешь на них какой-нибудь казни… египетской!

– Святого, сукины дети, дела не уважили! – рявкнул Рымбаба. – Ведь то, что вез колектор, было на богоугодное дело предназначено!

– Верно. Епископ на войну с гуситами собирал…

– Ежели так, – пробормотал Вольдан из Осин, – то, может, это дьявольских рук дело? Ведь дьявол-то гуситам запанибрата… Вполне могли еретики чертовой помощью воспользоваться… А мог черт и сам по себе, епископу в пику… Иисусе! Дьявол, говорю

вам, здесь дьявол поработал, адские силы тут действовали. Сатана, никто иной, колектора прибил и всех его людей прикончил.

– А как же пятьсот гривен? – наморщил лоб Буко. – В пекло упер?

– Во-во! Либо в говно превратил. Бывали такие случаи.

– Возможно, – кивнул Рымбаба, – и в говно. Говна там, за шалашами, многое множество.

– А мог, – вставил Виттрам, указывая пальцем, – черт деньги в озерке утопить. Ему они ни к чему.

– Хм-м-м, – проворчал Буко. – Утопить мог, говоришь? Так, может…

– Ни в жисть! – Губертик с лету угадал, о чем и о ком подумал Буко. – Уж это-то – нет! Ни за что туда, Господи, не войду.

– Неудивительно, – сказал Тассило де Тресков. – Мне тоже озеро не нравится. Тьфу! Я б не полез в эту воду, пусть бы там не пятьсот, а пять тысяч гривен лежало.

Что-то, что таилось в озере, видимо, его услышало, потому что как бы в подтверждение смолисто-черная гладь вдруг вздыбилась, забулькала, вскипела тысячами мелких пузырьков. Вырвался наружу и разошелся вокруг отвратительный гнилостный смрад.

– Пошли отсюда… – просипел Вейрах. – Уйдем…

Они отошли. Спешно. Болотная вода выхлюпывалась из-под ног.

– Нападение на сборщика, – заявил Тассило де Тресков, – если и случилось и Шарлей не ошибается, произошло, судя по следам, вчера ночью или сегодня на рассвете. Так что если немного поднатужиться, то грабителей можно будет догнать.

– А мы знаем, – буркнул Вольдан из Осин, – куда ехать-то? С порубки ведут три дорожки. Одна в сторону бардского тракта. Вторая на юг, к Каменьцу. Третья – на север, на Франкенштейн. Прежде чем двинуться, хорошо бы знать, по которой…

– Факт, – согласился Ноткер фон Вейрах, потом многозначительно кашлянул, взглянул на Буко, глазами указал на белоголового мага, сидевшего неподалеку и приглядывающегося к Самсону Медку. – Действительно, стоило бы знать. Не хочу показаться нахальным, но может, ну, к примеру, воспользоваться помощью чародея? А, Буко?

Магик, несомненно, слышал его слова, но даже не шевельнул головой. Буко фон Кроссиг придушил зубами готовое вырваться ругательство.

– Господин Гуон фон Сагар!

– Чего?

– Мы тропку ищем. Может, вы б нам помогли?

– Нет, – равнодушно ответил магик. – Не хочется.

– Ах, вам не хочется? Не хочется? Тогда на кой ляд, зараза, вы с нами поехали?

– Чтобы воздуха свежего глотнуть. И *gaudim*[361] себе доставить. Воздуха мне уже достаточно, *gaudim* оказывается никакой, так что охотнее всего я б возвратился домой.

– Добыча у нас из-под носа ускользнула!

– А это, позвольте вам сказать, *nihil ad me attinet.*[362]

– Я вас за счет добычи содержу и кормлю!

– Вы? Серьезно?

Буко покраснел от бешенства, но смолчал. Тассило де Тресков тихо кашлянул, немного наклонился к Вейраху.

– Как там с ним? – буркнул он. – Ну, с чародеем? В конце концов – он служит Кроссигу или нет?

– Служит, – буркнул в ответ Вейрах, – но не ему, а старой Кроссиговой. Но об этом – ша, молчок. Тема деликатная…

– А что, – вполголоса спросил Рейневан стоящего рядом Рымбабу, – это тот знаменитый Гуон фон Сагар?

Пашко кивнул и открыл рот, к сожалению, Ноткер Вейрах услышал.

– Слишком вы любопытны, господин Хагенау, – прошипел он, подходя. – А это невежливо. Не к лицу одному из вашей странной тройки. Потому как именно из-за вас возникли все неприятности. И помощи от вас столько же, сколько от козла молока.

– Это, – выпрямился Рейневан, – легко можно исправить.

– То есть?

– Вы хотите знать, по которой дороге поехали те, кто ограбил сборщика? Я вам укажу.

Если удивление раубриттеров было велико, то для состояния Шарлея и Самсона трудно было подыскать соответствующее определение, даже слово «остолбенели» казалось слабым.

Искорка интереса сверкнула лишь в глазах Гуона фон Сагара. Альбинос, на всех, кроме Самсона, смотревший так, словно они были прозрачными, теперь начал внимательно прощупывать глазами Рейневана.

– Дорогу сюда, на Порубку, – процедил сквозь зубы Буко фон Кроссиг, – ты указал нам под угрозой виселицы, Хагенау. А теперь поможешь по собственному желанию? С чего бы так?

– Мое дело.

«Тибальд Раабе. Некрасивая дочь Штетенкорна. С перерезанными горлами. На дне, в тине. Черные от раков,

обгладывающих их. От пиявок. Извивающихся угрей. И бог знает, от чего еще».

– Мое дело, – повторил он.

Долго искать не пришлось. *Juncus,* сит, рос по краям влажного луга целыми купами. Рейневан добавил обвешенную сухими стручками ветку редечника. Трижды перевязал колосящимся стеблем осоки.

Jedna, dwie, trzy
Segge, Binse, Hederich
Binde zu samene…

– Очень хорошо, – проговорил, улыбнувшись, беловолосый маг. – Браво, юноша. Но немного жаль времени, а мне хотелось бы поскорее вернуться домой. Разреши, без обиды, чуточку тебе подсобить. Совсем немного. На грошик. Чтобы, как говорится, силой силе помочь.

Он взмахнул посохом, быстро начертил им в воздухе круг.

– *Yassar!* – проговорил гортанно. – *Quidr al-rah!*

От мощи заклинания дрогнул воздух, а одна из выходящих от Счиборовой Порубки дорог сделалась светлее, приятнее, приглашающее. Это произошло гораздо быстрее, чем при использовании одного только навенза. Почти немедленно, а излучаемое дорогой мерцание было гораздо сильнее.

– Туда, – указал Рейневан уставившимся на него раскрыв рты раубриттерам. – Вот эта дорога.

– Путь на Каменец, – первым пришел в себя Ноткер Вейрах. – Очень хорошо. Нам повезло. И вам тоже, господин фон Сагар. Потому что это то же самое направление, что и к дому, куда вам так не терпится попасть. По коням, *comitiva!*

– Есть, – доложил высланный на разведку Губертик, сдерживая пляшущего коня. – Есть, господин Буко. Едут цугом, медленно, по тракту в сторону Бардо. При них человек двадцать тяжеловооруженных.

– Двадцать, – повторил немного задумчиво Вольдан из Осин. – Хм-м.

– А ты чего ожидал? – глянул на него Вейрах. – Кто, ты думал, вырезал и потопил сборщика с сопровождающими, не говоря уж о францисканцах и паломниках? Мальчик-с-пальчик?

– Деньги? – тут же спросил Буко.

– Есть колебка.[363] – Губертик почесал за ухом. – Сокровищничка. Этакая с дверцей.

– Повезло. Там они везут деньги. Двигаем за ними.

– А точно ли, – заметил Шарлей, – это они?

– Ты, господин Шарлей, – Буко окинул его взглядом, – уж как скажешь, так скажешь… Ты б лучше сказал, можем ли мы рассчитывать на тебя. На тебя и твоих компаньонов. Поможете?

– А что, – Шарлей глянул на верхушки сосен, – мы будем с того иметь? Как насчет равной доли, господин Кроссиг?

– Одна на вас троих.

– Идет. – Демерит не торговался, но, видя взгляд Рейневана и Самсона, быстро добавил: – Но будем действовать без оружия.

Буко махнул рукой, потом отстегнул от седла топор, огромное широкое лезвие на слегка изогнутой рукояти. Рейневан увидел, как Ноткер Вейрах проверяет, хорошо ли вращается на древке цепной моргенштерн.

– Послушайте, *comitiva,* – сказал Буко. – Хоть это наверняка в основном сопляки, но их двадцать. Значит, надо к делу подойти с умом. Сделаем так: в стае отсюда, я знаю, дорога проходит через мосток на струге…[364]

Буко не ошибался. Дорога действительно вела через мосток, под которым, в узком, но глубоком яру текла скрывающаяся в гуще ольховника струга, громко шумя на шипотах.[365] Пели иволги, заядло долбил ствол дятел.

– Поверить не могу, – сказал Рейневан, скрытый за можжевеловыми кустами. – Не могу поверить. Я стал разбойником. Сижу в засаде…

– Тише, – буркнул Шарлей. – Едут.

Буко фон Кроссиг поплевал на ладонь, взял топор, опустил забрало армета.

– Берегись, – забубнил он как из глубины горшка. – Губертик! Ты готов?

– Готов, господин.

– Все знают, что делать? Хагенау?

– Знаю, знаю.

В просвечивающем сквозь яворы светлом березняке по противоположной стороне яра замелькали цветные одежды, засверкали доспехи. Послышалось пение. Рейневан узнал. Пели *Dum inventus florui,* песню на слова Петра Блуаского. Они певали ее в Праге…

– Веселятся, псябратва, – буркнул Тассило де Тресков.

– А чего ж не веселиться, ежели кого обобрал, – пробурчал в ответ Буко. – Губертик! Готовься! Готовь арбалет!

Песня утихла, неожиданно оборвалась. На мостке появился слуга в капюшоне, держащий сулицу поперек седла. За ним

выехали трое в кольчугах и металлических опахах. С налобниками. За спинами арбалеты. Все медленно въехали на мосток. Следом явились два рыцаря в латах *cap a pied,*[366] с копьями, упирающимися в захваты на стременах. У одного на щите была изображена красная лесенка на серебряном поле.

– Кауффунг, – снова буркнул Тассило. – Какого черта?

По мостку зацокали подкованные копыта, это въехали следующие три рыцаря. За ними, запряженная парой меринков, вкатилась обитая бордовым сукном крытая повозка, скарбничек,[367] сопровождаемый очередными арбалетчиками в налобниках и капалинах.

– Ждать, – бурчал Буко. – Еще… Пусть колебка спустится с мостка… Еще… Давай!

Щелкнули тетивы, зашипел болт. Конь под одним из копейщиков поднялся на дыбы, дико заржал, свалился, одновременно повалив одного из стрелков.

– Вперед! – рявкнул Буко, дав коню шпоры. – На них! Бей!

Рейневан хлестнул коня плеткой, вырвался из можжевельника. За ним устремился Шарлей.

Перед мостом уже шел бой – это на арьергард кортежа ударили справа Рымбаба и Виттрам, слева Вейрах и Вольдан из Осин. Лес наполнился криком, визгом лошадей, звоном, ударами железа о железо.

Буко фон Кроссиг топором повалил вместе с конем слугу с сулицей ударом наотмашь разрубил голову пытающемуся натянуть арбалет стрелку. Проносящегося рядом Рейневана обрызгала кровь. Буко вывернулся на седле, поднялся на стремена, рубанул мощно, топор разрубил наплечник и почти отрубил плечо рыцарю с лесенкой Кауффунгов на щите. Рядом промчался на полном скаку Тассило де Тресков, широким ударом меча свалив коня оруженосца в бригантине. Дорогу ему преградил латник в голубовато-белом лентнере. Они сошлись со звоном стали.

Рейневан подскочил к колебке. Возница изумленно смотрел на торчащий из паха вонзившийся по самые лётки болт. Шарлей подлетел с другой стороны, сильным ударом сшиб его с козел.

– Запрыгивай! – крикнул он. – И гони коней!

– Берегись!

Шарлей нырнул под конскую шею, опоздай он хотя бы на секунду, его б насадил на копье рыцарь в полных латах с черно-белой шашечницей на щите, мчавшийся с мостка. Рыцарь таранил коня Шарлея, бросил копье, схватил висящий на темляке буздыган, но ударить демерита по темени не успел. Подоспевший галопом Ноткер Вейрах шарахнул его по саладе моргенштерном

так, что гул пошел. Рыцарь покачнулся в седле, Вейрах откинулся и трахнул его снова по середине наплечника, да так, что шипы железного шара вонзились в металл и увязли в нем. Вейрах бросил рукоять, выхватил меч.

– Гони! – рявкнул он Рейневану, который тем временем уже забирался на козлы. – Вперед! Вперед!

На мосту раздался дикий визг, там жеребец в цветной попоне развалил перила и вместе с седоком рухнул в яр. Рейневан крикнул, что есть силы хлестнул упряжку вожжами, мерины вырвались вперед, колебка закачалась, подскочила, изнутри из-под плотного покрывала, к великому изумлению, Рейневана долетел пронзительный писк. Однако удивляться было некогда. Кони шли галопом, ему с трудом удавалось удерживаться на подпрыгивающих досках. Все еще кипел яростный бой – крики и звон и лязг оружия.

Справа галопом выскочил тяжеловооруженный без шлема, наклонился, пытаясь схватить упряжку. Тассило де Тресков подлетел к нему и рубанул мечом. Кровь опрыскала бок мерина.

– Гоооооони!

Слева появился Самсон, вооруженный только ореховой веткой. Оружием, как оказалось, совершенно адекватным ситуации.

Получившие по крупам меринки пошли таким галопом, что Рейневана прямо-таки втиснуло в спинку козел. Колебка, внутри которой все еще что-то пищало, подпрыгивала и раскачивалась словно корабль на штормовых волнах. Рейневан, правду сказать, никогда в жизни не бывал у моря, а корабли видел исключительно на картинках, но не сомневался, что именно так, а не иначе, они должны раскачиваться.

– Гоооооони!

На дороге возник Гуон фон Сагар на пляшущем вороном, посохом указал на просеку, сам пустился туда галопом. Самсон помчался следом, таща за собой коня Рейневана. Рейневан натянул вожжи, крикнул на коней.

Просека была в выбоинах. Колебка подскакивала, качалась и пищала. Отголоски боя стихали за спиной.

– Недурно получилось, – расценил Буко фон Кроссиг. – Совсем даже недурно… У нас только два оруженосца убиты. Обычное дело. Вовсе недурно. Пока что.

Ноткер фон Вейрах не ответил. Только тяжело дышал и ощупывал бедро. Из-под ташки текла кровь, тоненькая струйка ползла вниз по набедреннику. Рядом тяжело дышал Тассило де Тресков, осматривая левую руку. Аванбраса не было, оторванный

наполовину налокотник висел на одном крыле. Но рука выглядела целой.

– А господин Хагенау, – протянул Буко, на котором не заметны были какие-либо повреждения, – господин Хагенау прекрасно правил. Боевито показал себя. О, Губертик, ты цел? Вижу, что жив. Где Вольдан, Рымбаба и Виттрам?

– Догоняют.

Куно Виттрам снял шлем и шапочку, волосы под ней были влажными и курчавились. Металл края наплечника от удара встал торчком, стяжка была совершенно исковеркана.

– Помогите! – крикнул он, будто рыба ловя воздух. – Вольдан ранен…

Раненого сняли с седла. С трудом, под сопровождение стонов и оханий, стащили с головы крепко вмятый, искривленный и расклепанный хундсгугель.

– Христе… – простонал Вольдан. – Ну, получил… Куно, глянька, глаз еще на месте?

– На месте, на месте, – успокоил его фон Виттрам. – Ты ничего не видишь, потому что его кровь залила…

Рейневан опустился на колени и сразу же взялся перевязывать. Кто-то ему помогал. Он поднял голову и встретился взглядом с серыми глазами Гуона фон Сагара.

Стоящий рядом Рымбаба скривился от боли, ощупывая большую вмятину на боку нагрудника.

– Ребра как не бывало, – простонал он. – В крови, курва его мать, плаваю. Гляньте.

– Кому интересно знать, в чем ты, курва, плаваешь. – Буко фон Кроссиг стащил с головы армет. – Давай говори, за нами гонятся?

– Не-а… Мы маленько их того… проредили…

– Будут преследовать, – убежденно сказал Буко. – А ну давайте выпотрошим колебку. Заберем деньги и поскорее сматываемся.

Он подошел к экипажу, рванул обитую сукном плетеную ивовую дверцу. Дверца поддалась, но всего на дюйм, потом захлопнулась снова. Было ясно, что ее держат изнутри. Буко выругался, рванул сильнее. Раздался писк.

– Что такое? – удивился, поразившись, Рымбаба. – Пищащие деньги? А может, колектор в мышах налог собирал?

Буко жестом подозвал его на помощь. Вдвоем они рванули дверцу с такой силой, что оторвали ее начисто, а вместе с ней раубриттеры вытащили из колебки существо, которое ее держало.

Рейневан вздохнул. И замер, раскрыв рот.

Ибо на сей раз тождественность не могла вызывать ни

малейших сомнений.

Тем временем Буко и Рымбаба взрезали ножами покрывало, вытащили из обитого шкурами чрева колебки девушку, такую же светловолосую, тоже в синяках, одетую в такую же зеленую *cotehardie*[368] с белыми рукавичками, может, только помоложе, пониже ростом и попухлее. Именно эта вторая, полненькая, все время пищала и теперь, когда Буко толкнул ее на траву, вдобавок принялась рыдать. Первая сидела тихо, не отпуская дверцу колебки и заслоняясь ею словно павенжей.

– Клянусь палицей святого Дальмаста, – вздохнул Куно Виттрам. – Что еще такое?

– Не то, чего мы ожидали, – трезво отметил Тассило. – Прав был господин Шарлей. Сначала надо было убедиться, а уж потом нападать.

Буко фон Кроссиг вылез из колебки. Кинул на землю какие-то тряпки и наряды. Его мина совершенно недвузначно говорила о результатах поисков. Каждого, кто не был уверен в том, что нашел Буко, очередь отвратительных ругательств должна была убедить в том, что ожидаемых пятисот гривен в колебке не было.

Девушки в страхе прижались друг к другу. Та, что повыше, натянула *cotehardie* до щиколоток, заметив, что Ноткер Вейрах лакомо посматривает на ее изящные лодыжки. Та, что пониже, похлипывала.

Буко скрежетнул зубами, сжал рукоять ножа так, что побелели костяшки пальцев. Мина была взбешенная, он, несомненно, бился с мыслями. Гуон фон Сагар сразу же заметил это.

– Пора взглянуть правде в глаза, – фыркнул он. – Ты осрамился, Буко. Все вы осрамились. Совершенно ясно – сегодня не ваш день. Отправляйтесь-ка лучше домой. Да поскорее. Прежде чем снова не выпадет вам сыдиотничать.

Буко выругался, на этот раз его поддержали и Вейрах, и Рымбаба, и Виттрам, и даже Вольдан из Осин из-под перевязки на глазу.

– Что делать с девками? – Буко словно только теперь их заметил. – Прирезать?

– А может, отхендожить? – мерзко ухмыльнулся Вейрах. – Господин Гуон немного прав, действительно скверный нам сегодня выпал день. Так, может, хоть закончить его каким-никаким приятным действом? Возьмем девок, отыщем подходящий стог, чтобы помягче было, и там их обеих совместно отделаем. А? Что скажете?

Рымбаба и Виттрам захохотали, но как-то неуверенно. Вольдан из Осин застонал из-под окровавленного полотна. Гуон

фон Сагар покрутил головой.

Буко сделал шаг к девушкам, те сжались и плотно обняли друг друга. Младшая заплакала.

Рейневан схватил за рукав Самсона, который уже собрался было вмешаться.

– И не думайте, – сказал он, обращаясь к раубриттерам.

– Что?

– И не думайте к ней прикоснуться. Это может для вас плохо кончиться. Она дворянка и не из последних. Катажина фон Биберштайн, дочь Яна Биберштайна, хозяина Стольца.

– Ты уверен, Хагенау? – прервал долгую и тяжелую тишину Буко фон Кроссиг. – Не ошибаешься?

– Он не ошибается. – Тассило де Тресков поднял и показал всем извлеченный из колебки сак с вышитым гербом – красным оленьим рогом на золотом поле.

– Точно, – согласился Буко. – Биберштайнов знак. Которая из них?

– Та, что повыше, старшая.

– Ха! – Раубриттер уперся руками в бока. – Вот мы и завершим день приятным акцентом. И возместим свои потери. Губертик, свяжи ее. И посади на коня перед собой.

– Накаркал я. – Гуон фон Сагар развел руками. – И верно, этот день подбросил вам новый случай показать себя идиотами. Не в первый раз, ей-богу. Я вот думаю, Буко, у тебя это врожденное или благоприобретенное?

– А ты, – Буко отмахнулся от чародея, подошел к младшей, которая скорчилась и начала хлюпать носом, – ты, девка, вытри нос и слушай внимательно. Сиди здесь и жди погоню, за тобой-то, может, и не послали бы, но за Биберштайнувной придут наверняка. Хозяину в Стольце передашь, что выкуп за его доченьку составит… пятьсот гривен. Конкретно, значит, пятьсот коп пражских гривен. Для Биберштайна это раз плюнуть. Господин Ян будет уведомлен о способе выплаты. Поняла? Гляди на меня, когда с тобой говорят. Поняла?

Девочка сжалась еще больше, но подняла на Буко голубые глазки и кивнула.

– А ты, – серьезно заметил Тассило де Тресков, – действительно считаешь, что это удачная мысль?

– Действительно. И довольно об этом. Едем.

Буко повернулся к Шарлею, Рейневану и Самсону:

– А вы…

– Мы, – прервал Рейневан, – хотели бы ехать с вами, господин Буко.

– Это почему же?

– Хотели бы вас сопровождать. – Рейневан не отводил глаз от Николетты, не обращая внимания ни на шипение Шарлея, ни на мины Самсона. – Для безопасности. Если вы не против…

– Кто тебе сказал, что не против? – сказал Буко.

– И не надо, – вполне значительно сказал Ноткер Вейрах. – Зачем? Не лучше ли, чтобы при данных обстоятельствах они были с нами? Вместо того чтобы быть у нас за спиной? Насколько я помню, они собирались ехать в Венгрию, с нами им по пути…

– Лады, – кивнул Буко. – Поехали с нами. По коням, *comitiva*. Генричек, присматривай за девкой… А у вас, господин Гуон, что за мина такая кислая?

– А ты подумай, Буко. Подумай.

Глава двадцать четвертая,

в которой Рейневан вместо того, чтобы направиться в Венгрию, едет в замок Бодак. Он этого не знает, но выйти оттуда может не иначе как in otnet ventrus[369]

Они ехали по дороге на Бардо вначале быстро, то и дело оглядываясь, однако вскоре сбавили темп. Кони утомились, да и состояние седоков, как выяснилось, было далеко не лучшим. В седле горбился и постанывал не только Вольдан из Осин, лицо которого было сильно поранено вмявшимся шлемом. Травмы остальных, хоть и не столь эффектные, все же явно давали о себе знать. Охал Ноткер Вейрах, прижимая к животу локоть, и искал удобного положения в седле Тассило де Тресков. Вполголоса призывал святых Куно Виттрам, скривившийся словно после кружки какой-то жуткой кислятины. Пашко Рымбаба ощупывал бок, ругался, плевал на ладонь и рассматривал плевки.

Из раубриттеров лишь по фон Кроссигу ничего не было заметно. Либо ему не досталось так же крепко, как остальным, либо же он умел мужественнее переносить боль. Наконец, видя, что ему все время приходится дожидаться отстающих дружков, Буко решил свернуть с дороги и ехать лесом. Под защитой деревьев можно было ехать медленнее, не опасаясь, что их настигнет погоня.

Николетта – Катажина Биберштайн – за все это время не издала ни звука. Хоть связанные руки и пребывание на луке Губертикова седла должны были ей сильно мешать и причинять боль, девушка ни разу не застонала, не произнесла ни слова жалобы. Она бездумно глядела вперед, и было ясно, что погрузилась в полную апатию. Рейневан попытался было незаметно для других поговорить с ней, но все было напрасно – девушка избегала его взгляда, отводила глаза, не реагировала на жесты, просто не замечала их, а может, делала вид, что не замечает. Так все и шло до переправы.

Через Нису они переправились уже под вечер, не в самом удачном месте, только казавшемся мелким, однако течение тут было значительно сильнее, чем ожидалось. Во время начавшейся суматохи, плеска, ругани и ржания коней Николетта соскользнула с седла и наверняка искупалась, если б не предусмотрительно державшийся поблизости Рейневан.

– Крепись, – шепнул он ей на ухо, поднимая и прижимая к себе. – Терпи, Николетта. Я вытащу тебя отсюда…

Он отыскал ее маленькую узенькую ладонь, пожал. Она ответила тем же. Она пахла мятой и аиром.

– Эй! – крикнул Буко. – Эй, ты, Хагенау! Оставь ее! Губертик!

Самсон подъехал к Рейневану, принял у него Николетту, поднял, как перышко, и усадил на лошадь перед собой.

– Я устал ее везти! – опередил Буко Губертик. – Пусть великан меня ненадолго заменит.

Буко выругался, но махнул рукой. Рейневан смотрел на него со всевозрастающей ненавистью. Он не очень-то верил в пожирающих людей водных чудовищ, якобы обитающих в глубинах Нисы в околицах Бардо, но сейчас многое бы дал, чтобы одно из них вынырнуло из взбаламученной реки и проглотило раубриттера вместе с его рыже-гнедым жеребцом.

– В одном, – сказал вполголоса Шарлей, разбрызгивающий воду рядом с ним, – я должен признаться. В твоем обществе соскучиться невозможно.

– Шарлей… Я обязан тебе…

– Ты многим мне обязан, не возражаю. – Демерит натянул вожжи. – Но если ты вознамерился что-то объяснять, то придержи это при себе. Я ее узнал. На турнире в Зембицах ты пялился на нее ровно теля, потом она нас предупредила о том, что в Стольце тебя будут поджидать. Полагаю, тебе есть за что благодарить ее. Кстати, тебе еще никто не предсказывал, что тебя погубят женщины? Или я буду первым?

– Шарлей…

– Не трудись, – прервал демерит. – Я понимаю. Долг благодарности плюс великий афект, *ergo,* снова придется подставлять шею, а Венгрия оказывается все дальше и дальше. Что делать! Прошу тебя только об одном: подумай, прежде чем начнешь действовать. Ты можешь мне это обещать?

– Шарлей… Я…

– Я знал. Будь внимателен. На нас смотрят. И погоняй коня, погоняй! Иначе тебя течение унесет!

К вечеру добрались до подножия Райхенштайна, Златостоцких гор, северо-западного отрога пограничных цепей Рыхлебов и Есеника. В лежащем над стекающей с гор речкой Быстрой поселке они намеревались передохнуть и перекусить, однако тамошние крестьяне оказались негостеприимными – не позволили себя ограбить. Из-за охраняющей въезд засеки на раубриттеров посыпались стрелы, а ожесточенные лица вооруженных вилами, окшами[370] и кольями крестьян не вызывали желания ждать от них особого радушия. Кто знает, как все сложилось бы при обычных обстоятельствах, однако сейчас

понесенный урон и усталость сыграли свою роль. Первым развернул коня Тассило де Тресков, за ним последовал обычно запальчивый Рымбаба, завернул, даже не бросив в адрес деревни скверного слова, Ноткер фон Вейрах.

– Чертовы хамы, – догнал их Буко Кроссиг. – Надо, как это делал мой предок, хоть бы раз в пять лет разваливать им халупы, сжигать все до голой земли. Иначе они начинают беситься. Благоденствие и достаток все переворачивают у них в мозгах. Ишь возгордились…

Небо заволакивали тучи. Из деревни тянуло дымком. Лаяли собаки.

– Впереди Черный лес, – предупредил едущий первым Буко. – Держаться рядом! Не отставать! Следить за лошадьми!

К предупреждению отнеслись серьезно, потому что и Черный лес – чащоба из буков, тисов, ольх и грабов – густой, влажный и затянутый туманом, – выглядел не менее серьезно. Настолько не менее, что аж мурашки бегали по спине. Сразу чувствовалось затаившееся где-то там в чащобе зло.

Кони храпели, мотали головами.

И как-то не очень заинтересовал побелевший скелет, лежащий у самой обочины дороги.

Самсон Медок тихо бормотал:

> Nel mezzo del cammin di nostra vita
> mi ritrovai per una selva oscura
> che la diritta via era smarita…[371]

– Преследует меня, – пояснил он, видя взгляд Рейневана, – этот Данте.

– И исключительно к месту, – вздрогнул Шарлей. – Миленький лесок, ничего не скажешь… Ехать здесь одному… В темноте…

– Не советую, – проговорил, подъезжая, Гуон фон Сагар. – Решительно не советую.

Они ехали в горы, по все большей крутизне. Кончился Черный лес, кончились буковины, под копытами заскрипел известняк и гнейс, потом базальт. На склонах яров выросли утесики фантастических форм. Опускались сумерки, из-за туч, черными волнами заходящих с севера, темнело быстро.

По четкому приказу Буко Губертик взял Николетту у Самсона. Кроме того, Буко, прежде ехавший впереди, передал обязанности провожатого Вейраху и де Трескову, а сам держался

поближе к оруженосцу и пленнице.

– Псякрев… – проворчал Рейневан, обращаясь к едущему рядом Шарлею. – Ведь я должен ее освободить. А этот тип явно что-то заподозрил… Ее стережет, а за нами все время наблюдает. Почему?

– Может, – тихо ответил Шарлей, а Рейневан с ужасом понял, что это вовсе не Шарлей. – Может, как следует рассмотрел твою физиономию? Зеркало чувств и намерений?

Рейневан выругался себе под нос. Было уже темновато, но не только это он винил за ошибку. Седовласый чародей явно использовал магию.

– Ты меня выдашь? – спросил он напрямик.

– Нет, – не сразу ответил маг. – Но если ты захочешь совершить глупость, удержу… Ты знаешь, я смогу. Поэтому не глупи. А на месте посмотрим…

– На каком месте?

– Теперь моя очередь.

– Не понял.

– Моя очередь спрашивать. Ты что, не знаешь правил игры? Вы не играли в это в учельне? В *quaestiones de quodlibet?*[372] Ты спросил первым. Теперь моя очередь. Кто таков гигант, которого вы называете Самсоном?

– Мой спутник и друг. Впрочем, почему бы тебе не спросить его самому? Скрывшись под магическим камуфляжем.

– Я пытался, – запросто признался чародей. – Но это тертый калач. С ходу распознал камуфляж. Откуда вы его выкопали?

– Из монастыря бенедиктинцев. Но если это *quodlibet,* то теперь моя очередь. Что знаменитый Гуон фон Сагар делает в *comitive* Буко фон Кроссига, силезского рыцаря-грабителя?

– Ты слышал обо мне?

– А кто ж не слышал о Гуоне фон Сагаре? И о*Matavernis,* мощном заклинании, уберегшем летом тысяча четыреста двенадцатого года поля над Везером от саранчи.

– Саранчи было не так уж и много, – скромно ответил Гуон. – А что до твоего вопроса… Ну что ж, обеспечиваю себе пропитание и стирку. И жизнь на довольно приличном уровне. Ценой, разумеется, определенных ограничений.

– Порой касающихся совести?

– Рейнмар де Беляу, – поразил чародей Рейневана знанием. – Игра в вопросы – не диспут об этике. Но я отвечу: порой, увы, да. Однако совесть как тело: ее можно закалять. А у каждой палки два конца. Ты удовлетворен ответом?

– Настолько, что больше вопросов не имею.

– Значит, выиграл я. – Гуон фон Сагар подогнал вороного. – А

относительно девушки – храни спокойствие и не делай глупостей. Я сказал: на месте посмотрим.

А мы уже почти на месте. Впереди пропасть. Так что прощай, работа ждет.

Пришлось задержаться. Взбирающаяся круто вверх дорога частично скрывалась в каменистой осыпи, образованной оползнями, частично обрывалась и исчезала в пропасти. Пропасть была заполнена седым туманом, не позволяющим оценить истинную ее глубину. По другую сторону мерцали огоньки, маячили контуры строений.

– Слезайте, – скомандовал Буко. – Господин Гуон, просим.

– Держите коней. – Маг остановился на краю обрыва, воздел свой кривой посох. – Держите как следует.

Он взмахнул посохом, прокричал заклинание, снова, как на Счиборовой Порубке, прозвучавшее по-арабски, но гораздо более длинное, запутанное и сложное. По интонациям тоже. Кони захрапели, попятились, громко топая.

Повеяло холодом, их неожиданно охватил леденящий мороз. Мороз начал щипать щеки, в носу захрустело, заслезились глаза, холод сухо и болезненно ворвался с дыханием в легкие. Температура сильно упала, они попали как бы внутрь сферы, которая, казалось, засасывает в себя весь холод мира.

– Держите… коней… – Буко прикрыл лицо рукавом. Вольдан из Осин застонал, схватившись за перебинтованную голову, Рейневан почувствовал, как немеют пальцы, стиснутые на ременных вожжах.

Притянутый чародеем холод мира, до той поры лишь ощутимый, теперь сделался видимым, принял форму клубящегося над пропастью белого света. Свет вначале заискрился снежинками, потом ослепительно побелел. Послышался протяжный, нарастающий хруст, скрипучее крещендо, завершившееся стеклянным, стонущим, как колокол, аккордом.

– Я тебя… – начал Рымбаба. И не докончил.

Через пропасть перекинулся мост. Из льда, искрящегося и блестящего, как бриллиант.

– Вперед. – Гуон фон Сагар крепко схватил коня за вожжи у самого мундштука. – Переходим.

– А это выдержит? Не лопнет?

– Со временем лопнет, – пожал плечами маг. – Лед – вещь весьма непрочная. Каждая минута промедления увеличивает риск.

Ноткер Вейрах больше вопросов не задавал, быстро потянул коня за Гуоном. За ним ступил на мост Куно Виттрам, затем

двинулся Рымбаба. Подковы звенели по льду, разбегалось стеклянное эхо.

Видя, что Губертик не может управиться с конем и Катажиной Биберштайн, Рейневан поспешил ему на помощь. Но его опередил Самсон, взяв девушку на руки. Буко Кроссиг держался рядом, смотрел внимательно, а руку не спускал с рукояти меча. «Чует, откуда ветер дует, – подумал Рейневан. – Не доверяет нам».

Испускающий холод мост позванивал под ударами копыт. Николетта взглянула вниз и тихо ойкнула. Рейневан тоже глянул и проглотил слюну. Сквозь ледяной кристалл был виден затягивающий дно пропасти туман и торчащие из него верхушки елей.

– Быстрее! – подгонял идущий первым Гуон фон Сагар. Словно знал.

Мост затрещал, на глазах начал белеть, становиться матовым. Во многих местах побежали длинные змейки трещин.

– Живей, живей, зараза, – поторопил Рейневана ведущий коня Вольдана Тассило де Тресков. Храпели кони, которых вел замыкающий процессию Шарлей. Животные становились все беспокойнее, косились, топали. А с каждым ударом копыт на мосту прибавлялось трещин и царапин. Конструкция потрескивала и стонала. Вниз полетели первые отслоившиеся осколки.

Рейневан наконец осмелился взглянуть под ноги и с неописуемым облегчением увидел камни, скальные обломки, просвечивающие сквозь ледяные глыбы. Он был на другой стороне. На другой стороне были все.

Мост захрустел, затрещал и развалился с грохотом и стеклянным стоном. Рассыпался на миллионы сверкающих осколков, летящих вниз и беззвучно погружающихся в туманную бездну. Рейневан громко вздохнул, поддержанный хором других вздохов.

– Он всегда так, – сказал вполголоса стоящий рядом Губертик. – Господин Гуон, значит. Так только говорит. Бояться было нечего. Мост выдержит и рухнет только тогда, когда перейдет последний. Сколько бы ни переходило, господин Гуон любит пошутковать.

Шарлей одним словом оценил и Гуона, и его чувство юмора. Рейневан оглянулся. Увидел увенчанную зубцами стену, ворота, над ними четырехугольную сторожевую вышку.

– Замок Бодак, – пояснил Губертик. – Мы дома.

– Немного сложноват у вас подход к дому, – заметил Шарлей. – А что будете делать, если магия подведет? На улице заночуете?

– Чего ж ради. Есть другая дорога от Клодска, вон там проходит. Но по ней дальше, до полуночи, пожалуй, ехать бы пришлось…

Пока Шарлей разговаривал с оруженосцем, Рейневан обменялся взглядами с Николеттой. Девушка казалась испуганной, словно только сейчас, увидев замок, поняла всю серьезность ситуации. Впервые, казалось, ей принес облегчение и утешение сигнал Рейневана, данный глазами: «Не бойся. И держись. Я вытащу тебя отсюда, клянусь».

Заскрипели ворота. За ними был небольшой дворик. Несколько слуг, которых Буко фон Кроссиг покрыл ругательствами за то, что они бездельничают, и погнал работать, приказав заняться лошадьми, вооружением, баней, едой и выпивкой. Всем сразу и всем немедленно.

– Приветствую, – сказал раубриттер, – в моем *patrimonium,*[373] господа. В замке Бодак.

Формоза фон Кроссиг когда-то была красивой женщиной. Когда-то, ибо, как и большинство красивых женщин, когда молодые годы остались позади, она превратилась в довольно паскудную бабищу. Ее фигура, некогда, вероятно, сравниваемая с юной березкой, теперь ассоциировалась скорее со старой метлой. Кожа, которую наверняка когда-то воспевали, сравнивая с персиком, стала сухой и покрылась пятнами, обтянув кости, как заготовка сапожницкую колодку, в результате чего внушительных размеров нос, некогда наверняка считавшийся сексуальным, сделался чудовищно ведьмоватым – из-за гораздо меньших размерами и не столь крючковатых носов таких баб в Силезии было принято испытывать водой в реках и прудах.

Как большинство некогда красивых женщин, Формоза фон Кроссиг упорно не замечала этого «некогда», не желала считаться с тем неоспоримым фактом, что весна ее годов ушла безвозвратно. И уже близится зима. Все сказанное особенно хорошо было видно по тому, как Формоза одевалась. Вся ее одежда, от ядовито-розовых башмачков до затейливого тока, от тонкой белой подвики до муслинового *couvrechef,*[374] от облегающего платья цвета индиго до обшитого жемчугами пояска и пурпурной парчовой *surcote*[375] – все это было бы к лицу лишь прелестной юнице.

К тому же, когда ей доводилось встретиться с мужчинами, Формоза фон Кроссиг инстинктивно начинала играть роль соблазнительницы. Эффект был ужасающий.

– Гость в дом – Бог в дом. – Формоза фон Кроссиг улыбнулась Шарлею и Ноткеру Вейраху, продемонстрировав заметно

пожелтевшие зубы. – Приветствую господ в моем замке. Наконец-то ты пришел, Гуон. Я очень, ну, очень по тебе тосковала.

По нескольким услышанным во время странствия словам и фразам Рейневан сумел нарисовать себе более-менее верную картину. Ясное дело, не очень точную. И не слишком подробную. Например, он не мог знать, что замок Бодак Формоза фон Панневиц внесла в качестве приданого, выходя замуж по любви за Оттона фон Кроссига, обедневшего, но гордого потомка франконских министериалов.[376] И что Буко, сын ее и Оттона, именуя замок *patrimonium'* ом, серьезно разминулся с истиной. Название *matrimonium*[377] было бы более верным, хоть и преждевременным. После смерти мужа Формоза не потеряла субстанции[378] и крыши над головой благодаря родне, влиятельным в Силезии Панневицам. И поддерживаемая Панневицами, была фактической и пожизненной владелицей замка.

О том, что Формозу связывало с Гуоном фон Сагаром, Рейневан также услышал во время странствия то да сё, достаточно много, чтобы разобраться в ситуации, однако, естественно, слишком мало, чтобы знать, что оклеветанный и преследуемый магдебургской епископской Инквизицией чародей сбежал в Силезию к родственникам: у Сагаров были под Кросно наделы еще со времен Болеслава Рогатки. Потом как-то так получилось, что Гуон познакомился с Формозой, вдовой Оттона фон Кроссига, фактической и, как сказано, пожизненной хозяйкой замка Бодак. Чародей полюбился Формозе и с тех пор проживал в замке.

– Очень тосковала, – повторила Формоза, поднимаясь на носки розовых туфелек и чмокая чародея в щечку. – Переоденься, дорогой. А вас, господа, прошу, прошу…

На занимающий середину залы огромный дубовый стол поглядывал укрепленный над камином гербовый вепрь Кроссигов, соседствующий на закопченном и обросшем паутиной щите с чем-то, что трудно было однозначно определить. Стены были обвешаны шкурами и оружием, ни одно из которых не выглядело пригодным к употреблению. Одну из стен занимал тканный в Аррасе фламандский гобелен, изображающий Авраама, Исаака и запутавшегося в кустах барана.

Comitiva в примятых оттисками доспехов акеонах расселась за столом. Настроение, вначале, пожалуй, угрюмое, немного поправил бочонок, который закатили на стол. Но его снова испортила возвратившаяся из кухни Формоза.

– Уж не ослышалась ли я? – спросила она грозно, указывая на Николетту. – Буко! Ты похитил дочь хозяина Стольца?

– Говорил же я сукину сыну, чтобы не болтал. Шарлатан поганый, хайло на полпачежа захлопнуть не может… Кх-м… Собственно, я только что хотел сказать вам, госпожа мать.[379] И выложить все. А получилось так…

– Как у вас получилось – я знаю, – прервала Формоза, явно хорошо проинформированная. – Растяпа! Неделю проваландались, а добычу у них кто-то из-под носа увел. Молодым я не удивляюсь, но то, что вы, господин фон Вейрах… Мужчина зрелый, положительный, уравновешенный…

Она улыбнулась Вейраху, тот опустил глаза и беззвучно выругался. Буко собрался выругаться громко, но Формоза погрозила ему пальцем.

– И в конце концов такой глупец похищает дочку Яна Биберштейна. Буко! Ты что, вконец рехнулся?

– Вы бы, госпожа мать, сначала дали поесть, – гневно сказал раубриттер. – Сидим тут за столом, словно на тризне, голодные, в горле пересохло, прям перед гостями стыдно. С каких это пор у Кроссигов завелись такие обычаи? Подавайте еду, а о делах поговорим потом.

– Еда готовится, сейчас подадут. И вино уже несут. Обычаям меня не учи. Извините, рыцари. А вас, уважаемый господин, я не знаю… Да и тебя, храбрый юноша…

– Этот велит себя Шарлеем именовать, – вспомнил о своих обязанностях Буко. – А тот юнец – Рейнмар фон Хагенау.

– Ах! Потомок известного поэта?

– Нет.

Вернулся Гуон фон Сагар, переодевшийся в свободную *hauppelande*[380] с большим меховым воротником. Сразу же стало ясно, кто пользуется наибольшим фавором хозяйки замка. Гуон тут же получил зажаренную курицу, тарелку пирогов и кубок вина, причем все это подала лично Формоза. Чародей, не смущаясь, принялся за еду, демонстративно не обращая внимания на голодные взгляды остальной компании. К счастью, другим тоже ждать долго не пришлось. На стол, ко всеобщей радости, въехала, предваряемая волной роскошного аромата, большая миска кабанятины, тушеной с изюмом. За ней внесли вторую, с кучей баранины с шафраном, потом третью, полную кушаний из различной дичи, а затем последовали горшки с кашей. С неменьшей радостью были встречены несколько жбанов, наполненных – что установили незамедлительно – двойным медом и венгерским вином.

Comitiva принялась за еду в глубоком молчании, прерываемом только скрежетом зубов и произносимыми время от времени тостами. Рейневан ел осторожно и умеренно – приключения

последнего времени уже научили его, сколь печальные последствия может иметь обжорство после долгого голодания. Он надеялся, что в Бодаке не привыкли забывать о слугах и Самсон не обречен на мучительный пост.

Так шло некоторое время. Наконец Буко фон Кроссиг распустил пояс и рыгнул.

– Теперь, – сказала Формоза, справедливо полагая, что это сигнал, завершающий первое блюдо, – возможно, пора и об интересах поговорить. Хоть, сдается мне, говорить тут не о чем. Ибо что это за интересы – Биберштайнова дочь.

– Интересы, госпожа мать, – сказал Буко, которому выпитое венгерское придало заметного резона, – это мое дело, при всем к вам уважении. Мой труд здесь всех кормит, поит и одевает. Я подвергаю жизнь опасности, а когда по воле Господней будет мне крышка, то увидите, как вам станет худо. Так что не придирайтесь!

– Вы только гляньте! – Формоза подбоченилась, повернулась к раубриттерам. – Нет, вы только гляньте, как надувается мой младшенький. Он меня кормит и одевает, ей-богу, от смеха лопну! Славно бы я выглядела, если б только на него рассчитывала. К счастью, есть в Бодаке глубокий подвальчик, в нем сундучки, а в сундучках то, что туда положил твой родитель, малыш, и твои братья, светлая им память. Они умели добро в дом сносить, они не позволяли обвести себя вокруг пальца. Дочек у вельмож не похищали, будто глупцы какие… Они знали, что делали…

– Я тоже знаю, что делаю! Хозяин Стольца выкуп заплатит…

– Как же, жди! – обрезала Формоза. – Биберштайн-то? Заплатит? Дурень! Он на доченьке крест положит, а тебя достанет. Отомстит. Случилось уже нечто подобное в Лужицах, ты б знал об этом, если бы у тебя уши для слушанья были. Помнил бы, что случилось с Вольфом Шлиттером, когда он таким же манером столкнулся с Фридрихом Биберштайном, хозяином в Жарах. Какой ему жарский хозяин монетой отплатил.

– Я слышал об этом, – спокойно подтвердил Гуон фон Сагар. – Да ведь и дело было широко известно. Люди Биберштайна напали на Вольфа, истыкали копьями, как животное, кастрировали, выпустили кишки. В то время популярной была в Лужицах поговорка: «Таскал Вольф, таскал, да напоролся на Олений Рог, узнал, как тот бодается…»

– Знаете, господин фон Сагар, – нетерпеливо перебил Буко, – никакая это для меня не новость. Обо всем-то вы слышали, все видели, все умеете. Так, может, вместо того чтобы заниматься воспоминаниями, продемонстрировали бы нам свое магическое

искусство? Господин Вольдан от боли стонет. Пашко Рымбаба кровью харкает, у всех кости ломит, так, может, говорю, вместо того чтобы умничать, вы б какой-нибудь дряквы[381] нам наготовили? Для чего у вас в башне лаборатория? Только чтобы дьявола призывать?

– Ты смотри, с кем говоришь! – взвизгнула Формоза, но чародей жестом успокоил ее.

– Страждущим действительно надо облегчить положение, – сказал он. – А вы, господин Рейнмар Хагенау, не пожелаете ли помочь?

– Разумеется. – Рейневан тоже поднялся. – Конечно же, господин фон Сагар.

Они вышли вдвоем.

– Два колдуна, – пробурчал вслед им Буко. – Старый да младый. Чертово семя…

* * *

Лаборатория чародея располагалась на самом верхнем и определенно самом холодном этаже башни, и если б не то, что уже опустилась тьма, из окон наверняка был бы виден большой участок Клодской котловины. Как оценил профессиональным глазом Рейневан, лаборатория была оборудована по-современному. В противоположность магам и алхимикам старшего поколения, обожавшим превращать свои мастерские в барахолки, заполненные всяческой рухлядью, современные чародеи предпочитали лаборатории обустроенные и оборудованные по-спартански – только самое необходимое. Кроме порядка и эстетики, такой подход имел еще и то преимущество, что облегчал бегство. Чувствуя опасность со стороны Инквизиции, современные алхимики сбегали из лаборатории по принципу *omnea mea mecum porto,*[382] не сокрушаясь по поводу оставленного имущества. Маги традиционной школы до конца защищали принадлежащие им чучела крокодилов, засушенных рыб-пил, гомункулюсы, заспиртованных змей, безоары[383] и мандрагоры. И кончали жизнь на костре.

Гуон фон Сагар вытащил из сундука оплетенный соломой кувшинчик, наполнил два кубка рубиновой жидкостью. Запахло медом и вишнями. Это, несомненно, был кирштранк.[384]

– Садись, – указал он на стул, – Рейнмар фон Беляу. Выпьем. Делать нам нечего. Готовых камфарных мазей против ушибов у меня в достатке, это, как ты понимаешь, лекарства, которые в

Бодаке в большом ходу. Лучше идет, пожалуй, только отвар, облегчающий похмелье. Я пригласил тебя, потому что хотел поговорить.

Рейневан осмотрелся. Ему понравился алхимический инструментарий Гуона, радующий глаз чистотой и порядком. Ему нравились реторты и атанор,[385] нравились ровненько уставленные и снабженные красивыми этикетками флакончики с фильтрами и эликсирами. Но больше всего его восхитил подбор книг.

На пюпитре покоился, видимо, читаемый – Рейневан сразу узнал, в Олесьнице у него был точно такой же, – экземпляр *«Necronomicona»* Абдула Альхазреда. Рядом на столе разместились другие известные ему чернокнижеские гримуары – *«Grand Grimoire»* и *«Statuty»* папы Гонория, *«Clavicula Solomonus», «Lbber Yog-Sothothis», «Lemegeton»,* а также *«Picatrix»,* знанием которого не так давно похвалялся Шарлей. Были и другие знакомые ему медицинские и философские трактаты: *«Ars Parva»* Галена, *«Canon Medicinae»* Авиценны, *«Liber medicinalis ad Almansarum»* Раза, *«Ekrabaddin»* Сабура бен Саала, *«Anathomia»* Мондина да Луцци, *«Zohar»* каббалистов, *«De principiis»* Оригена, «Исповедь» святого Августина, *«Summa…»* Фомы Аквинского.

Были тут, разумеется, *Opera Magna*[386] алхимических знаний: *«Liber ucis M ercuriorum»* Раймунда Луллия, *«The mirrour of alchimie»* Роджера Бэкона, *«Heptameron»* Петра ди Абано, «Le *livre des figures hiérogliphiques»* Николя Фламеля, *«Azoth»* Василия Валентина, *«Liber de secretis naturae»* Арнольда де Вильяновы. Были и истинные раритеты: *«Grimoriun verum», «De vermis misteriis», «Theosophia Pneumatica», «Liber Lunae»* и даже пресловутый «Черный Дракон».

– Я горжусь тем, – он отпил немного кирштранка, – что побеседовать со мной пожелал сам знаменитый Гуон фон Сагар, которого я ожидал бы встретить где угодно, но не…

– Но не в замке раубриттеров, – докончил Гуон. – Что ж – рука судьбы. На которую я, впрочем, отнюдь не в обиде. У меня здесь есть все, что я люблю. Тишина, покой, безлюдье. Инквизиция, вероятно, обо мне уже забыла, забыл, надо думать, также преподобный Гунтер фон Шварцбург, архиепископ магдебургский, некогда страшно на меня взъевшийся, твердо решивший расплатиться со мной костром за то, что я избавил страну от саранчи. Здесь у меня, как видишь, лаборатория, я немного экспериментирую, немного пишу… Порой, чтобы глотнуть свежего воздуха и отдохнуть, выезжаю с Буко на разбойничий промысел. В общем…

Чародей тяжело вздохнул.

– В общем, жить можно. Только вот…

Рейневан вежливо сдержал любопытство, но Гуон фон Сагар явно был расположен откровенничать.

– Формоза, – поморщился он. – Что она такое, сам видел: *siccatum est faenum, cecidit flas,*[387] пятьдесят пять годков стукнуло бабе, а она, вместо того чтобы слабеть, прихварывать да готовиться сойти на тот свет, постоянно требует, кобыла старая, чтобы я ее трахал; не переставая утром, вечером, днем, ночью и всякий раз самыми изощренными способами. Желудок и почки, псямать, я себе афродизияками вконец доконаю. Но приходится старуху ублажать. Не покажу себя в постели, потеряю ее расположение, а тогда-то уж Буко меня отсюда выкинет…

Рейневан не комментировал и теперь. Чародей быстро глянул на него.

– Буко Кроссиг пока что мне повинуется. Но недооценивать его было бы глупо. Это, несомненно, хват, но в своих скверных делишках порой бывает так предприимчив и хитер, что аж скулы сводит. Сейчас, например, в афере с Биберштайнувной он, вот увидишь, чем-нибудь блеснет, убежден. Поэтому я решил тебе помочь.

– Вы мне? Почему?

– Почему, почему. Потому что мне не по душе, чтобы Ян Биберштайн начал осаду Бодака, а Инквизиция выкопала мое имя в архивах. Потому что о твоем брате, Петре из Белявы, я слышал только самое лучшее. Потому что мне не понравились летучие мыши, которых кто-то напустил на тебя и твоих друзей в Цистерцианском бору. *Tandem* потому, что Толедо *alma Mater nosnra est,*[388] и я не хочу, чтобы ты плохо кончил, друг ты мой по искусству магии. А плохо кончить ты можешь. С Биберштайнувной что-то тебя связывает, этого ты не скроешь: не знаю, давний ли афект или с первого взгляда, но знаю, что *amantes amentes.*[389] В пути ты был на волосок от того, чтобы схватить ее на седло и пуститься галопом, и тогда вы оба погибли бы в Черном лесу. Сейчас тоже, если ситуация усложнится, ты готов схватить ее в охапку и спрыгнуть со стены. Я очень ошибаюсь?

– Не очень.

– Я сказал, – чародей улыбнулся краешками губ, – *amantes amentes.* Да, да, жизнь – это настоящая Башня шутов. Кстати, ты случайно не знаешь, какой сегодня день? Вернее, что за ночь?

– Не очень. У меня немного перепутались даты.

– Дело не в датах. Все врут календари. Важнее то, что на сегодня приходится осеннее равноденствие, *Aequinoctium autumnalis.*

Он встал, вытащил из-под стола покрытую резьбой дубовую

скамейку примерно в два локтя длиной и немного больше локтя высотой. Поставил у двери. Из шкафа достал глиняный, обтянутый телячьей кожей и снабженный этикеткой горшочек.

– Здесь, – указал он, – я храню довольно специфическую мазь. Приготовленную по классическим рецептам смесь. *Recipe,*[390] как видишь, я выписал на листке. Паслен сладкий, паслен черный, борец, лапчатка, листья тополя, кровь летучей мыши, цикута, красный мак, портулак, дикий сельдерей… Единственное, что я изменил, так это жир. Рекомендуемый *«Grimorium Verum»* жир, вытопленный из некрещенного еще младенца, я заменил подсолнечным маслом. Дешевле и дольше сохраняется.

– Неужели это, – Рейневан сглотнул, – неужели это то, что я думаю?

– Дверь лаборатории, – чародей словно не услышал вопроса, – я не замыкаю никогда, в окне, как видишь, нет решеток. Мазь я ставлю сюда, на стол. Как ею пользоваться, ты наверняка знаешь. Советую использовать экономно, она дает побочные эффекты.

– А вообще-то это… безопасно?

– В мире нет ничего безопасного, – пожал плечами Гуон фон Сагар. – Ничего. Все – теория. А как говорит один из моих знакомых: *«Grau, teurer Freund, ist alle Theorie».*[391]

– Но я…

– Рейнмар, – холодно прервал маг, – имей совесть. Я сказал и показал тебе достаточно, чтобы меня можно было обвинить в соучастии. Не требуй большего. Ну, нам пора. Возьмем камфарную мазь, чтобы намазать болячки наших побитых разбойников. Возьмем также вытяжку снотворного мака… Все это утоляет боль и усыпляет… Сон же лечит и успокаивает, а кроме того, как говорится: *qui dormit non peccat* – кто спит, тот не грешит. И не мешает… Помоги мне, Рейнмар.

Рейневан встал, при этом неосторожно зацепил стопку книг, быстро схватил их, не дав упасть. Поправил книгу, лежавшую наверху, которую длинное название презентовало как *«Bernardi Silvestri libri duo; quibus tituli Megas smos et Microcosmos…»* – дальше Рейневану читать не захотелось, его внимание привлекла другая инкунабула, лежащая внизу, фразы, из которых состояло название. Он неожиданно сообразил, что однажды уже видел эти слова. Вернее, их фрагменты.

Он резко сдвинул в сторону Бернарда Сильвестра. И вздохнул.

DOCTOR EVANGELICUS

SUPER OMNES EVANGELISTAS

JOANNE WICLEPH ANGLICUS

DE BLASPHEMIA DE APOSTASIA

DE SYMONIA

DE POTESTATE PAPAE

DE COMPOSITIONE HOMINIS

«Anglicus», а не *«basilicus»,* – подумал он. – *«Symonia»,* а не *«sanctimonia», «Papae»,* а не *«papallae».* Обгоревший лист из Повоёвиц. Рукопись, которую Петерлин велел сжечь. Это был Виклиф».

– Виклиф! – по инерции проговорил он вслух. – Виклиф, который солжет и правду скажет. Сожженный, из могилы выброшенный…

– Что? – Гуон фон Сагар повернулся, держа в руках две баночки. – Кого выкинули из могилы?

– Не выкинули. – Рейневан мыслями был еще далеко. – Только еще выкинут. Так гласит пророчество. Джон Виклиф, *doctor evangelicus*… лжец, ибо еретик, но в голиардовой песне он тот, кто правду скажет. Похоронен в Люттерворте, в Англии. Его останки будут выкопаны и сожжены, пепел выкинут в реку Эйвон, и он поплывет в море. Это случится через три года.

– Интересно, – серьезно сказал Гуон. – А другие пророчества? Судьба Европы? Мира? Христианства?

– Сожалею. Только Виклиф.

– Плоховато. Но лучше что-то, чем ничего. Говоришь, выкинут Виклифа из могилы. Через три года? Посмотрим, удастся ли эти сведения как-то использовать… А ты, коль уж мы об этом заговорили, почему так Виклифом… Ах, прости. Я не должен был… В нынешние времена такие вопросы не задают. Виклиф, Вальдхаузен, Гус, Иероним, Иоахим… Опасное чтиво, опасные взгляды, уже многие из-за них распрощались с жизнью…

«Многие, – подумал Рейневан. – Действительно, многие. Эх, Петерлин, Петерлин…»

– Возьми баночки. И пошли.

Тем временем компания за столом набралась уже недурно, единственными трезвыми казались Буко фон Кроссиг и Шарлей. Обжорство продолжалось, из кухни принесли второе блюдо – кабанью колбасу в пиве, сервелат, вестфальскую кашу в кишке и много хлеба.

Гуон фон Сагар смазал синяки и помятины, Рейневан сменил перевязку Вольдану из Осин. Освобожденная от бинта опухшая физиономия Вольдана вызвала всеобщее бурное веселье. Самого Вольдана больше, чем рана, волновал шлем с хундсгугелем, который он оставил в лесу и который якобы стоил ему целых четыре гривны. На замечания, что шлем-де был испорчен, он отвечал, что его можно было бы исправить.

Вольдан был также единственным, кто выпил предложенный ему маковый эликсир. Буко, отпробовав, вылил декокт на покрытый соломой пол и обругал Гуона за «горькое говно», остальные последовали его примеру. План усыпления раубриттеров провалился.

От венгерского и двойного медового не отказалась и Формоза фон Кроссиг, что было видно как по зарумянившимся щечкам, так и по не совсем уже складной речи. Когда Рейневан и Гуон вернулись, Формоза перестала метать на Вейраха и Шарлея призывные взгляды, а занялась Николеттой, которая, немного откушав, сидела, опустив голову.

– Чего-то она вовсе, – изрекла хозяйка замка, – не как Биберштайнувна. Какая-то непохожая. Талия тонкая, задок маленький, а после того, как Биберштайны с Погожелами породнились, дочери у них обычно пожопистее получались. От Погожелов они носы тоже унаследовали курносые, а у этой нос прямой. Правда, высокая она, это верно, как бывают Сендковицувны, а Сендковицы тоже с Биберштайнами сроднены. Но у Сендковицувен глаза бывают черные, а у этой васильковые…

Николетта опустила голову, губы у нее дрожали. Рейневан сжал кулаки и стиснул зубы.

– А, бес вас возьми, госпожа мать. – Буко кинул на стол обглоданное ребро. – Что она, кобыла, чтобы ее так рассматривать?

– Тихаааа! Рассматриваю, потому что рассматриваю. А если найду, чему удивляться, так удивлюсь. Хоть бы тому, что это не девчонка, годков ей уж под восемнадцать. Тогда почему ж, интересно, она еще не выдана? Может, фалерная?[392]

– А что мне до ее фалеров? Жениться на ней собираюсь, что ль?

– А мыслишка неплоха. – Гуон фон Сагар оторвал глаза от

кубка. – Окрутись с ней, Буко. *Raptus puellas*[393] гораздо меньшее преступление, чем похищение ради выкупа. Может, тебе хозяин Стольца простит, если вы ему разом с невестой к ногам падете? Ему будет не с руки зятя на кол сажать.

– Сынок, – ведьмачье усмехнулась Формоза. – Ну, как ты на это?

Буко глянул сначала на нее, потом на чародея. Глаза у него были холодные и злые. Он долго молчал, играя кружкой. Характерная форма сосуда выдавала его происхождение, не вызывали сомнения также выгравированные по окружности сцены из жизни святого Войцеха. Это был кубок для мессы, приобретенный, вероятно, во время знаменитого нападения на хранителя библиотеки глоговской колегиаты в Троицын день.

– Я на это, – наконец процедил раубриттер, – охотно ответил бы: а что, господин фон Сагар, может, вы сами на ней оженитесь? Впрочем, вы же не можете, потому как – священник. Разве что вас от целибата освободил черт, которому вы служите.

– Жениться на ней могу я, – неожиданно сказал зарумянившийся от вина Пашко Рымбаба. – Она мне приглянулась.

Тассило и Виттрам фыркнули, Вольдан захохотал. Ноткер Вейрах глянул серьезно. Как бы.

– А и верно, – бросил он. – Женись, Пашко. Хорошая штука – с Биберштайнами родство.

– Э-эа! – крикнул Пашко. – А я что ль, хужее? Худоложный, что ль? Поскребыш? Рымбаба *sum!* Сын Пакослава. Пакославов внук. Когда мы в Великопольше и в Силезии хозяйновали, Биберштайны в Лужицах еще точно в болоте сидели средь бобров,[394] тех, что с деревьев кору обгрызали и по-человечьи ни бэ ни мэ не говорили. Тьфу! Женюсь на ней, и точка! Двум смертям не бывать. Только надо б послать кого конным к родителю моему. Нельзя без отцовского благословения.

– Будет, – продолжал ехидничать Вейрах, – даже кому вас окрутить. Слыхал я, будто господин фон Сагар – духовное лицо. Может оженить вас хоть сейчас. Верно?

Чародей даже не взглянул на него, заинтересованный, казалось, исключительно вестфальской колбасой.

– Следовало бы, – сказал он наконец, – для начала спросить основную заинтересованную сторону. *M atrimonium inter invitos non contrahitur,* женитьба требует согласия обеих сторон.

– Заинтересованная сторона, – хохотнул Вейрах, – молчит, а *qui tacet consentit,* кто молчит, тот согласен. А других можно и спросить, почему нет? Эй, Тассило? Нет желания ожениться? А может, ты, Куно? Вольдан? А ты, уважаемый Шарлей, что такой

тихий сидишь? Ежели все, так уж все! Кто еще желает стать, простите за выражение, нуптуриентом?

– А может, вы сами? – наклонила голову Формоза фон Кроссиг. – А? Господин Ноткер? Уж, думается мне, пора бы. Не хотите ль взять ее в жены? Не пришлась по вкусу?

– Пришлась, а как же, – сально ухмыльнулся раубриттер. – Но женитьба – могила любви. Поэтому я стою за то, чтобы ее просто-напросто коллективно оттрахать.

– Пора, вижу, – Формоза встала, – женщинам выйти из-за стола, чтобы мужам в их мужских шуточках и забавах не мешать. Пошли, девка, тебе тут тоже делать нечего.

Николетта послушно встала и отправилась как на заклание, горбясь, низко опустив голову. Руки у нее дрожали, глаза были полны слез.

«Все это было не более, чем показуха, – подумал Рейневан, сжимая под столом кулаки. – Ее смелость, бодрость, решительность – все была лишь видимость, притворство. Насколько же, однако, слабый и хрупкий этот пол, как же они зависят от нас, мужчин. Как зависят, чтобы не сказать находятся в нашей власти».

– Гуон, – бросила Формоза от дверей. – Не заставляй долго ждать себя.

– Да и я уже пойду, – встал чародей. – Притомился, слишком истощила меня идиотская скачка по лесам, чтобы дальше слушать кретинские разговорчики. Желаю компании спокойной ночи.

Буко фон Кроссиг сплюнул под стол.

* * *

Уход чернокнижника и женщин стал сигналом к еще более безудержному веселью и бурной попойке. *Comitiva* громко потребовала больше вина, служанки, подносившие напитки, получили полагающуюся им долю шлепков, щипков и тычков и, краснея и всхлипывая, побежали на кухню.

– После колбасы напиться вдосталь!

– Будем здравы!

– Долгих лет!

– Здравия, да подольше!

Пашко Рымбаба и Куно Виттрам, обхватив друг дружку за плечи, затянули песню. Вейрах и Тассило де Тресков присоединились к ним.

Meum est propositum in taberna mori

Ut sint vina proxima morientis ori;
Tunc cantabunt letius angelorum chori;
Sit Deus propitius huic potatori!

Буко фон Кроссиг пьянел с трудом. С каждой кружкой он становился – на удивление! – все трезвее, от тоста к тосту делался все угрюмее, мрачнее и – опять же парадоксально! – бледнее. Он сидел хмурый, сжимая пятерней «позаимствованный» на мессе кубок и не спуская с Шарлея прищуренных глаз.

Куно Виттрам долбил по столу кружкой. Ноткер Вейрах колотил рукоятью мизерикордии. Вольдан из Осин качал перебинтованной головой и что-то невразумительно бормотал. Рымбаба и де Тресков орали:

Bibit era, bibit herus,
bibit miles, bibit clerus,
bibit ille, bibit illf,
bibit servus cum ancilla,
bibit velox, bibit piger,
bibit albus, bibit niger…

– Xok! Xok!

– Буко, брат! – Пашко покачнулся, обнял Буко за шею, прильнул мокрыми усами. – Будь здрав! Веселимся! Это ж мой, курва, с Биберштайнувной сговор! Понравилась она мне! Стало быть, слово чести, приглашу тебя к себе на свадьбу, а там и на крестины, вот тогда погуляем!

Под подолом место есть,
чтоб мой колышек мог влезть!

– Будь повнимательнее, – шепнул Рейневану Шарлей, немедля воспользовавшись представившейся возможностью. – Придется нам свои головы уносить.

– Знаю, – тоже шепотом ответил Рейневан. – В случае чего берите с Самсоном ноги в руки. На меня не оглядывайтесь… Я пойду за девушкой… В башню…

Буко оттолкнул Рымбабу, но Пашко не сдавался.

– Не горюй, Буко. А что, права была госпожа Формоза, дал ты маху, похитив у Биберштайна дочку. Но я тебя от забот освобожу. Вот невеста, там – жена, пей за свадьбу! Пей до дна! Ха, ха, срифмовал, курва, будто поэт какой. Буко! Пей! Веселись! Давай,

давай! Под подолом место есть…

Буко оттолкнул его.

– Я тебя знаю, – бросил он Шарлею. – Уже в Кромолине так думал, теперь уже точно знаю время и место. Уверен. Хоть тогда на тебе была францисканская ряса, морду твою узнал, вспомнил, где тебя видел. На вроцлавском рынке в восемнадцатом годе, в тот памятный июльский понедельник.

Шарлей не отвечал, смело глядя прямо в прищуренные глаза раубриттера. Буко повертел в пальцах свой литургический кубок.

– А ты, – перевел он взгляд на Рейневана, – Хагенау, или как там тебя взаправду звать, черти знают, кто ты такой, может, тоже монах и княжеский ублюдок. Может, тебя господин Биберштайн тоже за бунты и мятежи в стольцевскую тюрьму упрятал? Я уже в дороге заподозрил. Видел, как ты на девку поглядываешь, думал, оказии выжидаешь, чтобы Биберштайну отомстить, его дочурку под ребро пырнуть. Однако – твое дело месть, а мое – пятьсот гривен. Так я все время за тобой приглядывал. Прежде чем ты, братец, козика[395] достал бы, головы-то на шее уж и не было б.

А теперь, – цедил слова раубриттер, – гляжу я на твою морду и думаю, а может, я ошибался. Может, ты вовсе на нее не покушался, может, это афект? Может, ты ее спасти хочешь, у меня из рук вырвать? Думаю я так, думаю, и злость во мне подымается. За кого ж ты Буко фон Кроссига держишь? И меня аж трясет тебе глотку перерезать. Но я сдерживаюсь. Временно.

– А может, – голос Шарлея был совершенно спокоен, – может, кончить на сегодня? День был богат утомительными событиями, все собравшиеся это по собственным костям чувствуют, вот извольте глянуть, там господин Вольдан уже уснул, уткнув физию в соус. Предлагаю дальнейшую дискуссию отложить *ad cras.*[396]

– Ничего, – буркнул Буко, – мы не станем откладывать *ad cras.* О конце пира я скажу, когда время придет. А теперь пей, монаший сын, выродок, пей, когда наливают. И ты пей, Хагенау. Откуда знать, может, это последняя ваша выпивка? В Венгрию дорога длинная и рискованная. Доедете? Говорят же: человек не знает утром, что с ним вечером будет.

– Тем более, – ядовито добавил Ноткер Вейрах, – что господин Биберштайн наверняка разослал конников по дорогам. За похищенную дочь жутко должен быть на похитителей ожесточен.

– Вы что, не слышали, – крикнул Пашко Рымбаба, – чего я сказал? Биберштайн – это ерунда. Я ж на его дочке женюсь. Ведь же…

– Молчи, – прервал его Вейрах. – Ты пьян. Мы с Буко нашли лучшее решение, более простой и удачный супротив Биберштайна

способ. Так что ты к нам со своим жениховством не лезь. Совсем это ни к чему.

– Но она мне по душе пришлась… Помолвка… И покладины. [397] Чтоб мой колышек мог…

– Заткнись.

Шарлей оторвал взгляд от глаз Буко, посмотрел на де Трескова.

– А вы, господин Тресков, – спросил он спокойно, – одобряете план товарищей? Тоже считаете его превосходным?

– Да, – после минутной заминки ответил де Тресков. – Хоть и сожалею. Но такова жизнь. Ваша беда, что вы так удачно подходите к головоломке.

– Удачно, удачно, – подхватил Буко фон Кроссиг. – Да еще как удачно. Из всех, что приняли участие в нападении, лучше других узнают тех, кто был без забрала. Господина Шарлея. Господина Хагенау, который так залихватски управлял похищенной колебкой. Да и ваш слуга-силач тоже не из тех, которых легко забыть. Его морду узнают, ха-ха, даже у трупа. Всех, кстати, будут узнавать как трупы. Поймут, кто на кортеж напал. Кто Биберштайнувну увел…

– И кто ее убил, – спокойно докончил Шарлей.

– И изнасиловал, – ухмыльнулся Вейрах. – Не надо забывать об изнасиловании.

Рейневан вскочил со скамьи, но тут же сел, придавленный тяжелой рукой де Трескова. В тот же момент Куно Виттрам схватил Шарлея за плечи, а Буко приставил демериту к горлу мизерикордию.

– Это что же! – крикнул Рымбаба. – Разве ж это дело? Они нам тогда на помощь…

– Так надо, – обрезал Вейрах. – Возьми меч.

По шее демерита из-под стилета потекла струйка крови. Несмотря на это, его голос был спокоен.

– Не удастся ваш план. Никто вам не поверит.

– Поверит, поверит, – успокоил его Вейрах. – Просто диву даешься, во что только люди верят!

– Биберштайн не даст обвести себя вокруг пальца. Вы сложите свои головы.

– Ты что, пугать вздумал, монаший поскребыш? – Буко наклонился над Шарлеем. – Когда тебе самому до утра не дожить? Говоришь, Биберштайн не поверит? Возможно. Сложу голову? На то воля Господня. Но вам все равно глотки перережу. Хотя бы ради *gaudium,* как говорит курвин сын Сагар. Тебя, Хагенау, прикончу, хотя бы ради того, чтобы Сагару насолить, потому как ты ему дружок. Тоже колдун. А относительно тебя,

Шарлей, назовем это справедливостью. Исторической. За Вроцлав, за восемнадцатый год. Другие главари бунта сложили головы под палаческим топором на вроцлавском рынке, а ты сложишь в Бодаке. Ублюдок.

– Ты второй раз назвал меня ублюдком, Буко.

– Назову и третий. Ублюдок! И что ты мне сделаешь?

Шарлей не успел ответить. С грохотом отворилась дверь, и вошел Губертик. Точнее говоря, вошел Самсон Медок, отворив себе дверь Губертиком.

В абсолютной тишине, в которой было слышно погукивание летающего вокруг башни филина, Самсон выше поднял оруженосца, которого держал за ворот и штаны, и бросил под ноги Буко. Губертик душераздирающе застонал, войдя в контакт с полом.

– Этот тип, – проговорил в тишине Самсон, – пытался удушить меня в конюшне вожжами. Утверждал, что по вашему приказу, господин фон Кроссиг. Не желаете ли объяснить?

Буко не пожелал.

– Убить его! – рявкнул он. – Убить курвина сына! Бей!

Шарлей змеиным вывертом высвободился из рук Виттрама, локтем ударил по горлу де Трескова. Тассило захрипел и отпустил Рейневана, Рейневан же с лекарской точностью саданул Рымбабу кулаком в побитый бок, прямо в самое больное место. Пашко взвыл и согнулся пополам. Шарлей подскочил к Буко, сильно пнул его по голени, Буко упал на колени. Продолжения Рейневан не видел, потому что Тассило де Тресков крепко саданул его по шее и кинул на стол. Однако догадался, слыша звук удара, хруст переламываемого носа и яростный рев.

– Никогда больше, – услышал он четкий голос демерита, – не называй меня ублюдком, Кроссиг.

Тресков схватился с Шарлеем, Рейневан хотел прыгнуть тому на помощь, но не успел – скукожившийся от боли Рымбаба обхватил его сзади, пригнул. Вейрах и Виттрам накинулись на Самсона, гигант схватил скамью, долбанул ею Вейраха в грудь, толкнул Куно, повалил обоих, придавил скамьей. Видя, что Рейневан рвется и дергается в медвежьих объятиях Рымбабы, подскочил и раскрытой пятерней дал Рымбабе в ухо. Пашко просеменил боком через всю залу и врубился лбом в камин. Рейневан схватил со стола оловянный жбан, со звоном стукнул пытающегося подняться Ноткера Вейраха.

– Рейневан, девушка! – крикнул Шарлей. – Беги!

Буко фон Кроссиг вскочил с пола, рыча и обильно изливая потоки крови из переломленного носа. Сорвал со стены рогатину, размахнулся и бросил в Шарлея, демерит легко уклонился,

острие отерлось о его плечо. И угодило в Вольдана из Осин, который в этот момент проснулся и, совершенно ничего не соображая, поднялся из-за стола. Вольдан отлетел назад, ударился спиной о фламандский гобелен, сполз по нему, сел, голова упала на торчащее у него из груди древко.

Буко взревел еще громче и кинулся на Шарлея с голыми руками, растопырившийся, как ястреб. Шарлей задержал его выпрямленной рукой, второй хватанул по сломанному носу. Буко взвыл и упал на колени.

На Шарлея прыгнул де Тресков, на Трескова – Куно Виттрам, на Виттрама – Самсон, на Самсона – Вейрах, на Вейраха – залитый кровью Буко, на Буко – Губертик. Все переплелось на полу, образовав что-то вроде Лаокоона с ближайшими родственниками. Рейневан этого уже не видел. Он во всю мочь мчался наверх по крутой лестнице башни.

Он наткнулся на нее перед низкой дверью, освещенной торчащим в металлическом ухвате факелом. Похоже, это не было для нее неожиданностью. Походило на то, что она ждала его.

– Николетта…

– Алькасин…

– Я пришел…

Он не успел сказать, с чем пришел. Сильный удар повалил его на пол. Он приподнялся на локтях. Получил еще раз. Упал снова.

– Я, понимаешь, к тебе всем сердцем, – прошипел, стоя над ним, Пашко Рымбаба. – Я к тебе всем сердцем, а ты меня в бок тычешь? В больной бок?! Гадина!

– Эй ты, больной!!!

Пашко обернулся. Улыбнулся широко и радостно, увидев Катажину Биберштайн, девицу, пришедшуюся ему по вкусу, с которой, как ему казалось, он уже обручился, и в мечтах уже видел себя в горячем от любви супружеском ложе. Но, оказалось, мечтал он несколько преждевременно.

Несостоявшаяся невеста резко ударила его сжатым кулаком по глазу. Пашко схватился за лицо. Девушка для большей свободы действий подтянула *cotehardie* и крепко врезала ему по промежности. Возмечтавший о горячем супружеском ложе жених согнулся, со свистом втянул воздух, а потом взвыл волком и упал на колени, обеими руками ухватившись за свои мужские достоинства. Николетта еще выше подняла платье, демонстрируя стройные бедра, и, подпрыгнув, ударила его по виску, тут же развернулась и хватанула по груди. Пашко Пакославиц Рымбаба рухнул на крутые ступени и, переворачиваясь, скатился вниз.

Рейневан приподнялся на колени. Она стояла над ним спокойная, почти ничем не выдающая возбуждение. Только глаза, горящие, как у пантеры, говорили о ее состоянии.

«Она притворялась, – подумал он. – Только прикидывалась трусливой и испуганной. Обманула всех, да и меня тоже».

– Что дальше, Алькасин?

– Наверх, Николетта, быстрее.

Она побежала, перепрыгивая через ступеньки, он едва поспевал за ней. «Надо будет, – подумал он, – основательно пересмотреть свое мнение относительно слабого пола».

Пашко Рымбаба скатился на самый низ лестницы, с размаху ввалился в залу, на середину, почти под стол. Несколько минут лежал, хватая ртом воздух, как карп, вынутый из воды, потом охнул, застонал, принялся раскачивать головой, держась за гениталии. Затем сел.

В зале не было никого, не считая трупа Вольдана с торчащей из груди рогатиной. И скривившегося от боли Губертика, прижимающего к животу явно сломанную руку. Оруженосец встретил взгляд Рымбабы и указал головой на дверь, ведущую во двор. Это было излишне. Пашко уже раньше услышал долетающий оттуда шум, крики, мерные удары.

В залу заглянули испуганная служанка и слуга, точно как в припевке: *servus cum ancilla.*[398] Стоило ему на них взглянуть, как они убежали. Пашко поднялся, грязно выругался, сорвал со стены огромный бердыш с древком, почерневшим от времени и усеянным дырочками, проделанными короедом, несколько мгновений боролся с мыслями. И хоть кипел от яростного желания отомстить вреднющей Биберштайнувне, рассудок подсказал, что надобно помочь *comitive.*

«Биберштайнувна, – подумал он, – мести не избежит, из башни выхода нет. А пока, – подумал он, чувствуя, как у него распухают яйца, – я накажу ее только гордым презрением. Сначала мне заплатят ее дружки».

– Погодите, мать вашу! – рявкнул он и, прихрамывая, двинулся к выходу во двор. Оттуда неслись звуки боя. – Ужо я вас!

Двери башни сотрясались от ударов. Шарлей выругался.

– Поторопись, Самсон! – крикнул он.

Самсон Медок выволок из конюшни двух оседланных коней. Грозно рыкнул на слугу, соскочившего с потолка. Слуга умчался, сверкая пятками.

– Двери долго не выдержат. – Шарлей сбежал по каменным

ступеням, перехватил у него вожжи. – Ворота, быстро!

Самсон тоже видел, как в дверях, которыми им удалось отгородиться от Буко и его компании, треснула и наежилась щепками очередная доска. Железо колотило по стене и металлу, было ясно, что взбешенные раубриттеры пытаются вырубить завесы. Действительно, нельзя было терять ни минуты. Самсон огляделся. Ворота запирала балка, дополнительно защищенная массивной колодкой. Гигант тремя прыжками оказался рядом с кучей дров, подготовленных для отопления, вырвал из пня огромный плотницкий топор, в три прыжка подскочил к воротам, охнул, взмахнул топором и с огромной силой опустил обух на скобу.

– Крепче! – выкрикнул Шарлей, поглядывая на разлетающиеся уже двери. – Бей сильней!

Самсон ударил сильней. Так, что задрожали и ворота, и вышка над ними. Скоба, продукт, надо думать, нюрнбергский, не поддалась, но поддерживающие балку крючья до половины вылезли из стены.

– Еще раз! Бей!

Под следующим ударом нюрнбергская скоба лопнула, крючья вывалились, балка с грохотом упала на землю.

– Под мышками. – Рейневан, набрав на пальцы мази из глиняного горшочка, стянул рубашку с плеч, показал, как надо это делать. – Намажь под мышками. И на шее. Вот так. Больше, больше… Вотри сильнее… Быстрее, Николетта. У нас мало времени.

Девушка несколько мгновений глядела на него, в ее взгляде недоверие боролось с удивлением. Однако она не сказала ни слова, потянулась за мазью. Рейневан вытащил на середину комнаты дубовую скамейку. Растворил окно, в лабораторию чернокнижника ворвался холодный ветер. Николетта вздрогнула.

– Не подходи к окну, – удержал ее Рейневан. – Лучше… не смотреть вниз.

– Алькасин, – подняла она на него глаза. – Я понимаю, что мы боремся за жизнь. Но ты точно знаешь, что делаешь?

– Пожалуйста, сядь верхом на скамейку. Время действительно подгоняет. Садись позади меня.

– Предпочитаю – перед тобой. Обними меня за талию, обними крепче. Крепче…

Она вся горела. От нее веяло аиром и мятой. Этого запаха не мог забить даже специфический аромат Гуоновой мишкулянции.

– Готова?

– Готова. Ты меня не отпустишь? Не дашь мне упасть?

– Скорее я погибну.

– Не погибай, – вздохнула она, поворачивая голову так, что их губы на мгновение соприкоснулись. – Не погибай, пожалуйста. Живи. Говори заклинание.

Whe, Whe, Windchen
Zum Fenster inaus
In omnem ventu!
Fik z okna
Niczego sie ve dotkna.[399]

Скамейка подпрыгнула и взвилась под ними, как норовистый конь. При всей своей смелости Николетта вскрикнула, не в силах побороть страх, правда, Рейневан не смог тоже. Скамейка поднялась на сажень, закружилась взбесившейся юлой, лаборатория Гуона расплылась у них в глазах. Николетта сжала пальцами охватывающие ее руки Рейневана, запищала, но он мог бы поклясться, что больше от восторга, чем от страха. Скамейка ринулась прямо в окно, в холодную и темную ночь.

– Держись, – крикнул Рейневан. Поток воздуха вогнал ему слова обратно в глотку. – Держиииииись!

– Сам держись!

– О Иисууу…

– Аааааа-ааааааа!

Нюрнбергская скоба лопнула, балка с грохотом свалилась. Одновременно с треском вылетели двери, ведущие в башню, на каменные ступени, во двор высыпали раубриттеры, вооруженные и настолько ослепленные жаждой крови, что мчащийся первым Буко фон Кроссиг споткнулся на крутых ступенях и повалился прямо в кучу навоза. Остальные набросились на Самсона и Шарлея. Самсон взревел буйволом, отгоняя нападающих сумасшедшими взмахами топора. Шарлей, тоже рыча, образовал вокруг себя свободное пространство найденной у ворот алебардой. Но преимущество – в том числе и в боевой выучке – было у раубриттеров. Отступая от резких выпадов и предательских взмахов мечей, Самсон и Шарлей пятились, пока не уперлись спинами в стену.

И тут прилетел Рейневан.

Видя растущие на глазах каменные плиты двора, Рейневан вскрикнул. Николетта тоже. Крик, превращенный давящим вихрем в истинно мертвецкий вой, дал результат гораздо

больший, нежели сама Рейневанова помощь. Кроме Куно Виттрама, который в этот момент как раз взглянул вверх, никто из раубриттеров вообще не заметил наездников на летающей скамье. Но вой Рейневана оказал прямо-таки убийственное психические воздействие. Вейрах упал на четвереньки, Рымбаба начал ругаться, взвизгнул и распластался на плитах, рядом рухнул потерявший сознание Тассило де Тресков, единственная жертва налета: пикирующая во двор скамья ударила его по затылку. Куно Виттрам перекрестился и заполз под тележку с сеном. Буко фон Кроссиг сжался, когда конец *cotegardie* Николетты хлестнул его по уху. Скамья же круто взмыла вверх под аккомпанемент еще более громкого визга летунов. Ноткер фон Вейрах, раскрыв рот, таращился на улетающих, ему повезло, краем глаза он заметил Шарлея и, в последний момент избежав удара алебардой, вцепился в ратовище. Началась борьба.

Самсон отбросил топор, ухватил одного из коней за уздечку, собрался ухватить второго, но тут подскочил Буко и ткнул его стилетом. Самсон увернулся, но недостаточно быстро. Стилет распорол ему рукав. И задел предплечье. Буко не успел пырнуть снова, как получил по зубам и покатился к воротам.

Самсон Медок ощупал рану, глянул на окровавленную руку.

– Теперь, – сказал он громко и медленно, – теперь-то я действительно разозлился.

Он подошел к Шарлею и Вейраху, все еще вырывающим друг у друга ратище алебарды. И саданул Вейраха кулаком с такой силой, что пожилой раубриттер моментально проделал роскошного козла. Пашко Рымбаба поднял бердыш, чтобы рубануть Самсона. Тот увернулся и глянул на него. Пашко тут же попятился на два шага.

Шарлей ловил коней, Самсон же стащил с приворотного стояка круглый кованый щит.

– На них! – рявкнул Буко, поднимая упущенный Виттрамом меч. – Вейрах! Куно! Пашко! На них! О Христе…

Тут он увидел, что делает Самсон. Самсон же схватил щит хваткой дискобола и закружился тоже как дискобол. Щит вырвался из его руки, как из баллисты, едва не задел Вейраха, со свистом перелетел через весь двор, врезался в консоль стены, раздолбав ее в щепы. Вейрах сглотнул слюну, Самсон же снял со стояка второй щит.

– Христе… – засопел Буко, видя, что гигант снова начинает разворачиваться. – Прячьтесь!

– Клянусь цицками святой Агаты! – рявкнул Куно Виттрам. – Спасайся, кто может!

Раубриттеры кинулись бежать, каждый в свою сторону,

невозможно было предсказать, в кого Самсон запустит свое оружие. Рымбаба сбежал в конюшню, Вейрах нырнул за поленницу, Куно Виттрам снова заполз под тележку, только что пришедший в сознание Тассило де Тресков опять распластался по земле, Буко фон Кроссиг на бегу сорвал с учебного манекена продолговатый старомодный щит, прикрыл им спину.

Самсон закончил вращение на одной ноге в классической позе, достойной резца Мирона либо Фидия. Метательный щит со свистом помчался к цели, с громким гулом врезался в щит на спине Кроссига. Сила инерции отбросила раубриттера не меньше, чем на пять саженей. Возможно, отбросила бы и больше, если б не стена. Какое-то время казалось, что Буко размазало по стене, ан нет, через несколько мгновений он сполз на землю.

Самсон Медок осмотрелся. Метать уже было не в кого.

– Ко мне! – крикнул из ворот Шарлей, уже сидевший в седле. – Ко мне, Самсон! На коня!

Конь, хоть и рослый, слегка присел под навалившейся на него тяжестью. Самсон Медок успокоил его.

Они рванули галопом.

Глава двадцать пятая,

в которой – как у Беруля и Кретьена де Труа, как у Вольфрама фон Эшенбаха и Гартмана фон Ауэ, как у Готфрида Страсбургского, Гвилельма де Кабестэна и Бертрана де Борна – речь идет о любви и смерти. Любовь прекрасна. Смерть – нет

В сущности, не исключено то, что один из пражских менторов Рейневана говорил относительно магических полетов, а именно, что они подчиняются ментальному контролю намазавшегося летной субстанцией колдуна либо колдуньи. Предметы же, на которых они летают, будь то метла, кочерга, лопата или что-либо иное, – всего лишь мертвая, неодушевленная материя, подчиняющаяся воле магика и полностью от нее зависящая.

Что-то подобное действительно должно было существовать, поскольку несущая Рейневана и Николетту скамья взнеслась в небо на уровень зубцов стены замка и кружила вокруг них до тех пор, пока Рейневан не увидел, что из замка выезжают двое конных, один из которых явно был крупногабаритным. Скамейка некоторое время следовала за ними, как бы желая успокоить его, показав, что ни один из мчащихся по дороге на Клодско конников серьезно не ранен и за ними никто не гонится. И словно действительно уловив его облегченный вздох, она сделала вокруг Бодака еще один круг, а затем взмыла вверх, в пространство, пробив залитые лунным светом облака.

Однако оказалось, что прав был и Гуон фон Сагар, утверждавший, что всякая теория сера, поскольку выводы пражского доктора о ментальном контроле оправдались лишь в ограниченных пределах. Причем ограниченных сильно. Убедив Рейневана в том, что Шарлей и Самсон в безопасности, скамья совершенно перестала подчиняться его воле. Например, в намерения Рейневана никак не входило «порхание» на такой высоте, что до луны, казалось, можно было дотянуться рукой, а мороз пробирал такой, что у них с Николеттой зубы отбивали дробь не хуже испанских кастаньет. Не совпадал также с волей и желанием Рейневана полет по кругу на манер охотящегося канюка. Его воля была направлена на то, чтобы лететь вслед за Самсоном и Шарлеем, но именно эту волю скамьелёт определенно игнорировал.

Кроме того, у Рейневана не было ни малейшего желания изучать топографию Силезии с высоты птичьего полета, поэтому, совершенно непонятно каким чудом и подчиняясь чьему

ментальному контролю, летающий предмет мебели снизил уровень полета и направился на северо-восток вдоль склонов Райхенштайна. Оставив справа массивы Яволника и Борувковой, скамейка вскоре пролетела над городом, окруженным утыканной башнями двойной стеной, который мог быть лишь Пачковым. Потом понесла их вдоль долины реки, которая могла быть только Нисой. Вскоре под ними побежали крыши епископского Отмухова. Однако здесь скамья сменила курс, описав широкую дугу, вернулась к Нисе и полетела вверх по реке, следуя извивам серебрящейся в лунном свете ленты. Сердце Рейневана несколько мгновений билось учащенно, так как походило на то, что скамья вознамерилась вернуться к Бодаку. Однако нет, она вдруг развернулась и направилась к северу, мчась над низиной. Вскоре под ними промелькнул монастырский комплекс Каменьца, и Рейневан снова заволновался. Ведь Николетта тоже намазалась летной мишкулянцией и тоже могла влиять на скамейку силой воли. Они могли – направление вроде бы указывало на это – лететь прямо в Столец, владение Биберштайнов. Рейневан серьезно сомневался в том, что там его примут с распростертыми объятиями.

Однако вскоре скамья отклонилась немного к западу, пролетела над каким-то городом. Рейневан понемногу терял ориентацию, переставал слезящимися от встречного ветра глазами узнавать пробегающую внизу местность.

Высота, на которой они летели, была уже не очень велика, поэтому скамьенавты уже не тряслись от холода и не щелкали зубами. Скамья летела плавно и ровно, отказавшись от воздушной акробатики, ногти Николетты перестали впиваться в руки Рейневана. Девушка – он почувствовал это сразу – немного расслабилась. Да и сам он – что уж говорить – тоже дышал свободнее, уже не задыхался ни от сильного ветра, ни от избытка адреналина.

Они летели под подсвеченными луной облаками. Внизу перемещалась шашечница лесов и полей.

– Алькасин… – Николетта пересилила бьющий в лицо ветер. – А ты знаешь, куда…

Он крепко прижал девушку к груди, зная, что так надо, что она ждет этого.

– Нет, Николетта, не знаю…

Он действительно не знал. Но предполагал. И предполагал верно. И не очень удивился, когда тихое восклицание девушки показало ему, что у них появились попутчики.

Ведьма слева, женщина в расцвете лет в чепце замужней дамы, летела классически, на метле, движение воздуха развевало

полы ее бараньего кожушка. Подлетев немного ближе, она поприветствовала их, помахав рукой. Они, правда, не сразу, ответили тем же, и ведьма в чепце ушла вперед.

Две летевшие справа девицы не поздоровались и, кажется, вообще не заметили их, настолько были заняты собою. Обе очень молодые, с распущенными косами, они сидели верхом на санном полозе и жадно и самозабвенно целовались. При этом сидевшая впереди, казалось, свернет себе шею, чтобы дотянуться губами до губ другой, сидевшей сзади. Другая же была целиком занята грудями первой, извлеченными из-под расстегнутой сорочки.

Николетта кашлянула, кашлянула как-то странно, заелозила по скамье, словно хотела отодвинуться. Почему она это делает, он понял по уровню своего возбуждения, вызванного не только эротической картинкой. Во всяком случае, не ею одною. Гуон фон Сагар говорил о побочных действиях специфика.[400] Рейневан помнил, что в Праге об этом говорили то же. Все специалисты соглашались с тем, что втертая в тело летная мазь действует как сильный афродизияк.

Небо неведомо когда заполнилось летящими ведьмами. Они уже летели длинной вереницей или, точнее, клином, голова которого терялась где-то меж светящимися облаками. Чародейки, *bonae feminae*[401] – а в клине было, оказывается, несколько чародеев и мужского пола, – летели, оседлав самые разнообразные летные средства: тут были и классические метлы, кочерги, скамейки, лопаты, мотыги, дышла, оглобли, жерди из изгородей и самые обыкновенные, даже не ошкуренные шесты и палки. Впереди и позади летунов следовали летучие мыши, нетопыри, совы, филины и тетки-вороны.

– Эй! Конфратр! Привет!

Он оглянулся. И, что было странно, не удивился.

На окликнувшей его была привычная ей ведьминская черная шляпа, из-под которой выбивались ярко-рыжие волосы. Следом на манер шлейфа летела шаль из грязно-зеленой шерсти. Рядом следовала знакомая вещунья, молодая ведьмочка с лисьей физиономией. Позади них покачивалась на кочерге темнолицая Ягна, не вполне, разумеется, трезвая.

Николетта громко кашлянула и оглянулась. Рейневан пожал плечами, храня на лице невинное выражение. Рыжеволосая рассмеялась. Ягна отрыгнула.

Была ночь осеннего равноденствия, у народа – Ночь Праздника Веяния, волшебное начало сезона ветров, облегчающих отсеивание зерна. У волшебниц же и Старших племен – Мабон, один из восьми шабашей года.

– Эй! – вдруг крикнула рыжеволосая. – Сестры! Конфратры!

Поиграем?

Рейневан был не в настроении играть, тем более что понятия не имел, в чем эта игра состоит. Но скамья уже была явно частью стада и делала все, что делали остальные.

Довольно многочисленная эскадра спикировала вниз, к замеченному свету костра. Чуть не задевая за кроны деревьев, они промчались, перекликаясь и переругиваясь, над полянкой, где у костра сидели несколько человек. Рейневан видел, что люди смотрят вверх, и чуть ли не слышал их возбужденные крики. Ногти Николетты снова впились ему в тело.

Рыжеволосая продемонстрировала цирковую ловкость, опустилась, воя волчицей, так низко, что метлой подняла из костра фонтан пыли. Затем все вертикально взмыли в небо, сопровождаемые криками сидящих у костра. «Будь у них, – вздрогнул Рейневан, – самострел, кто знает, чем бы эта затея кончилась».

Клин начал опускаться к горе, выглядывавшей из леса и лесом же поросшей. Однако это явно не была Слёнза, вопреки предположениям Рейневана, который думал, что целью полета была именно она. Для Слёнзы гора была решительно маловата.

– Гороховая, – удивила его Николетта. – Это Гороховая гора. Неподалеку от Франкенштейна.

На склонах горы горели костры, поверх деревьев вырывалось белое смоляное пламя, красные пылающие угли подсвечивали плывущие по котловинам колдовские испарения. Были слышны выкрики, пение, писк флейт и дудок, удары тамбурина.

Николетта дрожала рядом с ним и скорее всего не только от холода. В принципе он не очень-то удивлялся. У него тоже мурашки бегали по спине, а сильно колотившееся сердце подступило к горлу. Он с трудом глотал слюну.

Рядом с ними приземлилось и слезло с метлы огненноглазое и расчёхранное существо с морковного цвета волосами. Его лапы, длинные, как жерди, украшали кривые когти шестидюймовой длины. Неподалеку шумели и старались перекричать друг друга четверо гномов в шапочках в виде желудей. Походило на то, что все четверо прилетели на большом весле. По другую сторону плелось, волоча за собой пекарскую лопату, существо в чем-то, напоминающем вывороченный мехом наружу кожух, впрочем, это вполне мог быть и естественный мех. Проходящая мимо ведьма в снежно-белой и слишком уж вызывающе распахнутой одежке окинула их неприязненным взглядом.

Вначале, еще во время полета, Рейневан собирался сбежать сразу же после посадки и как можно скорее уйти, спуститься с

горы, исчезнуть. Не получилось. Они опустились с группой, в коллективе, и коллектив понес их, как речной поток. Каждое не соответствующее общему движение, любой шаг в ином направлении бросался бы в глаза, был бы замечен, вызвал бы подозрение. И он решил, что лучше подозрений не вызывать.

– Алькасин, – Николетта прильнула к нему, вероятно, почувствовала, о чем он думает, – ты знаешь такую поговорку: из огня, да в полымя?

– Не бойся, – с трудом проговорил он. – Не бойся, Николетта. Я не допущу, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое. Я выведу тебя отсюда. И наверняка не покину.

– Я знаю, – сразу же ответила она и проговорила это так доверчиво, так тепло, что он тут же набрался храбрости и уверенности в себе – свойства, которые, честно говоря, чуть было совсем не растерял. Он поднял голову, по-светски предложил девушке руку. И осмотрелся. С уверенной миной. И даже немного надменно.

Их обогнала пахнущая влажной корой гамадриада, за ней шел поклонившийся им карлик с торчащими из-под верхней губы зубами и выглядывающим из-под коротковатой камзельки голым животом, блестящим, как арбуз. Похожего Рейневан когда-то уже видел. На вонвольницком кладбище, в ночь после похорон Петерлина.

На пологом склоне под обрывом приземлялись очередные летуны и летуньи. Их становилось все больше, толкотня увеличивалась. К счастью, организаторы побеспокоились о соблюдении порядка, назначенные заранее распорядители направляли опускающихся на поляну, где в специально оборудованной отгородке те оставляли метлы и другое летное оборудование. Там приходилось отстоять несколько минут в очереди. Николетта крепче сжала ему руку, так как сразу за ними в очереди оказалось тощее существо, завернутое в саван и попахивающее могильным склепом. Перед ними же, нетерпеливо и нервно перебирая ножками, заняли место две майки с волосами, полными сухих колосьев.

Чуть погодя толстый кобольд принял у Рейневана скамью и вручил ему раковину беззубки с нарисованной на ней магической идеограммой и римским числом CLXXIII.

– Сохраняй, – привычно проворчал он при этом, – не теряй. Я не стану потом искать по всей стоянке.

Николетта снова крепко прильнула к Рейневану, сжала руки. На сей раз по более конкретной и явной причине. Рейневан тоже это заметил.

Они неожиданно стали центром внимания, причем отнюдь не

доброжелательного. К ним злыми взглядами присматривались несколько ведьм, рядом с которыми Формозу фон Кроссиг можно было бы считать образчиком молодости и чудом красоты.

– Извольте глянуть, – проскрипела одна, особо выделяющаяся уродливостью даже в столь жутком окружении. – Должно быть, верно говорят, что флюгцальбу[402] теперь можно купить в любой свидницкой аптеке! Летают кому только не лень! Рак, рыба и змея! Того и гляди к нам начнут слетаться черницы, клариски из Стшелина! И мы должны это терпеть, спрашиваю я? А эти кто еще такие?

– Верно! – сверкнула единственным зубом вторая мегера. – Вы правы, дорогая госпожа Шпренгерова! Пусть скажут, кто они такие! И кто им о слете сказал?

– Верно, верно, дорогая госпожа Крамерова! – прохрипела третья, согнувшаяся дугой, с внушительной коллекцией волосатых бородавок на физиономии. – Пусть скажут! Потому как это могут быть шпики!

– Захлопни хайло, старая корова, – сказала, подходя, рыжеволосая в черном капюшоне. – Не изображай из себя фигуру! А этих двух я знаю. Достаточно?

Их милости Крамерова и Шпренгерова собрались уже возразить и учинить скандал, но рыжеволосая в корне пресекла дискуссию, грозно сжав кулак, а Ягна подвела итог пренебрежительной отрыжкой, внушительной и протяжной, исходящей, можно бы сказать, из самых недр ее естества. Поток оппонентов разделила вереница шествующих по склону ведьм.

Кроме Ягны, рыжеволосую сопровождала девица с лисьим личиком и нездоровой кожей, на урочище она выполняла роль оракула.

Как и тогда, у нее на светлых волосах был венок из вербены и клевера. Как и тогда, глаза у нее блестели и были обведены темными кругами, и она не переставая вглядывалась в Рейневана.

– Другие тоже к вам присматриваются, – сказала рыжеволосая. – Поэтому, чтобы избежать дальнейших инцидентов, вам надобно, как говорится, предстать перед доминой.[403] Тогда-то уж никто не осмелится к вам приставать. Идемте со мной. На вершину.

– Можно ли, – откашлялся Рейневан, – рассчитывать на то, что это безопасно?

Рыжеволосая обернулась, уставилась на него зеленым глазом.

– Немного запоздалые опасения, – процедила она. – Осторожничать надо было, когда вы натирались мазью и усаживались на скамью. Мне не хотелось бы, дорогой конфратр, быть излишне догадливой, но я даже при первой встрече поняла,

что ты из тех, которые вечно лезут не в свое дело и впутываются во что непотребно. Но, как сказано, это не мое дело. А грозит ли вам что-либо со стороны домины? Все зависит от того, что таится в ваших сердцах. Если это злоба и предательство…

– Нет, – возразил он, как только она замолчала. – Уверяю.

– Ну, тогда, – улыбнулась она, – тебе опасаться нечего. Идемте.

Они миновали костры, группы стоящих вокруг чародеек и других участников шабаша. Там что-то обсуждали, приветствовали, выпивали, поругивались. Кружки и чарки наполнялись из котлов и кадок; струился, перемешиваясь с дымом, приятный аромат сидра, грушевника и других конечных продуктов алкогольной перегонки. Ягна собиралась было свернуть туда, но рыжеволосая резко удержала ее.

На вершине Гороховой горы полыхала и гудела огнем огромная ватра,[404] мириады искр огненными пчелами взметались в черное небо. Под вершиной располагалась котловинка, оканчивающаяся террасой. Там, под установленном на железной треноге котлом, горел костер поменьше, вокруг него маячили мерцающие силуэты. На склоне явно ожидали аудиенции несколько особ.

Они подошли ближе, настолько близко, что за вуалью вздымающегося над котлом пара туманные силуэты обернулись тремя женщинами, держащими украшенные лентами метлы и золотые серпы. Около котла крутился мужчина, очень бородатый и очень высокий. Еще более высоким он казался из-за меховой шапки с укрепленными на ней ветвистыми оленьими рогами. И была там, за огнем и испарениями, еще одна неподвижная темная фигура.

– Домина, – пояснила рыжеволосая, когда они заняли место в очереди ожидающих, – вероятнее всего, не спросит вас ни о чем, она не любопытна. Однако если спросит, то запомните: обращаться к ней следует, именуя доминой. Помните также, что на шабаше нет имен. Разве что между друзьями. Для всех других вы *jojoza* и *bachelar*.[405]

Перед ними была девушка с толстой, свисающей ниже пояса светлой косой. Хоть и очень красивая, она была калекой – хромала. Причем настолько характерно, что Рейневан сумел определить у нее врожденный вывих бедра. Она прошла мимо них, утирая слезы.

– Пялиться, – укоризненно бросила рыжеволосая, – невежливо, и здесь такое не одобряют. Пошли. Домина ждет.

Рейневан знал, что титул «домина» или «старуха» давался главной чародейке, руководящей полетом жрице шабаша.

Поэтому, хотя в глубине души он думал увидеть женщину, лишь немного менее отвратную, нежели Шпренгерова, Крамерова и сопровождающие их уродины, и скорее всего существо в возрасте, мягко говоря, преклонном. Однако, чего он уж никак не ожидал, домина оказалась Медеей, Цирцеей, Эродиадой. Убийственно привлекательной, воплощением зрелой красоты. Высокая, статная, она всем видом вызывала уважение к себе, предчувствие и предвкушение силы. Высокий лоб украшал серебристым серпом блестящий рогатый месяц, с шеи на грудь свисал золотой крест анкх, *crux ansata.* Линия губ говорила о решительности, прямой нос вызывал в памяти Геру или Персефону с греческих ваз. Иссиня-черные волосы змеящимся каскадом ниспадали в божественном беспорядке на шею, волной струились с плеча, сливаясь чернотой с плащом. Выглядывающее из-под плаща платье переливалось в свете костра, играя уймой оттенков то белого, то меди, то пурпура.

В глазах домины таились мудрость, ночь и смерть.

Она разгадала его сразу.

– Толедо, – проговорила она, и голос ее был как ветер с гор. – Толедо и его благородная *jojoza.* Впервые среди нас? Приветствую. Рада видеть.

– Здравствуй, – поклонился Рейневан. Николетта сделала реверанс. – Здравствуй, домина.

– У вас есть ко мне просьбы? Вы просите заступничества.

– Они хотят, – проговорила стоявшая позади рыжеволосая, – лишь выразить уважение. Тебе, домина, и великой Тройственной.

– Принимаю. Идите с миром. Отмечайте Мабон. Восхваляйте имя Всематери.

– *Magna Mater!* Хвала ей! – повторил стоящий рядом с доминой бородач с украшенной оленьими рогами головой и ниспадающей на спину шкурой. – Эйя!

Огонь взвился вверх. Котел пыхнул паром.

На этот раз, когда они спускались по склону в седловину между вершинами, Ягна не дала себя удержать, незамедлительно направившись туда, откуда долетал самый сильный гул и доносился самый крепкий запах дистиллируемых напитков… Вскоре, добравшись до кадки, она уже поглощала сидр так, что только кадык ходил ходуном. Рыжеволосая не сдерживала ее и сама охотно приняла кувшинчик, который ей поднес ушастый космач, как близнец похожий на Ганса Майна Игеля, того, который месяц назад посетил на бивуаке Рейневана и Завишу Черного из Гарбова. Рейневан, принимая кубок, задумался над течением времени и всем тем, что это время изменило в его

жизни. Сидр был крепкий, так что даже из носа потекло.

У рыжеволосой среди окружающих оказалось множество знакомых. И людей, и нелюдей. С ней сердечно здоровались майки, дриады, лиски и водницы, обменивались рукопожатиями и поцелуями полные румяные селянки. Чопорно и благовоспитанно кланялись женщины в расшитых золотом платьях и богатых накидках, с лицами частично прикрытыми масками из черного атласа. Обильно лился сидр, грушевик и сливовица. Кругом толкались и проталкивались, поэтому Рейневан обнял Николетту. «Здесь ей следовало бы носить маску, – подумал он. – Катажина, дочь Яна Биберштайна, хозяина Стольца, должна прикрывать лицо. Как и другие благородные дамы и девушки».

Выпивохи, отведав немного, занялись, естественно, сплетнями и обсуждением знакомых.

– Я видела ее наверху у домины, – глазами указала рыжеволосая на хромающую неподалеку калеку со светлой косой и лицом, опухшим от слез. – Что с ней?

– Обычное дело, обычная обида, – пожала плечами полная мельничиха, все еще там и тут оставляющая следы муки. – Впустую к домине ходила, напрасно просила. Выполнить ее просьбу домина отказалась. Велела положиться на время и судьбу.

– Знаю. Я сама когда-то просила.

– И что?

– Время, – рыжеволосая зловеще ощерилась, – сделало свое дело. А судьбе я малость подсобила.

Ведьмы расхохотались так, что у Рейневана волосы на голове зашевелились. Он понимал, что *bonat feminae* разглядывают его, злился на то, что торчит будто кол перед столькими прекрасными глазами, будто перепуганный примитив. Он глотнул для куража.

– Необычайно много… – начал он, откашлявшись, – здесь присутствует представителей необычайно многих Древних племен…

– Необычайно?

Рейневан обернулся. Неудивительно, что он не слышал шагов стоявшего у него за спиной альпа – высокого, темнокожего, с белоснежными волосами и остроконечными ушами. Альпы двигались практически бесшумно, услышать их было невозможно.

– Говоришь, необычайно, – повторил альп. – Ха. Может, еще дождешься, что все станет обычайным. То, что ты называешь Древним, может оказаться новым. Либо обновленным. Грядет время перемен, многое изменится. Изменится даже то, что некоторые из присутствующих здесь считали неизменным.

– Я продолжаю считать, – сказало, приняв, видимо, на свой счет язвительные слова альпа, существо, которое Рейневан меньше всего ожидал встретить в здешней компании, а именно священник с тонзурой. – Многие продолжают так считать, хотя знают, что многое уже никогда не вернется. Нельзя дважды ступить в одну и ту же реку. У вас было свое время, господин альп, была своя эпоха, эра, свой эон, наконец. Но ничего не поделаешь, *omnia tempus habent et suis spatiis transeunt universe sud caelo,* всему свое время и свой час. Минувшее не вернется. Несмотря на любые перемены, которых, кстати сказать, ожидают многие из нас.

– Полностью, – упрямо повторил альп, – изменится картина и порядок мира. Все реформируется. Советую, обратите взор свой на юг, на Чехию. Там упала искра, от нее возгорится пламя, в огне очистится Природа. Исчезнет все скверное и нездоровое. С юга, из Чехии, придет изменение, определенным вещам и проблемам наступит конец. В частности, Писание, которое вы столь охотно цитируете, превратится в сборник поговорок и пословиц.

– От чешских гуситов, – покрутил головой священник, – не ожидайте слишком многого, в определенных вопросах они святее самого, я бы сказал, папы римского. Видится мне, пойдет в нужную сторону эта чешская реформа.

– Сущность реформы, – громко сказала одна из высокородных женщин в маске, – в изменении того, что, казалось бы, изменить невозможно. Проделывает пролом в, казалось бы, нерушимой структуре, надламывает, казалось бы, плотный и твердый монолит. А если что-то можно нарушить, исцарапать, надломить… Так это можно превратить в пыль. Чешские гуситы будут той каплей воды, которая, замерзая в расщелинах скалы, разрывает ее.

– То же самое говорили и о катарах! – крикнул кто-то сзади.

Поднялся шум. Рейневан съежился, слегка напуганный вызванными им пререканиями. Почувствовал руку на плече. Оглянулся и вздрогнул, увидев высокое существо женского пола, достаточно привлекательное, с фосфоресцирующими глазами и зеленой, пахнущей айвой кожей.

– Не пугайся, – тихо проговорило существо. – Мы – всего лишь Старшее племя. Обычная необычайность.

– Изменений, – сказало оно громче, – не остановит ничто. Завтра будет иным, нежели Сегодня. Настолько иным, что люди перестанут верить во Вчера. И прав господин альп, советуя чаще поглядывать на юг, на Чехию. Ибо оттуда идет новое. Оттуда грядет Изменение.

– Я позволю себе немного усомниться, – резко заметил

священник. – Оттуда пришла война и смерть. И придет *tempus odii,* время ненависти.

– И время мести, – зло добавила хромуша со светлой косой.

– Вот и славно, – потерла руки одна из ведьм. – Немножко движения не помешало бы.

– Время и судьба, – многозначительно сказала рыжеволосая. – Отдадимся на волю времени и судьбы.

– Помогая, насколько возможно, судьбе, – добавила мельничиха.

– Так или иначе, – распрямил тощую фигуру альп, – я утверждаю, что это начало конца. Теперешний порядок рухнет. Рухнет порожденный Римом ненасытный, грубо распространяемый, порождавший ненависть культ. Даже удивительно, что он так долго держался, будучи столь бессмысленным и вдобавок совершенно неоригинальным. Отец, Сын и Дух! Обычная триада, каких неисчислимое множество.

– Что касается духа, – сказал священник, – то вы были недалеко от истины. Только пол перепутали.

– Не перепутали, – возразила пахнущая айвой зеленокожая. – А оболгали! Ну что ж, может, теперь, во времена перемен, все поймут, кого столько лет малевали на иконах. Может, наконец до них дойдет, кого в действительности изображают мадонны в их церквях.

– Эйя! *Magna Mater!* – хором воскликнули ведьмы. На их крик наложился взрыв дикой музыки, грохот барабанчиков, крик и пение со стороны костров. Николетта-Катажина прижалась к Рейневану.

– Слушайте! – крикнул, воздевая руки, колдун с оленьими рогами на голове. – Слушайте!

Собравшиеся на поляне возбужденно зашумели.

– Слушайте, – воскликнул колдун, – слова Богини, руки и бедра которой оплетают Вселенную! Которая в Начале отделила Воды от Небес и танцевала на них! Из танца которой родился ветер, а из ветра – дыхание жизни!

– Эйя!

Рядом с колдуном встала домина, гордо выпрямив свою царственную фигуру.

– Восстаньте! – крикнула она, раскидывая плащ. – Восстаньте и придите ко мне!

– Эйя! *Magna Mater!*

– Аз есьм, – проговорила домина, а голос ее был как ветер с гор, – аз есьм красота зеленой земли, белая луна средь тысяч звезд, аз есьм тайна вод. Придите ко мне, ибо аз есьм Природа.

Из меня исходит все и в меня должно вернуться, в меня, возлюбленную богами и смертными.

– Эйяяяяя!

– Аз есьм Лилит, аз есьм первая из первых, аз есьм Астарта, Кибела, Геката, аз есьм Ригатона, Эпона, Рианнон, Ночная Кобыла, любовница вихря. Черны мои крылья. Резвее ветра мои ноги, длани мои слаще утренней росы. Не услышит лев, когда я ступаю, не угадает моих путей зверь полевой и лесной. Ибо истинно говорю вам: аз есьм Тайна, Понимание и Знание.

Костры гудели и стреляли языками пламени. Толпа возбужденно колыхалась.

– Почитайте меня в глубине сердец ваших и в радости обряда приносите мне жертвы актами любви и блаженства, ибо мила мне такая жертва. Ибо аз есьм нетронутая дева и горящая желанием любимица богов и демонов. И истинно говорю вам: как была я с вами от начала начал, так и найдете вы меня у края их.

– Слушайте, – крикнул под конец колдун, – слова Богини, той, руки и бедра которой охватывают Вселенную! Которая в начале начал отделила воды от небес и танцевала на них! Танцуйте и вы!

– Эйя! *Magna Mater!*

Домина резким движением скинула накидку с обнаженных рук. Сопровождаемая спутницами, вышла на середину поляны. Там они остановились, схватившись за кисти откинутых назад рук, лицам наружу, спинами внутрь, как художники порой изображают граций.

– *Magna Mater!* Трижды девять! Эйя!

К тройке присоединились еще три ведьмы и трое мужчин, соединившись руками, образовали кольцо. В ответ на их призывный клич присоединились следующие. Точно в таких же позах, лицами наружу, спинами внутрь к стоящей в центре девятке, они построили следующее кольцо. Мгновенно возникло следующее кольцо, потом новое, новое, еще одно, каждое спинами к предыдущему, охватывающее его размерами и численностью. Если круг, образованный доминой и ее спутниками охватил предыдущий, состоящий не больше чем из тридцати членов, то во внешнем, последнем кольце, их уже было не меньше трехсот. Рейневан и Николетта, подхваченные разгоряченной толпой, оказались в предпоследнем кольце. Рядом с Рейневаном стояла одна из благородных дам в маске. Руку Николетты сжимало странное существо в белом.

– Эйя!

– *Magna Mater!*

Очередной протяжный вопль и несущаяся неведомо откуда

дикая музыка дали сигнал танцующим – кольца сдвинулись с места и начали вращаться и вертеться. Вращение все убыстрялось, при этом соседние кольца вращались в противоположные стороны. Уже сама эта картина вызывала головокружение, инерция движения, сумасшедшая музыка и неистовые крики довершили дело. В глазах Рейневана шабаш расплылся в калейдоскоп пятен, ноги, казалось ему, перестали касаться земли. Он терял сознание.

– Эйяяя! Эйяяя!

– Лилит! Астарта! Кибела!

– Геката!

– Эйяяя!

Он не мог сказать, сколько прошло времени. Очнулся он среди многих женщин, постепенно поднимающихся с земли. Николетта была рядом. Она так и не отпустила его руки.

Музыка не умолкала, но мелодия изменилась, дикий и визгливо-монотонный аккомпанемент кругового танца сменили привычные синкопированные звуки, подхватывая этот ритм, поднимающиеся с земли волшебницы начали подпевать, подергиваться и отплясывать. По крайней мере некоторые представители обоих полов. Другие же не поднимались с муравы, на которую повалились после танца. Не вставая, они соединились в пары – во всяком случае, в большинстве, потому что случились и тройки, и четверки, и еще более богатые по составу конфигурации. Рейневан не мог оторвать взгляда, глазел, безотчетно облизывая губы. Николетта – он видел, что и ее лицо горит не только отблеском костров, – молча оттянула его. А когда он снова повернул голову, одернула.

– Я знаю, во всем виновата мазь… – Она прильнула к нему. – Летная мазь так их распаляет. Но ты не смотри на них. Я обижусь, если ты будешь глядеть.

– Николетта… – Он сжал ее руку. – Катажина…

– Хочу быть Николеттой, – тут же прервала она. – Но тебя… Тебя я хотела бы все же называть Рейнмаром. Когда я тебя узнала, ты был, не возражай, влюбленным Алькасином. Однако влюбленным не в меня. Пожалуйста, помолчи. Слова не нужны.

Пламя недалекого костра взвилось вверх, фейерверком взлетела пыль искр. Танцующие вокруг костра радостно закричали.

– Разгулялись, – проворчал он. – И не обратят внимания, если мы сбежим. А бежать, пожалуй, самое время…

Она повернулась к нему лицом, отблески огня заиграли у нее на щеках.

– Куда ты так спешишь?

Прежде чем он пришел в себя от изумления, он услышал, что кто-то приближается.

– Сестра и конфратр.

Перед ними стояла рыжеволосая, держа за руку юную прорицательницу с лисьим лицом.

– У нас к вам дело.

– Слушаю?

– Элизка, вот эта, – хохотнула рыжеволосая, – наконец решила стать женщиной. Я втолковываю ей, что безразлично, с кем. В охотниках недостатка нет. Но она уперлась, что твоя коза. Короче: только он, и все тут. То есть ты, Толедо.

Вещунья опустила обведенные темными кругами глаза. Рейневан смущенно сглотнул.

– Она, – продолжала *bona femina,* – не решается спросить сама. Да еще и немного побаивается, сестра, что ты ей глаза выцарапаешь. А поскольку ночь коротка и жаль терять на беготню по кустам время, я спрошу напрямик: как у вас? Ты его *gogoza?* Он твой *bachelar?* Он свободен, или ты заявляешь на него права?

– Он мой, – кратко и не колеблясь ответила Николетта, приведя Рейневана в полное замешательство.

– Дело ясно, – кивнула рыжеволосая. – Ну что ж, Элизка, коли нет того, который тебя любит… Пошли поищем кого-нибудь другого. Бывайте! Веселитесь!

– Это все мазь. – Николетта стиснула ему руку, а голос у нее был такой, что он даже вздрогнул. – Всему виной мазь. Ты меня простишь?

– А может, – не дала она ему остыть, – тебе ее хотелось? Немного-то хотелось, да? Ведь мазь действует на тебя так же, как… Знаю, что действует. А я помешала, влезла не в свое дело. Я не хотела, чтобы ты достался ей. Из – за самой обычной зависти. Лишила тебя кое-чего, ничего не предложив взамен, совсем как собака на сене.

– Николетта…

– Присядем здесь, – прервала она, указав на небольшой грот в склоне горы. – До сих пор я не жаловалась, но от всех здешних увеселений я едва держусь на ногах.

Присели.

– Господи, – проговорила Николетта, – сколько впечатлений… Подумать только, что тогда, после той гонки над Стобравой, когда я рассказывала обо всем подружкам, ни одна мне не поверила. Ни Эльбета, ни Анка, ни Каська – никто не хотел верить. А теперь? Когда я расскажу о похищении, о полете? О шабаше волшебников? Пожалуй…

Она кашлянула.

– Пожалуй, я вообще ничего им не скажу.

– Правильно сделаешь, – кивнул он. – Не говоря уж о невероятных приключениях, моя особа в твоем повествовании выглядела бы не лучшим образом. Правда? От смешного до ужасного… И криминала. Из шута я превратился в разбойника…

– Но ведь не по своей воле, – тут же прервала она. – И не в результате собственных действий. Кто может об этом знать лучше меня? Ведь твоих друзей в Зембицах выследила я. И сказала им, что тебя везут в Столец. Догадываюсь, что было потом, и знаю – все из-за меня.

– Все не так просто.

Они некоторое время сидели молча, глядя на костры и танцующие вокруг них фигуры, заслушивавшись пением…

– Рейнмар?

– Слушаю.

– Что значит – Толедо? Почему они тебя так называют?

– В Толедо, в Кастилии, – пояснил он, – находится знаменитая академия магов. Принято, во всяком случае, в некоторых кругах, так называть тех, кто искусство чернокнижества познавал в училищах в отличие от тех, у кого магические способности врожденные, а знания передаются из поколения в поколение.

– А ты изучал?

– В Праге. Но, в общем, недолго и поверхностно.

– Этого было достаточно. – Она вначале робко коснулась его руки, потом сжала ее смелее. – Видимо, ты был усерден в учебе. Я не успела тебя поблагодарить. Своей смелостью, которой я восхищаюсь, и способностями ты спас меня, уберег… от несчастья. До того я только сочувствовала тебе, была увлечена твоей историей совсем как в повествованиях Кретьена де Труа или Гартмана фон Ауэ. Сейчас я восхищаюсь тобой. Ты храбрый и умный, мой Поднебесный Рыцарь Летающей Дубовой Скамьи. Я хочу, чтобы ты был моим рыцарем, моим магическим Толедо. Моим, и только моим. Именно поэтому, из-за алчной и самолюбивой зависти, я не захотела отдать тебя той девушке, не хотела уступать тебя ей даже на минутку.

– Ты, – воскликнул он, смешавшись, – гораздо чаще спасала меня. Я – твои должник. И я тоже не поблагодарил. Во всяком случае, не так, как следует. А я поклялся себе, что, как только встречу тебя, тут же паду к твоим ногам…

– Поблагодари, – прижалась она к нему, – как следует. Упади к моим ногам. Мне снилось, что ты падаешь к моим ногам.

– Николетта…

– Не так. Иначе.

Она встала. От костров доносился смех и громкое пение.

Veni, veni, venias,
ne me mori, ne me mori facias!
Hyrca! Hyrca!
Nazaza!
Trillirivos Trillirivos! Trillirivos!

Она начала раздеваться, медленно, не спеша, не опуская глаз, горящих в темноте. Расстегнула усеянный серебряными бляшками пояс. Сняла разрезанную по бокам *cotehardie,* стянула шерстяную тясношку, под которой была только тонюсенькая белая *chemise.* Тут слегка задержалась. Знак был вполне ясным. Он медленно приблизился, нежно коснулся ее.

Chemise была сшита из фламандской ткани, названной по имени ее изобретателя Баптисты из Камбрэ. Изобретение мсье Баптисты очень сильно повлияло на развитие текстильного промысла. И секса.

Pulchra tibi facies
Oculorum acies
Capiliorum series
O guam clara species!
Nazaza!

Он осторожно помог ей, еще осторожней и еще нежней преодолевая инстинктивное сопротивление, тихий инстинктивный страх.

Как только изобретение мсье Баптисты оказалось на земле, на других тряпочках, он вздохнул, но Николетта не позволила ему долго любоваться открывшейся картиной. Она крепко прижалась к нему, охватив руками и ища губами его губы. Он послушался. А тому, в чем было отказано его глазам, приказал наслаждаться прикосновением, отдавая им дань дрожащими пальцами и ладонями.

И Рейневан пал. Пал к ее ногам. Воздавал почести. Как Персеваль перед Граалем.

Rosa rubicundior
Lilio candidior,
Omnibus formosior
Semper, semper in te glorior!

Она тоже опустилась на колени, крепко обняла его.

– Прости, – шепнула, – нет опыта.

Nazaza! Nazaza! Nazaza!

Отсутствие опыта не помешало им. Нисколько.

Голоса и смех танцующих немного удалились, попритихли, а в любовниках утихла страсть. Руки Николетты слегка дрожали, он чувствовал также, как дрожат охватывающие его бедра. Видел, как дрожат ее опущенные веки и прикушенная нижняя губа.

Когда она наконец разрешила, он приподнялся. И любовался ею. Овал лица – как у Кэмпина, шея – как у Мадонн Парлера. А ниже – скромная, смущенная *nuditas virtualis*[406] – маленькие кругленькие грудки с потвердевшими от желания сосками. Тонкая талия, узкие бедра. Плоский живот. Стыдливо сведенные бедра, полные, прекрасные, достойные самых изысканных комплиментов. От комплиментов, кстати, и восхвалений у Рейневана аж кипело в голове. Ведь он был эрудитом, трувером, любовником, равным – в собственном понимании – Тристану, Ланселоту, Паоло де Римини, Гвилельму де Кабестану по меньшей мере.

Он мог – и хотел – сказать ей, что она *lilio candidjor,* белее, чем лилия и *omnibus formosior,* прекраснейшая из прекрасных. Мог – и хотел ей сказать, что она *ferma pulcherrima Dido, deas supereminet omnis, la regina savoroza, Izeult la blomda, Beatrice, Blanziflor, Helena, Venus generosa, herzeliebez vroweln lieta come bella, la regina del cielo.* [407] Все это он мог – и хотел ей сказать. И был не в силах заставить себя протиснуть эти слова сквозь перехваченную спазмой гортань.

Она это видела. Знала. Да и как можно было не увидеть и не понять? Ведь только в глазах ошеломленного счастьем Рейневана она была девочкой, девушкой, дрожащей, прижимающейся, закрывающей глаза и прикусывающей нижнюю губу в болезненном экстазе. Для каждого умудренного опытом мужчины – окажись такой поблизости – все было бы предельно ясно: это не робкая и неопытная девчонка, это богиня, гордо и даже высокомерно принимающая положенное ей почитание. А богини знают все и все замечают.

И не ждут почестей в виде слов.

Она притянула его на себя. Повторился ритуал. Извечный обряд.

Nazaza! Nazazaz! Nazaza!

Trillirivos!

Тогда, на поляне, слова домины дошли до него не во всей их глубине, ее голос, который был словно ветер с гор, терялся в гуле толпы, тонул в криках, пении, музыке, гудении костра. Теперь, в

мягком безумии любви, ее слова возвращались более звучными, более четкими. Пронизывающими. Он слышал их сквозь шум крови в ушах. Но понимал ли до конца?

«Аз есьм красота зеленой Земли… Аз есьм Лилит, аз есьм первая из первых, аз есьм Астарта, Кибела, Геката, аз есьм Ригатона, Эпона, Рианнон, Ночная Кобыла, любовница вихря. Ибо я – нетронутая дева и я – горящая от желания любимица богов и демонов. И истинно говорю вам: как была я с вами от начала начал, так и найдете вы меня у края их».

– Прости меня, – сказал он, глядя на ее спину, – за то, что случилось. Я не должен был… Извини…

– Не поняла? – повернулась она к нему лицом. – За что я должна тебя простить?

– За то, что случилось. Я был неразумен. Я забылся. Я вел себя неверно.

– Следует ли понимать это так, – прервала она, – что ты сожалеешь? Ты это хотел сказать?

– Да… нет! Нет, не это… Но надо было… Надо было сдержаться… Я должен быть рассудительнее…

– Значит, все-таки сожалеешь, – снова прервала она. – Коришь себя, чувствуешь свою вину. Сожалеешь о том, что случилось. Короче говоря, многое бы дал, чтобы все это не произошло. Чтобы я снова стала…

– Послушай…

– А я… – Она не хотела слушать. – Я, подумать только… Я готова была идти с тобой. Сейчас, сразу, такая, какая есть. Туда, куда идешь ты. На край света. Только бы с тобой.

– Господин Биберштайн… – пробормотал он, опуская глаза. – Твой отец…

– Ясно, – опять прервала она. – Мой отец. Вышлет погоню. А две погони подряд для тебя, пожалуй, чересчур.

– Николетта… Ты не поняла меня.

– Ошибаешься. Поняла.

– Николетта…

– Помолчи. Ничего не говори. Усни. Спи.

Она коснулась рукой его губ таким движением, что оно было почти незаметным. Он вздрогнул. И неведомо как оказался на холодной стороне горы. Ему казалось, что он уснул лишь на мгновение. И однако, когда проснулся, ее рядом не было.

– Конечно, – сказал альп. – Конечно же, я ее понимаю. Но, увы, не видел.

Сопровождающая альпа гамадриада приподнялась на

цыпочки, что-то шепнула ему на ухо и тут же спряталась у него за плечом.

– Она немного робка, – пояснил альп, поглаживая ее жесткие волосы. – Но может помочь. Пойдем с нами.

Они молча начали спускаться. Альп мурлыкал себе под нос. Гамдриада пахла смолой и мокрой тополиной корой. Ночь Мабон близилась к концу. Занимался рассвет, тяжелый и мутный от тумана.

В немногочисленной уже группе оставшихся на Гороховой горе участников шабаша они отыскали существо женского пола. То, что с фосфоресцирующими глазами и зеленой, пахнущей айвой кожей.

– Верно, – кивнула Айва, когда ее спросили. – Я видела девушку. Она с группой женщин спускалась в сторону Франкенштейна. Некоторое время тому назад.

– Подожди, – схватил Рейневана за руку альп. – Не спеши! И не туда. С этой стороны гору окружает Будзовский лес, ты заплутаешь в нем как дважды два четыре. Мы проведем тебя. Впрочем, нам тоже в ту сторону. У нас там дело.

– Я иду с вами, – сказала Айва. – Покажу, куда пошла девушка.

– Благодарю, – сказал Рейневан. – Я вам очень обязан. Мы ведь не знакомы… А вы помогаете мне…

– Мы привыкли помогать друг другу. – Айва повернулась, пронзила его фосфоресцирующим взглядом. – Вы были хорошей парой… К тому же нас уже так мало осталось. Если мы не станем помогать друг другу, то погибнем окончательно.

– Благодарю.

– А я, – процедила Айва, – вовсе не тебя имела в виду.

Они спустились в яр, русло высохшего ручья, обросшего вербами. Из тумана впереди послышалась тихая ругань. И тут же они увидели женщину, сидящую на обомшелом камне и вытряхивающую камушки из башмаков. Рейневан узнал ее сразу. Это была пухленькая и все еще слегка испачканная мукой мельничиха, очередная участница дебатов за бочонком сидра.

– Девчонка? – спросила она и задумалась. – Светловолосая? Аааа, та, из благородных, что была с тобой, Толедо?

Видела я ее, а как же. Туда шла. К Франкенштейну. В группе их было несколько. Какое-то время тому назад.

– Они шли туда?

– Сейчас, сейчас, погодите. Я пойду с вами.

– У тебя там дело?

– Нет, я там живу.

Мельничиха была, мягко говоря, не в лучшей форме. Она шла

неуверенно, икая, ворча и еле волоча ноги. То и дело останавливалась, чтобы поправить одежду. Непонятно как она все время набирала в башмаки щебенку, приходилось садиться и вытряхивать ее – а делала она это нервирующе медленно. На третий раз Рейневан уже готов был взять бабу на спину и нести, лишь бы идти быстрее.

– А может, как-нибудь побыстрее, кумушка? – сладко спросил альп.

– Сам ты кумушка, – огрызнулась мельничиха. – Сейчас я приду в себя… Моментик…

Она замерла с башмаком в руке. Подняла голову. Прислушалась.

– Что такое? – спросила Айва. – Что…

– Тише, – поднял руку альп. – Я что-то слышу. Что-то… Что-то приближается.

Земля неожиданно задрожала, загудела. Из тумана вырвались кони, целый табун, вокруг них вдруг закишело от бьющих и раздирающих почву копыт, от развевающихся грив и хвостов, ощеренных морд, покрытых пеной, от диких глаз. Они едва успели отпрыгнуть за камни. Кони пронеслись сумасшедшим галопом и скрылись так же внезапно, как и появились. Только земля продолжала дрожать под ударами копыт.

Не успели они остыть, как из тумана возник очередной конь. Но в отличие от предыдущих на этом сидел наездник. Наездник в саладе – в полных пластинчатых латах, в черном плаще. Плащ, развевающийся за спиной, походил на крылья привидения.

Adsumus! Adsuuumus!

Рыцарь натянул поводья, конь поднялся на дыбы, принялся месить воздух передними копытами, заржал. А рыцарь выхватил меч и кинулся на них.

Айва тонко вскрикнула и прежде, чем крик прозвучал, рассыпалась – да, это соответствующее слово, – рассыпалась на миллионы ночных бабочек, тучей разлетевшихся в воздухе и исчезнувших. Гамадриада беззвучно вросла в землю, мгновенно потончала, покрылась корой и листьями. У мельничихи и альпа столь ловких трюков в запасе, видать, не нашлось, поэтому они просто кинулись бежать. Рейневан, разумеется, тут же последовал их примеру. И даже опередил их. «И здесь меня нашли, – лихорадочно думал он. – Даже здесь меня достали».

Adsumus!

Черный рыцарь на лету хлестнул мечом превратившуюся в дерево гамадриаду, деревце издало страшный крик, прыснуло соком. Мельничиха оглянулась. На собственную погибель. Рыцарь повалил ее конем, рубанул, свесившись с седла, рубанул так, что

острие аж заскрипело на кости черепа. Чародейка упала, крутясь и извиваясь в сухой траве.

Альп и Рейневан мчались что было сил, но уйти от галопирующего коня шансов у них не было. Рыцарь быстро нагнал их. Они разделились, альп рванул направо, Рейневан налево. Рыцарь галопом понесся за альпом. Через минуту из тумана долетел крик, свидетельствующий о том, что альпу не дано было дождаться перемен и чешских гуситов.

Рейневан бежал сломя голову, тяжело дыша и не оглядываясь. Туман глушил звуки, но гул копыт и ржание коня он все время слышал за собой – или ему казалось, что слышал.

Топот копыт и храп коня он вдруг услышал совсем рядом. Остановился, помертвел от ужаса, но прежде чем успел что-либо предпринять, из тумана вынырнула серая в яблоках кобыла, несущая в седле невысокую плотную женщину в мужском вамсе. Увидев его, женщина резко остановила кобылу и отбросила со лба развевающуюся в беспорядке гриву светлых волос.

– Госпожа Дзержка… – только и смог выговорить он. – Дзержка де Вирсинг…

– Родственник? – Торговка лошадьми казалась не менее изумленной. – Здесь? Ты? Зараза, не стой! Давай руку, прыгай мне за спину!

Он схватил протянутую руку. Но было уже поздно.

Adsuuuumus!

Дзержка соскочила с лошади с поразительной при ее комплекции грацией и ловкостью, так же проворно сорвала со спины арбалет и кинула его Рейневану, а сама схватила другой, прикрепленный к седлу.

– В коня! – рявкнула она, кидая ему болты и инструмент для натягивания, так называемую «козью ножку». – Цельсь в коня!

Черный рыцарь с поднятым мечом и развевающимся плащом мчался на них таким яростным галопом, что в воздух летели куски вырываемого дерна. Руки Рейневана дрожали, крюки «козьей ножки» никак не хотели зацепить тетиву и шипы на ложе арбалета. Он отчаянно выругался, это помогло, крюки и шипы сработали, тетива ухватила орех.[408] Дрожащей рукой он наложил болт.

– Стреляй!

Он выстрелил и промахнулся, потому что вопреки приказу метился не в коня, а в наездника. Он видел, как острие болта выбило искры, отеревшись о стальной нарукавник. Дзержка громко и грубо выругалась, сдула волосы с глаз, прицелилась, нажала спуск. Болт угодил коню в грудь и ушел в нее целиком. Конь пронзительно завизжал, захрапел, рухнул на колени.

Черный рыцарь свалился с седла, покатился, теряя шлем и упустив меч. И тут же начал подниматься.

Дзержка выругалась опять, теперь руки дрожали у обоих, у обоих «козьи ножки» раз за разом соскальзывали с зацепов, болты вываливались из ровиков на ложе. А черный рыцарь встал, отстегнул от седла огромный моргенштерн, направился к ним раскачивающейся походкой. Видя его лицо, Рейневан сдержал крик, прижав рот к ложу арбалета. Лицо рыцаря было белым, прямо-таки серебристым, как у прокаженного. Подведенные красно-синей тенью глаза глядели дико и бессмысленно, из слюнявых, покрытых пеной губ сверкали зубы.

Adsuuuumus!

Щелкнули тетивы, свистнули болты. Оба попали, пробив латы с громким звоном, оба вошли по летки – один через подбородник, второй через нагрудник. Рыцарь покачнулся, но удержался на ногах и, к изумлению Рейневана, вновь двинулся на них, невразумительно вереща, отплевываясь текущей изо рта кровью и размахивая моргенштерном. Дзержка выругалась, отпрыгнула, тщетно пытаясь подготовить арбалет, понимая, что не успеет, увернулась от удара, споткнулась, упала, видя летящий на нее шипасный шар, закрыла голову и лицо руками.

Рейневан крикнул и тем спас ей жизнь. Рыцарь повернулся к нему, а Рейневан выстрелил вблизи, целясь в живот. Болт и на этот раз вошел по самые летки, с сухим треском продырявив пластинчатое прикрытие. Сила удара была такой, что острие должно было войти глубоко во внутренности, и все же рыцарь не упал и на этот раз, покачнулся, но удержал равновесие и быстро двинулся на Рейневана, рыча и поднимая моргенштерн для удара. Рейневан пятился, пытаясь зацепить «козьей ножкой» тетиву. Зацепил, натянул. И только тогда сообразил, что у него нет болта. Он задел каблуком за кочку, свалился на землю, с ужасом глядя на приближающуюся смерть – бледную, как лепра, дикоглазую, извергающую изо рта пену и кровь. Он заслонился арбалетом, который держал обеими руками.

Adsumusl Adsum…

Все еще полулежа-полусидя Дзержка де Вирсинг нажала спуск арбалета и вогнала болт рыцарю прямо в затылок. Рыцарь выпустил моргенштерн, бестолково замахал рукам и рухнул, как колода, так что вполне ощутимо задрожала земля. Упал он в полушаге от Рейневана. Получив в мозг железное острие и несколько дюмов ясеневого дерева, он все еще, о диво, не был совершенно мертв. Довольно долго хрипел, дергался и рвал ногами дерн. Наконец замер.

Дзержка некоторое время стояла на коленях, опираясь на

прямые руки. Потом ее бурно вырвало. Затем она поднялась. Зарядила арбалет. Наложила болт. Подошла к хрипящему коню рыцаря, прицелилась. Щелкнула тетива, голова животного бессильно ударилась о землю, задние ноги спазматически дернулись.

– Я люблю лошадей, – сказала она, глядя Рейневану в глаза. – Но на этом свете, чтобы выжить, приходится порой пожертвовать тем, что любишь. Запомни это, родственник. И в другой раз цельсь в то, во что тебе велят.

Он кивнул. Встал.

– Ты спас мне жизнь. И отомстил за брата. В определенной степени.

– Это они… Наездники… убили Петерлина?

– Они. Ты не знал? Но сейчас не время болтать, родственник. Надо убираться отсюда, пока нас не застукала его братия…

– Они искали меня даже здесь…

– Не тебя, – спокойно ответила Дзержка. – Меня. Они поджидали меня в засаде сразу за Бардо, около Потворова. Разогнали табун, раздолбали эскорт, четырнадцать трупов лежат там на тракте. Я была бы среди них, если бы не… Мы слишком много болтаем!

Она сунула пальцы в рот, свистнула. Через минуту по земле задуднили копыта, из тумана возникла бегущая рысью серая в яблоках кобыла. Дзержка запрыгнула в седло, в очередной раз удивив Рейневана ловкостью и кошачьей грацией движений.

– Чего стоишь?

Он схватил ее руку, запрыгнул ей за спину на круп лошади. Лошадь захрапела и задробила копытами, выкручивая голову, попятилась от трупа.

– Кто это был?

– Демон, – ответила Дзержка, смахивая со лба непослушные волосы. – Один из тех, что кружит во тьме. Интересно только, курва, кто на меня донес…

– Хашш'ашин.

– Что?

– Хашш'ашин, – повторил он. – Рыцарь был под воздействием дурманящего арабского травянистого вещества, называемого *haszsz'isz*. Ты не слышала о Старце с Гор? Об ассасинах из крепости Аламут? В Хорасане в Персии?

– Дьявол с ним, с твоим Хорасаном, – обернулась она. – И с твоей Персией. Мы, если до тебя еще не дошло, находимся в Силезии, у подножия Гороховой горы, в миле от Франкенштейна. Но до тебя, видится мне, многое может не доходить. Ты спускаешься со склонов Гороховой на рассвете после осеннего

равноденствия. И дьяволы знают, под воздействием какой арабской дряни. Но то, что нам грозит смерть, ты понимать должен. Так что замолчи и держись, потому что я буду ехать быстро.

* * *

Дзержка де Вирсинг преувеличивала – у страха, как известно, глаза велики. На дороге и на заросших сорняками обочинах лежало всего восемь трупов, из которых пять при жизни входили в вооруженный эскорт, защищавшийся до конца. Почти половина из четырнадцати человек охраны уцелела, спасшись бегством в ближний лес. Из них вернулся только один – конюх, который, будучи в годах, далеко не убежал. И которого теперь, когда солнце уже поднялось выше, обнаружили в зарослях рыцари, ехавшие по тракту из Франкенштейна.

Рыцари – кавалькада, считая с оруженосцами и слугами двадцать один человек, – ехали по-военному, в полных белых пластинчатых латах, с развевающимися прапорчиками. Многие уже побывали в бою, другие повидали в жизни немало. Несмотря на это, большинство сейчас сглатывали слюну, видя чудовищно изрубленные тела, свернувшиеся на черном от впитавшейся крови песке. И никто не насмехался над болезненной бледностью, покрывшей при виде этой картины лица более молодых и менее бывалых друзей.

Солнце поднялось выше, рассеяло туман, в его лучах загорелись рубином застывшие капли крови, висящие, словно ягоды, на ковылях и полыни вдоль обочин. Ни у кого из рыцарей эта картина не вызвала ни эстетических, ни поэтических ассоциаций.

– Ну, курья мать, и порубило же их, – сказал, сплюнув, Кунад фон Нойдек. – Ну и сечь здесь была, ого!

– Палаческая сечь, – согласился Вильгельм фон Кауффунг. – Резня.

Из леса появились очередные уцелевшие слуги и конюхи. Хоть бледные и полуживые от страха, они не забыли о своих обязанностях. Каждый вел по нескольку коней из числа тех, что разбежались во время нападения.

Рамфольд фон Оппельн, самый старший из рыцарей, глянул с высоты седла на конюшего, дрожащего от страха среди окружавших его наездников.

– Кто на вас напал? Ну, говори же, парень! Успокойся. Ты жив. Тебе уже ничего не угрожает.

– Бог оберег… – В глазах конюха все еще стоял страх. – И Бардская Богоматерь…

– При случае подай на мессу. А теперь – говори. Кто вас побил?

– А откуда мне знать? Напали… В латах были… В железе… Как и вы…

– Рыцари! – ахнул детина с лицом монаха и двумя скрещенными серебряными палицами на щите. – Рыцари нападают по трактам на купцов! Клянусь муками Господними, самое время ихнему раубриттерству конец положить. Самая пора предпринять жесткие меры! Может, когда несколько их голов отвалится на эшафоте, то наконец опамятуются хозяйчики из замков.

– Святая истина, – поддержал с каменным выражением лица Венцель де Харта. – Святая истина, господин фон Рунге.

– А почему, – возобновил допрос фон Оппельн, – на вас напали? Вы везли что-либо ценное?

– Откуда ж… Ну, разве что коней…

– Коней, – задумчиво повторил де Харта. – Шикарная вещь, кони из Скалки. Из табуна госпожи Дзержки де Вирсинг… Помяни, Господи, имя ее…

Он осекся, сглотнул, не в состоянии оторвать глаз от изувеченного лица женщины, лежавшей на песке в чудовищно неестественной позе.

– Это не она. – Конюх моргнул дурным глазом. – Это не госпожа Дзержка. Это невеста старшего конюха… Того, что вон там лежит… Ехала с нами в Клодск.

– Ошиблись, значит, – холодно отметил факт Кауффунг. – Приняли за Дзержку.

– Наверно, приняли, – равнодушно подтвердил конюх. – Потому как…

– Что «потому»?

– Она выглядела прилично.

– Похоже, – фон Оппельн выпрямился в седле, – похоже, господин Вильгельм, вы намекаете на то, что это не было нападение грабителей? Что именно госпожа де Вирсинг…

– Была целью? Да. Я в этом уверен.

– Была целью, – добавил он, видя вопросительные взгляды остальных рыцарей. – Была целью, как Миколай Ноймаркт, как Фабин Пфефферкон… Как другие, вопреки запрету торгующие с… с заграницей…

– Виновны рыцари-грабители, – твердо сказал фон Рунге. – Нельзя верить глупым россказням, сплетням о заговорах и ночных демонах. Все это есть и были обыкновенные

грабительские нападения.

– Это преступление, – сказал тонким голосом молоденький Генрик Барут, которого, чтобы отличить от остальных Генриков в семье, называли Скворушкой. – Это преступление могло быть также делом рук евреев. Чтобы добыть христианской крови, сами знаете, на мацу. Ну, взгляните на того вон бедолагу. В нем, пожалуй, и капли крови не осталось…

– А как могло остаться, – с прискорбием взглянул на паренька Ванцель де Харта, – если у него голова-то не уцелела..

– Это могли сделать, – угрюмо вставил Гунтер фон Бишоффштайн, – те ведьмы на метлах, которые на нас вчера ночью у костра свалились! Клянусь ермолкой святого Антония! Вот понемногу и начинает проясняться загадка! Я ж вам говорил, что меж дьяволицами был Рейнмар де Беляу, я его распознал! А известно, что де Беляу – чародей, в Олесьнице черной магией занимался, на женщин чары наводил. Тамошние господа могут подтвердить!

– Я, к примеру, ничего не знаю, – пробормотал, глядя на Бенно Эберсбаха, «телок» Кромпус. Оба они вчерашней ночью узнали Рейневана среди летящих по небу ведьм, но предпочитали этого не выдавать.

– Так оно и есть, – откашлялся Эберсбах. – Мы в Олесьнице бываем редко, сплетен не слушаем…

– Это не сплетня, – взглянул на него Рунге, – а факт. Белява занимался колдовством. Треклятый вроде бы собственного брата убил, как Каин, когда тот его чертовы делишки обнаружил.

– Это уж точно, – поддакнул Евстахий фон Рохов. – Об этом говорил господин фон Рейденбург, стешелинский староста. А до него такие вести дошли из Вроцлава. От епископа. Юный Рейнмар де Беляу одурел от колдовства, дьявол ему в голове все перемешал. Дьявол его рукой управляет, на преступления пихает. Убил собственного брата, убил господина Альбрехта Барта из Карчина, убил купца Ноймаркта, прикончил купца Гануша Троста, да что там, кажется, на зембицкого князя замахнулся.

– Точно замахнулся! – подтвердил Скворушка. – За то и в башню попал. Но сбежал. Наверняка с дьявольской помощью.

– Если это чертовы дела, – беспокойно оглянулся Кунад фон Ноймаркт, – то поедем-ка отсюда, да поскорее… Нечто, чего доброго, еще и к нам прицепится…

– К нам? – Румфольд фон Опельн хватил рукой по висящему у седла щиту, повыше гербового серебряного багра, перепоясанного лентой с красным крестом. – К нам? К этому знаку? Мы ж крест приняли, мы ж крестовики, с епископом Конрадом на Чехию идем, еретиков бить, Бога защищать и религию! Не может к нам

черт подступиться. Ибо мы Бога идем защищать и религию! Не может к нам черт подступиться. Ибо мы ангельская милиция!

– И как у ангельской милиции, – заметил фон Рохов, – у нас есть не только привилегии, но и обязанности.

– Что вы хотите этим сказать?

– Господин фон Бишофштайн узнал Рейнмара из Белявы среди колдунов, летящих на шабаш. Об этом, как только доедем до Клодска, на сборный пункт крестового похода, надо будет донести местному Святому Официуму.

– Доносить? Господин Евстахий! Ведь мы же посвященные, рыцари-то!

– Донос касательно чародейства и ереси рыцарской чести не пятнает.

– Всегда пятнает!

– Не пятнает!

– Пятнает, – заверил спор Румфольд фон Оппельн. – Но донести надо. И будет донесено. А теперь дальше, господа, в путь, в Клодск, нельзя нам, ангельской милиции, на сборный пункт опоздать.

– Стыдно было бы, – тонко подтвердил Скворушка, – если епископская крестовина без нас на Чехию двинется.

– Значит, в путь. – Кауффунг завернул коня. – Тем более что нам тут делать нечего. Кто другой, думаю, этим делом займется.

Действительно, по тракту приближались вооруженные люди бургграфа из Франкенштейна.

– Вот. – Дзержка де Вирсинг остановила лошадь, глубоко вздохнула, прижавшись к ее спине, Рейневан почувствовал этот вздох. – Вот и Франкенштейн. Мост на реке Будзувке. Слева от дороги госпициум божегробовцев, церковь Святого Георгия и Башня шутов. Справа – мельницы и дома красильщиков. Дальше, за мостом, городские ворота, именуемые Клодскими. Там княжеский замок, там вон башня ратуши, там фара[409] Святой Анны. Слезай.

– Здесь?

– Здесь. Я и не подумаю показываться в городе. Да и тебе бы не посоветовала, родственник.

– Мне надо.

– Так я и думала. Слезай.

– А ты?

– А мне не надо.

– Я спрашиваю, куда ты поедешь?

Дзержка, дунув, отвела волосы. Взглянула на него. Он понял ее взгляд и больше вопросов не задавал.

– Ну, бывай здрав, родственник. До свидания.
– Дай Бог, в лучшие времена.

Глава двадцать шестая,

в которой в городе Франкенштейне встречаются многие старые – хоть и не всегда добрые – знакомые

Почти посередине рынка, между пренгером[410] и колодцем, раскинулась внушительных размеров лужа, воняющая навозом и пенящаяся от конской мочи. В луже плескалось множество воробьев, а вокруг сидела кучка оборванных, растрепанных и грязных детей, возившихся в грязи, обрызгивавших друг друга, создававших массу шума-гама и запускавших лодочки из коры.

– Да, Рейневан. – Шарлей покончил с похлебкой и теперь скреб ложкой по дну миски. – Надо признать, твой ночной полет мне понравился. Летел ты действительно недурно, можно бы сказать – живой орел. Король летунов. Помнишь, я тебе напророчил тогда, после левитации у лесных ведьм, что ты станешь орлом. Вот и стал. Хоть, думаю, не без помощи Гуона фон Сагара. Клянусь моей куськой, парень, находясь рядом со мной, ты делаешь огромные успехи. Еще малость постараться – и из тебя получится Мерлин. Построишь нам здесь, в Силезии, Стоунхендж. Такой, что тот, английский, покажется пустячком.

Самсон прыснул.

– А как там, – продолжил через минуту демерит, – с Биберштайнувной? Доставил целой и невредимой к воротам папашкиного замка?

– Почти. – Рейневан стиснул зубы. Он искал Николетту – безрезультатно – все утро по всему Франкенштейну, заглядывал во дворы, выжидал после мессы у церкви Святой Анны, забрел в Зембицкий порт и на дорогу, ведущую в Столец, выспрашивал, блуждал по суконным рядам на рынке. И именно там, в лавке, столкнулся – к своей огромной радости и облегчению – с Шарлеем и Самсоном.

– Скорее всего, – добавил он, – девушка уже дома.

Он надеялся и рассчитывал на это. Замок Столец отделяла от города неполная миля, идущий в Зембицы и Ополе тракт использовался активно. Катажине Бибершайн достаточно было назвать себя, и подводу с сопровождением предоставил бы любой купец, рыцарь или монах. Поэтому Рейневан был почти уверен, что девушка уже безопасно добралась до места. Однако он поедом ел себя за то, что это не его заслуга. Впрочем, ел он себя не только за это.

– Если б не ты, – Самсон Медок словно читал его мысли, –

девушка не вышла бы живой из замка Бодак. Ты уберег ее.

– А может, и нас тоже. – Шарлей облизнул ложку. – Старый Биберштайн, конечно, выслал погоню, а мы, если кто-нибудь из вас заметил, находимся очень близко от места нападения, гораздо ближе, чем были вчера вечером. Если нас схватят… Хм-м-м… Может быть, девушка, не забывающая о спасении, поспешит на помощь с инстанцией, вымолит у отца сохранность наших членов.

– Если захочет, – резонно заметил Самсон. – И успеет.

Рейневан не прокомментировал. Доел суп.

– Вы, – заговорил он, – тоже меня удивили. В Бодаке было пятеро вооруженных раубриттеров-рубак. А вы управились с ними…

– Они были пьяны, – поморщился Шарлей. – Если бы не это… Но факт остается фактом, я с искренним удивлением глядел на боевой перевес наличествующего здесь Самсона Медока. Надобно тебе было видеть, Рейнмар, как он высадил ворота, чес-слово, если б королеву Ядвигу у дверей Вавеля поддержал кто-нибудь подобный, то сейчас на польском троне сидели бы не Габсбурги… М-да… А потом наш Самсон раздолбал мерзавцев-филистимлян. Коротко говоря: именно благодаря ему мы оба живы.

– Но, Шарлей…

– Благодаря тебе мы живы, скромный человече. Точка. Благодаря ему же, знай это, Рейнмар, мы встретились. На развилке, когда пришлось выбирать, я в основном настаивал на Бардо, но Самсон уперся – Франкенштейн, и все тут. Утверждал, что у него предчувствие. Обычно я высмеиваю такие предчувствия, но в данном случае, имея дело с существом сверхъестественным и потусторонним…

– Ты послушался, – обрезал Самсон, как всегда, не обращая внимания на ставшие уже стандартными шуточки. – Как видишь, это было мудрое решение.

– Не спорю. Эх, Рейневан, как же я обрадовался, увидев тебя на рынке славного города Франкенштейна на фоне прилавка со шлепанцами, в тени ратушной башни. Я говорил тебе, что сильно обрадовался?

– Говорил.

– Радость, доставленная лицезрением тебя на фоне шлепанцев, – не позволил сбить себя деремит, – повлияла также, о чем я хотел тебя уведомить, на небольшую корректировку моих планов. После твоих последних деяний, особенно после цирка с Хайном фон Чирне, фокусами на зембицком турнире и болтовни перед Буко касательно колектора, я пообещал себе, что когда мы наконец доберемся до Венгрии и ты окажешься в безопасности, я сразу же по прибытии в Буду отведу тебя на мост через Дунай и

так дам под зад, что ты свалишься в реку. Обрадованный и восхищенный, сегодня я меняю свои намерения. Во всяком случае, временно. Эй, хозяин! Пива! Живо!

Пришлось подождать, корчмарь не очень-то торопился. Вначале его ввели в заблуждение мина и гордый голос Шарлея, однако он не мог не заметить, что, еще только заказывая суп, они довольно активно занимались подсчетом скойцев и геллеров, которые выскребли из кошельков и уголков карманов. В корчме, расположенной напротив ратуши, клиенты отнюдь не преизобиловали, однако корчмарь достаточно высоко ценил себя, чтобы с излишней услужливостью реагировать на окрики всяких заезжих лапсердаков.

Рейневан отхлебнул пива, не отрывая глаз от оборвышей, копошащихся в желтой луже между пренгером и колодцем.

– Дети – будущее нации, – поймал его взгляд Шарлей. – Наше будущее. Что ж, как таковое оно обещает быть неинтересным. Во – первых, бедным, во-вторых, вонючим, нечистоплотным и неаппетитным до отвращения.

– Действительно, – согласился Самсон. – Однако этому можно помешать. Вместо того чтобы брюзжать, надо позаботиться. Умыть. Накормить. Воспитать и обучить. И тогда будущее – обеспечено.

– И кто же, по-твоему, должен этим заняться?

– Не я, – пожал плечами гигант. – Мне нет до этого дела. У меня в вашем мире в любом случае нет будущего.

– Правда. Я забыл. – Шарлей бросил кусочек смоченного в супе хлеба крутящемуся поблизости псу. Согнутое в три погибели животное было тощим до невероятия. А хлеб не сожрало, а сразу же заглотило, как кит Иону.

– Интересно, – задумался Рейневан, – эта псина когда-нибудь видела кость?

– Наверно, тогда, – пожал плечами демерит, – когда сломала лапу. Но, как справедливо замечает Самсон, мне нет до этого дела. У меня здесь тоже нет будущего, а если даже и есть, то оно окажется еще более засраным, чем у тех отроков, и жалостнее, нежели у этой собаки. Страна мадьяров в этот момент представляется мне более далекой, нежели *Ultima Thule.*[411] Меня не обманет минутное пейзанство в виде тихого городка Франкенштейна, пива, фасолевой похлебки и хлеба с солью. Через мгновение Рейневан встретит какую-нибудь девицу, и все пойдет своим чередом. Снова придется голову уносить, драпать, чтобы в конце концов оказаться в какой-нибудь дыре. Либо в отвратной компании.

– Но, Шарлей, – Самсон тоже бросил собаке хлеба, – от нас до

Опавы немногим больше двадцати миль. А от Опавы в Венгрию всего-то каких-нибудь восемьдесят. Не так уж много.

– Вижу, ты на том свете изучал географию восточных пределов Европы?

– Я изучал всякое, но не в этом дело. Дело в том, чтобы мыслить позитивно.

– Я всегда мыслю позитивно. – Шарлей отхлебнул пива. – Однако порой что-то сотрясает мой организм. И это «что-то» должно быть весьма серьезным, скажем, таким, как дальняя дорога при полном отсутствии наличных, две лошади на троих, причем у одной воспалены копыта, и тот факт, что один из нас ранен. Как там твоя рука, Самсон?

Гигант, занятый пивом, не ответил, только пошевелил перевязанной рукой, показывая, что с ней все в порядке.

– Я рад. – Шарлей глянул на небо. – Одной проблемой меньше. Но другие остаются.

– Исчезнут. По крайней мере частично.

– Что ты хочешь этим сказать, дражайший наш Рейневан?

– На этот раз, – Рейневан задиристо поднял голову, – нам помогут не твои, а мои конексии.[412] У меня есть во Франкенштейне знакомые.

– Случайно, позволю себе спросить, – заинтересовался Шарлей. – Случайно это не какая-нибудь мужняя жена? Вдова? Девица на выданье? Монашенка? Иная дщерь Евы, представительница прекрасного пола?

– Неумные шуточки. И пустые опасения. Мой здешний знакомый – дьякон в Вознесении Святого Креста. Доминиканец.

– Ха! – Шарлей энергично поставил кружку на стол. – Если так, то лучше уж очередная замужняя. Рейнмар, дорогой, а ты, случаем, не страдаешь постоянными головными болями? У тебя не бывает тошноты и головокружений? В глазах не двоится?

– Знаю, знаю, – махнул рукой Рейневан, – что ты хочешь сказать. *Domini canes,*[413] собаки, жаль только, что бешеные. Постоянно на посылках у Инквизиции. Банально, дорогой мой, банально. К тому же, тебе следует это знать, у дьякона, о котором я говорю, есть передо мной долг благодарности. Петерлин, мой брат, когда-то помог ему: вытащил из тяжелого финансового положения.

– Стало быть, ты думаешь, что это имеет значение? Как зовут того дьякона?

– А ты что, знаешь всех?

– Ну, всех – не всех. Но многих. Как его зовут?

– Анджей Кантор.

– Финансовые затруднения, – сказал после минутного

молчания демерит, – похоже, в этом семействе явление наследственное. Слышал я о Павле Канторе, которого половина Силезии преследует за долги и увертки. А в кармане со мной сидел Матфей Кантор, викарий из Длуголенки. Он проиграл в кости *ciborium*[414] и кадильницу. Страшно подумать, что проиграл твой дьякон.

– Давнее дело.

– Ты меня не понял. Я боюсь думать, что он проиграл в последний раз.

– Не понимаю.

– Ох, Рейнмар, Рейнмар. Ты уже, думаю, виделся с этим Кантором?

– Верно, виделся. Но по-прежнему не…

– Что ему известно? Что ты ему сказал?

– Практически ничего.

– Первая добрая весть. Давай-ка откажемся и от этого знакомства, и от доминиканской помощи. Нам нужны средства, полученные другим способом.

– Интересно каким?

– Ну, хотя бы продав этот изящной работы кувшинчик.

– Серебряный? Откуда он у тебя?

– Я ходил по сматрузу, осматривал торговые палатки, а кувшинчик неожиданно оказался у меня в кармане. Вот, понимаешь, загадка.

Рейневан вздохнул. Самсон заглянул в кружку, тоскливо изучая остатки пены. Шарлей же занялся рассматриванием рыцаря, который в ближней аркаде в этот момент крыл на чем свет стоит согнувшегося в поклоне еврея. На рыцаре был малиновый шаперон и богатый лентнер, украшенный на груди гербом, изображающим мельничный жернов.

– Силезию так таковую, – сказал демерит, – я покидаю в принципе без сожаления. Я говорю «в принципе», поскольку одного мне недостает. Тех самых пятисот гривен, которые вез сборщик податей; если б не обстоятельства, деньги могли быть нашими. Злит меня, признаюсь, мысль, что ими обогатился случайно и незаслуженно какой-нибудь болван вроде Буко фон Кроссига. Кто знает, может, тот Рейхенбах, который вон там сейчас обзывает израэлита пархатым и свиньей? А может, кто-нибудь из тех, что стоят у будки шорника?

– Что-то сегодня здесь исключительно много вооруженных людей и рыцарей…

– Ага. А гляньте, подъезжают новые…

Демерит осекся и громко втянул воздух. Из ведущей от Лоховых ворот Серебряногорской улочки на рынок въезжал

раубриттер Хайн фон Чирне.

Шарлей, Самсон и Рейневан ждать не стали, вскочили со скамьи, чтобы улизнуть незаметно, прежде чем их увидят. Однако было уже поздно. Их заметил сам Хайн, их заметил едущий рядом с Хайном Фричко Ностиц, их заметил итальянец Вителодзо Гаэтани. У Вителодзо при виде Шарлея от бешенства побледнела все еще опухшая и украшенная свежим шрамом физиономия. В следующую секунду рынок тихого города Франкенштейна огласился криком и топотом копыт. А еще через минуту Хайн вымещал злобу на корчмаревой лавке, в щепы изрубив ее топором.

– Догонять! – рычал он своим вооруженным спутникам. – За ними!

– Туда! – верещал Гаэтани. – Туда они побежали.

Рейневан мчался что было сил, едва успевая за Самсоном.

Шарлей бежал первым, выбирал дорогу, ловко сворачивая в самые узкие закоулки, а потом продираясь сквозь живые изгороди. Тактика вроде бы оправдывалась. Неожиданно позади утих топот копыт и крики погони. Они вылетели на улочку Нижнебанную, свернули к Зембицким воротам.

От Зембицких ворот, переговариваясь и лениво покачиваясь в седлах, приближались Стерчи, а с ними Кнобельсдорф, Гакст и Роткирх.

Рейневан остановился как вкопанный.

– Беляу! – зарычал Вольфгер Стерча. – Поймали мы тебя, сучий сын!

Прежде чем рев умолк, Рейневан, Шарлей и Самсон уже мчались, тяжело дыша, по закоулкам, прыгая через загородки, продирались сквозь огородные кусты, путались в сохнущих на веревках простынях. Слыша слева крики людей Хайна, а позади крики Стерчей, они бежали к северу, в ту сторону, откуда как раз начал долетать звон колоколов доминиканской церкви Вознесения Святого Креста.

– Господин Рейневан! Сюда! Сюда!

В стене раскрылась маленькая дверца, там стоял Анджей Кантор, доминиканский дьякон. Тот, у которого перед Белявами был долг благодарности.

– Сюда! Сюда! Быстрее! Нет времени!

Действительно, времени не было. Они влетели в тесные сени, которые, как только Кантор закрыл дверцу, утонули во мраке и аромате гниющих шмоток. Рейневан с невероятным грохотом перевернул какой-то жестяной сосуд, Самсон споткнулся и упал, Шарлей, видимо, тоже на что-то налетел, потому что жутко выругался.

– Сюда! – кричал Анджей Кантор откуда-то спереди, откуда сочился слабый свет. – Сюда! Сюда! Сюда!

По узкой лестнице Рейневан скорее скатился, чем спустился. Наконец вывалился на дневной свет, на малюсенький дворик между стен, обросших диким виноградом. Выбегающий за ним Самсон наступил на кошку, кошка дико мявкнула. Прежде чем мяв утих, из обоих аркад выскочили и накинулись на них несколько человек в черных куртках и круглых фетровых шляпах. Кто-то набросил Рейневану мешок на голову, кто-то пинком подбил ему ноги. Он рухнул на землю. Его придавили, вывернули руки. Рядом он чувствовал и слышал борьбу, слышал яростное сопение, звуки ударов и крики боли, свидетельствующие о том, что Шарлей и Самсон не дают взять себя без борьбы.

– А что, Святой Официум… – долетел до него дрожащий голос Анджея Кантора. – А Святой Официум предвидит… За поимку еретика… Какое-нибудь вознаграждение? Хотя бы небольшое? Епископский *significavit* не упоминает, но я… У меня сложности… Я в огромной финансовой яме… Именно поэтому…

– *Significavit* – приказ, а не торговый контракт, – поучил дьякона злой и хриплый голос. – А возможность оказать помощь Святой Инквизиции – уже достаточная награда для каждого доброго католика. Или ты не добрый католик, фратер?

– Кантор… – прохрипел Рейневан, пробиваясь сквозь пыль и очески из мешка. – Кантор! Сукин ты сын! Пес церковный! Ах ты, в жопу…

Докончить ему не было дано. Он получил по голове чем-то твердым, в глазах засверкало. Потом получил еще раз, боль парализующе разбежалась по телу, пальцы рук неожиданно помертвели. Тот, кто его бил, ударил снова. И снова. И снова. Боль заставила Рейневана кричать, кровь запульсировала в ушах, лишая его сознания.

Очнулся он почти в полной темноте, горло было сухим, словно забито стружками, а язык – твердым как колышек. Голову разрывала пульсирующая боль, охватывающая виски, глаза, даже зубы. Он сделал глубокий вдох и тут же закашлялся, так воняло вокруг. Он пошевелился, зашелестела утрамбованная солома, на которой он лежал.

Неподалеку кто-то не переставая бормотал, кто-то кашлял и стонал. Совсем рядом что-то булькало, лилась вода. Рейневан облизнул покрытые липким налетом губы. Поднял голову и аж застонал, так она заболела. Он осторожно, медленно приподнялся. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что он находится в большом подвале. В яме. На дне глубокого каменного

колодца. И что он тут не один.

– Очнулся, – отметил факт Шарлей, стоявший в нескольких шагах и с громким плеском мочившийся в котел.

Рейневан открыл рот, но не сумел издать ни звука.

– Это хорошо, что очнулся. – Шарлей застегнул штаны. – Ибо я, собственно, должен сообщить тебе, что касательно моста на Дунае мы возвращаемся к первоначальной концепции.

– Где… – наконец проскрипел Рейневан, с трудом проглотив слюну. – Шарлей… Где… мы…

– Во владениях святой Дымпны.

– Где?

– В больнице для психов.

– Где, где?

– Я ж тебе говорю. В психушке. В Башне шутов.

Глава двадцать седьмая,

в которой Рейневан с Шарлеем достаточно долгое время находятся в относительном покое, получают медицинскую помощь, духовное утешение, регулярное питание и пребывают в обществе далеко не посредственных людей, с коими могут беседовать на любопытные темы. Словом, имеют все то, что, как правило, имеет почти каждый оказавшийся в доме умалишенных

– Да будет восславлен Иисус Христос! Благословенно имя святой Дымпны!

Обитатели Башни шутов ответили шелестом соломы и нескладным маловыразительным бурчанием. Божегробовец поигрывал палкой, постукивая ею по раскрытой левой пятерне.

– Вы двое, – сказал он Рейневану и Шарлею, – новички в нашем Божьем стаде. А мы здесь всем новым даем имена. А поскольку сегодня мы почитаем святых мучеников Корнелия и Киприана, постольку один из вас будет Корнелием, а второй Киприаном.

Ни Корнелий, ни Киприан не ответили.

– Я, – равнодушно продолжал монах, – госпитальный мэтр и опекун Башни. Зовут меня Транквилий. *Nomen Omen.* Во всяком случае, до тех пор, пока кто-нибудь меня не разозлит. А злит меня, следует вам знать, когда кто-нибудь шумит, толкается, устраивает склоки и скандалы, глумится над Богом и святыми, не молится и мешает молиться другим. И вообще – грешит. А против грешников у нас тут есть разные способы. Дубовая палка, ведерко с холодной водой, железная клетка и цепочки у стены. Ясно?

– Ясно, – в унисон ответили Корнелий и Киприан.

– Ну, стало быть, – брат Транквилий зевнул, взглянул на свою немало послужившую, отполированную дубовую палицу, – начинайте лечение. Вымолите благосклонность и заступничество святой Дымпны, и вас, дай Бог, покинет сумасшествие и заблуждения, вы вернетесь вылеченные в здоровое общество. Дымпна слывет своею милостью среди святых, так что шансы у вас значительные. Но не переставайте молиться. Ясно?

– Ясно.

– Ну так с Богом…

Божегробовец вышел по трясущейся лестнице, вьющейся вокруг стены и оканчивающейся где-то высоко дверью, массивной, судя по звуку, с которым ее открывали и замыкали.

Едва гудящее в каменном колодце эхо отзвучало, Шарлей встал.

– Ну, братья по несчастью, – сказал он весело, – приветствую вас, кем бы вы ни были. Получается, что некоторое время нам досталось провести вместе. Хоть и поневоле, но все же. Так, может, стоит познакомиться?

Как и час назад, ответил ему храп и шелест соломы, фырканье, тихая ругань и несколько иных звуков и слов, в основном непристойных. Однако на этот раз Шарлей не отказался от своего намерения. Он решительно подошел к одной из соломенных лежанок, располагавшихся у стен Башни и вокруг разделяющих дно полуразрушенных столбов и арок. Тьму лишь в малой степени развиднял свет, сочащийся сверху из маленького оконца на потолке. Но глаза уже привыкли, и кое-что стало видно.

– Добрый день! Я – Шарлей!

– Иди ты! – проворчал человек с лежанки. – Цепляйся, псих, к себе подобным. Я здоровый. Голова в порядке. Я – нормальный!

Рейневан раскрыл было рот, но быстро закрыл его и раскрыл снова. Потому что видел, чем занимается человек, назвавший себя нормальным. А занимался тот энергичными манипуляциями с собственными гениталиями. Шарлей кашлянул, пожал плечами, прошел дальше, к следующей лежанке. Лежавший на ней человек не шевелился, если не считать легкой дрожи и странных спазм лица.

– Добрый день! Я – Шарлей…

– Ббб… ббууб… бле-блее… Блеее…

– Так я и думал. Идем дальше, Рейнмар. Добрый день! Я…

– Стой! Ты где находишься, псих? На базаре? Глаз нет, что ли?

На утоптанном, твердом как камень полу среди сдвинутой соломы виднелись накорябанные мелом геометрические фигуры, кривые и колонки цифр, над которыми корпел седой старик с лысой как яйцо макушкой. Кривые, фигуры и цифры полностью покрывали также стену над его лежанкой.

– Ах, – попятился Шарлей. – Прошу прощения. Понимаю. Как же я мог забыть: *noli turbare circulos meos.*[415]

Старик поднял голову, показал почерневшие зубы.

– Ученые?

– В определенной степени.

– Тогда займите места у столба. У того, который помечен омегой.

Они заняли места и, набрав соломы, устроили себе лежанки под указанным столбом, помеченным выцарапанной греческой

буквой. Едва успели управиться, как явился брат Транквилий, на сей раз в обществе нескольких других монахов в рясах с двойным крестом. Стражи Гроба Иерусалимского принесли источающий пар котел, но пациентам Башни позволили приблизиться с мисками лишь после того, как те хором прочитали *«Pater noster», «Ave», «Credo», «Comfiteor»* и *«Miserere».*[416]

Рейневан еще не подозревал, что это было началом ритуала, которому ему надо будет подчиняться долго. Очень долго.

– *«Narrenturm»,* Башня шутов, – проговорил он, тупо глядя на дно миски с прилипшими к нему остатками пшенной каши. – Во Франкенштейне?

– Во Франкенштейне, – подтвердил Шарлей, ковыряя в зубах соломинкой. – Башня при госпициуме Святого Георгия, который содержат божегробовцы из Нисы. Вне городских ворот.

– Знаю. Я проходил рядом. Вчера. Кажется, вчера… Как мы сюда попали? Почему решили, что мы умственно больные?

– Вероятнее всего, – хохотнул демерит, – кто-то проанализировал наши последние поступки. Нет, дорогой Киприан, я пошутил, уж так-то нам не подфартило. Это не просто Башня шутов или, если тебе больше нравится, дураков, это также… временная, переходная тюрьма Инквизиции. Поскольку карцер здешних доминиканцев сейчас на ремонте. Во Франкенштейне две городские тюрьмы: в ратуше и под Кривой башней, но обе постоянно переполнены. Поэтому по приказу Святого Официума сюда, в *Narrenturm,* сажают арестованных.

– Однако Транквилий, – не отступал Рейневан, – относится к нам так, как будто мы не вполне в своем уме.

– Профессиональная девиация.[417]

– Что с Самсоном?

– Что, что, – зло отозвался Шарлей. – Посмотрели на его морду и отпустили. Ирония, хе? Отпустили, потому что приняли за кретина. А нас пристроили к психам. Откровенно говоря, претензий у меня нет, виноват только я сам. Им был нужен ты, Киприан, и никто больше, только о тебе упоминал *significavit.* Меня посадили, потому что я сопротивлялся, расквасил пару носов, ну, парочка пинков, не хвалясь, попала также и туда, куда должна была попасть. Если б я вел себя спокойно, как Самсон…

– Между нами говоря, – добавил он после долгого тяжкого молчания, – вся моя надежда на него, Самсона. Думаю, что-нибудь он придумает и организует. И поскорее. Иначе… Иначе у нас могут быть неприятности.

– С Иинквизицией? А в чем нас обвинят?

– Важно, – голос Шарлея стал вполне грустным, – не в чем нас обвинят, а в чем мы признаемся.

Объяснения Рейневану не были нужны, он знал, в чем дело. То, что он подслушал в цистерцианской грангии, означало смертный приговор, а вначале пытки. О том же, что он подслушивал, знать не мог никто. Не требовал пояснений многозначительный взгляд, которым демерит указал на других постояльцев Башни. Знал также Рейневан, что у Инквизиции было принято помещать среди заключенных шпиков и провокаторов. Шарлей, правда, обещал, что быстро раскроет таковых, но советовал держать себя осторожно и конспиративно также и в отношении других, на первый взгляд приличных людей. С ними, подчеркнул он, не следует быть слишком откровенным. Нельзя, решил он, чтобы они что-нибудь знали и им было бы о чем говорить.

– А, – добавил он, – человек, которого растягивают на «скрипке», начинает говорить. Говорит много, говорит все, что знает, говорит о чем угодно. Ибо пока он говорит, его не припекают.

Рейневан погрустнел. Так явно, что Шарлей даже счел нужным придать ему бодрости дружеским шлепком по спине.

– Выше голову, Киприан, – утешил он. – За нас еще не взялись.

Рейневан посмурнел еще больше, и Шарлей сдался. Он не знал, что тот беспокоится вовсе не о том, что на пытках расскажет о подслушанных в грангии переговорах, а что во сто крат больше его ужасает мысль о возможности предать Катажину Биберштайн.

Немного передохнув, оба жильца квартиры «Под Омегой» продолжили знакомиться с остальными обитателями. Дело шло по-всякому. Одни постояльцы Башни шутов разговаривать не хотели, другие не могли, будучи в таком состоянии, которое доктора определяли – в соответствии со школой Солерно – как *dementia* либо *debilitas*.[418] Третьи были поразговорчивее. Однако и они не спешили сообщать свои персоналии, поэтому Рейневан мысленно дал им соответствующие прозвища.

Их ближайшим соседом был Фома Альфа, проживавший под столбом, помеченным именно этой греческой буквой, а в Башню шутов попавший в день святого Фомы Аквинского, седьмого марта. За что попал и почему так долго сидит, он не сказал, но на Рейневана отнюдь не произвел впечатления тронувшегося умом. Называл себя изобретателем, однако Шарлей на основании маньеризмов речи признал в нем беглого монаха. Поиски же дыры в монастырском заборе, рассудил он, не могут считаться признаками изобретательства.

Недалеко от Фомы Альфы под литерой «тау» и выцарапанной на стене надписью: POENITIMINI[419] квартировал Камедула. Этот своего духовного сана скрыть не мог, тонзура у него еще не заросла. Больше о нем ничего не было известно, поскольку он молчал, как истинный брат из Камальдоли.[420] И как истинный камедула безропотно и без жалоб переносил весьма частые в Башне посты.

На противоположной стороне под надписью LIBERA NOS DEUS NOSTER[421] соседствовали два субъекта, которые по иронии судьбы были соседями и на воле. Оба отрицали, что они сумасшедшие. И считали себя жертвами хитроумных интриг. Один, городской писарь, по дню своего прибытия окрещенный Бонавентурой, вину за арест возлагал на жену, которая теперь могла сколь угодно баловаться с любовником. Бонавентура сразу же одарил Рейневана и Шарлея длиннейшей лекцией о женщинах, по самой своей природе и устройству подлых, преступных, сладострастных, развратных, непорядочных и лживых. Лекция надолго погрузила Рейневана в мрачные воспоминания и еще более мрачную меланхолию.

Второго соседа Рейневан мысленно назвал Институтором, ибо он непрерывно боялся за свой INSTITORIUM, то есть богатый и процветающий магазинчик на Рынке. Свободы, утверждал он, его лишили по навету, причем сделали это дети, намереваясь завладеть лавкой и доходами от нее. Как и Бонавентура, Институтор признавался в научных интересах – оба по-любительски занимались астрологией и алхимией. Оба поразительно быстро замолкали услышав слово «инквизиция».

Неподалеку от соседей, под надписью DUPA[422] разместил свою подстилку еще один обыватель Франкенштейна, не скрывающий имени Миколай Коппирниг, «масон из подворотни» и здешний астроном-любитель, к тому же, увы, тип малоразговорчивый, ворчливый и необщительный.

Подальше у стены, несколько в стороне от компании «ученых», сидел Циркулос Меос, сокращенно Циркулос. Он сидел, натаскав соломы, как пеликан в гнезде. Такое ощущение усиливал лысый череп и большой зоб на шее. О том, что он еще не умер, свидетельствовала неизбывная вонь, блеск лысины, непрекращающееся, нервирующее царапанье мелом по стене либо полу. Выяснилось, что он не был, как Архимед, механиком, а кривые и фигуры имели другое назначение. Именно из-за них Циркулос попал в психушку.

Рядом с подстилкой Исаии, человека молодого и апатичного, прозванного так из-за постоянно цитируемой им книги пророка, стояла вызывающая страх железная клетка, выполняющая роль

карцера. Клетка была пуста, а просидевший в Башне дольше всех Фома Альфа не помнил, чтобы кого-нибудь в нее сажали. Опекающий Башню брат Транквилий, сообщил Альфа, монах вообще-то спокойный и очень снисходительный. Разумеется, до тех пор, пока кто-нибудь не выведет его из себя.

Как раз недавно именно Нормальный «раздразнил» брата Транквилия. Во время молитвы Нормальный предался своему любимому занятию – баловству с собственным срамом. Это не ушло от соколиного ока божегробца, и Нормальный получил солидную взбучку дубовой палкой, которую, как стало ясно, Транквилий носил не «для мебели».

Шли дни, помеченные нудным ритмом еды и молитв. Проходили ночи, которые были мучительны и из-за докучливого холода, и из-за хорового, прямо-таки кошмарного храпа постояльцев. Дни перенести было легче. Можно было хотя бы поговорить.

* * *

– Из-за злости и зависти. – Циркулос пошевелил зобом и заморгал гноящимися глазами. – Я сижу здесь из-за злобы человеческой и зависти неудачников-коллег. Они возненавидели меня, поскольку я достиг того, чего им достичь не удалось.

– А именно? – заинтересовался Шарлей.

– Чего ради, – Циркулос вытер о халат испачканные мелом пальцы, – чего ради я стану толковать вам, профанам, вы все равно не поймете.

– А ты попытайся…

– Ну, разве что так… – Циркулос откашлялся, поковырял в носу, потер пятку о пятку. – Мне удалось добиться серьезного успеха. Я точно определил дату конца света.

– Неужто тысяча четырста двадцатый год? – спросил после минуты вежливого молчания Шарлей. – Месяц февраль, понедельник после Святой Схоластики? Не очень-то оригинально, замечу.

– Обижаете, – выпятил остатки живота Циркулос. – Не такой уж я чокнутый милленарист,[423] мистик-недоучка. Я не повторяю вслед за фанатиками хилиастические бредни. Я изучил проблему *sine ira et studio* на основании исследования научных источников и математических расчетов. Вам знакомы Откровения святого Яна?

– Поверхностно, но все же…

– Агнец отворил семь печатей, так? И узрел Ян семерых ангелов, так?

– Абсолютно.

– Избавленных и запечатленных было сто сорок четыре тысячи, так? А Старцев – двадцать четыре, так? А двум свидетелям дана сила пророчествовать в течение двухсот шестидесяти дней, так? Так вот, если все это сложить, сумму помножить на восемь, то есть на количество литер в слове *«Apollion»,* то получится… Ах, да какой прок вам объяснять, все равно вы не поймете. Конец света наступит в июле. Точнее: шестого июля, *in octava Apostolorum Petri et Pauli.*[424] В пятницу. В полдень.

– Какого года?

– Текущего, святого. Тысяча четыреста двадцать пятого.

– Таааак, – потер подбородок Шарлей. – Однако, понимаете ли, есть некое небольшое «но».

– Это какое же?

– Сейчас сентябрь.

– Это не доказательство.

– И уже миновал полдень.

Циркулос пожал плечами, затем отвернулся и демонстративно зарылся в солому.

– Я знал, что нет смысла метать бисер перед неучами. Прощайте.

Миколай Коппирниг, вольный каменщик, болтливостью не отличался, однако его сухость и резкость не оттолкнули истосковавшегося по общению Шарлея.

– Итак, – не сдавался демерит, – вы астроном. И вас засадили в тюрягу. Ну что ж, это еще раз доказывает, что слишком пристальное рассматривание неба не приносит пользы и не подобает истинному католику. Но я, уважаемый, еще по-иному взгляну на эту проблему. Конъюнкция астрономии и тюремного заключения может означать только одно: подрыв птолемеевой теории. Я прав?

– Прав в чем? – буркнул в ответ Коппирниг. – В конъюнкциях? Правы, а как же. В остальном тоже. Так что, думается мне, вы из тех, которые всегда правы. Видывал я таких.

– Таких наверняка нет, – усмехнулся демерит. – Но не будем об этом. Гораздо важнее, как нам быть с Птолемеем? Что расположено в центре мира? Земля или Солнце?

Коппирниг долго молчал.

– А не все ли равно, пусть будет, как он хочет, – горько сказал он наконец. – Откуда мне знать? Какой из меня астроном, что я знаю? Я от всего отрекусь, во всем признаюсь. Скажу все, что мне прикажут.

– Ага, – расцвел Шарлей. – Значит, я все-таки попал!

Столкнулась астрономия с теологией. И вы испугались?

– То есть? – удивился Рейневан. – Астрономия – наука точная, какое отношение к ней имеет теология? Два плюс два – всегда четыре.

– И мне так казалось, – грустно прервал Коппирниг. – Но реальность оказалась иной.

– Не понимаю.

– Рейнмар, Рейнмар, – соболезнующе улыбнулся Шарлей. – Ты наивен, как ребенок. Сложение двух и двух не противоречит Библии, чего нельзя сказать о вращении небесных тел. Нельзя утверждать, что Земля вращается вокруг Солнца, коли в Библии написано, что Иисус приказал Солнцу остановиться. Не Земле. Поэтому…

– Поэтому, – еще угрюмее прервал вольный каменщик, – надобно руководствоваться инстинктом самосохранения. В том, что касается неба, астролябия и подзорная труба могут ошибаться. Библия же – непогрешима. Небеса…

– Тот, кто обитает над кругом Земли, – вклинился Исаия, вырванный из апатии звуком слова «Библия», – растянул небеса, как ткань, и раскинул их, как палатку для жизни.

– Ну вот, пожалуйста, – покачал головой Коппирниг. – Псих, а знает.

– Вот именно.

– Что «вот именно»? – возмутился Коппирниг. – Что «вот именно»? Такие уж вы мудрые? Я от всего откажусь. Только б меня выпустили, я соглашусь со всем, чего они захотят. Что Земля плоская, а ее геометрический центр находится в Иерусалиме. Что Солнце вращается вокруг папы, являющего собой центр вселенной. Все признаю. А впрочем, может, они и правы? Псякрев, их организация существует без малого полторы тысячи лет. Хотя бы уже по этой причине они не могут ошибаться.

– А с каких это пор, – прищурился Шарлей, – годы лечат глупость?

– Да идите вы к дьяволу! – занервничал вольный каменщик. – Сами отправляйтесь на пытки и костер! Я от всего отрекаюсь! Я говорю: и все-таки она НЕ движется, *epur NON si muove!*

– Впрочем, что я могу знать, – горько проговорил он после недолгого молчания. – Какой из меня астроном? Я человек простой.

– Не верьте ему, господин Шарлей, – проговорил Бонавентура, который в этот момент очнулся от дремы. – Сейчас он так говорит, потому что испугался костра. А какой из него астроном, во Франкенштейне знают все, потому что он каждую ночь на крыше с астролябией высиживает и звезды считает. И не

он один в семье, все у них такие здездоведы. У Коппирнигов. Даже самый младший, маленький Миколаек. Так людишки смеются, мол, первым его словом было «мама», вторым «папа», а третьим «гелиоцентризм».

Чем раньше наступала тьма, тем становилось холодней, тем больше постояльцев вступало в споры и диспуты. Говорили, говорили, говорили. Вначале все вместе, а потом уж каждый сам с собой.

– Разрушат мне *institorium*. Все разбазарят, пустят по ветру, обратят в прах. Развалят все, чего я добился. Теперешняя молодежь!

– А все бабы – все до единой курвы. По желанию или по принуждению.

– Настанет апокалипсис, не останется ничего. Совсем ничего. Да что вам толковать, профаны.

– А я вам говорю, что с нами покончат раньше. Придет инквизитор, а потом сожгут. И так нам и надо, грешникам, ибо мы на Бога клевету возводили.

– Как солому пожирает язык огненный, а сено исчезает в пламени, так корень их будет гнилью, а поросль словно пыль, схваченная ветром, взметнется, ибо отринули они Законы Господнего Воинства.

– Слышите? Псих, а знает.

– Вот именно.

– Проблема в том, – сказал задумчиво Коппирниг, – что мы слишком много думали.

– О, вот, вот, – подтвердил Фома Альфа. – Никак не избежать нам кары.

– …будут собраны, заключены в темницы, а через много лет покараны…

– Слышите, псих, а знает.

У стены, в отдалении, страдающий *dementia* и *debilitas* бормотал и что-то бессвязно толковал. Рядом, на подстилке, Нормальный, охая и постанывая, истязал свои гениталии.

В октябре ударили еще более крепкие холода. Тогда, шестнадцатого – в датах позволял ориентироваться календарь, который Шарлей начертил на стене мелом, украденным у Циркулоса, – в Башню попал знакомый.

Знакомого втащили в Башню не божегробовцы, а вооруженные в кольчугах и стеганых кафтанах. Он сопротивлялся, поэтому получил несколько раз по шее, а с

лестницы его просто-напросто сбросили. Он скатился и распластался на глинобитном полу. Обитатели Башни, в том числе Рейневан и Шарлей, смотрели, как он лежит. Как к нему подходит Транквилий со своей палкой.

– Сегодня у нас, – сказал он, по обычаю вначале поприветствовав новичка именем святой Дымпны, покровительницы и заступницы слабых разумом, – сегодня у нас святой Гавл. Однако побывало здесь множество Гавлов, поэтому, чтобы не повторяться… Сегодня у нас еще поминание святого Муммолина… Значит, будешь ты, братец, именоваться Муммолином. Ясно?

Лежащий на полу приподнялся на локтях, глянул на божегробовца. Несколько секунд казалось, что он краткими и тщательно подобранными словами прокомментирует речь Транквилия. Транквилий тоже, видимо, этого ожидал, потому что поднял палку и отступил на шаг, чтобы лучше размахнуться. Но лежащий только скрежетнул зубами и раздробил в них все, что не стал высказывать.

– Ну, – кивнул божегробовец, – понимаю. С Богом, брат.

Лежащий сел. Рейневан едва узнал его. Не было серого плаща, пропала серебряная застежка, пропал шаперон, пропала *tiripipe*. Облегающий вамс весь в пыли и штукатурке, разорван на обоих подбитых ватой плечах.

– Привет.

Урбан Горн поднял голову. Волосы у него были спутаны. Глаз подбит, губа разбита и опухла.

– Привет, Рейневан, – ответил он, – знаешь, я вовсе не удивлен, увидев тебя в Башне шутов.

– Ты цел? Как чувствуешь себя?

– Прекрасно. Прямо даже восхитительно. Вероятно, солнечный свет источается из моей жопы. Взгляни и проверь. Потому как мне это сделать трудно.

Он встал, ощупал бока. Помассировал крестец.

– Собаку мою убили, – сказал он холодно. – Заколотили. Моего Вельзевула. Ты помнишь Вельзевула?

– Мне очень жаль. – Рейневан прекрасно помнил зубы британа в дюйме от лица. Но ему действительно было искренне жаль.

– Этого я им не прощу, – скрежетнул зубами Горн. – Я с ними расквитаюсь. Когда вырвусь отсюда.

– С этим могут быть некоторые проблемы.

– Знаю.

Во время знакомства Горн и Шарлей долго приглядывались

друг к другу, щурясь и покусывая губы. Было видно, что тут попал пройдоха на пройдоху и плут на плута, причем видно это было так явно, что ни один из пройдох ни о чем не спросил другого.

– Итак, – осмотрелся Горн, – мы сидим там, где сидим. Франкенштейн, госпиталь истинных каноников, стражей Гроба Иерусалимского.

– Башня шутов.

– Не только, – слегка прищурился Шарлей. – О чем многоуважаемый господин наверняка знает.

– Многоуважаемый господин, несомненно, знает, – согласился Горн. – Ибо его засадила сюда Инквизиция по епископскому сигнификавиту. Ну что ж, что бы ни говорили о Святом Официуме, их тюрьмы обычно приличны, просторны и опрятны. Здесь тоже, как говорит мне мой нос, принято время от времени котлы опоражнивать, а постояльцы выглядят неплохо… Кажется, божегробовцы заботятся. А как кормят?

– Скверно. Но регулярно.

– Это неплохо. Последней психушкой, с которой мне довелось познакомиться, была флорентийская *Pazzeria* при *Santa Maria Nuova.* Надо было видеть тамошних пациентов! Изголодавшиеся, завшивевшие, обросшие, грязные… А здесь? Вас, как вижу, хоть сейчас ко двору. Ну, может, не к императорскому, не в Вавель… Но уже, например, в Вильне вы могли бы появиться в том виде, в каком пребываете сейчас, и не очень бы выделялись. Даааа… Можно, можно было попасть хуже… Если б еще здесь не было ненормальных… буйных, надеюсь, среди них нет? Или, упаси Господи, содомитов?

– Нет, – успокоил Шарлей. – Упасла нас святая Дымпна. Только эти вот. Лежат, бормочут, попердывают. Ничего особенного.

– Прелестно. Ну что ж, побудем немного вместе. А может, и подольше.

– Может, короче, чем вы думаете, – криво усмехнулся демерит. – Мы сидим уже со святого Корнелия. И ежедневно ожидаем инквизитора. Как знать, может, уже сегодня?

– Сегодня нет, – успокоил Урбан Горн. – Завтра тоже нет. У Инквизиции сейчас другие занятия.

Хоть на него и нажимали, к пояснениям Горн приступил лишь после обеда. Который, кстати сказать, откушал с удовольствием. И не побрезговал остатками, которые не доел Рейневан, последнее время чувствовавший себя неважно и теряющий аппетит.

– Его пресветлость епископ вроцлавский Конрад, – объяснил

Горн, пальцем выбирая со дна миски последние крупинки, – ударил гуситскую Чехию. Совместно с господином Путой из Частоловиц напал на Находско и Трутновско.

– Крестовый поход?

– Нет. Грабительский рейс.

– Это, – усмехнулся Шарлей, – совершенно одно и то же.

– Ого, – фыркнул Горн – Я собирался спросить, за что многоуважаемый господин сидит, но теперь уже не спрашиваю.

– И очень хорошо. Так что там с тем рейдом?

– Предлогом, если вообще нужен предлог, было якобы ограбление гуситами сборщика податей, совершенное, кажется, тринадцатого октября. Тогда прихватили круглым счетом полторы тысячи с гаком гривен.

– Сколько?

– Я же сказал: говорят, кажется… Никто в это не верит. Но в качестве предлога епископа устроило. Момент он выбрал удачный. Ударил, когда отсутствовали гуситские полевые войска из Градца-Кралове. Тамошний гетман, Ян Чапек из Сана, пошел в то время на Подейштетте, у лужицкой границы. Как отсюда следует, у епископа есть неплохие шпики.

– Ага, наверно. – Шарлей даже не сморгнул. – Продолжайте, господин Горн. Не обращайте внимания на психов. Еще успеете наглядеться.

Урбан Горн оторвал взгляд от Нормального, азартно занимающегося онанизмом. И от одного из дебилов, сосредоточенно возводящего из собственных отходов маленький зиккурат.

– Даааа… На чем это я… Ага, епископ Конрад и господин Пута вошли в Чехию по тракту через Левин и Гомоле. Опустошили и ободрали районы Находа, Трутнова и Визмбурка, сожгли деревни. Не трогали детей, помещавшихся под животом у лошади. Некоторых.

– А потом?

– Потом…

Костер догорал, пламя уже не буйствовало и не трещало, лишь ползало еще по куче дерева. Дерево не сгорело полностью, во-первых, потому что день был пасмурный, во-вторых, потому, что взяли влажное, чтобы еретик не сгорел слишком быстро, а чтобы пошипел и соответствующим образом мог представить себе вкус наказания, ожидающего его в аду. Однако перестарались, не позаботились о сохранении золотой середины, умеренности и компромисса – избыток мокрого материала привел к тому, что деликвент[425] не сгорел, зато очень быстро задохся от дыма.

Даже не успел как следует накричаться. И не спалился до конца – привязанный цепью к столбу труп сохранил в общих чертах человекообразный облик. Кровавое, недожаренное мясо во многих местах еще держалось на скелете, кожа свисала скрутившимися косами, а кое-где обнажившаяся кость была скорее красной, нежели черной. Голова испеклась поровнее, обуглившаяся кожа отвалилась от черепа. Белеющие же в раскрытом в предсмертном крике рту зубы придавали всему довольно жуткий вид.

Эта картина, парадоксально, компенсировала разочарование, вызванное слишком быстрой и маломучительной казнью. Она давала, что уж тут долго говорить, лучший психологический эффект. Согнанных на место аутодафе чехов из близлежащей деревни вид какого-нибудь бесформенного шкварка на костре наверняка не потряс бы. Однако, угадывая в недопеченном и скалящем зубы трупе своего недавнего проповедника, чехи надломились вконец. Мужчины дрожали, зажмурив глаза, женщины выли и рыдали, дико орали дети.

Конрад из Олесьницы, епископ Вроцлава, гордо и энергично распрямился в седле так, что аж заскрипели доспехи. Вначале он намеревался произнести перед пленными речь, проповедь, которая должна была вдолбить в головы толпы, какое зло несет с собой ересь, и показать, сколь строгое наказание настигнет вероотступника. Однако раздумал, только смотрел, выпятив губы. Зачем напрасно языком трепать? Славянская голытьба все равно плохо понимала по-немецки. А о наказании за ересь лучше и понятней говорит сожженный труп у столба. Порубленные, искалеченные до неузнаваемости останки, сваленные на костер посреди ржаной стерни. Огонь, мечущийся по крышам поселка. Столбы дыма, бьющие в небо из других подожженных деревень над Метуей. Доносящиеся из сарая ужасные крики молодиц, которых затащили туда на потеху клодненские кнехты господина Путы из Частоловиц.

В толпе чехов буйствовал и свирепствовал отец Мегерлин. В сопровождении нескольких вооруженных доминиканцев священник охотился на гуситов и их сторонников. В этом ему помогал перечень имен, который Мегерлин получил от Биркарта Грелленорта. Однако священник не считал Грелленорта оракулом, а его список – святым делом. Утверждая, что узнает еретика по глазам, ушам и общему выражению лица, попик за время похода нахватал уже в пять раз больше людей, чем их было в списке. Часть приканчивали на месте. Часть шла в путах.

– Как с ними? – подъезжая, спросил епископа маршал Вавшинец фон Рограу. – Ваше преподобие? Что прикажете делать?

– Что и с предыдущими, – сурово взглянул на него Конрад Олесьницкий.

Видя выстраивающихся арбалетчиков и кнехтов с пищалями, толпа чехов подняла жуткий крик. Несколько мужчин вырвались из толпы и кинулись бежать, за ними пустили лошадей, догоняли, рубили и тыкали мечами. Другие сбились в кучу, опускались на колени, падали на землю, мужчины телами заслоняли женщин. Матери – детей.

Арбалетчики крутили вороты.

«Ну что ж, – подумал Кантнер, – в этой толпе наверняка есть какие-то невиновные, возможно, и добрые католики. Но Бог распознает своих агнцев.

Как распознавал в Лангеддоке. В Безье.

Я войду в историю, – подумал он, – защитником истинной веры, истребителем ереси, силезским Симоном де Монфором. Потомки будут вспоминать мое имя с почтением. Так же, как Симона, как Шнекефельда, как Бернара Ги. Это потом. А сегодня? Может быть, сегодня меня наконец оценят в Риме? Может, наконец, будет возвышен Вроцлав до уровня архидиоцезии, а я стану архиепископом Силезии и электором Империи? Может, окончится фарс, установивший, что децезия формально является частью польской церковной провинции и подчиняется – на посмешку, пожалуй, – польскому митрополиту, архиепископу Гнёзна? Ясно, что меня раньше дьяволы разорвут, нежели я признаю полячишку верховенствующим. Но как же унизительно подчиняться какому-то Ястжембцу? Который – ты видишь это, Господи?! – нагло домогается душпастерской визитации! И где? Во Вроцлаве! Поляк – во Вроцлаве! Никогда! *Nimmermehr!*[426]

Грохнули первые выстрелы, щелкнули тетивами арбалеты, очередные пытающиеся вырваться из котла погибли от мечей. Вопли убиваемых вознеслись к небу. «Этого, – думал епископ Конрад, сдерживая напуганного мерина, – не могут не заметить в Риме, этого не могут не заметить здесь, в Силезии, на пограничье Европы и христианской цивилизации, это я, Конрад Пяст из Олесьницы, высоко держу крест! Это я – истинный *bellator Christi, defensor*[427] и защитник католицизма. А еретикам и апостатам – кара и бич Божий, *flagellanum Dei.*

На вопли убиваемых неожиданно наложились крики со стороны скрытого за холмами тракта, через минуту с грохотом копыт оттуда ворвался отряд наездников, галопом мчащихся на восток, к Левинову. За конниками с тарахтеньем мчались телеги, возницы кричали, поднимаясь на козлах, безжалостно хлестали лошадей, пытаясь заставить их бежать быстрее. За телегами гнали мычащих коров, за коровами бежали пешие, громко вопя. Епископ

среди гомона не разобрал, что кричат.

Но другие поняли. Расстреливающие чехов кнехты повернулись как один и кинулись бежать вслед за конными, за телегами, за пехотой, уже забившей весь тракт.

– Куда! – зарычал епископ. – Стоять! Что с вами? Что творится?!

– Гуситы! – взвизгнул Отто фон Боршниц. – Гуситы, князь! На нас идут гуситы! Гуситские телеги!

– Ерунда! Нет полевых войск в Градце! Гуситы потянулись на Подьешетье!

– Не все! Не все! Идут, идут на нас! Бежим! Спасайтесь!

– Стоять! – рявкнул, наливаясь кровью, Конрад. – Стойте, трусы! К бою! К бою, собачье племя!

– Спасайся! – завопил проносящийся мимо Миколай Зейдлиц, отмуховский староста. – Гууууситы! Идут на нас! Гууууситы!

– Господин Пута и господин Колдиц уже ушли! Спасайтесь кто может!

– Стойте… – Епископ тщетно пытался перекричать разверзшийся ор и рев. – Господа рыцари! Как же так…

Конь взбесился под ним, поднялся на дыбы, Вавжинец фон Рограу схватил коня за поводья и сдержал.

– Бежим! – крикнул он. – Ваше преосвященство! Надо спасать жизнь!

По тракту продолжали мчаться галопом новые конники, бежали стрелки и латники, среди латников епископ увидел Сандера Больца, Германа Айхельборна в плаще иоаннита, Гануша Ченебиса, Яна Хаугвица, кого-то из Шаффов, которых легко было узнать по видимым издалека щитам *palé d'argent et de gueules.*[428] За ними с искаженными от ужаса лицами неслись в карьер Маркварт фон Штольберг, Гунтер Бишофштайн. Рамфольд Оппельн, Ничко фон Рунге. Рыцари, еще вчера состязавшиеся в похвальбах, готовые атаковать не только Градец-Кралове, но и сам Градище горы Табор, теперь в панике удирали.

– Спасайся, кто жив! – рявкнул, проносясь мимо, Тристрам Рахенау. – Идет Амброж! Амброоож![429]

– Христе, смилуйся! – выкрикивал не отстающий от епископского коня пеший поп Мегерлин. – Христе, спаси!

Тракт перегораживала нагруженная телега со сломанным колесом. Ее спихнули и перевернули, в грязь посыпались кувшины, крынки, бочонки, перины, килимы,[430] кожухи, башмаки, ломти солонины, другое добро, награбленное в спаленных деревнях. Застряла еще одна телега, за ней вторая, возницы соскакивали и удирали пехом. Дорога уже была усеяна награбленной, брошенной кнехтами добычей. Через минуту среди

узелков и узлов с награбленным епископ увидел брошенные щиты, алебарды, бердыши, арбалеты, даже огнестрельное оружие. Облегчившиеся кнехты утекали так прытко, что догоняли конников и латников. Кто не мог догнать, в панике орал и выл. Ревели коровы, блеяли овцы.

– Быстрее, быстрее, ваше преосвященство… – подгонял дрожащим голосом Вавжинец фон Рограу. – Спасаемся… Спасаемся… Лишь бы до Гомоля… до границы…

Посередине тракта, частично втоптанная в землю, обделанная скотиной, обсыпанная баранками и черепками побитых горшков, валялась хоругвь с огромным красным крестом. Знаком Крестового Похода.

Конрад, епископ Вроцлава, закусил губу. И дал коню шпоры. На восток. К Гомолю и Левинской просеке. Спасайся, кто жив. Только б поскорей. Поскорей. Потому что идет…

– Амброж! Идет Амброж!

* * *

– Амброж, – покачал головой Шарлей. – Бывший градецкий плебан у Святого Духа. Слышал я о нем. Он был бок о бок с Жижкой до самой смерти. Очень опасный радикал, харизматический народный трибун, истинный предводитель толпы. Умеренные каликстинцы боятся его как огня. Потому что Амброж умеренность взглядов считает предательством идеалов Гуса и Чаши. А при одном движении его головы поднимаются тысячи таборитских цепов.

– Факт, – подтвердил Горн. – Амброж буйствовал уже во время предыдущего епископского рейда в двадцать первом году. Тогда, как вы помните, все окончилось перемирием, которое с епископом Конрадом заключили Генек Крушина и Ченек из Вартенберка. Жаждущий крови монах указал на обоих как на предателей и кунктаторов,[431] и толпа кинулась на них с серпами, они едва сумели сбежать. С того времени Амброж не перестает говорить о реванше… Рейнмар, что с тобой?

– Ничего.

– Ты выглядишь так, – опередил его Шарлей, – словно тебя покинул дух. Уж не болен ли ты? Впрочем, не до того. Возвратимся к епископскому рейду, дорогой господин Муммолин. Что у него общего с нашим?

– Епископ наловил гуситов, – пояснил Горн. – Вроде бы. То есть вроде бы гуситов, потому что наловил-то наверняка. Кажется, у него был список, руководствуясь которым он и хватал. Я

говорил, что у него отличные шпики?

– Говорили, – кивнул Шарлей. – Значит, Инквизиция занята тем, что вытягивает из пленников показания, то есть вы считаете, что сейчас им будет не до нас.

– Не считаю. Знаю.

* * *

Разговор, который не мог не состояться, состоялся вечером.

– Горн.

– Слушаю тебя, юноша, самым внимательным образом.

– Собаки, хоть и жаль животное, у тебя уже нет.

– Трудно, – глаза Урбана сузились, – этого не заметить.

Рейневан громко закашлялся, чтобы обратить внимание Шарлея, который неподалеку играл с Фомой Альфой в шахматы, вылепленные из глины и хлеба.

– Ты не найдешь здесь, – продолжал он, – ни ямы от вывороченного дерева, ни гуморов, ни флюид. Словом, ничего такого, что могло бы тебя удержать от необходимости ответить на мои вопросы. Те самые, которые я задал тебе в Бальбинове, в конюшне моего убитого брата. Ты помнишь, о чем я спросил?

– С памятью у меня все в порядке.

– Прекрасно. Стало быть, ответить на те вопросы тебе также будет несложно. Итак, слушаю. Говори, не тяни.

Урбан Горн подложил руки под голову, потянулся. Потом взглянул Рейневану в глаза.

– Надо же, – сказал он. – Да как резво. И сразу же! А если нет, то что? Что со мной случится, если я не отвечу ни на один вопрос? Исходя в общем-то из справедливого предположения, что я ничем тебе не обязан? И что тогда? Если позволишь спросить?

– Тогда, – Рейневан взглядом удостоверился, что Шарлей слушает, – тебя могут побить. Причем раньше, чем ты успеешь сказать *credo in Deum patrem omnipotentem.*[432]

Горн какое-то время молчал, не меняя позы и не вынимая сплетенных рук из-под головы. Наконец сказал:

– Я уже говорил, что не удивился, увидев тебя здесь. Совершенно очевидно, ты пренебрег предостережениями и советами каноника Беесса, не послушался моих, а такое должно было для тебя скверно окончиться, чудо, что ты еще жив. Но уже сидишь, парень. Если ты до сих пор не сообразил, то сообрази: ты сидишь в Башне шутов. И требуешь от меня ответа на вопросы, домогаешься объяснений. Желаешь знать. А что, позволено будет спросить, ты намерен делать с тем, что узнаешь? На что

рассчитываешь? Что тебя выпустят отсюда для того, дабы торжественно отметить годовщину отыскания реликвий святого Смарагда? Что тебя освободит чье-то обретенное в результате покаяния добродейство? Так вот, нет, Рейневан из Белявы. Тебя ждет инквизитор и следствие. А ты знаешь, что такое *strappado?* Как ты думаешь, сколь долго ты выдержишь, когда тебя подтянут за вывернутые за спину руки, предварительно подвесив к ногам сорокафунтовый груз? А под мышки подставив факел. Сколько, по твоему мнению, понадобится времени, чтобы ты запел? Я тебе скажу: прежде, чем ты проговоришь *«Veni Sancte Spiritus».*[433]

– Почему убили Петерлина? Кто его убил?

– А ты упрям, парень, словно баран. Ты так и не понял меня? Ничего я тебе не скажу, ничего такого, что ты мог бы выболтать на пытках. Игра идет по-крупному, а ставка очень высока.

– Какая игра? – разорался Рейневан. – Какая ставка? Знаешь, где у меня ваши игры? Твои секреты уже давно перестали быть секретами. Дело, которому ты служишь, тоже перестало быть секретом. Ты думаешь, я не могу сложить два и два? Так знай же, я плевал на это. В аду у меня все ваши заговоры и религиозные споры. Слышишь, Горн? Я не требую, чтобы ты выдал сообщников, новые тайники, в которых вы прячете Иоханнеса Виклифа Англичанина, *doctor evangelicus super omnes evangelists.* Но я должен, черт побери, знать, почему, как и от чьей руки погиб мой брат. И ты мне это скажешь. Даже если мне придется это из тебя выдавить!

– Ого! Гляньте-ка на петушка!

– Вставай! Сейчас получишь по морде.

Горн поднялся. Быстрым, проворным рысьим движением.

– Спокойно, – прошипел он. – Спокойно, юный господин фон Беляу. Без нервов. Горячность вредит красоте. Ты готов испаршивиться? И потерять известный уже во всей Силезии успех у замужних дам?

Откинувшись назад, Рейневан крепко двинул его под колено ударом, которому научился у Шарлея. Застигнутый врасплох Горн упал на колени, но дальше Шарлеева тактика начала давать сбои. От удара, который должен был бы сломать Горну нос, тот ушел почти незаметным, но быстрым движением. Кулак Рейневана лишь скользнул по его уху. Горн предплечьем отразил широкий и довольно неловкий хук, по-рысьи вскочил с колен, отпрыгнул.

– Ну, ну, – сверкнул он зубами. – Кто бы мог подумать. Но если ты так этого хочешь, парень… Я к твоим услугам.

– Горн, – Шарлей, не поворачиваясь, хлебной королевой съел хлебного коня Фомы Альфы, – мы в тюрьме, я знаю правила и не ввяжусь. Но клянусь, все, что ты с ним сделаешь, я сделаю с тобой

вдвойне. Особенно включая вывихи и фрактуры.

Дело пошло быстро. Горн подпрыгнул, как истинная рысь, мягко и ловко, танцующе. Рейневан отклонился от первого удара, ответил, даже попав, но только один раз, остальные удары безрезультатно и бессильно скользнули по защитной стойке обеих рук. Горн ударил только два раза, очень быстро. Оба раза точно. Рейневан крепко ударился затылком о глинобитный пол.

– Как дети, – сказал, передвигая короля, Фома Альфа. – Ну право, совсем как дети.

– Тура бьет пешку, – сказал Шарлей. – Шах и мат.

Урбан Горн стоял над Рейневаном, потирая щеку и ухо.

– Я не хочу никогда больше возвращаться к этой теме, – холодно сказал он. – Никогда. Но чтобы не получилось, что мы напрасно дали друг другу по мордам, удовлетворю твое любопытство хоть частично и кое-что скажу. То, что касается твоего брата Петра. Ты хотел знать, кто его убил. Так вот, я не знаю кто, но знаю – что. Более чем ясно, что Петра убил твой роман с Аделью Стерча. Оказавшись поводом, поводом прекрасным, чуть ли не идеально маскирующим истинные причины. Ты не станешь отрицать, что уже и сам догадался об этом. Ты, вроде бы умеешь сложить два и два.

Рейневан стер кровь под носом. И не ответил. Облизнул распухшую губу.

– Рейнмар, – добавил Горн. – Ты скверно выглядишь. Уж нет ли у тебя жара?

Какое-то время Рейневан дулся. На Горна – по известной причине, на Шарлея – потому что тот не вмешался и не поколотил Горна, на Коппирнига за то, что тот храпел, на Бонавентуру за то, что тот вонял, на Циркулоса, на брата Транквилия, на Башню шутов и на весь мир. На Адель де Стерча, потому что та безобразно повела себя по отношению к нему. На Катажину Биберштайн за то, что он безобразно повел себя по отношению к ней.

Вдобавок ко всему он чувствовал себя скверно. Простудился, его знобило, он плохо спал, а просыпался замерзший и весь в поту.

Его мучили сны, в которых все время и непрестанно он чувствовал запах Адели, ее пудры, ее румян, ее помады, ее хны – попеременно с запахом Катажины, ее женственности, девичьего пота, мяты и аира в волосах. Пальцы и ладони помнили повторяющиеся в снах прикосновения и тоже сравнивали. Не переставая сравнивали…

Он просыпался, залитый потом. А наяву вспоминал и не

переставал сравнивать.

Скверное настроение усиливали Шарлей и Горн, которые после инцидента подружились, сблизились, по вкусу, видать, пришелся ловкач ловкачу, и притерлись, видать, пройдоха к пройдохе. Посиживая «Под Омегой», ловкачи вели долгие беседы. А на некой проблеме, видимо, увязли, постоянно к ней возвращались. Даже если начинали с совершенно иного, ну, хотя бы с перспективы выбраться из этой дыры.

– Кто знает, – тихо говорил Шарлей, задумчиво обгрызая обломанный ноготь большого пальца. – Кто знает, Горн. Может, нам повезет… У нас, видишь ли, есть некоторая надежда… Кое-кто за пределами этих стен.

– Это кто же? – быстро взглянул на него Горн. – Если можно узнать.

– Узнать? А зачем? Ты знаешь, что такое *strappado?* Как думаешь, долго ли выдержишь, когда тебя подвесят за…

– Ладно, ладно, успокойся. Интересно, случаем, ваша надежда не в любовнице Рейнмара, Адели де Стерча? Пользующейся сейчас, как болтает народ, большим успехом и влиянием среди силезских Пястов?

– Нет, – возразил Шарлей, которого заметно позабавила яростная мина Рейневана. – На нее-то как раз мы надежд не возлагаем. Наш дорогой Рейнмар и вправду пользуется успехом у слабого пола, но все это не связано ни с какими благами, кроме, разумеется, весьма кратковременной приятности от похендожки.

– Да, да, – как бы задумался Горн, – одного успеха у женщин недостаточно, нужно еще счастье. Хорошая, выражаясь окольно, рука. Тогда есть шансы заработать не только огорчения и утраченные прелести любви, но и какой-то профит. Хотя бы в такой ситуации, как наша. Ведь не кто иной, а именно влюбленная девчушка высвободила из оков Вальгера Удалого. Влюбленная сарацинка вытащила из рабства Уона Бордоского. Литовский князь Витольд сбежал из тюрьмы в замке Трокай с помощью влюбленной жены, княжны Анны… Черт побери, Рейнмар, ты действительно скверно выглядишь.

…Ecce enim veritatem, dilexisti incerta et occulta sapi entae tuae manifestasti mihi. Asperges me hissopo, et mundabor…[434]

– Эй! Не надо ли там кой-кого покропить! *Lavabis me…* Эй! Не зевай! Да, да, Коппирниг, тебе говорю! А ты, Бонавентура, чего трешься о стену, ровно свинья? Во время молитвы? Достоинства, достоинства больше! И у кого, хотел бы я знать, так ноги воняют? *Lavabis me et su per nivem dealbabor. Auditui meo dabis gaudium.* Святая Дымпна… А с этим что такое?

– Он болен.

У Рейневана болела спина, на которой он лежал. Он удивился, что лежит, потому что только что, молясь, стоял на коленях. Пол холодил, мороз пробивался сквозь солому, он весь дрожал, щелкал зубами так, что от спазм болели мышцы челюстей.

– Люди! Он же раскален, будто печь Молоха!

Рейневан хотел возразить, сказать, мол, разве они не видят, что он мерзнет, что дрожит от холода. Хотел попросить, чтобы его чем-нибудь накрыли, но не мог выдавить ни звука сквозь звенящие зубы.

– Лежи, не двигайся.

Рядом кто-то хрипел, задыхался от кашля. «Циркулос, кажется, это Циркулос так кашляет», – подумал он, неожиданно удивившись тому, что кашляющего, хоть и лежащего всего в двух шагах от него, он видит как бесформенное, размывчатое пятно. Он заморгал. Не помогло. Почувствовал, что кто-то отирает ему лоб и лицо.

– Лежи спокойно, – голосом Шарлея проговорила плесень на стене. – Лежи.

Он был чем-то накрыт, но кто его накрывал, не помнил. Его уже трясло не так сильно, зубы не отбивали дробь.

– Ты болен.

Он хотел сказать, что лучше знает, в конце концов, он ведь лекарь, изучал медицину в Праге и умеет отличить болезнь от минутного озноба и слабости. К собственному удивлению, из его раскрытого рта вместо мудрой речи вырвался лишь какой-то чудовищный скрип. Он сильно кашлянул, горло заболело и начало печь. Он собрался с силами и кашлянул еще раз. И от усилия потерял сознание.

Он бредил. Грезил. Об Адели и о Катажине. В носу стоял запах пудры, румян, мяты, хны, аира. Пальцы рук помнили прикосновения, мягкость, твердость, гладкость. Когда он закрывал глаза, то видел скромную, смущенную *nuditas virtualis,* маленькие округлые грудки с потвердевшими от желания сосками. Тонкую талию, узкие бедра. Плоский живот. Стыдливо сжатые бедра.

Он уже не знал, кто из них кто.

Он боролся с болезнью две недели, до Всех Святых. Потом, когда уже выздоровел, узнал, что кризис и перелом наступил около Симона и Юды, как и положено, на седьмой день. Узнал также, что травяные лекарства, навары, которыми его поили,

приносил брат Транквилий. А подавали Шарлей и Горн, попеременно сидевшие около него.

Глава двадцать восьмая,

в которой наши герои по-прежнему, если воспользоваться словами пророка Исаии, sedentes in tenedris,[435] а выражаясь по-людски, продолжали сидеть в Башне шутов. Потом на Рейневана начинают нажимать, то с помощью аргументов, то с помощью инструментов. И дьявол знает, чем бы все это кончилось, если б не знакомства, заведенные в годы учебы

Две недели, которые болезнь вычла у Рейневана из биографии, ничего особого в Башне не изменили. Ну, стало еще холодней, что, однако, после Задушек никак не могло считаться феноменом. В «меню» основное место стала занимать сельдь, напоминая о приближающемся адвенте.[436] В принципе канонический закон требовал поститься во время адвента лишь четыре недели перед Рождеством, но особо набожные – а божегробцы были таковыми – начинали пост раньше.

Из других событий можно назвать то, что вскоре после святой Урсулы Миколай Коппирниг покрылся такими ужасными и устойчивыми чирьями, что их пришлось вскрывать в госпитальном *medicinarium'* е. После операции астроном провел несколько дней в госпиции. О тамошних удобствах и пище он рассказывал так красочно, что остальные жильцы Башни сообща решили обзавестись чирьями. Лохмотья и солому с лежанки Коппирнига разодрали и разделили, чтобы заразиться. Действительно, вскоре Институра и Бонавентуру обсыпали нарывы и язвы. Однако с чирьями Коппирнига они не шли ни в какое сравнение, и божегробовцы не сочли их заслуживающими операции и госпитализации.

Шарлею удалось остатками пищи приманить и приручить большую крысу, которой он дал имя Мартин в честь, как он выразился, исполняющего в данный момент обязанности наместника Бога на земле. Некоторых обитателей Башни шутка развеселила, других возмутила. В равной степени она коснулась Шарлея и Горна, который окрещение крысы прокомментировал репликой *Habemus papam.*[437] Однако событие дало повод для новой темы вечерних бесед – в этом смысле также мало что в Башне изменилось. Ежевечерне усаживались и дискутировали. Чаще всего около подстилки Рейневана, все еще слишком слабого, чтобы вставать, и питающегося специально поставляемым божегробовцами куриным бульоном. Урбан Горн кормил Рейневана. Шарлей кормил крысу Мартина. Бонавентура

бередил свои язвы. Коппирниг, Институр, Камедула и Исаия прислушивались. Фома Альфа ораторствовал. А инспирированными крысой предметами бесед были папы, папства и знаменитое пророчество святого Малахия из Армана, архиепископа Ардынацейского.

– Признайте, – говорил Фома Альфа, – что это очень точное предсказание, точное настолько, что ни о какой случайности и разговора быть не может. Малахию было Откровение, сам Бог обращался к нему, излагая судьбы христианства, в том числе имена пап, начиная от современного ему Селестина Пидо до Петра Римлянина, того самого, понтификат которого вроде бы окончится гибелью и Рима, и папства, и всей христианской веры. И пока что предсказания Малахия исполняются до йоты.

– Только в том случае, если как следует поднатужиться, – холодно прокомментировал Шарлей, подсовывая Мартину под усатую мордочку крошки хлеба. – На том же принципе можно, если постараться, натянуть тесные башмаки. Только вот ходить в них не удастся.

– Неправду говорите, видимо, от незнания. Пророчество Малахия безошибочно рисует всех пап как живых. Возьмите, например, недавние времена схизмы – тот, кого предсказание именует Космединским Месяцем, это же Бенедикт XIII, умерший и недавно проклятый авиньонский папа Педро Луна, бывший некогда кардиналом в Марии в Космедине. После него у Малахия идет *cubus de mixtione.*[438] И кто же это, как не римский Бонифаций IX, Петр Томачелли, у которого в гербе шашешница?

– А названный «С лучшей звезды», – вставил, расковыривая язву на икре, Бонавентура, – это ж Иннокентий VII, Косимо де Мильорати с кометой на гербовом щите. Верно?

– Истинная правда! А следующий папа, у Малахия «Кормчий с черного моста», это Григорий XII, Анджело Корраро, венецианец. А «Бич солнечный»? Не кто иной, как критский Петр Филаргон, Александр V, у которого солнце в гербе. А поименованный в пророчестве Малахиевом «Олень Сирений»…

– И тогда хромой выскочил, как олень, и язык немых радостно воскликнет. Ибо взольются потоки вод…

– Окстись, Исаия! Ведь олень это…

– Это кто же? – фыркнул Шарлей. – Знаю, знаю, что вы втиснете сюда, как ногу в тесный башмак, Балтазара де Косса, Иоанна XXIII. Но это ведь не папа, а антипапа, никак не сочетающийся с перечнем. Кроме того, скорее всего ни с оленем, ни с сиреной не имеющий ничего общего. Иначе говоря, здесь Малахия наплел. Как и во многих других местах своего знаменитого пророчества.

– Злую, ох злую волю проявляете, господин Шарлей! – взъерепенился Фома Альфа. – Придираетесь. Не так следует к пророчествам подходить! В них надобно видеть то, что абсолютно истинно, и именно это считать доказательством истинности целого! А то, что у вас, как вы полагаете, не сходится, нельзя называть фальшью, а скромно признать, что, будучи малым смертным, вы не поняли слова Божиего, ибо не было оно однозначным. Но время правду докажет.

– Хоть сколь угодно времени истечет, ничто лжи в истину не превратит.

– Вот в этом, – вклинился с усмешкой Урбан Горн, – ты не прав, Шарлей. Недооцениваешь, ох недооцениваешь ты силу времени.

– Все вы профаны, – провозгласил со своей подстилки прислушивавшийся к разговору Циркулос. – Неучи! Все. Право, слушаю я и слышу: *stultus stulta loquitur*.[439]

Фома Альфа указал на него головой и многозначительно постучал себя по лбу. Горн хмыкнул. Шарлей махнул рукой.

Крыса посматривала на происходящее мудрыми черными глазками. Рейневан посматривал на крысу. Коппирниг посматривал на Рейневана.

– А что, – неожиданно спросил именно Коппирниг, – вы скажете о будущем папства, господин Фома? Что об этом говорит Малахия? Кто будет следующим папой после Святого Отца Мартина?

– Надо думать, Олень Сирений, – усмехнулся Шарлей.

– И тогда хромой выскочит, как олень…

– Замолкни, псих. Я же сказал! А вам, господин Миколай, я отвечу так: это будет каталонец. После теперешнего Святого Отца Мартина, названного «Колонной златой пелены», Малахия упоминает о Барселоне.

– О «схизме Барселонской», – уточнил Бонавентура, успокаивая всхлипывающего Исаию. – А из этого следует, что речь идет об Идзиго Муньозе, очередном после де Луны, схизматике, именуемом Клементием VIII. Здесь нет никакого предсказания о Мартине V.

– Ах, серьезно? – преувеличенно искренне удивился Шарлей. – Надо же! Какое облегчение.

– Если учитывать только римских пап, – резюмировал Фома Альфа, – то дальше у Малахии идет «Небесная волчица».

– Так и знал, что в конце концов до этого дойдет. *Guria romana*[440] всегда славилась волчьими законами и обычаями, но чтобы, смилостивься над нами Господь, волчица уселась на Престоле Петровом?

– И к тому же самка, – съехидничал Шарлей. – Опять? Мало было одной Иоанны? А ведь говорили, что там будут тщательно проверять, у всех ли кандидатов есть яйца.

– Отказались от проверок, – подмигнул ему Горн. – Слишком многих приходилось отсеивать.

– Неуместные шуточки, – нахмурился Фома Альфа, – к тому же еретичеством попахивают…

– Постоянно, – угрюмо добавил Инститор, – кощунствуете. Как с той вашей крысой.

– Довольно, довольно, – жестом успокоил его Коппирниг. – Вернемся к Малахии. Так кто будет очередным папой?

– Я проверял и знаю, – Фома Альфа гордо осмотрелся, – что принимать во внимание можно лишь одного из кардиналов. Габриеля Кондульмера, бывшего сиенского епископа. А у Сиены в гербе, учтите, волчица. Этого Кондульмера, попомните мои и Малахии слова, изберет конклав после папы Мартина, дай ему Боже как можно более долгий понтификат.

– Что-то не верится, – покрутил головой Горн. – Есть более верные кандидаты, такие, о которых знают, которые делают блестящую карьеру. Альберт Бранда Кастильоне и Джордано Орсини, оба члены коллегии. Или Ян Сервантес, кардинал у Святого Петра в Оковах. Или хотя бы Бартоломео Капри, архиепископ Милана…

– Папский камерлинг[441] Ян Паломар, – добавил Шарлей. – Эгидий Чарлиер, декан в Камбрэ, кардинал Хуан де Торквемада, Ян Стойковиц из Рагузы, наконец. Мне думается, у Кондульмера, о котором, если быть честным, я вообще не слышал, очень малые шансы.

– Малахиево пророчество, – пресек дискуссию Фома Альфа, – непогрешимо.

– Чего нельзя сказать о его интерпретаторах, – возразил Шарлей.

Крыса обнюхивала миску Шарлея. Рейневан с трудом приподнялся, оперся спиной о стену.

– Эх, господа, господа, – проговорил он, отирая пот со лба и сдерживая кашель. – Сидите в Башне, в темном заточении. Неизвестно, что будет завтра. Может, поволокут нас на муки и смерть? А вы спорите о папе, который взойдет на престол только через шесть лет…

– А откуда вы знаете, – захлебнулся слюной Фома Альфа, – что через шесть?

– Не знаю. Так у меня как-то вырвалось.

* * *

В вигилию[442] святого Мартина, десятого ноября, когда Рейневан уже совершенно выздоровел, сочли излечившимися и освободили Исаию и Нормального. Предварительно их несколько раз отводили на исследования. Неизвестно, кто их проводил, но кто бы это ни был, он, видимо, решил, что непрекращающаяся мастурбация и общение исключительно при помощи цитат из книги пророка ничего не доказывают и ничего отрицательного о психическом состоянии не говорят. В конце концов, цитировать книгу Исаии доводилось и папе, да и мастурбация тоже дело вполне человеческое. У Миколая Коппирнига об этой материи было иное мнение…

– Подготавливают территорию, – угрюмо заметил он, – для инквизитора. Убирают психов и ненормальных, чтобы инквизитору не пришлось тратить на них времени. Оставляют одни сливки. То есть нас.

– Мне, – поддакнул Урбан Горн, – тоже так сдается.

К разговору прислушивался Циркулос. И вскоре переселился на другое место. Собрал в охапку солому и прошлепал, настоящий лысый пеликан, к противоположной стене, где в отдалении свил себе новое гнездо. Стена и пол мгновенно покрылись иероглифами и идеограммами. Преимущественно знаками зодиака, пентаграммами и гексаграммами, не было недостатка в спиралях и тетраксисах, повторялись исходные литеры: алеф, мем и шин. И, конечно же, было что-то вроде древа сефирот, а также различные другие символы и знаки.

– Ну-с, что скажете, – указал движением головы Фома Альфа, – касательно этой дьявольщины?

– Инквизитор, – вынес вердикт Бонавентура, – возьмет его первым. Попомните мои слова.

– Сомневаюсь, – заметил Шарлей. – Я думаю, наоборот, его даже выпустят. Если действительно освобождают придурков, то для него лучшего определения не придумаешь.

– Полагаю, – возразил Коппирниг, – тут вы ошибаетесь.

Рейневан был с ним согласен.

В меню абсолютное первенство держала постная селедка, вскоре даже крыса Мартин стала есть ее с явным нежеланием. И Рейневан решился.

Циркулос не обратил на него внимания. Занятый малеванием на стене Печати Соломона, он не заметил, когда тот подошел. Рейневан кашлянул. Раз, потом другой. Громче. Циркулос не повернул головы.

– Не засти мне свет!

Рейневан опустился на корточки. Циркулос накорябал на

охватывающем круге симметричную надпись: AMASARAC, ASARADEL, AGLON, VACHEON и STIMULAMATON.

– Чего тебе нужно?

– Я знаю эти сигли и заклинания. Я о них слышал.

– Дааaa? – Только теперь Циркулос поднял на него глаза. Немного помолчал. – А я слышал о провокаторах. Отойди, змейство.

Он отвернулся спиной и снова принялся корябать. Рейневан откашлялся, набрал воздуха.

– *Clavis Salomonig.*[443]

Циркулос замер. Несколько мгновений не шевелился. Потом медленно повернул голову. И шевельнул зобом.

– *Speculum salvationis,*[444] – ответил он, но в его голосе все еще звучала подозрительность и неуверенность. – Толедо?

– *Alma Mater nostra.*[445]

– *Veritas Domini?*

– *Manet in saeculum.*[446]

– Аминь. – Только теперь Циркулос показал в улыбке почерневшие остатки зубов, оглянулся, проверяя, не подслушивает ли кто-нибудь. – Аминь, юный собрат. Которая академия? Краков?

– Прага.

– А я, – Циркулос улыбнулся еще шире, – Болонья. Потом Падуя и Монпелье. В Праге тоже бывал… Знал докторов, мэтров, бакалавров… Мне не упустили возможность об этом напомнить. При аресте. А инквизитор пожелает знать детали… А тебя, юный собрат? О чем будет выспрашивать тебя спешащий к нам защитник веры католической? Кого ты знал в Праге? Попробую угадать: Яна Пшибрама, Яна Кардинала? Петра Пайне? Якубка из Стшибора?

– Я, – Рейневан помнил предупреждение Шарлея, – никого не знал. Я невиновен. Попал сюда случайно. По недоразумению.

– *Cedes, certes,*[447] – махнул рукой Циркулос. – А как же иначе-то? Если постараешься убедить их в своей невиновности, то, даст Бог, выйдешь целым. Шансы у тебя есть. Не то что у меня.

– Да вы что…

– Я знаю, что говорю, – прервал Циркулос. – Я – рецидивист. *Haereticus relapsus.*[448] Понимаешь? Пыток я не выдержу, сам себя закопаю. Костер гарантирован. Поэтому…

Он указал рукой на начертанные на стене символы.

– Поэтому, как видишь, я комбинирую.

* * *

Прошли сутки, прежде чем Циркулос сказал, что именно он комбинирует. Сутки, во время которых Шарлей проявил явное неудовольствие по поводу нового Рейнмарова товарищества.

– Совершенно не понимаю, – заявил он, поморщившись, – зачем ты тратишь время на болтовню с недоумком.

– Оставь его в покое, – неожиданно встал на сторону Рейневана Горн. – Пусть болтает с кем хочет. Может, ему нужно отвлечься?

Шарлей махнул рукой.

– Эй! – крикнул он вслед отходящему Рейневану. – Не забудь. Сорок восемь!

– Что?

– Количество букв в слове «Аполлион», помноженное на количество букв в слове «кретин»!

– Я комбинирую, – Циркулос понизил голос, внимательно осмотрелся, – комбинирую, как отсюда выбраться.

– С помощью магии, верно? – Рейневан тоже оглянулся.

– По – другому не получится, – бесстрастно отметил факт старец. – В самом начале я уже пытался подкупить. Получил палкой. Пробовал пугать. Получил снова. Пробовал прикинуться идиотом, но они на это не клюнули. Симулировал опутанного дьяволом. Если б инквизитором по-прежнему был старый Добенек, вроцлавский приор в Святом Войцехе, мне, может быть, и удалось бы. Но новый, молодой, о, этот не даст себя провести. И что же остается?

– Действительно, что?

– Телепортация. Перенесение в пространстве.

На следующее утро Циркулос, чутко следя за тем, не подслушивает ли кто-нибудь, изложил Рейневану свой план, предварив его, а как же иначе, длинным изложением теории чернокнижества и гоеции.[449] Телепортация, как узнал Рейневан, вполне возможна и даже проста, если тебе, само собой разумеется, посодействует соответствующий демон. Рейневан узнал также, что таких демонов несколько, любая приличная книга заклинаний приводит свои типы. Так, в соответствии с «Гримуаром папы Гонория», телепортационным демоном является Саргатан, которому подчиняются вспомогательные демоны: Зорай, Валефар и Фарай. Однако призвать их невероятно сложно и очень небезопасно. Поэтому «Малый Ключ Соломона» рекомендует обращаться к иным демонам, известным под именами Ватин и Сесре. Однако многолетние изыскания Циркулоса, как под конец лекции узнал Рейневан, склоняют его к

тому, чтобы руководствоваться указаниями еще одной магической книги, а именно *«Grimorium Verum»,* которая для осуществления телепортации рекомендует призывать демона Мерсильде.

– А как же его призвать? – осмелел Рейневан. – Без инструментария, без *occultum.*[450] *Occultum* должен соответствовать ряду условий, которые здесь, в этой грязной дыре, создать…

– Ортодоксия, – гневно прервал Циркулос, – доктринерство сколь же вредоносны в эмпирии, сколь же сужающие горизонты! *Occultum* – фурда, если у тебя есть амулет. Правда, не так ли господин формалист? Истинная правда, *ergo.* А вот и амулет. *Quod erat demonstrandum.*[451] Взгляни-ка!

Амулет оказался овальной малахитовой пластинкой размером примерно в грош с выцарапанными на ней позолоченными глифами и символами, из которых больше всего бросались в глаза змея, рыба и вписанное в треугольник Солнце.

– Это талисман Мерсильде, – гордо проговорил Циркулос. – Я спрятал его и тайком пронес сюда. Осмотри. Смелее.

Рейневан протянул было руку, но тут же отдернул. Засохшие, но все еще четко видимые следы на талисмане однозначно свидетельствовали о том, в каком месте он был упрятан.

– Попытаюсь сегодня ночью. – Старец не обиделся на реакцию. – Пожелай мне фортуны, юный адепт. Как знать, может, когда-нибудь еще…

– У меня, – откашлялся Рейневан, – есть еще один… Последний вопрос. Скорее, даже просьба. Я имею в виду выяснение… Хммм… Некоего приключения… События…

– Говори.

Рейневан быстро, но подробно изложил все. Циркулос не прерывал. Выслушал спокойно и сосредоточенно. Потом перешел к вопросам.

– Какой был день? Точная дата?

– Последний день августа. Пятница. За час перед нешпорами.

– Хм-м-м… Солнце в знаке Девы, то есть Венеры… Управляющий гений двойственный, халдейский Самас, иудейский Гамалиель. Луна, как у меня получается из вычислений, полная… Скверно… Час Солнца… Не самое лучшее, но и не худшее… Моментик…

Он отгреб солому, протер рукой глинобитный пол, накорябал на нем какие-то фигуры и цифры, прибавлял, умножал, делил, бормоча что-то об асцендентах, углах, эпициклах, деферентах, квинкунксах. Наконец поднял голову и забавно пошевелил зобом.

– Ты говорил о каких-то заклинаниях. Каких?

Рейневан, с трудом вспоминая, начал перечислять. На это ушло совсем немного времени.

– Знаю, – небрежно махнув рукой, прервал Циркулос. – *Arbatel,* хоть и перепутанный по незнанию. Удивительно, как это вообще сработало… И никто не погиб трагической смертью… Впрочем, не важно. Видения были? Многоголовый лев? Наездник на белом коне? Ворон? Огненный змей? Нет? Интересно. И ты говоришь, что этот Самсон, когда очнулся… не был собой, так?

– Так он утверждал. И были определенные… основания. Именно это меня интересует, именно это я хотел узнать. Что-либо подобное вообще возможно?

Циркулос какое-то время молчал, потирая пятку о пятку. Потом высморкался.

– Космос, – сказал он наконец, задумчиво вытирая пальцы о подол халата, – это упорядоченное целое и идеальный иерархический порядок. Равновесие между *gradacio* и *corruptio,* рождением и умиранием, творением и деструкцией. Космос, как учит Августин, есть *gradatio entium,* лестница бытий, видимых и невидимых, материальных и нематериальных. Одновременно Космос – как книга. И как учит Гуго от святого Виктора – чтобы понять книгу, недостаточно рассматривать красивые формы литер. Тем более что наши глаза зачастую слепы…

– Я спросил, возможно ли это.

– Сущее – не только *substantia,* Сущее – это одновременно *accidens,* нечто, происходящее непреднамеренно… Порой магически… Магическое же в человеке стремится к слиянию с магическим во вселенной… Существуют астральные тела и миры… Невидимые нам. Об этом пишет святой Амброзий в своем *«Haexfemeron'e»,* Солинус в *«Liber M emorabilium»,* Рабан Мавр в *«De universo»,* а мэтр Экхарт…

– Возможно, – резко прервал Рейневан, – или нет?

– Возможно, а как же, – кивнул старик. – Тебе следует знать, что в этих вопросах я слыву специалистом. Практически экзорцизмами я не занимался, а изучал проблему по другим причинам. Уже дважды, молодой человек. Я освободил Инквизицию, прикидываясь опутанным. А чтобы как следует прикидываться, надо знать. Поэтому я изучал *«Dialogus de energia et operatione daemonium»* Михаила Пселла, *«Exorcisandis obsessis a daemonio»* папы Льва III, *«Pitraxis»,* переведенный с арабского…

– …Альфонсом Мудрым, королем Леона и Кастилии. Знаю. А конкретней о данном случае можно?

– Можно, – выпятил синие губы Циркулос. – Конечно же, можно. В данном случае надо было помнить, что каждое, даже на первый взгляд минимально значимое заклинание означает пакт с

демоном.

– Стало быть, демон?

– Или *kakodaemon,* – пожал плечами Циркулос. – Или нечто такое, что мы условно определяем этим словом. Что именно? Я сказать не могу. Масса всякого разного шатается во тьме, неисчислимы *negatia parambulantia in tenembris*…

– Значит, монастырский идиот отправился во тьму, – удостоверился Рейневан, – а в его тогдашнюю оболочку вселилось *negatium perambulans.* Они обменялись. Так?

– Равновесие, – кивком головы подтвердил Циркулос. – Инь и Ян. Либо… если тебе ближе кабала, Катер и Малькут. Ежели существует вершина, высота, то должна существовать и пропасть, бездна.

– А это возможно обратить? Вернуть? Сделать так, чтобы произошел повторный обмен? Чтобы он вернулся? Вы знаете…

– Знаю… То есть не знаю.

Они некоторое время посидели молча, в тишине, нарушаемой только храпом Коппирнига, икотой Бонавентуры, бормотанием дебилов, шорохом голосов дискутирующих «Под Омегой» и *Benedictuss Dominus,* проговариваемом Камедулой.

– Он, – сказал наконец Рейневан, – то есть Самсон… называет себя Странником.

– Очень точно.

– Этакий *kakodaemon,* – сказал наконец Рейневан, – несомненно, обладает какими-то силами… сверхчеловеческими. Какими-то… способностями…

– Пытаешься сообразить, – угадал Циркулос, доказав проницательность, – нельзя ли ждать от него спасения? Не забыл ли, будучи на свободе, о попавших в Башню спутниках? Хочешь знать, можешь ли рассчитывать на его помощь? Правда?

– Правда.

Циркулос помолчал.

– Я бы не рассчитывал, – сказал он наконец с жестокой откровенностью. – Чего ради демонам отличаться в этом от людей?

Это была их последняя беседа. Удалось ли Циркулосу активировать принесенный в заднем проходе амулет и вызвать демона Мерсильде, осталось и должно было на века остаться загадкой. Из телепортации же, несомненно, ничего не получилось. Циркулос не перенесся в пространство. Он по-прежнему оставался в Башне. Лежал на подстилке навзничь, напрягшийся, прижав обе руки к груди и судорожно вцепившись пальцами в одежду.

– Пресвятая Дева… – простонал Инститор. – Прикройте ему лицо…

Шарлей обрывками тряпицы заслонил кошмарную маску, деформировавшуюся в пароксизме ужаса и боли. Искривленные, покрытые засохшей пеной губы, ощеренные зубы и мутные, стеклянные, вытаращенные глаза.

– И позовите брата Транквилия.

– Христе… – простонал Коппирниг. – Смотрите…

Рядом с подстилкой покойника животом кверху лежала крыса Мартин. Перекрученная в муке, с торчащими наружу желтыми зубами.

– Дьявол, – с миной знатока проговорил Бонавентура, – шею ему свернул. И унес душу в ад.

– Точно. Несомненно, – согласился Инститор. – Он рисовал на стенах дьявольщину и дорисовался. Любой дурак видит: гексаграммы, пентаграммы, зодиаки, каббалы, зефиры и прочие чертовы и жидовские символы. Вызвал дьявола, старый колдун. На свою погибель.

– Тьфу, тьфу, нечистая сила… Надо бы всю мазню стереть. Святой водой покропить. Помолиться, пока и к нам не прицепился Враг. Зовите монахов. Ну, над чем смеетесь? Шарлей, позвольте узнать?

– Догадайтесь?

– Действительно, – зевнул Урбан Горн. – Просто смешно то, что вы болтаете. И ваше возбуждение. Чему тут удивляться. Старый Циркулос умер, сыграл в ящик, откинул копыта, распрощался с этим светом, отправился на Афалионские луга. Пусть ему там земля будет пухом и *lux perpetua*[452] пусть ему светит. И *finis* на этом, объявляю конец траура. А дьявол? К дьяволу дьявола.

– Ох, господин Муммолин, – покрутил головой Фома Альфа. – Не шутите с дьяволом. Ибо видны здесь его делишки. Кто знает, может, он все еще крутится рядом, укрывшись во мраке. Над этим местом смерти вздымаются адовы испарения. Не чувствуете? Что это по-вашему, если не сера? Что так воняет?

– Ваши подштанники.

– Ежели не дьявол, – взъерепенился Бонавентура, – то что, по-вашему, его убило?

– Сердце, – проговорил Рейневан, правда, не совсем уверенно. – Я изучал такие случаи. Сердце у него разорвалось. Произошла *plethora.*[453] Несомый плеврой избыток желчи вызвал тумор, случилась закупорка, то есть инфаркт. Наступил *spasmus,* и разорвалась *arteria pulmanalis.*[454]

– Слышите, – сказал Шарлей. – Это говорит наука. *Sine ira et*

studio. Causa finita. Все ясно.

– Неужто? – неожиданно бросил Коппирниг. – А крыса? Что убило крысу?

– Селедка, которую она сожрала.

Наверху хлопнула дверь, заскрипели ступени, загудел скатываемый по лестнице бочонок.

– Будь благословен! Завтрак, братия. А ну, на молитву! А потом с мисочками за рыбкой!

На просьбу о святой воде, молитве и экзорцизмовании над подстилкой покойника брат Транквилий ответил весьма многозначительным пожатием плеч и вполне однозначным постукиванием по лбу. Этот факт невероятно оживил послеобеденные дискуссии. Были высказаны смелые гипотезы и предположения. В соответствии с наиболее резкими получалось, что брат Транквилий сам был еретиком и почитателем дьявола, ибо только такой человек может отказать верующим в святой воде и духовном утешении. Не обращая внимания на то, что Шарлей и Горн смеялись до слез, Фома Альфа, Бонавентура и Инститор принялись исследовать тему глубже. И делали это до того момента, когда – ко всеобщему изумлению – в дискуссию не включилась особа, от которой этого ожидали меньше всего, а именно – Камедула.

– Святая вода, – молодой священник впервые позволил соузникам услышать свой голос. – Святая вода ничего бы вам не дала. Если сюда действительно наведался дьявол. Против дьявола святая вода бессильна. Я прекрасно это знаю. Ибо видел. За что здесь и сижу.

Когда утих возбужденный гул и опустилось тягостное молчание, Камедула пояснил сказанное.

– Я, следует вам знать, был дьяконом у Вознесения Пресветлой Девы Марии в Немодлине, секретарем благочинного Петра Никита, декана клодегиаты. То, о чем я рассказываю, случилось в нынешнем году, *feria secunda post festum Laurentii mortyris.*[455] Около полудня вошел в церковь благородный господин Фабиан Пфефферкорн, *mercator,* дальний родственник декана. Очень возбужденный, потребовал, чтобы преподобный Никиш как можно скорее исповедовал его. Уж как там оно было, мне говорить не положено, ибо здесь речь идет об исповеди, да и о покойном, как бы там ни было, говорим, а о *de mortius aut nihil aut bene.*[456] Скажу только, что они вдруг принялись рядом с исповедальней кричать друг на друга. Дошло до таких выражений, впрочем, не важно, до каких. В результате преподобный не отпустил Пфефферкорну грехи, а господин

Пфефферкорн ушел, покрывая преподобного весьма некрасивыми словами, да и супротив веры и Церкви Римской изгаляясь. Когда мимо меня в притворе проходил, крикнул: «Чтоб вас, попы, дьяволы взяли!» Вот я тогда и подумал, ох, господин Пфефферкорн, как бы ты в скверный час не проговорил. И тут дьявол показался.

– В церкви?

– В притворе, в самом входе. Откуда-то сверху сплыл. Точнее, слетел, потому что был в виде птицы. Я истину говорю! Но тут же преобразился в человеческую фигуру. Держал меч блестящий, точно как на картине. И тем мечом господина Пфефферкорна прямо в лицо ткнул. Прямо в лицо. Кровь обрызгала пол…

Господин Пфефферкорн, – дьякон громко сглотнул, – руками принялся размахивать, я сказал бы, как куколка, на пальцы надетая. А мне, видать, в то время святой Михаил, покровитель мой, дал *auxilium*[457] и отвагу, потому как я, к кропильнице подскочив, в обе ладони воды святой набрал и на черта хлюпнул. И как вы думаете что? А ничего! Сплыла, как по гусю. Адское отродье глазами поморгал, выплюнул, что ему на губы попало. И глянул на меня. А я… Я, стыдно признаться, от страха тут же сомлел. А когда меня братья привели в чувство, все уже кончилось. Дьявол сгинул, пропал, господин Пфефферкорн лежал мертвец мертвецом. Без души, кою Враг, несомненно, в пекло утащил.

Да и обо мне не забыл черт, отомстил. В то, что я видел, никто верить не хотел. Решили, что я спятил, что у меня ум за разум зашел. А когда я о той святой воде рассказывал, то велено было мне молчать, наказанием пригрозили, кое ожидает за еретичество и богохульство. Тем временем дело получило огласку, в самом Вроцлаве им занимались. На епископском дворе. И именно из Вроцлава пришел приказ меня утихомирить, аки сумасшедшего под замок посадить. А я знал, как доминиканские *in pace* выглядят. Неужто позволить, чтобы меня заживо похоронили? Сбежал я из Немодлина в чем был. Но схватили меня подле Генрикова. И сюда засадили.

– Этого дьявола, – проговорил в абсолютной тишине Урбан Горн, – ты как следует успел рассмотреть? Можешь описать, как он выглядел?

– Высокий был. – Камедула снова сглотнул. – Худощавый… Волосы черные, длинные, до плеч. Нос словно клюв птичий и глаза как у птицы… Пронзительные очень. Улыбка злая. Дьявольская.

– Ни рогов! – воскликнул Бонавентура, явно разочарованный. – Ни копыт? Ни хвоста не было?

– Не было.

– Ээээ-еееe! Что ты тут нам плетешь!

Дискуссии о дьяволах, чертовщине и дьявольских делах с различной интенсивностью продолжались аж до двадцать четвертого ноября. Точнее, до завтрака. До сообщения, которое после молитвы огласил поселенцам брат Транквилий, мэтр и надзиратель Башни.

– Счастливый у нас сегодня день настал, братишки мои! Почтил нас давно ожидаемым визитом приор вроцлавских Братьев Проповедников, визитатор Святого Официума *defensor et candor fidei cotholicae,* его высокопреподобие *inquisitor a Sede Apostolica* нашей дезеции. Некоторые из присутствующих здесь, не думайте, будто я этого не знаю, маленько придуряются, болеют не той хворобой, которую мы в нашей Башне лечить обвыкли. Теперь их здоровьем и кондицией займется его преподобие инквизитор. И несомненно, вылечит! Поелику подобрал его преподобие инквизитор в ратуше нескольких крепких медикусов и множество различных медицинских инструментов. Так что подготовьтесь духом, братишки, ибо вот-вот начнется лечение.

В тот день селедка была еще противнее, чем обычно, кроме того, в тот вечер в Башне шутов не беседовали. Стояла тишина.

Весь следующий день – а он пришелся как раз на воскресенье, последнюю неделю перед адвентом, – атмосфера в Башне шутов была очень напряженной. В нервирующей и одновременно гнетущей тишине постояльцы ловили каждый долетающий сверху, от двери, стук или скрип; наконец каждый подобный звук начал вызывать у них панику и нервные расстройства. Миколай Коппирниг забился в угол, Институр начал рыдать, скрючившись на подстилке в позе плода. Бонавентура сидел неподвижно, тупо глядя вперед, Фома Альфа дрожал, закопавшись в солому, Камедула тихо молился, обратившись лицом к стене.

– Видите, – не выдержал наконец Урбан Горн. – Видите, как это действует? Что с нами делают? Вы только взгляните!

– Удивляешься? – прищурился Шарлей. – Положи руку на сердце, Горн, и скажи, что они тебя удивляют.

– Я вижу бессмысленность этого. То, что здесь происходит, результат запланированной, тщательно подготовленной акции. Следствий еще не начали, еще ничего не делается, а Инквизиция уже сломала мораль этих людей, привела их к краю психического падения, превратила в животных, поджимающих хвост при щелчке бича.

– Повторяю: ты удивляешься?

– Удивляюсь. Потому что надо бороться. Не поддаваться. И не

надламываться.

Шарлей осклабился по-волчьи.

– Ты, надеюсь, покажешь нам, как это делать. Когда придет время. Подашь пример.

Урбан Горн молчал. Потом сказал:

– Я не герой. Не знаю, что будет, когда меня подвесят, когда начнут подкручивать винты и вбивать клинья. Когда вынут из огня железо. Этого я не знаю и предвидеть не могу. Но одно знаю: мне нисколько не поможет, если я обмякну, превращусь в тряпку, примусь рыдать. Не помогут спазмы и мольбы о милости. С братьями-инквизиторами надо держать себя твердо.

– Ого!

– Именно! Они слишком привыкли к тому, что люди начинают трястись от ужаса и обделываются при одном только их появлении. Всесильные владыки жизни и смерти, они обожают власть, упиваются террором и страхом, который сеют вокруг себя. А кто они такие в действительности? Нули, псы с доминиканской псарни, полуграмотные, суеверные неучи, извращенцы и трусы. Да, да, не крути головой, Шарлей, это естественное явление у сатрапов, тиранов и палачей, это трусы, именно их трусость вкупе со всевластием делает их хищниками, а подчиненность и беззащитность жертв еще больше это усиливают. То же самое происходит и с инквизиторами. Под их вызывающими ужас капюшонами скрываются обыкновенные трусы. И нельзя распластываться перед ними и взывать к их милосердию, ибо это порождает в них еще большую чудовищность и жестокость. Им надо твердо глядеть в глаза! Хотя, повторяю, спасения это не принесет, но по крайней мере можно их попугать, порушить их хлипкую самоуверенность. Можно им напомнить Конрада из Марбурга.

– Кого?

– Конрад из Марбурга, – пояснил Шарлей. – Инквизитор Надрейнской земли, Тюрингии и Гессена. Когда своим двуличием, провокациями и жестокостью он вконец довел гессенских дворян до предела, те устроили на него засаду и изрубили. Со всей его свитой. Ни одна живая душа не уцелела.

– И ручаюсь вам, – добавил Горн, поднимаясь и отходя к параше, – что у каждого инквизитора навсегда врезалось в память это имя и событие. Так что запомните мой совет!

– Что ты думаешь о его совете? – буркнул Рейневан.

– У меня другой, – ответил угрюмо Шарлей. – Когда за тебя примутся всерьез, говори. Признавайся. Заваливай других. Выдавай. Сотрудничай. А героя сделаешь из себя потом. Когда будешь писать мемуары.

Первым на следствие взяли Миколая Коппирнига. Астроном, который до той поры старался не показывать страха, увидев направляющихся к нему рослых инквизиторских пособников, совершенно потерял голову. Сначала кинулся в бессмысленное бегство – ведь бежать-то было некуда. Когда его поймали, бедняга принялся верещать, рыдать, вырываться, извиваться угрем в ручищах схвативших его дылд. Разумеется, впустую, единственное, чего он добился, это ударов. Ему расквасили нос, через который, когда его выводили, он очень смешно мычал.

Но никто не смеялся.

Коппирниг уже не вернулся. Когда наутро пришли за Институтором, тот бурных сцен не закатывал, был спокоен, только плакал и в полном отчаянии всхлипывал. Однако, когда его хотели поднять, наделал в штаны. Сочтя это актом сопротивления, дылды, перед тем как его вытащить, крепко избили.

Институтор тоже не вернулся.

Следующий – в тот же день – был Бонавентура. Совершенно подуревший от страха городской писарь принялся ругать инквизиторских пособников. Кричать и пугать их своими связями и знакомствами. Мужики, естественно, не испугались знакомств, им было начхать на то, что писарь играл в пикет с бургомистром, плебаном, менялой и старшиной цеха пивоваров. Бонавентуру выволокли, предварительно как следует отлупцевав.

Он не вернулся.

Четвертым в инквизиторском списке был, вопреки черной ворожбе, не Фома Альфа, который, ожидая этого, всю ночь плакал и молился попеременно, но Камедула. Камедула совершенно не сопротивлялся, прислужникам не пришлось его даже трогать. Бросив собратьям по несчастью тихое «прощайте», немодлинский дьякон перекрестился и пошел на лестницу, покорно опустив голову, но шагом спокойным и твердым, которого не устыдились бы первые мученики, идущие на арены Нерона или Диоклетиана.

Камедула не вернулся.

– Следующим, – сказал с угрюмой уверенностью Урбан Горн, – буду я.

Он ошибся.

Убежденность в своей судьбе настигла Рейневана уже в тот момент, когда наверху хлопнула дверь, а залитые косыми лучами солнца ступени загудели и заскрипели под ногами прислужников, которых на этот раз сопровождал брат Транквилий.

Рейневан поднялся, пожал руку Шарлею. Демерит ответил

крепким пожатием, в его лице Рейневан впервые увидел что-то вроде очень, даже очень серьезной заботы. Мина Урбана Горна говорила сама за себя.

– Держись, брат, – проговорил он, до боли стискивая Рейневану руку. – Помни о Конраде из Марбурга.

– Не забывай, – добавил Шарлей, – о моем совете.

Рейневан помнил и о том, и о другом, от этого ему вовсе не было легче.

Возможно, его мина, а может быть, какое-то незаметное движение заставили громил подскочить к нему. Один схватил его за ворот и очень быстро отпустил, сгорбившись, ругаясь и стискивая локоть.

– Без насилия, – напомнил с явным нажимом брат Транквилий, опуская палку. – Без принуждения. Это, как бы там ни было и вопреки видимости, госпиталь. Понятно?

Громилы заворчали, кивая головами. Божегробовец указал Рейневану на лестницу.

Холодный бодрящий воздух чуть не свалил его с ног, а когда он вдохнул полными легкими, то покачнулся, закружилась голова, словно после глотка самогона на пустой желудок. Он наверное бы упал, но умудренные опытом громилы подхватили его под локти. Таким образом с ходу провалился его сумасшедший план бегства. Либо смерти в борьбе. Теперь, когда его тащили, он мог только переставлять ноги.

Госпициум он видел впервые. Башня, из которой его вывели, замыкала *cul-de-sac*[458] сходящихся стен. По противоположной стороне, у ворот, притулился к стене домик, вероятно, там находились госпиталь и *medicinarium.*[459] А также, судя по запаху, кухня. Навес у стены был забит лошадьми, притопывающими среди луж мочи. Всюду крутились вооруженные люди. «Инквизитор, – догадался Рейневан, – прибыл с многочисленным эскортом».

Из *medicinarium' a,* к которому они направлялись, доносились высокие отчаянные крики. Рейневану показалось, что он различает голос Бонавентуры. Транквилий поймал его взгляд и, приложив палец к губам, приказал молчать.

Внутри здания, в светлой комнате, он оказался как во сне. Сон был прерван ударом, болью в коленях. Его кинули перед столом, за которым сидели трое монахов в рясах – божегробовец и два доминиканца. Он заморгал, тряхнул головой. Сидящий в центре доминиканец, тощага с испещренной коричневыми пятнами лысиной над узким веночком тонзуры, заговорил. Голос у него был неприятный. Скользкий.

– Рейнмар из Белявы. Прочти «Отче наш» и «Аве Мария».

Он прочел. Тихим и немного дрожащим голосом. И в это время доминиканец ковырял в носу, а внимание его, казалось, занимает исключительно то, что удалось оттуда извлечь.

– Рейнмар из Белявы. У светских властей на тебя имеются серьезные доносы и обвинения. Ты будешь передан светским властям для следствия и суда. Но вначале необходимо разрешить и обсудить *causa fidei.*[460] Ты обвиняешься в чародействе и еретичестве. В том, что признаешь и распространяешь идеи, противные тем, которые признает и которым поучает Святая Церковь. Признаешь ли ты свою вину?

– Не признаю… – Рейневан сглотнул. – Не признаю. Я невиновен, и я – добрый христианин.

– Разумеется. – Доминиканец пренебрежительно скривился. – Таким ты считаешь себя, коли нас – плохими и лживыми. Спрашиваю тебя: признаешь ли ты либо когда-нибудь признавал истинной веру, отличную от той, в которую наказывает верить и которой научает Римская Церковь? Признай правду.

– Я говорю правду. Я верю в то, чему учит Рим.

– Ибо наверняка твоя еретическая секта имеет в Риме свою делегатуру.

– Я не еретик. Могу поклясться!

– Чем? Моим крестом и верой, над которыми ты насмехаешься? Знаю я ваши еретические штучки! Признавайся! Когда ты пристал к гуситам? Кто втянул тебя в секту? Кто познакомил с писаниями Гуса и Виклифа? Когда и где ты принимал комунию *sub utraque?*

– Не принимал никогда…

– Молчи! Бога гневит твоя ложь! Ты обучался в Праге? У тебя есть знакомые среди чехов?

– Есть, но…

– Значит, ты признаешься?

– Да, но не в…

– Молчи! Запишите: показал, что признается.

– Я не признаюсь!

– Отказывается от признания. – Губы доминиканца искривила гримаса жестокая и одновременно радостная. – Путается во лжи и выкрутасах. Большего мне не надо. Вношу предложение о применении пытки, иначе мы не доберемся до истины.

– Отец Гжегож, – неуверенно откашлялся божегробовец, – рекомендовал воздержаться. Он хочет прослушать его сам.

– Потеря времени! – фыркнул тощага. – Впрочем, если его немного помять, он станет разговорчивее.

– Нет, – проговорил другой доминиканец. – В данный момент

нет, пожалуй, ни одного свободного места… И оба мастера заняты…

– Здесь его сапог, а винты крутить – никакая не философия, управится и помощник. А понадобится, я и сам справлюсь. Ну, пошли! Эй вы! Взять его!

Еле живой от страха Рейневан оказался в твердых, словно отлитых из бронзы лапах прислужников. Его выволокли, втолкнули в комнатку рядом. Еще не успев понять серьезность и опасность ситуации, он уже сидел на дубовом стуле, с шеей и руками в железных обоймах, а обритый наголо палач в кожаном фартуке укреплял ему на левой ноге какое-то ужасное устройство. Устройство напоминало окованный ящик, было большое, тяжелое, воняло железом и ржавчиной. А также застоявшейся кровью и прогнившим мясом. Запахом, который выделяют хорошо послужившие пеньки рубщиков.

– Я невиновен! – взвыл он. – Невиииновееееен!

– Продолжайте, – кивнул палачу тощий доминиканец. – Делайте свое дело.

Палач наклонился, что-то металлически щелкнуло, что-то заскрежетало. Рейневан зарычал от боли, чувствуя, как окованные металлом доски стискивают и давят ему ногу. Он вдруг вспомнил Институра и перестал ему удивляться. Он сам был на волосок от того, чтобы наделать в штаны.

– Когда ты пристал к гуситам? Кто дал тебе послания Виклифа? Где и от кого ты получал еретическую комунию?

Винты скрипели, палач покряхтывал, Рейневан рычал.

– Кто твой сообщник? С кем из чехов ты связан? Где вы встречались? Где прячете еретические книги, послания и постиллы?[461] Где скрываете оружие?

– Я невиииииновныыый!

– Подкрутить!

– Брат, – проговорил божегробовец, – учти, это же дворянин…

– Что-то, – худой доминиканец смерил его злым взглядом, – уж слишком вы увлекаетесь ролью адвоката. Вам полагалось, напоминаю, сидеть тихо и не вмешиваться. Подкрути!

Рейневан чуть не захлебнулся криком.

И совершенно как в сказке кто-то его крик услышал и отреагировал.

– Я же просил, – сказал этот кто-то, остановившийся в дверях и оказавшийся стройным доминиканцем лет около тридцати. – Ведь я же просил этого не делать. Ты грешишь избытком усердия, брат Арнульф. И, что еще хуже, отсутствием послушания.

– Я… Преподобный… Простите…

– Уйдите. В часовню. Помолитесь, переждите в смирении, а

вдруг да снизойдет на вас милость откровения. Эй, вы, освободите узника, да живо. И давайте, давайте, уходите. Все!

– Преподобный отец…

– Я сказал: все!

Инквизитор уселся за стол, на место, освобожденное братом Арнульфом, отодвинул немного в сторону мешающее ему распятие.

Молча указал на скамью. Рейневан встал, застонал, доковылял, уселся. Доминиканец засунул руки в рукава белой рясы, долго приглядывался к нему из-под кустистых, грозно сросшихся бровей.

– Ты родился в рубашке, – сказал он наконец, – Рейнмар из Белявы.

Рейневан кивком подтвердил, что знает. Ибо спорить было невозможно.

– Тебе повезло, – повторил инквизитор, – что в этот момент я проходил мимо… Еще бы два-три поворота винта… Знаешь, что было бы?

– Могу себе представить.

– Нет. Не можешь, уверяю тебя. Эх, Рейневан, Рейневан. Надо же – где нам довелось встретиться… В камере пыток! Хоть Богом и правдой, это можно было предвидеть еще тогда, на учебе. Вольнодумство, страсть к гулянкам и выпивкам, не говоря уж о легкодоступных женщинах… Ужас, уже там, в Праге, когда я тебя встречал «Под драконом» на Целетней, я предсказывал, что тебя схватит палач. Погубит легкомыслие.

Рейневан молчал, хоть сам, Богом и правдой, предсказывал себе именно такое будущее тогда, там, в Старом Граде «Под драконом» на Целетней, «У Барбары» на Платнерской, в любимых академиками замтузах в заулках за церквями Святых Миколая и Валентина, где Гжегож Гейнче, студент, а вскоре магистр на отделении теологии Карлова университета бывал частым и весьма веселым посетителем. Рейневан никогда в жизни не предположил бы, что любитель утех Гжегож Гейнче выдержит в монашеском одеянии. Но, видать, выдержал. «Действительно, мое счастье», – думал он, массируя ступню и икру, которые, если бы не вмешательство Гейнче, сапог, стягиваемый винтами, уже наверняка успел бы превратить в кровавое месиво.

Несмотря на принесенное чудесным спасением облегчение, дикий страх по-прежнему сдавливал голову и заставлял сутулиться. Он понимал, что это еще не конец. Видный, быстроглазый доминиканец с густыми бровями и четко обрисованной челюстью вопреки видимости не был Гжесем Гейнче, развеселым компаньоном по пражским шинкам и

борделям. Это был – мины и поклоны выходящих из комнаты монахов и исполнителей не оставляли в этом никаких сомнений – начальник, приор, наводящий ужас инквизитор Священного Официума, *defen sor et condor catholicae, его преподобие inquisitor a sede Apostoliica* на всю вроцлавскую децезию. Об этом не следовало забывать. Страшный воняющий ржавчиной и кровью сапог лежал в двух шагах, там, где его оставил палач. Палач мог явиться в любой момент, а сапог – надеть. В этом отношении у Рейневана не было никаких иллюзий.

– Нет ничего столь плохого, – прервал краткое молчание Гжегож Гейнче, – которое не обернулось бы добрым. Я не собирался применять к тебе пыток, дружок. Так что когда ты вернулся бы в Башню, на тебе не было бы никаких следов или знаков. А так ты вернешься хромая, покалеченный страшной Инквизицией. Не будет подозрения. А подозрений, дорогой мой, ты вызывать не должен.

Рейневан молчал. Из всего сказанного он более-менее понял только одно: он вернется. Остальные слова доходили до него с опозданием. И пробуждали задремавший на мгновение ужас.

– Я перекушу. Может, ты голоден? Съешь селедку?

– Нет… За селедку… благодарю.

– Ничего другого не предлагаю. Сейчас пост, а на моем месте я должен быть примером.

Гжегож Гейнче хлопнул в ладоши, отдал распоряжение. Пост – постом, пример – примером, но рыбы, которые ему принесли, были гораздо жирнее и раза в два крупнее, чем те, которыми потчевали постояльцев *N arrenturm'* а. Инквизитор пробормотал краткое *Benedic Domine* и, не откладывая, принялся обгрызать селедку, закусывая соленость толстыми ломтями ржаного хлеба.

– Так что перейдем к делу, – начал он, не прерывая еды. – Ты в беде, дружок, в очень серьезной беде. Следствие по делу о твоей якобы колдовской олесьницкой лаборатории я, правда, прикрыл, в конце концов, я тебя знаю, прогресс медицины поддерживаю, а Дух Божий витает где хочет, ничто, в том числе и развитие медицины, не осуществляется помимо Его воли. Правда, факт *adulterium*[462] мне неприятен, но я не занимаюсь преследованиями. Что касается других твоих светских преступлений, то я позволяю себе в них не верить. Как-никак я тебя знаю.

Рейневан глубоко вздохнул. Преждевременно.

– Однако, Рейнмар, остается *causa fidei.* Проблема религии и католической веры. Так вот, не знаю, не разделяешь ли ты взглядов своего покойного брата. Поясняю: касательно *Unam Sanctum,* верховенства и непогрешимости папы, таинств и

преосуществления. Причастия под двумя видами. А также в отношении Библии для толпы, устной исповеди, существования чистилища. И так далее.

Рейневан раскрыл рот, но инквизитор остановил его жестом.

– Не знаю, – продолжал он, выплюнув косточку, – читаешь ли ты, как твой брат, Оккама, Вальдхаузена, Виклифа, Гуса и Иеронима, распространяешь ли, как и брат, поименованные произведения по Силезии, Мархии и Великопольше. Не знаю, даешь ли ты, по примеру брата, укрытие гуситским эмиссарам и шпионам. Короче – еретик ли ты. Полагаю – а проблему я немного изучил, – что нет. Что ты невиновен. Считаю, что в эту аферу тебя просто впутала случайность, если, конечно, правильно так называть пару больших голубых глаз Адели фон Стерча. И известной мне твоей слабости к таким большим глазам.

– Гжегож… – Рейневан с трудом продавил слова сквозь стиснутое спазмой горло. – То есть простите, преподобный отец… Уверяю, у меня нет ничего общего с еретичеством. И у моего брата, жертвы преступления, тоже…

– Ручаться за брата поостерегись, – прервал его Гжегож Гейнче. – Ты удивишься, узнав, сколько было на него доносов, к тому же небезосновательных. Он оказался бы перед трибуналом. И выдал бы сообщников. Верю, тебя среди них не было бы.

Он отбросил хребет селедки, облизнул пальцы.

– Однако конец неразумной деятельности Петра де Беляу, – продолжил, принимаясь за вторую рыбину, – положило не правосудие, не уголовные деяния, не *poenitentia,*[463] а преступление. Преступление, виновных в котором я рад был бы увидеть наказанными. Ты тоже, верно? Вижу, что да. Так знай, они будут наказаны, причем вскоре. Знание этого должно помочь тебе принять решение.

– Какое… – Рейневан сглотнул. – Какое решение?

Гейнче помолчал, кроша кусочек хлеба. Из задумчивости его вывел ужасный крик человека, которому причиняют боль. Очень сильную боль.

– Брат Арнульф, – указал головой инквизитор, – слышу, недолго молился, быстро закончил и вернулся к занятиям. Усердный это человек, усердный. Крайне. Но он напоминает, что и у меня есть обязанности. Так что давай быстренько заканчивать.

Рейневан скорчился. И правильно поступил.

– Тебя, дорогой Рейневан, впутали в немалую аферу. Превратили в инструмент. Сочувствую. Но коли уж ты стал инструментом, так было бы грешно тобой не воспользоваться, тем более с благой целью и во славу Господа Бога, *ad maiorem Dei gloriam.* Итак, ты выйдешь на свободу. Я вытащу тебя из Башни и

оградy от тех, кто тебя подстерегает, а таких набралось немало. Смерти твоей жаждут, насколько мне известно, Стерчи, князь Ян Зембицкий, любовница Яна Адель Стерчева, раубриттер Буко фон Кроссиг, а также – по причинам, которые мне еще надобно выяснить, – благородный Ян фон Биберштайн… Ха, действительно есть причины опасаться за жизнь. Но, как сказано, я приму тебя под свою защиту. Не даром, разумеется. За все надо платить. *Do ut des.* Вернее: *ut facias.*[464]

– Я организую, – инквизитор заговорил быстрее, словно проговаривал выученный заранее текст, – я все организую так, чтобы в Чехии, куда ты направишься, это не вызвало никаких подозрений. В Чехии ты установишь контакты с гуситами, с людьми, которых я тебе укажу. Сложностей быть не должно. Ведь ты же брат послужившего гуситам Петра из Белявы, праведного христианина, мученика за правое дело, убитого проклятыми папистами.

– Я должен стать… – прошептал Рейневан. – Я должен стать шпионом?

– *Ad maiorem,* – пожал плечами Гейнче, – *Dei gloriam.* Каждый должен служить как может.

– Я не гожусь… Нет, нет, Гжегож, только не это. Я не согласен. Нет.

– Альтернатива, – глянул ему в глаза инквизитор, – тебе известна.

Истязаемый в глубине дома человек завыл и тут же зарычал, захлебнулся ревом. Рейневан и без того догадывался, какова будет альтернатива…

– Ты не поверишь, – подтвердил его догадку Гейнче, – что только не выясняется при болезненных конфесатах.[465] Какие тайны выдаются. Даже тайны алькова. На следствии, которое проводит какой-нибудь столь же рьяный человек, как брат Арнульф, деликвент, уже признав и поведав о себе, начинает говорить о других… Порой даже бывает неловко выслушивать такие показания… Узнавать, кто, о ком, когда, как… А подчас речь идет о лицах духовного сана. О монашенках. О девушках на выданье, слывущих невинными. О Господи, у каждого, думаю, есть такие секреты. Должно быть, ужасно унизительно, когда боль принуждает признаваться в этом. Какому-нибудь брату Арнульфу. В присутствии исполнителей. Что, Рейнмар? А у тебя таких секретов нет?

– Не надо, Гжегож. – Рейневан стиснул зубы. – Я все понял.

– Очень рад. Поверь.

Истязаемый зарычал.

– Кого это, – злость помогла Рейневану переломить страх, –

так мучают? По твоему приказу. Кого из тех, с кем я сидел в Башне?

– Интересно, что ты об этом спрашиваешь, – поднял глаза инквизитор. – Это образчик, иллюстрация моих замечаний. Был среди узников городской писарь из Франкенштейна. Знаешь, о ком я? Вижу, знаешь. Его обвинили в еретичестве. Расследование быстро показало, что обвинение ложное, по личным побуждениям. Доносителем был любовник его жены. Я приказал писаря освободить, а хахаля арестовать, ну, так просто, чтобы проверить, действительно ли тут дело в дамских прелестях. Хахаль, представь себе, едва увидел инструменты, как тут же признался, что это уже не первая горожанка, которую он под видом любовных ухаживаний обкрадывает. В показаниях он немного путался, так что кое-какие инструменты все же пришлось применить. Эх, наслушался я тогда о других женах из Свидницы, из Вроцлава, из Валбжиха, об их греховных страстишках и любопытных способах удовлетворения оных.

А во время ревизии у него обнаружили улики, порочащие Святого Отца, например, картинку, на которой у папы из-под одежд понтифика торчат дьявольские когти. Вероятно, ты видел что-то подобное.

– Видел.

– Где?

– Не пом…

Рейневан осекся. Побледнел. Гейнче кивнул.

– Видишь, как это просто? Гарантирую, тебе-то уж определенно освежило бы память. Форникатор[466] тоже не помнил, от кого получил пасквиль и картинку с папой, но быстро вспомнил. А брат Арнульф, как ты слышишь, сейчас как раз проверяет, не таит ли случайно его память еще какие-нибудь любопытные сведения.

– А тебя… – как это ни парадоксально, страх прибавил Рейневану отчаянной бравады, – тебя это забавляет. Не таким я тебя считал, инквизитор. В Праге ты сам посмеивался над фанатиками! А теперь? Что для тебя эта должность, это положение? Все еще профессия или уже страсть?

Гжегож Гейнче насупил кустистые брови.

– На моем месте, – сказал он холодно, – разницы быть не должно. И нет.

– Скажи мне еще что-нибудь о славе Божией, о благородной цели и священном воодушевлении. Ваше священное воодушевление, надо же! Пытки по малейшему подозрению, по любому доносу, за любые подслушанные или добытые провокацией слова. Костер за полученные истязаниями

признания в вине. Притаившийся за каждым углом гусит. А я совсем недавно слышал важного священника, без смущения заявлявшего, что дело тут только в богатстве и власти и если бы не это, то пусть бы гуситы принимали причастие через задницу с помощью клистира и его это ничуть бы не волновало. А ты, если б его не убили, бросил бы в яму Петерлина, истязал, принудил признаться и сжег. И за что? За то, что он книги читал?

– Довольно, Рейневан, довольно, – поморщился инквизитор. – Сдержи полет мысли и не будь тривиальным. Еще немного, и ты начнешь пугать меня судьбой Конрада из Марбурга… Поедешь в Чехию, – жестко сказал он, немного помолчав. – Сделаешь то, что я прикажу. Будешь служить. Тем самым сбережешь шкуру. И хотя бы частично искупишь провинности брата. А твой брат был виновен. И отнюдь не в том, что читал книги.

А фанатизм мне не шей, – продолжал он. – Мне, представь себе, книги не мешают. Даже ложные и еретические. Я считаю, представь себе, что сжигать нельзя никакие, что *libri sunt legendi non comburendi.*[467] Что даже ошибочные и баламутящие умы книги можно уважать, можно также, при доле философского отношения, заметить, что на истину никто не имеет монополии, множество тез, некогда провозглашенных ложными, сегодня считаются истинными, и наоборот. Но вера и религия, которую я защищаю, это не только тезы и догмы. Вера и религия, которую я защищаю, это общественный порядок. Кончится порядок, наступит хаос и анархия. А хаоса и анархии желают только злодеи. Злодеев же следует карать.

– Вывод: да пусть себе Петр де Беляу и его комилитоны[468] диссиденты читают на здоровье Виклифа, Гуса, Арнольда из Брешии и Иоахима Флорского. Ибо Иоахим Флорский – да, но не Фра Дольчино, не жакерия. Виклиф – да, но не Уот Тайлер. Тут кончается моя терпимость, Рейнмар. Я не допущу, чтобы здесь расплодились *fratricelli* и пикарды. Я в зародыше удавлю Тайлеров и Джонов Баллоу, раздавлю проклевывающихся Дольчинов и Жижек.

– А цель, – добавил он после минутного молчания, – оправдывает средства. И кто не со мной, тот против меня, *qui non est mecum contra me est.*[469] И еще: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Сгорают! Ты понял? Вижу, что понял.

Истязаемый уже долго не кричал. Видимо, давал показания. Говорил. Дрожащим голосом признавался во всем, что только хотел услышать брат Арнульф.

Гейнче встал.

– У тебя будет немного времени, чтобы обдумать вопрос. Мне необходимо срочно возвращаться во Вроцлав. Открою тебе кое-что: я думал, что буду здесь выслушивать в основном сумасшедших, а здесь, изволь-ка, попалось сокровище. Один из твоих соузников, попик из немодлинской колегиаты, собственными глазами видел, сумел описать и может распознать демона. Того, который убивает в полдень, если ты помнишь соответствующий псалом. Так что очень не терпится устроить небольшую конфронтацию. А когда вернусь, а вернусь я скоро, самое позднее на святую Люцию, то привезу в Башню нового обитателя. Когда-то я ему обещал, а я всегда держу слово. Ты же, Райнмар, думай поинтенсивнее. Взвесь все «за» и «против». Я хотел бы, когда вернусь, узнать твое решение и услышать заявление. Хотел бы, чтобы оно было соответствующим. Чтобы это было заявление о лояльном сотрудничестве и службе. Потому что если нет, то, клянусь Богом, хоть ты мне дружок по универку, ты будешь для меня как упомянутая засохшая ветвь. Я отдам тебя в распоряжение брата Арнульфа, сам тобой заниматься уже не стану. Оставлю тебя с ним один на один.

Разумеется, – добавил он, – после того, как ты лично мне скажешь, что делал на Гороховой горе в ночь осеннего равноденствия. И что это за женщина, с которой тебя там видели. Ну и скажешь мне, конечно, что за священник шутковал относительно клистира. Ну, Рейневан, бывай.

Да, – обернулся он с порога. – Еще одно. Бернгард Рот, он же Урбан Горн. Поклонись ему от меня. И передай, что сейчас…

– …что сейчас, – дословно передал Рейневан, – ему недосуг заниматься тобой вплотную, тяп-ляп, наспех он этого делать не хочет. Ему желательно совместно с братом Арнульфом посвятить тебе столько времени и усилий, сколько ты действительно заслуживаешь. И приступит он к этому сразу же по возвращении, самое долгое на святую Люцию. Он советует тебе как следует упорядочить имеющиеся сведения, поскольку тебе придется этими сведениями поделиться со Святым Официумом.

– Курвин сын. – Урбан Горн плюнул на солому. – Размягчает меня. Дает мне дозреть. Знает, что делает. Ты говорил ему о Конраде из Марбурга?

– Сам ему скажешь.

Оставшиеся в Башне обитатели сидели, закопавшись в подстилки. Некоторые храпели, некоторые всхлипывали, некоторые тихо молились.

– А я? – прервал молчание Рейневан. – Мне-то что делать?

– Ты-то что страдаешь, – протянул Шарлей. – Ты-то! У Горна в

перспективе болевое следствие. Я, как знать, не хуже ли еще, буду гнить здесь до скончания века. А у тебя проблемы! Ха, бока надорвать. Инквизитор, твой дружок по учельне, дает тебе свободу на тарелочке, в презент…

– В презент?

– А как же. Подпишешь лояльку и выйдешь.

– Как шпион?

– Нет розы без шипов.

– А я не хочу. Мне отвратна такая перспектива. Мне не позволит совесть. Я не хочу…

– Заткнись, – пожал плечами Шарлей. – И заставь себя.

– Горн?

– Что Горн, – резко обернулся Урбан. – Хочешь совета? Хочешь услышать слова моральной поддержки? Так слушай. Естественным свойством человеческой натуры является сопротивление. Сопротивление подлости. Несогласие творить подлость. Отказ соглашаться со злом. Это врожденные, имманентные свойства человека. *Ergo,* не сопротивляются только субъекты, начисто лишенные человечности. Предателями от страха перед пытками становятся только мерзкие подлецы.

– Значит?

– Значит, – Горн, не сморгнув глазом, сплел руки на груди, – значит, подписывай лояльку, соглашайся сотрудничать. Поезжай в Чехию, как тебе велят. А там… Там будешь сопротивляться.

– Не понимаю.

– Да? – хмыкнул Шарлей. – Серьезно? Наш друг, Рейнмар, повествованием о моральной и чистой человеческой натуре предварил очень неморальное предложение. Он советует тебе стать так называемым двойным агентом, работающим на обе стороны: на Инквизицию и на гуситов, ибо то, что сам-то он гуситский эмиссар и шпион, знает уже каждый, за исключением разве что тех вон стенающих в соломе дебилов. Правда, Урбан Горн? Твой совет нашему Рейневану, похоже, неглуп, однако есть в нем загвоздка. Дело в том, что гуситы, как и все, кому довелось иметь дело со шпионами, уже видели двойных агентов. Практика показала им, что зачастую это агенты тройные. Поэтому появляющихся новичков отнюдь не следует допускать к конфиденциальным сведениям, вначале, наоборот, вешать, предварительно принудив – а как же! – пытками дать показания. Поэтому своим советом ты готовишь Рейневану печальную участь, Урбан Горн. Ну, разве что… Разве что дашь ему в Чехии хороший, заслуживающий доверия контакт. Какой-нибудь тайный пароль… Что-то такое, во что гуситы поверят. Но…

– Договаривай.

– Ничего похожего ты ему не дашь. Ибо не знаешь, не подписал ли он уже лояльку. И не успел ли уже его университетский дружок-инквизитор обучить его шпионить на две стороны.

Горн не ответил. Только усмехнулся. Мерзко, одними уголками губ, не прищурив своих ледовито-холодных глаз.

– Я должен отсюда выбраться, – тихо проговорил Рейневан, стоя посередке тюрьмы. – Должен отсюда выйти. Иначе я потеряю Николетту Светловолосую – Катажину Биберштайн. Я должен отсюда убежать. И знаю, как это сделать.

Шарлей и Горн выслушали план вполне спокойно, переждали, не прерывали, пока Рейневан кончит. Только тогда Горн рассмеялся, покрутил головой и отошел. Шарлей был серьезен. Можно сказать – смертельно серьезен.

– То, что у тебя от страха разум помутился, – сказал он, – я могу понять. И посочувствовать. Но не насмехайся, парень, над моим интеллектом.

– На стене, – терпеливо повторил Рейневан, – остались *occultum,* остались глифы и сигли Циркулоса. К тому же, о, пожалуйста, у меня есть его амулет, я смог незаметно забрать его. Циркулос выдал мне активирующее заклинание, сообщил порядок конъюрации, кое-что об эвокациях[470] я знаю и сам, обучался этому… Шанс есть, признаю, мизерный, но есть. Есть! Я не понимаю твоей сдержанности, Шарлей. Ты сомневаешься в магии. А Гуон фон Сагар? А Самсон? Ведь Самсон…

– Самсон – обманщик, – обрезал демерит. – Симпатичный, неглупый, милый спутник. Но обманщик и шарлатан. Как большинство тех, кто ссылается на чары и колдовство. Впрочем, это не имеет значения, Рейнмар, я не сомневаюсь в магии. Я повидал достаточно, чтобы не сомневаться. Так что сомневаюсь я не в магии, а в тебе. Я видел, как ты левитируешь и отыскиваешь дороги, однако, к примеру, на летающую скамейку тебя посадил, несомненно, Гуон фон Сагар, сам бы ты не полетел. Но до настоящего заклинателя тебе, парень, далеко. Ты и сам должен это понимать. Сам понимать, что никуда не годятся накорябанные здесь кретином иероглифы, пентаграммы и сигли-мигли. И этот, прости Господи, амулет, обосранное ярмарочное старье. Ты сам должен все это сознавать. Поэтому не оскорбляй, пожалуйста, ни моего, ни своего интеллекта.

– У меня нет выхода, – сжал зубы Рейневан. – Я должен попытаться. Для меня это единственный шанс.

Шарлей пожал плечами и возвел глаза горе.

Occultum Циркулоса выглядел, Рейневан вынужден был это признать, хуже чем плачевно. Он был до предела грязным, а все магические книги говорили об идеальных, прямо-таки стерильно чистых священных знаках. Гоэтический круг на стене был начертан не вполне ровно, а правила *Sacra Getica* подчеркивали важность тщательности рисунка. В правильности вписанных в Круг заклинаний Рейневан тоже не был уверен до конца.

Сам церемониал эвокации приходилось осуществлять не в полночь, как велели гримуары, а на рассвете, ибо полночная темень делала невозможной любую акцию в Башне. Не могло быть и речи о требуемых ритуалом черных свечах – как и о свечах какого-либо иного цвета. По понятным причинам психам в Башне шутов не давали ни свечей, ни каганков, ни ламп, ни каких-либо возможностей распалить пожар.

«В принципе, – подумал он горько, принимаясь за дело, – я следую букве гримуара только в одном: маг, желающий эвоковать либо энвоковать, должен долгое время воздерживаться от половых контактов. А я уже полтора месяца сижу здесь, выдерживая полную, хоть и вынужденную абстиненцию».

Шарлей и Горн, храня молчание, посматривали на него издали. Тихо вел себя и Фома Альфа, в основном потому, что ему пригрозили мордобитием, если он каким-то образом вздумает мешать.

Рейневан кончил приводить в порядок *occultum,* обвел себя магическим кругом. Откашлялся, раскинул руки и начал певуче, вперившись в глифы гоэтического Круга:

– Эрмитес! Панкор! Пагор! Анитор!

Горн прыснул в кулак. Шарлей вздохнул.

– Аглон, Вайхеон, Стимуляматон! Эзфарес, Олиарам, Ирион! Мерсильде! Ты, взгляд коего пронизывает бездны! *Te odoro, et te invoco!*[471]

Никакого результата.

– Эситион, Эрион. Онера! Мозм! Сотер! Неломи!

Рейневан облизнул запекшиеся губы. В том месте, в котором еще покойный Циркулос трижды выскреб надпись: VENI, MERSILDE,[472] он положил амулет со змеей, рыбой и вписанным в треугольник солнцем.

– Острата, – принялся он за активирующее заклинание. – Терпанду! Эомас, – повторял он, кланяясь и модулируя голос в соответствии с указаниями «Ламегетона», «Малого Ключа Соломона». – Перикатур! Белеурос!

Шарлей выругался, обращая тем самым его внимание на стену. Едва веря собственным глазам, Рейневан увидел, как

нацарапанные кирпичом надписи в кругу начинают светиться фосфорическим светом.

– Именем печати Басдатеи! Мерсильде! Ты, взгляд коего пронизывает бездны! Прибудь! Забаот! Эксверхие! Астрахисс, Асах, Асарка!

Надписи в кругу горели все ярче, призрачным пламенем осветили стену. Стены Башни начали ощутимо вибрировать. Горн выругался. Фома Альфа заскулил. Один из дебилов громко зарыдал, принялся кричать. Шарлей вскочил как пружина, подбежал, коротким ударом кулака в висок повалил его на подстилку. Успокоил.

– Босмолетик, Джейсмы, Еф. – Рейневан наклонился, коснулся лбом середины пентаграммы. Потом, выпрямившись, потянулся за отшлифованной, заостренной на камне сломанной головкой хуфнала.[473] Крепко нажав, процарапал на подушечке большого пальца кожу, коснулся им лба. Набрал воздуха в легкие, понимая, что приближается момент величайшего риска и опасности. Когда кровь потекла достаточно обильно, нарисовал ею в центре круга знак. Таинственный, ужасающий знак Скирлин, и крикнул, чувствуя, как фундамент Башни шутов начинает дрожать:

– *Vera,* Мерсильде!

Фома Альфа снова заскулил, но умолк, как только Шарлей показал ему кулак. Башня дрожала все заметнее.

– Тауль! – эвоковал Рейневан громко и хрипло, как того требовали гримуары. – Варф! Пан!

Гоэтический Круг ярко разгорелся, освещенное им место на стене понемногу перестало быть просто пятном, начинало приобретать форму и контуры. Контуры человека. Не совсем человека. У людей не бывает ни таких огромных голов, ни таких длинных рук. И гигантских рогов, вырастающих изо лба, выпуклого, как у быка.

Башня тряслась, дебилы выли на разные голоса, им громко вторил Фома Альфа. Горн вскочил.

– Довольно! – рявкнул он, перекрывая гомон. – Рейневан! Останови это! Останови, псякрев, эту чертовщину! Мы погибнем из-за тебя!

– Варф! Глемиах!

Дальнейшие слова увязли у него в глотке. Светящаяся фигура на стене была уже настолько четкой, что смогла взглянуть на него двумя огромными змеиными глазами. Видя, что фигура не ограничивается взглядом, но и протягивает руки, Рейневан взвыл от ужаса. Страх парализовал его.

– Серу… геат! – пробормотал он, понимая, что плачет. –

Аривх…

Шарлей подскочил, схватил его сзади за горло, другой рукой зажал рот, оттащил, беспомощного от страха поволок по соломе в самый дальний угол, к дебилам. Фома Альфа сбежал на лестницу, диким криком призывая помощь. Горн же – было видно, что он в полном отчаянии, – схватил с пола котел с мочой и выплеснул его содержимое на все: на *occultum,* на Круг, на пентаграмму и на выходящую из стены фигуру.

Раздавшийся вслед за этим рев заставил всех зажать уши руками и скорчиться на полу. Неожиданно поднялся жуткий вихрь, взметнулась и полезла в глаза пыль из поднятой соломы, ослепила. Свет на стене поблек, приглушенный клубами вонючего пара, зашипел и угас совершенно.

Однако это не был конец. Потому что вдруг грохотнуло, гукнуло, громыхнуло страшно, но не со стороны затянутого вонючим дымом *occultum,* а сверху, с вершины лестницы, от двери. Посыпался щебень, настоящий град отесаных камней в белой туче штукатурки и сухого раствора. Шарлей схватил Рейневана и прыгнул вместе с ним под защиту лестницы. Вовремя. На их глазах падающая сверху, нагруженная завесами толстая дверная доска угодила одному из запаниковавших дебилов по черепу, раздавив его, как яблоко.

В лавине щебня свалился сверху человек, раскинувший крестом руки и ноги.

«Башня разваливается, – промелькнуло в голове у Рейневана. – Распадется на обломки *turns fulgurata,* Башня, пораженная молнией. Бедный, смешной шут падает с разваливающейся на осколки Башни шутов, летит вниз, к гибели. Я – тот шут, падаю, лечу в пропасть, на дно. Гибель, хаос и разрушение, виновен в которых я, шут и сумасшедший, я вызвал демона, разверз врата ада. Я чувствую вонь адской серы…»

– Это порох… – угадал его мысль скорчившийся рядом Шарлей. – Кто-то порохом высадил дверь… Рейневан… Кто-то…

– Кто-то нас освобождает! – крикнул, выбираясь из кучи камней, Горн. – Это спасение! Это наши! Осанна!

– Эй, парни! – крикнул кто-то сверху, со стороны выбитой двери, откуда уже врывался дневной свет и свежий морозный воздух. – Выходите! Вы свободны!

– Осанна! – повторил Горн. – Шарлей, Рейнмар! Выходим, скорее! Это наши! Чехи! Мы свободны! Дальше, живо, на лестницу!

Он, не дожидаясь, побежал первым. Шарлей – следом. Рейневан глянул на угасший, все еще парящий *occultum,* на скорчившихся в соломе дебилов. Поспешил на лестницу, по

дороге переступив через труп Фомы Альфы, которому разбивший дверь взрыв принес не свободу, а смерть.

– Осанна, братцы! Привет, Галада! Господи, Раабе! Тибальд Раабе! Это ты?

– Горн? – удивился Тибальд Раабе. – Здесь? Жив?

– Христе, конечно! Так каким же… Так это не ради меня…

– Не ради тебя, – вставил названный Галадой чех с огромной красной Чашей на груди. – Я рад, Горн, видеть тебя целым, и *knez*. [474] Амброж урадуется. Но мы напали на Франкенштейн по другой причине. Ради них.

– Ради них, – подтвердил, проталкиваясь между вооруженными чехам, гигант в стеганой одежде, делающей его еще крупнее. – Шарлей, Рейнмар. Привет!!!

– Самсон… – Рейневан почувствовал, как радость стискивает ему горло. – Самсон… Друг! Ты не забыл о нас…

– А разве же, – широко улыбнулся Самсон Медок, – можно забыть такую парочку, как ваша?

Глава двадцать девятая,

в которой освобожденные из Башни шутов герои уже свободны, но, как выяснилось, не вполне. Они принимают участие в исторических событиях, точнее, в поджоге нескольких деревень и городков. Потом Самсон спасает то, что удается. Затем происходит всякое. И наконец герои уходят. Дорога их, если воспользоваться метафорой поэта: in «parte ore non é che luca» [475]

Лежащий на крышах снег резал глаза ослепительной белизной. Рейневан покачнулся и, если б не плечо Самсона, вполне мог бы свалиться с лестницы. Со стороны госпициума доносились крики и пальба. Болезненно стонал колокол госпитальной церкви, уже били тревогу колокола всех храмов Франкенштейна.

– Скорее! – крикнул Галада. – К воротам! И прячьтесь! Стреляют!

Стреляли. Болт из арбалета свистнул у них над головами, расщепил доску. Пригибаясь, они сбежали во двор. Рейневан споткнулся, влез по колено в грязь, смешанную с кровью. Около ворот и рядом с госпиталем валялись убитые – несколько божегробцев в рясах, несколько прислужников, несколько солдат Инквизиции, оставленных, видимо, Гжегожем Гейнче.

– Быстрей! – подгонял Тибальд Раабе. – К лошадям!

– Сюда, – осадил рядом с ним верховую лошадь чех в латах с факелом в руке, осмоленный и закопченный, как черт. – Живо, живо!

Он размахнулся, бросил факел на крышу сарая. Факел скатился по мокрой соломе, зашипел в грязи. Чех выругался.

Несло дымом и гарью, по-над крышами конюшни взмыло пламя, несколько чехов выводили оттуда храпящих коней. Снова гукнули выстрелы, поднялся крик, грохот, бой шел, как можно было догадаться, у госпитальной церкви, из прорезей колокольни и из окон хоров били арбалеты и гаковницы, целясь во все, что двигалось.

У входа в горящее здание медицинариума лежал, прислонившись к стене, божегробовец. Это был брат Транквилий. Мокрая ряса тлела на нем и испускала пар. Монах обеими руками держался за живот, между пальцев у него обильно лилась кровь. Глаза были открыты, он смотрел прямо вперед, но уже, вероятно, ничего не видел.

– Добить! – указал на него Галада.

– Нет! – Тонкий крик Рейневана удержал гуситов. – Нет! Оставьте его. Он кончается, – добавил он тише, видя грозные и яростные взгляды. – Позвольте ему умереть в мире.

– Тем более, – крикнул закопченный конник, – что время торопит, нечего тратить его на полутруп! Дальше, дальше, на лошадей!

Рейневан, все еще как в полусне, запрыгнул в седло подведенного ему коня. Едущий рядом Шарлей тронул его коленом.

Перед ним были широкие плечи Самсона, с другого бока – Урбана Горна.

– Гляди, – прошипел ему Горн, – за кого заступаешься. Это ведь Сиротки из Градца-Кралове. С ними шутки плохи…

– Это был брат Транквилий…

– Я знаю кто…

Они выскочили за ворота, прямо в дым. Горела и стреляла пламенем госпитальная мельница и сараи вокруг нее. В городе не переставая били колокола, за стенами кишмя кишели люди.

К ним присоединились новые конники, которыми командовал усач в *cuir-boulli*[476] и кольчужном капюшоне.

– Там, – усач указал на церковь, – двери в притвор уже почти совсем вырублены! А было бы, что взять! Брат Бразда! Еще три пачежа, и конец!

– Еще два пачежа, – названный Браздой закопченный указал на городские стены, – и они поймут наконец, сколько нас тут в действительности. Тогда выйдут, и нам конец. По коням, брат Вельк!

Они рванули галопом, разбрызгивая грязь и тающий снег. Рейневан уже пришел в себя настолько, чтобы посчитать чехов, и у него получилось, что на Франкенштейн напало два десятка. Он не знал, чему больше удивляться – их браваде и наглости или размерам наделанных такой горсткой людей разрушений: кроме построек госпициума и больничной мельницы, огонь пожирал строения красильщиков на берегах Будзувки, горели также сараи у моста и овины почти у самых Клодских ворот.

– До встречи! – Названный Бельком усач в *cuir-boulli* повернулся, погрозил кулаком горожанам, столпившимся на стенах. – До встречи, папистики! Мы еще вернемся!

Со стен ответили стрельбой и криками. Крики были вполне боевыми и очень храбрыми – горожане тоже успели пересчитать гуситов.

Они мчались во весь опор, не щадя лошадей. Хоть это и выглядело полной глупостью, но оказалось частью плана.

Преодолев в сумасшедшем темпе около полутора миль, они добрались до покрытых снегом Совиных гор, до Серебряной горы, где в лесном распадке их поджидали пятеро молодых гуситов и смена лошадей. Для бывших узников Башни шутов нашлась одежда и снаряжение. А также немного времени – в частности, для беседы.

– Самсон! Как ты нас отыскал?

– Это было непросто. – Гигант подтянул подпругу. – После ареста вы испарились, как сон. Я пробовал допытываться, но впустую, со мной никто не хотел разговаривать. Непонятно почему. К счастью, если они не хотели разговаривать со мной, то собственные разговоры не скрывали. Мое присутствие их не смущало. По словам одних получалось, что вас забрали в Свидницу, по другим – во Вроцлав. И тут мне встретился господин Тибальд Раабе, знакомец из Кромолина. Понадобилось некоторое время, чтобы мы смогли договориться. Он принимал меня, ха, за умственно недоразвитого. Придурка, значит.

– Прекратите, господин Самсон, – немного укоризненно проговорил голиард. – Это мы уже обсудили, зачем повторяться? А то, что выглядите вы, прошу прощения, как…

– Все мы знаем, – холодно прервал Шарлей, укорачивающий рядом стременной ремень, – как выглядит Самсон. Так что же было дальше?

– Господин Тибальд Раабе, – глуповатый рот Самсона искривила усмешка, – не вышел за пределы стереотипа. С одной стороны, легкомысленно отказался от беседы, с другой – недооценил мой разум. Недооценил настолько, что разговаривал при мне. С различными людьми и о разном. Я очень скоро сообразил, кто такой Тибальд Раабе. И дал ему понять, что знаю. И сколько знаю.

– Так оно и было, молодой господин. – Голиард смущенно покраснел. – Ох и натерпелся я тогда страху… Но все быстро… выяснилось.

– Выяснилось, – спокойно прервал Самсон, – что у господина Тибальда Раабе есть знакомства. Среди гуситов в Градце-Кралове. Именно на них, как вы догадываетесь, он работал в качестве разведчика и эмиссара.

– Какое совпадение. – Шарлей осклабился. – И какой урожай на…

– Шарлей, – оборвал его Урбан Горн. – Не углубляй тему… Ладно?

– Ну хорошо, хорошо. Продолжай, Самсон. Как ты узнал, где нас искать?

– А это интересное дело. Несколько дней тому назад на

постоялом дворе под Броумовым подошел ко мне юноша. Немного странный. Он явно знал, кто я такой. Увы, вначале он не мог сказать ничего, кроме, цитирую: «Чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме – из темницы». Исаия. Глава сорок вторая, стих седьмой.

– Исаия! – поразился Рейневан.

– Именно.

– Не в этом дело. Его так звали… Мы его так называли… И он указал вам… Башню шутов?

– Не скажу, чтобы меня это очень удивило.

– И тогда, – проговорил, помолчав, Шарлей с нажимом и многозначительно, – гуситы из Градца смелым налетом ворвались в клодскую землю, аж до расположенного в шести милях от границы Франкенштейна, подпалили пригороды, захватили госпициум божегробовцев и Башню шутов. И все это, если я верно понял, только ради нас двоих. Меня и Рейневана. Ей-богу, господин Тибальд Раабе, не знаю, как и благодарить.

– Причины, – кашлянул голиард, – сейчас выяснятся. Наберитесь терпения, господин.

– Терпеливость не самое мое большое достояние.

– Значит, придется вам над этим достоянием немного поработать, – холодно сказал чех по имени Бразда, командир отряда, подъехавший и остановивший коня рядом с ними. – А почему мы вытащили вас – вы узнаете в свое время. Не раньше.

Бразда, как и большинство чехов в отряде, носил на груди вырезанную из красного сукна чашу. Но – лишь один из всех – он прикрепил гуситский герб прямо на выполненный на вапенроке собственный родовой герб – четыре острия на золотом поле.

– Я – Бразда из Клинштейна, из рода Роновицей, – подтвердил он догадку. – А теперь – конец разговорам, дальше в путь! Время подгоняет. А мы на вражеской территории!

– Факт, здесь опасно, – насмешливо согласился Шарлей, – носить Чашу на груди.

– Наоборот, – возразил Бразда из Клинштейна. – Такой знак хранит и защищает.

– Вы серьезно?

– При случае убедитесь.

Случай не заставил себя ждать.

На свежих лошадях отряд быстро преодолел Серебряный перевал, за ним, в районе деревни Эберсдорф, они напоролись на отряд тяжеловооруженных рыцарей и стрелков. В отряде было никак не меньше тридцати человек, и шел он под красной хоругвью, украшенной бараньей головой, гербом Хаугвицей.

И действительно, Бразда из Клинштейна был абсолютно прав.

Хаугвиц и его люди выдержали только до того момента, когда поняли, с кем имеют дело. Потом рыцари и арбалетчики развернули коней и умчались галопом, да еще каким!

– Ну, что скажете? – повернулся Бразда к Шарлею. – Касательно знака Чаши? Неплохо действует. Не правда ли?

Спорить было невозможно.

Они, не жалея коней, мчались галопом. Начавший падать снег слепил глаза.

Рейневан был уверен, что они направляются в Чехию и, как только спустятся в долину Счинавки, свернут и поедут вверх по течению реки к границе, по дороге, ведущей прямо на Броумово. И очень удивился, когда отряд помчался по низине к синеющим на юго-западе Столовым горам. Удивился не он один.

– Куда едем? – перекричал гул и снег Урбан Горн. – Эй! Галада! Господин Бразда?

– Радков, – криком же кратко ответил Галада.

– Зачем?

– Амброж!

Радков, с которым Рейневан не был знаком, так как не бывал здесь, оказался вполне приличным городком, раскинувшимся у подножия ощетинившихся лесами гор. Над кольцом городской стены вздымались красные крыши, выше возносилась в небо стройная колокольня церкви. Картина настраивала бы на лирический лад, если б не висевшая над городком плотная туча дыма.

Радков был объектом нападения.

Сосредоточившееся под Радковым войско насчитывало добрую тысячу воинов, прежде всего пехоты, в основном, как было видно, вооруженной всяческого вида оружием на древках – от простых пик до сложных систем гизарм.

Не меньше половины бойцов были вооружены арбалетами и огнестрельным оружием. Была и артиллерия – напротив городских ворот установили средних размеров бомбарду, скрытую за подъемной изгородью, а в пробелах между возами стояли тарасницы и хуфницы.

Армия, хотя и выглядела грозно, стояла будто застыв, как заколдованная, в тишине и неподвижности. Все это однозначно вызывало аналогию с картиной, с *tableau;* единственным подвижным предметом были кружащие в сером небе черные точечки ворон. И клубящаяся над городом туча дыма, там и тут уже прорезанная красными языками пламени.

Они въехали галопом между возами. Рейневан впервые видел

вблизи знаменитые гуситские боевые телеги, с интересом присматривался к ним, восхищаясь удачной конструкцией сколоченных из толстых досок сейчас опущенных надбортов, которые, будучи в случае необходимости подняты, превращали экипаж в настоящий бастион.

Их узнали.

– Пан Бразда, – резко приветствовал чех в полупанцире и меховой шапке с обязательной для высших чинов красной Чашей на груди, – благородный пан рыцарь Бразда соблаговолил наконец-то прибыть вместе со сливками свой благородной конницы. Ну что ж, лучше поздно…

– Я не думал, – пожал плечами Бразда из Клинштейна, – что у вас тут так резво пойдет. Уже конец? Они сдались?

– А как думаешь? Конечно, сдались, кто и чем мог здесь обороняться? Хватило поджечь пару крыш, и они тут же начали переговоры. Сейчас тушат пожары, а преподобный Амброж лично принимает послов. Так что вам придется подождать.

– Надо, так надо. Слезайте, парни.

К штабу гуситской армии они отправились уже пешие, небольшой группой, из чехов в ней были только Бразда, Галада и усач Велек Храстицкий. Сопровождали, естественно, также Урбан Горн и Тибальд Раабе.

Прибыли они к самому окончанию переговоров. Радковское посольство уже уходило, бледные и вконец напуганные горожане выбирались, со страхом оглядываясь и сминая в руках шапки. По их лицам можно было понять, что многого-то они не выторговали.

– Будет как всегда, – тихо сказал чех в меховой шапке. – Бабы и дети свободно уйдут хоть сейчас. Парням, чтобы уйти, надо выкупиться. И заплатить выкуп за город, который иначе пустят с дымом. Кроме того…

– Должны быть выданы все папские священники, – докончил Бразда, тоже, видать, имеющий практику. – И все беглецы из Чехии. Ха, похоже, мне вовсе ни к чему было спешить. На выход баб и сбор выкупа уйдет некоторое время. Так быстро мы отсюда не тронемся.

– Отправляйтесь к Амброжу.

Рейневан помнил разговоры, которые о бывшем плебане из Градца-Кралове вели Шарлей и Горн. Помнил, что они называли его фанатиком, экстремистом и радикалом, выделяющимся фанатизмом и беспощадностью даже среди наиболее радикальных и наиболее фанатичных таборитов. Поэтому он думал увидеть маленького, тощего как жердь и огненноглазого трибуна, размахивающего руками и с пеной у рта

выкрикивающего демагогические лозунги. Вместо этого перед ним оказался стройный, сдержанный в движениях мужчина в черном одеянии, напоминающем рясу, но более коротком, приоткрывающем высокие ботинки. У мужчины была широкая, лопатой, борода, доходящая почти до пояса, на котором висел меч. Несмотря на меч, гуситский жрец выглядел, можно сказать, вполне миролюбивым и приветливым. Может, причиной тому был высокий выпуклый лоб, кустистые брови и именно борода, благодаря которой Амброж немного напоминал Бога Отца на византийской иконе.

– Пан Бразда, – приветствовал он их довольно сердечно. – Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Экспедиция, вижу, закончилась успешно? Без потерь? Похвально, похвально. А, брат Урбан Горн? С какой тучи к нам свалился?

– С черной, – кисло ответил Горн. – Благодарю за спасение, брат Амброж. Ты пришел как раз вовремя.

– Рад, рад, – тряхнул бородой Амброж. – И другие тоже будут рады. Ибо мы уже тебя оплакали, когда разошлась весть. Из епископских когтей вырваться трудно. Гораздо трудней, чем мыши из кошачьих. Словом, все прошло хорошо… Хоть и то правда, что не за тобой я посылал отряд во Франкенштейн.

Он взглянул на Рейневана, и тот почувствовал, как мурашки пробежали по спине. Священник долго молчал.

– Молодой господин Рейнмар из Белявы, – сказал наконец. – Родной брат Петра из Белявы, правоверного христианина, столько хорошего сделавшего для дела Церкви. И отдавшего за это жизнь.

Рейневан молча поклонился. Амброж отвернулся, долго глядел на Шарлея. Потребовалось некоторое время, чтобы Шарлей покорно опустил глаза, но все равно было ясно, что сделал он это только из дипломатических соображений.

– Господин Шарлей, – проговорил наконец градецкий плебан, – который не бросает в трудную минуту. Когда Петр из Белявы погиб от рук мстительных папистов, господин Шарлей спас его брата, несмотря на опасность, которой подвергался сам. Воистину редкий в теперешние времена пример чести. Ибо верно говорит старая чешская поговорка: *v nouzi poznaš prítele.*[477]

Юный же господин Рейнмар, – продолжал Амброж, – как мы слышали, истинное дает доказательство братской любви, вслед брату идучи, как и он истинную веру признавая, по-деловому противодействуя римским ошибкам и несправедливостям. Как каждый верующий и праведный человек, он становится на сторону Чаши, а продажный Рим отвергает как диавола. Вам будет это зачтено. Впрочем, вам это уже зачтено, Рейнмар и господин Шарлей. Когда мне брат Тибальд донес, что вас

прислужники ада в яме погребли, я ни минуты не колебался.

– Безграничная благодарность…

– Это вас следует благодарить, ибо с вашей помощью деньги, за которые вроцлавский епископ, стервец и еретик, хотел смерть нашу купить, послужат нашему доброму делу. Ведь вы изымете их из тайника и передадите нам, истинным христианам? Э? Разве не так.

– Так… Деньги? Какие деньги?

Шарлей тихо вздохнул. Урбан Горн закашлялся. Тибальд Раабе заперхал. Лицо Амброжа застыло.

– Дурня из меня строите?

Рейневан и Шарлей отрицательно покачали головами, а глаза их выражали такую святую невинность, что жрец успокоился. Но только совсем чуть-чуть.

– Значит, – процедил он, – следует понимать, что не вы? Не вы огра… Не вы провели боевую операцию против сборщика податей? Для нашего дела? Э, значит, не вы. Тогда кое-кто должен будет мне это объяснить. Оправдать! Господин Раабе!

– Но я ж не говорил, – пробормотал голиард, – что именно и наверняка они обработали колектора. Я говорил, что это возможно… похоже на правду…

Амброж выпрямился. Глаза у него яростно вспыхнули, лицо в местах не заслоненных бородой налилось кровью, словно зоб у индюка. Несколько мгновений градецкий плебан больше смахивал не на Бога Отца, а на Зевса-Громовержца. Все замерли в ожидании молнии. Однако жрец быстро успокоился.

– Ты говорил, – процедил он наконец, – нечто другое. Ох, обманул ты меня, брат Тибальд, ввел в заблуждение для того, чтобы я послал конников на Франкенштейн. Ибо знал, что иначе я б их не послал!

– *V nouzi,* – тихо вставил Шарлей, – *poznas&& pr&&itele.*

Амброж окинул его взглядом и ничего не сказал. Потом повернулся к Рейневану и голиарду.

– Всех вас, друзья, – буркнул он, – надо бы по одному отправить на муки, ибо вся афера с колектором и его деньгами, сдается мне, здорово воняет. Вы все кажетесь мне, прошу прощения, пройдохами и врунами. Да, конечно, я должен передать вас палачу. Всех троих.

Но, – жрец впился глазами в Рейневана, – но, памятуя о Петре из Белявы, я так не поступлю. Что ж делать, примирюсь с утратой епископских денег, видать, не были они мне предназначены. Прочь с глаз моих. Идите отсюда ко всем чертям.

– Почтенный брат, – откашлялся Шарлей. – Если позабыть о недоразумении… Мы рассчитывали…

– На что? – фыркнул в бороду Амброж. – На то, что я позволю вам присоединиться к нам? Приму под свое крыло? Безопасно доставлю на чешскую сторону, в Градец? Нет, пан Шарлей. Вы были под арестом у Инквизиции. Каждого, кто там сидел, они могли перетянуть на свою сторону. Короче говоря: вы можете оказаться шпионами.

– Вы нас оскорбляете.

– Уж лучше вас, чем собственный рассудок.

– Братья, – разрядил обстановку один из гуситских командиров, симпатичный толстячок с внешностью сборщика пожертвований или изготовителя ветчины. – Брат Амброж…

– В чем дело, брат Глушичка?

– Горожане принесли выкуп. Выходят, как было уговорено. Сначала бабы с детьми.

– Брат Велек Храстицкий, – поднял руку Амброж, – возьми конников и патрулируй вокруг города, чтобы никто не ускользнул. Остальные – за мной. Все. Все, сказал я. Пану из Клинштейна поручаю временно – присматривайте за нашими… гостями. Ну, вперед. Пошли!

Из ворот Радкова действительно выходила колонна людей, с опаской втягивающихся в ощетинившуюся остриями шпалеру гуситов. Амброж со штабом остановились неподалеку от колонны. Рассматривая очень внимательно, Рейневан почувствовал, как у него волосы встают дыбом. В предчувствии чего-то страшного.

– Брат Амброж, – спросил Глушичка. – Прочтете им проповедь?

– Кому? – пожал плечами жрец. – Этой немецкой голытьбе? Они по-нашему не разумеют, а мне по-ихнему говорить не хочется, потому что… Э-эй! Там! Там!

Его глаза хищно разгорелись по-орлиному, лицо вдруг застыло.

– Там, – рявкнул он, указывая пальцем. – Там. Хватай!

Он указал на закутанную в епанчу женщину, несущую ребенка. Ребенок вырывался и дико орал. Военные подскочили, растолкали толпу древками гизарм, вытащили женщину, сорвали епанчу.

– Это не баба! Это переодетый в женское платье мужик! Поп! Папист!

– Давай его сюда!

Выхваченный из толпы и брошенный на колени священник дрожал от страха и упорно опускал голову. Глядеть в лицо Амброжу его заставили силой. Но и тогда он стискивал веки, а губы шевелились в беззвучной молитве.

– Ну вот, гляньте. – Амброж уперся руками в бока. – Какие любящие прихожанки. Ради того, чтобы уберечь своего попика, не только вырядили его в бабские одежды, но еще и грудного младенца одолжили. Какая самоотверженность! Ты кто таков, поп?

Священник еще крепче зажмурился.

– Это Миколай Мегерлейн, – сказал один из сопровождавших гуситский штаб крестьян. – Плебан тутошней приходской церкви.

Гуситы зашумели. Амброж побагровел, громко втянул воздух.

– Отец Мегерлейн… – протянул он. – Надо же, какая удачная встреча. Мы мечтали о ней. Со времени последнего епископского рейда на Трутновско. Мы многого обещали себе от такой встречи.

– Братья! – выпрямился он. – Взгляните! Вот перед нами цепной пес вавилонской курвы! Преступное орудие в руках вроцлавского епископа! Тот, кто преследовал истинную веру, выдавал добрых христиан на муки и казнь! А под Визмбурком собственноручно проливал кровь невинную! Бог отдал его в наши руки! Нам поручил покарать зло и несправедливость!

– Слышишь, проклятый поп? Убийца? Ты что? Закрываешь глаза на правду, как библейский змей аспис? о, вепрь еретический, ты наверняка не знаешь Писания, не читал, единственным оракулом считаешь своего развратного епископа, свой продажный Рим и папу-антихриста! И свои кощунственные позолоченные изображения? Так я тебя, свинья, сейчас научу слову Божиему! «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, приготовленное в гневе Его, и будет мучим в огне и сере».[478] В огне и сере, папист! Эй, ко мне! Взять его! И утеплить! Так, как мы делали с монахами в Беруне и Прахатицах!

Плебана схватили несколько гуситов. Увидев, что они несут, он принялся кричать. И тут же получил древком секиры по лицу, утих, повис в держащих его руках.

Самсон рванулся было, но Шарлей и Горн удержали его. Видя, что двоих может оказаться мало, Галада поспешил им на помощь.

– Молчи, – прошипел Шарлей. – Бога ради, молчи. Самсон…

Самсон повернул голову и глянул ему в глаза.

Плебана Мегерлейна обложили четырьмя снопами соломы. Поразмыслив, добавили еще два, так что голова священника целиком скрылась в колосьях. Все тщательно и крепко обвязали цепью. И подожгли с нескольких сторон. Рейневан почувствовал, что ему становится нехорошо. Отвернулся.

Он слышал дикий, нечеловеческий рев, но не видел, как огненная кукла бежит, описывая круги, по неглубокому снегу

сквозь строй гуситов, отталкивающих ее пиками и алебардами. Как наконец падает и дергается в дыме и искрах.

Горящая солома не давала достаточного жара, чтобы убить человека. Но ее хватило, чтобы человек превратился в нечто на человека мало похожее. В нечто дергающееся в конвульсиях и нечеловечески воющее, хоть уже и не имеющее губ. В нечто, что необходимо наконец утихомирить милосердными ударами палиц и топоров.

В толпе радковчан завывали женщины, вопили дети. Там опять возникло движение, а через минуту к Амброжу притащили и кинули перед ним на колени еще одного священника, худощавого старика. Этот не был переодет. И дрожал как лист. Амброж наклонился над ним.

– Еще один? Кто же?

– Отец Штраубе, – услужливо поспешил пояснить доноситель-крестьянин. – Был тут плебаном ранее. До Мегерлейна…

– Ага. Значит, попик *emeritus*.[479] Ну, дед? Похоже, конец твой земной приходит. Не пора ль подумать о вечности? О том, чтобы отринуть и отречься от папистских ошибок и грехов? Ведь ты не спасешься, ежели будешь в них упорствовать. Ты видел, что сделали с твоим конфратром? Прими Чашу, присягни четырьмя статьями. И будешь свободен. Сегодня и во веки веков.

– Пане! – с трудом пробормотал старичок, падая на колени и молитвенно складывая руки. – Пане добрый! Смилуйся! Ну, как же так? Отречься? Это же моя вера… Ведь… Петр… Прежде чем пропел петух… Я так не могу… Смилуйся, Боже… Никак не могу!

– Понимаю, – кивнул Амброж. – Не одобряю, но понимаю. Что ж, Бог смотрит на нас всех. Будем милосердны. Брат Глушичка!

– Слушаюсь!

– Будем милосердны. Без страданий!

Глушичка подошел к одному из гуситов, взял у него цеп. А Рейневан впервые в жизни увидел в деле этот уже неотделимый от гуситов инструмент. Глушичка закружил цепом, завертел им и изо всей силы хватанул отца Штраубе по голове. Под ударом железного била череп треснул, как горшок, брызнула кровь и мозг.

Рейневан почувствовал, как у него подгибаются колени. Он видел побледневшее лицо Самсона Медка, видел, как руки Шарлея и Урбана Горна снова сжимаются на плечах гиганта.

Бразда из Клинштейна не отрывал глаз от тлеющих и дымящих останков плебана Мегерлейна.

– Мегерлин, – сказал он вдруг, потирая подбородок. – Мегерлин. Не Мегерлейн.

– Ну и что?

– А попа, который был с епископом Конрадом в рейде на Трутовско, звали Мегерлин. А этот был Мегерлейн.

– Ну и что?

– А то, что этот попик был невиновен.

– Не страшно, – вдруг глухо проговорил Самсон Медок. – Ничего особенного. Бог, несомненно, распознает. Оставим это на его суд.

Амброж резко обернулся, впился в Самсона глазами, смотрел долго. Потом глянул на Рейневана и Шарлея.

– Блаженны убогие духом, – сказал он. – Порой устами кретинов глаголет ангел. Но следите за ним. Кто-нибудь в конце концов может подумать, что этот глупец понимает то, что говорит. А если он будет менее снисходителен, чем я, то все может скверно кончиться. Как для него, так и для хлебодавцев.

А вообще-то, – добавил он, – дурачок прав. Бог рассудит, отделит плевелы от зерна, а виновных от невинных. Впрочем, ни один папский священник не может быть невиновным. Любой прислужник Вавилона заслуживает кары. А рука верного христианина…

Его голос крепчал, гремел все мощнее, взвивался над головами вооруженных людей, взлетал, казалось, над дымом, все еще, несмотря на потушенные пожары, клубящимся над городком, из которого тянулась длинная череда беглецов, заплативших выкуп.

– Рука верного христианина не может дрогнуть, когда карает грешника, ибо мир – это поле, доброе семя – сыны Царства, сорняки же – сыновья Злого. Потому собирать сорняки и палить их огнем надобно до самого конца света. Сын Человеческий пошлет ангелов Своих, те соберут в Его Царство все соблазны и всех несправедливых и кинут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов.

Толпа гуситов зарычала и завыла, засверкали воздетые алебарды, закачались судлицы, вилы и цепы.

– А дым их мученический, – грохотал Амброж, – указывая на Радков, – дым их мученический будет веками веков вздыматься, и нет им отдыха ни днем, ни ночью. Почитателям Зверя и образа его!

Он повернулся. Уже немного успокоившись.

– А у вас, – бросил он Рейневану и Шарлею, – теперь появилась оказия убедить меня в ваших истинных намерениях. Вы видели, что мы делаем с папскими попами? Ручаюсь, что это пустячок по сравнению с тем, что случается с епископскими шпионами. К таким у нас нет снисхождения, даже если они оказываются родными братьями Петра из Белявы. Так как же? Вы

по-прежнему умоляете о помощи, желаете присоединиться ко мне?

– Мы не шпионы! – взорвался Рейневан. – Нас оскорбляют ваши подозрения! И мы вовсе не умоляем о помощи! Совсем наоборот, это мы можем помочь вам! Хотя бы в память о моем брате, о котором здесь много говорят, но лишь одними пустыми словами! Хотите, пожалуйста, я вам докажу, что вы мне ближе, чем вроцлавский епископ. Что вы скажете относительно сведений о готовящемся предательстве? Заговоре? Покушении на жизнь?! В том числе на… вашу.

Амброж прищурился.

– Мою? В том числе? В числе кого же, дозвольте спросить?

– Я знаю. – Рейневан делал вид, будто не замечает отчаянных жестов и мин Шарлея. – Знаю о заговоре, имеющем целью уничтожить руководителей Табора. Умереть должны Богуслав из Швамберка, Ян Гвезда из Вицемилиц…

Штабники Амброжа зашумели. Жрец не опускал с Рейневана глаз.

– И верно, – сказал он наконец. – Любопытные сведения. Действительно, юный пан из Белявы, ты стоишь того, чтобы забрать тебя в Градец.

Пока гуситская армия занималась быстрым, шустрым и интенсивным грабежом города Радков, Бразда из Клинштейна, Велек Храстицкий и Олдржих Галада втолковывали Рейневану, в чем суть дела.

– Ян Гнезда из Вицемилиц, гетман Табора, – повествовал Бразда, – распрощался с этим светом в последний день октября. А его последователь, благородный пан Богуслав из Швамберка, отдал Богу душу меньше недели назад.

– Только не говорите, – насупил брови Шарлей, – что оба пали от рук наемных убийц.

– Оба умерли от ран, полученных в бою. Гвезду ранили шипом в лицо под Бладой Возьницей, в преддверии святого Луки, и умер он вскоре. Пан Богуслав был ранен в бою за ракуский город Рец.

– Значит, это не покушения, – состроил насмешливую мину Шарлей, – а чуть ли не естественная смерть для гуситов!

– Не вполне. Потому как, говорю, и тот, и другой умерли спустя некоторое время после ранения. Может, и выкрутились бы. Если б им кто-то яда не подсунул. Странное это, согласитесь, стечение обстоятельств: два крупных таборитских вождя, последователи Жижки, умирают один за другим в течение месяца..

– Для Табора серьезная потеря, – вставил Велек Храстицкий, – а для врагов наших выгода столь велика, что уж и раньше были подозрения. А сейчас, после заявления юного пана Белявы, дело должно проясниться до конца. Полностью проясниться.

– Само собой, – кивнул Шарлей, храня серьезность. – Настолько должно, что при необходимости нашего юного господина Беляву поволокут на пытки. Как известно, ничто так не проясняет подозрения, как раскаленное железо.

– Чего это вы, – усмехнулся Бразда, но как-то малоубедительно. – Никто о таком даже и не думает.

– К тому же, пан Рейнмар, – добавил столь же малоубедительно Олдржих Галада, – брат пана Петра! А пан Петр из Белявы был наш. И вы ведь тоже наши…

– И как таковые, – насмешливо добавил Урбан Горн, – они свободны, верно? Если захотят, могут уйти куда угодно? Хоть бы сейчас? А? Пан Бразда?

– Ну… – заикнулся гетман градецкой конницы. – Того… Нет. Не могут. У меня другой приказ. Потому как, видите ли…

– Опасно тут кругом, – откашлялся Галада. – Мы обязаны вас… хм… строго охранять.

– Ясно. Обязаны.

Все было ясно. Амброж уже больше не интересовался ими и не обращал на них внимания, но они пребывали под постоянным наблюдением и надзором гуситских воинов. Казалось бы, они были совершенно свободны, никто к ним не навязывался, совсем наоборот, относился как к камратам, больше того, их даже вооружили и почти включили в состав легкой Браздовой конницы, насчитывающей теперь, после соединения с главными силами, больше сотни всадников. Но они были под надзором, и недооценивать это факт было невозможно. Шарлей вначале скрежетал зубами и ругался втихую, но потом махнул рукой.

Оставалась проблема нападения на колектора, и о ней ни Шарлей, ни Рейневан не собирались забывать. Или похоронить.

Хоть Тибальд Раабе ловко избегал разговора, в конце концов его приперли к стенке. Вернее – к телеге.

– А что мне было делать? – вспылил он, когда ему наконец дали возможность говорить. – Пан Самсон нажимал! Надо было что-то скомбинировать! Думаете, если б не слух о деньгах, Амброж дал бы нам конников? Ждите! Как же! Значит, надо благодарить, а не кричать на меня! Если б не моя идея, сидели бы вы сейчас в Башне шутов и ждали инквизитора.

– Твоя ложь могла стоить нам жизни. Если б Амброж был пожаднее…

– Если бы да кабы! Надо же! – Голиард поправил сбитый Шарлеем набок капюшон. – Разве я не видел, в какой эстиме был у него Петр? Было ясно, что панича Рейнмара он не тронет. Это во-первых. А во-вторых…

– Что во-вторых?

– Я действительно думал… – Тибальд Раабе несколько раз кашлянул. – Что уж говорить… Я был почти уверен, что именно вы обобрали колектора на Счиборовой порубке.

– А кто его обобрал?

– Так не вы, что ли?

– Ты, братец, напрашиваешься на пинок в зад. Хорошо, скажи, как тебе удалось сбежать от напавших?

– Как? – помрачнел голиард. – А бегом! Ножками быстро перебирал. И не оглядывался, хоть сзади кричали: «Спасите!»

– Учись, Рейнмар.

– Учусь каждый день, – обрезал Рейнмар. – А другие, Тибальд? Что сталось с другими? С колектором? С францисканцами? С рыцарем фон Штетенкроном? С его… С его дочерью?

– Я же вам сказал, панич. Я не оглядывался. Не спрашивайте больше ни о чем.

Рейневан не спрашивал.

* * *

Опустились сумерки; к великому удивлению Рейневана, армия не остановилась. Ночным маршем гуситы дошли до деревни Ратно, ночную тьму осветили пожары. Гарнизон ратновского замка отмахнулся от ультиматума Амброжа, парламентариев обстреляли из арбалетов, поэтому штурм начался при свете горящих домишек. Крепость защищалась храбро, но пала еще до рассвета. Защитники заплатили за упрямство – их перебили всех до одного.

Марш продолжался до рассвета, а Рейневан уже сообразил, что рейд Амброжа на клодскую землю носит характер возмездия, мести за осенний рейд на Наход и Трутнов, за резню, которую войска вроцлавского епископа Конрада и Путы из Частоловиц учинили под Визмбурком и в деревнях вдоль реки Метуи. После Радкова и Ратны за Визмбурк и Метую заплатила Счинавка, принадлежащая Яну Хаугвицу, который участвовал в епископской «круцьяте».

Счинавка была за это наказана, ее спалили дотла. Сгорела, не дотянув двух дней до праздника своей святой покровительницы,

церквушка Святой Варвары. Плебан успел сбежать и тем самым уберег голову от цепа.

Оставив позади пылающую церковь, Амброж отслужил святую мессу – было, оказывается, воскресенье. Месса была типично гуситской: под открытым небом, за простым столом. Совершающий богослужение Амброж даже не отстегнул меча.

Чехи молились истово. Самсон Медок, неподвижный, как античная статуя, стоял и глядел на горящую пасеку, на занимающиеся огнем крышки ульев.

После мессы, оставив позади дымящееся пепелище, гуситы двинулись на восток, прошли по седловине между заснеженными горбами Голиньца и Копца, к вечеру добрались к Войбужу – имению рода фон Цешау. Ярость, с которой гуситы накинулись на село, свидетельствовала о том, что кто-то из этого рода тоже побывал с епископом под Визмбурком. Не уцелела ни одна халупа, ни один овин, ни одна клеть.

– Мы в четырех милях от границы, – преувеличенно громко и демонстративно заявил Урбан Горн. – И всего в миле от Клодска. Эти дымы видать издалека, а вести расходятся быстро. Мы лезем льву в пасть.

И они лезли. Когда, окончив разграбление, гуситское войско вышло из Войбужа, с востока появился рыцарский отряд, коней примерно в сто. В отряде было много иоаннитов, гербы на хоругвях говорили о присутствии Хаугвицей, Мушенов и Цешау. При одном виде гуситов отряд в панике бежал.

– Ну и где же твой лев, – съехидничал Амброж, – брат Горн? Где его пасть? Вперед, христиане! Вперед, Божье воинство! Вперед, маааарш!

Несомненно, целью гуситов был Бардо. Если даже какое-то время Рейневан сомневался – в конце концов, Бардо был крупным городом и несколько великоватым куском даже для Амброжа, – то сомнения быстро рассеялись. Армия остановилась на ночь в лесу поблизости от Нисы. И до полуночи стучали топоры. Изготовляли шесты с поперечными планками – напоминающие герб Роновицей палки с торчащими обрубками веток, простое, удобное в применении, дешевое и очень эффективное приспособление для преодоления защитных стен.

– Будете штурмовать? – без обиняков спросил Шарлей.

Вместе с гетманами Амброжевой конницы они сидели вокруг парящего котла с гороховкой и поглощали содержимое, дуя на ложки. К ним присоединился Самсон Медок – очень молчаливый после Радкова гигант не интересовал Амброжа и пользовался полной свободой, которую, однако, использовал, как ни странно,

чтобы добровольно помогать на полевой кухне, обслуживаемой женщинами и девушками из Градца-Кралове, угрюмыми, малоразговорчивыми, неприступными и бесполыми.

– Будете штурмовать Бардо, – утвердительно заметил Шарлей, поскольку на его вопрос ответило лишь усиленное использование ложек. – Не иначе, как там у вас какие-то особые дела?

– Угадал, брат, – отер усы Велек Храстицкий. – Цистерцианцы из Бардо били в колокола и служили мессу для мерзавцев епископа Конрада, шедших в сентябре на Находско жечь, убивать женщин и детей. Надо показать, что за это бывает.

– Кроме того, – облизнул ложку Олдржих Галада, – Слезско устроило против нас торговую блокаду. Надо дать им понять, что мы можем сломать запрет, что это бессмысленно. Мы должны также немного подбодрить торгующих с нами купцов, напуганных террором. Подбодрить родственников убитых, показав, что на террор мы ответим террором, а наемные убийцы не останутся безнаказанными. Правда, юный панич из Белявы?

– Наемные убийцы, – глухо проговорил Рейневан, – не должны оставаться безнаказанными. В этом я с вами, господин Олдржих.

– Если вы хотите держаться нас, – поправил без нажима Галада, – то должны называть нас «братр», по-вашему – «брат», а не господин или пан. А показать, кого вы держитесь, сможете завтра. Пригодится каждый меч. Бой обещает быть яростным.

– И верно. – Молчавший до сих пор Бразда из Клинштейна кивком указал на город. – Они знают, зачем мы пришли. И будут защищаться.

– В Бардо, – насмешливо заметил Урбан Горн, – есть две цистерцианские церкви, очень богатые. Обогатившиеся на пилигримах.

– Ты все, – хихикнул Велек Храстицкий, – сводишь к удовольствию, Горн.

– Уж таков я есть.

– А ну повернись ко мне фронтом, – приказал Шарлей, когда они остались одни. – Покажись-ка. Ты еще не нашил себе Чаши на грудь? Ха! «Держусь вас, я с вами», что за фокусы, Рейнмар? Уж не начал ли ты вживаться в роль?

– Ты о чем?

– Ты прекрасно знаешь, о чем. Относительно болтовни перед Амброжем касательно грангии в Дембовце я ссоры не начинаю и укорять тебя не собираюсь, кто знает, может, оно и на пользу нам пойдет, если мы ненадолго спрячемся под гуситской крышей. Но

не надо забывать, черт побери, что Градец-Кралове вовсе не наша цель, а лишь полустанок на пути в Венгрию. А их гуситские проблемы для нас – дурь, пустой звук.

– Их проблема для меня не пустой звук, – холодно возразил Рейневан. – Петерлин верил в то, во что верят они. Одного этого мне достаточно, ибо я знал своего брата, знаю, каким он был человеком. Если Петерлин посвятил себя их делу, значит, оно не может быть плохим. Молчи, молчи, я знаю, что ты хочешь сказать. Я тоже видел, что сделали с радковским священником. Но это ничего не изменяет. Петерлин, повторяю, не поддержал бы неправого дела. Петерлин знал то, что я знаю теперь: в каждой религии, среди людей ее исповедующих и за нее борющихся, на одного Франциска Ассизского приходится легион братьев Арнульфов.

– Кто такой брат Арнульф, я могу только догадываться, – пожал плечами демерит. – Но метафору понимаю, тем более что она далеко не нова. Если же чего-то не понимаю… Уж не перешел ли ты, парень, в гуситскую веру? И уже, как каждый неофит, берешься за обращение? Если да, то сдержи, прошу тебя, евангелический азарт. Потому что ты растрачиваешь его совершенно не по назначению.

– Конечно, – поморщился Рейневан. – Тебя-то обращать не надо. Поскольку сей факт уже случился.

Глаза Шарлея слегка прищурились.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Восемнадцатого июля восемнадцатого года, – проговорил Рейневан после минутного молчания. – Вроцлав. Нове Място. Кровавый понедельник. Каноник Беесс выдал себя паролем, который я сообщил тебе тогда, у кармелитов. А Буко Кроссиг узнал и разоблачил той ночью в Бодаке. Ты принимал участие, к тому же активное, во вроцлавском бунте в июле *Anno Domini*[480] 1480. А что вас тогда расшевелило, если не смерть Гуса и Иеронима? За кого вы пошли горой, если не за преследуемых бегардов и виклифистов? Что защищали, если не свободное право на причастие под обоими видами? Называя себя *iustitia popularis,*[481] против чего вы выступали, если не против богатства и распущенности клира? К чему призывали на улицах, если не к реформе *in capite et in membris,*[482] Шарлей? Как это было?

– Как было, так и было, – ответил после недолгого молчания демерит. – К тому же семь лет назад. Возможно, тебя это удивит, но некоторые люди умеют учиться на ошибках и делать выводы.

– В начале нашего знакомства, – сказал Рейневан, – так давно, что, кажется, миновали века, ты, помнится, угостил меня такой сентенцией: «Творец создал нас по образу и подобию, но

позаботился об индивидуальных свойствах». Я, Шарлей, не перечеркиваю прошлого и не забываю о нем. Я возвращусь в Силезию и выровняю счет. Выровняю все счета и расплачусь со всеми долгами, с соответствующим процентом. Ведь из Градце-Кралове до Силезии ближе, чем до Буды…

– И тебе понравилось, – прервал Шарлей, – каким образом выравнивает свои счета градецкий плебан Амброж? Ну, разве я был не прав, Самсон, сказав, что это неофит.

– Не совсем. – Самсон подошел так, что Рейневан не заметил его и не услышал. – Не совсем, Шарлей. Тут дело в другом. В Катажине Биберштайн. Наш Рейневан, кажется, опять влюбился.

Прежде чем забрезжил рассвет, началось прощание.

– Бывай, Рейнмар, – пожал руку Рейневану Урбан Горн. – Я исчезаю. И без того слишком многие здесь видели меня, а при моей профессии это дело небезопасное. А я намереваюсь продолжать ею заниматься.

– Вроцлавский епископ уже знает о тебе, – предупредил Рейневан. – Наверняка знают также черные наездники, орущие *Adsumuus!*

– Значит, надо будет затаиться и переждать. Среди доброжелательных людей. Вначале я поеду в Глогувок. А потом в Польшу.

– В Польше небезопасно. Я говорил, что мы подслушивали в Дембовце. Епископ Збигнев Олесьницкий…

– Польша, – прервал Горн, – не только Олесьницкий. Более того – Польша лишь в очень малой степени Олесьницкий, Ласкаж и Эльгот.

– Польша, дорогой мой, это… Это другие… Европа, парень, вскоре изменится. И в основном именно из-за Польши. Ну, бывай, парень.

– Мы еще встретимся наверняка. Ты, насколько я тебя знаю, вернешься в Силезию. И я туда вернусь. У меня еще там есть несколько недовершенных дел.

– Как знать, может, довершим вместе. Если повезет. Но, чтобы такое случилось, послушай, пожалуйста, совет, Рейнмар из Белявы: не вызывай больше демонов. Не надо.

– Не буду.

– Совет второй: если ты всерьез думаешь о нашем будущем сотрудничестве, то научись как следует работать мечом. Кинжалом. Арбалетом.

– Научусь. Бывай, Горн.

– Бывайте, панич, – подошел Тибальд Раабе. – И мне пора. Надо работать на общее дело.

– Береги себя.

– Постараюсь.

Хоть Рейневан, по сути дела, был готов стать на сторону гуситов с оружием в руках, ему это не было дано. Амброж категорически потребовал, чтобы они с Шарлеем во время штурма Бардо находились при нем и его штабе. Рейневан и Шарлей, за которыми неотрывно следил эскорт, следовали этому приказу, в то время как гуситская армия, невзирая на падающий снег, переправилась через Нису и в образцовом порядке встала перед городом. С северной стороны в небо уже вздымались дымы – в ходе диверсионной операции конники Бразды и Храстицкого успели подпалить мельницы и пригородные домишки.

Бардо был готов к обороне, на стенах кишмя кишели вооруженные, развевались штандарты, не умолкал крик. Громко били колокола обеих церквей – чешского костела и немецкой кирхи.

А перед стенами в черных кругах пепелищ стояли девять закопченных столбов. Ветер нес кислый смрад горелого.

– Гуситы, – пояснил один из сельских доносителей, несколько дюжин которых уже сопровождали армию Амброжа. – Гуситы, схваченные чехи, бегарды и один еврей. Для устрашения. Как только они, благородный господин, выведали, что вы идете, то всех выволокли из ямы и спалили. Еретикам, значит… простите… вам на устрашение и презрение.

Амброж кивнул головой. Но не сказал ни слова. Лицо у него окаменело.

Гуситы быстро и четко заняли позиции. Пехота установила и подперла павонжи загородей. Приготовилась также и артиллерия. Со стен сыпались крики и ругань, время от времени грохотали выстрелы, порой летели болты.

Каркали и носились по небу всполошившиеся вороны, юркали растерявшиеся галки.

Амброж поднялся на телегу.

– Праведные христиане! – закричал он. – Правоверные чехи!

Армия умолкла. Амброж переждал, пока не наступит полная тишина.

– Я узрел, – рявкнул он, указывая на обуглившиеся столбы и пепелища костров, – под алтарем души убиенных за Слово Божие и за свидетельства, кои имели. И голосом громким так они воскликнули: доколе ж, владыка святой и праведный, не будешь ты судить и наказывать за кровь нашу тех, что обретаются на Земле? Узрел я ангела, стоящего в солнечных лучах! И призвал он голосом громовым всех птиц, летящих серединою неба: пойдите,

соберитесь на великий пир Божий, дабы съесть трупы королей, трупы вождей и трупы владык, трупы лошадей и тех, кто на них восседал! И увидел я Чудище!

Со стен донесся гул, полетели ругательства и проклятия. Амброж поднял руку.

– Вот птицы Божии над нами, указующие дорогу! А вон там, перед вами, – Чудище! Вот – Вавилон, насытившийся кровью мучеников! Вот пресловутое гнездовище греха и зла, укрытие слуг антихриста!

– На них! – взывал кто-то из толпы воинов. – Смеееерть!

– Ибо вот наступает, – рычал Амброж, – день палящий, аки печь, а все гордецы и кривдонесущие станут соломой, и спалит их наступающий день так, что не оставит ни корня, ни ветви!

– Жееечь их! Смеееерть! Бей! Убивай! Гыр на них![483]

Амброж воздел руки, толпа тут же утихла.

– Ждет вас дело Божие, – воскликнул он. – Дело, к коему приступить надобно с чистым сердцем, помолившись! На колени, верные христиане! Помолимся!

Армия со звоном и скрежетом повалилась на колени за стеной из щитов и загородей.

– *Otče náš,* – начал громко Амброж. – *Jenż jsi na nebesich bud' posvěcene tvé jméno…*[484]

– Přijd' tvé královstvi, – гудело в один голос коленопреклоненное войско. – *Staň se tvá vůle! Jako v nebi, tak i na zemi!*[485]

Амброж рук не сложил и головы не опустил. Он глядел на стены Бардо, и глаза его горели ненавистью, зубы ощерены, на губах пена.

– И прости нам, – кричал он, – долги наши! Как и мы прощаем…

Кто-то из стоящих на коленях в первом ряду вместо того, чтобы отпускать грехи, выпалил в сторону стен из пищали. Со стен ответили. Зубцы затянул дым, пули и болты засвистели и градом забарабанили по щитам.

– И не введи, – рык гуситов вздымался по-над гулом выстрелов, – во искушение!

– *Ale vysvobod' nás od zlého!*[486]

– Аминь! – возопил Амброж. – Аминь! А теперь вперед, верные чехи! *Vpřed, božci bojovnici!*[487] Смерть прислужникам антихриста! Бей папистов!!!

– Гыр на них! Бей-убивай!

Дикий крик, вой, рев, вздымающий волосы дыбом.

Бардо умирал. Умирал под колокольный звон своих церквей. Колокольный гул Бардо, еще несколько минут назад громогласно,

надменно призывавший к оружию, стал отчаянным, как крик о помощи. И наконец превратился в лихорадочный, хаотичный, рваный стон умирающего. И как умирающий затихал, давился смертью, догорал. Наконец умолк, заглох. И почти в тот же момент обе колокольни затянулись дымом, почернели на фоне пламени. Пламени, рвущегося в небо, я бы сказал, уносящего в выси душу города. Города, который умер.

А город Бардо умер. Бушующий пожар был уже всего лишь погребальным костром. А крики убиваемых – эпитафией.

Вскоре из города потянулась вереница беглецов – женщин, детей и тех, кому гуситы позволили выйти. За беглецами внимательно наблюдали сельские информаторы. То и дело кого-нибудь узнавали. Их тут же вытаскивали. И кромсали.

На глазах у Рейневана крестьянка в епанче указала гуситам на молодого мужчину. Его выволокли, а когда сорвали капюшон, то модно подстриженные волосы выдали в нем рыцаря. Крестьянка сказала что-то Амброжу и Глушичке. Глушичка отдал короткий приказ. Поднялись и опустились цепы. Рыцарь рухнул на землю, лежащего закололи вилами и судлицами. Крестьянка сняла капюшон, открыв толстую светлую косу. И ушла. Прихрамывая. Прихрамывая настолько характерно, что Рейневан смог определить врожденный вывих бедра. На прощание она послала ему многозначительный взгляд. Она узнала его.

Из Бардо выносили добычу, из пекла пожара и клубов дыма выходили толпы нагруженных различным добром чехов. Добычу загружали на телеги. Гнали коров и лошадей.

На самом конце колонны из горящего города вышел Самсон Медок. Он был черен от сажи, кое-где подгорел, у него не было ни бровей, ни ресниц. Он нес в руке котенка, взъерошенное черно-белое созданьице с огромными, дикими, испуганными глазами. Котенок лихорадочно цеплялся коготками за рукава Самсона и то и дело беззвучно раскрывал рот.

Лицо Амброжа было словно высечено из камня. Рейневан и Шарлей молчали. Самсон подошел, остановился.

– Вчера вечером я мечтал о спасении мира, – проговорил он очень мягко и тепло. – Сегодня утром – о спасении человечества. Ну что ж, приходится соизмерять силы с намерениями. И спасать то, что можно.

Разграбив Бардо, армия Амброжа свернула на запад, к Броумову, оставляя на свежем и белейшем снегу широкий черный след.

Конницу разделили. Часть под командой Бразды из Клинштейна отправилась вперед, образовав так называемый *predvoj,* то есть передовой дозор. Остальные, в количестве тридцати, попали под команду Олдржиха Галады и составили арьергард. В нем оказались Рейневан, Шарлей и Самсон.

Шарлей посвистывал, Самсон молчал. Едущий бок о бок с Галадой Рейневан выслушивал поучения, знакомился с хорошими манерами и освобождался от старых. К последним, достаточно строго поучал Галада, относится использование слова «гуситы», поскольку так говорят только враги-паписты и вообще люди, относящиеся к ним неприязненно. Следует говорить «правоверные», «добрые чехи» либо «Божьи воины». Полевая армия из Градца-Кралове, продолжал далее гетман Божьих воинов, это вооруженное крыло Сироток, то есть правоверных, осироченных незабвенным Яном Жижкой. Когда Жижка был жив, Сиротки, ясное дело, еще не были сиротками, а назывались Новым либо Малым Табором, именно для того, чтобы отличаться от Старого Табора, или от таборитов. Новый, или Малый, Табор Жижка заложил, опираясь на оребитов, то есть тех правоверных, которые собирались на горе Ореб, неподалеку от Тшебеховиц, в отличие от таборитов, собиравшихся на горе Табор у реки Лужницы, и там построили свое Городище. Нельзя, сурово объяснял правоверный гетман Сироток из Нового Табора, путать оребитов с таборитами и уж совсем наказуемо – связывать какую-нибудь из этих групп с каликстинами из Праги. Если на Новом Пражском Граде еще можно встретить истинных правоверных, поучал оребит с горы, расположенной неподалеку от Тшебеховиц, то уж Старый Город – это гнездо умеренных соглашателей, именуемых каликстинами либо утраквистами, а с этими истинные чехи не желают иметь ничего общего. Не желают и не должны. Однако пражан тоже нельзя называть гуситами, ибо так говорят только враги.

Рейневан сонно покачивался в седле и время от времени вставлял, что, мол, понимает, что было неправдой. Снова пошел снег, быстро превратившийся в метель.

За лесом, на распутье, неподалеку от спаленного Войбужа, стоял каменный покаянный крест, один из многочисленных в Силезии, – памятник преступления и покаяния. Вчера, когда сжигали Войбуж, Рейневан креста не заметил. Был вечер, сумрак, шел снег. Многое можно было не заметить.

Плечи креста оканчивались каменными клеверинками. Рядом с крестом стояли две телеги, не боевые, а обычные, для перевозки грузов. Одна, с совершенно поломанным обручем, сильно

накренилась, опершись на ступицу колеса. Четыре человека тщетно пытались приподнять телегу, чтобы два других могли снять поломанное колесо и надеть запасное.

– Помогите! – крикнул один. – Братры!

– Разгрузите телегу, – крикнул в ответ Галада. – Легче будет.

– Тут не только колесо, – тоже криком ответил возница. – Дышло для пристяжной выломал, запрячь невозможно. Пусть кто-нибудь поскачет вперед, завернет какую-нибудь упряжку. Перегрузим добро…

– Пропади оно пропадом, добро. Не видите, как метет. Остаться хотите?

– Жаль добычи.

– А задницы своей не жаль? За нами могут гнаться…

Голос замер у Галады в глотке. Потому что в скверный, очень скверный час он проговорил эти слова.

Захрапели лошади, из леса вышел отряд рыцарей в полном вооружении. Их было около тридцати, в основном иоанниты.

Они ехали шагом, ровно, дисциплинированно, ни один конь не выдвигал нос из строя.

С другой стороны тракта выехал из-за деревьев другой отряд, тоже сильный. Под хоругвью с бараньей головой Хаугвицей. Заходя лавиной, рыцари ловко отсекли Сироткам дорогу к бегству.

– Пробьемся! – крикнул один из молодых конников. – Брат Олдржих! Пробьемся!

– Как? – прохрипел Галада. – Сквозь копья? Понасажают нас, как цыплят. С коней! И промеж возов! Дешево шкуру не продадим!

Нельзя было терять ни минуты, окружающие их рыцари уже подгоняли лошадей в галоп, иоанниты захлопывали забрала арметов, наклоняли копья. Гуситы соскочили с лошадей, скрылись за телегами, некоторые даже залезли под них. Те, которым укрытия не досталось, опустились на колени и натянули арбалеты. Оказалось, что на телегах, кроме награбленных литургических сосудов, явно по счастливой случайности везли оружие, в основном на древках. Чехи мгновенно поделили между собой алебарды, партизаны и гизармы. Рейневану кто-то сунул в руку спису с длинным и тонким, как шило, острием.

– Готовься! – крикнул Галада. – Идут!

– Влипли мы в бездонное говно. – Шарлей натянул и зарядил арбалет. – А я столько ожидал от Венгрии. Какой, курва, у меня был аппетит на настоящий *bográcsgulyás!*[488]

– Бог и святой Ежи!

Иоанниты и Хаугвицы погнали лошадей в атаку. И с ревом

ринулись на телеги.

– Сейчас! – взвизгнул Галада. – Сейчас! Пли! По ним!

Щелкнули тетивы, град болтов зазвенел по щитам и латам. Рухнули несколько лошадей, свалились несколько наездников. Остальные мчались на защитников. Длинные копья доставали цели. Треск ломающихся древков и крики тех, в которых угодили копья, взмыл под небеса. Рейневана обдало кровью, он видел, как совсем рядом один из возниц конвульсивно дергается, пробитый навылет, как с другой стороны спешившийся конник Галады пытается вырвать из груди острие, заметил, как третьего огромный рыцарь с багром Оппельнов на щите поднимает на копье и, истекающего кровью, кидает на снег. Увидел, как Шарлей стреляет из арбалета, с близкого расстояния всаживая болт в горло одному копейщику, как другому Галада разрубает шлем и голову бердышом, как третий, поддетый крюками двух гизарм, падет между возами и умирает, зарубленный и исколотый. Ощерившаяся, вся в пене морда коня нависла над его головой, он увидел сверк меча, не раздумывая ткнул списой, трехгранное острие пробило и во что-то врезалось. Рейневан чуть не упал под напором, увидел, как иоаннит, в которого он всадил спису, качается в седле. Он нажал на древко, иоаннит откинулся назад, тонким голосом призывая святых. Но не упал, поддержанный высокой лукой седла. Помог кто-то из Сироток, трахнув иоаннита алебардой, против такого удара луки было мало, рыцаря прямо-таки снесло с седла. Почти в тот же момент чех получил булавой по голове, удар вбил капалин по самый подбородок, из-под капалина потекла кровь. Рейневан ткнул ударившего и, изрыгая ругательства, столкнул его с седла. Рядом свалился с коня другой, застреленный Шарлеем. Третий, зарубленный двуручным мечом, ткнулся лбом в гриву, заливая ее кровью. Вокруг телег стало просторней. Латники отступили, с трудом сдерживая лошадей.

– Отлично! – рычал Олдржих Галада. – Отлично, братры! Дали мы им!

Они стояли среди крови и трупов. Рейневан с ужасом отметил, что в живых их осталось не больше пятнадцати, из которых на ногах мог держаться разве что десяток. Большинство из тех, кто еще мог стоять, тоже истекали кровью. Он понял, что живы они только потому, что копейщики мешали друг другу, драться у возов могли не все. Впрочем, и эти заплатили за такую возможность страшную цену. Возы окружало кольцо убитых людей и визжащих, покалеченных лошадей.

– Готовься! – гаркнул Галада. – Сейчас ударят снова…

– Шарлей?

– Жив.

– Самсон?

Гигант откашлялся, стер с бровей кровь, сочившуюся из раны на лбу. Он был вооружен утыканной шипами булавой и щитом, который какой-то доморощенный художник украсил изображением пламенеющей облатки и надписью: BOŮH PAN NÁŠ.[489]

– Готовься! Идут!

– Этого, – сквозь зубы проговорил Шарлей, – нам уже не пережить.

– *Lasciate ogni speranza,*[490] – спокойно согласился Самсон. – Какое, однако, счастье, что я не взял с собой того котенка.

Кто-то подал Рейневану гаковницу. Минутная передышка позволила Сироткам забить пули. Рейневан уперся стволом в воз, зацепил крюк за борт, приложил фитиль к запалу.

– Святой Еееееежи!

– *Gott mil uns!*[491]

Грохот копыт известил об очередной атаке со всех сторон. Загремели пищали и гаковницы, в образовавшееся облако дыма полетели болты из арбалетов. А через мгновение в ход пошли длинные копья, брызнула кровь, раздался сумасшедший рев пробитых остриями людей. Рейневана спас Самсон, заслонив его щитом с облаткой и барашком. Через мгновение щит уберег от смерти Шарлея. Гигант управлял огромным щитом одной рукой, как крупным диском, а врезающиеся в него копья отражал так, словно это были стрелы из духовых трубок.

Иоанниты и латники Хаугвица ворвались меж телег, рубили, стоя в стременах, мечами и топорами, в крике и звоне, рвали буздыганами. Гуситы умирали один за другим, огрызаясь как собаки, стреляя копейщикам прямо в лица из арбалетов и рушниц, тыча и разрывая гизармами и алебардами, колотя булавами, коля списами. Раненые заползали под возы и подрезали лошадям бабки, увеличивая толкотню, хаос и толчею.

Галада заскочил на телегу, ударом бердыша скинул с седла иоаннита, сам согнулся, получив острием. Рейневан схватил его, стащил. Двое тяжеловооруженных нависли над ним, вздымая мечи. Жизнь им снова спас Самсон и BŮG PÁN NÁŠ на огромном щите. Один из рыцарей, судя по изображению, Зейдлиц, рухнул вместе с лошадью, которой перерезали бабки. Другого, сидящего на сивом коне, Шарлей рубанул по голове упущенным Галадой бердышом. Шлем лопнул, латник согнулся, захлебываясь кровью. В тот же момент на Шарлея наскочили и повалили лошадью. Рейневан с размаху ткнул наездника списой, острие увязло в

пластине. Рейневан отпустил древко, развернулся, сжался, латники были повсюду, вокруг хаос остроносых хундсгугелей, мелькание крестов и гербов на щитах, ураган мелькающих мечей. Тайфун конских зубов и копыт. «Башня шутов, – лихорадочно думал он, – это по-прежнему *Narrenturm,* безумие и психоз. И сумасшествие. *Narrenturm*».

Он поскользнулся на крови. Упал. На Шарлея. У Шарлея в руках был арбалет. Он взглянул на Рейневана, подмигнул и выстрелил. Вертикально вверх. Прямо в живот вздымающегося над ними коня. Конь завизжал. А Рейневан получил копытом по голове. «Это конец», – подумал он.

– Помоги нам, Господи! – услышал он как сквозь вату, парализованный болью и слабостью. – Выручай! Выручай, Господи!

– Помощь, Рейнмар! – кричал, дергая его, Шарлей. – Помощь! Живем!

Он приподнялся на четвереньки. Мир все еще плясал и плавал у него в глазах. Но тот факт, что они жили, не заметить было невозможно. Он заморгал.

С поля долетел крик и звон: иоанниты и латники Хаугвица сражались с прибывшей подмогой, вооруженной, в полных пластинчатых латах. Бой был недолгим – по тракту с запада уже мчалась галопом, ревя что есть силы в легких, конница Бразды, за ней, вопя еще пронзительнее, мчалась гуситская пехота с воздетыми цепами. Видя все это, иоанниты и люди Хаугвица развернули коней и поодиночке и группами помчались к лесу. Помощь шла у них по пятам, безжалостно рубя и кромсая, так что эхо неслось по холмам.

Рейневан сел. Ощупал голову и бока. Он был весь в крови, но, похоже, чужой. Рядом, все еще ухватившись за павонж, сидел, опершись о воз, Самсон Медок с окровавленной головой, густые капли ползли у него с уха на плечо. Несколько гуситов поднимались с земли. Одного рвало. Один, держа зубами конец ремня, пытался остановить кровь, хлещущую из культи руки.

– Живем, – повторил Шарлей. – Живем! Эй, Галада, слы…

Он осекся. Галада не слышал. Галада уже не мог слышать.

К телегам подъехал Бразда из Клинштейна, латники из подмоги. Все еще распаленные битвой, они тут же умолкали и затихали, когда под копытами лошадей начинало чавкать кровавое месиво. Бразда оценил побоище, взглянул в остекленевшие глаза Галады, ничего не сказал.

Командир латников из подмоги приглядывался к Рейневану, щуря глаза. Было видно, что он пытается вспомнить. Рейневан узнал его сразу и не только по розе на гербе – это был раубриттер

из Кромолина, протектор Тибальда Раабе, поляк Блажей Порай Якубовский.

Рыдавший рядом чех опустил голову на грудь и умер. В тишине.

– Удивительно, – сказал наконец Якубовский. – Гляньте на этих троих. Они даже не очень поцарапаны. Вы просто холерные счастливчики. Или какой-нибудь демон хранит вас.

Он их не узнал. Впрочем, ничего странного.

Хоть Рейневан и сам едва держался на ногах, он тут же принялся перевязывать раненых. В это время гуситская пехота дорезала и освобождала от доспехов и оружия иоаннитов и копейщиков Хаугвица. Убитых вытряхивали из лат, уже началась перебранка, оружие, что получше и подороже, вырывали друг у друга из рук, не обходилось и без кулаков.

Один из лежащих под телегой рыцарей, казалось, мертвый, как и другие, неожиданно пошевелился, заскрипел латами, застонал из глубин шлема. Рейневан подошел, опустился на колени, поднял хундсгугель. Они долго смотрели друг другу в глаза.

– Ну, что же ты… – прохрипел рыцарь. – Добей меня, еретик. Ты убил моего брата, так убей и меня. И пусть ад поглотит тебя…

– Вольфгер Стерча…

– Чтоб ты сдох, Рейневан Беляу.

Подошли два гусита с окровавленными ножами. Самсон встал и преградил им дорогу, в глазах у него было что-то такое, что гуситы почли за благо поскорее убраться.

– Добей меня, – повторил Вольфгер Стерча. – Чертов помет. Ну, чего ждешь?

– Я не убивал Никласа, – сказал Рейневан. – Ты прекрасно знаешь. Я все еще не выяснил, какую роль вы сыграли в убийстве Петерлина. Но знай, Стерча, я сюда вернусь. И рассчитаюсь с виновными. Знай это сам и передай другим. Рейнмар из Белявы вернется в Силезию. И потребует расплатиться за все.

Лицо Вольфгера расслабилось, помягчело. Стерча разыгрывал из себя храбреца, но только теперь понял, что у него есть шанс выжить. Несмотря на это, он, не произнеся больше ни слова, отвернулся.

Возвращалась из погони и разведки конница. Подгоняемая командирами пехота перестала обирать павших, сформировала маршевый строй. Подошел Шарлей с тремя лошадьми.

– Отправляемся, – бросил он кратко. – Самсон, ехать сможешь?

– Смогу.

Отправились они только через час. Оставив позади каменный покаянный крест, один из многочисленных в Силезии памятников преступления и запоздалого раскаяния. Теперь, кроме креста, развилок помечал курган, под которым похоронили Олдржиха Галаду и двадцать четыре гусита – Сироток из Градца-Кралове. На вершину Самсон воткнул павенже с огненной облаткой и чашей.

И надписью: BŮG PÁN NÁŠ.

Армия Амброжа шла на запад, к Броумову, оставляя за собой широкую черную полосу вспаханной копытами и перемолотой башмаками грязи. Рейневан повернулся в седле, взглянул.

– Я сюда вернусь, – сказал он.

– Этого я и опасался, – вздохнул Шарлей. – Этого опасался, Рейневан. Именно этих слов. Самсон?

– Слушаю.

– Ты что-то бормочешь себе под нос, к тому же по-итальянски. Значит, я полагаю, опять Данте Алигьери?

– Верно полагаешь.

– И, конечно, строки, подходящие к нашей ситуации. И к тому, куда мы направляемся?

– Верно.

– Хм-м-м… *Fuor de la queta*… Значит, мы идем… Я не покажусь слишком назойливым, если попрошу перевести?

– Не покажешься.

> Из тихой сени в воздух потрясенный
> Уже иным мы двинемся путем.
> И я – во тьме, ничем не озаренной…[492]

На западном склоне Голиньца, в том месте, откуда как на ладони была видна долина и марширующая армия, присел на лапу ели большой стенолаз. Отряхнул иголки от снега. Повернул голову, его неподвижные глаза, казалось, высматривают кого-то среди идущих.

Вероятно, стенолаз наконец увидел то, что хотел увидеть, потому что раскрыл клюв и заскрипел, и в этом скрипе был вызов. И чудовищная угроза.

Горы тонули в мутноватом *sfumato*[493] хмурого зимнего дня.

Снова пошел снег, заметая следы.

Выдержки из примечаний автора

К главе первой

Memento salutis Auc or… – традиционный молитвенный гимн.

Ad te levavi oculos meos… – монахи последовательно распевают псалмы: 122-й, 123-й, 124 – й и «Песни Песней».[494]

К главе второй

Чтобы не дать разлиться желчи, пуристам и им подобным «блюстителям чистоты языка», любящим повторять, что-де «так раньше не говорили», поясню, что слово «холера», «холерный» в значении «болезненный» использовал еще Гиппократ, имея в виду всяческие кишечно-желудочные недомогания. Отсутствие тому доказательств вовсе не означает, что так быть не могло.

К главе пятой

«…дальше, чем в миле от города…» – во всей книге я придерживаюсь значения величины мили, принятого в старой Польше, то есть семи километрам с небольшим гаком.

«Мой Алькасин, преследуемый за любовь…» – имеется в виду «Песня об Алькасине и Николетте» *(Aucassin et Nicolette),* популярная в средневековье анонимная французская поэма, повествующая о перипетиях влюбленных (так называемая *chantefable).*

К главе шестой

«Formicarius» Нидера, конечно, анахронизм. Это произведение создано доминиканцами лишь в 1437 году.

К главе седьмой

«Конрадсвальдау принадлежит Хаугвицам. В Янковицах сидят Бишофсхеймы…» В отношении названий местностей я придерживаюсь исторической правды, то есть следую

историческим источникам, а в соответствии с ними теперешнее Пшилесье у Бжега в XV веке именовалось именно Конрадсвальдом, теперешний Скарбомеж – Хермсдорфом, а нынешняя Крушина – Шёнау. В то же время название Янковице для того же исторического периода будет правильнее, нежели «онемеченное» (позже) Енковиц. В последующем тексте, иногда – не желая, чтобы читатель окончательно запутался, – я, однако, пользуюсь современными названиями, даже если и с небольшим ущербом для исторической истины. Впрочем, весьма относительным.

К главе двенадцатой

«Offer nostras preces in conspectu Altissimi» – моление святому Михаилу Архангелу *{Orgайо ad Sanctum Michael),* часть ритуала экзорцизма в римском обряде, авторства, считается, папы Льва XIII.

«Ego te exorciso…» – фрагмент ритуалов и экзорцистских заклинаний, почерпнутых мною из самых разных источников с определенной, признаюсь, долей беспорядочности. Однако – преднамеренной.

К главе шестнадцатой

«Pange lingua gloriosi…» – эвхаристический гимн авторства Фомы Аквинского, первая строфа.

«Nil tool dan…» – Вальтер фон дер Вельде.

«Rerum tanta novitas…» – опять Вальтер фон дер Вельде.

«Genitori Genitoque…» – снова Фома Аквинский, тот же гимн «Pange Lingua», последние строки которого, однако, выделяются как так называемый Tantum ergo.

«Garbarze kurwiarze…» – позаимствовал у Людвика Стомны. Это якобы гуральская припевка из района Сухих Бескид.

«So die bluomen üz dem grase dringent…» – Вальтер фон дер Вельде.

«Verbum caro…» – тот же гимн, что и приведенный выше. Четвертая строфа.

К главе двадцать первой

«Cesarscy popowie sa antychrystowie» – Кантилена, или «Песнь о

Виклифе» Иенджея Гальки, была написана, конечно, гораздо позже, вероятно, около 1440 года.

К главе двадцать второй

Конрад, епископ Вроцлава на протяжении восьми лет, поражал всех истинно рыцарской внешностью. Описывая его, я строго придерживался – во всем, что касается его наружности, – хроникера. Однако позволил себе некоторые вольности при описании его других признаков. Надо сказать, что описание Конрада у Длугоша (у которого я почерпнул основные сведения) – «…чернявый волосатик… невысокого роста, толстоватый… с гноящимися глазами, заикающийся и косноязычный…» – плохо укладывалось в мою фабулу, никак ей не соответствуя. К тому же бог знает, каким он был в действительности. Длугош ухитрялся мерзковато и не совсем портретно верно обрисовывать людей, которых не любил или которые ему чем-то насолили. А то, что епископа вроцлавского хроникер симпатией не баловал, – это уж точно.

«Проповедь» впоследствии широко известного Николая из Кузы (насчитывавшего в то время едва двадцать четыре весны жизни) я скомпоновал из значительно более поздних контрреформационных высказываний Петра Скарги, иезуита, в его «Житиях Святых Ветхого и Нового Завета».

К главе двадцать четвертой

«Necronomicon» Абдулы Аль… – разумеется, поклон в сторону Лавкрафта.

«Liber Y Sothotis» – я придумал сам, взяв за образец Лавкрафта, *«meum est propositum…»* – Вальтер Мэп.

«Bibit hera, bibit herus…» – аноним, текст взят из сборника средневековых религиозных песен, т. н. «Кармина Бурана».

К главе двадцать пятой

«veni, vera, venias…» – аноним. Из сборника «Кармина аматории».

К главе двадцать девятой

Текст Алигьери:

> Fuor de la queta, ne i' aura che trema
> E vegno in parte ove non e che luca.

Некоторые пояснения и замечания переводчика

А) Прежде всего должен отметить, что далеко не все примечания автора попали в вышеприведенный раздел.

Многие из них для удобства читателя переводчик перенес на соответствующие страницы. Часть авторских примечаний из текста исключена как не представляющая интереса для русскоязычного читателя.

Б) Особая статья – стихотворные тексты.

Должен признаться, что мне удалось найти лишь один профессионально сделанный перевод, который и будет здесь в соответствующем месте приведен. Практически все остальные переводы представляют собой довольно шершавые подстрочники с польского текста, в свою очередь тоже являющегося подстрочником либо «самодеятельным переводом» с какого-то языка на польский.

В) Ну а теперь собственно «Пояснения».

К главе первой

«Memento salutis…» – Помни, о Создатель вселенной, Что некогда ты принял форму тела нашего, когда Тебя выдала на Свет Пресветлая Дева.

«Ad te leva» – монахи распевают поочередно 122-й, 123-й, и 124-й Псалмы, а также две песни из Песни Песней Соломона:

«Benedictus Dominus…» – Псалом 122; 6—7

«Qui confidunt in Domino…» – Псалом 123; 1

«Quia non relinguet…» – Там же, 3

«Revertere…» – Песни Песней, 6; 12

«Quo… ubera tua…» – Там же 7; 13

К главе шестой

«Это мэтр *Johann Nider* в своем *Fotmicariusi'e* написал.

«Formicarius» Нидера, разумеется, анахронизм, поскольку это доминиканское произведение возникло лишь в 1437 году.

К главе двенадцатой

«Offer nostras preces in conspectu Altissimi…» – молитва святому Михаилу Архангелу *(«Oratio ad Sanctum Michael»),* в подстрочном переводе текста Сапковского выглядит так: «Мольбы наши возносим пред обличием Всевышнего, дабы снизошла на нас милость Божия, дабы уловлен был дракон, змий древний, коий зовется дьяволом и сатаной, дабы связан он был и сброшен в бездну, дабы не совращал более народов. Тогда, отданные под Твою защиту, мы, священники, данной нам властию сможем отвергнуть дьявольские искушения во имя Господа нашего Христа…»

«Ego te exorciso…» – фрагменты множества ритуалов и экзорцизмов, почерпнутые из различных источников. Признаться должен, несколько беспорядочно. Однако беспорядок это запланирован.

К главе шестнадцатой

«Pengo lingua gloriosi» – подстрочный перевод с авторского текста:

Прославляй, язык, тайны
тела и самой дорогой крови,
кою словно колодец излил по
мановению волшебной палочки
в будни земных дней.
Тот, матерью которого была Дева,
Достойный почитания народов Царь.

Гимн Вальтера фон дер Фогельвейде.
Первая строфа в переводе В. Левика.

Когда солнцу, от росы блестящи,
Ранним утром или в полдень мая
Шлют улыбку первые цветы
И в полях, в растормошенной чаще
Свищут птицы, радость изливая, —
Что прекрасней этой красоты!

Профессиональных переводов остальных приводимых автором стихотворных текстов мне найти не удалось. И хотя автор порекомендовал оставить их в тексте книги без перевода (я полагаю, для создания общего аромата), я все же на свой риск и страх решил дать их – пусть и корявые подстрочники:

«Verbum caro»

«Воплощенный словом хлеб
превратит в свое тело,
вино ж – кровь Христова,
хоть и тщетно стремится это увидеть взгляд.
Только вера, Божье слово
шлет в сердца уверенность в этом».
«Verum tarda novitas…»

– опять Вальтер фон дер Фогельвайде.

«Все возрождается в весеннем свете
А власть весны приказывает нам радоваться».

«Nil tool dan…» – опять Вальтер:

«Давайте же смотреть,
когда приидет истина.
Идем на веселье, которое нам доставит май,
Взглянем на него и на прекрасных дам
и решим, что лучше из этих двух.
И не самое ли лучшее получил я в дар».

«Genitore, Genitoque…» – снова Фома Аквинский, последние строфы, так называемые *«Tantum egro»:*

«Богу Отцу и Сыну!
Почет во все грядущие дни,
Пусть век передает веку
гимн триумфа, благодарности, почета».

«Garbarze kurwiarze» – А.С. позаимствовал у Людвика Стомны. Считается, что это припев гуральский из района Сухих Бескид.

К главе двадцать четвертой

Предназначение мое – кончить жизнь в шинке.
Подай кубок, налей вина, сынок,
Чтоб сказали ангелы, стоящие в очереди:
Дай, Боже, пьянице райского отдохновения.

«Bibit hera bibit herus» – аноним.

«Пьет хозяйка, пьет хозяин,
Рыцарь пьет, священник хлещет.
Пьет и он, и пьет она.
Пьет служанка и слуга
Пьют жадюга, пьет мерзавец,
белый пьет и черный пьет».

«Прыг из окна» – «летное заклинание». Автор пополнил этим забавным двустишием совершенно в «силезском» «духе» известное заклинание.

К главе двадцать пятой

«Veni, vera, venitas» – аноним.

«Прииди, о, прииди, прииди,
Не дай мне умереть
хырка, хырка
Назаза, Триллиривос…

Прекрасны твои лица,
Очи твои блестящи,
Волосы твои заплетены в косы,
О, какое же ты изумительное существо.
Ты – пурпурнее розы,
Ты – белее лилии,
Ты – прекраснее всех.
Хвала, хвала тебе во веки веков.

И наконец:

Д) Не могу не выразить огромную благодарность автору книги Анджею Сапковскому за безотказную и всестороннюю помощь, потребовавшуюся мне при «расшифровке» имен, терминов и наименований.

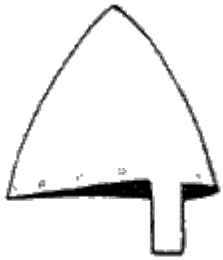
А также считаю своим долгом поблагодарить Президента Обнинского компьютерного клуба Юрия Кофтуна и заместителя генерального директора обнинского книжного издательства «Титул» Светлану Ширину, обеспечивавших мне телефонную и

электронную связь со всеми интересующими меня и необходимыми мне точками планеты.

Конечно, я ничего бы не смог сделать, если б моя жена Галина Дыхалина не взвалила на свои плечи весь труд и все заботы по дому.

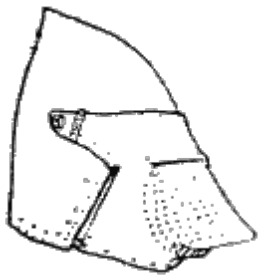
07.08.03
Евгений Вайсброт

Приложение

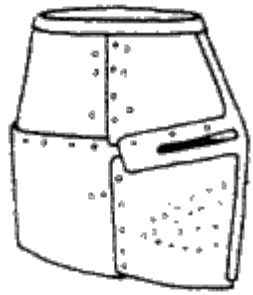


Шлем нодманский

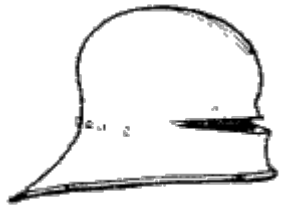
Басинет



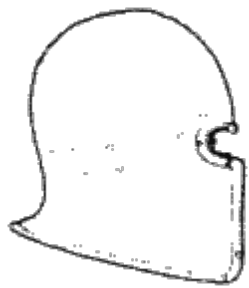
Хундсгугель старого типа



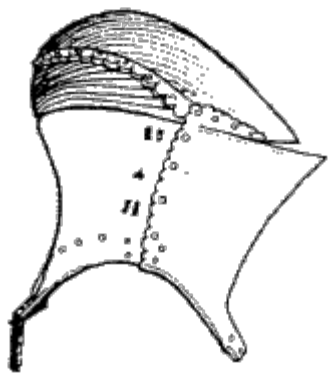
Шлем горшковый



Салада



Варбута



Лягушачья морда

Капалин

Хундсгугель нового типа

Армет

Шлем с максимиаианским забрааом

notes

Примечания

1

10 февраля по Григорианскому календарю. – Здесь и далее примечания переводчика, кроме особо оговоренных случаев.

пять городов (лат.).

3

Только глупец может откладывать еду и выпивку на завтра (лат.).

черная смерть (чума).

фаллос (прост.).

по прозвищу (лат.).

влоцлавский епископ (лат.).

орден францисканцев-миноритов (Fratrum Minorum).

9

Inquisitio haereticae pravitatis, Sanctum Officium – инквизиция.

без гнева и пристрастия (ит.).

11

11 апреля.

12

Трех волхвов – 6 января.

седьмой день в марте, мае, июле и октябре. В остальных – пятый.

искусство любви (лат.).

молитва, читаемая около полудня, через шесть часов после восхода солнца.

«Боже, да будет воля твоя» (лат.).

17

Перевод латинских гимнов, выражений, озорных песен, сведения библиографического характера, а также различные любопытные замечания читатель найдет в конце книги. Однако – заранее предупреждаем – не все. Ведь повествование о Рейневане – литературный вымысел, хоть и точно исторически документированный, однако же свободный от чересчур благоговейного отношения к источникам. Кроме того, в приложении даны формы и виды рыцарских шлемов.

18

Любовь моя (фр.).

опыт, знание дела (устар.).

уменьшительное (шутливое) от Израэль, он же Иаков.

почти точный пересказ 14-го стиха 4-й главы «Песни Песней» Соломона.

22

Мой волшебник (фр.).

23

Повернись (фр.).

24

Там же, 1; 13.

25

Там же, 1; 8.

Там же, 4; 4.

27

Чародей! Дья… (фр.)

28

Во имя Отца и Сына… (лат.).

необыкновенный, чрезмерный (лат.).

30

Мир! Мир вам! Возлюби ближнего своего, говорю вам! (лат.)

купцы и мелкие торговцы (лат.).

беспристрастное рассмотрение предмета (лат.).

33

Книга лоллардов, своеобразный «манифест веры» лоллардов и виклифистов.

сочинения, памфлеты, пасквили.

епископ без епархии.

36

Город в Финикии неподалеку от Тигра. Звание епископа чисто номинальное, так как после гибели королевств крестоносцев эти земли были заняты мусульманами.

прелат, имеющий право носить митру.

38

Династия в средневековой Польше.

монахини Ордена святой Клары.

руководитель кафедральной школы.

имена, прозвища (лат.).

42

Член орденского сообщества, не дающий обета.

43

Аицо, постоянно пребывающее в монастыре, но не принявшее сан.

выбрасывание из окон пражского магистрата семи советников в начале гуситских войн (1419 год).

45

Дух веет, где хочет (лат.).

Общее согласие (лат.).

47

Согласие голосов (лат.).

птица семейства пищуховых (Tichodroma muraria).

виновник, правонарушитель. От лат. delinquens – преступник.

союз рыцарства данного района, имеющий целью поддержание порядка и безопасности.

название языческих славянских капищ, приведенное в описаниях миссии Оттона Бамбергского (1125 г.) как «contina».

дьявольский и проклятый праздник (лат.).

замки крестоносцев, которые возводили в Сирии на Святой Земле.

Мы здесь! (лат.)

Здесь: отделение.

гуляки, обманщики – французское название вагантов, менестрелей, бродячих студентов, жонглеров.

председатель духовного суда в католической церкви.

58

Орден Проповедников, доминиканцы.

сиятельнейшая дева (лат.).

А также (лат.).

61

Студент Пражской академии, бакалавр (лат.).

62

Старопольское название Австрии.

«да святится имя Иисуса» (лат.).

Здесь: придворный, ведающий княжескими (королевскими) палатами.

65

Завиша Черный из Гарбова – польский «рыцарь без страха и упрека», образец рыцарских достоинств, справедливость которого вошла в поговорку, широко известный в свое время победами на рыцарских турнирах. Будучи молодым на службе Сигизмунда Аюксембургского, узнав о войне с крестоносцами, вернулся на родину и проявил себя в бою под Грюнвальдом (1410). Во время похода Сигизмунда Аюксембургского на турок был взят в плен и убит в 1428 году.

Гарнец – около 4 литров.

67

Сулима – польский рыцарский герб, отличающий много родов. Мобилия – геральдические подробности.

рыцари-разбойники, грабители (нем. Raubritter).

«В моем кувшине» (лат.).

Пожонь, или Пресбург, – теперешняя Братислава.

Кутенберг (нем.).

72

В давней Польше период от 25.12., т. е. от Рождества, до 06.01., то есть до Трех Царей.

легкие орудия с коротким стволом, стреляющие каменными ядрами.

герои (нем.).

«Истина победит» (лат.).

«NecHercules contra plures»(лат.) – И Геркулес не справится с многими.

77

Решение, которое в 1420 во Вроцлаве огласил король римский, чешский и немецкий Сигизмунд Аюксембургский, выбранный посредником в споре между Польшей и орденом крестоносцев. Это решение было скандально несправедливым для Польши.

78

«Пророческое и таинственное» определение места смерти Завиши Черного, убитого в 1428 году турками под Голубацем (Голомбцем), над Дунаем. Сейчас это Сербия (недалеко от Белграда).

79

Цитата из «Завиши Черного», пера Юлиуша Словацкого. «Человек железного меча» – рыцарь, жизнь которого прошла в боях.

80

В 1109 году, по легенде, убитых немцев не успевали хоронить, и их трупы пожирали собаки, так их было много.

в древних народных поверьях – духи в виде высоких тощих женщин, обернутых белыми полотнищами.

собирательное название всяческих домовых и пр. нелюдей.

От нем. Irrlicht – блуждающий огонек.

84

«Раз, два, три,$Молочай, тмин, зубчатку$Свяжи вместе — $Тропы станут известны,$А мой путь ведет прямо» – магическая смесь польских, немецких и латинских слов.

узел, магический предмет.

популярное старопольское определение времени, необходимого, чтобы трижды прочесть «Отче наш», «Радуйся, Мария»…

сплетенный из веточек и т. д. магический предмет.

блюдо из запаренной ржаной или гречневой муки.

разновидность простых доспехов в виде кожаной куртки, густо покрытой металлическими пластинами.

и компания (лат.).

91

В Европе XIII–XVIII веков существовала торговая привилегия, предоставлявшая некоторым городам право задерживать у себя и реализовывать провозимые купцами товары (частично или полностью) в течение определенного времени. Непроданные товары могли быть вывезены дальше.

92

В Силезии в XV веке 1 скоец равнялся 2 пражским грошам.

сеть с поплавками.

94

Князь вроцлавский, краковский и великопольский в 1238 году (1191–1238).

сторожевой пес.

популярный в средневековье головной убор. Мог иметь форму чалмы, шапки, тюрбана и т. д. Как правило, имел длинный «хвост», т. е. тирипипу (tiripipa).

скороход, гонец (от нем. laufen – бегать).

корзина, походный сундук.

99

Второе послание апостола Павла к Тимофею, 4; 3,4.

божественность (лат.).

101

Здесь: сверху донизу (лат.).

102

Совращение охватило всех (лат.).

103

Историческая область в Малой Азии. Теперь – Турция.

знамение времени (лат.). (Евангелие от Матфея, 26; 1–4.)

слова (лат.).

поклонение дьяволу (лат. + греч.).

каска особой формы – форму многих касок см. в приложении № 2.

старший из каноников капитула.

виселица в виде длинной перекладины на двух столбах.

накидка на латах в виде туники, чаще с вышитым на ней гербом владельца.

род длинного плаща, подбитого мехом.

см. приложение № 2.

свободная полотняная женская рубаха смертника.

114

Гуситский грех… Еретические посулы… Преступление.

115

По традиции паломники, отправляющиеся в Святую Землю, в Сантяго-де-Компостелла (к могиле святого Иакова, самое популярное в средневековой Европе место поломничества) или к местночтимым святыням, отпускали бороду и облачались в паломническую одежду – калиги, коричневый или серый плащ, греческую шляпу с весьма широкими полями, обыкновенно украшенную раковинами. Раковина (улитка) считалась символом паломничества. Иногда паломники нашивали «улитки» на плащи или использовали собственно не самые раковины улиток, а символическое изображение завитушки.

под обоими видами.

гуситы, стоящие за умеренную социальную и политическую реформу церковной жизни в Чехии.

заслуживающие порицания, бессовестные еретики (лат.).

119

Церковь не жаждет крови (лат.).

120

«Великий покои даруй им…» – начальные слова католической заупокойной молитвы (лат.).

121

головной убор из фетра, плотно прилегающий к вискам (лат.).

122

Начальные слова первой фразы буллы папы Мартина V, требовавшей внимательнее следить за действиями гуситов.

туника с гербом, надеваемая поверх лат (нем.).

муж редкостного благородства (лат.).

священники, которые вопреки утверждаемой безошибочности и непререкаемости авторитета папы утверждали верховенство соборов.

126

«Рим высказался, дело закончено», т. е. курия вынесла свое решение (лат.).

в основном безграмотные и глупые (лат.).

Вопрос исчерпан (лат.).

129

Комплета – вечерняя молитва (около 18.00). Прима – предрассветная молитва.

130

Притчи.

131

Притчи Соломоновы, 5; 3,4.

132

Притчи Соломоновы, 5; 8.

уважение и восхищение (устарев.).

доверенный слуга.

невысокая кастрюля.

Здесь: расцветки.

137

Господин (голл.).

138

«И вот слово стало плотью» (голл.). (Евангелие от Иоанна, 1; 14.)

139

«От разбойников и демонов упаси нас, Господь» (лат.). Псалом 90; 6.

кому это выгодно (лат.).

141

Кидаю соль, кидаю соль,$Мне нипочем ночная тьма.$Ни мор, ни страхи не страшны,$Ни демоны ночные,$Кидаю соль, кидаю соль. – Смесь немецкого, латыни и польского.

142

Великая Матерь (лат.).

143

В общем (лат.).

к вящей славе Господней (лат.).

145

«Золотая легенда» – известное собрание житий святых, главное произведение Якова Ворагинского (Jacobus de Voragine), созданное около 1266 года («Legendaаитеа»).

Слава в вышних Богу (лат.).

147

И на земле мир людям благоволения (лат.).

148

Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя (лат.).

149

Агнец Божий, Сын Отца, взявший грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, взявший грехи мира, прими молитвы наши (лат.).

настоятель монастыря.

151

«Всякому, просящему у тебя, давай и от взявшего твое не требуй назад». (Евангелие от Луки, 6; 30.)

демерит – священник, подвергнутый духовными властями покаянию и изоляции за действия, противоречащие его сану.

ключник, эконом (устар.).

ни за что, напрасно (лат.).

больше пьянки, чем молитвы (лат.).

156

Женщина – орудие дьявола (лат.).

крытая галерея.

почетные места (скамьи) в храме.

приют, убежище, но и больница (устар.).

серебра и золота у меня нет (лат.).

состоящий из двух равных частей (фр.). Здесь: двухцветные.

верую в Бога Отца всемогущего (лат.).

163

Эмон (Аутоп) – «Четыре сына Эмона» («Les quarie filsАутоп») – французский chanson de geste XII–XIII веков.

противоядие.

165

Than Glamis(англ.) – барон Глэмз. Таном (бароном) Глэмза был Макбет.

166

Третья неделя поста, четвертая перед Пасхой. В данном случае речь идет о дате избрания папы Евгения IV, 4 марта 1431 г.

я есть тот, кто есть (лат.).

168

Книга судей израилевых, 13; 18.

169

Там же, 14; 14.

170

Книга пророка Исаии: 24; 22.

171

Шекспир, «Макбет», 4, 1.

172

Похороненный в Ааттворте, останки выкопаны и выкинуты (англ.).

лошадь для парадных выездов (фр.).

174

Точнее: «res nullius cedit prima occupanti»(лат.) – «ничья собственность становится собственностью первого овладевшего ею». Одно из положений римского гражданского права.

не столь сильные и более дешевые лошади для слуг и т. п.

старшие конюхи (устар.).

177

«Мы старимся вместе с тихим течением лет». Овидий. – Примеч. авт.

пивная похлебка с сыром и творогом.

179

Молитвы: матутинум – заутреня (ок. 3 часов утра), лаудесы – около пяти часов утра; прима – перед рассветом; терция – около 9 часов утра; секста – около полудня, через 6 часов после восхода солнца; нона – около 15 часов дня, через 9 часов после восхода солнца; нешпоры – вечерня, в 16 часов 30 минут вечера; комплета – около 18 часов вечера. «На Барнабу» – шутка, подразумевающая «общение с пухленьким демеритом Барнабой».

180

Польский герб.

«скромный воин» (лат.).

182

Колекта (устар.) – сбор денег, обычно на какие-то благотворительные цели.

письменные принадлежности (книжн.).

от итальянского cavalcata – кортеж, составленный из наездников.

185

Рейнмар фон Хагенау был известным немецким поэтом XII века. – Примеч. автора.

огород, парк (лат.). Здесь: монастырский сад.

помещение для больных в монастыре, школе, армии (позднелат.).

«Канон врачебной науки» (лат.).

Здесь: опираясь на факты, обоснованно (от лат.).

преподобный отец (лат. – фр.).

понос.

закуска, завтрак, трапеза – вообще еда (лат.).

место, где водятся бобры (устар.).

состязаться, соперничать (устар.).

195

Литургическая книга с текстами благословений.

196

Псалом 101; 2.

197

Евангелие от Матфея, 17; 18–20.

так в Польше почему-то называют мартышек, а вообще – чучело.

вещество, получаемое из камеди вонючей.

200

Книга Товита, 6; 10. «Если кого мучит демон или злой дух, то сердцем или печенью (рыбы) должно курить перед таким мужчиной или женщиною».

201

Евангелие от Марка, 9; 25.

все прочие (и вы остальные) (лат.).

жанровая картинка, зрелище (фр.).

собратьев.

бесконечное множество (лат.).

Хорошо (лат.).

на вечное заточение (лат.).

умиротворение (лат.).

его компания. По приказу (лат.).

в данном случае (лат.).

не годится (лат).

мертвец (лат.).

213

Кому это выгодно?

214

Моя вина (лат.).

без греха (лат.).

Сказанное – истинно (фр.).

217

«Послушайте, дело в том, кратко и прямо говоря. Вы сказали достаточно много». – Изложение отрывка из Чосера.

218

Первое послание Павла к коринфянам: 13; 1.

жестокая необходимость (лат.).

220

Клянусь моим кутасом (старофр.).

выражения, используемые только в свободном разговорном языке.

222

Магические формулы (лат.).

223

Несомненно, конечно *(лат.)*

волшебный предмет.

225

«Славь, Сион, Спасителя» – гимн.

226

Первое послание Иоанна Богослова: 4; 1.

первичная материя (лат.).

228

Не помню сам, как я вошел туда,$Настолько сон меня опутал ложью,$Когда я сбился с верного пути.$Данте. «Божественная комедия»,$перевод М. Лозинского.

ртуть.

230

Крест и Звезда (лат.).

старая мера емкости, равная одному литру.

белое облачение у католических священников.

риза, фелонь.

позором.

двадцать первого июля (лат.).

специальный посол-инквизитор папского престола (лат.).

беспокойство, переживание (устар.).

если хочешь мира, готовься к войне (лат.).

кто нетерпелив, тот не мудр (лат.).

церковь, при которой имеется капитул.

241

«Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем». Псалом 90; 5.

242

Там же, 90; 6 (однако в русском тексте псалма говорится не о демоне, а о «заразе, спускающейся в полдень».

243

Наибольшая ересь – не верить в действия демонов (лат.).

подозрения в ереси (лат.).

245

…утром ты скажешь: «о, если бы пришел вечер!», а вечером скажешь: «о, если бы наступило утро!». (Второзаконие, 29; 67.)

злодеяние, преступление, вред (лат.).

247

Урим и турим (правильно «Thummim») – «Свет и совершенство» (еер.). Предметы на наперснике первосвященника, через которые давалось откровение воли Божьей. Были утеряны во время Вавилонского пленения. Местонахождение неизвестно. В магической традиции считаются предметами с малоизученными, но очень сильными свойствами.

противоречие в определении, внутреннее противоречие.

249

«И когда он прибыл в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватых… вдали же от них паслось большое стадо свиней» (Евангелие от Матфея, 8; 28–30).

тузы, короли и валеты (устар.). Пики (листки) – зеленые; трефы (желуди) – красно-зеленые.

оборванцы, голодранцы (уст.).

комната, расположенная в глубине или в задней части дома.

в Древней Греции – юноша, достигший совершеннолетия. Юноша с гармоническим строением тела, красавец.

сундук с ящиками, кофр, от турецк. – корзина.

поразительный мужчина (лат.).

256

«Ангел Господень возвестил Марии…» Молитва «Ангел Господень» по древней традиции произносится трижды в день – утром, в полдень и вечером.

257

«Благословите, народы, Бога нашего». Псалом 65; 8.

Святое слово (лат.).

кукольное представление.

религиозные драмы, изображающие чудесные события из жизни святых (фр.).

разновидность туники, которую носили под латами. В отличие от вапенрока, который носили на латах, и лентнера, который рыцари носили, как правило, когда не надевали лат.

Дрезден.

263

Броумовско, Брумов – чешское и польское названия одного и того же города в Чехии.

перстень с печаткой.

265

«Настал радостный час», «Любовь правит всем», «Когда мы сидим в трактире» – первые строки ваганских и голиардских песен (лат.).

тяжелый и длинный меч (слово, совсем забытое ныне).

267

Упоминаемые в тексте части лат приведены на рисунке в приложении № 1. Однако некоторые носят «западные» названия. Например: тшевик, башмак, именуется сабатоном, подбородник, – бартом, а общая защита ног названа бейгвантом.

268

Дословно: железный молот (фр.).

кольчужный чепчик, надеваемый под шлем.

Здесь: промысел, дело (лат.).

группа лиц, сопровождающих кого-либо (лат.).

Для общего блага (лат.).

совет (староскандинавск).

так святой Бернард называл вначале крестоносцев, а затем тамплиеров (храмовников).

заостренные, сколоченные крест-накрест шесты.

оруженосец.

народный музыкальный инструмент типа контрабаса.

короткий меч с зубчатым клинком (напоминающим гребень). Пойманный в зубья меч противника можно было с его помощью сломать или выбить из рук.

брадобрей, цирюльник (устар.).

цветочная вода с запахом лаванды или розмарина (устар.).

281

Искусный врач (лат.).

282

«Этого хочет Бог» (фр.) – клич участников Первого крестового похода.

круглые сыры, чаще всего изготовляемые гуралями.

громила, великан (устар.).

покрытый броней.

миланские латы.

ручная пушка (нем.).

распоряжение об аресте (лат.).

289

«Не убоишься ужасов в ночи», псалом 90; 5.

Во имя твое! (лат.)

291

Пассау – город в Баварии.

292

Проститутки сын (ит.).

светотени (ит.).

Сентябрь месяц (лат.).

295

В средневековой Италии – флаг в виде прямоугольника, подвешенного короткой стороной и вырезанного треугольником по противоположной.

боевая труба (устар.).

чернь, толпа (устар.).

стычка копейщиков.

299

Пришел, увидел, победил! – изречение Юлия Цезаря (лат.).

300

С честью, господа рыцари и оруженосцы! (фр.)

просторный кафтан с гербом феодала, который носили герольды.

302

Начинайте! (фр.)

303

Король герольдов (фр.).

турнир на копьях (фр.).

упоры на латах для копий.

гербовый знак в виде оторванного уса.

башмаки.

камзол (фр.).

разновидность свободного длинного плаща, часто с большим меховым воротником.

изумрудно-зеленый цвет (фр.).

чувствами (устар.).

312

Королевой красоты и любви (фр.).

клеветник (фр.).

негодяй (фр.).

обычно вуаль, иногда плотно охватывающая щеки и подбородок.

дамская шляпка без полей.

317

Милосердие дамы, на которое мог рассчитывать рыцарь, за что-либо наказанный на турнире (фр.).

обвинение (лат.).

коллективный бой. По-теперешнему «стенка на стенку».

средневековый женский головной убор типа конуса-башни (фр.).

321

рубашка, сорочка (фр.).

брак, породнение (устар.).

любовницу, содержанку (устар.).

предположением.

воротник (от фр. gorge).

колющее оружие, разновидность тяжелого длинного меча – канцера.

конец венчает дело (лат.).

охотничий нож (устар.).

дружбе (от лат. amicita).

330

Доброго здоровья (лат.).

домоправительница, экономка, воспитательница.

клетка для зверей (устар.).

вассал вассала (лат.).

334

Книга пророка Исаии, 10; 1,2.

335

книги существуют для того, чтобы их читать, а не сжигать (лат.).

336

«Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои» (лат.). (Евангелие от Матфея. 10; 9).

соратником, братом по оружию (устар.).

Мир Господен (лат.).

спорами, противоречиями (устар.).

голландская селедка.

341

Книга Екклесиаста. 3; 1–8.

«Ночь – врата к истине» (ит.).

крытое гумно, рига, сарай, овин (фр.).

под двумя видами (лат.).

Евангелие от Матфея. 6; И.

346

Евангелие от Луки. 22; 19.

347

Пресвитер Иоанн – мифический король и священник, который, если верить легенде, царствовал где-то в глубинах Азии в XII веке.

форпост христианства (лат.).

уния Польши и Литвы, заключенная в 1413 году в селе Городля.

рогач (лат.).

школяры, студенты (устар.).

пустая болтовня (лат.).

353

Клятвы – ясны (лат.).

защитники, покровители еретиков (лат.).

355

Послание апостола Павла к римлянам. 6; 23.

оговорка (лат.).

овраг, лощина (нем.).

358

Заклинание, убивающее насекомых.

испарения (устар.).

Выпрашивание, вымаливание (от ит. mendicato).

радость (лат.).

меня не касается (лат.).

363

Колебками назывались на старопольском повозки, в основном в виде четырехгранных «ящиков», установленных на колесах или на полозьях (зимой). Колебки богачей могли, вероятно, иметь форму домиков, обитых внутри ковром и снабженных подушками для мягкости.

ручей (устар.).

перекаты (устар.).

с ног до головы (фр.).

экипаж для перевозки ценностей.

длинное и плотно облегающее женское платье (фр.).

на все ветра (библ.).

разновидность бердыша.

371

«Земную жизнь пройдя до половины,$Я очутился в сумрачном лесу,$Утратив правый путь во тьме долины».$Данте Алигьери, «Божественная комедия».$Перевод М. Лозинского.

игра, в которой студенты задавали преподавателю любые вопросы; одна из форм средневекового университетского обучения.

вотчина (наследство по отцу).

разновидность головного убора вельмож.

туника.

вельмож.

то же, что патримониум, – но по матери.

Здесь: имущества (истор.).

принятое в средневековой Польше у шляхты обращение: госпожа (пани) мать, госпожа (пани) сестра и т. п.

средневековая мужская одежда, разновидность длинного и богатого плаща.

чудодейственное лекарство (устар.).

все свое с собой ношу (лат.).

отравы, яды (арабск.).

вишневая наливка (нем.).

алхимическая печь.

основной труд (лат.).

387

«Трава засохла, вянет цветок». Книга Исаии; 40; 7.

мать наша, кормилица (лат.).

«влюбленные – все равно что сумасшедшие». Плавт (лат.).

390

Рецептура (лат.).

391

«Суха, мой друг, теория везде…». – Гёте, «Фауст», часть 1. Перевод Н. Холодковского.

с недостатками (простонар.).

393

Похищение невесты (лат.).

имеется в виду племя бобрян.

небольшой складной ножик (устар.).

на завтра (лат.).

проводы новобрачных к брачному ложу (устар.).

раб и рабыня (лат.).

399

Дуй, дуй, ветерок,$Из окна на восток.$На все ветра!$Из окна прыг-скок!$Неси, ветерок,$Не коснувшись окна (смесь немецкого, латыни, польского).

препарата (устар.).

«видные» женщины (лат.).

летная мазь (испорч. нем.).

госпожа, хозяйка, повелительница (лат.).

костер.

радостная, веселая и кавалер (фр.).

невинная нагость (лат.).

красивейшая из дев, Дидона с прекраснейшими формами, обольстительная королева, златовласая Изольда, Беатриче, прекрасная Елена, благородная Венера, обожаемая сердцем дева, прекрасная и изумительная, небесная царица, – эпитеты, почерпнутые из различных произведений того и более раннего времени (лат.).

зацеп на тетиве.

приходская церковь (устар.).

позорный столб (устар.).

411

Край Земли (лат.).

связи, знакомства (устар.).

413

Господни псы (лат.) – доминиканцы.

ковчег для святых даров.

415

«Не прикасайся к моим кругам» – слова Архимеда (лат.).

«Отче наш», «Аве, Мария», «Верую…», «Славься…», «Смилуйся…» – начальные слова соответствующих молитв (лат.).

отклонение (лат.).

помешательство, кретинизм (лат.).

419

Покайтесь за меня (иск. лат.).

420

Местность, давшая название ордену камедулов, принявших обет абсолютного молчания.

Сохрани нас, Господи наш (лат.).

задница.

человек, верящий в тысячелетие царствия Божия на Земле.

шестого июля, через восемь дней после дня святых Петра и Павла (лат.).

преступник, правонарушитель.

никогда (нем.).

Христов воин, страж (лат.).

серебристого цвета и звериным мордам (фр.).

429

Чешская форма имени Амброз (Амброзии, Амбруаз).

коврики с ворсом.

медлительные, нерешительные люди.

верю в Бога, Отца всемогущего (лат.).

«Прииди, Дух Святой» (лат.).

Псалом 50; 8–9.

пребывали во мраке (лат.).

рождественский пост.

Здесь: «Возрадуйся, папа» (лат.).

кубики вперемешку (лат.).

тупица тупицу учит (лат.).

римская курия (лат.).

кардинал, ответственный за финансы и полицию.

сочельник.

443

Ключ Соломона (лат.).

Надежда на спасение (лат.).

445

Наша альма матер (лат.).

«Славьте Господа, ибо он благ» – псалом 117; 1.

Конечно, конечно (лат.).

448

Еретик, вновь впавший в еретическое после того, как ранее отрекся от него.

волшебство, колдовство (лат.).

таинства (лат.).

451

Что и требовалось доказать (лат.).

вечный свет (лат.).

переполнение (лат.).

легочная артерия (лат.).

на второй день после святого Лаврентия мученика, т. е. 12 августа.

456

О покойном или хорошо, или ничего (лат.).

поддержку (лат.).

тупик (фр.).

врачебное помещение (лат.).

вопросы веры (лат.).

сборники проповедей, толкующих евангелия.

прелюбодеяния (лат.).

раскаяние (лат.).

«Дам, если ты дашь» – перефразировка «ut facias», то есть «дам, если ты сделаешь». – Примеч. автора.

исповедях (устар.).

Развратник (от ит.).

книги существуют для того, чтобы их читать, а не сжигать (лат.).

соратники, товарищи по оружию (устар.).

469

Евангелие от Иоанна, 15; 6.

воспроизведениях.

471

Тебя обожаю и тебя призываю! (лат.)

472

Прииди, Мерсильде (лат.).

гвоздь (устар.).

священник (чешск.).

475

«Идем во тьме, ничем не озаренной» – Данте Алигьери, «Божественная комедия», часть 4. Перевод М. Аозинского.

кожа, задубленная в кипящем масле (фр.).

друг познается в беде (чешск.).

478

Откровения святого Иоанна Богослова. 14; 9—10.

пенсионер (лат.).

года Господня (лат.).

народными защитниками (лат.).

с головы и до глубин (лат.).

483

Чешский клич, призывающий к атаке.

484

Отче наш… сущий на небесах, да святится имя твое… (чешск.)

485

Да приидет царствие твое… да будет воля твоя, и на земле, как на небе! (чешек.)

Но избавь нас от лукавого! (чешск.)

487

Вперед, Божье войско! (чешек.)

настоящий венгерский гуляш (венгр.).

«Бог наш Господин» (чешск.).

490

«Оставь надежду, всяк сюда входящий» – надпись на вратах Ада.

491

С нами Бог! (нем.)

492

Данте Алигьери, «Божественная комедия», песнь 4. Перевод М. Лозинского.

тумане (ит.).

Смотри пояснения переводчика.